
Федор Абрамов

**Федор
Абрамов**

1

1



Федор Абрамов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1980

Федор Абрамов

Том первый

БРАТЯ И СЕСТРЫ

ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА

ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1980

ББК 84.3Р7

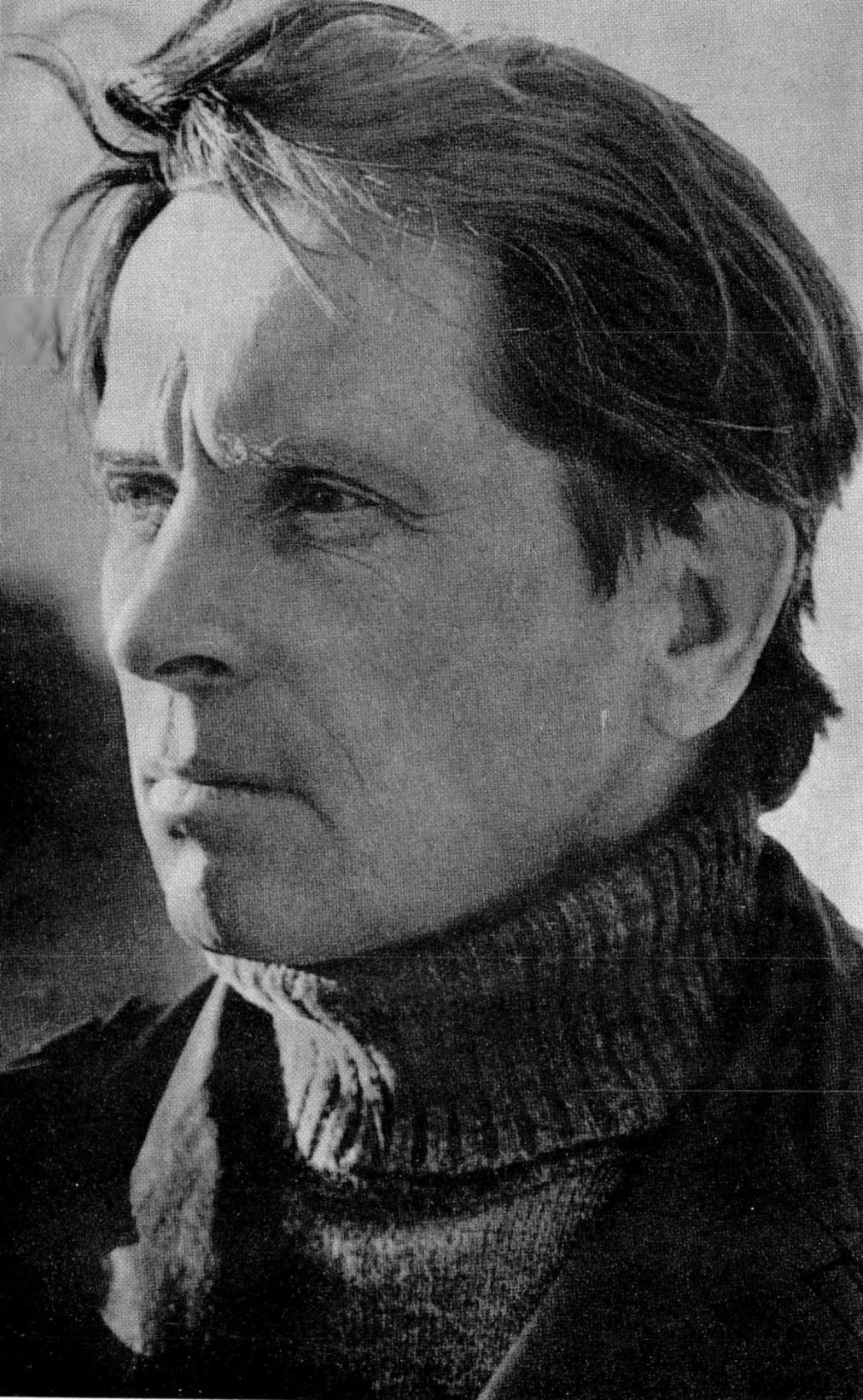
А 16

Вступительная статья
И. ДЕДКОВА

Оформление художника
Е. БОЛЬШАКОВА

А $\frac{70302-072}{028(01)-80}$ подписное 4702010200

© Состав, вступительная статья,
оформление. Издательство «Ху-
дожественная литература»,
1980 г.



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ФЕДОРА АБРАМОВА

«В конце зимы сорок второго года,— вспоминает Федор Абрамов,— меня, тяжело раненного фронтовика, вывезли из блокадного Ленинграда на Большую землю. После долгих скитаний по госпиталям я наконец очутился у себя на родине — в глухих лесах Архангельской области... Время было страшное. Только что подсохшие степи юга содрогались от гула и грохота сражений — враг рвался к Волге, а тут, на моей родной Пинеге, шло свое сражение — сражение за хлеб, за жизнь. Снаряды не рвались, пули не свистели, но были «похоронки», были нужда страшная и работа. Тяжелая мужская работа в поле и на лугу. И делали эту работу полуголодные бабы, старики, подростки. Много видел я в то лето людского горя и страданий. Но еще больше — мужества, выносливости и русской душевной щедрости».

Было тогда Федору Абрамову двадцать два года. Лишь в сорок восьмом он закончит филологический факультет Ленинградского университета, с третьего курса которого ушел в народное ополчение. С 1956 по 1960 год Ф. Абрамов заведует в университете кафедрой советской литературы. В 1958 году он опубликует свой первый роман — «Братья и сестры». Вот когда он расскажет о незабываемой страде сорок второго...

Так впервые откроется нам Пекашино и окрестный мир: архангельская земля, Пинежье, деревни, затерянные в лесах, островки обжитого, возделанного пространства, глубина русской, крестьянской жизни.

На карте Севера и Северо-Запада России можно попытаться угадать место, где могли бы стоять пекашинские избы. Или избы села Веркола Пинежского района, где родился Федор Абрамов. Насколько сродни эти села, вымышленное и реальное, лучше всех знает писатель. Но, должно быть, Пекашино сродни многим реальным селам и деревням, и недаром так плохо вяжется с ним слово «вымышленное».

Начальные побуждения были простыми, даже бесхитростными: «...мне захотелось хоть одну страничку приоткрыть в этой деревянной летописи Пекашина...» Почему «деревянной»? Абрамов рассказал об этом так: в старой сенной избушке на дальних, заброшенных лугах — осевший в землю, тесанный топором стол; на еловых плахах стола — крестики, звездочки, инициалы; редкий мужик или подросток здесь не отметился, не оставил о себе памятки... Но ни одной женской отметины не было среди этих значков и знаков. Ни с войны, ни с других времен, ничего, ни следа не осталось. Деревянная летопись была неполной: «...где же главные страдницы, потом и слезой омывшие здешние сенокосы?»

Хорошие книги часто роятся из жажды справедливости. Если чувство справедливости истинно, оно недолго бывает выборочным. Оно обращается ко всей жизни и никого не минует.

Приоткрывая «одну страничку» в летописи Пекашина, писатель вряд ли знал, сколько страниц его ждет и что ему предстоит. На самом-то деле летописи никакой не было. Кроме неписанной летописи народной памяти, бесценной, но смертной. Выживают песни, легенды, но исчезают лица, характеры, судьбы, человеческая неповторимость. Время стесывает даже самые глубокие памятки, и тяжело, невозможно примириться с этой гладью.

Иногда литературу называют художественной памятью народа. Но не вся литература того заслуживает. В 1954 году Федор Абрамов напечатал в «Новом мире» статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе». Она была необычна для тогдашней критики своей прямоотой и твердой опорой на внелитературную реальность. Не ждите добра, предупреждала статья, если писатель предпочитает «обычным практическим делам», то есть подлинному содержанию жизни, «прекраснодушные вымыслы» и тщится доказать «превосходство условно-романтической выдумки над действительностью». Литература обязана, настаивал критик, исходить из жизни «во всей ее сложности и противоречивости». Эта обязанность литературы кажется самоочевидной, но бывает, что очевидное нуждается в защите, и защита эта требует мужества. Та давняя статья Ф. Абрамова тоже требовала мужества. Всякое упрощение, спрямление, искусственное облегчение человеческой судьбы и обстоятельств отвергалось критиком, как небрежение правдой, реальным опытом живых и мертвых, как вольное или невольное умаление роли и места в истории рядового трудящегося человека, как принижение его достоинства.

Пройдет несколько лет, и свое литературно-критическое опровержение неправды Федор Абрамов подкрепит и заменит художественным опровержением. Однако, сведись дело к опровержению и

полемике, не было бы сегодня того знаменательного явления литературы и жизни, которое мы вправе назвать художественным миром Федора Абрамова. Этот мир стал существенной частью нашего знания о самих себе, о нашем национальном характере, нашем историческом опыте, о путях народной жизни в их предельной, неопровержимой конкретности.

Люди живут обыденно, час за часом и год за годом, подчиняясь вечному кругообороту труда, личных забот, страстей и надежд, поглощенные своим непрерывно ощущаемым, безостановочно движущимся бытием. Среди героев абрамовской прозы много таких. Чаще всего они думают, что История, все Значительное и Великое, совершается где-то далеко, помимо них, под каким-то необыкновенным небом необыкновенными людьми, а они — всего лишь мелкая подробность, деталь, и от каждого из них мало что зависит в общей панораме жизни и в торжественной, мерной поступи истории.

Такое будничное мироощущение естественно и не обязательно связано с пониженной самооценкой. Может быть, оно просто избегает отвлеченностей, лишено честолюбивых, гордых притязаний. В таком случае для обнаружения истины, для справедливой меры необходим взгляд извне, такой внешний угол зрения, чтобы вместил и рассудил всех. Подобный угол зрения достигает многого, если не скользит поверх голов, как бы заранее превосходя их своим высшим разумением, а по-доброму, понимающе вбирает разных людей, разные сознания, разные душевные устройства и помыслы, разные счастья-несчастья, извлекая их жизнь из безвестности и предлагая ее для свободного сопоставления со всякой другой жизнью как равную, полную человеческого смысла и собственного значения.

Взгляд извне — взгляд объективного художника — не отдает никому безраздельного предпочтения. Он ищет справедливости для всех, воспроизводя безмерную мощь обстоятельств, податливость, слабость и невероятную стойкость человека. Смотрите, — говорит художник читателю, — это и есть подлинный облик истории, это и есть история изо дня в день под обыкновенными небесами, и никакой другой, более исторической истории — нет.

Такой угол зрения на человека и движение жизни близок Ф. Абрамову, хотя он никогда не претендовал на то, что пишет нечто историческое. Он не придавал своим романам эпического размаха и масштабности и не стремился к глобальным обобщениям. Он ни разу, по сути, не вывел свои сюжеты за пределы северорусского крестьянского мира. И если о его книгах писали как о «народном эпосе» или «эпосе народной жизни», то имели в виду, должно быть, саму протяженность изображенного народного существования во времени. Для эпоса, оказывается, достало и одних

пекашинских изб. Не потому ли, что в потоке времени, в вечной череде смертей и рождений, смене поколений и обстоятельств что-то сильное в самих основах пекашинского мира упорно не менялось и не разрушалось, передавалось дальше, не желая рассеяться или раствориться. От этой устойчивости народной жизни веет эпическим, но напрасно искать покоя под крышами Пекашина. Все, кажется, давно было; отшумело, отболело, зажило; созерцай, сочувствуй, тешь внутреннее око туманными картинами минувшего, рассуждай и рассуживай бестрепетно, а — невозможно. Кому — история, а Ф. Абрамову эти пекашинские годы — его жизнь; все это было на его веку — с ним или с теми, кого знал и любил; это было, отпылало, но не успело остыть; меркнут лица, исчерпываются земные сроки, но остается здесь все неутоленное, все недоумения, боли, обиды, тревоги; остается — если уметь слушать — призыв к разумности, к доброте, к бережному обращению с жизнью. Федору Абрамову даровано сердце, способное слышать эту боль и этот призыв.

Читая Ф. Абрамова, постоянно ощущаешь воздействие реальной, жестко-неудобной жизни, ее противоречивое, беспокойное состояние. Что жизнь такова — стоит ли удивляться, бывает ли она иной? Выдающийся отечественный физиолог А. А. Ухтомский писал: «У нас нет решительно никаких оснований к тому, чтобы думать, что реальность и истина станут когда-нибудь подушкой для успокоения. Подушкой для успокоения норовит быть каждая из теорий, но благодетельное столкновение с реальностью опять и опять будит засыпающую жизнь». Удивляться следует, наверное, тому, что писатель так настойчиво и мужественно ищет прямого контакта с действительностью, отклоняя всякое посредничество. И если он чувствует и умеет выразить влияние, волю действительности, ее беспокойство, то это для него не тягость, а благо, он этого хочет, он так устроен. Ему нужно растолкать все засыпающее, спутавшее сны с явью. Нам только кажется, что мы все помним и знаем, говорит он нам. Мы знаем все в общих чертах и общих словах. Позвольте я вам расскажу, как в сорок третьем колхозница Офимья поехала на заготовку леса, оставив дома больного сына... Или про то, как «хорошо растет осинник на слезах человеческих», там, где в военную пору растили хлеб... И рассказывает. Вот задача, которая кажется простой: «описать действительность серьезно и правдиво, ничего не изменяя в ней, как это делают для большего эффекта» (Л. Толстой).

Действительная жизнь участвует в книгах Ф. Абрамова как неотвязная, неотступная сила. Она словно не отпускает писателя, держит, не дает ему легкой свободы. Эта жизнь, этот опыт, пере-

житый и узнанный, чурается всех — кроме самых необходимых и неизбежных — литературных условностей. («Жила-была семужка» — исключение.) Такая проза не может начаться с изобретения небывало нового, безукоризненно рассчитанного сюжета. Она обходится и без того, без чего сегодня, кажется, не обходится ни один сведущий в литературном ремесле человек. Ни ассоциативного письма, ни потока сознания, ни щедрой описи вещного и природного мира. Ничего, что бы специально задерживало внимание на себе как на элементе формы. Ничего, что бы не было обусловлено состоянием изображаемой жизни.

Отсюда — простое и строгое обращение с романном временем. Здесь и день длинен, и ночь длинна, и даже кажется, что писатель пленен житейским временем и ничего в нем не хочет опустить, ни единой мелочи. Но именно из таких плотно пригнанных, подробных дней, вечеров, ночей состоят романы, охватившие тридцать лет пекашинской жизни. Между временем романов — разрывы в годы и десятилетия, внутри романов опущены недели и месяцы, но неизменно длинны и полны избранные писателем дни, вместившие так много событий и тревог. Время этих дней всегда существенно для всей последующей пекашинской жизни, оно потом отзывается в том или в другом. Буднично и неопровержимо летоисчисление села Пекашина: от «похоронки» к «похоронке», от сенокоса к сенокосу, от болезней к смерти или выздоровлению, от одного председателя к другому председателю, от горя и нищеты войны к радости и слезам победы, от старого дома к новому дому... Кажется, что это — высшая конкретность народной жизни, и дальше, за этими лицами, судьбами, обстоятельствами — как в астафьевской «Ухе на Боганиде» или в беловском «Привычном деле», — дальше уже нет ничего: ни дали другой, ни глубины.

Эта конкретность дорога писателю и полна для него не открытого еще смысла. В ней есть все, что ниспослано и уготовано человеку на земле в двадцатом столетии, — и все сполна. Она знает мгновения, когда, казалось, рушится мир, и отверзается бездна, и жить более нельзя, и жалость к родной, канувшей душе навсегда перехватила горло... Как знает и другие мгновения, когда наперекор всему тяжелому и темному пробивался неистребимый свет человеческой любви и доброты... Счастье писателя, что он не пропустил ни этих, ни других мгновений, составляющих главное время человека, время страданий, надежды, побеждающей любви.

...Кончается слабая жизнь обессилевшего, раздавленного болезнью бойца трудфронта Митрия Репишного. Из каких-то своих далей, уже списанный, не боец, не жилец, дополз он, добрел до жены, до родного дома, где был нелюбим и презираем. Добрел, чтобы проститься и умереть.

Ничего не облегчил писатель — ни себе, ни Марфе Репишной, ни нам. Неприятно, тяжело, но — смотрите, смотрите легче, чем быть на их месте; чуть жив ее Митрий, немоготу его видеть, но «не от жалости к мужу, нет, а по вековой привычке к чистоплотности Марфа затопила печь, согрела воды в чугунах, обмыла мужа в корыте». Мало хорошего связывало их в прошлом; за «коробку соли» в двадцатом отдали отец и братья свою Марфу хилому Митрию-продавцу, но он-то, Митрий, ее любил... И писатель представил себе, как жило в этом невзрачном, неудачливом человеке старое чувство, обостренное военной разлукой, одиночеством, тоской по теплу дома, и, может быть, подумал, что преданная, добрая, самоотрешенная любовь не должна уйти неузнанной. И он сказал об этом, доверив «монолог» о горестной этой любви, последней зацепке человека за жизнь, вещевому мешку Митрия.

Среди бедного, жалкого мужниного барахла Марфа увидела «растрепанный кочан капусты, зачем-то обвязанный шпагатинной», и обругала спящего Митрия безмозглым дураком. И еще раз обругала, когда нашла в свертке, показавшемся ей кочаном, свой пропавший девичий платок. А «развязала плат и просто обмерла: сладости... Розовые подушечки, слипшиеся, вываленные в чаю, в сахарном песку, леденцы — красные, желтые, зеленые, сахар маленькими кусочками, чай в газетном кулечке и еще вдобавок... две белые сушки — давнишние, закатанные, крепкие, как камень. Она и минуту, и две смотрела на все это неподвижными, остекленевшими глазами, а потом вдруг схватилась за голову и заревела громко, навзрыд». Она поняла, открылось ей, какой невыносимой ценой было собрано это богатство и донесена до дому, не обменяна та бутылка керосина, бережно обернутая в тряпку... Чувство, которое согревало последние дни этого человека, словно заново увиденного теперь его женой, было сильнее его немощного, изурванного тела.

Вещи, немые предметы, бывают у Ф. Абрамова красноречивее слов; язык тех слипшихся подушечек и леденцов недвусмыслен, как недвусмыслен язык бывшего бедного богатства, бывшей моды — померкших вдруг плюшевых жакеток Пелагеи Амосовой — или язык пекашинского хлеба — мокрого, землистого куска, похожего «не то на черное мыло, не то на глину».

Какая резкая боль исходит от этих негордых исторических реалий, как памятливы и народны их языки!

Ф. Абрамов знает, что леденцы Митрия — знак того, что в душе этого человека свет еще не померк. Он знает, что хлеб Марии Нетесовой — из дома, где только что последние рубли отданы взаймы государству, — знак непостижимой душевной силы и стойкости. На Шестом съезде писателей СССР он скажет о нравствен-

ных силах советского народа, которые «не дали пропасть России в годы самых тяжких испытаний».

Этот писатель знает и верит, что, не прерывая монотонную житейскую борьбу вмешательство высоких чувств, жизнь огрубела и ожесточилась. Уже для того стоило выстроить пекашнинский мир с его окрестностями, чтобы оживали в нем эти тихие, но великие мгновения обыденной, напрягающейся жизни, возвращающие ей — даже под самым низким небом — радость человеческого праздника, человеческого родства и бескорыстной любви. История героев Ф. Абрамова знает только одну хронологию — хронологию истинно человеческих незабываемых событий и потрясений.

Первый день Михаила Пряслина после возвращения домой с лесозаготовок весь написан как событие. Написано, как Мишка с Егоршей причалили плот с сеном, как Мишка привез сено на двор, как хвалила мать, как разгружали, как брлся, стриг заросших братьев, отмывался в бане... И много чего другого вместил этот Мишкин длинный день, и все в нем было молодостью, жизнью, осмысленной, полной, страстной. Ни пустот бессмыслия, ни мнимого дела, ни безработицы души. И был посреди того дня миг, когда собралась семья, притихли братья и сестры, и Михаил, посмеиваясь, извлек из своей корзины «кусоч голубого ситца с белыми горошинами», протянул Лизке, а Лизка вдруг «расплакалась как ребенок»... Михаил «отвернулся, начал шарить банку с махрой», и не в силах была удержать слезы мать. А потом Михаил еще одарил Лизку черными ботинками на резиновой подошве с парусиновым верхом, и это была уже такая радость, что ни выше, ни сказочнее не придумать... Никого не забыл Михаил, а под конец выложил на стол буханку ржаного хлеба. От начальника лесопункта была буханка. Сказал начальник: «...помяните отца. Вместе раньше работали». И помянули Пряслины; только младшим слово «отец» уже «ничего не говорило».

Вот одно из событий пряслинской жизни. Можно сказать, ее праздник — праздник осиротевшей, но не сломленной крестьянской семьи. Писатель убежден, что это праздник, торжество святых чувств, хотя в тот весенний день сорок пятого, вскоре после войны, его герои вовсе не праздничны: светлое, хорошее мелькнуло, озарило и прошло, и недосуг будет оглянуться под все той же неполегчавшей ношей... Но писатель видит больше своих героев; им не дано взглянуть на себя со стороны, им трудно понять, какие они и каков смысл того, что с ними происходит. Взгляд Ф. Абрамова восполняет эту неизбежно ограниченную правду, и потому невозможно ошибиться, что добро и что зло и когда одно переходит в другое. И открывается в обыденном, бедном быту — красота, а

в Мишке Пряслине, безотказном труженике,— один из самых надежных героев нашего времени... И неяркий свет пекашинских окон из далеких военных и послевоенных лет достает до наших дней, сберегая щемящую память о перенесенных испытаниях, о спасительной силе человеческого братства, о самозабвении — ради других.

Но, может быть, щемящее чувство, не оставляющая нас боль за человека,— от сентиментальности, повышенной чувствительности автора? И он только ищет случая, чтобы пронять нас, нагнать в теплых углах нашего благополучия и покоя? Растрожить, разжалобить, умилить? Вот прощается с сестрой Тимофеей Лобанов, всеми отринутый, безвинно виноватый, и только смерть, уже искажившая его черты, оправдывает его. Вот Пряслины целой бригадой впервые выезжают на сенокос — не перемерли, выжили, подросли братики! — и сбежались проводить бабы, и уже каким-то не своим от волнения, «писклявым голосом» кричит Михаил: «Трогай!» Вот умирающий Степан Андреевич не впику родному, а Лизке Пряслиной, бесребренице, ласковой, доброй душе, ангелу-утешителю своему, отписывает свой дом... Не припомнить, не перебрать всего, что заставляет сжиматься наше сердце...

Но Ф. Абрамов — сдержанный художник; может быть, самый сдержанный во всей «деревенской прозе». С ним редко случается, чтобы он дал волю своей печали, своему умилению. Это жизнь и люди в ней бывают «несдержанны», кричат и плачут. Он только следует за этой «несдержанностью» жизни, он иногда внимательнее к ней, чем другие. Слышит там, где другие не слышат.

В рассказе «Материнское сердце» звучит один голос — голос матери, старой крестьянки. Она изливает душу человеку, которого знает и который может ее понять. Может услышать.

То, о чем рассказывает Офимья, могло быть частью пекашинской истории. Если вдуматься, то это и есть ее часть, опущенная в романах. «За войну какие муки ни приняли пекашинцы, а лес сравнить не с чем. Лес всем мукам мука», — нигде в романе «Две зимы и три лета» голос автора не был столь открытым, столь резким и непримиримым. «А бабы, детные бабы, — что они выпесли за эти годы! Вот уж им-то скидки не было никакой...» Анфиса Петровна даже «не заикалась», что у тех женок, что попали уполномоченному на карандаш, малые ребята: «дети не в расчет и раньше были». В Пекашине той крутой поры никто не удивлялся, что о людях говорили: гнать в лес, «выгнать к реке», на сплав. Офимья тоже не удивлялась, когда бригадир Павел Егорович, Паха-рожа («нехороший человечешко был!»), матюками гнал ее в лес. Но в этот-то раз он оторвал Офимью от больного сына,

сломил волю, и уехала она на долгую неделю, зная, что плох ее Степанушко, что кровь была на снегу в отхожем месте, что прилетала птичка и билась в стекло, предупреждала... А вернулась, сухари на стол высыпала, ешь сколько хочешь, да сил уже нет у мальчика сухарь разгрызть...

И вот дорога в больницу:

«— Степа, говорю, к району подъезжаем. Можешь ли, говорю, посмотреть-то?

А он сам меня просил: «Мама, скажи, когда к району подъезжать будем». Ребенок ведь! Нигде не бывал дальше своей деревни — охота на белый свет посмотреть.

И вот Степанушко у меня голову приподнял:

— Мама, говорит, как светло-то. Какой район-от у нас красивый...

Да и все — кончился...»

Маленькое, едва начавшееся существо, среди крошечной бедности, в забросе, в бесконечном терпении и надежде... Последнее утешение и отрада отлетающей детской души: как светло-то, какой район-от красивый... Последняя радость — от света и красоты.

Что ж, говорят Офимье, это «война Степу съела», и его старших братьев, и отца, и ты не виновата, и никто не виноват, не надрывай свое сердце. Но она-то знает, что ничего не бывает без виноватых, всегда есть виноватые, что это и она виновата, «недосмотрела», подчинилась, и теперь «до скончания века» не будет у нее «спокоя». И ничто уже не может облегчить ее участи.

Но, возможно, писатель хотел сказать и о другом? Хотел спросить себя и нас, а хорошо ли знаем мы, что такое свет и красота? Той ли мерой мерим? Открыта ли нам народная мера всех благ, красот и наслаждений мира, то ли ищем и понимаем под успехом, благополучием, счастьем?

Опоздавшие сухари, кровь на снегу, прощальные слова мальчика — как повсюду у Ф. Абрамова — сама подлинность жизни. Но подлинность иногда вызывает возражения: говорят об утомительной, надоевшей, даже оскорбляющей подлинности, о грубой натуральности фактов и языка. Под этим подразумевают: мы все это знаем, видели, слышали, все это нам наскучило, мы это переросли. Или: ныне все не так, ныне все новее, приятнее, и нечего нам портить настроение... Бывает также, что сетуют на скованную художническую фантазию, на послушное следование современных писателей натуре и т. п.

Все эти упреки небеспричинны, но важнейшая среди внелитературных причин — нежелание видеть реальное лицо жизни.

Мощная тяга к подлинности, ставка на подлинность свойственна нашей лучшей «деревенской» и «военной» прозе совсем не случайно. Тут есть что-то парадоксальное: вроде бы современный человек необычайно обо всем осведомлен, «информационный взрыв» разрастается, но подлинности что-то не хватает, и в ней нуждаются. Словно подлинный облик мира дробится, распадается на кадры, монтируется, перемонтируется, туманится, ускользает, и только художник возвращает нам ощущение целого в его истинном порядке и смысле, и человек с его судьбой предстает в своей несомненной драматической достоверности.

Ф. Абрамов с самого своего начала, с «Братьев и сестер», и по сей день, уже в «Доме», ставит перед собой одну и ту же задачу: художественное исследование подлинного мира. Очерковая проза пятидесятых годов (В. Овечкин, Г. Троепольский, С. Залыгин и др.) уже позволила почувствовать реальное состояние деревенской жизни. Первый роман Ф. Абрамова унаследовал от этой прозы, по сути, одно: верность действительности и действительному человеку. Был унаследован и дух смелого анализа социальной жизни, но это стало очевидным позднее. Тогда же, в «Братьях и сестрах», писатель был занят прежде всего тем, чтобы передать предельное напряжение народной жизни посреди войны. Физические и нравственные муки терзают пекашинцев; будь это только самозащита, круговая оборона от голода, отчаяния, смерти, то и тогда ее можно было бы назвать героической. Но пекашинский мир выстаивал, не клонился еще и потому, что сам он чувствовал себя опорой и надеждой своих воюющих в неведомой дали мужиков. Он существовал, и, значит, легче было существовать им.

Вспоминая об этом времени, Ф. Абрамов писал, что тогда, в сорок втором, ему посчастливилось увидеть своих земляков «во весь их богатырский рост». Но «богатырский рост» — редкая для Ф. Абрамова патетика. Обычно он обходится без нее.

Однажды Михаил Пряслин с завистью думает о том, что где-то шумит «большая жизнь» и где-то живут «крылатые люди — богатыри», которые «ежедневно и ежечасно» совершают подвиги и рапортуют о них в газетах. Нет такой жизни в их Пекашине, и никакого пекашинца не может Михаил причислить к тем крылатым богатырям: такое даже на ум нейдет. И автор тоже не причисляет; богатырям, если они есть, легче, чем обыкновенным людям; богатыри богатырствуют, а обыкновенные люди живут и работают, и вся главная ноша — их. Нет для Ф. Абрамова людей дороже и ближе, чем они, это братья его и сестры, он рассказывает о них, воскрешает их, не скрывая своей любви, сострадания,

жалости. Эти чувства его неизменны, от них — живое единство всех четырех «пекашинских» романов, от «Братьев и сестер» до «Дома». Он гордится и восхищается этими людьми, чуть ли не всеми; но это — пока война, пока послевоенные зимы и лета, а дальше — уже другая жизнь, отчасти другая мера человеку.

Великая, «неведомого доселе размаху сила двигала людьми» в «Братьях и сестрах». Она «поднимала с лежанок дряхлых стариков и старух, заставляла женщин от зари до зари надрываться на лугу». Так думал райкомовский уполномоченный Лукашин; ему казалось, что эта сила «заглушала голодный крик ребенка»; она могла все. Но даже Лукашин, человек долга и дисциплины, чувствовал по себе, что могущество это не бескрайне: с помыслами и желаниями отдельной человеческой жизни ничего нельзя было поделаться. Жизни всех пекашинских стариков, старух, женщин, детей, подчиненные единой, неумолимой задаче, как бы отчуждаемые во имя высшей, всенародной цели, оставались для них худыми или добрыми, но своими, единственными... И ничто не могло заглушить крик голодного ребенка, плач вдовы, желание любви, надежду на лучшую участь...

Нужно было сказать, как тяжело малым силам человеческим сливаться в великую силу и быть ею, не теряя себя. И писатель сказал это.

Такой ему дан талант: не с шума, не с гула леса начинать, а с голоса отдельного дерева...

Но это был первый роман, опыт рос вровень с романом, и, должно быть, казалось, что романная форма требует от материала жизни каких-то уступок: большей правильности, что ли?

Вроде бы критик Ф. Абрамов уже предупредил прозаика Ф. Абрамова, какие романы и почему никуда не годятся, но вот как писать, чтобы годилось? Где правда, подлинность, и где подобные правды, повторение внешнего и формального, где твой способ говорить и рассказывать, твое понимание жизни, и где инерция благополучного стиля, торжество всепроникающей схемы?

Без некоторой дани этой схеме не обошлось; иногда она так прилепляется к жизни, что кажется, без нее воцарится хаос, и нужно непременно отдать ей должное. Но это была дань первая и последняя.

Колхозный комсорг Настя, «ласковая, обходительная девушка» с «открытым, доверчивым взглядом», написана Ф. Абрамовым как праведница. Она очень правильная и очень добрая. Кажется, она только и ждет случая, чтобы пожертвовать собой во имя общего блага. Но напрасно искать истоки этих свойств в глубине душевного мира Насти, в обстоятельствах ее судьбы; ни глубины, ни

обстоятельств; вся праведность — от социальной роли, от ее должного, идеального исполнения.

Настя погибает на лесном пожаре — таков сюжет; но не потому ли он таков, что праведная Настя безжизненна, бесплотна и ей — легкой тени! — трудно витать в романе дальше рядом с теми, в ком — жизнь, ее тепло, естество, индивидуальность, рядом с Анфисой Петровной, Варварой Иняхиной, Михаилом Пряслиным...

Схема должного давала о себе знать в ряде эпизодов — соревнование колхозных бригад, колхозное собрание, пропагандистская работа Лукашина, заседание бюро райкома. В них была своя логика и своя правда, но облегченная, внешняя. Действующие в жизни силы представляли здесь чересчур однородными, почти безупречными; конфликты разрешались без затруднений, дурные люди (Федулов, Клевакин, Лихачев) выглядели бессильно и жалко. Должное торжествовало самым простым образом, выравнивая людей, их взгляды, интересы, побуждения, опуская противоречия и легко обеспечивая преимущество нравственных, светлых начал.

Позже, в других романах Ф. Абрамова, будут еще не раз изображаться собрания и заседания, заботы и хлопоты председателя колхоза, секретаря райкома, других должностных лиц. Но это будут уже иные собрания, иные заботы, иные люди. И не только потому, что меняются времена, меняющие людей. Изменится взгляд писателя; зрелость прибавит пронизательности, независимости, объективности. Любая жизнь, частная или общественная, сохранит теперь под его пером свое противоречивое, то есть живое, здоровое состояние; схемы должного, эти высокомерные правила по нормализации бытия будут окончательно отброшены.

В «Братьях и сестрах» Ф. Абрамов рассказал, как выгоняли из председателей колхоза болтуна Харитона Лихачева. Это собрание с его «невообразимым шумом» и криком должно было говорить нам о благой силе народного мнения, о беспрепятственно торжествующей справедливости, о неизменно правильном ходе жизни. В романе «Две зимы и три лета» снимают с председателей Анфису Петровну: чересчур жалостлива к своим солдаткам, не по должности жалость. Покорное молчание этого собрания сорок пятого года открывает нам более сложное представление о жизни. Мало радости в этой картине, но жизнь ею не исчерпывается, не завершается, жизнь продолжается, являя простую, но дорогую истину, что справедливость достается трудно и что «правильный ход» жизни — не самый легкий...

Быстро забыли пекашинцы Анфисины труды, Анфисину материнскую доброту, быстро сообразили, что с новым председателем

отныне жить, «из его рук кормиться»! Хорошо еще, стыд не весь вышел и потом возьмет свое, и долго предстоит помнить то собрание Михаилу Пряслину, да и к памяти всего пекашинского мира этот стыд на годы примешан...

Вот собрание, прозаический факт, мероприятие, формальность, говорильня, игра в молчанку — как только не называют в сердцах! — а написано как событие для совести, для души, и след от него глубокий.

Можно очистить память литературного героя от событий такого рода, отнеся все общественные, мирские страсти к временному, преходящему, неподлинному. Так сделал В. Распутин в «Последнем сроке».

Это право художника так понять своего героя, его судьбу, сам акт его сокровенной, последней памяти.

Старуха Анна, а еще прежде Иван Африканович со своей Катериной из «Привычного дела» В. Белова, бабушка Катерина Петровна из «Последнего поклона» В. Астафьева побудили нашу критику сделать вывод о новой духовной оснастке «деревенской прозы» конца шестидесятых — начала семидесятых годов. Не раз говорилось о том, что эта проза преодолела узость «прикладного», остросоциального деревенского очерка пятидесятых годов и в русле лучших традиций реалистической школы утверждает высокое нравственное достоинство русского крестьянства, непреходящую ценность его духовного опыта.

В ту же пору, на стыке шестидесятых — семидесятых годов, увидели свет роман Ф. Абрамова «Две зимы и три лета» (1968) и его повести «Деревянные кони» (1969), «Пелагея» (1969) и «Алька» (1971). По материалу жизни все это было «деревенской прозой», наследовались традиции русского реалистического письма, утверждались высокие нравственные качества русского крестьянства. Однако что-то в романе и повестях Ф. Абрамова мешало критике быть щедрой на хвалу, обычную в таких случаях. Более того, продолжение пекашинской летописи вызвало довольно жесткие споры о том, достаточно ли в романе оптимизма и не преувеличены ли там послевоенные горести... Вообще не припомнить, чтобы книги Ф. Абрамова при своем появлении бывали столь же обласканы критикой, как книги других писателей-«деревенщиков», его молодых сотоварищей, — не в обиду им будет сказано...

В чем же тут дело?

Какое-то объяснение заключено уже в том, что проза Ф. Абрамова началась раньше «деревенской прозы» шестидесятых — семидесятых годов и сохраняет в ней свою идейно-художественную автономию.

Между первым и — на сегодняшний день — последним романом Ф. Абрамова — двадцать лет. Годы разъединяют, но и соединяют книги, их судьбу и смысл. Двадцать лет — это движение и развитие жизни, исторических обстоятельств, страны, собственной личности и таланта. Но нет развития без постоянства. Постоянство Ф. Абрамова — от верности своим убеждениям, от верности реальной действительности в ее живой изменчивости и постоянстве. Сходное, упорное постоянство сближает таких различных писателей, как Ф. Абрамов и В. Быков. Может быть, Ф. Абрамов еще в «Братьях и сестрах», в «Безотцовщине» преодолел узость так называемой прикладной литературы, и было это много раньше всех последующих «преодолений». Но этот писатель не «преодолел» и, судя по всему, не расположен преодолевать той страсти, которая роднит и связывает его с очерковой деревенской прозой пятидесятых годов. Это простая, но сильная страсть — страсть к участию в жизни, в той единственной, твоей и всех, что происходит при тебе, на твоих глазах, в твоём присутствии, и, кажется, нуждается в твоём даре помнить, видеть и слышать, в твоём здравом смысле, чувстве справедливости и ответственности. Не потому ли Ф. Абрамову чужда «робость перед анализом социально-исторических процессов», которую он в своём выступлении на Шестом съезде писателей СССР отнес к «огрехам» «деревенской прозы». Как чуждо и несвойственно ему небрежение злобой дня — народного дня! — или боязливое уклонение в область «духовного» и «вечного». Для Ф. Абрамова хлеб насущный и хлеб духовный растут на одном поле жизни.

Второй роман из пекашинской истории («Две зимы и три лета»), повесть о Пелагее Амосовой, как и давняя повесть «Вокруг да около» (1963), открыли читателям художника, предпочитающего называть вещи своими именами, как бы ни было это порою трудно и больно. Он по-прежнему — или даже еще больше — любил своих героев с Пинеги, любил их небо и землю, весь трудовой уклад их жизни, но любовь не была слепой, неразборчивой. Иллюзии исключались. Задача в том и состояла, чтобы понять, какие это люди, что прошли, чему научились, чем живут и что значит их бытие само по себе и для нас. Жизнь пинежской деревни — как сама жизнь: она существует, заставляет с собою считаться, она такая, какая есть. Она лучше и хуже популярных литературно-критических мечтаний и декламаций об обетованной деревенской земле...

Повесть о Пелагее удивительна полнотой и жесткой исчерпанностью рассказа о человеческой судьбе и человеческой душе. Можно обсуждать эту судьбу, думать об этой душе, но не обнаружить нам в истории Пелагени ни пустот, ни пропусков: все глав-

ное, к чему сводится ее жизнь, увидено, прочувствовано, досказано. Тут и полутораверстный путь от дома за реку, к пекарне — межа Пелагеина, след земной! — двадцать лет почти бегала иль брела с вечным, неостудимым жаром в груди: все успеть, упомнить, никого не забыть, всех ублажить — мужа, дочку, поросенка, корову, сельский народ, ближнюю власть... Тут и пекарня с большими раскрытыми окнами, с теплым хлебным духом, с мучным ларем, с отпотевшими стенами, с квашней, с раскаленной, обжигающей дыханием печью — не утолить потом жажды ни из самовара, ни из реки, не угасить внутреннего огня, — только пасть дома на прохладные половицы и отдышаться... Тут и память о послевоенном голодном скотном дворе, и стыдная плата за хорошую должность — выпался-таки Олеша-рабочком на золотых волосах будущей пекарихи! — и Пелагеино возвышение в сельском мире, вершина счастья, и крутой спуск под гору — к болезням, бегству дочери, к смерти... Целая жизнь.

Писали, что все растрчены этой женщиной великие и прекрасные силы. Но что значит — все? О каких несбыточно высоких вариантах судьбы сожалеем мы в таких случаях? Откуда им было взяться? Эта женщина получила право печь хлеб и пекла его хорошо; она не жалела сил, чтобы хлеб всегда нравился людям; она не забывала набахтать в ведро с помоями теста — для поросенка; она также не забывала приберечь буханку для сильных мира ее; такое было несытное время, и эта женщина, русская крестьянка, защищала, как могла, как научилась, жизнь в своем доме, жизнь семьи, дочери и мужа, работавшего в колхозе «безотказно, как лошадь», и не получавшего почти ничего.

Копить отрезы, шали, платья, плюшевки, барахло, гордиться им — это, конечно, все. Но разве «виновата она, что треть жизни своей голодала? В тридцать третьем году у кого померли отец и брат с голодухи? А во время войны? А после войны, когда на ее глазах исчах ее сын, ее первенец? И был один во все эти годы товар, на который можно было достать кусок хлеба, — тряпки». Она думала, что «не ситец, не шелк в сундуки складывает, а саму жизнь. Сытные дни про запас. Для дочери, для мужа, для себя...»

Выгадывать, устраивать, тщиться — это тоже, разумеется, все, но не ею, деревенской бабой, начато и заведено.

А вот защищать жизнь, рвать жилы в работе — все ли? На это, бывает, уходят, истрачиваются до конца действительно великие и прекрасные человеческие силы...

Но что-то все-таки остается — пусть брошен, заколочен перемогший столько бед дом, — остается еще Пелагеина межа и память о мозоли во все правое плечо Пелаген: потаскала за свою жизнь кузов с травю...

Пелагея была в мать; за три дня до смерти та просила у дочери работы: «Дай ты мне чего-нибудь поделывать. Я ведь жить хочу».

Для умирающей крестьянки продолжение работы означает продолжение жизни. Она убеждена, что работать — значит жить. Работать — значит оставаться полезной, облегчать дело жизни своим близким, родным, всем, кого любишь.

Из отношения к труду в нашем обществе вырастает — или сообразуется с ним — все остальное. Это похоже на пропись: известно, что труд — всему голова, что труд — дело чести. Что ж, если это и пропись, то воплощенная пропись здорового мира, его надежное, твердое основание.

«Вокруг да около» рядом с «Пелагеей» — лишь отрывок из жизни, эпизод, избранный, обособленный в публицистических целях. Нужно было объяснить, почему можно стоять на августовском, приречном лугу «как на пытке» и что такое — «сенная погибель»? Нужно было сказать: вот человек ищет и находит выход из абсурдного, отчаянного положения; отвергайте, осуждайте этого человека, но знаете ли вы другой выход, ваш-то выбор каков?

Непогода в деревенских очерках издавна обостряет конфликты; дожди льют и здесь, у Ф. Абрамова, и тринадцатый послевоенный председатель колхоза Ананий Егорович, терзаемый на том лугу запахами подгнивающего сена, знает: еще два дня — и на ста двадцати пяти гектарах они не возьмут ничего. И, кажется, никому нет дела, сгниет — и ладно.

Опрокидывается здравый смысл, разрушается твердь — самые основы земледельческой жизни: пропадает труд, бесценное добро, «полный разор колхозу», и — хоть бы что, не вытащить людей из дому.

Внешне спокойное, неспешащее повествование — председатель ходит по избам, просит, уговаривает, стыдит, думает, вспоминает — полно нарастающей напряженности. Нарастающей горечи и решимости. То, чем занят Ананий Егорович, похоже на то, как в который раз связывают рвущуюся веревку...

Вина не перелagается писателем на чьи-то одни плечи; тут вина едва ли не на всех, старая, полузабытая или новая. И вместе бы надо искать выход. По сути, они и находят его вместе — председатель и колхозники. Находят — на сегодня. А завтра? Что будет завтра? Вопрос оставался открытым.

Авторская тревога за судьбу своих героев, за их умонастроение показалась в свое время чрезмерной и необоснованной. Годы подтвердили правоту писателя: принцип материальной заинтересованности в сельском хозяйстве благодаря усилиям партии давно уже действует и совершенствуется. Было понято: что толку хо-

дить «вокруг да около», когда нужно перво-наперво действительно заинтересовать людей, вернуть труду его цену и смысл. Однако давняя тревога рассеялась не до конца. По-новому отозвалась она в «Доме», романе о наших, семидесятых.

Чувство беспокойства и неудовлетворенности, живущее в романе, связано с меняющимся отношением пекашинцев к своему крестьянскому труду. С разрастанием в нем формального, бездуховного элемента, с ослаблением или утратой инициативного, хозяйского начала.

За что не любят ныне в Пекашине бывшего своего любимца Михаила Пряслина? Да за работу! «Больно на работу жаден. Житья людям не дает»,— объясняет Лиза Пряслина.— «Третий год сено в одиночку ставит... Раньше ведь как робили? До упаду. Руки грабли не держат— веревкой к рукам привяжи да греби. А теперь как в городе: семь часиков на лугу потыркались— к избе. А нет— плати втридорога. Ну а Михаил известно: сам убьюсь и другим передыху не дам. Страда!.. Так, так теперь у нас... Раньше людей работа мучила, а теперь люди работу мучают...»

Какой беспокойный, тревожащий душу писатель! Но что поделаешь, если его книги сохраняют и передают живое неудобство жизни, ее истины, которой— вспомним А. А. Ухтомского— никогда не стать подушкой для успокоения.

Может показаться, что практические, злободневные, сугубо материальные заботы так занимают писателя и его героев, что теснят и умаляют собственно духовное бытие. Но представления о «духовности» и «духовном» иногда страдают излишней отрешенностью от обыденного содержания человеческой жизни и даже противопологаются ему. Будто духовное— это некое свободное парение и его не достают тяжелые запахи земли. Художественный мир Ф. Абрамова духовно значителен, но начинается он неизменно от земного трудящегося человека.

Кажется, вот узкоутилитарный, хозяйственный вопрос: как остановить списывание пашни в срединной и северной России? Очерк «Пашня живая и мертвая» (1978), написанный Ф. Абрамовым совместно с Антонином Чистяковым, насыщен цифровыми выкладками, фактами, разговорами с разными людьми, ссылками на старину, на законы, на русскую литературу. И все ведет к выводу: «Нет сейчас более острой и трудной проблемы, чем проблема возрождения русского поля».

Возрождение русского поля... Нет, не только о том мысль, чтобы в таких-то и таких-то совхозах Новгородчины хозяйствовали рачительнее и перестали списывать бывшие пашни. Тут не цифры, как бы ни были они печально красноречивы, ядро очерка. Тут

важнее всего, что нет для авторов земли пустой, бросовой, беспамятной. Нет земли ничьей. Это все «наша земля», повидавшая за свою многовековую историю «немало лиха», пропитанная «потом и кровью» в годы войны. Списывать землю — списывать заодно «и веру людей в труд на земле», списывать память о тех, кто отобрал эту землю у лесов, расчистил, вспахал, кормился сам и кормил других...

А это уже из романа, из «Дома»: «Исчезли поля, исчезли бесчисленные пекашинские навины, тянувшиеся на целые версты, а вместе с ними исчезла и пекашинская история (разрядка наша. — И. Д.). Потому что какая у Пекашина история, ежели забыть Калининку пустошь, Оленькину гарь, Евдохин камешник, Екимову плешь, Абрамкино притулье и еще много-много других полей-раскопок?»

Михаил Пряслин проламывался через осинники и березняки на месте полей и «чувствовал себя виноватым» «перед всеми пекашинцами, которых он знал вживе и которых не знал, которые жили задолго до него, сто и триста лет назад...».

Клгда человек так чувствует и с этим чувством судит свою жизнь, то это, должно быть, и есть духовное бытие.

Богатство русского поля — в понимании Ф. Абрамова — проблема не столько хозяйственная, сколько нравственная и духовная. Мысль о возрождении земли давно уже одна из центральных в художественном мире писателя. Судьба его героев, жизнь их памяти и чувства неотделимы от судьбы русского поля. История поля — их общая история. Поле как бы выше корысти человека, оно — для всех, и это осознается: «Я... российское дело (разрядка наша. — И. Д.) делаю, землю из-под леса добываю».

Память о крепких людях, делавших «российское дело», оживает в рассказе «Медвежья охота». «Не сама же Россия распахивалась... — говорит там один из охотников. — Кто-то ее расчищал от лесов, от дебрей». Но память о крепких людях — старике Корнее и его семи сыновьях — глуха и горька; то ли это был еще, то ли уже легенда; время постаралось, разгулялось, лишь дом Корнеев устоял, где ночуют охотники, да родничку ничего не сделалось. И слышится рассказчику в тишине «странный шемящий звук», словно родничок «взывает» к ним, к прохожим, к новым людям...

Расчистка — да это же начало всего северорусского крестьянского мира, начало каждого крестьянского рода, пора неистового труда и заветных надежд... Ф. Абрамов рассказывал о продолжении жизни, но память о началах была для него и его героев святой памятью.

Старый пекашинец крепкой породы Степан Андреянович Став-

ров вспоминает однажды, как «рвал» себя на расчистке, как пни корчевал по ночам «при свете костров», как жена «шастала, шастала», оттаскивала сучья, а «потом вдруг уползла в кусты, к ручью, а вышла оттуда уже с ребенком на руках...». И Милентьевна в «Деревянных конях» несет в себе память о таких же кострах, потому что не кому-нибудь, а ей выпало стать «закоперщицей» расчисток в мужниной диковатой деревне, где жили охотники да рыбаки...

Мало легкого в такой памяти, но есть в ней свет, ясный и чистый. Потому что дело было праведным. И когда оно сделано, то есть за что уважать себя.

Ну, а о чем думала Милентьевна, когда ходила на родную Богатку, на заросшие лесом пожни, где свекор ее «до ста возов сена» ставил,— нам не узнать: молчаливая, сдержанная она старуха...

Зато ее невестка рта не закрывает. Она-то и выкладывает рассказчику всю историю Милентьевны, дивясь, сострадав и восхищаясь: вот какая она у нас, вот что повидала-пережила! Так возникают в рассказе рядом: тихая, строгая старуха с осиновым батожком и ее далекая, отстоявшаяся до прозрачности легенды, молодая жизнь.

Пожалуй, только в рассказах от первого лица («Деревянные кони», «В Питер за сарафаном», «Однажды осенью» и др.) Ф. Абрамов так безоглядно поддается впечатлению от человека. Вроде бы и встреча с этим человеком, и разговор с ним или о нем мимолетны, случайны, дорожны, но довольно и этого, если ты поверил, если увидел, почувствовал то, о чем тоскуешь, что ищешь... Мудрость ли, чистоту незапятнанную или еще что...

Когда-то Н. С. Лесков искал по русской земле праведников, хотя бы тех трех, без которых не стоит ни один город... Если городу без праведников не стоять,— рассуждал он,— то как же устоять без них целой земле? Не дрянью же она держится?

Не знаем, ищет ли Ф. Абрамов праведников, но он верит, что они существуют. Комсорга Настю, погибшую на пожаре, он писал с этой верой. Милентьевну — убежденно, как бесценный реликт жизни.

Все «опостылело» рассказчику после отъезда Милентьевны, все деревенские его занятия показались «какой-то игрой, а не настоящей жизнью», захотелось вернуться в свой мир, «работать, делать людям добро». «Делать так, как делает его и будет делать до своего последнего часа Василиса Милентьевна, эта безвестная, но великая в своих деяниях крестьянка из северной, лесной глухомани».

В Милентьевне писатель находит урок своеобразного достоинства, соединившего в себе кротость, великое терпение и твер-

дость. Многие беды не сломили, не приручили этот «кремневый характер». Кажется, она из тех редких людей, кто не изменяет в жизни своей ни делу, ни слову, ни совести. Будто и родилась не ради себя, а ради кого-то еще, ради ближних своих... И как начала с далеких костров на Богатке служить им, так и служит... И только смерть может прервать это служение, эту самоотдачу.

Но доведись Милентьевне попасть в роман, все обстояло бы много сложнее. Никто бы не говорил там о ее «великих деяниях» и «великом терпении». Она жила бы день за днем в своей Пижме или еще где-нибудь, в том же Пекашине, и будничный свет смягчил бы ее черты, и, может быть, нам открылось бы бесценное: и то, что она думала на заросших пожнях, и как вообще понимала свою и чужую жизнь, и какова изнутри эта кремневая твердость, и чего она стоила женской, материнской душе...

Таланту Ф. Абрамова-художника, думается, чужда идеализация чего бы то ни было, даже очень дорогого. Если же иногда ее можно почувствовать, заметить какие-то романтические преувеличения, то повинна тут публицистическая страсть. Это она замещает ровный голос рассказчика лирическим голосом автора, не таящим своих привязанностей, упований и символа веры. Но у художника нет бога выше жизни, а жизнь остужает пыл наших пристрастий; она ищет воплощения всей силе своей и слабости, всему, что очаровывает и разочаровывает в человеке, ввергает в отчаяние и позволяет надеяться... Так в лучших романах и повестях Ф. Абрамова; худо бывает его героям, трудно им порой сохранять достоинство и присутствие духа, кротость и терпение не всегда красят, да и «лесеть» они могут, как те поля и пожни. Но надежда на человека, на его духовную силу никогда не оставляет писателя.

В «Доме» в благополучные, тихие времена Лиза Пряслина «со сладким замиранием сердца» вспоминает далекое прошлое: как «страдали они, Пряслины, свою первую страду», как вышли «мал мала меньше» на пожню, и косарей-то не видать... Да одна ли она вспоминает? «А старухи, вдовы солдатские, бедолаги старье?.. Уж их-то, кажись, от одного поворота головы должно бросать в дрожь и немочь». Так нет же, вспоминают, обливаются «горючей слезой» и дивятся — «себе, своим силам», «той праведной и святой жизни, которой они тогда жили». Забылись «все дрязги, все свары», осталось одно чистое и светлое. Никто их не канонизирует, так они сами себя: «тогда не люди — праведники святые на земле-то жили».

Евсей Мошкин, горестный пекашинский философ и пастырь, рассуждая на знакомую, старую тему: на ком земля держится? скажет: «И на Михаиле держится, и на Лизавете держится».

Словом, на Пряслиных держится. Во всяком случае, с них Евсей Мошкин начинает свой счет праведников...

Почему бы и нам вслед за стариком Мошкиным, который судьбой научен разбираться в человеческих делах и душах, не поверить, что земля наша держится именно так?

Впрочем, какой из Михаила Пряслина праведник?

Анфису Петровну, вторую мать свою, в трудную минуту, можно сказать, предал; Тимофею Лобанову не поверил, орал на него — не жильца уже! — власть показывал; Лизку свою, бесценную, этому шалопуту-летуну Егорше отдал не потому ли, что тот корову посулил в опустевший пряслинский двор привести... А кто ту же Лизку с малыми детьми от себя отринул, едва ли не проклял, словно святоша какой, ангел карающий? А в ком ни покоя, ни лада нет, всё — в крик, всё — в ор, всё — на дыбы? А кто сам про себя говорит: «темнота пекашинская»?

Не годится Михаил Пряслин в праведники. Как и в богатыри. Слишком он живой человек. Слишком земной. Слишком нашенский — из нашего времени, из нашего исторического срока.

Но на таких-то и держится земля. И пекашинская, и окрестная, и дальняя.

Можно было бы назвать Михаила Пряслина привычнее: героем нашего времени. А почему бы нет?

«Дом» завершён тем, как Михаил вспоминает последние слова отца.

О прощании с отцом, уходящим на фронт, рассказано в «Братьях и сестрах»: отец зачем-то увел Мишку от крыльца за амбар, в огород, смотрел на Мишку, хотел что-то сказать, но окликнула, позвала мать, и уже у калитки отец «привлек к себе Мишку и, заглядывая ему в глаза, спросил: „Ты понял меня?.. Понял, сынок?“»

Только теперь, тридцать лет спустя, Михаилу кажется, что он наконец-то понял отца.

Два пекашинских романа имеют названия необязательные: «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья». Но начат цикл «Братьями и сестрами», закончен — «Домом». И тут уже нет случайных слов, тут связь и единый смысл.

Дом — не это ли имя тому, что так долго ускользало от Михаила в словах отца?

Но будем справедливы: он понял отца своей мальчишеской ясной душой еще тогда, в сорок втором. Под плач Лизки он занял опустевшее навсегда место отца за столом. Он стал хранителем и защитником дома: матери, братьев и сестер. И началась беспощадно-взрослая жизнь: «сено — дрова, дрова — сено», с лесозаготовок на сенокос и обратно в лес. Потом пришел час, когда

он понял, что есть дом и побольше его дома, и он тоже надеется на него, Мишку. «Без Егорши-то мы проживем, а без тебя... не зная... — призналась ему Анфиса Петровна. — Потерли маленько. Большие терпели». Так он и вытерпел, выстоял за первого мужика Пекашина всю войну...

Это позже, в горькую минуту Михаил подумает: а чем вспомнится ему молодость? «Как корову кормил? Как кусок хлеба добывал?» Но горькая минута проходит, и он опять кормит корову и добывает кусок хлеба.

Что это — врожденное чувство ответственности? любви? жалости? Или иначе — здоровье души? Или здесь действует духовная сила, заставляющая забывать себя ради других, проявляются высокие гражданские качества героя?

Всю Россию исколесил Егорша Суханов-Ставров, погулял вволю, всю жизнь ухнул на гулянье, а вернулся — негде голову преклонить. Какой живой, неунывающий был парень, а только вот любил ли кого? Дом свой?

И Алька Амосова думает, что она свободная птица. Что такое Дом, она еще не понимает. Родина, изба заколоченная, бубнящие смешные старухи, следы недавней родительской жизни волнуют и томят ее, но удержать, привязать не могут. И мало надежды, что дом дождется ее возвращения.

Писатель не щадит бездомных своих героев, поверивших в легкую жизнь, но он их остро жалеет в иные мгновения, и позднее мучительное образумление уготовано Егорше...

«А между прочим, Россия-то из домов состоит... Да, из деревянных, люди которые рубили...»

Кому говорит Михаил эти слова? Брату Петру, старому большевику Калине Ивановичу, Егорше? Или достают они дальше, напоминают, бередают?

У Калины Ивановича была другая идея жизни: «Я за свой дом не держался... Мне вся страна домом была». Но Михаил с Калиной Ивановичем не спорит, ему эта идея понятна, потому что в этом большом родном доме Калина Иванович и его Евдокия-великомученица искали всю жизнь не теплого, богатого угла, а еще одной возможности истратить себя, отдать, сжечь во имя неслыханного, всеобщего, народного счастья.

Ну, а что уговаривать брата Петра? Он уже возится в старом пряслинском, родительском доме, чинит, колотит, словно собирается вернуть, возродить то, что так крепко соединяло всех Пряслиных в страшные, бедственные годы. Да вот затеял еще поднять на дом ставровского деревянного коня — память о Степане Андреевиче, знак верности чему-то издалека идущему, что не должно исчезнуть...

Хороши новые хоромы Михаила, но есть еще дом души — Евсей Мошкин тому учил, — и ни мира там, ни покоя. И в доброй Лизьиной душе, одинокой и виноватой, — откуда мир? А больной брат Григорий, вздрагивая от каждого резкого слова, зря, что ли, плачет, словно за них за всех, словно их общую боль и усталость чувствуя и переживая? Вот почему от себя и от Григория сказал Петр Лизе: «Мы не судьи тебе, сестра, а братья». Он хотел, чтобы она знала: они по-прежнему братья и сестры в одном родном доме.

Некоторые истины издавна давались Михаилу Пряслину трудно; жизнь била его, и тогда он кое-что с запозданием понимал. И на этот раз только несчастье с Лизой заставило его опомниться: он же старший брат, ее защитник, это ему завещано отцом...

Не хочется думать, что Михаил Пряслин уже не молод и Лиза не молода. И Анфису Петровну не узнать, — болезни замучили. И Лукашина Ивана Дмитриевича давно нет, и Анны Пряслиной, и Петр Житов уже не тот, и Евсей Мошкин доживает свое, как может. Годы, годы, время спешит, жизнь тает, перемена в лицах, смена в поколениях... Был Лукашин Иван, теперь Родька Лукашин, вот старый Илья Нетесов обихаживает родные могилки, уже полуприсутствуя здесь, а вот молодой Нетесов Виктор в начальники пекашинские выходит... Новые люди подрастают, новые герои еще неизвестного романа жизни. А старые люди и старые герои освобождают им место. Время прощания: с Подрезовым, срубленным болезнью под корень; с Евсеем Мошкиным, уставшим жить в одиночестве, без смысла; с Калиной Дунаевым, чьи силы просто иссякли.

Смерть Мошкина и Дунаева — события в романе, и несоизмеримы лишь внешне. Написаны два человеческих конца, очень несхожих, почти полярных: один — под песню гражданской войны, под шелест красных знамен, под гром воинского салюта; другой — тихий, незаметный, почти добровольный, как бы в сторонке. Ни Мошкин, ни Калина не построили себе хором, не скопили богатств, не взлетели высоко, ничего не стяжали, кроме доброй молвы. Не для себя, выходит, старались, не выгодной идее служили, а знали какую-то высокую, бескорыстную веру и ради нее страдали. Два пути; ничего вроде бы общего, небо и земля, но в обыденном понимании пекашинцев эти люди друг другу чем-то сродни, в их образе жизни что-то пересекается и даже сходится. Или это страстное желание счастья для трудящегося народа? Или совесть? Или то, что называют заступничеством? Или воодушевленность мечтой о грядущем человеческом согласии и братстве?

Какой бы это вышел Дом, если б забытыми оказались Калина Иванович со своей Евдокией-великомученицей? Какой бы это был Дом, если б незамеченным остался Евсей Мошкин? Ну, а без кру-

того руководителя района Подрезова, без Лукашина-председателя, без вечного уполномоченного Ганичева, без бойца трудфронта Митрия Репишного, без немецкого пленника Тимофея Лобанова — разве похожим вышел бы тот Дом?

Федору Абрамову, как художнику-реалисту, как современнику своих героев, дорого все население Дома. Он стремится к воспроизведению и постижению всего исторического, а значит — социального и психологического состава жизни. От романа к роману пекашинские рамки сохранялись, действие ни в какие дали не переносилось, но духовное пространство, охваченное всем циклом, становилось все вместительнее и полнее. Оно вбирало все новый и новый человеческий опыт, прошлый и настоящий, опыт пекашинский и через него — общенародный. Это духовное пространство неоднородно и потому богато разными возможностями; как важнейший элемент в него входит авторское убеждение в том, что в народном опыте, в своем народе — «ради его же блага, ради его духовного здоровья» — нужно видеть «наряду с истинно великим и его слабости, его недостатки».

Может быть, «Дом» — книга итогов, книга прощаний и возвращений. Во всяком случае, для Пряслиных — самое время оглядеться, кому одуматься, кому опомниться, и собраться всем вместе. Да и для всех пекашинцев время итогов: как жили, как живем, как жить дальше? И для автора — пора итоговой художественной мысли, связывающей все пекашинские начала и концы, все пути-перепутья, все зимы и лета. Но итоговая мысль истинного художника — всегда открытая мысль: для продолжения, для развития, для возбуждения новых мыслей... Итоги подводятся не ради итогов, а ради нового движения жизни.

Романы Ф. Абрамова вместили множество больших и малых событий, характеров, судеб. Они представляются нам одним из самых объективных художественных изображений жизни, трудового и патриотического подвига советской деревни в военные и послевоенные годы. Попеременно представляя многие углы зрения — то добрейшей Лизы Пряслиной, то неизменно серьезного и честного Лукашина, то непреклонного, безжалостного к себе и другим Подрезова, то лихого, беспардонного Егорши, то главного своего героя Михаила Пряслина, — писатель добился редкой для нашей прозы полноты и сложности жизненной картины. Другие произведения Федора Абрамова, восполняя эту картину, делают ее еще более объемной, исторически конкретной и неопровержимо подлинной.

Игорь Дедков

***Братъя
и сестры***

РОМАН

Помню, я чуть не вскрикнул от радости, когда на пригорке, среди высоких плакучих берез, показалась старая сенная избушка, тихо дремлющая в косых лучах вечернего солнца.

Позади был целый день напрасных блужданий по дремучим зарослям Синельги. Сенá на Верхней Синельге (а я забрался в самую глушь, к порожистым перекатам с ключевой водой, куда в жару забивается хариус) не ставились уж несколько лет. Травища — широколистый, как кукуруза, пырей да белопенная, терпко пахнувшая таволга — скрывала меня с головой, и я, как в детстве, угадывал речную сторону по тянувшей прохладе да по тропам зверья, проложенным к водопою. К самой речонке надо было проламываться сквозь чащу ольхи и седого ивняка. Русло ее перекрестило мохнатыми елями, пороги заросли лопухом, а там, где были широкие плеса, теперь проглядывали лишь маленькие оконца воды, затянутые унылой ряской.

При виде избушки я позабыл и об усталости, и о дневных огорчениях. Все тут было мне знакомо и дорого до слез: и сама покосившаяся изба с замшелыми, продымленными стенами, в которых я мог бы с закрытыми глазами отыскать каждую щель и выступ, и эти задумчивые, поскрипывающие березы с ободранной берестой внизу, и это черное огневище варницы, первобытным оком глянувшее на меня из травы...

А стол-то, стол! — осел, еще глубже зарылся своими лапами в землю, но все так же кремнево крепки его толстенные еловые плахи, тесанные топором. По бокам — скамейки с выдолбленными корытцами для кор-

межки собак, в корытцах зеленеет вода, уцелевшая от последнего дождя.

Сколько раз, еще подростком, сидел я за этим столом, обжигаясь нѣмудреной крестьянской похлебкой после страдного дня! За ним сиживал мой отец, отдыхла моя мать, не пережившая утрат последней войны...

Рыжие, суковатые, в расщелинах, плахи стола сплошь изрезаны, изрублены. Так уж повелось исстари: редкий подросток и мужик, приезжая на сенокос, не оставлял здесь памятку о себе. И каких тут только знаков не было! Кресты и крестики, ериштые елочки и треугольники, квадраты, кружкѣ... Такими вот фамильными знаками когда-то каждый хозяин метил свои дрова и бревна в лесу, оставлял их в виде зарубок, прокладывая свой охотничий путик. Потом пришла грамота, знаки сменили буквы, и среди них все чаще замелькала пятиконечная звезда...

Припав к столу, я долго разглядывал эти старые узоры, выдувал травяные семена, набившиеся в прорези знаков и букв... Да ведь это же целая летопись Пекашина! Северный крестьянин редко знает свою родословную дальше деда. И может быть, этот вот стол и есть самый полный документ о людях, прошедших по пекашинской земле.

Вокруг меня пели древнюю, нескончаемую песню комары, тихо и безропотно осыпались семенники перезрелых трав. И медленно, по мере того как я все больше и больше вчитывался в эту деревянную книгу, передо мной начали оживать мои далекие земляки.

Вот два давнишних полуискрошившихся крестика, вправленных в веночек из листьев. Должно быть, когда-то в Пекашине жил парень или мужик, который и букв-то не знал, а вот поди ж ты — сказалась душа художника. А кто оставил эти три почерневших перекрестья, врезанных на диво глубоко? Внизу маленький продолговатый крестик, прочерченный много позже, но тоже уже почерневший от времени. Не был ли человек, носивший родовое знамя трех перекрестий, первым силачом в округе, о котором из поколения в поколение передавались были и небылицы? И как знать, может, какой-нибудь пекашинский паренек, много-много лет спустя, с раскрытым ртом слушая восторженные рассказы мужиков о необыкновенной силе своего земляка, с сожалением поставил крестик против его знамени...

Весь захваченный расшифровкой надписей, я стал искать знакомых мне людей. И нашел. ЛТМ. Буквы были вырезаны давно — может, еще тогда, когда Трофим был безусым подростком. Но удивительно: в них так и проглядывал характер Трофима. Широкие, приземистые, они стояли не где-нибудь, а на средней плахе столешницы. Казалось, сам Троха, всегда любивший поддать товар лицом, топал посередке стола, по-медвежьби вывернув ступни ног. Рядом с инициалами Трофима размашисто и твердо выведены прямые С С А. Тут уж нельзя было не признать широкую натуру Степана Андреевича. А Софрон Игнатьевич, тот, как и в жизни, обозначил себя крепкими, но неказистыми буквами в уголку стола.

У меня особенно потеплело на сердце, когда я неожиданно наткнулся на довольно свежую надпись, вырезанную ножом на видном месте: М. Пряслин 1942. Надпись была выведена уверенно и по-мальчишески крикливо. Нате, мол,— на Синельгу пришел новый хозяин, который не какие-то палочки да крестики или жалкие буквы может поставить, а умеет расписаться по всем правилам.

1942 год. Незабываемая страда. Она проходила на моих глазах. Но где же главные страдницы, потом и слезой омывшие здешние сенокосы? Ни одной женской надписи не нашел я на столе. И мне захотелось хоть одну страничку приоткрыть в этой деревянной летописи Пекашина...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Зимой, засыпанные снегом и окруженные со всех сторон лесом, пинежские деревни мало чем отличаются друг от друга. Но по весне, когда гремучими ручьями схлынут снега, каждая деревня выглядит по-своему. Одна, как птичье гнездо, лепится на крутой горе, или щелье по-местному; другая вылезла на самый бережок Пинеги — хоть из окошка закидывай лесу; третья, кругом в травяных волнах, все лето слушает даровую музыку луговых кузнечиков.

Пекашино распознают по лиственнице — громадному зеленому дереву, царственно возвышающемуся на отлогом скате горы. Кто знает, ветер занес сюда летучее семя или уцелела она от тех времен, когда тут шумел еще могучий бор и курились дымные избы староверов? Во всяком случае, по загуменью, на задворках, еще и теперь попадают пни. Полуистлевшие, источенные муравьями, они могли бы многое рассказать о прошлом деревни...

Целые поколения пекашинцев, ни зимой, ни летом не расставаясь с топором, вырубали, выжигали леса, делали расчистки, заводили скудные, песчаные да каменистые пашни. И хоть эти пашни давно уже считаются освоенными, а их и поныне называют новинами или навинами. Таких навин, разделенных перелесками и ручьями, в Пекашине великое множество. И каждая из них сохраняет свое изначальное название. То по имени хозяина — Оськина навина, то по фамилии целого рода, или печища по-местному, некогда трудившегося сообща, — Иняхинские навины, то в память о прежнем властелине здешних мест — Медвежья зыбка. Но чаще всего за этими названиями встают горечь и обида ра-

ботяги, обманувшегося в своих надеждах. Калинкина пустошь, Оленькина гарь, Евдохин камешник, Екимова плешь, Абрамкино притулье... Каких только названий нет!

От леса кормились, лесом обогревались, но лес же был и первый враг. Всю жизнь северный мужик прорубался к солнцу, к свету, а лес так и напирал на него: глушил поля и сенные покосы, обрушивался гибельными пожарами, пугал зверем и всякой нечистью. Оттого-то, видно, в пинежской деревне редко кудрявится зелень под окном. В Пекашине и доселе живо поверье: у дома куст — настоится дом пуст.

Бревенчатые дома, разделенные широкой улицей, тесно жмутся друг к другу. Только узкие заулки да огороды с луком и небольшой грядкой картошки — и то не у каждого дома — отделяют одну постройку от другой. Иной год пожар уносил полдеревни; но все равно новые дома, словно ища поддержки друг у друга, опять кучились, как прежде.

Весна, по всем приметам, шла скорая, дружная. К середине апреля на Пинеге зачернела дорога, уставленная еловыми вешками, засинели забереги. В темных далях чернолесья проглянули розовые рощи берез.

С крыш капало. Из осевших сугробов за одну неделю выросли дома — большие, по-северному громоздкие, с мокрыми, потемневшими бревенчатыми стенами. Днем, когда пригревало, в косогоре вскипали ручьи и по деревне волнуяще расстирался горьковатый душок оттаивших кустарников...

В правлении колхоза уже с час ждали председателя. Люди успели переговорить и о последних сводках Совинформбюро, и о письмах земляков с фронта, посетовали, что от союзников все еще нет подмоги, а председателя не было.

Наконец на улице раздался конский топот.

— Едет наш Еруслан, — сказал кто-то со вздохом.

Шум и грохот на лестнице, визг половиц в коридоре — и в контору не вошел, а влетел коренастый мужчина в кубанке, лихо заломленной на самый затылок, в стеганке защитного цвета, туго перетянутой военными ремнями. Нахлестывая плеткой по голенищу, словно расчищая себе дорогу, он стремительно, враскачку, про-

шагал к председательскому столу, бегло окинул колхозников лихорадочно блестевшими глазами.

— Заждались? Ничего, привыкайте — время военное. Понятно? А где бригадиры номер три и четыре?

— Они, Харитоша, еще давеча ушли...

Председатель резко повернул голову к своему посылному — маленькому, худенькому, как замороженный подросток, старикану, которого в деревне любовно называли Митенькой Малышней.

— Сколько тебе говорено, что здесь нет Харитоши, а есть товарищ Лихачев?

Малышня, возившийся с дровами у печки, виновато заморгал кроткими, голубиными глазками.

— Сейчас же доставить!

Малышню как ветром выдуло из конторы.

Лихачев бросил на стол плетку, смахнул пот с жесткого, изрытого оспой, как картечинами, лица и открыл заседание:

— Какую обстановку видим на дворе? Наступающую весну! Генеральная линия — сев. Понятно? Я зачну сегодня без всякой политической подкладки — прямо с голой картины колхоза...

Люди недоверчиво переглянулись. Все по обыкновению приготовились слушать очередную речь председателя о международной обстановке, о положении на фронтах, его нескончаемые сетования на разнесчастную судьбу, обрекшую его воевать в тылу с бабьем.

— А картина эта... — Лихачев поморщился. — Ежели говорить критически, табак, а не картина! Знамя, где, спрашиваю, знамя? В переднем углу в «Красном партизане» Проньке Фролову затылок греет. А почему? Через что лишились? Хлеб в прошлом году упустили под снег? Упустили. Сенокос до ста не дотянули? Не дотянули. Ежели так катиться дальше — это в наше-то героическое время!.. — Лихачев сделал паузу. — Бригадиры, докладите подготовку к севу.

Бригадиры молчали. По конторе, путаясь в золотой россыпи апрельского солнца, сизыми волнами расстился чад самосада.

Лихачев властно сказал:

— Бригадир номер один, говори!

Федор Капитонович пожал узкими плечами, не спеша встал:

— По нынешним временам — я так понимаю — тер-

пимо. Семена на всходы пробованы, без плугов да борон тоже в поле не выедем — это уж как всегда. Ну а ежели в части навоза и маловато, да опять же война — понимать надо.

И Федор Капитонович, со значением посмотрев на колхозников, сел.

В глазах Лихачева мелькнула растерянность:

— Что ты мне портянку жуешь? Плуги, бороны.. Пронька Фролов за тебя позор смывать будет? Товарищ Сталин как сказал? Перестроить всю работу на военный лад! Понятно? Сроки — вот об чем речь.

— Это уж как стихея, товарищ Лихачев, — развел руками Федор Капитонович. — Будет тепло — раньше прикончим, а ну как сиверок? Опять же сила наша.. Колхозников-то натуральных — раз, два и обчелся..

— Это каких таких натуральных? — недоверчиво спросил Лихачев.

— Стало быть, так: по нашей деревне на войну десятков шесть взято. А кто остался? Старой да малой, да баба, как говорится по отсталости..

Лихачев крикнул в знак одобрения.

— А площадь? — продолжал неторопливо Федор Капитонович. — А площадь как были, так и остались. Вот и получается: семена-то в землю втолочим, а что соберем? Да ведь это разор колхозу и всей державе!

— Выкладывай! — поощрительно мотнул головой Лихачев, которому за многоречивым петлянием бригадира, видимо, почудилось какое-то важное предложение.

— Это к чему ты клонишь, Федор Капитонович? Посевы сокращать? Так понимать надо?

Взгляды всех обратились к черноглазой женщине в белом платке, сидевшей у окна рядом с молоденькой девушкой.

Федор Капитонович живехонько вскочил на ноги, всплеснул руками:

— Да что ты, бог с тобой, Анфиса Петровна! Такое скажешь — «посевы сокращать». Как можно? Об этом и думать не смей! — И Федор Капитонович строго и назидательно потряс дожелта прокуренным пальцем. — А вот ежели бы дальние поля на годик-другой в пары пустить — это другое дело.

— Что-то мудрено говоришь, Федор Капитонович, — опять подала голос Анфиса. — А по мне что пары на два года разводить, что посевы сокращать..

— Это категорически не годится! Понятно? — отрезал Лихачев.

— Ведь вот народ, завсегда переиначат,— с обидой покачал головой Федор Капитонович. — Тут думаешь, как колхозу честь возвратить, а они же тебя и обвинят... Площадя сокращать — грому-то сколько! А подумала ты, Анфисьюшка, что такое площадя, с чем их едят-кушают? Ну хорошо же, растолкую я тебе... Мызы да навины у нас — считай, песок да камень. А при теперешнем уходе — и вовсе погибель наша. А вот ежели получше за ближние поля взяться — картина сразу взиграет, все пары окупятся. Сами знаете, хорошая овца трех худых заменит... И еще скажу... — тут Федор Капитонович, проворно оглянувшись вокруг, снизил голос до шепота: — Люди здесь свои, радетели колхоза... Налоги-то с площадей платить. А с умом повести дело — дальние навины списать можно. В районе тоже люди, и к ним подход найдется.

— Правильно... Надо и о себе подумать. С чем год жить будем? — раздалась несмелые голоса.

— Это он верно, далеко смотрит!..

— А по-моему,— воскликнула молодая соседка Анфисы, — Федор Капитонович даже очень близко смотрит! По-моему, раз Украина-житница под врагом, сраженье там... другие области и края заменить должны. Об этом и в газетах пишут...

Федор Капитонович насмешливо и сожалеюще посмотрел на девушку, которая от смущения покраснела до самых глаз.

— Ну, спасибо, Настасья Филипповна, просветила старика. И про Украину-житницу, и про сраженье в ней — обо всем сведенье подала...

— Да будет тебе ехидничать-то,— нахмурилась Анфиса. — Умный человек, а слушать тошно. Срам какой!.. Мужики там кровью обливаются, а мы тут задумали кустарники в навинах разводить. Когда это нас о площадях спрашивали? А теперь небось план такой — пахать не перепахать...

— Тихо! — Лихачев пружинисто выпрямился. — Засевать все — до последней пяди! Понятно? А ты... — он бросил исподлобья взгляд на Федора Капитоновича, — твоё выступление сегодня — чистая паника и малодушие. Понятно? Теперь так: вопрос к бригадиру номер два. Как смывать позор с колхоза будешь? Обозначь кон-

кретно сроки. А то завела: «кустарники, кустарники...»
Где твоя перестройка?

Анфиса побледнела, вскинула голову:

— Ну вот что, Харитон Иванович! С завтрашнего дня я тебе не бригадир — поищи другого. Хватит — поперестраивал. Только и слышу: панику не разводи, перестраивайся на военный лад! А сам-то ты перестроился? А по мне так вся твоя перестройка, что обзавелся шлейф да брючищами с красной прошвой...

По конторе прошел сдержанный смешок и разом оборвался.

— Ты это, Минина, что? — Лихачев, как штык, выбросил в сторону Анфисы обрубок левой кисти. — Тыл подрывать? На кого работаешь?

В томительной тишине все услышали тяжелую, медвежью поступь в коридоре. Двери треснули, и в контору, шумно дыша, ввалился низкорослый Трофим Лобанов. Из чаши седого волоса, как стоячие озера глянули круглые немигающие глазищи.

— Слыхали? — вострубил он на всю контору. — Степан письмо от сына получил...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Анфиса еще с крыльца правления услышала дробный перестук топора — в пристынувшем воздухе он гремел на всю деревню. Она сразу догадалась: сват Степан на своем сеннике воюет. Всегда вот так — и горе, и радость топором вырубает.

Дом Степана Андреяновича, большая двухэтажная хоромина с малой боковой избой, выходит на улицу взвозом — широким бревенчатым настилом с перилами, по которому в прежнее время гужом завозили сено да солому на сенник.

У других хозяев взвозы давно уже переведены на дрова, а новые дома строили вообще без них: для одной коровы и на руках нетрудно поднять корм. Степан Андреянович поддерживал взвоз в сохранности. Поднимаясь на сенник, Анфиса даже отметила про себя, что некоторые прохудившиеся балки заменены новыми лесинами. Ей и всегда-то нравилась хозяйственная ретивость старика, а сейчас, во время войны, когда без мужского догляда на глазах ветшали и разваливались

постройки, она всякий раз, проходя мимо, с удовольствием поглядывала на дом свата: все крепкое, добротное, сделано на вечные времена.

Из открытых дверей с просмоленными косяками тянет свежей щепой, старыми березовыми вениками. И тут все надежно, домовито. По одним топорам видать хозяина. Не меньше дюжины их в деревянной натопорне. А сколько топоров, столько, говорят, и рук в доме.

Степан Андреевич, широко расставив ноги в низких валенках, носками зарывшихся в щепу и стружку, выгибал березовый полоз. Непокорное дерево скрипело, упиралось, из стороны в сторону водило тело старика.

— Слыхала про нашу-то радость?

Полоз стремительно повело назад. Анфиса хотела кинуться на помощь, но старик с силой рванулся вперед, и полоз нехотя, со скрипом вошел в петлю.

Наспех вбив расклинье, Степан Андреевич разогнулся и, шумно дыша, с радостным блеском в глазах, подошел к Анфисе. Как всегда — и в лютый мороз, и в несносную жару — был без шапки. В густых рыжих волосах, подстриженных по-стариковски в кружок, просвечивала мелкая стружка.

— Ну, с праздником тебя с великим, сват. Дождались-таки весточки.

— Да уж праздник дак праздник. Каково, сватьюшка, с самой-то войны ни слуху ни духу?.. Чуешь, двери-то хлопают, — кивнул Степан Андреевич в темный угол на лестницу, которая вела в боковую избу. — Сама-то прямо ожила, а то ведь лежкой лежала. Рубаху сына в избе развесила... Да ты присядь, сватья. — Степан Андреевич выдвинул подсанки из угла, сел рядом с Анфисой.

— А твой все не пишет?

— Нет, — сухо ответила Анфиса. — А что Василий Степанович? Здоров?

— Слава богу, здоров и невредим. А бывать во всяких сраженьях бывал. И на купированных землях, и в партизанах, и фронт переходил — всего досталось. Вишь ты, сразу-то в окружение попал, ну и письмо-то некак было послать... А что про немцев, Анфисьюшка, пишет — страсть! Людей наших тиранят — хуже татар каких... Да ты зашла бы в избу. Чайку бы попили. Я сахарком на днях разжился... Мы ведь как-никак родня.

С твоей-то матерью кумовьями были. Покойница, бывало, редкий праздник не зайдет...

— Зайду, зайду. Только не сейчас. Корова еще не доена. Полдня в правленье высидела.

— Заседали?

— Ох, наше заседанье,— вздохнула Анфиса. — Весна на поля просится, а у нас глаза бы не глядели. Я не утерпела — сказала. Дак уж Лихачев кричал... А Федор Капитонович, подумай-ко, сват, что надумал? Дальние навины под пары пустить... Я говорю, самое время лес на полях разводить. Где только и совесть у человека...

— Да-а... — неопределенно протянул Степан Андреянович.

Над головой, обдуваемые ветерком, зашелестели ветки. Сквозь щель в крыше робко и неуверенно проглянула первая звездочка. Анфиса поднялась с подсанок:

— Забыла, сват... Завтра по сено с бабами не съездишь? Речонка, говорят, сопрела. Куда они без мужика?

Степан Андреянович почесал в затылке:

— Поясница у меня... ладу нет...

— Поясница? — Анфиса обвела глазами темные простенки с белевшими полозьями. — Сани небось для лесопункта день и ночь колотишь...

— Да ведь плачешь, да колотишь. Исть-пить надо.

— А колхоз пропадай?! Бабы и то говорят: нам житья не даешь, а свата укрываешь... Ты хоть бы для сына это...

— Не по-родственному, сватья,— с обидой в голосе проговорил Степан Андреянович.

— А всю работу взвалить на баб — это как, по-родственному?

На улице, ступая по заледенелой дороге, Анфиса одумалась. Она была вконец недовольна собой. И что это на нее сегодня нашло? Со всеми переругалась. И зачем старику-то радость испортила?

Над деревней сгущались синие сумерки. Огня в домах не зажигали — всю зиму сидели без керосина. Только кое-где в проулках вспыхивала лучина, которой освещалась хозяйка, не успевшая управиться с домашними делами засветло. За рекой вставала луна — огромная, багрово-красная, и казалось, отсветы пожара, далекого и страшного, падают на белые развалины

монастыря, на тихие окрестности северной деревни, затерявшейся среди дремучих лесов.

Дома, подоив корову, Анфиса поужинала в потемках и лишь тогда засветила маленькую коптилку.

Под окошками голосисто и жалобно всплеснулась частушка:

На германскую границу
Накидаю елочек,
Чтоб германские фашисты
Не убили дроздочек.

Девушки шли стенкой, взявшись за руки, а сзади них врассыпную, как телята при стаде, бежали нынешние ухажеры.

«Бедные девки,— подумала Анфиса, задерживая занавеску,— и погулять-то вам не с кем».

Потом она снова села за стол и стала читать длинный-предлинный вопросник, который ей еще утром вручили в правлении. Неслыханные порядки заводил Лихачев. Каждую неделю бригадиры должны подавать письменную сводку.

Вывозка навоза, ремонт сельскохозяйственных машин и орудий (сеялки, плуги, бороны), процент всхожести семян. Наличие рабочей силы (мужчин, женщин, подростков)...

Да что он, рехнулся? По неделям растут люди, что ли? Но делать нечего — пиши, коли приказано.

Последние слова она дописывала зевая, борясь со сном. Уже раздеваясь, услышала под окном летучие, хрустящие шаги.

— Можно на огонек?

В темноте у порога как звезды блеснули глаза. Не дожидаясь ответа, Настя подбежала к Анфисе, обхватила ее холодными руками. На Анфису пахнуло весной, лесом.

— Уже ты, заморозишь! — Она с притворной строгостью начала отпихивать девушку.

— Заморожу? Ну так вот тебе, вот тебе...

И Настя со смехом стала обнимать Анфису, прижиматься к ее лицу нахолодавшей щекой.

Анфиса, пожививаясь, ворча, высвободилась из объятий, накинула на плечи байковую кофту: ей неловко было стоять перед девушкой полураздетой, хотя та редкий вечер не забегала к своей подруженьке. И все вот так: то «на огонек», то «на минутку отпышаться»...

— Ты что не в клубе? — не без удивления спросила Анфиса, разглядывая девушку. На ней была обычная стеганка, в которой она ходила на работу, серые валенки, обшитые на носках кожей.

— А чего я там не видала? Пыль да копоть от лучины? — Настя присела на стул, сдвинула на затылок белый пушистый платок. — Я знаешь где была? В навинах. Мама за прутьем посылала — нечем опахаться у крыльца. А в навинах... Луна, наст крепкий-крепкий. Я как на крыльях летела... А знаешь что, Фисонька? — вдруг присмирившим, загадочным голосом зашептала Настя. — Мне опять письмо пришло. Карточку просит...

Вся вспыхнув, она медленно подняла глаза к Анфисе:

— Посылать ли?

Анфиса не могла сдержать улыбки. Ох, Настя, Настя, и выдумала ты себе любовь. Парня в глаза не видала — может, и взглянуть не на что. Да и то сказать: где они, парни-то? Хоть на бумаге, а любовь...

И она живо ответила:

— Пошли, пошли. Почему не послать.

Настя с благодарностью улыбнулась ей.

— Я вот не знаю только, — тем же доверчивым голосом, помолчав, заговорила она, — какую карточку... Я бы хотела, знаешь, ту, где я с косами. Только там я босиком. Может, нехорошо?

— А чего нехорошо? Ноги у тебя не украдены. Пусть полюбуется.

— Ох уж ты, Анфиса Петровна... — Настя стыдливо покачала головой.

Потом она с прежней живостью вскочила на ноги:

— Побегу — завтра рано вставать... А я тебе опять сон растрясла.

— Ладно, выплюсь. А как там в дальних навинах? — спросила Анфиса уже у порога. — Много навозил Клевакин навоза?

— Федор-то Капитонович? — беззаботно улыбнулась Настя. — Что ты, Анфиса Петровна! Где кучка, где две. А у Поликарпа и того нет — голым-голо...

— Да не может быть! — Анфиса схватила девушку за руки.

— Нет, вру я, — обиделась Настя. — Сходи посмотри сама.

Анфиса выпустила Настины руки:

— Ну тогда без хлеба останемся... Полицарпова бригада завсегда выручала.

Настя широко раскрытыми глазами, не дыша, смотрела на Анфису. Она поняла все. В дальних навинах без навоза и сорняк не родится. Где же у нее-то глаза были? Еще комсорг... Ведь должна бы знать: Полицарп всю зиму болеет. Тот, колхозный радетель, за него и бригадой правит.

Она быстро забежала по комнате. На столе вздрогнул и замигал светлячок керосинки.

— Вот что,— сказала Настя решительно,— я Лихачева искать пойду.

Анфиса безнадежно махнула рукой:

— Как же, найдешь теперь нашего Харитона.

— Ну так я всех на ноги подыму. Палку возьму да под каждым окошком стучать буду.

— Не выдумывай. Женки весь день с сеном маялись — из-за Синельги вброд доставали...

Настя с отчаянием всплеснула руками:

— Да ведь, может, завтра ручьи побегут. Ты что, Анфиса Петровна, не понимаешь?

Анфиса нахмурила брови:

— Разве ребят да девок кликнуть — давеча в клуб прошли.

— А ведь и вправду!

Настя схватила с вешалки Анфисину фуфайку, плат,

— Пойдем, Анфисонька, тебя лучше послушают.

Мишка Пряслин, вбежав на крылечко своего дома, осторожно открыл ворота, ошупью — пересчитывая шаткие половицы в сенцах — добрался до дверей. В избе темно, пахнет сосновой лучиной с печи, нагретым тряпьем. От передней лавки — посапывание спящих ребятисшек.

— Явился, полуночник. Уроки опять не выучил.

Мишка, не обращая внимания на ворчание матери, приподнявшейся на постели, торопливо прошел в задоски¹ и, нашарив чугунок с холодной картошкой, сунул несколько картофелин в карман. У печки под порогом с трудом разыскал рукавицы.

¹ Задоски — часть избы спереди печи, отгороженная дощатой заборкой.

— Да ты, никак, опять на улицу?

— Нет, лежать буду,— огрызнулся Мишка.— Понимаешь,— горячо зашептал он, на цыпочках подходя к матери,— у Поликарпа все навины голы... Сейчас прибежала в клуб Анфиса Петровна — всех навоз возить.

Мишка выпрямился, страхнул с себя сонное тепло.

— Переоденься. В чем в школу-то пойдешь?

— Ну еще...

— Переоденься, кому говорят. Вот уже напишу отцу... Совсем от рук отбился.

— Да пиши ты, жалоба. Все только отцом и стращаешь...

От дома Пряслиных до конюшни целый километр, и вот то, чего боялся Мишка, случилось. Прибежал он на конюшню, а лошадей уже не было.

Конюх Ефим зло пошутил:

— Бойкостью ты, парень, не в отца. Тот, бывало, за- всегда во всем первый... Ну, коли проспал, запрягай быка.

И Мишка, чуть не плача от стыда, выехал с конюшни на проклятой животине. Возле кузницы он услышал знакомый-знакомый перепляс кованых копыт. Взметнувшимся ветром у него едва не сорвало с головы шапку, на сани дождем посыпались ошметки наледи. Мимо, весь залитый лунным светом, пролетел Партизан. На санях, натянув вожжи, дугой выгибалась Дунярка.

— Что, Мишка, всхрапнул часок-другой? — насмешливо крикнула она, оборачиваясь. — А я уж за вторым еду.

Мишка хотел крикнуть что-нибудь донельзя обидное, но от Партизана уже и след простыл... Так вот кто опять перескочил ему дорогу! Из-за этой язвы у Мишки вся жизнь шиворот-навыворот. Какого стыда он натерпелся на днях! «У Пряслина рост с телушку, а сознательности на полушку»... Ну и прокатили, не приняли в комсомол... У нее и отец такой. Бывало, идет Мишка с ребятами, а тот сидит под окошком, зубы скалит: «Зятек, приворачивай на чаек». Так и прилип этот «зятек», как репей к шелудивому барану. Ладно, хоть черта зубастого на войну утапали, а то бы житья от него не было...

У скотного двора народу и лошадей сбилось как на ярмарке. Шум, смех, лязганье вил, смачное шлепанье навоза. Кто-то светил лучиной. Мишка еще издали увидел Партизана. Среди низкорослых брюхатых лошаде-

нок он возвышался как лебедь — белый, с гордо выгнутой гривастой шеей.

Мишка пристроил быка в очередь и, кляня все на свете, стал проталкиваться к саням, на которые наваливали навоз. Дунярка и тут командовала. Как же, выхвалялась! Придерживая за узду жеребца, нетерпеливо перебиравшего ногами, она покрикивала:

— Наваливайте скорей! Это вам не бык столетней давности.

— Как же ты оплошал, Михаил? — спросила его Анфиса. — Дунярка, отдай ему Партизана. Где тебе с таким зверем управиться!

— Как бы не так, — ухмыльнулась Дунярка. — Это мы еще посмотрим.

— Не горюй, Мишка, — рассмеялась Варвара Иняхина, поворачиваясь к нему. — Которым с быками не везет, тем в любви везет. Хочешь, ягодка, поцелую?

Мишка оторопело попятился назад. Дунярка взвизгнула.

— Взбесилась, кобыла! — гаркнул Трофим на Варвару. — Скоро на детей будешь кидаться!

— Я бы и тебя, Трофимушко, поцеловала, да у тебя борода колючая...

Поднялся шум, галдеж — воробны так на холод не кричат.

Мишка сбегал к своим саням за вилами — разве дождешься толку, когда бабье свой граммофон заведет? — и вместе с навальщиками принялся отдирать навоз.

Со скотного двора он все же выехал на коне. Уступила Парасковья, которая, как рассудили женщины, хоть на черта посади — все равно по дороге заснет. Немудреный конек, еле ноги переставляет, а ежели поработать ременкой — ничего, трясется...

Скрипят полозья по оледенелой дороге. По небу бежит месяц яснолицый, заглядывает Мишке в глаза, серебром растекается по заснеженным полям, по черни придорожных кустов. Сбоку — в половину поля — качается синяя тень от коня.

«Вот бы мне такого коника, — думает Мишка. — Этот почище Партизана был бы. — Он смотрит на великана в огромной ушанке, с жердью в руке восседающего сзади коня. — А еще бы лучше мне таким, Один бы всех фашистов перебил!»

Потом он долго глядит на Полярную звезду, мерцающую в ясном небе, и уже под наплывающий сон думает: «Вот ежели идти на юг, прямо-прямо, много-много ночей и дней идти, можно бы на фронт выйти...»

На ухабе сани тряхнуло, и Мишка поднял отяжелевшую голову. Перед ним чернел Попов ручей. Сон с него как рукой сняло. По рассказам, в Поповом ручье пугало. Говорят, будто давным-давно тут повесился какой-то мужик и с той поры каждую ночь о полуночи разъезжает по ручью баба-яга на железной ступе, разыскивает душу бедного мужика...

За Поповым ручьем стали попадаться лошади порожняком, пронеслась Дунярка, что-то со смехом крича на скаку. Скоро показалось и поле, на которое возили навоз. Мишка быстро разгрузился, вскочил на сани и давай нахлестывать коня.

Под утро он вышел на второе место. Но Дунярка — черти бы ее задрали! — обскакала его на целых пять возов. А тут еще привязался сон. И чего только не делал Мишка — и бежал за возом, и лицо снегом растирал, — а сон так и обволакивал его. Под конец он схитрил: свалит воз, сядет на сани, настегает коня и тем временем дремлет.

И вот один раз, когда на обратном пути он задремал, ему вдруг почудилось, что его зовут. Он продрал глаза и похолодел от ужаса: его со всех сторон обступал Попов ручей — от мохнатого ельника темно, как в погребке. Слева, из самой глубины чаши, глухо стонало:

— Ми-ишка, Ми-ишка...

«Это по мою душу...» — мелькнуло в его голове. Падая ничком на подстилку, он успел хлестнуть коня.

— Мишка, Мишка, помоги!..

Голос ему показался странно знакомым. Он остановил коня, приподнялся и опасно повел головой. Далеко в стороне от дороги, там, где ручей переходит в болотистую луговину, на снегу что-то шевелилось.

— Мишка, не уезжай... Партизан утоп...

— А, чертова кукла! — злобно выругался Мишка. — Так тебе и надо! — и он с яростью вытянул коня ременной.

А через несколько минут, понося на все лады Дунярку, повернул обратно...

Перед самым спуском в Попов ручей (как же он раньше-то не заметил!) бугрилась свежепроезженная росстань. Ну ясно — вот на чем обхитрила. Стахановка!.. Но когда он, миновав кусты, подъехал к луговине, новая боль и отчаянье охватили его: Партизан по самое брюхо стоял в ледяном сусле. Дунярка, всхлипывая, топталась спереди жеребца, тянула его за повод. Свет месяца вспыхивал на ее оледенелых валенках.

— Дуреха, бестолочь! В прелую ручьевину залезла. Вот обезножит жеребец, тогда узнаешь!

Мишка оттолкнул Дунярку, взял повод в руки.

— Но, Партизан, пошел, пошел...

Жеребец захрапел, обдавая его паром, рванулся вперед, но передние ноги его снова провалились.

— Все, хана... — махнул рукой Мишка. — Надо жерди таскать, ручьевину мостить...

...На скотный двор они приехали на рассвете.

— Где вас лешак носит? Уснули? — заорал Трофим.

— А может, они дролились? Ты почему знаешь? — усмехнулась Варвара.

— Это она... — исподлобья взглянул Мишка на Дунярку и вдруг поперхнулся.

Дунярка стояла поникшая, жалкая, ковыряя обледенелым валенком грязный снег. По смуглым, осунувшимся щекам ее текли слезы. И тут Мишка неожиданно для себя пробормотал:

— Завертка у саней лопнула...

Лихачев пришел в ярость, когда утром, возвращаясь из сельсовета, увидел Партизана в упряжке. Как! Армейский боевой конь! Фондовская единица! Сколько раз говорено этому старому пентюху Ефиму: никаких сельскохозяйственных работ! Так нет, не успел отвернуться — в сани с навозом, как последнее быдло...

Лихачев был заядлым лошадиником — в конях разбирался, знал в них толк не хуже любого цыгана. Десять лет он возглавлял конский обоз леспромхоза и чуть не каждый год обновлял свою кавалерию. Война сбила его с насиженного места, но и не призвала к себе. Еще мальчишкой, роясь в песке на старом стрельбище, он наткнулся на забавную штуковину — тяжелую проржавленную чушку с длинной рукояткой. Чушка за ненадобностью — одна ржавчина — полетела в сторону,

а вот медный патрон с прозеленью, извлеченный из нее, Харитонку заинтересовал. Прячась от товарищей, он забежал в ближайшие сосны и начал легонько выстукивать патрон о камень. Взрывом навсегда унесло три пальца с левой руки...

Осенью сорок первого года, когда в районе пошла небывалая перетряска кадров, Лихачева назначили председателем колхоза. Десять лет на руководящей, команду знает, чего же еще?

В новой должности Лихачев не изменил своим привычкам. Каждое утро, перед тем как отправиться в правление, он заглядывал на конюшню. Мимо костлявых, мохнатых клячонок, понуро стоявших на сквозняке, он проходил, судорожно перекосив рот, но когда в дальнем утепленном углу, слышав его шаги, всхрапывал белогривый красавец жеребец, суровое лицо Харитона светлело от улыбки...

Лихачев, дрожа от гнева, начал заворачивать коня. Но за Партизаном показались другие, третьи сани, потом он увидел целую толпу женщин возле скотного двора, и мысль его внезапно приняла другое направление. Насчет навоза на днях было крепко разъяснено в райкоме!

Быстро оценив обстановку, Лихачев подогнал своего коня к конюшне, на ходу выскочил из саней и направился к людям.

К удивлению Анфисы, он не стал разносить ее.

— Вот это по-военному, — одобрительно сказал он, сдвигая кубанку на затылок.

Затем, окинув взором холмины навоза, испещренного мокрым снегом, он ткнул плеткой в сторону Анфисы:

— Минина! Под персональную ответственность! Чтобы эти Казбеки в два дня!.. — плетка взлетела по направлению навин. — Почему не весь народ выгнан? Не знаешь, что такое навоз?..

Лихачев строго оглядел копошившихся в навозе людей и, поскрипывая хромовыми, ярко блестящими сапогами, прямой, молодежато перетянутый ремнями, зашагал по дороге к правлению колхоза.

Там, строго-настрога приказав Малышне никого не впускать в контору, он сел за стол, достал бумагу.

Часа через два, отирая пот с рябого лица, он перечитывал:

Дадим стране героический военный урожай!

Колхозники колхоза «Новый путь» наглядно отрешаются от благодушия, а также от мирных настроений, как учит нас товарищ Сталин. В ночь на 16 апреля под энергичным руководством председателя тов. Лихачева они решительно перестроились на военный лад и открыли экстренную вывозку навоза сверх плана. Ибо, как учит «Правда Севера», навоз — залог высокого военного урожая. А высокий урожай нужен для победы героической Красной Армии над кровавой собакой Гитлером. Колхозники «Нового пути» так же единодушно решили заменить Украину — житницу Советского Союза, над которой изгибаются временные фашистские изверги, и засеять все площадь до последней пяди. Вышеуказанный патриотический подъем колхозников «Нового пути» и наглядная перестройка на военный лад были обеспечены активной массовой и политической работой среди колхозников, а также постоянной опорой председателя тов. Лихачева на актив и на массы.

В то же время имеется сведенье, что в «Красном партизане» тов. Фролов дальние поля навозом не обеспечил. Стыдно, тов. Фролов, а еще знамя держишь! Кому очки втираешь? Родине!

Товарищи председатели! Плотнее обпирайтесь на актив и на массы! Вывозите навоз, пока санный путь держится. Дадим стране героический военный урожай! Следуйте за тов. Лихачевым!

П а т р и о т ».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Левый скат пекашинской горы долгие годы оставался необжитым. Куда тут селиться? Пустырь. Зимой снегом занесет — не откопаешься...

Здесь-то лет тридцать с лишним назад в прохладном сумраке зеленой лиственницы и пустил свои корни Степан Андреянович. В ту пору свежесрубленная избенка Степана Андреяновича, с подслеповатыми околенками, одиноко торчала на отшибе, а самого его называли еще Степонькой-бедой.

Мать Степана Андреяновича приплелась в Пекашино откуда-то снизу, из монастырей, когда ему не было и

года. Несколько лет ходила она с сыном по чужим людям, обшивала, обстирывала их, потом сломала руку, завила, и однажды Марину-распьянеху нашли в лопухах за гумнами мертвой.

Пекашинский мир сжалился над сиротой — не дал пропасть. Не по годам рослый и крепкий, Степоська оказался хорошим, сметливым работником и, пока жил в людях, познал все премудрости хозяйничанья на земле, выучился деревенским ремеслам. Лет в семнадцать он твердо решил стать на свое хозяйство. Дело было за малым: не было у Степоськи земли. И парень стал жилы из себя тянуть, чтобы заработать лишнюю копейку. К двадцати годам нажил грыжу, а земля по-прежнему не давалась в руки. Тогда-то и надумал Степоська испытать легкой наживы. На скопленные деньги купил он у богатея Харина красного товару и пошел торговать по деревням. И ведь сначала повезло было: за какой-нибудь месяц капиталы его удвоились.

На обратном пути первый раз в своей жизни Степоська облачился в суконные штаны и кумачовую рубаху с гарусным поясом, а на рыжую голову лихо вздернул фуражку с лакированным козырьком. От такого купеческого вида не по себе стало парню — пришлось понабраться храбрости в кабаке.

Всю дорогу Степоська заливался песнями, гляделся в каждый ручей, с трудом признавая себя в этом разряженном молодце. На пекашинский наволок он спустился в полдень. Что делать? Заявиться в деревню среди бела дня не было никакого расчета. Люди все в поле, а Степоське непременно хотелось протопать из конца в конец по своей деревне-мачехе, да так, чтобы люди глазели из каждого окошка, чтобы останавливались прохожие, спрашивали друг у друга: «Чей же это? Неужто Степоська, распьянехин сын, то бишь Степан Андреянович?..»

Ради этих-то двух последних слов, которые он жаждал услышать от пекашинцев, и решил Степоська выждать вечера на лугу. Сел он под кустик возле дороги и стал думать-гадать о житье-бытье. Солнце немилосердно припекало, клонило в сон. Степоська снял новые сапоги, чтобы не потрескались от жары, снял рубаху, свернул все это бережно и положил под голову. А когда проснулся, не было ни солнца в небе, ни сапог,

ни кумачовой рубахи под головой. И вошел он в тот черный вечер в Пекашино не Степаном Андреяновичем, а все тем же Степонькой, распьянехиным сыном, да еще вдобавок Степонькой-бедой...

После этого за многие дела хватался Степан, да что — беда так и ходила по пятам. Заготавливал лес по подряду — лошадь хозяйскую бревном придавило, едва расплатился; повел плоты в Усть-Пинегу по большой воде — под Труфановой горой на ямах растрепало по бревнышку, напарник-пьяница Тришка утонул, а сам Степан насилу приболтался к берегу.

Кто знает, сколько бы еще бросало его по ухабам разбитой мужицкой дороги. Но тут подошли крутые перемены. Тысяча девятьсот семнадцатый год, хоть и в самый разгар страды, ворвался в его избу веселым, задорным криком долгожданного сына. Новая власть дала лошадь из имения бежавшего богатея Харина, нарезала большой клин земли. Правда, в безвременье, когда власть в уезде качалась, как дерево в непогоду, натерпелся страху: не раз вместе с лошадью и пожитками отсиживался в лесу. Но вот кончились смутные дни — и попер в гору Степонька, распьянехин сын. На работе дичал: во время сенокоса не разжигал костра — проглотит кусок всухомятку, запьет из ручья и снова за косу. Он даже ходить разучился — все бегом, все бегом...

В тридцатом году под горячую руку Степана Андреяновича едва не раскулачили. К тому времени он имел двух коров, двух лошадей, жеребенка, штук десять овец и справедливо считался одним из самых крепких хозяев на деревне. Спасибо, вступилось общество...

А через год увидел: деваться некуда, — и почти последним в Пекашине вступил в колхоз «Новый путь». Обезрадела, опостылела жизнь Степану Андреяновичу. Два года ходил он как больной. Выйдет поутру в заулук, заглянет в конюшню, а там пусто. Кучка сухого помета да начесы гнедой шерсти в расщехах яслей — вот и все, что осталось от былого. По ночам ворочался, не спал. Надолго ли? А что, как все повернется вспять? Два брата постромки рвут, а тут захотели удержать всю деревню в одной упряжке... И потихоньку, таясь от людей, начал он поделывать разные вещи для крестьянского единоличного обихода — случись какая перемена, его не застанешь врасплох.

Со временем ссоры в колхозе приутихли, хозяйство начало крепнуть, а он как пошел петлять боковиной, так и не смог попасть в общую колею. Впрочем, по нынешним беспокойным временам, как любил утешать себя Степан Андреянович, можно бы довольствоваться и такой жизнью, если бы одна незатихающая боль не точила сердце...

Когда стал подрастать сын, отец нарадоваться не мог на своего Васеньку. Всем-то взял парень: и топор, и перо в руках держится. И лестно было отцу выслушивать похвальные речи учительницы на родительских собраниях. Но дальше четырехлетки Степан Андреянович Васю не пустил: «Тебе не грамотой жить, а добро отцово умножать».

Что было после этого? Пять лет воевал отец с сыном из-за книжек — скажи, как дурь какая нашла на парня. А в тридцать четвертом году семнадцатилетний Вася выпросился у отца вести с мужиками плоты в Усть-Пинегу, сплыл по вешней воде, да только перед самой войной заглянул в родительский дом...

Нет, лучше не вспоминать, что тогда вышло. Мало ли чего между отцом и сыном не бывает?.. Поумнел Василий Степанович! Не успели письма́ досыта начитаться — перевод. На три тысячи рублей! Таких денег в Пекашине никто и в глаза не видал.

И ведь во всем остальном такое везенье — душа поет. Не успела корова отелиться, две ярки обьягнились. А вчера — вот уж вправду сказано: рубль рубля ищет — подряд. Сам начальник лесопункта пришел: сделай летние сани и телегу. Хоть и не миновать размолвки с бригадиршей, да какой же хозяин ворота добру не раскроет? Хлеб тут в буханках, не в посулах, опять же чайку-сахару подбросят...

Тянуть с подрядом не в привычке было Степана Андреяновича, и потому на другой же день он собрался в лес.

В окнах избы трепетно играли лучи встающего за рекой солнца. На подоконнике розовела пушистая верба, выставленная заботливой рукой Макаровны, большой любительницы всякой красоты. На столе, в берестяной плетенке, — рассыпчатые колобки, калачи с румяной корочкой. Для сына...

Переполненный радостью и той неизъяснимой молодой силой, которая у пожилого человека разливается

по всему телу в минуты огромного счастья, Степан Андреянович затянул ремень с натопорней и, перед тем как выйти из избы, попробовал на ладони острие ножа.

— Ты, мать, довязывай чулок. Приду из лесу — понесу на почту. Да в амбар сходи, чаю-сахару из сундука достань. Пушай родителей вспоминает.

Макаровна, хлопотавшая около печи, с тревогой взглянула на старика:

— У меня из ума не выходит... С чего бы на письме чужая рука? Все сердце выболело...

— Полно с ума-то сходить... — Степан Андреянович засунул нож в ножны, подошел к жене, и, чтобы успокоить глупое материнское сердце, он, как в далекой молодости, взял в свои ладони мягкое, морщинистое лицо Макаровны, заглянул в ее тревожные глаза. — Брось, не мути голову. Чужая рука? Да, может, денщик какой. Прислуга такая из солдат у командиров. Тысячи-то за что-нибудь платят... — Он тяжело вздохнул. — У нас теперь одна забота, мать: дождаться бы Василья Степановича. Я ведь знал, что Васильюшко одумается...

Уже выходя из избы, он столкнулся в дверях с внуком — четырнадцатилетним пареньком в мягкой кудели белесых волос.

— Дедушко, опять письмо!

— Вот и хорошо, любеюшко, дедушке письмо и надо.

Степан Андреянович засуетился от радости и подмигнул Макаровне: что я говорил? А тоже каркала: чужая рука, чужая рука...

Егорша разорвал конверт, поднес к глазам маленький серый листок.

«Некогда, видно, Васильюшку и письма-то написать, а вишь, весточку опять подал».

Голова Егорши как-то странно качнулась:

— Это... это... не от дяди Васи...

Степан Андреянович обеими руками вцепился в край столешни:

— Читай...

— «Командование части... с глубокой скорбью извещает, что Ваш сын, гвардии политрук Ставров Василий Степанович, 20 марта 1942 года...»

На дощатой заборке зарябила белая с расшитым воротом рубашка... Хватаясь за стол, за стены, Степан Андреянович добрал до кровати, упал... Кто-то стонал,

выл по-звериному, а перед глазами его неотступно стояла белая рубашка. И безжалостная память во всех подробностях воскресила тот летний день...

Окна раскрыты, двери настежь — сын дома! И знал же, чем угодить отцу Василий Степанович! Из бани вышел в домашней рубашке с расшитым воротом — будто и не расставался с родителем на шесть лет.

«Нет, хорошо на свете, а дома лучше всего!»

Степан Андреянович, счастливый сыновней радостью, лукаво поглаживает бороду: «Погоди, такую ли еще радость припас я тебе, сынок...»

И вот после обеда, когда оба они были уже под хмельком, отец подхватил сына под руку, повел на сеник. Поднявшись первым по лестнице, он широко распахнул ворота, одним махом скинул солому в углу, торжествующе посмотрел на сына.

«Дрожки! Вот это да!» — с изумлением прошептал Василий.

Все ликовало в Степане Андреяновиче, но он сдержался — поднял новый пласт соломы.

«Расписные пошевни!» — еще больше изумился Василий.

«А в пошевнях-то что? Взгляни-ко».

Василий долго любовался праздничной сбруей, перебирал, мял в руках сыромятные ремни, дул на медные пластинки. Степан Андреянович глаз не сводил с сына:

«Забрало-таки за душу, Васенька. Я ведь знал, что ты в отца, в хозяйстве толк понимаешь...»

Потом Василий стоял в проеме распахнутых ворот, глядел на деревню:

«Значит, и наш колхоз пошел в гору, раз такие дрожки и санки заводит».

«А ведь это, Васенька, вовсе и не колхоза...»

Лучше бы не говорить тогда этих слов! Изменился, побелел Вася, хмеля словно и не было, и таким чужим голосом:

«Куда же ты с этим?.. Продавать?»

«Почто, Васильюшко, продавать... — Степан Андреянович решил перевести все в шутку. — Для свадьбы это, для свадьбы твоей. Женись хоть зимой, хоть летом — у отца все готово...»

«Я тебя серьезно спрашиваю»,

«Ну хорошо, Василий Степанович, скажу серьезно. Ты что думаешь — так бобылем и будешь весь век по чужой стороне шататься? Али хочешь к пустым стенам вернуться? Отец-то у тебя хоть и неуч, а тоже жизнь прожил. А жизнь, Васенька, штука мудреная: сегодня так, завтра эдак. А я ко всему готов, и добро это места не пролежит».

Василий растерянно заморгал глазами, прислонился к косяку:

«Выходит, я за Советскую власть агитирую, а отец развала колхоза ждет».

Вдруг он круто вскинул голову, шагнул к нему:

«Мне твоего барахла не надо! Слышишь? И ты сейчас же отвезешь это. А нет — ноги моей больше здесь не будет!»

Это уж было слишком! От отца, родного отца, отказываться... От отца, который вставал и ложился с думой о нем... Все потемнело в глазах у Степана Андреевича. Не помня себя, он размахнулся и ударил сына по лицу...

Старик, уткнувшись головой в подушку, вдруг почувствовал, как горит его правая ладонь... Покачнулся Василий, прикрыл рукой глаза, но ни слова не сказал отцу...

А на другой день, не прожив и половины отпуска, уехал... Навсегда...

Долго лежал Степан Андреевич, распростершись на кровати, и все ему виделся Вася в белой рубашке, залитой красным светом вечернего солнца, слышались слова: «Мне твоего барахла не надо!..»

Вдруг старик вскочил на ноги, кинулся в сени.

Лестница, сенник... Жаром полыхнули медяшки в темном углу... — и топор врезался в хомутину...

— Дедко, опомнись! Дедко, не надо!

Степан Андреевич обернулся. От лестницы с протянутыми к нему руками бежал Егорша.

— Не подходи! Порешу!..

— Давай пореши. Мало тебе сына — внука загубить хочешь!..

Степан Андреевич вздрогнул, топор выпал у него из руки. Прямо на него, высокая, раскосмаченная, шла Макаровна, впервые за всю жизнь поднявшая голос на своего хозяина...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В воскресенье, с утра, Анфиса с тремя колхозницами переметывала у конюшни сено, которое еще с зимы было определено для посевной. Они уже кончали работу, когда из-за угла конюшни неожиданно вывернулась матерая, бельмастая на один глаз Марина-стрелеха, прозванная так за непомерную резвость своих ног. В молодости она приторговывала водкой из-под полы и нередко, угождая загулявшим мужикам, за один день оборачивалась до райцентра — километров семьдесят туда и обратно.

Поравнявшись с женками, Марина круто осадила себя, так что взметнувшиеся полы старой, засаленной шубы подняли сennую труху с земли.

— Бабоньки! — дурным голосом запричитала она, хлопая себя по бедрам. — Что на свете-то деется... Степан с ума спятил...

— Как спятил?

— Спятил, говорю. Вот те бог, спятил. Своими глазами видела, — перекрестилась Марина. — Середь бела дня в сани впрягся, топает по дороге, как лешой... без шапки... У лавки лужа, дак он прямо в низких валенках... Страсть! А на возу-то навалено — самовары не самовары, тазы не тазы — так и блестит. Я это сдуру-то спрашиваю: «Куда путь держишь, Степан Андреянович?» А он хоть бы слово. Глазища в землю — да знай себе прет.

Стрелеха, отдышавшись, опустилась на сани.

— Вот до чего война-то доводит. Каково на старости сына лишиться? А тут еще дичь ставровская, порodka, сами знаете. Потихоньку-то с ума сходить не умеем.

Женки, ошеломленные, стояли не двигаясь, — кто с вилами, кто с граблями в руках. Анфиса еще вчера вечером узнала о страшной беде, свалившейся на голову стариков, но так и не выбралась к ним.

— Что, дурехи, выстали? — вдруг закричала на баб Марина, вскакивая с саней. — Бежите к правленью.

И, не дав опомниться женкам, она первая, широко размахивая лапами шубы, кинулась на дорогу...

Первое, что увидела Анфиса, — огромная толпа, запрудившая переулок возле правления. Мокрый ветер трепал разноцветные платки женщин, задирали ушастые

треухи стариков. А по дорогам и переулкам все бегут и бегут люди...

На высоком открытом крыльце с белыми перилами и балясинами тоже народ, а спереди во всей своей красе — Харитон Лихачев. Он что-то выкрикивал в толпу, кому-то отчаянно грозил красным кулаком, тыкал рукой вниз перед собой...

Совершенно сбита с толку, Анфиса стала проталкиваться к крыльцу, и тут до ее слуха долетели слова Лихачева:

— Это чистейший патриотизм, товарищи! На таких санках самому Семену Михайловичу Буденному по фронтам разъезжать!..

Наконец Анфиса выбралась в передние ряды. Что-то яркое, цветастое зарябило в глазах у нее. На грязной заледи у крыльца стояли легкие, маленькие, как игрушка, пошевни, доверху заваленные мохнатыми овчинами, а на них жаром горела праздничная, убранная медью сбруя. И как ни была Анфиса измучена и потрясена случившимся, она невольно загляделась на это чудо. Черные точеные полозья с подковками фигурно выгнуты на козлах; высокое сиденье — в узорчатой резьбе, стенка и задник расписаны муравой — будто ворох свежего сена шевелится на грязной заледи.

— И я так скажу, товарищи, — гремел Лихачев, — ежели уж такой старорежимный собственник начисто разоружился... — Лихачев крякнул от досады на свою оплошность, поправился: — Я так скажу: нету счета русской силы, и Гитлеру выйдет капут по всей форме! Понятно? — Он сдвинул на затылок кубанку. — Ну а ежели в части международной обстановки, то союзнички наши...

— Степана Андреяновича...

— Просим...

Лихачев недовольно повел бровью, но отступил в сторону:

— Героя дня? Это можно.

Только теперь Анфиса увидела свата, которого до сих пор заслонял собой Лихачев. Короткий стон вырвался у нее из груди.

Буря не так корежит дерево в лесу... Голова заиндевела, — скажи, как ночь на морозе выстоял, руки висят...

«Да что же это они? Заморозят его...» — Анфиса чуть не расплакалась, заметив, что старик в одной рубашке,

Не спуская с него глаз, она хотела податься вперед, накинуть на него свой ватник, но вокруг стало так тихо, что она невольно замерла на месте. Все услышали жаркий шепот нагнувшегося к старику Лихачева:

— Валяй, Ставров, говори, через что и как надумал такое дело. Да чтоб за душу хватало! Понятно?

Степан Андреянович вздрогнул, поднял голову. Медленно, тоскующими глазами обвел он людей, словно ища у них опровержения тому, что случилось. Но никто ничего не сказал ему. Женщины немо и тихо плакали. Анфиса, крепясь, закусила конец платя.

Ветер пузырил пестрядинную рубаху на старике, шарил по раскрытой волосатой груди. Но он не чувствовал холода. Десятки глаз не мигая, сквозь слезы, смотрели на него, и в них было столько мўки и сострадания, что что-то внезапно дрогнуло и надломилось внутри него. Ему вдруг страшно стало за этих людей, с которыми прожита целая жизнь. Он шагнул вперед, поднял руку, словно стремясь оградить их от беды, но в эту минуту взгляд его упал на пошевни...

Дрогнула земля под копытами... Радужным вихрем взмыли, понеслись санки в темную даль, оставляя позади себя рассыпчатый звон малиновых колокольцев...

Степан Андреянович пошатнулся, прикрыл рукой глаза и, тяжело переставляя ноги в низких валенках, набухших водой, стал спускаться с крыльца.

Анфиса, на ходу расстегивая фуфайку, расталкивая людей, бросилась к свату, но какая-то женщина опередила ее, накинула на плечи старика свою шубу. Люди расступились перед Степаном Андреяновичем, и он медленно, опираясь на внука, сопровождаемый скорбными взглядами земляков, побрел на дорогу.

Толпа не расходилась. Над головами низко ползла рыхлая туча. Черная тень пала на людей, и еще ярче, как жаровня живых углей, вспыхнула медная сбруя на санках.

Лихачев, на все лады кляня про себя чертова старика, напустившего панику на народ, затравленно водил глазами.

Вдруг на крыльцо, бойко перебирая сапожками, взбежала раскрасневшаяся Настя.

— Мы с мамой... — звонко выкрикнула она, — мы с мамой решили внести в фонд нашей дорогой Красной

Армии. Мы отдаем телку... И мама призывает всех старых колхозников, а я комсомольцев. Вот... — И Настя, так же быстро, как появилась, сбежала с крыльца.

— Раз такое дело.., — воспрянул Лихачев, обрадованный неожиданным поворотом дела. — Кто следующий?

От дороги раздался взрыв хохота.

— Что такое? — заорал Лихачев, будто его окатили ушатом холодной воды.

— Да это Малышня! Ярку свою на победу ведет! — весело ответил кто-то и залился смехом.

С разных сторон посыпалось:

— Ну, теперь держись немец!

— Охо-хо-хо! Надумал...

— Он всю армию снабдит...

Меж тем Митенька Малышня уже подходил к крыльцу, петушиным голоском выкрикивал:

— Расступись, народ! Дай дорогу животному!

У воза Степана Андреяновича он остановился, неторопливо и деловито привязал к задку пошевной маленькую, тощую, как он сам, овцу, хорошо известную в Пекашине под именем Митенькиной ярки.

— Ты? — грозно уставился на него Лихачев.

— Я, — утвердительно кивнул Малышня и, не давая опомниться Лихачеву, повелительно, насколько это было возможно для него, сказал: — Принимай, председатель... Сдаю для Красной Армии всю свою живность.

В этот день до позднего вечера к правлению колхоза вели овец, несли овчины, полушубки. И как знать, может, стал бы Харитон Лихачев первым колхозным председателем в районе — в посрамление Проньки Фролова, но тут подкатили новые события.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Пропади оно пропадом. Вы как хошь, а с меня хватит...

Марфа Рёпишная с силой опрокинула плуг и, тяжело шлепая по мокрой, вязкой полевине, выбралась на промежек, где дотлевала прошлогодняя трава. Разрыв сапогом теплый пепел, она присела на корточки, протянула к золе заочеченвшие руки. Остальные пахари — Трофим Лобанов, Настя, Варвара и пожилая, в ушанке поверх суконной завязухи, Василиса — не заставили себя ждать.

Кто начал обивать и очищать сапоги от земли, кто, принаравливаясь к Марфе, потянулся к травяному теплу.

Сиро, не грея, проглядывало из-за облаков солнце. Внизу, под откосом, глухо плескалась вода.

Пинега в этом году вышла из берегов. Затопило все подгорье: пожни, поля, огороды. Уцелела только узкая полоска горбылей у леса. А так — море разливанное, ни конца ни края. По мутной воде тащило бревна, коряги, вывороченные деревья с корневищами. Иногда проплывали постройки, по самую крышу сидевшие в воде, — не то сараи, не то бани. И во всем этом необъятном разливе воды лишь кое-где на холминах торчали островья с шапками прошлогоднего сена да выгибались, все в белой пене, ершистые верхушки ивняка. Время от времени из заречья, оттуда, где на красной щелье холодно сверкают сахарные развалины монастыря, доносился глухой, протяжный гул. Это, подточенные половодьем, срывались в реку камни и глиняные оползни. Оттуда же, с заречных озимей, возвещая о своем прибытии, никем не тревожимые (за другой ныне дичью гонялись охотнички), трезвонили гуси да изредка печально, как осенью, подавали свой голос журавли.

— Женки, гляньте-ко, — сказала Варвара, вытягиваясь на носках, — из района кто...

На пригорке показался невысокий, крупно шагающий человек в серой шинели, с сумкой через плечо.

— Эй! Далеко ли без хлебов? Приворачивай на перепутье! — замахала Варвара.

— Рука-то никак на перевязи, — заметила, подслеповато щурясь, Василиса.

Незнакомец, подойдя к людям, поздоровался, вытер ладонью запотевшее, страшно исхудалое лицо.

— Фу, черт, ну и дорожка.

Вид его всех озадачил. По шинели — военный, по серой фуражке с мягким козырьком — командированный. И что еще кинулось — живые, со смешинкой светлогарие глаза, с нескрываемым любопытством разглядывавшие их из-под большого влажного лба.

— Рука-то что? Не с войны случаем? — спросила сердобольная Василиса.

— С ней самой. С фронта, мамаша.

— С фронта?

Колхозники заново с неподдельным изумлением посмотрели на прохожего. Первый раз они видели живого

фронтовика, человека, пришедшего из того, другого мира, где были их мужья, отцы, братья.

Женщины, опомнившись, бросились готовить место на санях для дорогого гостя. Настя постлала соломы.

— А с какого фронта? — нетерпеливо спросили незнакомца, едва тот опустился на сани и вытянул ноги в заляпанных грязью сапогах с широкими негнушимися голенищами.

— С Ленинградского.

— Что? С Ленинградского? — подскочил Трофим. — Парня моего не видал? Белый, здоровый, на один глаз косит.

— Ты хоть фамилию скажи, — рассмеялась Варвара. — А то — «белый, здоровый».

— Фамилия? — Трофим вытаращил глаза. — Фамилия известна. Максим Лобанов.

— Нет, не помню, — улыбнулся гость и начал доставать из кармана шинели кисет с обрывком газеты.

— Как вы одной рукой-то... — посочувствовала Василиса.

— Это, мамаша, дело нехитрое — могу и вам скрутить, — пошутил гость. — Закуривайте, — предложил он Трофиму.

— Старой веры держимся, — буркнул Трофим.

— Ну-ко, Троша. — С других саней встала, жеманно улыбаясь, Варвара. — Чем дыму-то зря пропадать, дай лучше я понюхаю.

— Надумала, шалава, — сердито проворчал Трофим.

Варвара, подсаживаясь к фронтовику, игривым взглядом скользнула по его лицу, вздохнула:

— Бывало, своего все из избы гнала, табашником ругала, а нынче бы понюхала, да нет...

— Сказывай, дыму захотела, — раздался гулкий бас. — Смотри, Варуха: Терентий узнает, он тебе покажет дым.

Гость с удивлением посмотрел на молчавшую до сих пор женщину с угрюмым, некрасивым лицом. Была она необъятно широка в плечах и стане и на целую голову возвышалась над молоденькой девушкой с добрыми, открытыми глазами, как грибок-подросток прижавшейся к ней сбоку.

Марфа переняла его взгляд, недовольно сдвинула черные ершистые брови: «Что, не видал таких?»

А Варвара, ничуть не смутившись, самоуверенно отвечала:

— Уж я-то своего Терешеньку сумею улестить, только бы вернулся. Будьте спокойны, Марфа Павловна...

— Хватит тебе! — прикрикнул на нее Трофим. — Пасть раскрыла — не слышали... Правда-нет, в Ленинграде мор страшный?

Лицо гостя помрачнело. Карие, глубоко посаженные глаза стали углисто-черными.

— Зимой сто двадцать пять грамм на гражданского. Четверть фунта. Хоть гляди, хоть нюхай. Под снарядами, под бомбами. Холод, света нет... — Он глубоко затаился, закашлялся. — Помню, зимой приехал я с фронта за снарядами на завод. Ад кромешный! Темень, крыша снарядом разворочена, ветер как на пустыре. А зима, сами знаете, какая была. Вижу, в одном углу лампешка чадит, рабочий у станка стоит — в шубе, голова тряпьем обмотана. Рукавицы снимет, подует на руки да снова за клещи. Ну подошел, смотрю. А у него, понимаете, лицо все обморожено, прямо как чугунное — места живого не сыщешь. Только одни глаза из-под очков поблескивают. Что, говорю, доживем, отец, до победы? А он посмотрел на меня да и говорит: «Надо. Я сегодня пятого — последнего в семье — на кладбище отволок...»

Далеко, в заречье, с глухим стоном сорвалась в воду глыба подмытой глины. Вокруг людей чернела выжженная земля. Ветер вздувал холодный пепел. Шумно отфыркиваясь, шарили мордами по промежку лошади. Василиса, ширкая носом, вытирала рукавицей глаза.

— Да, вот какие ленинградцы! — тихо сказал гость. — А вы, я вижу, не очень-то торопитесь с победой? Это с утра наработали? — указал он здоровой рукой на поле.

Под Марфой затрещали сани.

— И того бы не надо! Земля не отошла, холодом дышит — не чуеть?

— Экая ты, Марфушка... С тобой как с человеком, а ты как медведица. Да вы не бойтесь, — подмигнула Варвара гостю. — Это она на председателя...

— Понимаете, — вмешалась Настя, — председатель у нас Лихачев... Мы ему: подождать надо, земля не отошла, а он и слушать не хочет. Здешние поля,

говорит, колом торчат у начальства, всю картину ма-
рают. Ну и выгнал, а пахать все равно нельзя.

— Так, так,— задумчиво сказал гость.— Ну, мне
пора. Спасибо за беседу.— Он улыбнулся глазами.—
Встретимся еще.

— Мы тоже поедem,— решительно сказала Мар-
фа.— Бабы, запрягайте лошадей.

Василиса уже вдогонку крикнула:

— Да вы сами-то чей, гостенька? Как вас звать-
величать?

Человек в шинели обернулся:

— Лукашин. Иван Дмитриевич.

— Так, так. Иванушко... К родимой, значит, да
к жене попадешь? А из какой деревни? Фамилия-то
ровно не здешняя.

Новый знакомый неожиданно и весело рассмеялся:

— Из райкома. На посевную к вам послан.

Женщины с немym изумлением переглянулись между
собой.

— Вы уж нас не обесудьте! — опять вдогонку за-
кричала Василиса.— Может, чего и лишнего погово-
рили...

На покато́й горушке, перед самым спуском в низкую
луговину, сплошь затопленную половодьем, Лукашина
догнала молодая смазливая бабенка, игривый взгляд
которой он чувствовал на себе во время недавней беседы
с колхозниками.

— Коль уж вы бойко шагаете! Походочка фронто-
вая — я вся запышалась... Вы куда это направились?
Вон теперь где переходы-то,— указала она на кусты
слева.— Пинега раздичалась — страсть. Чужому чело-
веку и ходу нет. Пойдемте. Уж коли я первая вас запри-
метила, я и выведу...

Варвара задорно подмигнула ему, слегка припод-
няла подол платья и свернула налево.

Лукашин, принаравливаясь к ее мелкому шагу, кив-
нул на реку:

— Что она у вас, всегда такая?

— Пинега-то? Раз в десять лет молодость вспоми-
нает. А так, чего уж — не Черное море,— авторитетно
заявила Варвара и сбоку посмотрела на него: учти, мол,
и мы не какие-нибудь.

Вскоре она остановилась.

— Ну вот, на угорышек-то взойдете, там и переходы. А потом опять вправо — изгородь будет, — повела она рукой, — все низом, низом, а там и косик — дорога в гору. Видите, вон человек-то на угоре... Да ведь это Степан Андреянович... — вдруг изумленно зашептала Варвара, качая головой. — Мы уж думали, карачун ему, две недели в рот не бирал, а он, вишь вот, ожил. Это он на реку взглянуть вышел.

За озеринной, на пекашинской горе, недалеко от огромного дерева с черными разлапистыми ветвями, стоял человек, опершись на палку. Издали невозможно было рассмотреть ни его лица, ни его одежды, но одно показалось Лукашину несомненным: это был рослый, крупный человек.

— Сына у него убили. Один сын был, и того убили, — вздохнула Варвара.

— Как вы сказали? Степан Андреянович? А фамилия не Ставров?

— Ставров. А вы откуда знаете? — удивилась Варвара.

— В газете читал. Это он сдал свое добро в фонд Красной Армии?

— Пошевни-то да дрожки? Он. А про меня уж в той газетке ничего не написано? — с неожиданным простодушием спросила Варвара. — Иняхины мы. Я тоже овцу сдала.

— Ва-ру-ха!.. — донесся злой, хриплый голос с поля.

— Эко пасть-то раскрыла. Без Варухи шагу не ступит, — рассердилась Варвара, но ответила с неизменной ласковостью: — Иду, иду, Марфинька...

Затем, обернувшись к Лукашину, она торопливо заговорила:

— Командировочные-то у нас всё больше у Марины-стрелехи останавливаются. Она из-под земли вино достанет. Ну а теперь вина нету, кто рад со старухой! С одним глазом, ничего не видит. Вы ко мне приходите.

— Ва-ру-ха!..

— Околей ты дале, иду. Могла бы и мою лошадь пригнать. — Варвара сделала несколько шагов и опять обернулась к Лукашину: — Дак вы ко мне, ежели пожелаете... Летось учитель жил — ничего, не обижался...

Варвара засмеялась и, махнув красным подолом, скрылась за пригорком.

— Ну и ну... — улыбаясь, покачал головой Лукашин.

Затем он еще раз посмотрел на одинокую фигуру старика, все так же неподвижно стоявшую на горе, и пошел к мосткам.

...Во дворе правления он увидел мужчину и женщину. Они стояли на открытом крыльце и, судя по всему, о чем-то крупно спорили.

— Не страшай, не поеду! — выкрикнула женщина. — Сама не поеду и людям не велю.

— Ты что? Приказы не выполнять? — наседал на нее мужчина в кубанке с красным перекрестьем поверху. — Весну военную встречаешь?

— Здравствуйте, товарищи.

Мужчина и женщина разом обернулись.

— А, фронт... — приветливо разулыбил свое рябое лицо мужчина и, сойдя с крыльца, протянул Лукашину руку. — Домой? На побывку? В какую деревню? Митина! — резко обернулся он к женщине. — Выделить лошадь! Немедленно! Понятно?

Темные глаза женщины сузились:

— Нету у меня лошади! Заняты... — И она, злая, сердито раздувая ноздри, сбежала с крыльца.

— Видал, какой черт! Да, брат, кто с немцами, а я с бабьем воюю. Ну мы это дело обтяпаем. Лошадь будет.

Лукашин, задетый за живое неласковым приемом женщины, проводил ее взглядом до угла. Она шла размашистой, мужской походкой.

«С характером», — подумал он.

— Лошадь мне не надо. Я к вам из райкома.

Час спустя Лихачев, весь красный, выскочил из бухгалтерской в общую комнату.

— Ну, как международная обстановка? — полюбопытствовал Митенька Малышня, растапливавший печку.

Лихачев грохнул дверью.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

План Лукашина, когда он отправлялся в «Новый путь», был самый обыкновенный: вечером в тот же день собрать колхозников, рассказать о положении на фронте, а затем уже, после этой духовной зарядки, влезать в колхозные дела. Но головотяпское распоряжение Лихачева,

о котором узнал он от колхозниц в поле, опрокинуло все его первоначальные намерения. Надо было, как говорится, сразу брать быка за рога.

Два дня Лукашин знакомился с колхозными делами: разговаривал с людьми, обошел скотные дворы и конюшни, побывал в кузнице. Творилось черт знает что! Сеялки не отремонтированы, плуги, как на слом, свалены в кучу под открытым небом у кузницы — ржавые, с прошлогодней землей на лемехах. С кормами и того хуже: прохлопали, не вывезли до распутицы с дальних речек. И все это в колхозе, о котором в райисполкоме с уверенностью говорят как о добротном середняке; не внушающем опасений за исход посевной. А председатель? Слова доброго о нем никто не сказал.

«Ну погоди у меня,— с бешенством думал Лукашин,— я тебе мозги вправлю!»

В нетопленном клубе — бывшей церкви с темными высокими сводами — холодно и мрачно. Единственная лампа с выщербленным стеклом освещает лишь сцену. В глубине все еще хлопают двери, скрипят скамейки под рассаживающимися людьми. Шум, приглушенный кашель, пар от дыхания.

— Все староверки прикатили,— замечает Лихачев, наклоняясь к Лукашину. — А бывало, в этот самый храм божий на аркане не затащишь.

Федор Капитонович, непрременный член президиума каждого собрания, налил в стакан воды, услужливо поставил перед Лукашиным.

Наконец Лихачев объявил:

— Доклад об международной обстановке, какая имеется на сегодняшний день, будет говорить товарищ Лукашин, бывший фронтовик, а ныне уполномоченный райкома ВКП(б). Только у меня тихо. Понятно? — строго добавил он, садясь.

Лукашин встал, скинул с плеч шинель.

Шум сразу пошел на убыль. В тусклых отсветах у сцены мелькнули знакомые лица: улыбающаяся Варвара в ярком, цветастом платке, игриво покачивающая ногой в новой калошке, Трофим Лобанов, Настя... А дальше — сплошная тьма, прорезаемая множеством сухих блестящих глаз, скрестившихся на нем. Эти глаза ощупывали, вопрошали его, ждали. И он знал, чего они ждут, чего хотят от него. Но чем взбодрить,

окрылить их измученные, исстрадавшиеся души? Нету сейчас в жизни ничего, кроме бед и напастей.

Но по мере того как перед мысленным взором Лукашина начал вставать осажденный Ленинград, громадная, вся в зареве пожарищ страна, голос его окреп, накалился.

— Фронт сейчас через каждое сердце проходит, товарищи! Линия фронта сейчас у станка рабочего, на каждом колхозном поле. А как же иначе? Недодашь пуд хлеба — недоест рабочий, а недоест рабочий — значит, меньше танков и самолетов. — Лукашин весь подался вперед, взметнул руку. — Кому выгода? Гитлеру от этого выгода!

Мертвая тишина стояла в зале.

— А у вас что в «Новом пути»? — круто поставил вопрос Лукашин. — Хлеб прошлогодний сгноили под снегом? Так говорю?

— Так... — приглушенно ответили из темноты.

— А нынешнюю весну как встречаете? Посевной клин сокращать надумали? Это ваша помощь фронту?

— Вы с председателя спрашиваете! — прозвучал несмелый выкрик.

— Вот, вот! — на лету подхватил Лукашин и резко повернулся к Лихачеву: — Партия вам, товарищ Лихачев, ответственный участок поручила. А вы... черт знает что устраиваете! Втаптывать в грязь зерно — да это же преступление!

— Верно! Правильно! — взметнулись голоса.

— Дайте слово сказать! — в первом ряду поднялась какая-то женщина.

— Жена, жена, помолчи, — удерживал ее бритый, с длинным лицом старик.

— Отстань! Ты всю жизнь молчишь — что вымолчал? Еще Мудрым прозываешься.

В ответ ей горохом рассыпался смех.

— Над чем это? — недоумевая спросил Лукашин, подсаживаясь к Федору Капитоновичу.

— Баловство наше... Софрон Игнатьевич до сорока лет холостяком жил, а тут взял да женился на молодой. Ну Мудрым и окрестили.

— Крой, Дарка, не бойся!

— И не боюсь, бабы! — разошлась Дарья. — У меня два сына на войне, да чтобы я боялась... Старшой-то, Алексей, в каждом письме спрашивает; как да что в

колхозе, дорогие родители? А у нас хоть издохни на поле — все без толку. Как зачал ты, Харитон Иванович, подруги подтягивать — дак чуру не знаешь. Бригадиров по номерам кличешь, а мы лошадей по имени зовем. А нашего брата, бабу, и вовсе за человека не считаешь... А где это слыхано, чтобы в мокреть пахать? Или мы до тебя не жили? Весь век соху из рук не выпускаем и с голоду не помирали. Ты об этом подумал?

— Слышишь? — бросил Лихачеву Лукашин. Он был очень доволен, что так вот сразу удалось вызвать на деловой разговор колхозниц.

Лихачев вскинул голову, рывком встал:

— Вы что, против партии? Тыл подрывать?

Невообразимый шум поднялся в клубе:

— Ты нас партией не стращай!

— Мы сами партия!

— Она, партия-то, так велит разговаривать с народом?

— Верно! Как в другом Сэсэрэ живем.

— Дура! Нету другого Сэсэрэ...

— Тише вы, очумели! — возвысил голос Федор Капитонович. — Глотку давно не драли.

— Не хотим тише!

— Громче, бабы!

— Это они в темноте наживаются, горло дерут... — зашептал, оправдываясь, Лихачев на ухо Лукашину. — А на свету ни одна не пикнет.

Лукашин встал:

— Базар, товарищи, нечего устраивать. Надо по-деловому, с пользой критиковать.

— А мы без критики — так скажем...

— Чего Харитона укрываете? — раскатисто бухнула из глубины зала Марфа Репишная.

Бабы будто этого только и ждали — повскакали с мест, завопили:

— Не хотим Лихачева!

— Будет, натерпелись!

— Нам бы председателем-то с орденом который! — звонко выкрикнула Варвара и, мечтательно скосив горячий глаз на грудь Лукашина, подмигнула ему, как старому знакомому.

В лампе металось пламя, гул перекатывался под сводами старой церкви. Лукашин, вглядываясь в разъяренных, размахивающих руками женщин, струхнул. Нет,

он этого не хотел. Райком его на это не уполномочивал. Он вспомнил слова заврайзо: «Анархии в колхозе много. Лихачев немного подтянул, но еще недостаточно. Помогите. Старый, опытный кадр. Номенклатура райкома...» И тут в один миг представились Лукашину все непоправимые последствия его непродуманной, через край хлестнувшей критики: срыв сева, невыполнение плана...

Он схватил пробку от графина, яростно застучал по столу:

— Товарищи, товарищи! Сейчас не время менять председателя. Вот сев кончим — ставьте тогда вопрос. Кто же это в бою командира меняет?

Последние слова его потонули в новых выкриках:

— Он к тем порам нас по миру пустит!

— Некем командовать будет!

На помощь Лукашину поспешил Федор Капитонович:

— Постыдились бы серость свою показывать. Товарищ с фронта... Без отчета разве симают?

— А-а-а, ты Харитона защищать?

— Ему что, девки дома — сердце не болит...

Федор Капитонович поморщился, развел руками:

— Ну и народ, совсем образ потерял...

Дальше собрание пошло как воз под гору.

На сцену вихрем взлетела раскрасневшаяся Настя Гаврилина:

— Я бы вот что сказала... Я бы в председатели Анфису Петровну... Она людей на дела поднимать умеет. Помните, как с навозом вышло? В общем, я и мы, комсомольцы, за Анфису Петровну!

Несколько секунд зал молчал — до того неожиданным было это предложение.

Лукашин первый пришел в себя:

— Товарищи, горячку в таком деле пороть нельзя. Надо все взвесить, с райкомом посоветоваться.

Его поддержал Федор Капитонович:

— Разревелись! Порядков не знаете. Когда это без ризолюции...

— Черт те в твоей ризолюции! Она по немцу не стреляет!

— Анфису... Анфису Петровну!

Из глубины зала донеслись возня, шум, рокочущий уговаривающий басок Марфы:

— Чего ерепенишься? Народ просит.

— Уважь, уважь, Анфисьюшка! Не убудет тебя... — поддержали женские голоса.

Трофим Лобанов сердито тряхнул головой, сплюнул

— Бабу в председатели!.. Штаны не найдутся?

— Может, твои, Трофимушко? — поддела его Варвара.

— Ты не больно... — ошетинился Трофим. — У Трохи три штыка на фронте!

Хохот, перебранка, выкрики:

— Выходи, выходи, Анфисьюшка! Покажись...

Лукашин, нервно кусая губы, всматривался, вслушивался в гудящий, взбудораженный зал, потом махнул на все рукой. Какого лешего? Пускай делают как знают. В конце концов, кто тут власть? Кто хозяева? Неужто сами себе зла хотят? И почему это, — спорил он с невидимым противником, — почему это он, приезжий человек, прав, а весь народ ошибается?

Но когда он увидел сбоку от себя Анфису — ее буквально силой вытолкали на сцену, — сердце его опять упало. Ну, кажется, наломали дров!.. На нее было жалко взглянуть. Она была не то что растеряна, а как-то вся перепугана, пришиблена; бледное лицо в красных пятнах...

Но, странно, растерянность и робость Анфисы пришили собранию по нраву. Это чувствовалось и в тех ласковых и любопытных взглядах, которыми рассматривали ее притихшие бабы (словно не видали раньше), и в тех приглушенных словах, которыми обменивались в зале:

— Разалелась, как девка на смотринах.

— Ничего, ничего, пущай...

Прошло, наверно, минуты две, пока Анфиса немного овладела собой:

— Я не знаю, женки... вы с ума посходили. Какой из меня председатель? Три зимы в школу ходила...

— Ничего, Харитон больно востер.

— Я и говорить-то не умею...

— Вот и ладно — нам Харитоновых речей на десять лет хватит.

— Берись, берись, Анфисьюшка... все Харитона хуже не будешь...

— А что робеешь — стыда нету. Знаешь, на какое дело идешь...

— Да ты присядь, Петровна, ноженьки-то не казенны. Сколько с утра выходили.

— К красному столу, ко свету! — подхватили голоса. Лукашин поискал глазами на сцене стул.

— Харитон давно сидит! — вдруг взвизгнула, давась от смеха, какая-то бойкая бабенка.

— Вер-р-но-о-о! Хватит, посидел.

Лихачев до хруста стиснул зубы, выпрямился:

— Понятно... Советская власть не нравится?..

— Ты с ума сошел! — Лукашин рванул его за полу ватника. — Как с народом говоришь?

Лихачев круто повернулся:

— Я-то говорю как надо. А вот ты в чью дудку? С тобой еще потолкуют! Народ разлагаешь!.. — разъяренно зашептал он.

— Ты?.. Ты угрожать? Да знаешь, что с такими командирами на фронте делали?

Внизу шум, крики:

— Не чуем!

— Громче!

Лихачев медленно сошел со сцены и, прямой, не сгибая головы, весь в скрипящих ремнях, двинулся к выходу. В мертвой тишине, отдаваясь под сводами, угрожающе прозвучали его шаги.

Грохнули двери, скрипнули половицы в коридоре.

Вздых облегчения прошел по залу.

После голосования быстро и споро начали решать неотложные дела. Федор Капитонович, выказывая давнишнюю административную сноровку, умело ставил вопрос за вопросом.

Постановили: пахоту начать выборочно, не ожидая, когда обсохнет весь массив, в поле выезжать не позже четырех утра.

Затем одна пожилая колхозница несмело предложила:

— Какая мука в кладовой колхозной — раздать бы в счет трудодней, все веселей...

Приняли и это предложение.

Лукашин слушал невнимательно, нервничал. Он чувствовал шумное, напряженное дыхание сидевшей рядом с ним Анфисы, и прежние сомнения подымались в его душе. Как посмотрят в райкоме? Ни с кем не согласовал — пришел, наломал дров! Положим, этого кавалериста давно пора гнать, да разве так подбирают кадры?

Не поворачивая головы, он скосил глаз в сторону Анфисы. Прищуренные глаза уперлись в стол, щека полыхает румянцем. Но когда он увидел тонкую, в упрямом изгибе шею и над ней тяжелый, туго закрученный узел черных волос, он вздохнул легче. Ему припомнилась первая встреча с этой женщиной во дворе правления колхоза...

Потом обсуждался вопрос о кузнице. На сцену, не торопясь, с чувством собственного достоинства, вышел Николаша Семьин — узкоплечий золотушный парень в хромовых, до блеска начищенных сапогах, при галстуке.

В Пекашине его больше звали «специалист по тонкой работе». Починить замок, приделать какую-нибудь дужку к ведру, выковать из напильника ножик — это он еще кое-как мог, а вот там, где надо было орудовать кувалдой, Николаша только руками разводил: «Черная работа — не моя специальность».

Впрочем, в колхозе его любили. Как-никак свой кузнец — в других колхозах и таких нет, да и хоть по видимости, а все-таки мужчина.

Николаша с важностью, какую давало ему сознание собственной незаменимости, начал так:

— Как я специалист по тонкой работе, то махать молотом мне несподручно. Прошу выделить в мое распоряжение физическую силу.

— Это какую такую силу тебе, Николай? — не без ехидства полюбопытствовала Варвара.

— Ежели так, по-нашему сказать, то это такая, какая будет махать молотом по моим указаниям. Иначе — баба здоровая.

По залу прошелестел легкий смешок. Лукашин тоже — первый раз — от души рассмеялся.

— Так бы и говорил...

— Марфу Репишную! Кто же здоровше Марфы?

— Да я всю кузню разнесу!.. — вздыбилась Марфа.

Но, как ни упиралась она, порешили: работать Марфе в кузнице.

После этого вопросы и предложения посыпались со всех сторон. Однако было уже поздно, лампа из-за недостатка керосина чадила, потрескивая фитилем, и Федор Капитонович, напутствуя: «Словом-то из пушек не стреляют... Работать надо...» — закрыл собрание.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Старинные, с облупленным циферблатом ходики, висевшие в общей комнате, показывали половину четвертого. Светало.

Анфиса медленно подошла к председательскому столу и, не раздеваясь, присела на табуретку. С чего начать? За что приняться? Ей смутно припоминались какие-то главные звенья, о которых после собрания говорил Лукашин. Дома, ни на секунду не сомкнув глаз, она всю ночь продумала об этих самых звеньях. И выходило — все, чего ни коснись, главные звенья. И хлеба нет, и корм на исходе, и людей нет... Бывало, об эту пору сев кончали, а ныне весна шла тяжелая, холодная — хуже всякой осени.

— Ох, горе горькое... — вздохнула она и тупо посмотрела перед собой. На самой середине стола возвышалась большая грязная, с выщербленными краями тарелка, доверху заваленная окурками.

— Нет уж, хватит, Харитон Иванович! — вдруг ожесточилась Анфиса.

Она схватила лихачевскую пепельницу и швырнула ее в печку. Потом, все еще рассерженная, оглядела контору. Пол затоптан, засандален, будто век не мыт, у дверей в углу мусор прикрыт обтрепавшимся веником. А на стенах что делается! И табачников-то поискать сейчас, а газеты со стены лоскутьями выдраны — все на те же проклятушки сосульки.

Она широко распахнула двери, открыла форточку. Свежий, холодный сквозняк рванулся в комнату. Потом скинула с себя ватник, подоткнула подол, закатала рукава кофты и, отыскав на кухне ведро, сходила за водой к колодцу.

Час спустя, отирая пот с лица, она окинула глазом свежевывмытый пол и, как-то сразу повеселев, сказала:

— Ну вот, так-то лучше.

Но только она присела на табуретку — за спиной залиvisto задрожал звонок. Она растерянно посмотрела на блестящий пляшущий шарик, беспомощно оглянулась — в конторе она была одна. А звонок заливался все настойчивее и требовательнее. Вот наказание-то! Ей ни разу в жизни не приходилось разговаривать по телефону. И кому только в этакую рань не спится?

Наконец она решилась — со страхом, замороженными глазами глядя на пляшущий шарик, подошла к телефону, сняла трубку. Лопочущий треск, шум. Ей сразу стало жарко. Вот горе-то какое... И уши есть, да, видно, не те. Затем она догадалась стянуть с головы плат. Теперь уже стала угадываться человеческая речь.

— Кто там? — тихо спросила Анфиса.

— Это «Новый путь»? — вдруг совсем рядом спросил охрипший женский голос.

— «Новый путь»...

— Дрыхнете, бессовестные! Вы эти мне порядочки бросьте! Я кричу, кричу — что у меня, глотка казенная?

Анфиса пыталась что-то сказать, но сердитая девица строго оборвала:

— Не оправдывайтесь! Знаем вас — не первый год! С вами сейчас из райкома говорить будут... — и в трубке щелкнуло.

Прошло, наверно, минуты две, которые показались ей целой вечностью. Она стояла, не смея пошевелиться, и до ломоты в голове вслушивалась, сжимала в руке напотевшую трубку. Потом уже не выдержала, позвала:

— Райком...

— Я — райком! — неожиданно раздался крепкий басистый голос. — Кто со мной говорит?

— Да это так... из «Нового пути»... — опять оробела Анфиса.

На какую-то секунду в трубке смолкло.

— А я ведь вас угадал! — весело и довольно рассмеялся только что говоривший с ней мужчина. — Анфиса Петровна?

— Да...

— Здравствуйте, товарищ Минина! С вами говорит секретарь райкома Новожилов.

— Здравствуйте, товарищ секретарь. Как же вы меня узнали?.. — искренне удивилась Анфиса.

— Очень просто. Кому же не спится по утрам, как не новому председателю? Верно говорю? Мне еще ночью звонил Лукашин. Кстати, он ушел в Водяны, не знаете?

— Нету здесь...

— Беда у нас с Водянами... затопило... — с горечью сказал Новожилов. — Ну а как вы себя чувствуете на новом месте?

— Сама не знаю как...

— Ну так я скажу. Отлично чувствуете!

— Это почему же? — снова удивилась Анфиса.

— Дела от Лихачева приняли?

— Нет еще... когда...

— Вот видите, а уже на ногах. Значит, душа болит, беспокоитесь. А это главное!

Новожилов спрашивал о готовности к севу, требовал немедленного выезда в поле, интересовался настроением людей, запасами хлеба в колхозе. Она что-то отвечала, кричала в трубку, когда он переспрашивал, — как в тумане...

После разговора с секретарем самые противоположные чувства охватили Анфису. Это был первый человек, с которым она говорила как председатель. Ей было радостно, что секретарь райкома так просто и приветливо разговаривал с нею, и в то же время страх подкатывал: только теперь она поняла, всем сердцем почувствовала, какой груз взвалили ей на плечи. С этого дня она, малограмотная баба, в ответе за весь колхоз, за целую деревню.

Занятая этими мыслями, она и не слышала, как в контору вошел Федор Капитонович.

— Вот как мы, уже хлопочем! — радостно заговорил он с порога, поощряя ее усердие всем своим видом.

Федор Капитонович был в праздничном пиджаке, в кожаной фуражке, которую он обычно надевал в торжественных случаях, в добротных сапогах, жирно смазанных дегтем. Его маленькое сморщенное личико, обметанное реденькой колючей щетиной, неподдельно сияло.

«Чего это он сегодня? Радость какая?» — подумала Анфиса.

Поздоровавшись за руку — и это тоже удивило ее, — он степенно сел на деревянный некрашенный диван, снял фуражку.

— Ну, слава богу, и у нас как у людей... — Федор Капитонович достал пестрый платок, вытер лысину. — Я уж говорю бабе своей: вот, Матрена, и мы дождались праздника. А то ведь с этим Харитошкой беда! Истинно сказали вчера колхозники: пустил бы по миру и глазом не моргнул...

Анфисе ли было выгораживать Лихачева, но слова Федора Капитоновича покорили ее.

— А пустой и был человек,— продолжал Федор Капитонович. — Жалеть нечего. У самого царя в голове нету — хоть бы умных людей слушал...

— Ну тебя-то он слушал — грех обижаться.

— Да ведь как слушал? Я ему, бывало, так и эдак. А он все свое... Знамя? Да ты сперва о колхозе радей! — вознегодовал Федор Капитонович. — А знамя что — не уйдет, по заслугам и награда...

Успокаиваясь, он вынул кисет, свернул сигарку, выбил кресалом искру. Едуче запахло самосадом. Анфису всю так и передернуло, но она сдержалась.

Федор Капитонович затянулся, пошарил глазами по столу, по подоконнику и, не найдя посуды, стряхнул пепел на ладонь. Вместе с пеплом от сигарки отвалился красный уголек, но рука Федора Капитоновича даже не дрогнула. Это так удивило Анфису, что она невольно и с каким-то безотчетным страхом взглянула ему в лицо. Сквозь волны сизого дыма на нее по-прежнему ласково и умиленно смотрели маленькие слезливые глазки. Тогда она снова перевела взгляд на руку. Большой, согнутый, как крюк, палец, дожелта прокуренный. Потом она разглядела и всю руку — каменно-тяжелую, жилистую, с задубевшей кожей на ладони.

«О, господи, вот так ручища», — подумала Анфиса, окидывая глазами щуплую фигуру Федора Капитоновича.

Оправившись от изумления, она спросила:

— Когда думаешь в поле выезжать?

— Да ведь когда... Ежели, скажем, к примеру...

— На Широком холму обсохло. Начинать надо.

Федор Капитонович внимательно посмотрел на нее и вдруг с готовностью воскликнул:

— Это уж беспреренно! Я завтра пробный выезд хочу сделать. С тем и пришел...

— Вот и ладно,— сразу подобрела Анфиса, а про себя подумала: «Может, и зря о нем худо думаю?»

И Федор Капитонович, словно желая рассеять остатки ее сомнений, строго добавил:

— Да ведь как же! Война — понимать надо!

Потом, зажимая в руке окурок, глянул под стол:

— Смотрю, в башмаках. От форсу аль по нужде?

— Какое от форсу... — застеснялась Анфиса, подбывая ноги. — У старых сапожонков союзки обносились. Уже теленка сдам — дадут кожи...

— Да ведь теленка когда сдашь, а без сапог... Оно, конечно, председательская работа чистая, а все же разъезды, то, се. Нет, председателю беспрерывно сапоги надо! — убежденно сказал Федор Капитонович.

Лицо его вдруг приняло озабоченное выражение.

— Что же нам с тобой делать-то, Петровна, а? Разве что... — начал размышлять он вслух. — Ну да! Ты вот что, приноси свои сапожонки. У меня где-то союзки валялись. Ночь посижу, к утру сработаю.

— Что ты, Федор Капитонович, я уж как-нибудь выкручусь. А союзки тебе самому сгодятся...

— И не говори, и слушать не хочу! — рассердился Федор Капитонович. — Плачь, да выручай. На этом свет держится. Об этом и партия учит...

Растроганная до глубины души, Анфиса не знала, как и благодарить:

— Ну, спасибо тебе, Федор Капитонович. Ты меня так... так выручишь... Там и союзки-то небольшие надо. А я уж тебе, теленка вот сдам...

— Пустое говоришь, — опять строго оборвал Федор Капитонович. Затем, почесав затылок, как бы между прочим, добавил: — А ты мне хоть пудишко на первый случай... Больше не прошу... Сам знаю — война...

Анфиса непонимающе уставилась на него.

— Мучки, говорю, со склада. До края дожил. — И, видя, что председатель растерянно шарит по столу руками, Федор Капитонович подsunул ей бог знает откуда взявшийся листок бумаги. — Не ищи; знаю, что дела еще не приняла...

— Да я не знаю... — замялась Анфиса. — Муки на складе званье одно... А ты хозяин исправный, — она натужно улыбнулась, — проживешь...

— Эка ты, — недовольно поморщился Федор Капитонович. — По моим сусекам не мела... Да я что, задаром? Нет, ты мне в счет трудодней, по всем законам. Опять же — как на вчерашнем собрании постановлено? Забыла? Нет, Петровна, — внушительно поднял палец Федор Капитонович. — Супротив народа не советую. Харитон супротивничал — знаешь, что вышло?

Кровь бросилась в лицо Анфисе. Она немигающими глазами смотрела на этот желтый несгибающийся, как крюк, палец, и вдруг страшная догадка озарила ее.

— Да ведь ты... — прерывисто задышала она. — Ты... что же это?.. Сапогами хотел купить? Люди с голоду пухнут, а ты... — Ей не хватало воздуха.

Федор Капитонович поджал губы, встал.

— Голова-то думать дадена, а не то чтобы всякое пустое, — строго и назидательно сказал он и, всем своим видом показывая, до какой степени он оскорблен, пошел к двери.

— Анфиса, Анфиса! — в контору, едва не сбив с ног Федора Капитоновича, вбежала растрепанная, насмерть перепуганная доярка Марья. — Корова поддыхает...

— Что?..

— Корова, говорю, поддыхает... Да иди ты, бога ради...

Марья, всхлипывая, схватила Анфису за рукав, потянула из-за стола.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Лукашин был страшно зол. Хозяйка (он таки не избежал участи всех командированных — остановился у Марины-стрелехи) разбудила в восьмом часу. Пожалела. Э така дубина стоеросова!..

Утро было холодное, ветреное. Из труб валил дым, зябко прижимался к тесовым, белым от инея крышам. Сапоги, как колодки, стучали по еще не оттаявшей с ночи дороге. Навстречу ему попадались школьники, останавливались, молча провожали его не по-детски серьезными, вопрошающими глазами.

Ну ясно! Куда это ты, дядя, торопишься? Не успел заявиться и уже лыжи наострил! А что подумает Минина? Это же никуда не годится. Вчера, после собрания, бог знает какой ерунды наговорил. Рассуждал о предвидении, о каких-то главных звеньях. Прямо как пономарь!

Он подумал было, не заскочить ли на минутку в правление, сказать по крайней мере, что и как. Но ему опять вспомнился ночной разговор по телефону, и он зашагал быстрее. Секретарь райкома Новожилов через каждые два слова с надрывом кричал: «Ты меня понял? Ты меня понял? Немедленно в Водяны...» Хорошо, что хоть на снятие Лихачева реагировал спокойно. Наверно, не все понял — слышимость была

отвратительная, а может быть, и понял, да все дело в наводнении.

В верхнем конце Пекашина Лукашин был впервые, и, как ни нервничал он сейчас, глаза его зорко присматривались к окружающему.

Все те же дома, то одноэтажные, то — изредка — двухэтажные, но обязательно с огромными крытыми дворами и поветями. Голые огородцы — картофельники, усталые старыми, как плети, побелевшими стеблями. Часто попадались нежилые избы с заколоченными окошками, с выбитыми стеклами. Ветер со свистом хозяйничал в них, как на погосте. Передки у многих старых домов разломаны на дрова. Кое-где виднелись свежие разрезы бревен. Видно, вошло уже в привычку; оторвет хозяйка чурку, и дальше. И на протяжении целого километра ни одной новой постройки, поставленной в последние годы.

«Ох, и какая же работа предстоит после войны! — думал Лукашин. — Деревню заново отстраивать придется».

Спускаясь с пекашинской горы, он поднял воротник шинели, чтобы заслонить лицо от колючего ветра. Когда он перебрался через вспененную, яростно kloктавшую Синельгу и вошел в лес, высокий розовый сосняк, — сразу потеплело. Ветра здесь не было, только в верхушках, позлащенных солнцем, слегка пошумливали и охало, да изредка раздавался глухой, надтреснутый скрип дерева.

За первым же поворотом песчаной, присыпанной старой, порыжевшей хвоей дороги, по которой еще не пролегла ни одна свежая колея, Лукашин увидел женщину. Низко нагнувшись к земле, она ползала между соснами, недалеко от дороги, и не то высматривала что-то, не то собирала. Из-под красного вздернутого платья выглядывали пестрые чулки, белые подвязки перехватывали их ниже колена.

— Эй, хозяйка, где тут дорога на Водяны?

Ему совсем незачем было спрашивать об этом, потому что Марина-стрелеха обстоятельно растолковала, как идти, и он сделал это машинально, как сделал бы всякий человек, впервые очутившись в незнакомых местах.

Женщина обернулась, и он узнал в ней Варвару Иняхину.

Она не спеша обтерла руки о платье, улыбнулась:
— А чего вы не видали в Водянах?

Лукашин подошел к ней:

— Беда там. Наводнение.

— Ну, им не привыкать,— без всякого сочувствия сказала Варвара.— Кажинный год топит. Сели бы еще в реку, дак и вовсе бы из воды не вылезали. Ей-богу, так,— заверила она его, перехватив вопросительный взгляд.— Малый ребенок знает— на горе строиться надо, а эти водари бессовестные расселись на бережку. Чтобы в одной руке травина, в другой рыбина. А как вода-то в деревню зайдет— им тут самое житье. Худо ли? Еда к самому крылечушку подплыла...

Воздав должное жителям Водян, с которыми у нее, очевидно, были старые счеты, Варвара опять беззаботно заулыбалась. Утреннее неяркое солнце скользило по ее смуглому красивому лицу, кокетливо обвязанному пестрым, легким не по погоде платком. Она слегка щурила карие плутоватые глаза и, медленно водя кончиком языка по румяным губам, не мешала ему разглядывать себя. И, кажется, нарочно, чтобы он обратил внимание и на другие ее достоинства, легонько качнула бедрами.

Лукашин потянулся здоровой рукой к белому мху, наваленному вокруг сосны.

— Куда это вам мох?

— А коровушка-то? Воздухом еще не научена питаться...

Какое-то глухое беспокойство ворохнулось в душе Лукашина, но Варвара, уже расстилая мох, приглашала:

— Чего стоять-то? Покурите немножко. Я страсть люблю, как дымком пахнет...

Ему, однако, было не до куренья. Едва сели, Варвара запросто, как будто его не было, приподняла над коленом подол платья, оттянула вниз пестрый чулок и, потирая руками под коленкой, пожаловалась:

— Резинка туга, вот как натерло...

Но в ту же минуту она резко натянула на колено подол, стыдливо потупилась:

— Вот срам какой... Год еще поживешь без мужиков— забудешь, что ты и женка...

И хотя Лукашин понимал, что все это— и подвязка, и эта наигранная стыдливость— дешевые приемы не раз уже, вероятно, применявшегося соблазна, но именно

это еще больше распаяло его воображение. И Варвара, словно подзадоривая его, расстегнула ватник, маняще приоткрыла маленькую, туго обтянутую красным ситцем грудь.

«Нет, нет! — говорил себе Лукашин. — Только не сейчас. А то черт знает что. В первый день и... Хорош уполномоченный!..»

Он резко вскинул голову, не своим, хриплым голосом спросил:

— Что за человек эта Минина?

Варвара с явным замешательством и неудовольствием посмотрела на него — нужна, мол, сейчас тебе эта Минина — и ответила с некоторым раздражением:

— Анфиса-то? При живом муже монастырь устроила.

Однако, заметив отчужденность во взгляде Лукашина, она смирилась и со свойственной ей обстоятельностью начала разъяснять:

— Я еще девчушкой была, как ее замуж выдавали. Все за столом как люди — пьяные да веселые, а она одна как на похоронах. Бледная, ни кровинки в лице. Мне лет девять, видно, было, босиком еще бегала, а я уж все понимала, — не без гордости заметила Варвара о своей ранней опытности. — Бабы шепчутся: «Невесела невестушка», — а какое ей веселье, когда тошнит... Григорий-то у нее не промах, никому спуску не давал. Сам из себя видный, красивый...

В словах Варвары Лукашину почудилось нечто большее, чем простое, бескорыстное восхищение мужем Анфисы, и он, вдруг почувствовав себя оскорбленным, нетерпеливо оборвал ее:

— Да я не об этом. Что за человек эта Минина?

Варвара с удивлением выгнула бровь.

— Ну, по-вашему, председатель она... как?

— А-а, вот вы о чем, — поняла наконец Варвара. — Тут тужить не об чем. Всяко Харитона хуже не будет. Она ведь какая, Анфиса-то? Села за свадебный стол Анфиской, а вышла Анфисой Петровной. Вправду, вправду, — закивала Варвара, видимо очень довольная произведенным эффектом. — До свадьбы-то Фиска Фиской, рот тоже, как у меня, не закрывался, а тут поставила себя, важность напустила — богородица на землю сошла. Матушка мне, бывало, когда я стала в девки выходить, покою не давала, только и тыкала: «Варка, смотри на Анфису, Варка, примечай за Анфисой».

А чего примечать? Вся в темном, как монашка. В жару, бывало, на сенокосе, разомлеешь — рада до воды добраться. Мужики ли, парни — бух в воду, всем-то еще веселее. Смотрите на здоровье, не украдено. А эта — ни за что. Как будто у нее там серебро навешано, сглазить себя не даст... Ну слушаю, слушаю я свою матушку, когда она меня Анфисой-то наставляет, — снова повернула Варвара на свою привычную дорожку, — а сама думаю: «Нет, ладно, святых-то на небе хватает. Мне, грешнице, и на земле не худо...» Да вы куда? — вдруг с досадой спросила она, увидев, что Лукашин встает.

— Пора...

Варвара нехотя поднялась вслед за ним. Она не скрывала своего разочарования. Лицо ее вытянулось, в глазах на мгновение мелькнуло что-то вроде презрения, но в следующую секунду они уже снова играли многообещающей улыбкой. Ничто не могло надолго омрачить ее душеньку. Ее и война-то, казалось, обошла стороной, да Варвара и сама, как видно, не очень-то интересовалась ею, не лезла, подобно другим с дошными расспросами.

Она стояла перед ним молодая, свежая, зазывно и в то же время смиренно глядя ему в глаза.

Он, как пьяный, боясь оглянуться назад, побрел на дорогу.

— Пойдете обратно, приворачивайте. Домик-то мой светленький выдали в верхнем конце? — напутствовала его Варвара.

Мало-помалу быстрая ходьба вернула ему душевное равновесие, и он, вспоминая о встрече с Варварой, уже с издевкой и сожалением думал над своими опасениями.

Пригревало солнце. Пахло смолой.

Вскоре потянулась старая, заброшенная подсочка. Удивительное, сказочное зрелище! Сосны в белых рубашках! Да по обеим сторонам дороги широким частоколом бежали высокие, стройные, как свечи, сосны, у которых почти до самой макушки с одного боку была соскоблена кора. Тоненькие сахарные натеки засохшей серы узорами вились по белым стволам.

Радостный и возбужденный, каким он давно уже не чувствовал себя, Лукашин легко и свободно шагал по лесной дороге и не раз мысленно удивлялся: кто бы мог подумать, что так вот запросто — и в какое время! — он будет вымерять дороги этого глухого, таежно-

го края, за тысячи километров удаленного от фронта? И многое, многое, пережитое за последние месяцы, припомнилось ему. Эвакуация из Ленинграда, теплушки, госпитали, окружная комиссия в Архангельске...

Что делать? Куда приткнуться на несколько месяцев, пока поправится рука? На родную Смоленщину дороги нет...

В обкоме партии ему предложили на выбор: работу в аппарате или на периферии. Лукашин, не задумываясь, в самую распутицу поехал в один из отдаленнейших районов области, расположенный в верховьях Пинеги. И погнала его туда неумемная, с детства вкоренившаяся страсть к путешествиям, к новым местам, к новым людям. Бывало, начитавшись разных книг, которыми щедро снабжал его деревенский учитель,— о следопытах, об отважных и дерзких землепроходцах, о таежниках,— он во сне и наяву грезил их необыкновенными приключениями и сам мечтал о подвигах. Но жизнь рассудила иначе. В скорбном двадцать четвертом году двадцатилетнего Ванюшку-лобастика, как прозвала его родная деревенская комсомолия, направили учиться. Потом опять деревня— избач, секретарь партячейки, инструктор райкома...

Но беспокойное сердце Лукашина давало себя знать и здесь. Он никак не мог усидеть на одном месте и, как бы оправдываясь перед своей совестью и товарищами, в шутку говорил, что ему от рождения прописан кочевой режим.

В райком партии он приехал вечером. Секретарь райкома встретил его с радостью:

«У нас сейчас кончается пленум райкома. Людям уезжать надо. А послушать свежего человека, да еще фронтовика, им во как полезно! Можешь?»

«Могу»,— ответил Лукашин, хлюпая в сапоге водой, набравшейся при переправе через разлившуюся речонку.

После этого он в течение недели выступал с докладами в районном клубе, окрестных деревнях, а потом напросился уполномоченным на посевную.

...Лукашин посмотрел на часы. Уже два часа, как он в дороге. Он покосился на сумку, в которой лежал кусок мягкого хлеба, стыдливо посмотрел вокруг. Хоть и плотно подзакусил он у своей хозяйки, но блокада все еще сказывалась: его постоянно тянуло к еде,

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Немазаную телегу качало из стороны в сторону. Она скрипела, трещала и, виляя расхлябанными, перекошенными колесами по задубевшей дороге, медленно двигалась среди голых кустов. Сухие старые листья с жестяным шумом перекатывались по обочинам дороги. На открытых местах сыпало в лицо песком, ветер трепал, рвал бороду.

Но Степан Андреянович, казалось, не замечал ни тряски, ни песка, секущего лицо, ни злых, резких посвистов разгулявшегося сиверка. Сгорбившись, покачиваясь на телеге, он смотрел прищуренными глазами на крутившийся в воздухе серый прошлогодний лист, и смутные, тоскливые мысли сжимали ему сердце. Вот и он, как этот старый неприкаянный лист... Всю жизнь он крепко держал в руках весло; через какие пороги, падүны проводил свою лодку! А тут налетела буря, вырвала из рук весло — и закружило, завертело, как щепку. И ничего нельзя поделатъ. Плыви, куда несет. И он уже не рассуждал, не раздумывал, когда Анфиса стала уговаривать взять бригаду. Тяжело вставать из мертвых, а раз надо, так надо...

Впереди Степана Андреяновича ехал Трофим Лобанов. Он был в полушубке, в рукавицах. На большой круглой голове до самых плеч нахлобучен заячий треух. Ветер рвал его, как худую соломенную крышу.

Когда стали подъезжать к Попову ручью, Трофим, не оборачиваясь, повернул на крайнее поле, примыкавшее к лесу.

«Эх, Троша, Троша!.. Помирать будем — и тогда захочешь первым...»

Но Степан Андреянович не осуждал его. Так уж повелось издавна: своенравный и завистливый Трофим терпеть не мог, когда в чем-либо опережал его однокашник Степка, а нынешнее бригадирство поперек горла встало ему.

Подъехав к полю, Степан Андреянович торопливо распряг коня, наладил плуг. Легкое волнение охватило его, когда он взялся за поручни. Считай, двенадцать лет не хожено в борозде — свой огородишко не в счет.

Нет, не забывается то, что с малых лет заучено ногами. Мягко шипит земля, отворачиваемая лемехом. Качнет поручни, когда плуг наскочит на камень, и снова

вспарывается затвердевшая сверху полевина, потрескивают корневища прошлогодней травы, разрезаемые железом... Вскоре у него начала слегка кружиться голова. Почва под ногами тихо зыбилась и покачивалась. «С непривычки это, духу земляного нахлебался». Когда ему стало жарко, он расстегнул ворот ватного пиджака. Холодный ветерок приятно защекотал по напотевшей шее, зашарил за пазухой.

На одном из поворотов, занося плуг, Степан Андреянович вдруг увидел на промежке большой серый камень, наполовину обросший ивняком, и, остановившись, невольно наклонился.

Господи! Да ведь это его старое поле... И этот серый камень!.. Только тогда еще не было ивняка вокруг, да и Васе, должно быть, шел тринадцатый годок...

Августовской жарыню полыхнуло на него... Степан Андреянович запахивал последний клин под рожь. Над головой погромыхивало, урчало — душно, сил нет. Обливаясь потом, он хлещет лошаденку, пехом пихает плуг. Ох, успеть бы под дождь кинуть ржицу. И тут на завороте, у камня, как назло, подвернулась нога. Кое-как доковылял он до телеги, поглядел на сына, перебиравшего в мешке зерно: «Ну, сынок, не судьба, видно. Вези отца домой...» — «Зачем домой? Я пахать буду», — сказал Вася. «Что ты, дитяtko? В твои-то годы?..» — горько усмехнулся Степан Андреянович. Но Вася уже схватился за поручни, дернул вожжой и, налегая всем своим худеньким телом на плуг, пошел, пошел...

И вот уже час, два Степан Андреянович лежит у краины поля. В воздухе душно, солнце немилосердно припекает, а белая головенка сына все качается и качается над черной пашней... А потом... потом Вася накинул на плечо лукошко и пошел разбрасывать зерна. Издали не сразу и поймешь, кто кого несет, — то ли Вася лукошко, то ли лукошко Васю. Степан Андреянович смотрел на сына, плакал от радости и шептал: «Хозяин! Хозяин вырос!»

Домой они вернулись затемно. Дождь лил как из ушата. Но Вася ничего не слышал и не чувствовал. Всю дорогу он беспробудно спал, уткнувшись головой в колени отца. Мать так, спящим, и внесла сына на руках в избу... Славная ржица уродилась с того посева!..

Конь, всхрапывая, потянулся к старой траве на промежке. Плуг опрокинулся, и лемех со скрежетом черка-

нул по боковине камня, увлекая за собой с корнем вырванные побеги ивняка. Степан Андреянович, словно очнувшись, поднял голову, поглядел кругом. Все так. То же поле, те же кусты по бокам. Только Васи нет...

Потом он опять шагал за плугом. Холодная земляная сырость дышала ему в лицо. Скрипело колесо плуга. И мысли, тоскливые и однообразные, как скрип колеса, сжимали ему сердце...

Во время кормежки лошадей к нему подошел Трофим. Молча, не разговаривая, сел в затишье к телеге, поставил меж ног берестяную коробку и с остервенением накинулся на еду. Степан Андреянович лег сбоку Трофима, устало прикрыл глаза.

— Чего не ешь? Раз смерть обошла — живи.

Он ничего не ответил. Перед глазами, едва он лег на промежек, опять заколыхалась черная, лоснящаяся на солнце пашня, белая голова сына выплыла из голубого марева...

— Ну как, старики? Не сыро? — Это голос председательницы.

Степан Андреянович нехотя повернулся, сел.

— А в Оськиной навине сыровато. Я Софрона на малые холмы перевела. — Анфиса вопросительно взглянула на Степана Андреяновича: «Не обижаешься?»

— Раз сыро — чего же...

— Смотрю, не разучился, сват. — Улыбаясь, она прикинула на глаз вспаханный участок.

— Эта наука такая, что и на том свете помнить будешь...

— А я ведь к вам по делу, — сказала Анфиса, присаживаясь. — Бригаду вашу разорять пришла. Хочу двух пахарей к Насте перевести. Замучилась девка. Вдвоем с Василисой, старухой, — некому плуг наладить... Кого бы ты, сват, не пожалел?

Степан Андреянович безучастно пожал плечами: бери, мол, кого надо, не все ли равно.

Морщины собрались на лбу у Анфисы. И все вот так: ничем не разворошишь. Бригаду стала предлагать, боялась — отказываться будет. Нет, не отказался. И что ни скажешь, делает, а сам — как подмененный ходит. «Может, лучше бы не трогать его... — ворохнулась у нее мысль. — Да где же люди-то?»

И она опять обратилась к Степану Андреяновичу:

— Ну дак кого, сват?

— Не знаю...

— Чего тут знать? — поддержал Анфису Трофим, на минуту отрываясь от еды. — Дело говорит председатель.

— Может, Дарью да Трофима Михайловича? — подсказала Анфиса.

Трофим рывком вскинул голову:

— Это почто меня? Что я, бельмо в глазу? Век в одной бригаде, а теперь в чужую...

— Да ведь кого-то надо! Ты не возражаешь, сват?

— Раз надо, дак надо...

— Ах, так! — Трофим с неожиданной легкостью вскочил на ноги. — Меня? Ну подожди! Вспомнишь Трофима Лобанова!

Он торопливо побросал в берестяную коробку остатки еды и, упрямо, по-бычьи нагнув вперед голову, затопал к своей лошади. Степан Андреянович тоже пошел к своему коню.

Анфиса горько покачала головой. Господи, и так-то все рвется, на живую нитку сметано, а тут еще каждый норовит характер показать...

Кругом лежали серые невспаханные поля, разделенные перелесками, ручьями и холминами. И на этих полях лишь кое-где копошились старики и старухи да надрывались многодетные бабенки. Да что это будет? Когда все это перепашем?

Холодное, белесое, точно вылуженное, небо не предвещало тепла. Ни единой травинки не зеленело под этим небом. И она знала, что сегодня ночью, как и вчера, и позавчера, поднятая ревом голодной скотины, она опять будет выбегать на улицу и с напрасной надеждой вглядываться в огород. В белом омуте наступающих белых ночей она увидит все ту же голую, мертвую землю.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Митенька Малышня, проводив Лукашина до конюшни, стал объяснять:

— Вон прясло-то стоит, видите? — Он указал за болото, на широкий холм. — Это Настасьи Филипповны поля. Там и председатель. Сама пашет...

— А Настасья Филипповна? Новый бригадир?

— Как же, бригадир! Филиппа Семеновича дочь.

У нас все больше Настькой да Настенькой кличут. Комсомолом колхозным командует.

— А второй бригадир тоже назначен?

— Назначен. Степан Андреевич.

У Лукашина отлегло от сердца. Это была неплохая весть для начала.

Семь дней он не знал, что творится в Пекашине. Да и до Пекашина ли ему было? Над колхозом «Рассвет» разразилась небывалая катастрофа. Во время ледохода ниже деревни образовался затор, и вода хлынула на деревню...

Люди трое суток отсиживались на крышах домов, колхозный скот погиб — во всей деревне осталось несколько коров, которых успели поднять на повети.

Он пришел в Водяны уже после того, как вода спала. Но и то, что он увидел, заставило содрогнуться. На улицах заломы бревен и досок, хлевы и бани сворочены со своих мест, ветер свищет в черных рамах без стекол... Люди, молчаливые, оступелые, грелись у костров, разложенных прямо под окнами, варили в чугунах мясо, вырубленное из все еще не обсохших коровьих туш.

Пять дней он почти не смыкал глаз: бегал, ездил по соседним деревням, добывал хлеб, доставал необходимую утварь, сгонял народ на помощь. В соседних колхозах рушились планы посевной. Председатели вставали на дыбы. Приходилось упрашивать, стыдить, кричать, чуть ли не драться...

Как ни был угнетен Лукашин нахлынувшими воспоминаниями, но вид мирного поля с пахарями взволновал его. Все было родное, знакомое с детства — и эти неторопливые лошаденки, мотающие мохнатыми головами, и скрип плужного колеса, и запах пресной земли, смешавшийся с запахом пережженного навоза.

На поле пахали четыре пахаря — три женщины и один мешковатый, приземистый мужик, в котором он без труда узнал Трофима Лобанова. Узнал он и свою приметную хозяйку, — она на другом конце поля разбрасывала чадивший навоз. А вот которая из остальных женщин председатель, угадать было нелегко. Однако ему не пришлось блуждать по полю. Первым пахарем, к которому он подошел, оказалась сама Минина. Ни одна работа, пожалуй, не налагает на человека такого резкого отпечатка, как весенняя пахота. Лицо Анфисы, совершенно бледное еще неделю назад, потемнело, осу-

нулось. Черные, глубоко запавшие глаза блестели сухим режущим блеском. И голос, когда она заговорила, тоже показался ему незнакомым — простуженный, с хрипотцой.

— Ну, председатель,—нетерпеливо сказал Лукашин, едва они сели к кустам,—выкладывай! Как сев?

— Пашем помаленьку. С кормом только беда. Лошади через каждую сажень останавливаются.

— Да, вот что... — нахмурился Лукашин. — Вам придется две лошади послать в Водяны, и срочно. Слышали, какое несчастье там?

Анфиса резко потянулась к ивовой ветке:

— А самим на себе пахать? Лошадей-то у нас сколько?

— А у них больше? — жестко сказал Лукашин. — Люди на поветях живут, в избах кирпич да глина, а вы разводите... Райком дал указание всем колхозам выделить. И коров тоже. Там ни одной коровы в колхозе не осталось.

Он свернул сигарку, помягчавшим голосом спросил:

— Когда сев рассчитываете кончить?

— В хорошие годы до войны за две недели сеяли, а нынче, видать, не скоро...

— Так не пойдет! — возразил Лукашин. — У вас нормы на пахоте установлены?

Обида взяла Анфису. И всего-то без году неделя как она председателем, а только и слышит: председатель, подай! председатель, подай!.. Вот и этот тоже! Налетел, ничего не спросил, как она тут выкручивалась. Небось, как выбирали, на посулы не скупился...

— Нормы во всех колхозах одинаковы,—вспылила Анфиса. — На твердой вспашке меньше, на мягкой больше...

— Да я не про то,—с раздражением перебил Лукашин. — Людей у вас сейчас меньше, чем до войны. Значит, каждый должен больше вспахать. На сколько? Надо каждому твердое задание на день и чтобы соревнование. Обязательно!

— Вот, вот. Старо да мало соревноваться будут... Что уж выдумывать,—отмахнулась Анфиса.

У Лукашина давно пропало то радостное чувство, с которым он начинал разговор с Анфисой. Черствость ее к чужой беде возмутила его. И потом эти рассужде-

ния... Запряглась в плуг, а за колхоз дядя будет думать?

Смерив ее недобрый взглядом, он кивнул на подхлывших к ним колхозников:

— А вот их спросим,— что скажут.

Марина-стрелеха, радуясь возвращению своего запропавшего квартиранта, на ходу размахивала руками:

— Пришел, родимушко...

Но голос ее потонул в реве Трофима:

— Что на фронте, комиссар? Сводка какая?

— Газет не принесли, Иван Дмитриевич? — обдала Лукашина своим светлым взглядом Настя. — Мы уж сколько дней не получаем.

Лукашин коротко рассказал о новостях с фронта.

— В общем, ничего существенного,— закончил он.

— Это как понять? — спросила Дарья. — Котору неделе про это слышим...

— Так и будут стоять, ни тпру ни ну? — зло уставился на него Трофим.

Старое, знакомое чувство личной вины за положение на фронте поднялось в душе Лукашина.

— «Ничего существенного»,— сказал он, глядя в землю,— это очень существенно сейчас. Как бы вам сказать? Ну, одним словом, наша армия держит гитлеровские войска на одном месте, и днем, и ночью перемалывает их силу... Чтобы самой потом в наступление перейти. Фашисты теперь — не сорок первый год — битые! Наступать по всему фронту — силенок маловато. Ну и хитрят, щупают, где слабина у нас есть.

Лукашин помолчал, дрогнувшим голосом добавил:

— А чтобы сзади, в их тылу, никто не мешал, наших людей уничтожают...

Он достал из сумки газету, развернул:

— Тут нота напечатана... О зверствах фашистских захватчиков на оккупированной территории. «В белорусской деревне Холмы, Могилевской области,— начал читать Лукашин,— гитлеровцы схватили шесть девушек в возрасте пятнадцати — семнадцати лет, изнасиловали их, вывернули руки, выкололи глаза и убили. Одну молодую девушку — колхозницу Аксенову — привязали за ноги к верхушкам деревьев и разорвали...»

Анфиса обхватила вздрагивающую Настю, прижала к себе.

И снова и снова — пытки, ужасы, казни...

— «Героически погибла группа женщин и детей— жителей деревни Речица, Смоленской области...»

Голос Лукашина оборвался. Лицо его побледнело, пот выступил на лбу.

— Я сам со Смоленщины... Семья там...

Он пересилил себя и твердым голосом прочитал:

— «...Героически погибла группа женщин и детей— жителей деревни Речица, Смоленской области, которых немцы, предприняв первого февраля тысяча девятьсот сорок второго года контратаку на деревню Будские Выселки, погнали впереди своих наступающих подразделений. Когда измученные женщины и дети приблизились к советским позициям, они смело крикнули красноармейцам: «Стреляйте, позади нас немцы!»— Лукашин стиснул в кулаке газету:— А у нас по старинке... Работаем как бог на душу положит! Даже дневных заданий нету... Стыд!..

Анфиса низко опустила голову.

Не все, ох не все было справедливо в словах Лукашина. Но разве перед лицом тех неслыханных мук и страданий, которые выпали на долю их сестер и братьев, мог кто-нибудь из них сказать, что он делает все, что может?

— Я предлагаю вот что,— спокойно закончил Лукашин.— Сегодня же установить твердое дневное задание каждому. И чтобы не уходить с поля, пока это задание не выполнено. Иначе— сев до петрова дня. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, товарищ Гаврилина,— обратился он к Насте,— вашей бригаде надо включиться в соревнование. Ну, скажем, с бригадой Ставрова.

— Я не знаю... — неуверенно сказала Настя,— наша бригада слабая...

Трофим резко повернул к ней голову:

— Это кто сказал «слабая»? Супротив Степана слабая?

Дарья молча поднялась, натянула рукавицы и, срезая дорогу, прямо по полю зашагала к своей лошади.

После того, как они остались вдвоем, Анфиса робко сказала:

— Может, мне лучше уйти с председателей...

Лукашин ничего не ответил. Он сидел, жалко сгорбившись, в замызганной, топорщившейся на спине шинели, и, судя по неподвижному взгляду прищуренных опухших от бессонницы глаз, мысли его были сейчас да-

леко-далеко... Она смотрела сбоку на его худое, небритое лицо, на обветренные, потрескавшиеся губы, на грязную, перекрученную веревкой повязку, с которой безжизненно свисала маленькая кисть раненой руки, и вдруг безотчетная бабья жалость шевельнулась в ее груди.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Смех и горе! Он да Троха — два старых дурака соревноваться будут. Нет, не такое сейчас время, да и стар он, чтобы вперегонки играть. Работы и так — робить не переробить. Но, взглянув на Настю, Степан Андреянович заколебался. Она так доверчиво и умоляюще смотрела ему в глаза, что у него не хватило сил обидеть ее. Ему и всегда-то нравилась эта ласковая, обходительная девушка, которая при встрече не поздешнему говорит «вы», а теперь, когда он заглянул ей в глаза, что-то очень знакомое, родное почудилось ему в их открытом, доверчивом взгляде.

— Ладно, скажу людям, — уклончиво сказал Степан Андреянович.

Настя ушла обиженная, не попрощавшись.

«Мутят голову девке, — вскипел Степан Андреянович, — в самый раз теперь шум разводить».

Но на завтра он выехал в поле на час раньше обычного, а днем даже не поехал на обед. Вечером после работы у него ломило поясницу, подкашивались ноги. И все-таки от конюшни он пошел не домой, а в правление. Надо было и с председателем потолковать, да и просто так хотелось послушать, что деется на свете.

Сюда, никем не званные, поздно вечером, перед тем как забыться в коротком, тяжелом сне, собирались люди. И почти каждый вечер из неведомых далей доносился живой голос какого-нибудь земляка — с Ледовитого океана, из-под стен Ленинграда, с южных степей Украины — отовсюду, куда забросила война пекашинецов, приходили долгожданные, свернутые незамысловатым, обтрепавшимся в долгих дорогах треугольничком, родные письма.

Какой-нибудь молчаливый Кузьма за всю свою жизнь не сумел сказать надоедливой женке и двух ласковых слов. А почитай его письма с фронта! И лапушка, и

любешка, и кровинушка моя,— наговорил такого, чего и сам никогда не подозревал в своем сердце...

И вот истрадавшаяся Анисья получит письмо, заплачет от радости, перечитает его раз десять сряду — и про себя, и для свекрови, и для детишек, так что заучит каждое слово, еще прочитает, перескажет столько же раз соседям, а потом наконец выберет время — засядет отвечать.

Хочется много-много высказать, чем переполнено сердце: и о том, как она истосковалась по своему Кузе, и как часто видит его во сне, и о том, какими большими стали Сенька да Полюшка, которая родилась без него, и о том, как она — чего греха таить — каждый вечер, ложась спать, вспоминает его в молитвах...

Но ничего-то этого не попадет на бумагу. Где же ей, полуграмотной бабе, измученной непосильной работой, пересказать себя? Из-под огрубевшей, непослушной руки, с трудом удерживающей карандаш, выходят одни корявые строки с вечными, запомнившимися с детства поклонами от матушки, жены и детушек, от всей родни и знакомых. Но как много скажут эти поклоны Кузьме!

Домашними запахами, родимыми голосами повеет с листка. Перед глазами встанет далекая немудреная отцовская изба. Вечер. На столе чуть-чуть мигает копилка, а то и просто трещит лучина, — где же взять керосин во время войны?.. Анисья только что подоила корову и, сев за стол на лавку, руками, еще пахнувшими молоком и сеном, вырывает листок бумаги из толстой тетради, купленной года за два до войны для разных хозяйственных записей. Седая старенькая мать сидит на стуле, напротив жены, — слезы катятся по ее морщинистому лицу, и, должно быть, та же тоскливая дума, что и при прощании, грызет ее сердце. Суждено ли ей дожждаться своего разьединственного кормильца? Возле матери пристроился пятилетний баловень Сенька. Рыжая лохматая головенка лежит на столе, глаза, серьезные и немигающие («письмо папке пишем»), следят за рукой матери... А где же Полюшка, которую он ни разу не видел? Спит в зыбке или на руках у бабушки? В одной строке какая-то буква оборвалась вдруг резкой чертой. Да ведь это Полюшка помогала матери...

Солдат перевернул листок и на другой стороне увидел замысловатые ломаные линии, выведенные на всю страницу прямо по писаному. Он взгляделся и понял:

это малюсенькая Полюшкина ручка срисована в натуральную величину.

В конце письма буквы совсем расплылись. Видно, Анисья здесь не выдержала и дала волю слезам...

Горючей тоской оденется его сердце. А потом встанет, выпрямится этот тихий и смирный Кузьма, и уже ничто не остановит его, страшного и неукротимого в своей ярости.

В тот вечер Степан Андреянович, подходя к правлению, еще издали увидел у крыльца толпу женщин и ребят, сгрудившихся возле большой доски, наполовину красной, наполовину черной. Настя Гаврилина, стоя на табуретке, что-то мелом заносила на нее. Степан Андреянович медленно прочитал:

СТАХАНОВСКОЙ РАБОТОЙ ПОМОЖЕМ
НАШИМ СЫНОВЬЯМ, МУЖЬЯМ И БРАТЬЯМ,
СРАЖАЮЩИМСЯ НА ФРОНТЕ!

— Сколько, Степан Андреянович? — обернулась Настя.

— Соток пятьдесят с лишком.

— Э, не дотянули! — сочувственно улыбнулась Настя. — Марфа Репишная всех перекрыла. Знаете сколько? — Глаза Насти широко и удивленно раскрылись, словно она сама не верила тому, что должна была сказать. — Семьдесят соток.

— Вот уж нашли чему дивиться! — ухмыльнулась Варвара, которая, бог знает когда, уже успела переодеться и в белоснежном платке выглядела франтихой, пришедшей на гулянье. — Да разве за нашей Марфой кто угонится? — Варвара особо подчеркнула «за нашей» и посмотрела на всех так, будто в успехе Марфы есть и ее немалая заслуга. — Наша Марфа ведь как пашет? Полдня на лошади да полдня на себе! Ей-богу, бабоньки, — с пресерьезным видом заметила она. — Мы обедать, а наша Марфа лошадь распряжет да сама в хомут. — И Варвара первая залилась легким, бездумным смехом.

С этого дня началась такая горячка, какой давно уже не знало Пекашино.

Восемнадцатого мая Степан Андреянович вспахал 0,80 га, Марфа Репишная — 0,85 га, Но больше всех в тот день дала Дарья — 0,89 га!

На другой день, однако, и эта цифра оказалась битой. Трофим Лобанов, к всеобщему удивлению, поднял 0,92 га.

Поздно вечером, совершенно ошалев от радости, он с важностью расхаживал перед женками, столпившимися у доски соревнования, и, высоко задирая бороду, кричал:

— Нет, брат, шалишь! С Трохой не тягайся. Жидковат супротив меня Степка, жидковат!

В довершение ко всему, ему показалось, что фамилия его недостаточно выделена среди других, и он заставил Настю переписывать ее самыми крупными буквами.

— Раз лучший пахарь,— потрясал он кулаком,— надо, чтобы за версту видно было Лобанова.

Но Трофим торжествовал недолго. На следующий день Ссфрон Мудрый поднял 0,95 га, а еще через день Степан Андреянович дал 1,1 га — неслыханную в Пекашине цифру.

Новость эту сообщила Трофиму Настя у конюшни, когда тот, вернувшись с поля, распрягал коня. Она сразила его наповал. Он с минуту стоял, выпучив на бригадира свои немигающие, ставшие еще более круглыми глазища, силился что-то сказать, да так и не сказав ни слова, кинулся на поле к Степану Андреяновичу. Туда он прибежал весь мокрый и прямо-таки несчастный.

— Ты... того... правду, Степа, а? — стал он допытываться у своего соперника, робко и в то же время подозрительно заглядывая ему снизу в глаза. — Вчерашнего, случаем, не прибавил?..

Не поверив на слово, он сам обежал участок, потом, задыхаясь и проваливаясь по колено в рыхлую пашню, бродил по полю, запуская руку в землю, выискивая орехи и изъяны, — не нашел. По дороге, однако, Трофим мало-помалу успокоился, и, когда они в сумерках подошли к правлению и Степана Андреяновича все стали поздравлять, он покрыл всех своим басом:

— Чему дивья? На такой земле, как Степанова, двух десятин мало! Не земля, а пух!

Но с этого дня Трофим лишился сна и покоя. Он еще кое-как мог примириться с бригадирством Степана («лучше грамоту знает»), но чтобы его, Троху, обошли на борозде... Нет, тут кровь из носу, а Степку надо осрамить!

Всю жизнь прожил Трофим, соперничая со Степаном Андреяновичем. Началось это еще в молодости, когда оба они становились на ноги. Крепок и вынослив был приземистый Трофим, ворочал на работе как леший, а смотришь, все как-то боком у него выходило... Выстроил Степан Андреянович новый дом — люди нахвалиться не могли. Трофим решил «перешибить». Размахнулся, отгрохал дворище коров на двадцать, а на передок и леса не хватило. Пришлось со всей семьей тесниться в боковой избе, сколоченной из старья. Новая же громадина — с сенником на дорогу вместо окон — торчала, как воронье пугало, но Трофима это не смущало.

«У Степки дом — хоть жито вей, у Трохи — воду лей! — хвастался он на людях. — Не верите? Тащите бочками воду!»

В просторном же дворе, спасаясь от лютой стужи, всю зиму на рысях бегала одинокая коровенка.

«Ничего, пушай резвится! — утешал Трофим жену. — Зато летом никакой зверь не возьмет».

Степан Андреянович тоже не сразу обжился в новом доме. В первую зиму его одолели тараканы — два раза пришлось морозить, выходить на постой к соседям.

Трофим, частенько навешая своего дружка, высказывал сочувствие, давал советы.

«И откуда бы этой погани взяться? — говорил он, невинно тараща глаза. — Не иначе с мохом в пазы попали. Не пришлось бы тебе, Степа, перетряхивать передок-то. А то — помучишься-помучишься, да и перетряхнешь. Экое наказанье!»

Потом, как-то в праздник, Трофим неожиданно предложил:

«Станови, Степан, косушку! Слово такое знаю — тараканов как рукой снимет — вот те бог!»

Нехорошее подозрение шевельнулось в душе у Степана Андреяновича. Он отказал. Трофим стал упрашивать, кланяться, под конец соглашался даже на рюмку. Степан Андреянович не поддавался. Тогда-то Трофим и выдал себя с головой.

«Ну дак попомни Троху! — закричал он вне себя. — Изведу тараканами, вот те бог изведу! Со всей деревни напушу!»

В следующий приход хозяин глаз не спускал с гостя. А тот за разговором, будто невзначай, обронил за лавку спичечный коробок. Степан Андреянович быстро поднял

его. Из приоткрытого коробка на руку хлынули тараканы.

Трофим смутился, забормотал, отступая к порогу: «Робятища это... я уж их...» — и кинулся вон из избы.

С годами соперничество въелось в кровь и плоть, а к старости приняло совсем курьезный характер. Ну чего бы, кажется, хвалиться тем, что одному детей бог больше дал, другому меньше? Но Трофим и в этом усматривал свое превосходство.

«У Степки — двое, мы со старухой семеро наворочали,— говорил он, подвыпивши, и, загибая пальцы на руке, с гордостью перечислял своих отпрысков: — Максакосой — раз, Яшка-бурлак — два... Ефимко-солдат — четыре, Машка-глушня — пять, Матреха-невеста — шесть, Оля, отцово дитяtko, — семь...»

Задумав посрамить Степку, Трофим перебрал в своей бригаде всех лошадей, но все равно — выше 0,92 га подняться не мог.

И вдруг однажды его осенила счастливая мысль. Как-то после работы, ставя в стойло свою лошадь, он обратил внимание на быка — огромного черного быка, стоявшего в крайнем стойле и лениво ворочавшего челюстями.

Бык этот, по кличке Буян, был приведен когда-то на цепях из Холмогор и немало послужил колхозу, но со временем отяжелел, его перевели на конюшню и стали использовать вместо рабочей скотины. Вначале Буян ярился, свирепел, а потом, видно, свыкся со своей долей и уже ничем больше не выдавал своего грозного характера. Железное кольцо без надобности болталось в его мясистых ноздрях.

Трофим, присматриваясь к быку, вспомнил, как зимой он встретил его в упряжке с большущим возом дров, вспомнил и даже вспотел от внезапно пришедшей в голову мысли... Пораздумав, он осторожно, не без опаски, приблизился к животному и начал поглаживать его рукой, ласково приговаривая:

— Тпрусенько... тпрусенько... маленькой...

Бык не шевелился.

Старый конюх Ефим, заметив странную возню Трофима с животным, спросил:

— Ты чего это, Троша, быка обхаживаешь?

— А что, жалко? — оправдывался Трофим, застигну-

тый врасплох. — Животное, оно тоже ласку любит... Может, я по бычачьей части хочу?

А дня через два — ни свет ни заря, — когда в деревне все еще спали, Трофим тайком вывел быка из конюшни и погнал на Панькины поля.

У колодца ему повстречался пекашинский раностав Митенька Малышня.

— Куда это, Михайлович, в такую рань да еще с быком? — спросил изумленный Малышня.

— Куда? Троха сегодня себя покажет! — загадочно сказал Трофим. — Видишь, силища какая! Всех лошадей запряги — не заменят!

Затем, обернувшись на ходу, крикнул:

— Скажи, чтобы новую доску заказали. На старой, на какой Степка красовался, для Трохи места мало!

Малышня постоял-постоял и решил посмотреть, что же получится из этой диковинной затеи. Легко вскарабкавшись на телегу, он с чисто детским любопытством воззрился на Панькины поля, черневшие в каком-нибудь полукилометре от конюшни.

Было Митеньке уже под семьдесят. Но природа, произведя его на свет, словно забыла о нем, да так и оставила ребенком... Маленькое, сухонькое тело его без усталости порхало по земле. Его и по одежде не сразу отличишь от ребенка: штаны узенькие, с заплатами на коленях, а поверх рубашки гарусный плетеный пояс, какие в старину носили крестьянские дети. Все лето выхаживал он босиком, и ноги у него были, как у ребят, — черные, все в ссадинах да цыпках.

Митенька обожал всякую живность. Летом избушка его, приткнувшаяся вместе с банями в косогоре, походила на птичник. Два кривых окошечка не закрывались ни днем, ни ночью, и разная пернатая мелочь чувствовала себя там как дома, — разве что не вила гнезда.

Но больше всего на свете Митенька любил детей. Лучшей няньки, чем он, не было. В страду его зазывали во все многодетные дома, да только он обычно уходил на понизовье, в другие деревни: уж больно любопытно ему было поглядеть на новых людей.

Возвращался Митенька осенью, и всегда в один и тот же день. Годами приученная ребятня с утра высыпала за деревню и встречала его с великим ликованием: весь свой скудный заработок Митенька обращал в свистульки, пряники, карандаши и тетрадки.

В этом году он остался в Пекашине и добровольно принял на себя обязанность посыльного в правлении.

Целый час, наверно, выстоял Малышня на телеге, а бык все шагал и шагал по пашне, словно он всю жизнь ходил в борозде. Малышня уж хотел было слезать с телеги, но в это время где-то по-весеннему призывно мыкнула корова. «Видно, кто еще пашет», — подумал Малышня, разыскивая глазами промышавшее животное. На задворках у Марины-стрелехи, в огороде, он увидел черно-пеструю корову, а затем и самое хозяйку. «Это она Пеструшку свою разгуливает», — догадался Малышня.

Пеструшка опять промышала, потом еще и еще раз.

И вдруг в ответ ей над деревней прокатился страшный рев Буяна. Митенька со страхом взглянул на поле.

Черный великан, высоко взметая копытами прах земли, летел прямо на огород Марины. Трофим бежал сзади, ухватясь за плуг, что-то крича, потом упал и повололся по пашне.

— Караул! Спасите, рóдные!.. — благим матом завопил Малышня и со всех ног кинулся в деревню.

— Трофима бык порешил... Бежите к Марине...

В утренней тиши захлопали двери, ворота.

Анфиса прибежала к месту происшествия, когда там уже собралась целая толпа.

— Живой, нет? — испуганно спрашивала она, проталкиваясь к середине.

— Охо-хо-хо! — ржали кругом.

Трофим, растерзанный, без шапки, весь вываленный в землю, стоял, окруженный женщинами и ребятами. На него, брызгая слюной, наседали разгневанная Марина:

— Разоритель ты окаянный!.. Пó миру хотел пустить...

Трофим оборонялся руками, пятился назад:

— А я знал, что ему на старости такое взбредет? Моли бога, что огорода помешала, а то бы от твоей Пеструшки одна мокреть осталась...

Буян стоял тут же, за изгородью, сонно опустив к земле круторогую голову. Марина успела все-таки вовремя утащить свою коровенку, и бык, наскочив на изгородь, остановился как вкопанный.

— Вот как ты.. — еще пуще расходилась Марина.

- Так, так его... — подзадоривали старуху.
— Ох и Лобан, учудил...
— И как он придумал, женки!..
— Это он всех обогнать хотел!..
— А бык-то... вспомнил свои годочки...
— Будет вам, бесстыдницы! — одернула Анфиса.
Но долго еще соскучившиеся по веселью бабы зубоскалили и потешались над незадачливым Трофимом.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В Поповом ручье — темень, как в осеннюю ночь. Глухой, застарелый ельник подступает к самым переходам — двум жиденьким жердочкам.

Настя поскользнулась — холодная, ледяная вода хлынула за голенища. Выбравшись на сушу, она переобулась, отжала подол и, усталая, голодная, побрела дальше.

Ну и денек сегодня! Она как встала в три часа утра — так ни разу и не присела. Трофим из-за быка — будь он неладен — слег, а лошади что — простаивать? Ну и вот: люди на обед — а она снова пахать, люди с поля — а она поля обмеривать...

Вечерело. По сторонам топорщились голые кусты, тускло отсвечивали звезды в лужах. Настя сначала обходила их, а потом уже брела, не разбирая дороги. В сапогах хлюпало, мокрый подол оплетал ноги, холодная сырость поднималась к самому сердцу. Ничего, только бы добраться до дому, а там она переоденется во все сухое, на печь залезет. А еще бы лучше — в баню... Ну и что, сказать только маме — живо истопит. А может, уже топит? Вот бы хорошо! Полок горячий, каменка потрескивает, и веничком, веничком...

И едва она подумала об этом, как ноги ожили.

Где-то в стороне — или ей почудилось это — всхрапнула лошадь. Конечно, почудилось. Какая теперь лошадь — все давным-давно дома. Нет, опять всхрапнула. И плуг скрипит.

Она повернула голову, посмотрела влево. На поле кто-то пахал. Настю это так удивило, что она, не раздумывая, свернула с дороги. В пахаре она еще издали опознала Анну-куколку. Маленькую да худенькую — с кем ее спутаешь?

— Ты что, Анна? Всех перекрыть решила? — попробовала пошутить Настя, подходя к ней.

Анна приостановила лошадь, натянуто улыбнулась:

— Как же, только и думушки... Нет, Настенька, где мне... Свое, законное, отрабатываю. Нынешние порядки — сама знаешь. Пока сорок соток не осилишь, хоть почуй на поле. Ну а пахарь-то я такой — первую весну хожу за плугом. Сегодня уж и то хотела уехать; думала, ребят хоть в баню свожу. Нельзя.

— Да ты бы Степана Андреяновича попросила.

— Что уж просить. Кто за меня пахать будет? А иной бы раз и попросила, да сердце-то у него не больно ко мне лежит...

— Чего же вы не поделили?

— Кто его знает. Может, из-за старой обиды все. Он ведь свою дочь Марью за Ивана хотел сосватать, а тут я вроде дорогу перебежала.

— Ну, уж это... — нахмурилась Настя. — У Степана Андреяновича такое горе... А ты невесть что.

— Горе-то горем, а человек человеком. Да я не выдумываю. На днях веревку снимаю с телеги, мертвым узлом затянулась, никак не развязать. Ну я и тяпнула топором. Дак уж он меня честил... И что, говорит, Иван в тебе только нашел? Один голосище. Я ведь певунья ране-то была.

Настя украдкой разглядывала Анну. Разбитые сапожонки, на одной ноге шерстяной чулок съехал на голенище, посинелая коленка проглядывает.

— Как ты сама-то живешь, Анна?

Анна зябко поежилась, подула на красные, потрескавшиеся руки:

— Какая уж моя жизнь, Настенька... Едоков-то у меня сколько, а работница я одна, и то никудышная. Хлеб свой месяца два как вышел — на аванс живем. Сама-то вся отошала. Ведь какой кусок получше, какая капля молока завелась — все им.

Худое, обветренное лицо Анны вдруг оживилось, теплая искорка мелькнула в ее черных усталых глазах:

— Малый-то у меня еще несмышлениш. На днях, слышу, соседским ребятишкам хвастается: «А у нас мамка такая — молока не ест...» Смех и горе! Заждались матери, а мать, вот видишь.

— Ничего, у тебя Мишка большой.

— Большой-то большой... — вздохнула Анна, — да что толку. Совсем от рук отбился. Ох, да это все ничего! От Ивана писем нету — скоро уж два месяца. Не знаю, что и подумать... все сердце выболело.

— Ну это так что-нибудь... Война... мало ли какие задержки. У нас вот тоже от брата Григория нет писем. Мама вся извелась, ночью встанет, молится...

— А как ты думаешь, Настенька — ты в район едешь, — скоро война кончится?

— Не знаю... — замялась Настя, но, взглянув на выжидающее лицо Анны, поспешно добавила: — Должно быть, скоро...

— Да уж скорее бы! А как кончится, дождаться бы Ваню... — мечтательно заговорила Анна. — Сдам всю ораву и себя сдам: вот, дорогой ты мой муженек, хватит. А я уж отдохну. Вот только не знаю, — невесело усмехнулась Анна, — как избу сдам. Ежели еще зиму зимовать, ума не приложу. А все сам виноват, сколько раз говорила: «Давай, Иван, строиться». А он рукой махнет: «Ладно, успеем». Вот и успели.

В это время порывом ветра донесло слабый ребячий голосок:

— Ма-ма-а-а... Мамонька, иди домой...

Настя вопросительно взглянула на Анну.

— Это Лизка моя, — сказала та, прислушиваясь. — Вот всегда так — матери навстречу выходит. А чтобы не боязно было, всю дорогу причитает...

Анна приложила к губам руки, крикнула:

— Ли-и-за! Не ходи сюда. Я скоро приеду!

Затем она торопливо взялась за ручки плуга, виновато улыбнулась:

— Заговорила я с тобой, Настенька. А мне еще добрый час валандаться. Вишь, колышек-то, — указала она на поле, — до этого колышка. Ну, да ничего — хоть душу отвела. А Лизку встретишь, вороти домой.

— Ма-а-а-мо-нька-а... — снова слышалось Насте.

Она приподнялась на носки. Серая муть, ничего не видно. Только возле изгороди как будто что-то шевелится на дороге.

Настя растерянно оглянулась назад. Анна уже шагала за плугом.

— Постой-ко, Анна. — Она подбежала к Анне, легонько оттолкнула ее от плуга. — Иди, встречай сама Лизку, а я здесь управлюсь.

— Нет, нет... — замахала Анна обеими руками. — Что ты... Я сама... Ты ведь тоже не железная... устала...

— А я и нисколешенько не устала! — с задором, сама не узнавая себя, сказала Настя. — Я, если хочешь знать, и не пахала сегодня.

— Все равно... это не дело. У нас соревнованье с вашей бригадой... Бригадир узнает, будет делов...

— И ничего не будет, не выдумывай! А если бы мне домой надо, неужто б ты не помогла?

Перед этим доводом Анна не устояла.

— Ну, коли так, — дрогнувшим голосом сказала она, — спасибо, Настенька. Побегу скорей, может, еще баню истоплю...

Анна уже была далеко-далеко, а Настя все глядела и глядела ей вслед, и радостная, счастливая улыбка не сходила с ее губ. Потом она оглянулась вокруг себя: пустынное поле, немые и безразличные звезды над головой. В нескольких шагах от нее, понуро сгорбившись, стояла неподвижная, будто окоченевшая лошаденка.

«Вот и погрелась в бане...» — с горькой усмешкой пошутила она над своими недавними мечтами и, вся дрожа от холода, побрела к плугу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

У каждого человека есть поворотный день в жизни. Так и у Анны.

Это случилось в летний праздник в ее родной деревне Слуда, года за три до коллективизации. Уже давно задирали нос пекашинские ребята, а с тех пор, как у них появился Ваня-сила, житья не стало слудянам. Этот Ваня-сила свалился на них как снег на голову. Пока жива была его мать, не было никакого Вани-силы. Знали только, что в Пекашине у вдовы есть сын, смиренный, кудрявый увалень, который, за неимением лошади, на себе возит снопы с поля. Но вот умерла мать, и парень будто с цепи сорвался: запил, на всю округу прослыл первым драчуном. Особенно доставалось от него слудянам, с которыми у пекашинцев была давняя вражда не то из-за покосов, не то еще из-за чего-то, — толком никто не знал. Но все равно, как праздник — так и драка, да такая, что иногда и ножи, и топоры пускали в ход.

Обычно в начале драки Ваня безучастно стоял в стороне — боялся зашибить кого-нибудь намертво, но как только верх начинали брать слудяне, он врзался в самую гущу и, как щенят, разбрасывал всех, кто попадался под руку. Слудяне ждали случая, чтобы поквитаться с Ваней-силой, и наконец дождались.

В тот летний праздник Ваня пришел на Слуду один. Он был очень пьян и, в алой рубахе, без пояса, с растегнутым воротом, бесцельно брел по деревне, качаясь из стороны в сторону.

В первом же переулке на него набросились из-за угла парни и мужики, смяли и начали молотить чем попало. Ваня рванулся, вскочил на ноги, выхватил из изгороди жердь и, страшный, окровавленный, бросился за слудянами. Он прогнал их через всю деревню, потом, уже ничего не разбирая, кинулся на толпу баб и девок, — те с визгом и воем рассыпались по сторонам.

И вдруг он увидел в нескольких шагах от себя маленькую смуглявую девушку в красном платье с белыми нашивками, в легких хромовых башмаках на высоком каблуке.

— Ну, ударь! — с вызовом сказала она и сделала шаг навстречу. — Бесстыдник! Налил глазища — и море по колено.

Со смуглого, слегка побледневшего лица на него с гневом и презрением смотрели черные глаза.

Ваня, не отрывая от нее взгляда, ленивым движением отбросил в сторону жердь и вдруг рассмеялся. Она была такая маленькая да тончаявая, эта сердитая цыпонецка, что он мог бы поднять ее на одной ладони.

— Ух ты, милаша ненаглядная, — сказал он, пьяно улыбаясь и протягивая руки, чтобы обнять девушку.

Девушка отшатнулась и плюнула ему в лицо. Толпа, окружившая их к этому времени, ахнула. А Ваня растерянно захлопал глазами, вытер лицо ладонью, затем протер глаза, словно желая убедиться, не во сне ли с ним все это происходит, и медленно, как-то виновато улыбаясь, побрел прочь.

Вслед ему полетели насмешливые выкрики:

— Вояка! Девки струсил!

— А вы чего ржете? — затопала на парней Анка. — Радуетесь — один верзила всю деревню разогнал!

Ваня оглянулся, еще раз посмотрел на девушку и опять застенчиво, по-ребячьи улыбнулся.

С тех пор он зачастил на Слуду, как верующий в церковь, немой и неотвязной тенью стал ходить за Анкой. Пил и вязывался в драки по-прежнему, но стоило ему увидеть Анку — тише воды, ниже травы становился парень.

Скоро ребята перестали ухаживать за девушкой. Кому же охота отведать Ванина кулачища? Для Анки настали тоскливые дни: девки идут с гулянья в обнимку с ребятами, целуются, а она все одна да одна — только где-то сзади безмолвным стражем вышагивает Ваня, не спуская с нее ревнивого взгляда и не решаясь приблизиться сам.

Анка терпела-терпела, но однажды не выдержала.

— Да когда же ты оставишь меня, окаянный? — разревелась она. — Хожу как прокаженная — все люди шарахаются... Что я тебе — жена, что ли?

В тот же вечер Ваня нагрязнул со сватами. Отец Анки, чернявый крепыш, с уважением посмотрел на саженные плечища жениха, на его высокую, колоколом выпирающую грудь и дал понять дочери, что согласен.

— И что ты, батюшко, — взмолилась она слезно, — чтобы я да за такого лешего... Да он, пьяница, в первый же день меня пропьет!

— С этого дня капли в рот не возьму! — глухо сказал Ваня.

— И слышать не хочу! — не унималась Анка. — Да разве я пара ему, батюшко? Лучше уж на свете не жить, чем за такого...

Отец беспомощно развел руками:

— Ну, парень, не взыщи. Люб ты мне, а неволить девку не хочу — одна она у меня.

Ваня, красный от стыда, кинулся из избы, но у порога остановился и, повернувшись к Анке, упрямо бросил:

— Зарубил дерево — все равно срублю!

В ту же ночь он исчез из Пекашина. Проходил месяц, другой — Ванину избышку уже и снегом до окон замело, а о самом Ване — ни слуху ни духу.

И вдруг он объявился. Раз весной Анка получила по почте пакет. В пакете была одна газета. Анка, ничего не понимая, развернула ее. С первой страницы «Правды Севера» на нее глянуло знакомое лицо. Она прочитала под портретом: «Лучший сплавщик Усть-Пинежской запани тов. Пряслин».

— Вот еще чем решил купить,— фыркнула Анка и разорвала газету.

Вскоре вернулся и сам Ваня. На пекашинский берег он сошел в новом нарядном костюме, с гармонью. И тут новость, как гром, поразила его: Анка выходит замуж.

Ваня — на Слуду, но там уже все было кончено. Со двора Анкиного отца разъезжались последние гости.

— Эх ты, недотепа! — встретил его подгулявший на свадьбе отец. — А еще говорил: «Зарубил дерево — срублю». Пропили Анку — только что увезли в Выдрино. А ведь она тебя, дурака, вспоминала.

Ваня скрипнул зубами, застонал. Со двора выезжал последний тарантас. Он подбежал к тарантасу, выбросил из него обалдевших сватов, вскочил на козлы — и в погоню.

Что произошло дальше, толком не знали: об этом не любили вспоминать ни жених, ни его родня. Но на другой день рано утром Ваня-сила, весь в синяках и ссадинах, в разорванном пиджаке, лихо подкатил к своей избе и осторожно высадил из тарантаса маленькую смуглявую женчонку, голова которой едва доставала ему до подмышек.

— Вот так пара — баран да яра... — подивились пекашинцы.

Дружно зажили молодожены. В положенный срок Анка родила сына, потом детишки пошли как грибы.

Ваня души не чаял в своей Анке, баловал как мог. Бывало возвращаются с домашнего покоса — у Анки на руках годовалый Мишка, — Ваня подхватит обоих на руки да так со смехом и втащит без передышки в крутую пекашинскую гору.

— Сидит, как куколка... — с завистью скажет какая-нибудь баба.

Так с этим безобидным прозвищем и вошла в пекашинский мир жена Вани-силы.

Когда Анна переступила порог избы, ее поразила непривычная тишина. В густых потемках, разрываемых красноватым светом керосинки, — белая, гладко зачесанная голова Лизки, припавшей к столу. Поскрипывает перо.

— Что у нас сегодня тихо? Где ребята?

Лизка вздрогнула. Затем ее невзрачное широкоскулое личико с зелеными глазами разом просияло:

— А я тебя и не учуяла.

Она живехонько вскочила из-за стола и, шелестя босыми ножонками по полу, подбежала к матери.

— Ребята, говорю, спят? — переспросила Анна, прислушиваясь.

— Чего им? Молока натрескались, на печь залезли. А ты что долго? Я ждала-ждала — Семеновна корову подоила.

Анна прошла к печному прилавку, села:

— Ну, слава богу, хоть корову доить не надо.

Она прислонилась спиной к горячей печи, блаженно закрыла глаза.

— Сапоги-то давай снимем. Я валенки с печи достану. Горячие...

Теплые проворные пальцы дочери забегали по лицу, развязывая шаль.

— Погоди, дела еще не деланы. Я хоть минутку так посижу. Вся сегодня замерзла.

— Как не замерзла. Экой сиверко — страсть. У нас Петруха Васиных стекло разбил в классе — я едва высидела. Надежда Михайловна говорит: взыщем. Мать-то шкуру с Петьки спустит. Из своей рамы вынимать будет аль как... Где нынче стекло-то взять.

По спине Анны горячей волной растекается тепло. Бойкий приглушенный голосок дочери убаюкивает, как мурлыканье.

— Бригадир-то нынче не ругался?

— А чего ему ругаться? — вяло, не открывая глаз, отвечает Анна.

— Люди сказывают, на днях наорал на тебя. Дикарь старый...

Анна недовольно поморщилась:

— Не говори чего не надо, глупая. Разве так можно?

— А что и ругается. Ругатель! Сына убили, и старуха теперь...

— Замолчи!

Анна отклонилась от печи, застегнула фуфайку:

— Где Мишка? Я баню по дороге затопила, хоть воды бы наносил.

— Где? Известно где. Углы у домов считает.

В темном углу у порога, на деревянной кровати, захныкала, заплакала Татьяна,

— У, пропасть, учуяла,— погрозила кулаком Лизка.

— Ладно, давай ее сюда,— сказала Анна, расстегивая ватник.

Девочка, едва оказалась на коленях у матери, жадно, обеими ручонками вцепилась в ее грудь, но вскоре выпустила и заплакала.

— Возьми ее,— сказала устало Анна. — Пойду баню посмотрю.

— Поплачь, поплачь у меня, кислятина,— говорила Лизка, принимая от матери ребенка. — Она готова мать-то съесть...

К приходу ее из бани изба кипела муравейником. Мишка, катавшийся с младшими братьями посередине пола, поднялся, присел на табуретку.

— Не стыдно? Мать и в поле, и баню топит. Разве отсохли бы у тебя руки, кабы воды наносил?

— Опять завела... Откуда я знал, что ты баню выдумашь?

— Срамник бессовестный,— вступилась за мать Лизка, высовываясь с мокрой тряпкой из задосок. — Не зыркай, не зыркай — не больно испугалась. Уже вот папе напишем... Да, мама?

— Ладно, хватит вам. Собирайтесь в баню.

Малыши, толкая друг друга, кинулись под порог разбирать одежду и обувь. Поднялся крик, драка: «Это мне». — «Нет, мне». — «Отдай!» На полу, всеми оставленная, заплакала Татьяна.

— А ты что именинником сидишь? Особое приглашение надо?

— Не пойду!.. — проворчал Мишка и отвел глаза в сторону.

— Как не пойдешь? Грязью зарости хошь? И в тот раз на улице пролетал.

— Не пойду, и все. Пристала...

— Пристала? Ну погоди у меня...

Анна в ярости схватила с вешалки ремень, бросилась на вскочившего Мишку, но в тот момент, когда она занесла ремень, взгляд ее наткнулся на подбородок сына — и рука дрогнула.

Мать перерос... Она с изумлением разглядывала стоявшего перед ней длинного, рукастого, какого-то незнакомого ей парня, угрюмо скосившего черные глаза в сторону. Ей пришлось даже немного отвести назад голову,

чтобы рассмотреть его лицо. Истовехонький отец! Только глазами да чернявостью в нее...

Неожиданно смутная догадка пришла ей в голову:

— Может, в первый жар хочешь? Пока мы собираемся, успеешь...

Она заметила, как вспыхнули глаза у Мишки.

— Я мигом, я сейчас!

Хлопнули двери, ворота...

Так и есть: матери стыдится.

Лизка, давно уже наблюдавшая эту сцену, во все глаза глядела на мать. Она была уязвлена в самое сердце. Как? Он лоботрясничал весь вечер, да ему же и в первый жар!

— Я тоже с ним пойду.

— И я, и я... — всполошились малыши.

Анна не могла сдержать улыбку:

— Не выдумывай, глупая. Пускай один моется.

Усмешка матери окончательно сразила Лизку. Губы ее задрожали, и она расплакалась:

— Ты меня нисколько не жалеешь. Все Мишка да Мишка, а он ничего не делает. А я пол вымыла... И сегодня Надежда Михайловна говорит: есть ли, говорит, у тебя, Лиза, другое платье? А ты рубаху Мишке сшила...

— Ох, с тобой еще горе,— вздохнула Анна.

— И вовсе не горе,— еще больше расплакалась Лизка.— Я у тебя все глупая да глупая. А люди-то меня все умной называют. И давеча Семеновна корову доила... Коль уж ты, говорит, заботливая, Лиза...

— Да нет же, нет...— Анна притянула к себе девочку, обняла.— Ты у меня умница, самая расхорошая... Вишь, какая мамка: девка пол вымыла, а она и не приметилла. А Мишку я нарочно послала раньше всех. Чтобы не мешал. А без тебя я как же управлюсь?

...Перемыв одного за другим малышей, Анна отправила их с Лизкой домой, а сама еще осталась в бане стирать белье. Потом развесила его над каменкой — чтобы к утру просохло,— и только тогда поплелась домой.

Ребята уже спали. На столе — посуда, ложки. Она заглянула в одну крынку, в другую — молока нет, съела несколько холодных картошек и с трудом добралась до постели. Уже лежа, подоткнула одеяло вокруг детей, притянула к себе Татьянку.

«Мишка матери стыдится»,— пришло ей снова на ум, и тотчас же все закружилось и закачалось перед глазами.

Во сне ей снился Иван, их прежняя молодая жизнь. То она видела, как они вдвоем шагают по высокой пахучей ржи, то вдруг они оказались на лугу среди цветов. И так ее разморило от жары, что нет моченьки ни рукой, ни ногой пошевелить. А Ваня обнимает, ласкает ее.

«Иван, Ваня, у нас дети большие...» — «Да спят, спят они»,— смеется Ваня. «А Мишка-то, Мишка-то,— с испугом шепчет она.— Слышишь, слышишь, барабанит?»

Тут она проснулась. В избе было утро. В окно стучал бригадир.

— Иду, иду...— откликнулась Анна, приподнимаясь с постели.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сев зерновых подходил к концу. В последние дни люди почти не ложились: днем работали на колхозном, а по вечерам и ночью возились на своих участках.

Измученных за день лошадей приходилось тащить волоком, да и тех не хватало. Выкручивались кто как мог: кто приспособливал свою коровенку, а кто посильнее — сбивался в артели; подберутся бабы три-четыре, впрягутся в плуг и тянут. Но больше всего налегали на лопату.

Анфиса бегала, уговаривала: подождите денек-другой, управимся с колхозным и вам пособим. Но люди словно осатанели: на задворках, у загуменья, всю ночь звенели, стучали лопаты, хрипели, надрываясь в упряжке, бабы, бились в постромках худые очумелые коровенки. Ребятишки — зеленые помощнички — жгли костры, пекли проросшую картошку, а днем сидя засыпали за партой...

Степан Андреевич со дня на день откладывал свой участок: как-никак бригадир, да и большая ли у него усадьба на два едока — вся под окошками, но в конце концов уступил Макаровне.

— Что уж так-то,— выговаривала она ему каждый день, когда он приходил с поля.— Время уходит, а у нас как на погосте, глаза бы не глядели, Земля-то чем виновата...

Всю весну Макаровна не переступала порога своей избы. Пока метался в горячке Степан Андреянович, она еще кое-как бродила по избе, а встал старик — и слегла в тот же день.

Днем лежала на койке, целыми часами грезила своим Васенькой. Иногда просила мужа посадить ее к окну, и весь день, пока не вернется старик с поля или не зайдет какая-нибудь старушонка, сидит у окна, глядит на свой огород, на подсыхающую под горой луговину, на далекую холодную Пинегу.

Пусто, тоскливо стало в доме Ставровых. Раньше хоть Егорша голос подаст, а теперь и Егорши нет. Мать вытребовала на посевную. Могла бы обойтись без сына, одна живет, да Степан Андреянович не стал упрашивать: никогда не лежало у него сердце к дочери, а с тех пор как выдали ее замуж в чужую деревню, и совсем чужой стала. Только по большим праздникам за столом и встречаются.

Старик устало шагал за плугом и не узнавал себя. С какой, бывало, радостью и ожесточением набрасывался он на свой огород: унавоживал — выгребал навоз до последней лопаты, а уж землю-то холил — перебирал руками чуть ли не каждую горсть. А сейчас — хоть бы и вовсе ее не было... На горках часто останавливался, примечал развалившуюся изгородь за лиственницей, осевший угол бани. Все разваливается, на глазах рушится, надо бы поправить, да не все ли равно... Много ли им со старухой надо? Потом спохватывался: Макаровна сидела у окна, — и снова бороздил огород.

Степан Андреянович обрадовался, когда на дороге возле огорода показался Мишка Пряслин. Шел он враскачку, заложив руки в карманы штанов, слегка ссутулившись, — видно, оттого, что стыдился своего не по годам большого роста.

«Вылитый отец, — подумал Степан Андреянович. — Вишь, идет, как на качелях качается».

Он остановил лошадь, подошел к изгороди. В белесых сумерках вечера (стояли белые ночи) ему бросилось в глаза злое, сердитое лицо парня.

— Нам бы лошадь какую... участок вспахать... — не здороваясь и не глядя на него, буркнул Мишка.

— Лошадь? А что, на конюшне нету?

— Спрашиваешь? Порядки-то кто заводил? Без твоего приказа конюх не даст.

— Теперь даст... Считай, отсеялись. А как Михайло, с семенами? — окликнул его Степан Андреянович. — Не пособить?

Мишка резко обернулся, смерил бригадира холодным, презрительным взглядом:

— Нет уж, знаем твою подмогу. Не маленькие!

Степан Андреянович сплюнул, выругался про себя: «Весь, шенок, в мать. Та с рукавицу, а гордости с воз. Ходит ноне, нос воротит. Вишь, и парня настропалила. Ну поругал на днях, погорячился... Да как же? Ее ждуд с поля, а вместо нее, на-ко,—Настасья да еще отчитывать: на дѣтишек послабленья не даешь. А немец спрашивал нас про дѣтишек?..»

Покончив с огородом, Степан Андреянович отвел лошадь на конюшню, зашел в правление. В общей комнате — одна Анфиса. Она сидела за столом, подперев рукой голову, в старом ватнике, в платке, — видно, что недавно с поля.

— Ну, председатель, вари пиво, завтра кончаю, — попробовал пошутить Степан Андреянович.

— Тут, сват, и без пива голова кругом...

За приоткрытой дверью в бухгалтерской рассыпался жиденький смешок.

— Опять все бумаги смял. Не мешай ты, не мешай, — притворно, повизгивая от удовольствия, выговаривала женщина.

Степан Андреянович вопросительно взглянул на Анфису.

— Счетоводша Олена с кавалером своим... Николаем Семьиным. Я примечаю, вроде уж беременна.

— Экая срамота! — покачал головой Степан Андреянович. — Люди на войне... Да ведь у нее, кажись, Петька женихом был?

Анфиса вяло махнула рукой.

— Говорила. И слушать не хочет. За работу, говорит, взыскивайте, а здесь я вам неподотчетная.

Степан Андреянович вздохнул, сел к столу. Лицо Анфисы показалось ему слишком уж нехорошим: под глазами чернота, нос заострился — краше в гроб кладут.

— Ты, Петровна, нездорова али так.. нелады какие?

— Будешь нездорова! Сейчас из райкома звонили, спрашивают, сколько сверх плана даем, а у нас... ох!

— Да что у нас? Время еще терпит. По навинам сколько пустоши лежит.

Анфиса встала, прикрыла дверь в бухгалтерскую, перешла на шепот:

— Тебе первому, сват, говорю. Тут не то что сверх плана — остатки не знаешь как засеять.

— А что так?

— Семян нету.

— Как нету? Куда им деваться?

— То-то и оно, что куда. Давеча пошла с кладовщицей последний сусек выгрести, заехала рукой, а там семян-то на полметра, внизу доски. А я-то, дура, за полный сусек приняла от Лихачева.

— Да за такие дела, — побагровел Степан Андреянович, — Харитона судить мало!

— Спросишь с него. В районе ему снова вера. Опять обозом в леспромхозе заправляет. Да и чем докажешь?

— Ну тогда с Клевакина! Он заправлял всем при Харитоне.

— Вывернется... Скажет: знать ничего не знаю, бумаг не подписывал, и делу конец. Ох, тошнехонько! — Анфиса схватилась за голову. — Что же было неграмотную бабу ставить. Говорила на собрание — не послушали.

Дверь в бухгалтерскую снова приоткрылась. Послышалось ленивое пощелкивание счетных костяшек.

— Ежели рассудить сочувственно, — степенно говорил «специалист по тонкой работе», — то у нас самая что ни на есть настоящая любовь. За мной не пропадешь, Олена Северьяновна. Специальность моя такая...

Степан Андреянович вскочил, захлопнул дверь.

— И что же ты надумала, девка? — спросил он, помедлив.

— Не знаю, сват.

— А ежели к районным властям в ноги? Так и так — начистоту? — предложил после некоторого раздумья Степан Андреянович.

— Думала... Да какие у них семена? Не такое время теперь. А в соседних колхозах у самих в обжим.

— Тогда уж не знаю. Разве что хозяев обложить? Раз война — плачь да затягивай ремень.

— Нет, лучше бы без этого... Я вот свое и не посею — ничего, а у других семья, куда без своего!

Степан Андреянович опять погрузился в раздумье, потом вдруг вскинул голову:

— А много ли у тебя, сватья, своих семян? С мешок?

— С мешок небольшой. Было до двух, да я Анне Пряслиной посулила.

«Дак вот отчего парень давеча нос задирает»,— вспомнил Степан Андреянович разговор с Мишкой.

— А сколько надо, чтобы отсеяться? Мешков семь?

— Да и шести бы хватило.

— Тогда вот что...— Степан Андреянович заскрипел стулом, навалился на стол.— Твой мешок да мой мешок— вот уже два. А остальное по горсти, по зерну соберем. Неужто кто откажет?

Назавтра, к полудню, было собрано восемь мешков семенного зерна. Софрон Игнатьевич, Марфа Репишная, Варвара Иняхина и еще некоторые колхозники отсыпали половину своих семян. У многосемейных решено было не брать, но мало нашлось таких в Пекашине, которые хоть сколько-нибудь да не оторвали от себя.

Федор Капитонович сначала струхнул, раза два обежал людей из своей бригады, на все лады понося безмозглого Харитошку, а потом и сам принес неполное ведро зерна.

— Ты уж не обессудь, Петровна,— говорил он, встретясь в амбаре глазами с Анфисой.— Чем богаты, тем и рады. Ну да я так понимаю: дареному коню в зубы не смотрят.

Зато на заседании правления Федор Капитонович первый подсказал, куда разбросать оставшиеся семена.

За три дня было распахано и засеяно несколько пустошей у Сухого болота.

Последнее поле досевали вечером. Людей собрали из разных бригад покрепче да повыносливее. Надо было рубить лопатой тяжелые плиты дернины, вытряхивать клочья, сносить их на промежек. Над полем стояла густая едучая пыль. Работали молча, торопились домой— обмыть в бане грязь, скопившуюся за посевную. Только Варвара Иняхина, совершенно не выносившая безмолвия, нет-нет да и скажет что-нибудь.

— Эх, кабы по старым временам,— вздохнула она, разгибаясь,— теперь бы на неделю гулянья.

— Ты сперва с картошкой управься, гулена!— прикрикнул на нее Трофим.

— И что ты, Трофимушко,— бойко, без всякой обиды отвечала Варвара,— под рюмочку картошечка сама бы под соху ложилась!

— Варуха, наводи красу, — громыхнула Марфа, — мужики идут!

— Ты уж скажешь, Марфинька, — притворно застыдилась Варвара, но, увидев на дороге Лукашина и незнакомого мужчину, стала торопливо одергивать платье.

— Видно, начальство какое, — высказал предположение Степан Андреевич.

— Начальство начальству рознь! — не упустил случая поддеть своего дружка Трофим. — Этот — крупного калибра! Вишь, шагает, что землю печатает.

— Это Новожилов, новый секретарь райкома, — улыбнулась Анфиса, вытирая руки о передник.

Новожилов был широк и тучен, как застарелая сосна, вымахавшая на приволье. Толстые икры распирали голенища пыльных сапог. Когда он приблизился, все обратили внимание на его крупное, отечное лицо, покрытое капельками пота.

— Ну, товарищи, отсеялись?

— Отсеялись, — сдержанно ответили колхозники, с любопытством рассматривая новое начальство.

— Поздравляю, поздравляю! — Новожилов крепко и деловито пожал всем руки, повернулся к Анфисе: — А сколько сверх плана, председатель?

— Гектара четыре.

— Ну вот, видите, — подобрел сразу Новожилов, — а вы какой переполох подняли.

— Засеять-то засеяли, — сказала Анфиса, — да что взойдет... Земля тут — званье одно...

— Ничего, — беспечно вскинула голову Варвара, явно желая обратить на себя внимание начальства. — На земле не вырастет, на слезах взойдет.

— Да уж верно, что на слезах, — мрачно согласилась Марфа. — Из глотки вынимали да сеяли.

Новожилов сжал челюсти, тяжелым взглядом обвел дернистое поле.

— Нет, товарищи! — сказал он задумчиво. — Это не только слезы. Это наша сила. Сила колхозная, против которой Гитлеру не устоять. Это гектары нашей победы!

Анфису кто-то уже несколько раз дернул за рукав. Она обернулась. Перед ней белее платка стоял Митенька Малышня.

— Ивана Кирилловича... Ваню-силу убили...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Над Пекашином всю ночь выл, метался злой сиверок. Гнулись, припадали к земле иззябшие, страшные в своей наготе деревья, жалобно вызванивали стекла в рамах, тоскливо взмыкивала во дворе голодная скотина, не чаявшая дожидаться теплых дней.

И всю ночь на полу, уткнувшись головой в подушку, охала, стонала раздавленная горем Анна.

Глухие, надрывные стоны матери рвали Мишкино сердце, и он лежал, стиснув зубы, весь в горячей испарине.

Затихла она под утро. Мишка с трудом, как после долгой болезни, приподнялся, сел на край кровати, откинул со лба мокрые волосы.

Светало. Маленькие околенки полыхали холодными отблесками зари, из рукомоЙника у порога тупо капала вода.

Осторожно ступая босыми ногами, он подошел к матери. Она лежала ничком, вдавив лицо в мокрую подушку и судорожно обхватив ее руками. Старенькое, рваное с подола платьишко взбилось выше колен, на ногах грязные, перепачканные глиной сапожонки, байковый плат на голове — свалилась в чем была, да так и забылась. Мишка принес с койки свое одеяло, бережно прикрыл мать.

Он смотрел на нее, и слезы текли по его лицу. Никогда он не задумывался, какая у него мать. Мать как мать — и все тут. А она вот какая — маленькая, худенькая и всхлипывает во сне, как Лизка. А возле нее по обе стороны рассыпанной поленницей ребятишки: белоголовая Татьяна с протянутой к груди матери ручонкой; Лизка с распухшим, посинелым лицом — эта все понимает; Петька и Гришка, прижавшиеся друг к другу; толстощекий, разогревшийся во сне Федюшка.

Молча, глотая слезы, Мишка переводил взгляд с сестренки на братишек, и тут первый раз в его ребячем мозгу ворохнулась тоскливая мысль: «Как же без отца будем?..»

За домом, где-то на задворках, одиноко взывала, давась от страха, собака. Брякнуло на крыльце, сорвавшись с гвоздя, пустое ведро и с грохотом покатилося по ступенькам. И тотчас же за окнами взметнулся вихрь. В облаке пыли и песка вставало солнце.

Потом Мишка опять лежал на кровати, думал об отце, пытался представить его на войне, в бою, в атаке — и никак не мог.

Перед глазами всплывало совсем-совсем другое. То ему припоминалось, как в первый раз отец сажал его на коня. Конь здоровенный, высокий, ему, Мишке, радостно и жутко, он хватается руками за гриву, но крепкая рука отца выпрямляет его: «Не робей, Мишка!» То он видит себя с отцом на сенокосе, в густых зарослях травы, то — сидящим на высоком возу среди пахучих ячменных снопов. И сзади опять веселый, ободряющий голос отца: «Держись на повороте!» Потом ему припомнилось жаркое летнее утро. Отец в черной сатиновой рубахе — он как сейчас видит эту черную, лоснящуюся на солнце рубаху — размахисто колет у крыльца дрова. Рядом мать с подойником, спрашивает: «Попей хоть молока на дорогу...» А слезы так и катятся по ее лицу.

Внезапно утреннюю тишь резануло бабьими вскриками да причитаньями, затарахтели телеги. Мать, расплескивая молоко, кинулась в избу.

Отец втюкнул топор в чурбан, прислушался. Потом долго глядел на Мишку и наконец тихо сказал: «Пойдем-ко, сынок...»

И вот они в огороде, за амбаром. Отец опять глядит на него, хочет что-то сказать. Но в это время из-под крыши амбара выпорхнул воробей. «Гнездышко! — зашептал Мишка. — Давай я слазаю». — «Не надо...» — поморщился отец. «Иван, Ваня... Где ты?» Это мать. Отец махнул рукой и пошел к дому. У калитки он круто обернулся, привлек к себе Мишку и, заглядывая ему в глаза спросил: «Ты понял меня? Понял, сынок?»

Что же он хотел сказать? Что?

Мишка так и заснул, не найдя ответа.

Утро в избе Пряслиных началось с обычного вскрика:

— Ма-ма-а, исть хочу!

Охая, Анна медленно поднялась с постели, побрела затоплять печь. Потом она машинально, по привычке, бралась то за одно, то за другое, как в тумане ходила по избе. Ребятишки пугливо жались по углам, а Мишка молча, закусив губу, чтобы не разрыдаться, делал нача-

тое ею, ходил по пятам за матерью, и у него не было сил взглянуть ей в лицо.

Когда он пришел с водой от колодца, в избе была Анфиса Петровна. Она что-то говорила матери, но та, сидя на лавке, только мотала головой:

— Ничего... ничего не знаю...

— Я говорю матери,— обратилась Анфиса к Мишке,— может, хлопотать будем, чтобы этих-то трех,— она указала на Петьку, Гришку и Федюшку,— в детдом взяли?

Присмирившие ребята немо уставились на старшего брата. Он тяжело задышал, опустил глаза. Босые, с ранней весны потрескавшиеся от воды и грязи ножонки...

— Нет,— резко вскинул он голову,— никуда не отдадим!

Вскоре после Анфисы Петровны пришел Степан Андреянович. Он нерешительно стал у порога и сквозь застилавшие глаза слезы смотрел на несчастную Анну, неподвижно сидевшую на лавке с опущенной головой, на осиротевших, пришибленных горем детей.

Лизка, сняв с коленей Татьянку, подошла к матери, дотронулась до нее рукой:

— Мама, бригадир пришел.

Анна подняла голову, суетливо заоглядывалась по сторонам:

— А?.. Бригадир?.. Я сейчас... сейчас...— И стала торопливо подвязывать плат.

Лизка заплакала. Мишка отвернулся.

— Анна, что ты... что ты, Анна... Какая тебе сегодня работа?

Степан Андреянович шагнул к ней, обнял за плечи.

Она увидела его вздрагивающий рот, слезы, текущие по измятой бороде, и вдруг со стоном припала к его груди, затряслась в рыданиях. Ее облепили со всех сторон ребяташки и тоже заголосили навзрыд.

Степан Андреянович черствой, загрубелой ладонью гладил по голове Анну, гладил ребят и, сам давясь от слез, приговаривал:

— Вот так... так-то лучше... Ничего, ничего... такая уж наша судьба...

Уходя, он поманил за собой Мишку. В сенях указал на темный угол:

— Там в мешке я мучки принес,— и, тяжело ступая по скрипящим половицам, вышел на улицу.

Два дня спустя Пряслины в глубоком молчании сидели завтракать. До сих пор пустовавшее за столом место отца занял Мишка. Лизка, завидев это, заголодела:

— Нету у нас папы, мамонька...

Анна строго взглянула на нее:

— Перестань.

Мишка, не дыша, весь сжавшись, исподлобья глядел на мать. Анна с удивлением посмотрела на сына, смахнула с лица слезу и молча кивнула головой.

Мишка выпрямился и медленно, посуровевшим взглядом обведя примолкших ребят, стал по-отцовски резать и раздавать хлеб.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Отсеялись, отмучились с грехом пополам — ждали лета, но тут началось самое страшное: из-за навин опять дохнул сиверок. Свирепыми утренниками прибило первые жальца зеленой молодежи, до черноты опалило крохотную завязь на деревьях. Небывалый ветер бесновался в полях — пыль столбами крутилась над пашней. На Широком холму по крутоярам до каменной плеши выдуло почву, — прожорливая птица клевала беззащитное зерно.

От рева голодной скотины можно было сойти с ума. И чего только не делали, как только не бились люди, чтобы спасти животных! День и ночь рубили кустарник, косили прошлогоднюю ветошь, драли мох на старой гари, отошавших коров подымали на веревках, привязывали к стойлам, — и все-таки от падежа не убереглись.

По вечерам, когда над черной хребтиной заречного леса вставала луна — огромная, докрасна раскаленная, жуть охватывала людей. Откуда-то с перелесков стаями налетало голодное воронье и всю ночь до утра, оглашая деревню зловещим карканьем, кружило над скотными дворами.

Престарелые старухи, на веку не видавшие такой беды, суеверно шептали:

— Пропадем... конец света приходит...

И Анфиса, слыша это, ничем не могла утешить людей. Ее саму, крепясь, утешал Степан Андреянович:

— Ничего, в шубе сеять — в рубашке жать...

Так прошла неделя.

И вот однажды утром, когда отчаявшиеся люди уже потеряли всякую надежду на приход лета, сиверок внезапно стих. Из-за свинцовой мути робко и неуверенно проглянул голубой глазок неба. Потом вдали, за белыми развалинами монастыря, глухо бухнуло — темные, тяжелые тучи поползли на деревню. Они ползли медленно, грозно клубясь и властно разрастаясь до самого горизонта. Над Пекашином стало темно и немо. Даже голодная скотина и та притихла в ожидании. И вдруг оглушительный грохот сотряс землю.

По всей деревне захлопали двери, ворота. Люди — в чем попало — выбегали на улицу, ставили ушаты под потоки и под проливным дождем радостно перекликались друг с другом. По вспененным лужам, как жеребята, носились босоногие ребятишки, всю весну высидевшие дома.

Началось короткое северное лето.

В ближайшие дни Лукашин, обосновавшийся в Пекашине не то в роли постоянного уполномоченного райкома, не то в роли фронтовика-отпускника (все щадили его), выбрался в навины. То, что он увидел, походило на чудо.

По влажным, курящимся легким паром полям с проклюнувшимися всходами, по обочинам дорог и тропинок, опущенных нежнейшей зеленью, по ожившим перелескам — повсюду шагало ликующее лето. И не было ему никакого дела ни до войны, ни до человеческих горестей.

Выбрасывали лист дерева; оттаявшие комары, еще без нудного звона, столбами вились над истлевшими кучками прошлогоднего навоза; на ветках, линия, чистились птицы, — белый пух летел на влажную землю. Все, все справляло запоздалый праздник лета. Даже молодой сосняк, хмурый и равнодушный к радостям, как истый северянин, и тот стыдливо топорщился розоватыми свечками, присыпанными белой мукой.

Из-под ног Лукашина то и дело вспархивали пучеглазые лягушата, неуклюже, плашмя шлепались в парные лужицы, кишмя кишевшие разной водяной мелочью.

Возле старой дуплистой ивы, росшей на самой развилке дорог, Лукашин, привлеченный необычным гулом сверху, остановился. Над желтыми мохнатыми сережками, которыми были сплошь облеплены черные крючковатые ветки дряхлеющего дерева, огромным роєм

трудились неповоротливые, видимо первый раз вылетевшие из дупла дикие пчелы, или, по-местному, медуницы. Тут же под ивой, пригретые солнцем, весело копошились вечные работяги муравьи, занятые устройством своего хозяйства.

Дохнул ветерок — теплая медвяная пыльца запорошила лицо Лукашина. Две-три сережки упали в самую гущу муравейника. Лукашин с любопытством наблюдал, какой переполох поднялся в муравьином царстве. Вокруг сережек закипело яростное сражение. А на помощь смельчакам, первыми вступившим в бой, со всех сторон, карабкаясь друг на друга, спешили все новые и новые полчища муравьиного люда, бог весть когда и как оповещенного, — и скоро обглоданные остовы сережек были надежно уложены в муравьиное здание.

Смутные раздумья, далекие, нездешние воспоминания стеснили Лукашину сердце. Но вокруг было так славно, так хорошо, что скоро его опять захватила радость бытия.

В глухом, темном ручье он сполоснул сапоги, затем неторопливо, вдыхая еловую прохладу ручья, поднялся на пригорок и вдруг замер на месте.

Перед ним, вся подернутая зеленой дымкой, играла, искрилась на солнце молодая березовая рощица. Ни с чем не сравнимое чувство целомудренной чистоты, восторженного удивления и даже робости охватило его. Так бывало с ним и раньше.

Совсем незадолго до войны ему довелось побывать на Кавказе. Море сказочное, снежные горы в розовых лучах, кипарисы взлетают в синее небо. Из каждой расщелины прет буйная, толстокожая зелень, а воздух так густ и прян, что, кажется, одним им можно насытиться. И нищей и жалкой показалась ему северная земля, обделенная солнцем. И все-таки нет-нет — он это помнит — да и взгрустнется ему...

В прохладном сумеречном Подмосковье, когда за окнами замелькали желтые рощицы на зеленых лужайках, он понял: ему не хватало вот этих самых, таких обыкновенных берез. И все его соседи по вагону, которые всю дорогу не переставали восхищаться красотами Кавказа, вдруг присмирели, притихли и так же, как он, не отрываясь смотрели за окно.

Может, слышал он или читал где, но ему крепко запомнилось поверье, будто в Сибири до прихода русских

не было березы. И вот сейчас, с волнением всматриваясь в эти веселые белоснежные деревца, он представил себе пути-дороги русского человека по земле, отмеченные березовыми рощами.

Да, уж такой наш человек: не успел еще первый дымок над крышей взвиться, а смотришь — где-нибудь у крылечка уже полощется на ветру тонколистая береза. И куда, на какую чужбину ни закинь судьба русского человека, хоть в самые теплые заморские края, где и зимы не бывает, а все холодно и неуютно на душе без тебя, береза...

Где-то в перелесках глухо и неуверенно попробовала свой голос кукушка и смолкла.

«Немного же ты отсчитываешь нынче годочков», — подумал Лукашин.

Но затем кукушка словно одумалась и долго и щедро вещала свои пророчества.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Парусиновая сумка и кепка с порога полетели на кровать. Все! Худое носатое лицо Мишки, до черноты прокопченное вешними ветрами, омывала широкая радостная улыбка. Еще бы! Приговорили к осенним экзаменам, а он взял да и утер всем нос. Прямо-таки штурмом взял грамматику! Семь дней и семь ночей долбил. Да если бы он столько зубрил, сколько Дунярка, еще неизвестно, кто был бы первым учеником.

Мишка сорвал с вешалки старую, побелевшую от стирки и носки отцовскую гимнастерку, натянул на себя, затем принялся за сапоги. Сапоги эти с широченными отворотами — в аккурат как у французского мушкетера — Мишкина гордость. Сам смастерил. Отрезал от старых отцовских сапог голенища, примастачил к кожаным башмакам — вот и сапоги: не надо каждый раз со шнурками возиться, а при случае и в воду забрести можно.

Переодевшись, Мишка не спеша подошел к старенькому, засиженному мухами зеркалу. В отцовской гимнастерке с закатанными рукавами (она висела на нем, как на жерди), с большим охотничьим ножом на ремне, в сапогах необыкновенного покроя, за голенищами которых можно было легко спрятать все его личное иму-

щество, он показался себе достаточно внушительным и взрослым.

Выходя на крыльцо, Мишка принял строгий и серьезный вид.

Внизу на песке, пригретая солнышком, рассыпалась босоногая детва. Лизка с засученными рукавчиками, наклонившись над толстым, узловатым чурбаком, стряпала глиняные колобки. Делала она это с великим старанием: потяпает глину руками, поплюет, снова потяпает, потом пересыплет мелким белым песочком и сунет в «печь» — старую, проржавленную железину, одним концом воткнутую в щель стены.

Петька и Гришка, два молчаливых русоволосых близнеца, до того похожие друг на друга, что их вечно путали соседские ребята, подносили ей в баночках воду, — ее они черпали из лужи, заметно ожившей после дождя. Несколько поодаль от Лизки, на песке, сидел ни на кого не похожий в семье, рыжий, как подсолнух, Федюшка. Он был явно не в духе и, надув губы, исподлобья сердито поглядывал на Лизку. У ног его барахталась довольная, вся вывалявшаяся в песке Татьяна. «Ага, Федор Иванович, — улыбнулся Мишка, — это ты сегодня за няньку!» Когда Татьяна слишком отползала в сторону или, наоборот, назойливо лезла к нему, Федюшка, изловчившись так, чтобы не видела Лизка, хлопал ее по голому задку, но Татьяна только смеялась.

«Вот хитрюга...» — с одобрением подумал Мишка, питавший особое расположение к этому рыжему разбойнику.

— Ну что, мелкота, играем? — снисходительно сказал Мишка, спускаясь с крыльца и щурясь от солнца.

— Иди и ты играть, Миша, — несмело предложили Петька и Гришка.

Мишка недовольно нахмурился. Что они, не понимают, с кем имеют дело? Он подошел к Лизке, носком сапога указал на чурбак, заставленный разными черепками и черепушками:

— А ну, уברי. Дай посидеть человеку.

— Вот еще, — огрызнулась Лизка, но чурбак освободила.

Мишка важно расселся, по-взрослому закинул ногу на ногу.

Лизка и братья с тревогой и любопытством уста-

вились на него, подошел даже Федюшка,— он, видимо, решил, что сейчас свободен от присмотра за Татьянкой.

Мишка не торопясь вытащил нож и, незаметно поглядывая на малышей, стал срезать на руках ногти. Ребятишки с раскрытыми ртами следили за тем, как он ловко и бесстрашно орудует охотничьим ножищем. И ему льстило это восторженное отношение к его особе. Чем бы еще поразить этих сусликов?

Он достал из кармана гимнастерки щепоть завалывшегося самосада, свернул сигарку и, на глазах изумленных малышей, выбил искру. Вышло, однако, совсем не так, как ему хотелось. С первой же затяжки он закашлялся, слезы показались на его глазах.

— Табак худой,— давясь от дыма, проговорил Мишка, как бы оправдываясь.

— Я вот мамушке скажу,— пригрозила Лизка.— Она тебе покажет, курителю.

Мишка, не ожидавший такой реакции, смутился, но сразу же оправился.

— А мне мамка что...— независимо пожал он плечами.— Я самый сильный в школе.

Он помедлил, стараясь подобрать наиболее веские слова, и вдруг, выпрямившись, приказывающим тоном сказал Лизке:

— Бежи в избу, принеси какую-нибудь нитку!

Та переглянувшись с братьями, но послушаться не посмела. Когда нитка была принесена, Мишка еще выше закатал рукав на правой руке, туго перетянул ее суровой ниткой. Ребята вплотную обступили его, вытянув шею, ловили каждое его движение.

— Ну, смотрите, мелкота,— сказал довольный Мишка.— Такого во всю жизнь не увидите.

Он напрягся так, что черные густые брови у него сошлись над переносицей, и медленно, скрипя зубами для пущего эффекта, стал сгибать в локте сжатую в кулак руку.

— Раз!

Ребятишки ахнули. Впившаяся в бицепс нитка лопнула.

Мишка встал и с видом человека, привыкшего к восторженному отношению к своим поступкам, лениво цыкнул слюну сквозь зубы.

— Видали? А ты еще — «мамке скажу!» — пренебрежительно бросил он Лизке.

Малыши вслед за ним с осуждением посмотрели на пристыженную сестру.

— Ну, играйте в свои черепки, да чтобы у меня все тихо! Поняли? — И Мишка важно, вразвалку зашагал на задворки.

Но, сделав несколько шагов, он обернулся, поманил к себе Лизку. Братья несмело потянулись за ней.

— Ты вот что, Лизка... — начал он, с пристальным вниманием разглядывая у ног какую-то палку, — ты лучше мамке-то не говори. Я ведь это так... шутейно.

Но тут Мишке стыдно стало, что он снизошел до упрощивания какой-то мелюзги, и, приняв воинственную позу, он погрозил пальцем:

— Чтоб у меня ни гугу? Поняли?

— А ты чего за это дашь? — неожиданно спросил не по годам практичный Федюшка.

— За что?

— А за то, что мамке не будем сказывать.

Мишка присвистнул от удивления, рассмеялся:

— Ты, как Федор Кротик, из всего выгоду норовишь сделать. Ну ладно. На сенокос пойду — девкам зайка поймаю, а вам, мужичье, — кивнул он ребятам, — топорик скую. Идет?

Петька и Гришка, никогда не проявлявшие бурно своих чувств, на сей раз загоревшимися глазами посмотрели друг на друга. Лизка живехонько обернулась к Татьянке — та неуверенно, толчками двигалась от крыльца — и, протянув к ней руки, закивала головой:

— Зайко, зайко у нас с Танюшкой будет.

Один Федюшка не поддался соблазну. Сопя себе под нос, он мучительно соображал, какая доля ожидает его в заключаемой сделке, и, видимо, оставшись недоволен ею, поднял на брата глаза:

— А ты еще один топорик сделай — маленький-маленький.

— Это зачем же?

— Мине... Я первый хотел сказать мамке.

— Ну ты, единоличник! Смотри у меня! — повысил голос Мишка и щегольнул недавно услышанной поговоркой: — Ново дело — поп с гармонью.

Решив, что с малышами все улажено, Мишка отправился по своим делам.

А дела у Мишки известны. Прилепился он всем сердцем к кузне, — кажется, дневал и ночевал бы там. А

после того как его увидела за мехами сама Анфиса Петровна и пообещала начислить трудовни, Мишка и вовсе забыл про все на свете.

В последние дни они с Николашей важнецкую штуковину придумали: из старья, из двух заброшенных кошилок собрать новую машину. Ох, если выгорит это дельце — тогда посмотрим, какие он номера будет загигать на сенокосе!

Старая, наполовину вросшая в землю кузня стояла за колодцами, у самого болота. Мишка еще издали, от задворок, увидел продымленные стены, навес, заставленный старыми плугами и боровами.

Ворота, как всегда, раскрыты настежь. В черной глубине клокочет пламя, отсветы его лижут щуплую фигуру Николаши, склонившегося над наковальней.

Мишка мог бы с закрытыми глазами рассказать о каждом уголке прохладных, подернутых вечным сумраком недр кузни. Вот старые мехи, на вершок покрытые пылью, вот колода с застоявшейся, прокисшей водой (в ней вечно мокнут щипцы), вот верстак у маленького окошечка, заваленный множеством разных инструментов; за верстаком в темном углу куча железного хлама, и над ним седые космы дремучей паутины...

Приближаясь к кузне, Мишка с жадностью потянул единственный в своем роде воздух, какой держится около деревенской кузницы, — удивительную смесь древесного угля, горелого, с кислоткой железа и чуть-чуть прижженного вокруг дерна от постоянно сыплющихся сверху искр.

— Сдал? — обернулся на его шаги Николаша и оголил в улыбке белые зубы на худом, угреватом лице.

— А то нет! Спрашиваешь...

Николаша бросил в колоду вместе со щипцами какое-то железное кольцо, над которым только что трудился, обмыл в колоде руки и, вытерев их о передник, покровительственно похлопал своего подручного по плечу:

— Ну это ты молодец! По-нашенски. Значит, теперь на все лето в кузнечный цех? Так?

После этого он неторопливо, с чувством собственного достоинства прошел к порогу, сел.

«Ох, — вздохнул про себя Мишка, — начнет сейчас воду в ступе толочь», Но делать было нечего, и он тоже присел рядом,

Николаша вытащил из кармана брюк новенький, красного шелка кисет с зеленой лентой, подмигнул:

— Видал?

— Ну?

— Кралечка одна подарила... Раскрасавица! Ну просто аленький цветочек,—сладко зажмурился Николаша.— А волосы какие... шелк... густые-густые.

— Хы,—презрительно усмехнулся Мишка.— У кобылы хвост еще гуще.

— Не понимаешь ты красы,—обиделся Николаша.— На, закуривай.

Мишка потряс головой:

— Не хочу.

— Ну как хочешь. Интересу спрашивать не вижу. Этот жадюга Кротик сорок рубликов за стакан содрал. Это же, говорю, Федор Капитонович, чистая эксплуатация. «Да ведь я, говорит, не за свои интересы, за государственные». Это как же, спрашиваю, за государственные? Обдираешь меня как липку, а выходит, я же радоваться должен! «А так, говорит, что эти денежки у меня в налог пойдут. Грех, говорит, для своего государства жалеть в такое время». Понял? — жиденьким смехом засмеялся Николаша.

Мишка нетерпеливо оборвал:

— Хватит тебе. Давай лучше за дело.

— Нда...—покачал головой Николаша, делая вид, что не расслышал Мишкиных слов.— А нынче знаешь что надумал Кротище? Весь огород под окнами табаком засадил. Куда, говорю, Федор Капитонович, столько? Тут, говорю, всей деревне нюхать не перенюхать. «Экой, говорит, непонятливый ты, Николай. А кто табачком район выручит? Сознательность, говорит, иметь надо».

— Дался тебе этот Кротик! — вскипел Мишка.— Говори лучше, чего принес из «Красного партизана». Дали косу?

Николаша встал и молча, обиженный, повел Мишку в примыкавшую к кузне избушку, где в великой тайне от всех собиралась сенокосилка.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В вечернем воздухе тишь и благодать. Слышится бойкий перепляс молотков—в черной пасти кузницы бушует пламя,

Варвара, с любопытством посматривая вокруг себя и поигрывая крашеным коромыслищем, любовно отделанным для своей женушки пекашинским кузнецом Терентием — нынешним фронтовиком, не спеша идет к колодцу. Длинная тень пятнит мокрый лужок, тает в тумане, который белой куделью плавает над болотом. На Варваре пестрая сборчатая юбка, выгодно подчеркивающая ее гибкую, не по-бабьи тонкую фигуру, белая кофта с широкими с напуском рукавами до локтей.

Солнце садится на верхушки розового сосняка. Варвара слегка щурит глаза и с наслаждением, мягко, как кошка, опускает босые ноги в нагретый за день песок.

Набрав воды, она повесила жестяной черпак с длинным шестом на деревянную стойку у колоды, из которой поили лошадей, и стала прилаживать коромысло к ведрам. В это время на глаза ей попался Лукашин — он шел к кузнице со стороны навин.

— Водички холодной не желаете?

Лукашин даже не оглянулся.

Варвара разочарованными глазами проводила его до ворот кузницы, презрительно наморщила нос: «Экой губошлеп, как на воде замешен. Сердце-то уж не чувствует к чему...»

Но в ту же минуту глаза ее заиграли шаловливым огоньком: «Ну погоди, голубчик. Так-то еще интересней».

Она скинула с плеч коромысло, воровато оглянулась вокруг и вдруг, схватив одно из ведер, опрокинула в колоду. Затем, все так же оглядываясь по сторонам, сняла черпак со стойки, подошла к срубам и с размаху погрузила его в колодец.

Убедившись, что конец шестика торчит на почтительном расстоянии от верхнего венца сруба, Варвара довольно рассмеялась, наскоро заправила кофту в юбку, скользнула мокрыми ладонями по волосам, оглядела себя в колоде с водой и не спеша, улыбаясь, направилась к кузнице.

— Ну как тут мужево хозяйство, Николай? — сказала она, входя в кузницу. — Тереша мой в каждом письме интересуется, как кузня поживает. Ох, да тут кто есть-то! — с наигранным изумлением воскликнула Варвара и ласково кивнула Лукашину, стоявшему у гу-

сто запыленного окна, возле верстаков, несколько позади Николаши и Мишки Пряслина.— Здравствуйте, здравствуйте.

Варвара слегка приподняла одной рукой юбку и, с подчеркнутым интересом присматриваясь к потолку, к верстакам, наковальне, к жарко раскаленному, потрескивающему горну, медленно обошла кузницу.

В этом царстве сажи и копоти белая кофта ее, на которую изредка падали отблески пламени, проплывала, как сказочный подснежник.

Заметив, что Лукашин не сводит с нее блестящих в темноте глаз, Варвара, довольная, обернулась к Николаше, который следовал за нею по пятам, милостиво сказала:

— Ну, успокою Терешу: подручный кузню не застудил.

— И боевой привет Терентию Павловичу, и чтобы он, значит, не беспокоился—инструмент в сохранности,—добавил Николаша.

По тому, каким серьезным тоном он это сказал, и по тому, с каким вниманием и даже подобострастием относился он к этой новоявленной инспекторше, видно было, что Николаша очень дорожил мнением своего бывшего начальника.

— А что тут одна лебедушка перышки свои обронила—тоже отписать?—вкрадчивым голосом заговорила Варвара и подмигнула Лукашину.

Простоватый Николаша не понял сначала намека, а поняв—для вида—сконфузился:

— Ну, это как сказать...

— Ох, хитрюга,—погрозила ему пальцем Варвара.— Нет того, чтобы за женой начальника поухаживать.

— Дак ведь тут дело такое—любовь...—покрутил головой Николаша.

Варвара с наигранной жалостью вздохнула: что уж сделаешь—раз любовь. Потом вдруг спохватилась:

— А я ведь на выручку пришла звать. Черпак в колодец уронила. Мишка, ты попроворней. Уж я тебя наобнимаю за это...

Мишка, как и предполагала Варвара, густо покраснел и, громыхая железом под ногами, кинул на нее свирепый взгляд:

— Иди ты со своим черпаком!

— Ну-ну, можно и без обнимки,— рассмеялась Варвара.

— Я могу пособить,— предложил свои услуги Николаша.

— Ну уж,— притворно вздохнула Варвара.— Олена узнает, что мы с тобой воду черпали...— Она стыдливо не договорила и выжидающе посмотрела на Лукашина, которого, как крапивой, ожег ее потаенный намек.

— Пойдемте, я помогу,— сказал он глухо.

У колодца Лукашин снял фуражку, подал Варваре:

— Ну-ка, хозяйка, держи...

Затем он поправил повязку на больной руке и заглянул в колодец. Конец шеста торчал метрах в полутора от верхнего сруба. Он нагнулся над срубом, потянулся здоровой рукой. Не достал. Снова потянулся — и снова не достал.

— Рука коротка,— сказал Лукашин, отдуваясь.

Варвару нискоleshенько не огорчила эта неудача. Вытянув шею, она кокетливо глядела на него из-под козырька фуражки и кончиком языка водила по верхней оттопыренной губе.

— Ну как, идет мне ваша шапочка? — спросила она, выпрямляясь и задорно вскидывая руки на бедра.

Лукашин скользнул по ее фигуре, по мокрой смуглой ноге, несколько выставленной вперед.

— Казак!..

— А может, казачихой мне остаться? — Варвара сощурила плутоватый глаз, сняла фуражку.

— Ну как, достали ведро? — выглянул из кузницы Николаша.

— Достали, достали! — закричала Варвара.— Посолонный дурак, тебя еще не хватало,— добавила она тише и, взглянув на смутившегося Лукашина, рассмеялась.— Держите шапочку. Не то уж мне попробовать. А то он и взаправду прибежит.

Она заглянула в колодец, дурачась крикнула:

— Чертышко, чертышко, отдай мне черпачок!

Не отрывая груди от мокрого сруба, она повернула улыбающееся лицо к Лукашину:

— Нет, даром-то не отдает...

Затем она опять влезла с головой в сруб. Натянувшаяся кофта выехала у нее из юбки, лопнула какая-то тесемка.

— Держите, держите! — с притворным испугом завизжала Варвара, взмахивая смуглыми ногами в воздухе.

Лукашин быстро нагнулся, обхватил ее за талию.

— Крепче! Упаду... — со смехом завопила Варвара.

Лукашин еще сильнее обхватил тело Варвары — горячее, извивающееся под его рукой.

— Ну вот, ухватила, — сказала Варвара, вставая на ноги.

Она вытащила черпак с водой, вылила в ведро, потом еще вытащила один черпак и не спеша начала заправлять кофту в юбку.

— А вы ничего... крепко ухватили...

Вытерев тыльной стороной руки напотевшее, покрасневшееся лицо, она глянула в глаза шумно дышавшему Лукашину.

— Не знаю, как с вами и расплачиваться. Может, в баньку ко мне придете? По-старому сегодня суббота, я баню топлю. Такой, как моя баня, по всему свету поискать. — Варвара лениво потянулась всем телом. — Председательница-то у нас, смотрите-ко, — кивнула она на деревню, — тоже с баней разобралась.

Лукашин поглядел на дым, поднимающийся из косогора.

— Пускай, пускай обмоется, — сказала со смехом Варвара. — А то мы с этим севом — срам, все грязью заросли. Скоро бабы в нас не признаешь.

Она снова облизала кончиком языка губы, с улыбкой, но деловито спросила:

— Дак вы в первый жар али как любите?

— Спасибо, я вчера помылся. А вот так, — тихо добавил Лукашин, — зайду с удовольствием.

— Ну и так... я одна живу. Ноне в избе спать жарко, на сенник перебралась. Дак вы, ежели засну, стукните в ворота сенника...

Варвара, улыбаясь, подхватила ведра на коромысло и, мягко ступая босыми ногами по хорошо утопанному краешку песчаной дороги, враскачку пошла домой. За ней потянулись темные цепочки капель, оставляемые ведрами.

Лукашин жадно потянул в себя теплый вечерний воздух и скорым шагом направился в правление. В вечерней тишине ему еще долго слышалось поскрипыванье Варвариних ведер.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

И день не день, и ночь не ночь...

Таинственно, призрачно небо над безмолвной землей. Дремлют в окружи леса — темные, неподвижные. Не потухающая ни на минуту заря золотит их остроко-
нечные пики на востоке.

Сон и явь путаются на глазах. Бредешь по селе-
нию — и дома и деревья будто тают и зыбятся слегка,
да и сам вдруг перестаешь ощущать тяжесть собствен-
ного тела, и тебе уже кажется, что ты не идешь, а ply-
вешь над притихшей деревней... Тихо, так тихо, что
слышно как, осыпаясь белым цветом, вздыхает под ок-
ном черемуха. От деревянного днища ведра, поднятого
над колодцем, отделится нехотя капля воды — гулким
этом откликнется земная глубь.

Из приоткрытых хлевов наплывает сладковатый за-
пах молока, горечь солнца излучает избяное дерево, на-
гретое за день. И еще: заслышав шаги, пошевелится под
крышей голубь, воркнув спросонья, и тогда, медленно
кружась, пролетит на землю легкое перо, оставляя за
собой в воздухе тоненькую струйку гнездовьяго тепла.

Заглохли, притихли крикливые запахи дня. Уже не
разит смолищей от сосен, не тянет с луга ядовито-слад-
кой сивериской, от которой дохнет скотина. Зато все
тончайшие запахи разнотравья, которые теряются днем,
невидимым парком наплывают с поля. И какая-нибудь
маленькая, неприметная, стыдливо спрятавшаяся в ло-
пухах травка, для которой и званья-то не нашлось у лю-
дей, вдруг порадует таким непередаваемым ароматом,
что томительно и сладко заноеет сердце.

Белая ночь...

Анфисе не спится. И с чего бы это? Спать бы да
спать теперь, за всю весну отоспаться, — нет, сна нету.
Но все равно — лежать в чистой постели так приятно.
После бани волосы еще не просохли, от подушки не-
много холодит, и тело легкое-легкое. Приятно, ох как
приятно попариться молодым березовым веничком.
И как хорошо, что все позади: и этот холод нестерпи-
мый, и посевная, которой, казалось, не будет конца, и
эти вечные страхи за голодную скотину.

По губам Анфисы вдруг пробежала легкая улыбка.
Она вспомнила, как вчера на районном совещании по-
хвалил ее секретарь райкома. Председатель колхоза

«Луч социализма», толстая сердитая женщина, с завистью толкнула ее в бок: «В гору пошла — удержишься?»

И как только она припомнила это, новые заботы подступили к ее сердцу. Сенокос... Надо хлеба где-то раздобыть... А завтра-то, завтра — заседание правления и ей доклад говорить. Первый раз в жизни! Нет, теперь уж не до сна.

Она приподнялась, потянулась к юбке. В избе светлым-светло, как днем. Сонно постукивают стенные ходики.

Накинув теплый платок на плечи, она под села к открытому окну, задумалась. Но странное дело, мысли у нее никак не вязались одна с другой. Она пыталась еще думать о колхозных делах, о том, кого послать на дальние сенокосы, как перебиться с хлебом до новины, а глаза ее — против воли — смотрели на притихшую дорогу, на лужок у изгороди, выбитый овечьими копытцами и посеребренный крупными каплями росы, на далекую Пинегу, которую поперек полосуют темные отражения зубчатых елей. Возле изгороди, на сухом сучке рябины, распростерши крылышки, немощно уронил голову сонный воробей: сморило молодца. Свежо... Из косогора легкими хмельными волнами наносит запах черемухи, и какая-то непонятная и трепетная радость заливает Анфису.

«Да что это со мной деется?» — растерянно подумала она.

За домом на дороге скрипнул песок. Она прислушалась. Шаги... И опять, к немалому удивлению, необычные воспоминания зашевелились в ее душе. Бывало, еще несмышленной девушкой, услышав шаги неизвестного человека, она любила загадывать: «Кто идет — тот мой суженый». И сколько было смеху, когда этим суженым оказывался какой-нибудь старик или старуха.

А шаги все ближе, ближе... Вот уже слышно, как человек дышит.

Иван Дмитриевич!

Сердце у Анфисы дрогнуло.

Лукашин шел вялой, ленивой походкой — без фуражки, ворот гимнастерки расстегнут, — словом, у него был вид человека, который вышел среди ночи подышать на крылечко да и побрел неведомо куда.

Ей показалось, что он очень удивился, увидев ее в окне.

— Оказывается, не я один полуночник.

— Да уж, пожалуй... — и черные глаза Анфисы (она это с удивлением почувствовала) шаловливо блеснули.

Лукашин, с блуждающей улыбкой на губах, подошел к окну, по привычке протянул руку. Шерстяной платок съехал с плеча Анфисы, мелькнула голая рука.

Он отвел глаза в сторону, заговорил приглушенно, с хрипотцой, словно боялся спугнуть ночную тишину:

— Никак не привыкну к этим белым ночам. Откроешь глаза — день, помотришь на часы — ночь... Ну, и, как говорится, перепутал день и ночь. — Лукашин натянуто рассмеялся, встретился с ней глазами. — А вот вы чего не спите?

— Я-то? — улыбнулась Анфиса и зябко прижала платок к груди. — Да тоже чего-то стала путать...

Она покраснела, и Лукашину показалось, что на щеках ее, у переносья, отчетливо выступили темные крохотные веснушки, которые сразу придали ее лицу какое-то удивительно милое, простодушное выражение. И это было для него так необычно, так ново, что он даже подался вперед, чтобы получше разглядеть ее лицо. Но Анфиса, видимо, устыдившись своей шутки, тотчас же поправилась:

— Нет, от забот не спится... — И на него снова глядели знакомые, серьезные и немного печальные глаза.

— Да, вот какие дела... — только и смог протянуть Лукашин.

Странно, он никогда не присматривался к ней как к женщине. А она... Ему вдруг вспомнились слова Варвары: «Она ведь какая? За стол села Фиской, а вышла Анфисой Петровной». И то, что эта вечно озабоченная Анфиса Петровна, такая сдержанная и даже холодная, неожиданно приоткрылась ему Фиской, наполнило его волнующей радостью. И вся эта белая ночь, от которой он изнывал и томился, стала для него еще прекрасней и загадочней.

Где-то далеко, в конце деревни, твякнула спросонья собака. Лукашин поднял глаза к Анфисе. Лицо ее опять светилось улыбкой.

— Что же это я вас под окном держу? — вдруг спохватилась она, — Заходите в гости. Вы ведь у меня еще не бывали.

— В гости? — Лукашин оглянулся. Откровенно говоря, он шел совсем в другие гости.

Она поняла по-своему: боится бабьих пересудов.

— Ничего, ничего. Заходите, я хоть молоком вас угощу.

И вот шаги Лукашина уже в заулке. Анфиса бросается к кровати, лихорадочно поправляет постель. И чего она, глупая, всполошилась? Экая важность, человек в гости зайдет. А шаги уже на крыльце, в сенях. Анфиса взглянула на себя. Батюшки, она в исподнем...

— Можно?

— Входите, входите! — звонко крикнула Анфиса с другой половины. — Я сейчас...

Стоя перед зеркалом, она торопливо натягивала на себя свою любимую кофту — распашонку из синей бумазеи с белыми пуговками. Но на этот раз кофта показалась ей какой-то уж чересчур заношенной, неприглядной. Откинув ее в сторону, Анфиса раскрыла сундук и, волнуясь, стала рыться в своих залежалых нарядах. На дне сундука нащупала руками скользкий шелк, вытащила. Чем-то цветастым, далеким и шумным опажнуло ее.

Она почти вбежала в комнату. Лукашин, занятый рассматриванием карточек в застекленных рамках на передней стене, обернулся на шаги и снова, как давеча, когда он увидел Анфису в окне, не смог скрыть изумления. У него было такое ощущение, словно Анфиса сошла с фотокарточки, которую он только что разглядывал.

Она стояла перед ним в голубой кофточке, отливающей веселым блеском, и улыбающееся лицо ее, залитое стыдливым румянцем, сияло какой-то неудержимой молодостью и счастьем. И это было так необычно, так не вязалось с ее всегдашним видом, что он невольно покачал головой.

— Что? Больно переменялась? — кивнула Анфиса на карточку и вдруг еще пуще застыдилась: на ногах у себя она увидела большие серые растоптанные валенки, в которых ходила дома.

Лукашин, смеясь, что-то отвечал ей, но она не поняла ни единого слова. Все еще разглядывая валенки и чувствуя себя страшно неудобно в этой кофтенке, которая так и поджимала под мышками, она со злостью подумала: «Вынарядилась, дуреха. Хоть бы праздник какой. А то среди ночи. Что подумает он?..»

Она заставила себя взглянуть на него и, тут только поняв, что забыла предложить ему сесть, вдруг рассмеелась:

— Хороша хозяйка. Стой, гостенек, в гостях воля не своя.

Она проворно выдвинула приставленный к столу венский стул и, по бабьей привычке обмахнув сиденье рукой, придвинула Лукашину. Потом села сама. Руки ее машинально принялись разглаживать складки ска-терти.

Лицо Анфисы, продолговатое, обметанное вешним загаром,— совсем близко от его лица. На висках у корней волос, туго зачесанных назад, в том месте, где при-падал к лицу плат, белая полоска. Она, ширясь, уходит за маленькое разалевшееся ухо, молочным разливом охватывает тонкую шею и стекает за ворот шелковой кофточки.

Лукашину вдруг стало жарко. Он сказал:

— Чисто у вас. Хорошо!

— Это на днях убралась,— с готовностью ответила Анфиса, поворачивая к нему раздумянившееся лицо,— а то срам — зайти нельзя было.

И опять нечего сказать.

Но тут в окна брызнули первые лучи солнца, и Лукашин сразу же ухватился:

— Вот и солнышко.

Анфиса весело всплеснула руками:

— Ай-яй-яй! Ну и хозяйка, заморила гостя.

Она быстро встала:

— Каким вас молоком угощать? Парным?

— Не худо бы...— сказал Лукашин и вдруг, глядя на оживившуюся Анфису, сам почувствовал, как возвращается к нему прежняя непринужденность.

— Ну, тогда посидите — я скоро подою.

— Что вы, что вы! Какая сейчас дойка!

— Ничего, у меня буренка привычная — еще Харитон на военный лад подковал,— рассмеелась Анфиса, сбрасывая у порога валенки.

Она сняла с вешалки передник, подумала, не переодеть ли кофточку, но тут же махнула рукой: а куда ее беречь.

Занятая делом, Анфиса уже не испытывала недавнего смущения, а только, чувствуя на себе взгляд Лука-

шина, изредка косила в его сторону большим черным глазом и мягко улыбалась.

Он захмелевшими глазами ласкал все ее небольшое, ладное тело, скользил взглядом по рукам, разбрызгивающим воду под рукомойником, по белой нежной шее, над которой тяжелым, пышным узлом свисали волосы. Ему хотелось подойти к ней, обнять. И в то же время непонятная робость охватывала его. Нет, это было не то слепое, беспокойное влечение, которое будила в нем смазливая, столь откровенная в своих желаниях Варвара.

Оставшись один, он попытался разобраться в своих чувствах. Но все путалось и туманилось в его голове, и он был снова во власти тех смутных и томительных ощущений, которые волновали его в белую ночь. То ему припоминался властный, обжигающий взгляд Анфисы при первой встрече, то он видел ее бледное, растерянное лицо на собрании, то в глаза ему смотрели ласковые, обезоруживающие своей чистотой и доверчивостью большие черные глаза, когда он стоял под окном. Странно, другая вся на виду, а эта вся запрятана. И эти крохотные веснушки у ее переносья, так внезапно выпавшие и исчезнувшие...

В раскрытое окно тек густой запах черемухи. Солнце начало пригревать в затылок, но ему лень было пошевелиться. Сбоку от него — наспех прибранная постель, белая подушка с вмятиной посередине... Грешные мысли и желания нахлынули на него, и он опять потерял ощущение времени и пространства...

В комнате запахло парным молоком, привянувшей травой. Он стряхнул с себя сладкую дрему и, стыдясь собственных мыслей, встретился с ней глазами.

— Заждались? — голос у Анфисы глухой, мягкий. И во всей фигуре чувствовалось что-то довольное и умиротворенное.

Лукашин знал: так всегда бывает, когда хозяйка выходит из-под коровы (чиликанье молока, что ли, успокаивает или еще что), но то, что эта перемена произошла с Анфисой, его особенно обрадовало.

Сняв передник у порога, Анфиса медленно, слегка покачивая бедрами и тихо улыбаясь, прошла с эмалированным ведром за занавеску, потом вынесла ему полнехонькую крынку теплого, вспененного молока. Он начал пить прямо из крынки.

— Так вкуснее, — сказал он, на секунду переводя дыхание и глядя на нее счастливыми, посветлевшими глазами.

Провожая, она вышла с ним на крыльцо. От домов и изгороди на дорогу падали длинные тени. На повороте улицы к Лукашину подошел Степан Андреянович и о чем-то, разводя руками, заговорил. И тут только Анфиса спохватилась: как же это она про доклад забыла, не посоветовалась?

И вся та радость и беспричинное счастье, которые не покидали ее этой ночью, вдруг растаяли бесследно, как утренняя роса на солнце. Она снова была одна со своими заботами в пустой избе.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Июнь выдался на редкость теплый, солнечный. Над Пекашином целыми днями голубело безмятежное небо, дружно поднимались хлеба, росли травы.

В колхозе деятельно готовились к сенокосу. Старики точили и отбивали косы, делали грабли, чинили обувь. У кого водилась мука, сушили сухари. В маленькой кузне у болота с утра до ночи шумел горн, весело вызванивала наковальня.

Мишка Пряслин неожиданно для всех стал незаменимым кузнецом. Золотые руки оказались у парня! Там, где Николаша Семьин, «специалист по тонкой работе», часами потел над какой-нибудь пустяковой гайкой, Мишка управлялся за несколько минут.

После работы, весь измазанный сажей, в кепчонке, сдвинутой на затылок, Мишка не спеша, вразвалку, отправлялся в правление. По дороге он снисходительно кивал своим сверстникам, а если попадался навстречу пожилой человек, с достоинством вступал в беседу.

— Ну и погода, Христофор Афанасьевич, — говорил Мишка какому-нибудь ветхому деду, принимая позу бывалого хозяина. — Дождей не будет — нароем сена.

Дед, польщенный вниманием, отвечал:

— Худо ли бы с сеном, да работнички-то наши где. Траву погану рвут.

— Ничего, старина! — успокаивал Мишка. — Мы это обмозгуем. Я вот собрал из старья косилку, и еще что-нибудь придумаем.

— Да уж так, парень... — напутствовал Христофор Афанасьевич. — Силенки нету — смекалкой бери.

В правлении колхоза, потолкавшись среди людей и непременно отчитав какого-нибудь бригадира за нерасторопную доставку в кузницу инвентаря, Мишка всякий раз подходил к ведомости трудодней, вывешенной на видном месте, и, не умея скрыть мальчишеской радости, с удовольствием поглядывал на свою фамилию, против которой каждый день прибавлялась новая палочка.

По вечерам в правлении теперь больше чем когда-либо толпился народ, — все-таки предсенокосная пора давала людям небольшой роздых. Лукашин раздобыл в райцентре большую карту Советского Союза, и около нее часами простаивали люди. Не шибко грамотные бабы и старики, замечая, как день ото дня то тут, то там отодвигаются на восток красные флажки, тяжело вздыхали:

— Все прет и прет...

— Страсть куда залез.

— И когда его, окаянного, погонят?

Однажды Трофим Лобанов, уставившись на карту своими выпуклыми немигающими глазищами, попросил Лукашина:

— Покажи, где тут Ленинград?

— Вот он Ленинград. А что?

— Парень мой, Максимко, там! — тряхнул бородой Трофим.

С тех пор каждый вечер Трофим подходил к карте и, убедившись, что красный флажок у Ленинграда все на том же месте, громко, на всю контору изрекал:

— Во как мой Макс. Стоит, как в землю врос! Трошину породу сразу видно.

Потом сурово кивал Софрону Игнатьевичу и, тыча коротким задубелым пальцем в южную часть карты, басил:

— А у тебя Гришка — того... Всю карту портит.

Для Анфисы июнь начался той памятной белой ночью. По утрам она просыпалась с ощущением какой-то легкой, подмывающей радости. «Что бы это такое?» — спрашивала она себя мысленно и улыбалась, оставляя вопрос без ответа. Теперь у нее вдруг появилась разборчивость в одежде. Вместо синей кофты,

с которой почти не расставалась последние два года, она все чаще надевала веселую, цветастую.

«Председатель — надо... в район езжу...» — оправдывалась она перед собой.

У нее и походка стала другой — стремительной и легкой, а на смуглых щеках все чаще появлялся жаркий румянец.

Днем, чем бы ни была занята, она постоянно ловила себя на мысли, что с нетерпением ждет вечера, тех радостных и счастливых минут, когда она вдвоем с Лукашиным останется в правлении. Она любила слушать его в вечерней тишине, с глазу на глаз, — так с нею еще никто не разговаривал.

Просто, ничего не скрывая, он рассказывал ей о войне, о фронтовой жизни, о своих товарищах. Вместе с нею он разбирал очередную сводку Информбюро, вскипал, чертыхался, когда надо было опять передвигать флажки на карте, вспоминал города, оставляемые нашими войсками, — и мало-помалу немой лоскут, испещренный тысячами неизвестных доселе названий и извилин, ожил для Анфисы и начал приобретать очертания громадной родной земли, содрогающейся от грохота сражений.

Ей стыдно, неловко было перед Иваном Дмитриевичем, и она все чаще стала заглядывать в газету.

Иногда в разгар их беседы в дверях конторы неожиданно появлялась Варвара, подозрительно оглядывала их насмешливыми глазами:

— Все газетки читаем? Ну-ну, читайте! — И, беззаботно рассмеявшись, уходила.

Анфиса чувствовала себя после этого как человек, застигнутый на месте преступления, и долго не могла оправиться от смущения.

В другой раз Варвара, повстречав ее на улице, польстила:

— А тебе председательство-то на пользу, Анфисьюшка. Ты как десять годочков сбросила.

Она растерялась, не нашлась, что ответить. Но, оставшись одна, задумалась. Как ни хитрила она с собой все это время, но не могла не признаться, что не одни только душевные разговоры влекут ее в правление. Ее пугали, смущали взгляды Лукашина, которые она порой замечала на себе, и в то же время ей было необычайно радостно и хорошо от этих взглядов.

Нет, нет, говорила она себе, трезвея. Чтобы ей да в такое время глупостями заниматься! Да что о ней люди подумают, как она им в глаза глянет?

И ей уже казалось, что бабы догадываются, шепчутся у нее за спиной, что Варвара неспроста намекнула насчет годочков.

Вечером в тот день Анфиса не пошла в правление. Она нарочно переделалась в домашнюю юбку и отправилась полоть картошку на своем огороде.

Осторожно, чтобы не обжечь крапивой босые ноги, ступая по заросшей травой борозде, она прошла к крайней грядке и принялась за работу. Пальцы ее привычно и быстро начали выдергивать сорняки, совать их в подол передника.

На деревне пахло дымом: многие хозяйки начиная с нынешней весны топили по вечерам, экономили дневное время. От колодца доносились голоса баб, смех.

«И с чего это ты взяла? — думала Анфиса. — Человечек как с человеком разговаривает... До тридцати пяти дожила, а тут невесть что в голову взбрело...»

И ей уже казалось теперь, что все те особенные взгляды Лукашина, которые так волновали и смущали ее, она выдумала сама, что Лукашин, наверно, и не думает о ней. Да и с чего ему думать, когда своя семья под немцем? А она-то, она-то — как девчонка глупая. Совсем из ума выжила. И все-таки как ни стыдила, ни отчитывала она себя, на душе у нее было беспокойно. Она все время томилась каким-то неясным ожиданием и постоянно оглядывалась на дорогу.

Пахучая трава дурманила голову, взрыхленная, нагретая за день земля дышала жаром, кровь прилиwała к лицу, — и ей немалых усилий стоило продолжать работу. Бывали минуты, когда она готова была бросить все и бежать в правление, и сделала бы это, если бы в ней тотчас же не возмущалась гордость.

И вдруг, когда она уже ни на что не надеялась, ничего не ждала, в переулке раздалось знакомое покашливание. Она едва не вскрикнула от радости. К ней шел Лукашин с Митенькой Малышней.

Не обращая внимания на крапиву, с полным передником травы, она почти бегом кинулась к воротцам.

— Принимай гостей, Петровна, — издали замахал рукой Митенька Малышня. — Иван Дмитриевич конфет раздобыл — чай пить будем.

Анфиса вытряхнула зелень из передника и, вся разогретая, пахнущая травой и землей, вышла из огорода:

— Милости просим...

Она вспыхнула, встретившись глазами с тревожным, вопрошающим взглядом Лукашина.

Не успели, однако, они подняться на крыльцо, как где-то совсем рядом резануло:

— Убили... о, убили!..

Все трое с тяжелым предчувствием посмотрели друг на друга. Кого еще осиротила война?

В ту же секунду из-за дома показалась раскосмаченная, как ведьма, Марина-стрелеха. Поднимая пыль босыми ногами, она тащила за ворот упиравшегося белоголового ребятенка и дурным голосом причитала:

— Убили... Середь бела дня убили...

— Да говори ты!.. — вне себя крикнула Анфиса.

— Пётоньку моего... петушка моего беленького...

— Тьфу ты господи! С ума сводишь... я думала — опять похоронная.

Запахавшаяся стрелеха гневно сверкнула здоровым глазом:

— Так-то ты меня, старуху беззащитную... — Потом, разглядев Лукашина, снова заголосила: — Родимушко ты мой!.. Ты хоть пожалей.

— Да ты отпусти, Викуловна, отпусти Ванятку-то, — вступился за мальчика Митенька. — Он и так не убежит.

Лукашин молча отвел от ворота мальчика руку Марины, погладил его по голове.

— Ну ладно, говори... Чего еще стряслось? — поморщилась Анфиса.

— Ох, роднуша, не спрашивай... — заломила руки Марина. — Сижу я это дома, родимые, и уж так под грудями щемит, так щемит — места не найду. Дай-ко, думаю, выгляну — уж не горит ли где. Только я открыла ворота, слышу, визжат на задворках: «Бей белого, бей!» У меня так все и оборвалось. Долго ли, думаю, до греха — убьют друг дружку. Ведь все только в войну и играют. Оногдась Фильку у Лапушкиных едва не порешили. Енералом-немцем назначили...

Анфиса недовольно оборвала:

— Будет тебе сказки-то рассказывать.

— Нет, нет, почто... — спохватился Митенька, с раскрытым ртом слушавший Марину. Он переводил голубые глазоньки с одного лица на другое, и в них свети-

лось такое неподдельное, чисто детское любопытство, что Анфиса, вдруг смягчившись, подумала: «Как есть Малышня...»

— Ну назначили Фильку в енералы... — услужливо напомнил Митенька.

Но Марина, переняв недовольный взгляд Анфисы, вернулась к своей беде:

— Ну бегу я на задворки-то, что есть моченьки бегу. Разбойники, кричу, что делаете-то? А этот щенок-то, — указала она на мальчика, — стоит, плачет: «Мы, говорит, Марина, твоего петуха убили». Взглянула я на побище-то, там и впрямь мой петушко. Кругом перо да перо, а он, голубчик, лежит на бочку да эдак одним-то крылышком-то взмахивает, головушку вытянул да так глазком-то одним бисерным смотрит на меня — жалостливо-жалостливо... Взяла я его, гуленьку, на руки, а он уж и дух спустил.

По морщинистому, как растрескавшаяся земля, лицу старухи катились слезы.

— Ладно, успокойся, — сказала Анфиса и, легонько взяв Ванятку за подбородок, приподняла его голову. — Что же это вы натворили?

Мальчик засопел, надул губы.

Молчание ребенка привело Митеньку в восторг:

— Не скажет, истинный бог — не скажет. Это у них тайна военная, я уж знаю. Верно говорю, Ванятка?

— Верно, — пробормотал мальчик, вот-вот готовый расплакаться.

Анфиса, сдерживая улыбку, напустила на себя строгость.

— Как это не скажет? Ну, мне не скажет, а Ивану-то Дмитриевичу? Знаешь, кто он? — кивнула она на Лукашина. — Командир Красной Армии. Ему все секреты говорить надо.

Ванятка недоверчиво покосился на Лукашина, затем перевел взгляд на Митеньку: так ли, мол, не обманывают ли его?

— Не сумлевайся, Ванюшка. Истинно, — всерьез подтвердил Митенька.

— Дак зачем же вы петуха убили? — снова стала допытываться Анфиса.

— А почто он и белый...

— Ну и что?

— Ну и Сенька сказал, что белые никогда не побич

вают красных. А когда белый стал подсаживать красного, Сенька и говорит: надо, говорит, подсобить красному.

— Да какой красный, какой белый?

— Ты по порядку, по порядку, Ванятка,— внушал Митенька.

— Мы на конюшню ходили, а у Марины на задворках петухи дерутся: один белый—Маринин, а другой красный—Василисин. Ну а красный-то слабенький, стал сдавать. Сенька и говорит: «Белый, говорит, не имеет никакого права. Этого, говорит, и в кинe ни в одном нет». А Костя Семьин говорит: «Белые, говорит, как фашисты, завсегда народу вредили!» Да немножко и толкнул белого. А белый как расвирепееет, расвирепееет... — глазенки у Ванятки засверкали, и весь он теперь походил на боевого петуха,— да как кинется на красного петушка, а тот и с катушек... А Сенька закричал: «Ребята, говорит, бей белого»... Мы маленько побили, а он взял и окочурился... — и Ванятка расплакался.

Лукашин неловко опустился на корточки, притянул мальчика к себе.

Анфиса заметила, как дрожит его рука, обнимающая худенькие ребячьи плечи. Потом он вытащил из кармана пригоршню розовых засахаренных подушечек, начал совать их в грязные ручонки мальчика.

— Вот как, вот как тебе, Ванятка! — говорил Митенька Малышня, искренне радуясь такому исходу дела. — Пойдем со мной, а то ребята еще отнимут у тебя.

Легонько подтолкнув мальчика, он взял его за руку и повел на дорогу. Ванятка крепко сжимал в грязных кулачках конфеты и, постоянно оглядываясь назад, улыбался Лукашину розовым беззубым ртом.

Лукашин, не двигаясь, провожал его прищуренными глазами, и на лице его была такая тоска и боль, что даже Марина-стрелеха, видимо, догадавшись, что делается сейчас на душе у ее квартиранта, сочла за нужное потихоньку удалиться.

— Да,— словно очнувшись, произнес Лукашин. — Как мой Родька...

Он устало опустился на крыльцо, взялся рукой за голову.

У Анфисы сердце разрывалось от жалости, но она не находила слов, чтобы утешить его. Наконец она под села к нему сбоку, дотронулась рукой до плеча.

— Хотите взглянуть на моего Родьку?

Часто мигая влажными, необыкновенно потеплевшими глазами, он достал из потайного кармана гимнастерки серую, обтрепанную по краям карточку, протянул Анфисе, безуспешно пытаясь скрыть свое волнение:

— Вот он, мой разбойник...

На Анфису ласково глянуло умное, лобастенькое, как у отца, лицо мальчика.

— Хорош, хорош Родион Иванович!

— Хорош-то хорош,— мотнул головой Лукашин,— да страшно не повезло. Понимаете... не уберегла бабка, простудила ребенка, и вот ножку скрючило. Такой парнюга славный, а полжизни в больницах провел... Вся надежда на Крым была. В прошлом году летом собирался везти к одному профессору — уж и договоренность была. А тут война... Теперь вот под немцем...

— Да вы не убивайтесь, с матерью ведь; мать в обиду не даст.

Лукашин с горечью усмехнулся.

— Какая мать? С бабкой остался...— И на вопросительный взгляд Анфисы добавил:— У меня жена вскоре после родов умерла. Я его сам и выхаживал... Сначала думал жениться, да захочет ли, думаю, мачеха с больным ребенком возиться? Так и остался вдовцом...

Ночью Анфиса долго не могла заснуть. Ей и жалко было Ивана Дмитриевича, жалко больного ребенка, который где-то в немецкой неволе мается со старухой, и в то же время из головы не выходили слова: «жены нет»...

Но тут подошла вплотную страда — и бесчисленные новые заботы и хлопоты целиком завладели ее умом и сердцем.

Правление колхоза, готовясь к выезду на дальние сенокосы, казалось бы, предусмотрело все: было заготовлено необходимое количество кос и граблей, сколочены не одни сани-волокуши, кое-как схлопотали общее питание (для этого пришлось выпрашивать займы муки в соседнем колхозе), но в последние дни, как всегда, выявились новые затруднения. Травостой на некоторых речках из-за поздней весны оказался так мал, что выезд на них пришлось отложить,—и уже одно это спутало все планы уборочной. Еще хуже было с людьми,— как

ни хитрили, ни изворачивались, а заткнуть все дыры не могли. Даже та рабочая сила, которая считалась надежной, зачастую подводила: у одной ребенок заболел накануне, другой за старухой присмотреть надо, у третьей корову подоить некому — кто за нее молоко платить будет? Да и то сказать, страшно вести разъединственную кормилицу в лесную глушь: а ну как зверь нашкодит? А четвертая и рада бы поехать, да не с чем: в доме с пригоршню муки нет. Даже Варвара Иняхина, которой ничто не вязало руки, и та норов показывала: «Находила я на тот свет ехать, ближе к дому хочю».

Наконец десятого июля выезд состоялся. Бывало, до войны, отправлялись на пожню как на долгожданный праздник — с песнями, с весельем. А народ-то какой! Мужики да парни чуть не за крыши головой задевают, разряженные девки, поскрипывая новыми сапогами, млеют от радости, которую сулят им встречи с милыми в короткие бессонные ночи...

А сейчас за санями-волокушами, на которых был уложен скудный нынешний пожиток, плелось несколько стариков. Некоторые из них, страдая одышкой, хрипели с первого шага, другие были столь ветхи, что им только бы домашничать, а не о сенокосе думать. Желторотые мальчишки и девчонки, женщины, еще не оправившиеся после тяжелой весны... За матерями вдогонку, хватаясь за подол, бежали малыши, и те на ходу наклонялись к ним, давали последние наказания. Коровы на вязках упирались, оборачивались назад, к своим дворам, и вопрошающе косили на людей лиловым глазом: «Куда вы нас ведете?»

Анфиса, провожая, смотрела на свое воинство и со страхом думала: «Какое же тут сено? Чем скотину кормить будем?»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Горбатый мыс — самое распроклятое место на Синельге. Не пожня, а сплешные горбыли да муравейники. За день так руки надергает, что вечером ложку ко рту не несут. А уж трава на Горбатом мысу! Гнездоватый мятлик, красноголовая осота-старучина да задубевшая собачья дудка... Коса вызванивает, как о проволоку.

Пять пекашинских домохозяек, проклиная все на свете, маялись на мысу уже второй день. День был

жаркий, безветренный. С безоблачной выси нещадно падало солнце. От перегретой травы обдавало, как из печи. Женщины каждый раз, дойдя до Синельги, жадно припадали к воде потрескавшимися губами, споласкивали лицо, мочили запекшиеся, заземлившиеся косы и снова делали заход.

Работали молча, невесело.

Анна шла сзади — вся мокрая, еле держась на ногах. Коса у нее постоянно запарывалась, и она насилу выдирала ее из земли. Молодая, бойкая Лукерья уже трижды обходила ее. Сначала покрикивала: «Убирай пятки!» — а потом уже просто, не говоря ни слова, выходила вперед. Да что Лукерья! Престарелая Матрена, которая вечно стонала да охала, и та обошла. Ей стыдно и горько было за себя, за свою беспомощность. Что подумают о ней бабы? Как ребят таскать, так первая, а косить — нету... Она низко наклоняла голову, украдкой смахивала слезы, а они все набегали и набегали...

После полудня Лукерья, переглядываясь с женками, сказала:

— Чтой-то, бабы, лягу-то мы забыли. Иди-ко, Анна, выручай.

Ей ли было не знать, что лягу — низинку у залеся — каждый год оставляли напоследок, — для опохмелки, как говорили, чтобы после Горбатого мыса не отбить навсегда охоту к косьбе. Трава там легкая, коская — лопушник да ремза. Но сейчас Анна рада была уйти с людских глаз.

В ляге, отгороженной от мыса кустарником, жара была меньше. Анна потихоньку стала косить. Коса больше не зарывалась в землю. Она без отдыха прошла укос и, оглядываясь назад, с облегчением вздохнула: нет, еще может работать.

Когда спустя некоторое время женки закричали «перекур», она решила отдохнуть здесь, в ляге. Да и зачем она пойдет? Бабы, как всегда, начнут говорить о своих мужьях, пересказывать их письма, гадать, когда кончится война и вернуться домой родные. А каково-то ей все это слушать? Ей не от кого больше получать писем, ей некого больше ждать. Был Иван, и нет Ивана — будто и не жил человек на свете.

Выбрав местечко под ветвистой черемухой, куда не доставало солнце, она села в густую влажную траву, в изнеможении прислонилась к стволу дерева.

Едкий соленый пот заливал ей лицо, голову разламывало от зноя, от слез. Надо бы спуститься к речке, умыться, но у нее не было сил. Она сняла с головы плат, вытерла лицо.

Что же это она? Совсем сдавать стала. А ведь ей всего тридцать пятый год. Иная баба к этим годам только в силу входит, а она...

Расправляя на коленях помятый плат, она случайно обратила внимание на свои руки. Какие они худые, черные да жиловатые — как у старухи. И эти ухваты Ваня называл лапушками...

Вокруг нее в траве лихорадочно ковали свое немудреное счастье кузнечики, жалобно звенели комары, загнаные в тень палящим солнцем, высоко в небе заливался жаворонок, которого в Пекашине называют божьим барашком, за кустарником громко переговаривались бабы. Но она ничего не слышала. Перед глазами ее стоял Ваня, высокий, в белой рубашке, с непокрытой головой... Свистит коса... улицей стелется пахучая трава... «Анютка,— кричит он ей, улыбаясь,— не надрывайся! Давай лучше песню, а я под твою песню за семерых накошу...»

— Ванюшенька, родимый,— зашептала она вслух, глотая слезы. — Научи ты меня, как мне жить...

Первые дни после получения похоронной она ходила как помешанная, ни о чем не думая, ничего не соображая. Осознание всего ужаса и непоправимости случившейся беды пришло позднее. Как-то ночью она проснулась, села на постели и обмерла. Вокруг нее, как щенята, раскидались, переплелись меж собой посапывающие детишки. Пятеро! Да еще шестой на кровати. Как же она, горемычная, будет жить, поднимать такую ораву? Разве тащить ей воз, который был под силу одному Ивану? Чем их накормить, напоить?

С тех пор эта мысль неотступно преследовала ее. Сядет за стол, взглянет на ребятишек — и сердце упадет. Шестеро! И все тянутся к хлебу, наминают за обе щеки. По куску — так шесть кусков надо! А какие у нее доходы? Ну пускай поднатужится, выработает триста трудодней в год, получит по килограмму. Это хорошо еще — урожайный год. А ведь были годы, когда и сотками получали. Да разве это хлеб на такую семью? Она уже сейчас забирает под новые трудодни. А во что обуть, одеть их?

За кустами зазвенели косы. Она, охая, поднялась, налопатила косу и поплелась к кошенице. Мало-помалу жара начала спадать, с северной стороны потянуло желанным ветерком. Коса заходила живее.

Через некоторое время впереди, в Волчьем логу, застрекотала сенокосилка. Анна, не прекращая размахивать косой, приподняла голову. Радостная улыбка осветила ее лицо.

По лугу, потряхивая головами, шагали две лошади, а сзади них, сбоку, покачивался на сиденье косильщик в белой рубахе. Мишка! Ее Мишка... Господи, как бы она жила без него! И чего-чего не делает он в свои четырнадцать лет! Днем за мужика работает, а дома — и воды, и дров принесет. Вчера утром стала одеваться, смотрит — на сапогах подметки подбиты. То-то она ночью просыпалась: что да что стучит на крыльце.

— Милый ты мой! Радость ты моя... — прошептала она тихо, не отрывая глаз от сына. — Пропадать бы без тебя мамке.

Завидев мать, Мишка отчаянно замахал руками, потом прыгнул с сиденья и, что-то крича, прямо некошеницей травой побежал к ней.

Коса у Анны вжикнула и уткнулась носком в землю. Неужто еще беда какая? С ребятишками, наверно... Обмирая от страха, она все крепче и крепче сжимала косье в руках.

— Мамка! При-ня-ли! При-ня-ли!

В глаза ей бросилось счастливое, необыкновенно возбужденное лицо сына. Подбежав к ней, он в изнеможении кинулся на кошеницу и, высоко задрав кверху ноги, как жеребенок, начал кататься по траве.

— Кого приняли? Куда?

— Да в комсомол!

Анна попыталась улыбнуться, но губы ее дрогнули:

— Отец-то бы обрадовался. Бывало, ты еще маленький... Возьмет на руки... — И, не договорив, всхлипнула.

Мишка встал, глаза у него потемнели:

— А ты, мамка, опять плачешь. Сколько тебе говорено...

— Плачу, Мишенька. Как жить-то будем?

— Как жить? Проживем. Люди же живут.

— У людей-то не такая семья... Хлеб теперь забираем вперед, а зимой что?

Мишка зачем-то взял из ее рук косу, долго протирал полотно травой и вдруг, воткнув ее косьем в землю, решительно шагнул к матери:

— Видишь, какой я? Во на сколько выше тебя! — Он взмахнул рукой над ее головой. — А ты все — как да как жить...

Черные хмуроватые глаза его вспыхнули:

— А ты думаешь, в комсомол за здорово живешь приняли? Как бы не так! Лукашин знаешь как меня назвал? Товарищ Пряслин, говорит, настоящий гвардеец тыла! Это как? Зазря?

И Мишка, заново переживая недавние события, с жаром начал рассказывать:

— Понимаешь, мамка, все «за»... И сам Лукашин. Я тебе раньше не сказывал. Я еще весной подавал... Ну, в общем, годá, русский язык вспомнили... А тут, понимаешь, как получилось? Я и не просил. Лукашин это вчера подходит. Ну, то, се, насчет работы спрашивает, а потом и говорит: «Ты, Михаил, в комсомоле?» Нет, говорю. «Нехорошо, говорит, такой парень, и в хвосте. Пиши заявление». Ну, раз так, я и написал. Понимаешь, мамка, все только и говорили: заслуживает, заслуживает. А Лукашин — вот человек! Такое про меня говорил — я и сам не знал. Всю жизнь расписал...

— Да, да... — она кивала ему головой, улыбалась и в то же время с тоской разглядывала новую прореху у ворота его рубахи.

— А знаешь, мамка, что я сделал? — еще больше загорячился Мишка. — Татьяну Рудакову на соревнованье вызвал! Думаешь, не побью? Дудочки! Я все заприметил, где она время теряет. Жару такого всыплю — будет всю жизнь помнить Пряслина!

Мишка передохнул и вдруг, наклонившись к матери, таинственно зашептал:

— А потом я знаешь что сделаю! В партию вступлю! — И тут от избытка чувств он подхватил мать под мышки и высоко поднял в воздух. От неожиданности и изумления Анна не могла вымолвить ни слова. А когда она опомнилась, Мишки уже не было. Он бежал по лугу широким, качающимся шагом — в белой рубахе, с непокрытой головой.

— Весь в отца... — прошептала она, всматриваясь в удаляющуюся фигуру сына, и впервые за последние недели будто растаяло у нее что-то в груди,

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

У Лизки дел да хлопот полные руки. Шутка ли, домашничать в такой семье! Надо и печь истопить, и с коровой управиться, и ребятишек накормить, и в избе прибрать, и бельишко постирать,—и чего-чего не надо...

Конечно, двенадцатилетняя Лизка многое из этого еще не делает: ее ли руками ворочать чугуны в печи, подымать деревянный подойник? И все-таки в страду весь дом держится на ней. Она с раннего утра до позднего вечера с ребятами и уж с ними-то ведет себя как заправская хозяйка.

— Робятища,—то и дело раздается ее сердитый голосок,—не мешайте вы мне, не путайтесь под ногами. У меня корова не доена, печь не топлена. И что за наказание такое? Без матери шагу не ступят...

«Робятища» — это пятилетний Федюшка да белоголовая, как одуванчик, Татьяна, которые, по правде говоря, совсем не мешают ей,—сидят себе в нескольких шагах от нее да роются в свое удовольствие в горячем песке. Но так уж положено: раз дети, то они непременно должны мешать хозяйке и на них непременно надо покрикивать.

Прибрав свое черепушечное хозяйство, расставленное все в том же углу между крыльцом и стеной избы, Лизка берет веник, подметает сор, потом, приставив к зеленым, острым, как у кошки, глазенкам худые, измазанные в земле руки, смотрит на солнышко.

— О господи! — хлопает она себя по бедрам, приседая. — Солнышко с полудника повернуло, а у меня и конь не валялся. Придут мужики с пожни — голодные, сердитые. Чем кормить буду?

Лизка с еще большим усердием начинает хлопотать вокруг черепков и баночек, время от времени поглядывая на своих «мужиков» — послушных, неразговорчивых мальчуганов Петьку и Гришку; они за дорогой, возле изгороди, ползая на коленях, рвут мокрицу, сооружают игрушечные стога.

Вскоре «мужики» и в самом деле возвращаются домой.

Лизка усаживает их на низенькие чурочки, заменяющие стулья, заводит хозяйственный разговор:

— Как ноне сенá-то? Прокормим коровенку?

Потом она достает из «печи» два глиняных колобка, «обжигаясь», сует «мужикам»:

— Съешьте пока по горяченькой, заморите червяка. Харчи-то ноне — сами знаете...

«Мужики», хмураясь, несмело отпихивают глиняные колобки:

— Не-е... Мы по-всамделишному хотим. Дай хлеба.

При слове «хлеб» рыжеватого, веснушчатого Федюшку как ветром поднимает с земли. Он подбегает к Лизке и, шмыгая носом, настороженно и подозрительно смотрит на сестру и братьев: не обошли ли его, не скрыли ли чего-нибудь? Он может есть в любое время суток: разбуди среди ночи — не откажется.

Лизка хорошо знает, что от обеда у них осталась всего-навсего одна постная шаньга. А когда еще вернется с пожни мамка и подоит корову? Солнышко вон где — даже до угла избы Семеновны не дотянуло, а надо, чтобы солнышко в аккурат за крышу двора село. И, как всегда, Лизка оттягивает время еды.

— Ах вы лодыри! — вдруг начинает она кричать на братьев. — Да нешто это страда? Люди днюют и ночуют на пожне, а у нас горе — не мужики. Сиднем сидят дома.

Тут Лизка хватает с чурбака две щербатые крынки, сует их Петьке и Гришке:

— Сбегайте хоть за водой, чем баклуши-то бить.

Те переглядываются, как бы говоря: «Ничего, брат, не поделаешь. Она у нас такая», — и нехотя, опустив головы, идут за водой к грязной кадке соседнего дома.

— А ты чего стоишь как пень? Не знаешь своего дела?

Федюшка, что-то угрюмо лопоча себе под нос, возвращается к Татьянке.

Проходит еще полчаса или час. А дальше терпеть не может и сама Лизка: у нее уже давно урчит в животе.

И вот наступает долгожданная минута. Ребятишки во главе с Лизкой идут в избу. Лизка снимает с пояса ключик, открывает шкаф, в котором хранится последняя шаньга. Делит она, как всегда, на четыре части: самой младшей, Татьянке, еда оставляется на день особо. Братья с затаенным дыханием, боясь моргнуть, следят за руками Лизки — не обделит ли кого-нибудь? Но глаз у Лизки наметан. И все-таки для пущей справедливости она говорит Гришке:

— Ну, сегодня твоя очередь, отворачивайся.

Гришка поворачивается спиной к столу.

— Кому? — спрашивает Лизка, указывая ножом на одну из четвертинок.

— Федюшке, — отвечает тот.

Федюшка жадно хватает кусок, загребает крошки.

После еды повеселевшие дети снова играют: сеют лен, ловят шпиона-фашиста, рвут траву в огороде для коровы.

Но проходит час-другой, и Федюшка начинает хныкать:

— Исть хочу. Лизка, дай хлеба...

— Ты опять за свое? Давно ли лопал? Постыдился бы хоть людей, — кивает она на Петьку и Гришку.

Но те, отвернувшись от нее, присоединяются к Федюшке:

— Исть хотим...

— Да нешто вы полоумные? — разводит руками Лизка. — Где хлеб-то видели? Сказывают, в каком-то городе люди всю зиму не ели, с Гитлером воевали, а вы и часу прожить не можете.

Но разве проймешь чем-нибудь этих обжор? Пасти широкие раскрыли да знай горланят одно и то же: хлеба!..

— Ну погодите у меня, — прибегает Лизка к последнему средству, — вот придет Мишка. Он вам покажет. Он вам бока-то прочешет.

В это время где-то совсем близко раздается короткий мык. Все разом смолкают, настороженно прислушиваются. Секунды томительного выжидания. И вдруг вечерний воздух оглашается знакомым раскатистым мычанием.

— Звездоня, Звездоня пришла! — не помня себя, кричит, подпрыгивая, Лизка.

Она хватает из кузова, стоящего у крыльца, клок свежей травы, сломя голову бежит на дорогу. За ней, тоже с травой в руках, — Петька, Гришка, Федюшка. Даже Татьяна и та приподнимается с земли, начинает неуверенно переставлять свои кривые ножонки.

Черно-пестрая Звездоня только что показалась из-за угла соседнего дома. Она идет медленно и важно, лениво помахивая длинным хвостом. Весело блестит глянцевиная шерсть на боках.

Навстречу ей тянутся детские ручонки с пучками травы. Из маленьких, трепетно бьющихся сердечек льются самые ласковые и нежные слова, какие скопились там за недолгую жизнь:

— Кормилица ты наша, пришла...

— Голубушка...

— Иди скорейча... Молочка принесла...

— Роднулюшка желанная...

Звездоня, довольная, прибавляет шаг, опять трубит на всю улицу, потом, подойдя к детям, жарко обдаёт их своим утробным дыханием, привычно вытягивает мокрую, молочную морду. Смачно хрустит трава. Лизка и старшие братья, samozабвенно лаская кормилицу, чешут ей возле рогов и за ушами. Маленькая Татьяна, нагнувшись к земле, пытается собирать оброненные травинки. Травинки не захватываются, забавно выпадают из непослушных пальчиков, и она весело смеется.

Растроганная Лизка нараспев поощряет ее:

— Ох ты моя хорошая! Травушку она собирает для Звездони. Собирай, собирай, моя пригожая... Звездонюшка молочка даст...

Но не таков Федюшка, чтобы заниматься этими глупостями. Он жадно, как волчонок, принюхивается к молочному запаху и даже, присев на корточки, засматривает на вымя.

Но вот и Звездоня во дворе. Длинные тени пересекают улицу, а мамки все нет и нет. Ребята уныло и неприкаянно бродят возле избы, с тоской посматривают на солнышко, которое никак не хочет сесть за крышу двора Семеновны.

Потом, не сговариваясь, один за другим присаживаются на ступеньки крыльца.

— Молока хочу,— первым подает голос Федюшка.

— Погоди уже,— слабо возражает Лизка,— придет мамка, подоит...

— А ты позови Семеновну. Она тоже умеет доить,— несмело советуют ей Петька и Гришка.

— Да где она, Семеновна-то? Разве кто страдой сидит дома?

— Ну тогда дай хлеба,— снова бормочет Федюшка.

— Да нешто ты не видел? Крошки не осталось.

— А не дашь — скажу мамке, что ты больше нашего съела.

— Я? — Пораженная такой несправедливостью, Лизка едва выговорила: — Когда это?

— Давеча... — не моргнув глазом, отвечает Федюшка.

— Не ври, вруша!.. А хоть бы и больше — что из того? Я тебя на семь годов старше, а руки-то у меня, смотри, какие. А у тебя вон, как у мясника.

Лизка глядит на свои худые грязные ручонки, и вдруг чувство горькой обиды и острой жалости к себе охватывает ее. Худенькие, костлявые плечики ее дрогнули, и она, уткнувшись головой в колени, беспомощно заплакала.

— Я ведь сама еще маленькая... Не останусь больше с вами — ни в жизнь... Что хочет, то и пускай делает мамонька. А я скажу: нет уж, родимая мамонька, нажилась я с ними досыта. Лучше пошли ты меня на самую тяжелую работу...

Плача, к Лизке потянулась Татьяна. За ней навзрыд, в один голос, заревели Петька, Гришка и Федюшка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Надежда Михайловна, а лучше сказать — Наденька, потому что в свои девятнадцать лет — худенькая, смуглая, по-мальчишески стриженная — она больше походила на школьницу, чем на учительницу, медленно поднялась в пекашинскую гору, с тоской поглядела на пустынную песчаную улицу, на немые, будто вымершие дома.

У нее ныли ноги, ломило от жары голову, чуть прикрытую пестрой косынкой, горели опаленные солнцем голые руки, лицо, шея. Морщась от боли, она добралась до бревна, лежавшего у изгороди, села в холодок и начала растирать босые запыленные ноги.

...Нет, это ужасно! Опять отказ! И до чего же противный этот предрика! Наорал, как унтер Пришибеев: «Нечего шляться, барышня! Раз уж ты такая охочая до войны, взяла бы грабли да воевала на позже...»

Да и она хороша! Вместо того чтобы все объяснить логично, разревелась, как девчонка: у меня мама у немца...

И в райкоме такие же пришибеевы: «Кто детишек учить будет? Немецких гувернеров выписывать?..» Поговори с такими!..

Наденька Рябинина за год до войны окончила педагогический техникум на Орловщине. Она росла в то время, когда советские люди победоносно наступали на Арктику. Что ни год — новый подвиг изумлял мир. Поход ледокола «Сибиряков», челюскинская эпопея, чкаловский перелет через Северный полюс, дрейфующая льдина папанинцев!..

Дух захватывало у молодежи. По вечерам, сбившись у репродукторов, она жадно вслушивалась в эфир. Тысячи и тысячи мальчишек и девчонок мысленно сопутствовали храбрецам, вступали в поединок с суровой стихией. Географические карты школьников в те годы были исчерчены диковинно смелыми маршрутами новых походов и полетов. В половодье с проплывающих льдин приходилось снимать не одного обмерзшего мальчишку, вообразившего себя папанинцем или челюскинцем.

У Наденьки Рябининой были особые счёты со страной белого безмолвия. С детства в ее душу запали рассказы матери о молодом смельчаке дяде, который трагически погиб, участвуя в экспедиции Седова. И все-таки для всех было полной неожиданностью, когда эта тихоня, как называли ее в техникуме, на распределении упрямо заявила: «Направьте на Новую Землю».

Скромный педтехникум на Орловщине не был уполномочен подбирать кадры для Арктики, и все, что он мог сделать, — предоставить Наденьку самой себе.

Мать, старая учительница из маленького городка, привыкшая все оценивать в философическом свете, решила: «Это в ней кровь заговорила», — погоревала, плакала — и стала собирать свою «черноглазую Арктику» в дальнюю дорогу. И вот в августе того же года семнадцатилетняя девушка с Орловщины на свой страх и риск отправилась в Архангельск.

Свирепое дыхание Севера она ощутила, едва переступила порог облоно. «Романтика», — сказали там. К тому же, как выяснилось, рейса на Новую Землю не предвиделось до лета следующего года. Что было делать? Возвращаться домой, чтобы ребята на смех подняли? Наденька взяла направление в Верхнепинежье — один из самых глухих районов области.

В облоно, где всегда ощущали нехватку учителей, не поспешили на краски, расписывая тамошние края. Выходило так, что там и медведи запросто по деревне

ходят, и люди передвигаются не иначе, как на оленях и собаках.

На деле все оказалось куда как проще. Пекашино, в которое попала Наденька, было самым обыкновенным селом, мало чем отличавшимся от сел средней полосы. Медведи по улицам не ходили, оленей и в помине не было, а низкорослая северная кляча, на которой Наденька тряслась в Пекашино из райцентра, едва ли заслуживала предпочтения перед орловским рысаком. Впрочем, Наденька мужественно выдержала и этот удар. По крайней мере все ближе к Новой Земле! А через год — она в этом не сомневалась — добьется своего. Если надо, весь Архангельск на ноги поднимет, до самого ЦК дойдет.

Зимними вечерами, когда от мороза потрескивали бревенчатые стены школьного здания, она выбегала на улицу и сквозь заиндеветшие ресницы подолгу смотрела на северное сияние. Там, за полыхающими и серебряными столбами, чудился ей сказочный остров — Новая Земля.

В воскресное июньское утро все рухнуло. А вскоре от матери перестали приходить письма, и ко всем горестям, которые принесла война, прибавилась еще одна — страх за мать.

Зимой сорок второго года, когда стали собирать теплые вещи для бойцов, она, в последний раз оплакав свои несбывшиеся мечты, сдала меховые рукавицы. Потом, прочитав в газете о подвиге юной партизанки Тани, решила: место ее на фронте. Кем угодно — только на фронт! И вот пять раз ходила она в райцентр, обращалась в райисполком, райком комсомола, райком партии — и все напрасно...

Сидя в холодке, Наденька припоминала сегодняшний разговор в райисполкоме и райкоме, мысленно не соглашалась, спорила. Неужели нельзя понять? Ведь не куда-нибудь — на фронт просится!

На дороге показались две колхозницы с граблями на плечах. Высокую, полную старуху она не знала, а эту, помоложе, светлицую, в сером сарафане с нашивками, где-то видела. Ну да, вспомнила: сын ее, Сеня Яковлев, беленький мальчик, за первой партией сидел.

Поравнявшись с Наденькой, колхозницы молча, кивком головы, поздоровались. Она проводила их глазами. Далеко под горой в знойном мареве июльского дня се-

ребром вспыхивали металлические зубья конных граблей, медленно двигались по лугу белые платки.

— Учительница-то наша на войну собирается,— услышала она голос Сениной матери.

Наденька насторожилась.

— Как же,— ответила старуха,— девка в самом соку — к парням норовит...

— Поворочала бы сена с нами, прйти-то небось побавилось бы,— захохотала Сенина мать.

Кровь бросилась ей в лицо. Наденька резко вскочила, пошла, прихрамывая, по деревенской улице. У школы она опять присела. Одна мысль, что она сейчас войдет в свою пустую комнату, одна эта мысль привела ее в ужас...

Жара все еще не спадала. Кругом тишина и безлюдье — хоть вешайся.

...И почему, почему ее никто не хочет понять? «К парням норовит!» Как не стыдно так выражаться, а еще старая женщина! А эта — Сенина мать? Зимой проходу не давала: «Уж вытяни ты моего-то, Надежда Михайловна. Отец на войне, ради отца прошу...» А теперь вот какие слова! А что она сделала председательнице? Смотрит на нее как на блажененькую. И Настя — подружка, нечего сказать. Завела про белого бычка: работай в колхозе. А вот если у тебя мать у немцев?..

Невыносимая тоска и отчаянье сдавили ее сердце. Она поднялась, посмотрела на песчаную, зноем пышущую улицу и бесцельно, опустив голову, побрела по деревне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Наденька еще издали услышала плач, а когда она, перепуганная, подбежала к крыльцу Пряслиных, увидела там целый выводок ребятишек. Грязные, со взъерошенными разномастными головами, они, как в непогодь, по-воробыному жались друг к другу и горько и безутешно плакали.

— Что же вы плачете? Вас кто-нибудь обидел? Лиза, где мама?

— На по-о-ожне...— захлебываясь слезами, ответила Лизка.

— Так чего вы плачете?

— Федюшка говорит, я хлеб съела... А я ни капельки не съела... И корова не доена... А они еще глупые,— кивнула Лизка на ребят,— не понимают, что война на свете и мамка на работе... — И Лизка еще пуще разрыдалась.

Наденька беспомощно присела на корточки.

Молча, расширенными глазами она смотрела на этого худенького, вздрагивающего от рыданий ребенка, который рассуждал, как взрослый человек, немало повидавший на своем веку. И, может быть, только сейчас, в эту самую минуту, когда война глянула на нее вот этими скорбными, страдающими глазами ребенка, Наденька почувствовала весь ужас и безмерность страданий и горя, которые принесла война.

— Ну не надо, не надо, хорошие,— спохватившись, заговорила она. — Скоро мама придет...

Но дети не унимались.

Наденька в отчаянии оглянулась по сторонам и вдруг выпрямилась, топнула ногой:

— А ну, перестать плакать!

Ребятишки, всхлипывая, изумленно уставились на нее.

— И чего вы разревелись? Ты-то, Лиза, ай-яй-яй! Пионерка еще! И не стыдно тебе? Это ведь такой коротыге да этому сердитому рыжику,— она потрепала по голове Татьянку и Федюшку,— разрешается немножко поплакать, и то не каждый день.

— И вовсе я не рыжик,— уклоняясь от ласки, проворчал Федюшка,— на рыжих-то воду возят.

Наденька, настраиваясь на обычный разговор взрослого с ребенком, заулыбалась:

— Ну хорошо, хорошо — не рыжик. А что же мы с тобой делать будем?

— А ты принеси нам хлеба,— выпалил Федюшка.

— Замолчи ты, попрошайка! — прикрикнула на него Лизка. — Я вот тебе, скажу мамке... Вы не слушайте его, Надежда Михайловна. Он у нас такой надоедливый — никого не слушает.

Хлеба!.. Да, чего бы проще — принести этим голодным детишкам по куску хлеба, по куску обыкновенного хлеба. Но где взять этот хлеб? У нее самой забрано на целую неделю вперед.

Она сделала вид, будто, задумавшись, не слышала ни Федюшкиных, ни Лизкиных слов.

— А ты бы позвала какую старуху, Лиза. Подоила бы...

— Да ведь старухи-то еще на пожне,— не без раздражения ответила Лизка. Вздохнув, она добавила:— Я бы и сама подоила, не хитро дело — тяни да тяни за титьку. Да у меня ноги маленькие, подойник не захватить.

Наденька задумалась,— ей так хотелось что-нибудь сделать для этих детей!

— А знаешь что, Лиза? Давай доить вместе... а? Вдвоем.

Лизка скептически покачала головой:

— Что вы, Надежда Михайловна... в грязи да в навозе вымажетесь.

— Ничего, ничего!.. Ты только мне рассказывай что и как...

То ли передалось Лизке возбуждение учительницы, которой она привыкла во всем безраздельно верить и подчиняться, то ли подхлестнули косые, недовольные взгляды братьев, только Лизка начала сдаваться:

— Звездонюшка-то у нас бы смирнехонька... да уж не знаю как...

— Да идем же, идем! — торопила ее Наденька.

И вот уже в хозяйкином переднике, платке (его посоветовала надеть Лизка: «Мамка завсегда в платке»), подол подоткнут за пояс, в руках деревянный подойник. Впереди мелькают голые Лизкины пятки, сзади, табунком,— ребята. Из распахнутых ворот двора резко ударяет запахом навоза; где-то в темноте натруженно пыхтит корова.

— Уже погодьте немножко,— тихо говорит Лизка. — Я подгоню ее к свету.

Она, как ящерица, юркает в темноту двора, и через минуту Звездоня, тяжело переставляя ноги, окруженная тучей навозных мух, подходит к воротам, приюхиваясь, пучит на незнакомку огромный лиловый глаз.

Наденька невольно жметя к косяку ворот.

— Да вы не бойтесь, Надежда Михайловна. Она у нас — не смотрите, что рога,— как овечушка, смирная.

Лизка подносит траву в кошелке, подставляет к задним ногам коровы низенькую скамеечку:

— Ну вот, теперь вы сядьте на скамеечку-то, а я буду чесать ей за ушами. Она у нас любит, когда чешут.

Наденька, подавляя в себе робость и неуверенность, шагнула вперед. Под босыми ногами хлюпнула навозная жижа. Корова, опустив голову в кузов, аппетитно жует траву; качаются рога — крутые, темные. А вдруг она пырнет этими рожищами? Сзади, в простенке ворот, сгрудились выжидающие дети. И, словно подталкиваемая их угрюмыми, недовольными взглядами, она опять шагнула вперед. Вот и скамеечка. Корова по-прежнему стоит как вкопанная.

— Забыла я... надо вымя протереть.

В ту же минуту Лизка ныряет с тряпичей под вымя коровы, потом снова идет нежить свою Звездоню.

Наденька оробело садится на скамеечку, ставит меж колен подойник. Это она запомнила. А дальше что?..

У самого ее лица — огромный, то вздымающийся, то опускающийся коровий живот. В утробе что-то ворочается, урчит, как в кипящем котле. Жарко. Наденька легонько дотрагивается руками до вымени, гладит. Ничего, Звездоня стоит.

— Сели? — спрашивает Лизка.

— Ага...

— Ну теперь только дергайте за титьки. Эдака хитрость!

Жуткая тишина. Наденька слышит, как учащенно дышат у порога детишки, замерла Лизка, даже Звездоня как-то притихла, — все ждут веселого звона первой струи.

Она осторожно ощупывает соски. Прохладные, скользкие. Но пальцы вдруг стали непослушными, никак не могут захватить сосок.

— Ну-ко, я вам помогу. А ты, Звездоня, смотри у меня — не рыпайся, стой на месте.

Наденька чувствует, как шершавые пальцы девочки проворно забегали по вымени. Вот они ухватились за ее пальцы, уверенно зажимают их вокруг соска.

— Тяните, тяните вниз, — шепчет Лизка.

В ту же секунду теплая, тугая струя со звоном брызнула в подойник. Запахло молоком.

И пошло, и пошло.

«Дзынь, дзынь...» — весело выговаривает в подойнике.

И ничего страшного! Чудачка она — еще боялась. С чего это станет бодаться корова? Ей же, наоборот, приятно. Естественный процесс!

Вкусно обдаёт парным молоком, лицо разгорелось, а пальцам — тепло-тепло... Ах, как славно, как хорошо!

Корова дернулась, повела рогами... Наденька съежилась.

— Чего ты, глупая, стой! — вразумляет Звездоню Лизка.

Через минуту, когда все опять наладилось, Наденьке хотелось крикнуть: «Не косись, не боюсь — вот нисколечко не боюсь!..» Белая шапка в подойнике растёт, как дрожжи. Вот она уже приближается к рожку. «Хорошая коровушка», — думает Наденька.

— Скоро ле? — сердитый голос с порога.

Это, конечно, тот — рыжик. Измучился, бедняжка.

— Скоро, скоро, любеюшко, — отвечает за нее Лизка.

Какая она добрая, эта Лиза! Давно ли еще плакала из-за этого самого «любеюшка»... Наденька как бы заново видела сейчас эту худенькую, в изношенном, полинялом платье девочку. Ей бы в куклы играть, а она стоит где-то в темном навозном углу, безропотно и терпеливо обхаживает корову... Да, да, вот что она сделает... Серую кофточку ей отдаст, и то голубое платье тоже отдаст, и пояс можно с бантом. Вот обрадуется!

Мягко шипит, пенится под руками молоко. И вместе с ним какая-то тихая, убаюкивающая радость поднялась в душе Наденьки. Она любила сейчас и этих ребятшек, которым она даст молока, и самое себя, такую добрую и отзывчивую, и эту корову, которая понимает, как надо вести себя с незнакомым человеком. В эти минуты Наденька готова была забыть все обиды, причиненные ей в райцентре, и даже те постыдные, жестокие слова, которые она подслушала давеча в разговоре двух колхозниц.

— Теперича труднее будет... — откуда-то издалека доносится глухой Лизкин голосок. — Дак вы тяните, не бойтесь... А то можно и не продаивать. Мамка продоит.

— Знаю, знаю... — самоуверенно говорит Наденька.

Вот только бы левую ногу подвинуть. Совсем занемела — подойник давит. Немножко бы поправить, приподнять его... Она приподнимает за край подойник, тянет на себя... Руки скользнули... И Наденька с ужасом почувствовала, что опрокидывается. Голова ударилась о что-то мягкое, теплое... Крик от порога... Не по-

меня себя, она вскочила на ноги. В глазах закачалось огромное деревянное днище... Белая лужа... Она рванула подойник на себя, заглянула в него. Пусто...

Где-то слева звонкое хлопанье:

— Вот тебе, вот тебе, окаянная...

Она поднялась было на корточки, но опять села.

— Она не ударила вас, Надежда Михайловна? — и вдруг голос Лизкин замер.

— Молоко-то наше... — охнула Лизка.

Наденьке страшно было взглянуть в лицо девочки.

— Ничего, ничего, Лиза, — заговорила она шепотом. — Я сейчас вот... сейчас достану...

Она встала, схватила подойник и, отвернув лицо от рыдающих, прижавшихся к косяку ворот малышей, выбежала со двора. У калитки, срывая трясущимися руками крючок, она увидела свои грязные, перепачканные навозом руки. Она поставила подойник на землю, стала вытирать их о передник. Ноги, подол платья — тоже в навозе... Надо воротиться, вымыться. Но детский плач словно кнутом стегнул ее. Она опять схватила подойник и побежала к соседнему дому. Заперто. Кинулась ко второму — заперто. У третьего, возле крыльца, на завалинке, она увидела худую старуху, гревшуюся на вечернем солнышке.

— Бабушка, милая, — взмолилась Наденька, — выручи, продай молоко.

Старуха удивленно вскинула на нее подслеповатые глаза:

— Что ты, родимушка, какое у бабушки молочко! Не удержали буренушку — зимусь продали. Сам-то, бывало, в лесу подкашивал, а сам со двора — и буренка со двора... Да ты чья будешь? Ничего не вижу, а по говору будто незнакомая...

— Учительница здешняя.

— О, вишь ты... — понимающе кивнула старуха. — Нашего Митьку-сорванца учишь. А что, казенного-то не хватает, прикупаешь?

— Да я не себе, бабушка... А у кого тут можно купить?

— Да уж не знаю, голубушка, — вздохнула старуха. — Матрена да Марфа с коровами у сена... А тут бы в тех домах, — указала она черной, костлявой рукой, — есть коровушка, да они сами вприглядку едят; тремя домами одну держат...

Наденька медленно вышла на дорогу, повернула обратно. Но, пройдя несколько шагов, она остановилась. Что же скажет она голодным ребятишкам? Как взглянет им в глаза? А вдруг пришла мать? Нет, нет! Всю деревню обойти, а найти! На общий двор сходить!

И она, спотыкаясь, снова побежала от дома к дому.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Анфиса, прочитав сводку, пытливо взглянула в распухшее от комариных укусов лицо Парасковьи:

— Что-то немного наставили.

— При нашем-то совете не больно разойдешься.

— Чего опять не поделили? Траву?

— А вот как есть траву. Что же это такое, Анфиса Петровна? Мы с утра на общем убиваемся, а он — в кусты... — Парасковья опасливо оглянулась кругом, вплотную придвинулась к председательскому столу. — Бригадир из веры вышел. Первые два дня покосил с нами, — ничего, а потом, говорит, ревматизма скрутила. Ну скрутила и скрутила. С кем не бывает? Отлеживайся в избе. Только у него ревматизма-то не как у других. Позавчера это я утром брусок забыла — пришлось вернуться с пожни. По дороге еще куст смородины красной сорвала. Думаю, старику хоть утеха. Какое там! Прибежала к избе, смотрю, а его шляпа промеж кустов качается, и коса на плече. Нá, господи, куда он с косой?.. А он лесок прошел — знаешь, за избой ручьевина, Степана Андреяновича раньше была, да ну махать косой. Смотрю, а там уже и стожок стоит. Вот какая у него ревматизма.

На другой день Анфиса верхом на смирной кобылке отправилась в Росохи. Дорога туда — не приведи бог: суземная, тяжелая. В Пекашине так и говорят: «Кто в Росохах не бывал — тот и ада не видал». Летом в Росохи можно проехать только верхом да на легких еловых санях-волокушах, которые специально делают для завоза хлеба и харчей. Лошадь всю дорогу бредет по колено в грязи, натужно и с громким хлопаньем переставляя ноги; жалит лесной гнус. Это в сухую страду. А в дождливое лето — прямо беда. Болотная дорога раскисает, как кисель. Лошадь постоянно проваливается в невидимые колодцы, всплывает на водянистых

радах, которые разливаются в целые озера. А если еще пройдет бурелом — перекрестит, закидает дорогу валежником, — хоть помирай: ни прямо проехать, ни в сторону свернуть.

В этом году погода стояла сухая, сенокосная. Местами даже — особенно по старым, годами не кошенным травникам — ехать было приятно. Но на душе у Анфисы было тягостно. Этот Кротик вымотал ей душу. Давно ли она председателем, а недели не проходит, чтобы не скрестилась с ним... Чуяло у нее сердце — неспроста просится на пожню... А вести, вести с фронта! — как только людям сказать...

Председатель сельсовета, недавно вернувшийся с войны инвалид, пришел в ярость, когда она спросила, какая нынче сводка:

— Все сводку да сводку! Выдумаю я ее, что ли?..

Потом, немного успокоившись, махнул рукой:

— Прет проклятый...

На Росохе она выехала к вечеру.

Вид избушки, мелькнувшей вдаль на косогоре меж кустов, взволновал ее до слез. Сколько лет она здесь не бывала? Лет двадцать, наверное. Ну да, последний раз тут была еще девушкой.

Измученная, заляпанная грязью кобыла, почувствовав близость жилья, встряхнулась, замотала головой. Анфиса ехала некошеной пожней, — трава билась ей в колени. Она поглядывала по сторонам, присматривалась к знакомым местам и с трудом узнавала их. Кустато, куста-то сколько — все пожни затянуло. А избушка — осела, скособочилась. У Калинкина родничка она призадержала лошадь, вздохнула. Бывало, сюда в жару за ключевой водой бегали. А теперь ни тропочки, ни самого родничка. Ольшаник да ивняк в небо упираются.

У избы, на варнице, меж двух плотно приваленных друг к другу сушин, тлел дымок, — за недостатком спичек огонь поддерживали круглые сутки. На деревянных крюках — черные, продымленные котелки, чайники; на столе, сколоченном из толстых плах, — посуда, ложки, берестяные туюски.

С трудом расправляя занемевшие ноги, Анфиса разнуздала кобылу, вытерла ее травой и, стреножив, пустила на волю. Потом достояла, поглядела еще вокруг и пошла к людям.

Тропинка от избы сразу же спускается к речонке, наглухо заросшей кустарником, затем, часто пересекая ее, петляет мысами да исадами — низкой заливной бережиной. Анфиса шла свежескошенными пожнями, подсчитывала стожки, еще не успевшие почернеть снаружи, часто запускала в них руку, проверяла сено на нюх. И по мере того как она продвигалась вперед по душистым пожням, все отчетливее и отчетливее становилось вжиканье и перезвон кос. Скоро, перейдя вброд речку и раздвинув кусты, она увидела и самих косцов.

Впереди, отваливая покосище, без шапки, без пояса, с выпущенной рубахой, спокойно и деловито вышагивал Софрон Игнатьевич, за ним со всего плеча рубила Марфа Репишная, за ней, играючи, вприпляску, шла Варвара в белом переднике, за Варварой Дарья, Аграфена...

Захваченная зрелищем дружной работы, Анфиса не выдержала, вся подалась вперед:

— Э-гей!..

И только тут, заново окидывая пожню радостными, широко разбежавшимися глазами, она заметила Федора Капитоновича. Предусмотрительно облачившись в белый холстяной накомарник, Федор Капитонович мелкими шажками семенил по краю пожни возле кустов, замерял двухметровой свежий покос.

У Анфисы неприятно кольнуло в сердце, но женщины, завидев ее, уже подняли крик на всю пожню:

— Женки, кто приехал-то!

— Да ведь это Анфиса! Анфиса наша! — и, побросав косы, побежали ей навстречу.

Марфа на ходу, не здороваясь, забасила:

— Что на фронте делается?

У Анфисы сразу пропала всякая радость от встречи.

— Воюют...

— Знаем, что не овец пасут. Как воюют?

— Все по-старому...

— Отступают? Куда же дальше? Ведь и у России край есть! — И Марфа круто повернула назад.

— Ты хоть бы о доме своем спросила! — крикнула вдогонку ей Анфиса.

Марфа обернулась, свирепо сдвинула брови:

— Небось стоит? Не улетел? — она схватила косу и, поплевав на руки, с ожесточением, с шумом врезалась в траву,

— Экая сумасшедшая,— укоризненно покачала головой Варвара.— Вот завсегда так: наорет, накричит. Нет чтобы ладком, как люди... Разве Анфисы вина, что немец наступает? Ничего! — подмигнула она, усмехаясь.— Это она по первости так, а злость сорвет — хоть гужи из нее тяни.

Анфиса стала раздавать письма.

Варвара, принимая письмо, вся обомлела от радости, начала вытирать руки о передник, потом, развернув письмо и прочитав первые строчки, поглядела на всех влажными счастливыми глазами:

— Бабоньки, Тереша-то мой... Опять наградили... Ну Терентий Васильевич приедет — не узнать, возгордится, куда и посадить...

— Нету нам нынче ни от которого? — крепясь, спросила Дарья.

А в сторонке худая, бледная Павла, не спрашивая, горько и безнадежно заплакала:

— Господи, с ума сойду. Как ушел — ни слуху ни духу. Да что же это такое?..

Меж тем подошли Софрон Игнатьевич, Федор Капитонович и сзади всех, тяжело дыша,— Марфа.

Присели тут же на подсыхающую кошеницу.

— Ну что там на белом свете? Рассказывай,— не глядя ни на кого, но уже примиряюще буркнула Марфа.

— Да, да... все расскажи, Анфисьюшка. Как есть расскажи, без утайки,— взмолилась Аграфена.— Мы ведь здесь что в тюрьме. Кругом лес да лес, света белого не видим. Я ночью-то не один раз встану, выйду из избы, в домашнюю-то сторону гляну, прислушаюсь. Думаю, уж не стреляет ли где. Может, думаю, немец и к нам припер... Вот ведь до чего дошла.

— Не плети чего не надо! — оборвала ее Анфиса.— С ума сходишь! На краю земли живем — какой у нас немец?

Некрасивое, угловатое лицо Аграфены просияло:

— Наругай меня, Анфиса! Пуще, пуще наругай! Блажь хоть в голову не ползет.

Анфиса, как умела, рассказала про фронтовые и домашние новости, потом, окинув всех строгим взглядом, сказала:

— Ну теперь сказывайте вы, работнички дорогие. Никто не говорил. Сидели понурив головы, молчали.

— Что же, так и будем в молчанку играть? — снова спросила Анфиса.

— Ты его спрашивай,— кивнула Марфа в сторону бригадира. — Чего к нам пристала?

Федор Капитонович, давно уже искоса присматриваясь к председателю, решил: «Знает»,— и пошел напролом:

— Беда с нашим братом. Ладу нету, кусок изо рта рвем...

Ему не дали договорить:

— Это у тебя-то кусок изо рта рвем?

— Вырвешь, как бы не так, зубы сперва обломаешь!

— Двенадцатый год колхоз потрошишь,— видим, не слепые!

— Да что же это, Анфиса: мы тут убиваемся, а он об корове своей...

— Да уж так: для кого война, а для кого мошна!

Кричали, препирались еще долго, а потом женки в один голос: замену давай!

— Ну, раз так...— сказала Анфиса,— снимать будем.

Федор Капитонович приготовился было ко всему, но этого все же не ожидал. С секунду он сидел как громом пораженный, потом вскочил на ноги, заметался, замахал руками:

— Это меня-то снимать? Ты меня ставила? С первого дня колхозной жизни... Про меня в газетах печатали... премии давали... Да за такое дело... Ты с весны на меня зуб держишь — союзки забыть не можешь...

Анфиса, бледнея, оглядела его снизу доверху.

— Да русский ли ты человек? — еле слышно прошептала она.

— Я в район поеду, я покажу, как над стариком измываться...

И Федор Капитонович, с неожиданной для него резвостью, побежал к избе.

После ужина Софрон Игнатьевич, улучив удобную минуту, подал Анфисе знак: отойдем в сторону.

Росистой тропинкой прошли к речке, присели на сухую валежину. Софрон Игнатьевич отломил ветку, подал Анфисе: отмахивайся, мол, от мошкеры. Затем, на-

гнувшись, стал свертывать сигарку, потом долго выбивал кресалом огонь.

— Ты это зря, Петровна,— заговорил он наконец глухо,— зря все затеяла.

Анфиса ждала.

Софрон Игнатьевич жадно затянулся несколько раз подряд, резко отбросил сигарку, рассыпавшуюся искрами:

— Зря, говорю, в бригадиры меня...— Подумав, он круто повернулся к ней лицом: — Знаешь, кто я?

— Ты что-то сегодня загадками. Слава богу, век живем...

— Я не про то... В общем, так... в белых год служил... слыхала?

С заросшего седой колючей щетиной лица на нее в упор, не мигая, смотрели усталые, измученные глаза.

— Смотри, чтоб худа не было... пока не поздно.— Софрон Игнатьевич отвернулся. — Так-то один раз в лесу назначили меня групповодом... Знаешь, что было? Секретаря ячейки чуть из партии не вышибли... А сейчас, сама знаешь, война...

Долго молчали. Над потемневшим лесом всходил бледный месяц, в кустах за рекой отфыркивалась лошадь.

— Мало ли чего когда было,— сказала Анфиса.

— А все-таки ты подумай... худа не хочу...

— Ладно, я в ответе буду,— сказала, вставая, Анфиса.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Пока ставили сено по дальним речкам, под горой, на домашнем хлопотали Степан Андреянович да Настя.

Сначала было руки опускались: нет народа. Во всем наволоке с утра до вечера топтались несколько женчонок. А тут, как на грех, еще поломалась косилка. Пришлось вызвать с Синельги Мишку Пряслина,— тот за несколько дней на своей машине исколесил целые версты.

На гребь вывел всех поголовно — старых и малых. Древнюю старуху Еремеевну, которая уже и счет годам потеряла, привезли на телеге: далеко ходить она не могла, а грабли в руках еще держались.

В двадцатых числах июля Степану Андреяновичу и Насте подкатило неожиданное счастье. Ночью из Росох выехала группа Софрона Игнатьевича и на следующее утро, не ожидая распоряжений правления, вся целиком вышла на домашнее.

Под горой сталолюдно, как до войны. Правда, много работничка надо под ногами разглядывать,— того и гляди загребешь вместе с сеном, но зато было весело и шумно. Женщины — кто помоложе — принарядились: так уж исстари повелось, что, когда убирали домашнее, одевались, как о празднике.

Работали без перекура — торопились. С самого утра начало молодить-перекрывать тучками, в воздухе стояла духота, парило. Над головами низко носились стрижи, и ребятишки с криком, постоянно вскидывая кверху грабли, пытались их подшибить. Женщины, мокрые, потные, подхлестываемые угрозой дождя, бегали от сеновала к сеновалу, на ходу подхватывали охапки, укладывали в копны. Матери, если под руку попадался зазевавшийся малец, между делом давали подзатыльника, назидательно приговаривая: «Не считай ворон, не маленький».

И все-таки убрать всю луговину не удалось. Из накатившейся тучки хлобыстнуло, как градом.

Сгребальщики — и малый, и старый — сыпанули кто куда: кто забрался под копну, кто нашел пристанище под кустами. Марфа Репишная, моложавая Дарья, Варвара и еще несколько женок, прикрывая головы платками, кинулись к ближайшему зароду — высокому стогу длинной кладки. Запыхавшаяся Марфа, добежав до развороченной копны, придвинутой к самому зароду, свалилась замертво. Остальные, вытирая мокрые лица, отряхиваясь, выгребая труху из-за ворота, стали пристраиваться возле нее. Старая Василиса, перед тем как сесть, перекрестилась, умиленно сказала:

— Дождик грибной. Может, хоть гриба бог даст.

Одна Варвара не спешила забиться в сенную духоту. Она стояла под дождем, закинув кверху мокрое, по-детски счастливое лицо, и блаженно потягивалась разгоряченным телом.

— Женки, женки! Любо-то как... — взвизгивала она от удовольствия. — Я как росой умоюсь... Смотрите-ко, смотрите! — вдруг с изумлением зашептала она, присе-

дая и шлепая себя по мокрым бедрам. — Бригадир-то наш... Не наробился...

Возле соседнего зарода, саженьях в ста от женщин, дометывая копну, орудовал вилами Степан Андреянович — без шапки, рубаха без пояса. Огромные, раскосмаченные охапки сена то и дело взлетали кверху. Мишка Пряслин, Настя и Наденька, которая уже неделю не расставалась с граблями, вьюном кружились вокруг него, загребали остатки.

— Эй, бригадир, на перекур! — закричала Варвара.

— Захотела чего, Степана не знаешь! — проворчала, приподнявшись, Марфа и снова завалилась в сено.

— Знамо, Степонька, — с уважением сказала Василиса. — О прошлом годе попросила берестяной коробки — на крыльце висит. Дай, говорю, Макаровна, по ягоды сходить. «Нет, говорит, не дам этой коробки». Жалко, говорю? «Нет, говорит, я в этой коробке сына родила». Как, говорю, в коробке? «А так, говорит, с пожни шла да на болоте за домами и родила. В этой самой коробке и домой принесла».

— Беда какая! — удивилась Дарья. — Сам до упаду робил и жену хотел в гроб вколотить.

— Дак ведь, Дарьюшка, — живо вступилась за Степана Андреяновича Василиса, — слыхала, с чего житье-то у его начиналось? Не с родителей капиталов пошел.

Варвара, краем уха прислушиваясь к разговору, поморщилась: ну, теперь разведут скучищу... Выгибаясь, она расправила плечи, так что косточки хрустнули, и, игриво, притопывая ногой, запела:

Мужичка бы нам подали —
Вот тогда б мы зажили...

— Варуха, бес, — сонно заворчала Марфа, — опять тебя затрясло...

Благочестивая Василиса встала, строго поджала постные губы:

— Срамница... пятница сегодня — нет того, чтобы о божественном... — И, тяжело переставляя свои старые ноги, на ходу крестясь, пошла на другой конец зарода.

Варвара с пресерьезным видом поклонилась ей, как послушница игуменье, и первая прыснула со смеху. Женки заворочались, заулыбались. Марфа, сердитая, злая (не дала, змея, соснуть), резко поднялась, села;

— Ох, Варуха, Варуха... И чего в тебе мужики нашли — всю жизнь липнут. Баба как баба. Только что на месте усидеть не можешь — тебя как чирей всю жизнь точит.

— Хлеб один, да скус не один, Марфинька, — под одобрительный смешок ответила Варвара.

— Иди ты со своим хлебом...

— Я, Марфинька, знаешь какая? — не уступала Варвара. — Захочу — сам леший захохочет. Не веришь?

Она шагнула к Марфе и вдруг со смехом, дурачась, набросилась на нее, опрокинула навзничь.

— Куча, куча мала!.. — заголосили женки.

Марфа, барахтаясь в сене, скинула с себя Варвару, села на нее верхом и, тяжело дыша, побагровевшая, пристыженная, начала отвешивать ей по мягкому месту.

Варвара придушенно визжала, извиваясь под Марфой, сучила ногами.

— Варка, Варка, бесстыдница... — упрашивала, трясясь от смеха, Дарья. — Не заголяй ноги — старика моего перепугаешь.

Наконец Марфа, отведя свою душеньку, отпустила ее. Та легко встала, начала ощупывать бока.

— Ну как, довольна? — ухмыльнулась Марфа.

— Еще как довольна-то, Марфа Павловна! Меня так-то ни один мужик не обнимывал. Марфушка! — воскликнула Варвара, снова подступая к ней: — И пошто бог из тебя мужика не сделал?

Марфа с неподдельным ужасом замахала руками:

— Бог надо мной сжалился. Не то бы ты с шеи с моей не слезала.

— А я и так не слезу.

И Варвара ухватила Марфу за шею, прижалась к ней мокрым телом. Та лениво и нехотя оттолкнула ее и, брезгливо скривив губы, с усталостью сказала:

— Отстань, смола... Я весь век об этом не думала, а теперь поздно.

Она задумалась, мрачно сдвинула брови:

— Мне бы конца войны дожидаться да с белым хлебом чаю напитокся... Досыта! — добавила она с ожесточением.

В наступившей тишине кто-то вздохнул:

— Да хоть бы со ржаным...

— Нет, с белым! — упрямо повторила Марфа и таким взглядом поглядела на женок, точно готова была

разорвать каждого, кто осмелился бы лишить ее этой надежды.

И те согласно закивали:

— С белым, с белым, Марфинька...

— Варка, Варка,— дернула Варвару за подол Дарья. — О мужике горевала — идет...

Женки с любопытством начали вытягивать шеи: какой еще подвох придумала Дарья. А когда слева от своего зарода увидели идущего по лугу Николашу Семьина, добродушно заусмехались:

— Вот как, вот как вышагивает!

— Головушку-то как петух несет.

— Еще бы: экой кусок урвал.

— Что она и нашла-то в нем? Всю жизнь в кузнице, а кроме замка да ведра...

Николаша с полным пренебрежением к дождю, который давно уже потерял свою первоначальную ярость, шел неторопливо — прямо напоказ,— голова склонена набок, мокрые хромовые сапоги блестят за версту, а из-под короткого пиджака, небрежно накинутого на тощие плечи, щегольски выпущена длинная белая рубаха, пестро расшитая по подолу. Он, конечно, знал, что на него смотрят, и старался, что называется, не ударить лицом в грязь.

— Женишок! Приворачивай на перепутье! — дружно, на разные голоса закричали женки.

Николаша развел руками, показал на кожаную сумку: некогда, мол, по машинной части спешу, но, когда женки снова закричали, снизошел — повернул к зароду.

Дарья, едва он приблизился, скаля белые зубы, выпалила:

— Про тебя, Миколай, говорим. Дивимся, как ты эдаку девку улестил.

Николаша, пытаясь скрыть довольную улыбку, тоном опытного человека ответил:

— Любовь — дело известное...

— Верно, верно, Колька,— подмигнула ему Варвара,— любовь не картошка.

— А у тебя, Миколай, губа не дура: знаешь, чье поле топтать. Небось на наш картофельник не позарился, на служащую потянуло.

— Да и он не у пня стоит — мастеровой. Видишь, сумочку какую завел.

— Портфель это, глупая,— не знаешь.

Николаша стоял, переминаясь с ноги на ногу, по-вертывал то туда, то сюда мокрую, в жидких косицах голову и был рад-радешенек. Он все принимал за чистую монету.

— Свадьбу играть будете але как? — допытывались женки.

— Свадьбу? Они свадьбу-то который месяц играют. Верно, Миколай?

— Ну народ, попадешь на ваши зубы... — покрутил головой Николаша, сдерживая довольную улыбку, и хотя он мог бы пробыть на таких зубах сколько угодно, он все же решил не терять своего достоинства: перекинул на другое плечо сумку с брякнущим инструментом и, выпрямившись, зашагал по назначению.

Женки, провожая его глазами, снова принялись перемывать косточки:

— Выбрала Олена муженька. А нос-то задирала, форсу-то сколько было...

— А чего? За эдаким еще лучше. Под башмаком держать будет.

— Да ведь он супротив ее...

— Ничего, — трезво рассудила тощая чернявая бабенка, — пойдут робятища — соки-то повысосут. Я, бывало, в кожу не помещалась, а сейчас, вишь, шкилет один...

— И что это за наказание такое нашему брату? — разжалобилась ее соседка. — В муках рожает, день и ночь трясешься над ними, а вырастишь — сердцем изойдешь. А на войну угонят — о, горюшко! Как подумаешь иной раз — зверю последнему позавидуешь.

— Не ты первая позавидовала, — живо перебила ее моложавая Дарья. — Слыхала, как бабы справедливости искали? — Она насмешливо, но с опаской покосила глаз на Марфу.

— Ну? — заерзала Варвара.

— Как же! — усмехнулась Дарья. — Было делов. По всей земле взбунтовались: «Рожать не будем! За что такую несправедливость терпим?» Ну а кому пожалуешься? Разве что богу. А пойдя попробуй доберись до него. Сидит за облаками — молитвы-то наши не больно доходят. Думали, думали — надумали: вышку строить надо. Высоченная вышка получилась, в самое небо упирается. Долго ли такой оравой. Ну а кто ползет? Все га́музом? Какая же вышка выдержит? Спорили, ругались — выбрали председателем Дуньку. Отчаянная была

бабенка, такая же, как ты, Варка. Полезла наша Авдотьюшка, добралась до самого господа бога...

— Василиса! — закричала Варвара, приподнимаясь. — Иди скорее: о божественном зачали...

Чернявая женчонка, еще недавно жаловавшаяся на бабью участь, улыбаясь ткнула Варвару в бок. Остальные зашикали:

— Уже ты, бес, не перебивай!

— Ну, дак добралась, говорю, Дунька до самого бога. — Дарья опять повела насмешливым глазом в сторону Марфы. — Тот обрадовался: первый живой человек на небе; не знает, чем и угощать, — райские яблочки, яства всякие... О земле начал выспрашивать. А Дунька злющая-презлющая, отдышаться не может. Нет, думает, ты мне зубы-то не заговаривай, не за тем на такую высь подымалась, да прямо к делу: «Что же ты, говорит, господи, такую несправедливость развел? Как зверей — дак холишь, от всякого воспитанья детей освободил, а на нас эко взвалил — света божьего не видим». А бог-то — на то он и бог — знал, к чему клонит Дунька. «Дак ведь, голубушка, говорит, звери-то знаешь как... раз в году нюхаются. А вы на дню, бесстыдницы, сколько раз грешите. Ну-ко, говорит, вспомни про себя». Дуньке и крыть нечем. «Хочешь, говорит, сделаю, как у зверей? Заведу меж вас такие порядки. Это в моей власти». У Дуньки голова кругом. «Уже, говорит, господи, подожди — я с бабами посоветуюсь...» Ну, нагнулась к дыре, через которую влезла. «Бабы, кричит, слышали, что бог-то предлагает? Соглашаться ли?» А те в один голос: «Дунька, не соглашайся! Условия неподходящи...»

Последние слова Дарьи потонули в хохоте. Из-под ближайших копен приподнялись любопытные головы.

Марфа сурово на всех посмотрела.

— Взбесились, кобылы! У тебя язык поворачивается, — накинулась она на Дарью, — в бабки годишься!

Дождь меж тем перестал, опять стало припекать. Степан Андреянович уже снова суетился возле своего стога.

Через некоторое время, когда женки немного успокоились, Варвара с пресерьезным видом заметила:

— А ведь она, бабы, права...

— То-то! Я всегда права! — уверенно сказала Марфа. Варвара с лукавым смирением опустила голову:

— Я говорю, Дунька-то, председательница, права...

— Охо-хо-хо-о-о!.. — опять впокатушку покатались женки.

Марфа, гневная, распаленная, схватила длинную хворостину:

— Сдурели! Хоть бы ее-то постыдились... — По лугу, ярко освещенному солнцем, бежала к ним Настя.

И женщины, завидев ее, разом смолкли. Даже Варвара и та постаралась принять благопристойный вид, начала закручивать волосы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Вечером после работы Степан Андреянович отвел Настю в сторону:

— Ты бы, Настасья, присматривала за своими, а то срам...

Настя удивленно вскинула на него свои ясные, открытые глаза.

— Как же! Давеча кричу Олене-счетоводше — на траву матаефскую залезла: таскай, говорю, для своей коровы из навин. А она: «Я декретная, мне по закону поблизости положено».

— Декретная? Какая декретная?

— Ну... с Миколашкой, говорят, спуталась.

Настя, не разбирая дороги, напрямик зашагала к деревне. Она шла быстро, почти бежала. Густая, уже мокрая от росы трава хлестала ее по коленям. Лицо у нее пылало, как от пощечины. Срамота какая!

Олена была дома одна, мыла пол.

Она разогнулась, отбросила в сторону мокрый ве- хоть и, тяжело дыша, стала вытирать рукавом потное лицо.

Глаза Насти уперлись во вздувшийся живот, выпиравший из-под загнутого, замоченного водой подола.

— Ты это... как ты докатилась? — со злостью и омерзением выкрикнула она.

Олена нахмурилась, облизала свои полные, сочные губы. В зеленых глазах ее заиграла нехорошая усмешка.

— Брюхо-то? — и, явно наслаждаясь смущением Насти, пояснила: — Как брюхо получается, не знаешь? С мужиком спала!

Настя готова была провалиться сквозь землю. Но она взяла себя в руки, холодно посмотрела Олене в лицо:

— А как же он?

Полные, налитые плечи Олены дрогнули, но она опять усмехнулась:

— Это Петька-то? Выходит, побоку...

— Побоку? Это Петра-то побоку? Да как ты... Он за тебя... за такую, кровь проливает, а ты... Комсомолка!

— А что комсомолка? — тем же вызывающим тоном, вскинув руки на бедра, продолжала Олена. — Комсомолке с мужиком спать заказано? Где это такой закон писан? А ты подумала, сколько мне? То-то и оно... Двадцать пять годочков стукнуло. А война — когда она кончится? Да и вернется ли? А вернется, думаешь, так вот и кинется — помоложе не найти? Нет, голубушка, что-то я охотников до старых грибов не видала. Всякий норovit молоденький сорвать. А девка в тридцать лет мухомора хуже. Это такой, как Дунярка, ждять — ей не к спеху, а мне уж поздновато...

— Да ведь ты, бесстыжая, слово давала?

— Ну и что, что давала. Давала, а теперь, выходит, взяла. Это ты втемяшила себе в голову неизвестно кого... На груди картиночку носишь.

— Ну знаешь!.. Да я бы с таким, как... — Настя хотела назвать Николашку, но вместо этого топнула ногой, — ни в жизнь! Никогда!

— Скажи какая королевна!.. Чем журавль в небе... слыхала? А это еще слыхала: хоть из глинки, да мужчинка? А чем он не парень?

Настя уже хваталась рукой за скобу двери, думая только о том, чтобы поскорее выбраться на воздух, как вдруг Олена тяжело упала на колени, разразилась рыданиями:

— Ох, что я наделала, что я наделала...

Это было так неожиданно, что Настя, наверно с минуту не двигаясь, смотрела на ее грузное, вздрагивающее от рыданий тело, на ее белые, забрызганные грязной водой ноги и вдруг все поняла и кинулась к Олене.

— Ох, не утешай... Не терзай ты меня, Настя... Уйди ты от меня, бога ради!

Олена подняла к ней мокрое, опухшее лицо и, захлебываясь слезами, заговорила:

— Вчера письмо прислал... «Жди, Оленушка, береги нашу любовь...» А того не знает, что я брюхатая... Гадина! Сука! — закричала она вне себя. — Утоплюсь, петлю надену!

И Настя, с трудом узнавая себя, примирительно сказала:

— Чего уж теперь... О ребенке думать надо...

— И на кого променяла? — голосила Олена. — Ох, что я наделала, что я наделала!

— Да будет тебе! — прикрикнула Настя. Она не могла видеть чужой беды и, против своей совести, стала утешать: — Николаша — он добрый, мастеровой...

Олена покачала головой:

— Не говори ты, Настенька. Сама вижу, не слепая. Бывало, пуще всех насмехалась... А тут... Ну, как ум отшибло. Сама в кузницу бегала. Испугалась — думаю, в девках останусь... Да хоть бы всю жизнь в девках!

Олена обхватила Настины ноги и, давясь слезами, с глухим стоном зашептала:

— Научи ты, Настенька... Что мне делать? Что делать с собой?..

Скрипнули ворота. В сенях раздались шаги.

Настя, подхватив Олену под мышки, помогла ей подняться на ноги.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Все случилось нежданно-негаданно. Вчера ее приняли в сельсовете, а сегодня на вечер вызвали в райком. Думано ли, гадано когда было, что она в партию поступать будет? Да если бы ей еще неделю назад сказали, она бы того сумасшедшим назвала. А сейчас вот едет... Ну какая она партийная, ежели начистоту говорить? Три зимы в школу ходила, — разве это грамота? В артель, бывало, и то сбивают людей одинаковых, а тут — партия! Слово-то какое! Ох, что бы ей сказала покойница мать? А у женок-то разговору будет... Да и верно: жила-жила баба да вдруг на старости лет рехнулась...

Бледная, растерянная, она сидела, покачиваясь, на телеге и незаметно для себя выехала из леса на Марьины луга. Налетевшим ветром едва не сдуло с головы

платок. Поправляя его, натянула вожжи, обвела глазами луга.

Ширь-то, ширь-то какая! На целые версты переливается пестрая трава; березы полощутся на ветру; у подножия лесистой горы сереют две-три избенки — старые, замшелые, знакомые чуть ли не с самых пеленок. Боже мой, как она любила страду на этих Марьиных лугах! Краше-то праздника для нее не было. Бывало, еще девчушкой с великого поста высчитывает дни — сколько до покосов осталось. Коса висит у хлева под крышей, так она раз пять на дню выбежит посмотреть — босиком, в одном сарафанишке.

Вытянув шею, она оглядывала пожни, искала людей. Далеко у подножия горы она увидела синий дымок (там ветром не хватало), потом и белые платки разглядела.

Издали нельзя было различить отдельных людей, но ей казалось, что она угадывает и могучую, рослую Марфу Репишную, которая вот сейчас взметнула целый воз сухого сена на свои плечища, и беззаботную, развеселую Варвару Иняхину, без усталости воркующую о мужиках, и худенькую, маленькую, придавленную страшным горем Анку-куколку. И ей захотелось хоть на минутку заехать к своим людям, перекинуться словечком, взглянуть на их работу.

Взбодренная лошадка потрусилась мелкой рысцой, под колесами запели мостовины, внизу мелькнула Синельга, вся, как шубой, укутанная седым ивняком.

Но тут она подумала, какие расспросы начнутся у женок (куда да зачем поехала) и как бы ей пришлось краснеть, отвечая.

«Нет уж, видно, в другой раз», — вздохнула она и, когда впереди показалась развилка дорог, свернула к берегу.

В бережине затишье, покой. По левую руку кустарник, плотно отгораживающий Пинегу от луга, с пологого ската тянутся, заглядывают в глаза белоголовые ромашки: куда ты, куда ты? Молчите, не тревожьте вы душу, глупые, — без вас не разберусь. Она и в самом деле с трудом понимала, что происходит с нею. Она только чувствовала, что происходит что-то огромное, небывалое и что теперь все, все будет не так, как раньше...

Шуршит трава под ногами — тихо, успокаивающе. Лошадь, обмахиваясь хвостом, на ходу хватает траву, отфыркивается, когда на губы попадает пропыленная былка. А перед глазами все плывут и плывут белоголовые ромашки, и вместе с ними медленно выплывает из памяти далекая молодость, прожитая жизнь.

Вот она видит себя молоденькой девушкой — первый раз вышла на гулянье со взрослыми девками. На ней новый сарафан, ботинки поскрипывают — тоже новые. И уж так она счастлива, так счастлива — ног под собой не чувствует. А тут еще — не успела оглядеться — Григорий подошел. В черной паре, при часах, волосы хмелем вьются. Про него только и разговору в деревне: приехал из города, один у отца, кого-то осчастливит?

Она идет с ним под руку, не знает, как и ступить. От него духами пахнет, по спине скребут завистливые взгляды подруг, по сторонам бабы шепчутся: «Голодранке такое житье достанется...»

А он легонько пожимает ей руку — не то что деревенщина, не лапает принародно, и слова всё непривычные — голова кругом: «Вы личиком-то, Анфиса Петровна, почище городских будете...»

За один месяц она перешила все сарафаны на платя — хоть тем-то угодить милому. А потом... потом осенний вечер — и жизнь чернее омота...

У крыльца родного дома, когда она, расслабленная, разморенная, возвращалась из бани, на нее налетел пьяный Григорий, сбил с ног и уволок в сарай...

Ох, что потом она выстрадала, одному богу известно. Тошнило — не садилась за стол с матерью, пояс затягивала до боли, отраву всякую пила... А побой матери? Замертво лежала. А сколько она-то, старая, унижений приняла — на коленях ползала перед ним, ноги обнимала: прикрой грех дочери. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы Григория не припугнул председатель Лапушкин, — одному ему доверила свое горе старуха.

И вот стала Анфиса честной мужней женой, никто не вымазал дегтем ворот у вдовы, а счастья не было. Тяжелая, незатихающая обида камнем легла на сердце, а когда она разродилась мертвым ребенком, порвалась последняя нить, связывающая с мужем. Потом умер свекор: Григорий запил, закрутил на стороне.

По ночам, возвращаясь с гулянки и не получая ласки от жены, мял, щипал ее, бил чем попало.

Однажды она вырвалась, схватила топор: «Шаг ступишь — зарублю!»

И муж, сразу протрезвев, понял — не шутит.

А сколько раз она собиралась уходить от него, — и ушла бы, дня не жила бы, да как уйдешь, если мать-старуха каждый раз упрашивала: «Не срами ты мои седые волосы. Дай умереть во спокойное...»

Пятнадцать годочков умирала родная. Оглянулась Анфиса — а у ровесниц уж девки в невесты просятся. Нет, она не плакала, провожая мужа на войну.

«Коль уж ты на сердце крепка, Анфиса», — дивились бабы.

А сейчас, когда от Григория полгода нет писем, каждая лезет со своим утешением, и с каждой надо притворяться, вздыхать...

«Да неужто обо всем этом рассказывать в райкоме? — со страхом подумала Анфиса, неожиданно припомнив сказанные Лукашиным слова: «Перед партией как на духу — без утайки надо...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Двухэтажное деревянное здание райкома партии, построенное незадолго до войны, — самое высокое в селе.

Архитектора этого сооружения и по сей день ругают в райцентре: вид испортил. И в самом деле, райкомовское здание, явно нарушая ровную линию домов приречной стороны, слишком уж выпирает на главную улицу, так что, если бы не оградка вокруг него, каждый пеший и конный задевал бы за угол. А окна? Зачем надо было выводить фасад на шумную пыльную улицу, когда исстари принято обращать дома лицом к светлой Пинеге с зелеными берегами? Что за причуда?

Однако, когда внимательно приглядишься да хорошенько подумаешь, кое-что начинаешь понимать. Местный архитектор, человек, несомненно, искушенный в политике, должно быть, рассуждал так: негоже райкому стоять спиной к жизни; и, пренебрегая с незапамятных времен установившейся планировкой, взял да и повернул его лицом на главную улицу, а для пущей нагляд-

ности особого назначения этого здания смело выдвинул его вперед из общего ряда.

И действительно, из больших, глазастых окон райкома, как с капитанского мостика, просматривался весь райцентр.

Анфиса не в первый раз поднималась на второй этаж, но раньше она как-то не замечала лестницы. А сегодня два раза останавливалась, чтобы перевести дыхание. Сверху, с дверей, на нее в упор смотрел красноармеец и, тыча пальцем ей в грудь, сурово спрашивал: «А что ты сделала для фронта?»

В приемной, встретившись со знакомой секретаршей, Анфиса почувствовала себя немного уверенней.

— Подождите минутку. Там сейчас другие вопросы,— указала секретарша на кабинет Новожилова и, подведя ее к кучке людей, расположившихся на стульях у окна, полушутя-полусерьезно сказала:

— Принимайте в компанию. Анфиса Петровна Минина.

— Слыхали, слыхали, как же... — радушно заговорил, протягивая руку, чернявый старик с крепкой, прокаленной солнцем лысиной во всю голову.

Рядом с ним сидели еще три человека: смуглая, улыбающаяся молодуха, которая то ли своими насмешливыми и ласковыми глазами, то ли еще чем-то напоминала Варвару; пожилая женщина в бумазейной кофте, со строгим лицом и молоденькая, розовощекая, необыкновенно серьезная девушка с рыжей челкой на лбу.

Несколько поодаль от них, вся в черном — величественная старуха. Она сидела прямо, с неподвижным бледным лицом и такими же бледными руками, сложенными крест-накрест на коленях.

Пожав руку старику, Анфиса раскланялась с остальными, села на свободный стул рядом со стариком.

— Ну как «Новый путь»? По сводкам, шибко шагаете... — лукаво улыбнулся старик, показывая на удивление белые целехонькие зубы.

— Овец по осени считают,— уклончиво ответила Анфиса.

— Это так...

— А как с хлебом? — деловито спросила пожилая женщина со строгим лицом.

— Неважно, а тянем...

— Раньше вы ведь исправно жили,— заметил старик.

— Жили, а теперь не знаем, как до новины дотянуть.

— Это вас Харитоша подковал,— посочувствовала молодуха с ласковыми, насмешливыми глазами.— Нам его тоже навязывали, да мы ни в какую. Нет, говорим, такой хомут из района не выписывают.

— А как Софрон Игнатьевич, все за семерых ломит?— спросил, улыбаясь, старик.

— Ломит. Бригадир нынче.

— Это вот да!— искренне обрадовался старик.— Маханул на старости!— И, словно извиняясь за свою неуместную восторженность, пояснил:— Дружок мой. Бывало, в лесу на пару робили. Вот уж работничек! Сказывай привет от Демьяна, беспременно сказывай. Да скажи, что Демьян Заварзин на старости в партию надумал и тебе, мол, велит не отставать.

— Так вы по тому же самому делу?— Анфисе вдруг стало легко.

— По тому самому.

— И ты, красавица?

— Смешно!— высокомерно тряхнула рыжей челкой девушка, которой, видно, уже не раз приходилось отвечать на подобные вопросы.— Как работать— про молодость не спрашивают, а тут года... В партию не за возраст принимают!— назидательно закончила она и приняла еще более серьезный вид.

«Надо бы и Насте нашей поступать»,— мелькнуло в голове у Анфисы.

— Ей что, она ученая,— не без зависти сказала женщина в бумазейной кофте.— Сколько зим в школу-то ходила?

— Семь.

— Вот видишь, а я и зимы не ходила. Только и знаю, что парторг рассказывал...

— А у вас и парторг есть?— спросила Анфиса.

— Как не быть. Есть.

— А я до войны и на собрание-то не бывала,— простодушно призналась молодуха и поглядела на всех своими ласковыми глазами.— Муж, бывало: «Пойдем да пойдем, Катерина. Вдвоем хоть сидеть веселее».— Она вся так и просияла, когда заговорила о муже.

У Анфисы что-то вроде зависти шевельнулось в груди.

— А я ему говорю: незачем,— продолжала Катерина. — Ты штаны просиживаешь, да я начну сарафаны тереть — какое житье будет?.. А тут вот повадилась... А и с чего и началось-то? Украл у нас бригадир мешок жита. Ну пришла я на собрание, отвела душеньку. Честила на чем свет стоит. Да с тех пор — как болезнь пристала, ни одного собрания не пропускаю. А тут как-то слышу, бабы говорят: «Катерина у нас актив»... А я-то, дура, и не заметила, как активом стала.

— У меня со старухой тоже прения вышла,— заулыбался Демьян, поглаживая черную как смоль бороду. — Бедовая у меня старуха! Чего, говорит, людей-то смешишь, старый черт? Портфельщиком захотел? Аль на старости лет хвосты у кобыл крутить разучился? Конюхом я с тридцатого... — пояснил Демьян и как-то виновато улыбнулся, словно извиняясь за неприличное поведение своей жены. — Не в том, говорю, гвоздь, ученый — неученый. Я, говорю, историю-то партии, знаешь, всю пешком прошагал. А сейчас, говорю, другую тропу топтать совесть не позволяет. Видала, говорю, что в лесу в бую делается? Какой лес редкий — страшно взглянуть: лом один остается. А в котором дерево к дереву прижато, тому никакая буря не страшна. А что, спрошу вас,— обратился Демьян к своим товарищам, и взгляд его стал серьезен,— все красавцы в том лесу? Да нет! Иное дерево под свет попало, вымахало — куда там. А иное дерево всю жизнь в сырости, в тени, так — сук на суку, и вся цена-то ему, что на дрова. А ведь дело свое делает. Без него всему лесу беда. Вот как я понимаю!

— Все это правильно,— неожиданно заговорила старая женщина в черном. — У меня три сына на войне погибли. И все три — коммунисты. А чьим молоком вскормлены? Я хоть и не замена им, а все-таки и мои старые руки помехой не будут.

Стало тихо. Все почувствовали себя так, словно наговорили лишнего. С улицы в раскрытое настежь окно донесся захлебывающийся от радости мальчишеский голос: «Ванька! Сегодня военное кино. Пойдешь?»

Из дверей кабинета Новожилова вышла секретарша: — Товарищ Пименова, пожалуйста,

Старая женщина в черном встала и прямой, твердой походкой направилась к кабинету секретаря.

— Кто это? — шепотом спросила Анфиса у Демьяна.

— Учительница здешняя.

Вышла она минут через десять. Всем хотелось узнать, о чем там спрашивают. Но никто не решился обратиться к ней. А она все той же прямой, твердой походкой, высоко неся седую голову, прошла к выходу.

Потом вызывали остальных. Рыжая с челкой девушка не вышла, а выбежала из кабинета. Круглое, и без того румяное, лицо ее полыхало. Она прислонилась спиной к дверям кабинета, прижала руки к груди, но, встретившись глазами с Анфисой, нахмурилась, выпрямилась и важной, будто сразу повзрослевшей походкой двинулась к дверям.

Анфиса еще долго слышала, как бойко выстукивали ее каблучки по лестнице, а затем по деревянной мостовой.

Ее принимали последней. В светлом, просторном кабинете секретаря, за длинным столом, покрытым красным сукном, сидело человек пять мужчин.

Новожилов, широко улыбаясь всем своим полным, нездоровым лицом, встал из-за стола и пошел ей навстречу:

— Вот еще одна именинница! Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Минина.

Он крепко пожал ей руку своей большой мягкой рукой, усадил в кожаное кресло и, садясь за стол, сказал:

— Редкая вы у нас гостья. Иной председатель не одни сапоги в райком стопчет, а вы нет, не жалуете.

— Да и вы у нас не частый гость,— в тон, шутливо ответила Анфиса.

Члены бюро весело переглянулись:

— Ого! Сразу с критики! Знай наших!

— Еще неизвестно, кто кому прием устроит. Видал, Федулов?

Федулов, занятый просмотром бумаг, приподнял лысеющую, гладко зализанную голову, кольнул Анфису подслеповатыми глазами из-под пенсне; пожевал бескровными губами и снова с озабоченным видом уткнулся в бумаги.

Доброжелательность членов бюро ободрила Анфису.

— Так вот, товарищи,— заговорил Новожилов,— принимаем в кандидаты партии Минину Анфису Петровну. Документы в порядке. Биографию заслушаем?

Начальник милиции, тучный мужчина с остриженной ежиком седой головой, со скрипом расправляя перекрещенные желтыми ремнями плечи, добродушно сказал:

— Надо познакомиться.

«Вот оно, началось»,— внутренне содрогнулась Анфиса и невольно опустила голову.

— Одну минуточку, товарищи... — Федулов встал, снял пенсне, осторожно подул на стекляшки. — У меня тут факты... Не успел вас предупредить. Судом пахнет...

— Что такое? — жестко спросил Новожилов.

Анфиса, бледная как полотно, с трудом подняла голову, растерянно посмотрела на Новожилова, на членов бюро: что он говорит, не ослышалась ли она?

Федулов не спеша протер носовым платком стекляшки и так же не спеша водрузил их на своем костлявом носу:

— Дело знакомое. Разбазаривание колхозных земель.

— Земель? Какие земли? — глухо пробормотала Анфиса.

— У товарищ Мининой,— снисходительно усмехнулся Федулов,— видно, память коротка. Позвольте напомнить? — услужливо обратился он к Новожилову.

— Говори.

Подслеповатые глазки Федулова отвердели:

— Товарищи, я располагаю проверенными данными. Товарищ Минина без ведома района — да что там района, хоть бы с правлением согласовала — отвалила Фролову ни много ни мало тридцать пять гектариков. На-ка, дорогой соседка, покушай. Недурной подарочек, а? За что мы критиковали Лихачева, Минина? Помнишь? За это самое, за самоуправство, за партизанщину! А ты примехонько по его следочкам... Не годится!

Федулов откашлялся, обвел присутствующих своим строгим, взыскующим взглядом.

— Мы должны, товарищи, решительно осудить эту порочную практику разбазаривания колхозных земель. На печальном примере товарища Мининой мы должны показать...

— Постой, постой, Федулов,— поморщился Новожилов,— Ты вот всегда взвиваешься... Было это, Минина?

— Члены бюро могут не сомневаться. Я звонил Фролову — подтвердил.

— Дай ты ей сказать! — с раздражением выкрикнул председатель райпотребсоюза. — Здесь не суд, а бюро райкома.

— Вот именно, — поддержал его начальник милиции.

— Было это, Минина? — снова спросил Новожилов.

Анфиса, оглушенная этим неожиданным страшным обвинением, сидела, не смея поднять глаз, растерянно кусая побелевшие губы. Как она тогда радовалась, бог ты мой. Думала — выкрутилась. А тут, выходит, она же еще и виновата. Ну что она такого сделала? С дальними сенокосами чистое мучение и до войны было. Разбросаны по всем речонкам и ручейкам. Из-за какого-нибудь десятка возов приходится тащиться за тридцать верст от дома. Косили до самого снега, и все равно где-нибудь да оставалось. Ну а теперь, во время войны, — хоть караул кричи. Народу нет, как тут успеть? И вот подал ей Степан Андреевич мысль: а что бы поменяться пожнями с «Красным партизаном»? Им отдать наш участок в Росохах, а они нам — свои сена́ на Верхней Синельге. Анфиса ухватилась за эту мысль: обоим выгодно. У «Красного партизана» основные сенокосы по Росохам, у «Нового пути» — по Синельге. К тому же и участки-то почти одинаковы. Фролов, тот обрадовался, да еще сказал: «Давно бы так, дуракам, надо, а то меряем без толку дороги». А может, и нельзя было это делать? Не по закону? — подумала вдруг Анфиса.

И когда Новожилов третий раз повторил свой вопрос, она односложно ответила:

— Было... — Потом, помедлив, добавила: — Только это не для себя... И Лукашин знает.

— При чем тут Лукашин, товарищ Минина? — болезненно скривился Федулов. — Чего же от фронтовика, да еще инвалида, требовать? Помогает, и на том спасибо.

— Ну хорошо, — твердо сказал Новожилов. — С этим мы разберемся. У тебя все, Федулов?

— Нет, не все. За товарищ Мининой и другие художества водятся.

Начальник милиции недовольно крякнул.

— Тихо, товарищи, — поднял руку Новожилов. — Говори, Федулов.

— Товарищи, наша славная Коммунистическая пар-

тия и лично товарищ Сталин постоянно учат нас крепить советский тыл. В условиях военного времени этот вопрос, товарищи...

— Что ты лекцию читаешь? К делу! — оборвал начальник милиции.

— Хорошо, товарищи. Можно и к делу. Так вот, у Мининой в колхозе с тылом, как говорится, не все благополучно. Для вас не секрет, товарищи: этой весной кормовая база, как говорится, оказалась не на высоте. Председателям колхоза работенки хватало. Ну а как, вы думаете, товарищ Минина данный вопрос решила? Очень даже просто! Собрала доярок, позапрягла лошадей да во главе этого доблестного отряда и давай прочесывать дворы колхозников... Я, товарищи, сам не был, но мне рассказывали: на глазок этак прикинет товарищ Минина, и все — солому, сено — под метлу... Форменный военный коммунизм!

Начальник милиции громко рассмеялся:

— Здорово, черт побери! Это мне нравится!

— А вот у колхозников, например, это не вызвало энтузиазма. В результате мы имеем сигналы... Но это еще полбеды, — Федулов поднял палец. — Тут еще, как говорится, свои люди — сочтемся. А вот что коров общественных Минина резала, мясо колхозникам раздавала... Это уже, товарищи, безобразие, а лучше сказать, преступление!

Анфиса, окончательно сбита с толку, беспомощно развела руками:

— Да ведь коровы-то были при смерти.

— Где акты? Где документация? — повысил голос Федулов.

— Когда же с актами? Коровы подышали... И бабы видели...

Федулов презрительно скривил свои тонкие бесцветные губы:

— Ну, знаете, полагаться на «агентство ОБС» — что одна баба сказала... Нам нужна документация, товарищ Минина, понимаете, документация, скрепленная подписью специалиста, ветфельдшера. А чем вы можете оправдать хищническое истребление пятнадцати голов скота?

— У меня вопрос к Федулову, — вмешался председатель райпотребсоюза. — А чем ты, заврайзо, помог молодому председателю?

— Вот именно! — пристукнув ладонью по кромке стола, сказал начальник милиции.

— Я, товарищи, предлагал обсудить этот вопрос на правлении колхоза, взвесить, изыскивать корма организованным путем.

Начальник милиции резко откинулся на спинку стула:

— Да черт ли в твоих предложениях? Скотина с голоду подыхает, а ты — взвесить!

— Ну, дорогие товарищи, я тоже не кормовая база... Дело, в конце концов, в принципе. В других колхозах тоже падеж был, и на каждую единицу выбывшего поголовья мы имеем акт. Пожалуйста, любая ревизия...

— Эк тебе бумажки дались!

— Социализм, товарищ Зажигин, это прежде всего учет, — наставительно произнес Федулов, обращаясь к начальнику милиции. — И жаль, что вы не усвоили этого основополагающего положения на наших занятиях.

Федулов, конечно, имел в виду занятия райпартактива, на которых он, Федулов, как человек, наиболее подготовленный в теоретическом отношении, читал самые трудные лекции по политэкономии социализма.

— Ты эти шутки брось! — побагровел начальник милиции. — Учет!.. С твоим учетом знаешь какой социализм будет?

Новожилов опять поднял руку:

— Спокойно, товарищи.

Федулов уверенным жестом поправил пенсне:

— Итак, товарищи, я привел ряд фактов, в свете которых лицо данного председателя явно не блещет. Но это еще, как говорится, цветки, а вот вам ягодки. Товарищ Минина страдает политической слепотой. Знаете ли вы, что она бывшего белогвардейца бригадиром поставила? И вместо кого? Вместо всеми уважаемого Федора Капитоновича Клевакина, можно сказать, славы и гордости районной...

Анфису как ударило. Так вот откуда ветер дует! Опять Федор Капитонович... И тут она вспомнила, как Федор Капитонович угрожал в Росохах: «Пожалеешь!» Припомнилось и другое. Вскоре после избрания ее председателем Федулов говорил ей: «Обопрись на Клевакина. Советуйся с ним почаще. Старый конь не подведет».

А Федулов между тем продолжал:

— Я, товарищи, должен со всей объективностью сказать: Федор Капитонович небезгрешен. Старик, будучи на сенокосе, поставил в какой-то ручьевине воз для себя. Это, конечно, срыв в работе Клевакина, как говорится, явный пережиток в сознании. Но, товарищи... Алексей Иванович,— Федулов кивнул в сторону Новожилова,— новый человек в нашем районе. А вот мы, старожилы, знаем, кто такой Клевакин. Один из пионеров колхозного движения в районе, бессменный бригадир-опытник, смело продвигающий южные культуры на наш суровый север. Как говорится, самородок, поднятый революцией к творчеству. Вот кто такой Клевакин! Мы еще не забыли, товарищи, как до войны Федор Капитонович занимал первые места на областных выставках. Об этом в газетах писали. И мы не позволим, товарищ Минина, так наплевательски относиться к проверенным старым кадрам. Да, не позволим! Я понимаю, товарищ Минина не кончала университетов. Но, товарищи, должно же быть у руководителя колхоза элементарное чувство бдительности, классовый нюх. Надо же разбираться, кто чуждый элемент, а кто наша опора...

Непонятное, но такое оскорбительное слово «элемент» обожгло Анфису. Она рывком встала и, не сводя с Федулова черных разгневанных глаз, заговорила прерывистым, срывающимся на шепот голосом:

— Алимент?.. Это Софрон-то Игнатьевич алимент? Вот как, алимент!.. А знаешь ли ты, что у этого алимента два сына на войне? А что этот алимент кажинную страду гектарник? Это как? Тоже не в зачет? А когда нехватка семян вышла, кто колхозу помог? Может, товарищ Клевакин, как тут высказывались? Ведерко жита вполовину с мусором — вот что отвалил товарищ Клевакин, да еще сказал: «Дареному коню в зубы не смотрят». А вот чужой-то алимент, тот не так... Тот мешок семян без слова принес...

Анфиса обвела глазами членов бюро, упавшим голосом сказала:

— Вы люди партийные... разберитесь: кто тут товарищ, а кто тут чужой алимент... Меня и так с толку сбить легко, а не то что всякими словами... Только я,— она подняла голову и посмотрела на всех прямо и твердо,— только я с открытой душой к вам пришла. Худо наделала — судите...

Она наморщила лоб, собираясь с мыслями, и вдруг голос ее дрогнул обидой:

— Тут крутишься, вертишься, думаешь, как лучше, а ты же и виновата... Да кабы я для себя, а то нако — «соседушке отвалила...». С тремя-то стариками да старухами будешь изворачиваться. Да где же тут правление собирать? Один на Верхней Синельге, другой в Росохах, третий еще где... Одно заседание в десять возов сена встанет! А что солому у людей отбирала — верно. Ну не так чтобы насилу — с согласия, а отбирала, не таюсь. И коров, которые при смерти были, резала. Не ждатель же, когда они поколеют, чтобы собакам выбросить. Людей тоже пожалеть надо. Ну а что бумаг нету, актов нету — моя вина, недодумала...

Анфиса на мгновение замолчала, силясь припомнить, что еще надо сказать.

— Да, вот еще, — спохватилась она. — Софрона Игнатьевича не трогайте. Понапраслина все это. Никакой он не алимент. Кого хошь спроси в Пекашине, всякий скажет: правильный он человек!.. Ведь я-то помню, как вы меня наставляли, — повернула она лицо к Федулову. — «Старый конь не подведет». Это ты о Клевакине говорил, помнишь? А вот подвел... Да не я его и снимала — у людей терпенье лопнуло. И еще я тебе скажу, товарищ Федулов. Хоть и партийный ты человек, в райкоме заседаешь, а душа-то у тебя не очень партийная. Это чего ради ты меня здесь в грязь втоптывал? Ну-ко, скажи? Я-то сначала до смерти испугалась, а вот как ты о Федоре-то Капитоновиче заговорил — сообразила. Это ведь ты, что же, из-за своей коровенки стараешься?

— Клевета! — крикнул срывающимся голосом Федулов.

— Нет, не клевета. Люди соврать не дадут. Мы-то помним, откуда ты сено добывал в прошлые годы. От его самого, от Федора Капитоновича. А вот в этом году сорвалось, наступили на хвост твоему дружку-приятелю, ты и кричишь: «Слава районная!» Да от этой «славы районной» сколько лет колхоз плачет! Нет, не выйдет! Мне рот заткнешь, а народу рот не запечатаешь!

В наступившей тишине неестественно громко прозвучал бой стенных часов. На мгновение слышно стало, как тяжело дышит страдающий одышкой начальник милиции. Федулов, вытирая выступивший градом на лице

пот, беспокойно взглянул на Новожилова. Тот смотрел на него в упор тяжелым взглядом немигающих глаз. Федулов завертел гладко зализанной головой:

— Позвольте, товарищи...

— Нет, не позволю! — Новожилов ударил кулаком по столу и, большой, громоздкий, выпрямился. — Это что ж ты надумал? Честных людей обливать грязью? Вот ты тут словами сыпал... Социализм... партией клялся... Речисто получается! А на деле? Да как ты смеешь поганить эти слова? За них сегодня кровь проливают, жизни-свои отдают! Ну, Федулов, мы с тебя спросим, спросим по всей партийной строгости. Да сейчас не о тебе...

Новожилов перевел дух и, поймав растерянный взгляд Анфисы, вдруг как-то по-детски, виновато заморгал глазами:

— Ты уж извини, товарищ Минина, не совсем складно получилось. А в общем, ничего. Сразу боевое крещение приняла. Партия — это тебе... не по головке гладят. Иногда и против шерсти. А вот что ты не растерялась, за дело общее постояла, себя в грязь втоптать не дала, это хорошо! Так и впредь держи линию. Это и есть самая партийная линия! Я бы мог много хорошего сказать об Анфисе Петровне, — обратился Новожилов к членам бюро. — Ну да ясно... А с людьми, — подмигнул Новожилов Анфисе, — советоваться почаще надо. Это верно, Анфиса Петровна. Да и бумажками пренебрегать тоже не след. Верно? Ну а мы, райком, должны больше помогать молодому председателю. Это тоже верно! Я предлагаю утвердить решение первичной организации — принять товарища Минину в кандидаты партии. Есть желающие выступить?

— Все ясно.

— Товарищи... — торопливо, заикаясь, пробормотал Федулов, — два слова для справки... Собственно говоря... Я же, как говорится, в порядке пожеланий... Разве не предупреждает нас партия против парадных приемов? Может быть, я резко говорил, не отрицаю, но, товарищи, когда же большевики боялись критики?.. Вы не поняли меня, товарищи...

— Поняли, Федулов, — мрачно сказал председатель райпотребсоюза.

Начальник милиции вскочил, с грохотом отбросил стул:

— Критика? Призывал под суд отдать! Это критика? Выждав тишины, Новожилов сказал:

— Будем голосовать. Кто за то, чтобы принять Минину Анфису Петровну в кандидаты партии?

Федулов первым поднял руку.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Было уже за полночь, а Федор Капитонович все еще не ложился: несколько раз выходил на крыльцо, беспокойно посматривал на большак, прислушивался.

Наконец за деревней, там, где легким паром курится болото, загремели под колесами мостовины, и вскоре из леска показался знакомый риковский конь.

Минут через пять дрожки стояли в заулке Федора Капитоновича, а сам он, помогая крупной женщине с сытым, заспанным лицом спуститься на землю, умильно говорил:

— Вот уж гостинька дак гостинька. Забыли вы нас, забыли, Раиса Ниловна.

— Ох, всю растрясло,— пожаловалась гостья, тяжело переступая с ноги на ногу.

— Как уж не растрясло. Мыслемо дело...

Наскоро обрядив коня, Федор Капитонович провел гостью в кухню. Подавая ей умыться, выговаривал:

— А что же ты, Раиса Ниловна, детушек не захватила? Скоро вот и малинка поспевать будет. То-то бы им раздолье тут.

— Просились. Малый и большой ревмя ревели: к дяде Федору хотим. Да у Петьки насморк, побоялась.

— Вишь вот, не забыли, помнят старика... А дедушко Федор их тоже помнит. Рыбка, маслице на холоду стоят, опять же огурчиков ранних...

Дети Федулова были слабостью Федора Капитоновича. Бывало, еще в первое время знакомства, Федулов, принимая дары, начнет разбираться с бумажником,— Федор Капитонович посмотрит на него этак строго и неподкупно и непременно добавит: «Для детушек это. Они цвет жизни нашей...»

Свежая, намытая гостья прошла в горницу.

Крашенный пол с пестрыми домашними половиками, белые кружевные занавески, фикусы; в раскрытое окно тянет ночными запахами огорода. На столе до блеска

начищенный, тихонько воркующий самовар, всякая еда: свежая рыба, грибки, маслище, зелень, ягоды — все так и просится в рот.

Раиса Ниловна опустилась на заскрипевший венский стул, расчувствовалась:

— Благодать у вас. А я мученица... Вот возьму да брошу все и останусь.

— И беспрерменно! — суетился Федор Капитонович, не зная, как и угодить дорогой гостье. — Я уж и горенку приготовил. Раньше недели не отпущу, и думать не смей, Раисьюшка. Пусть казнит меня Петр Созонтович.

— И когда эта война кончится? Немчура проклятая! Второй год на лечение не бывала. Это при моем-то здоровье,— жаловалась Раиса Ниловна, налегая на свежую рыбу.

— И что ты, не говори. Без отпуска... Мыслемо дело... Это баба наша — понятия не имеет... А культурный человек, он ведь как? Вот у растеньев тоже: репа — она тварь бестолковая, растет, куда ни воткни, а огурчик, помидорка — им тепло, солнышко подавай. Нехорошо это Петр Созонтович делает,— осуждающе сказал Федор Капитонович. — О районе печется, а у себя под носом не видит.

— То-то и оно, жена хоть пропади. А нынче еще кодова на мою голову.

— Ай-яй-яй! — сокрушался Федор Капитонович. — А Паладья-то на что?

— Полька-то? Сбежала.

— Это как сбежала?

— А так, сбежала, и все. Пришла из ихней деревни баба, соседка, и ну ругать: «Что ты, говорит, бесстыжая. Мы надрываемся, а ты тут, как барыня, прохлаждаешься!» Ну и ушла. Отплатила за хлеб и соль.

— Несознательность ихня... А сам-то что уж, порядка навести не мог?

— Сам-то? — Раиса Ниловна вытерла полные, румяные губы. — Тряпка сам-то! Пришел давеча со службы — краше в гроб кладут. Не пимши, не емши свалился на диван — слова не добьешься.

— Что так? — с тревогой спросил Федор Капитонович.

— Разве скажет. Всю жизнь умнее себя хочет быть, Только и знай — подавай мокрое полотенце на го-

лову. А потом вот к тебе послал. На-ко, женушка, трясь на телеге, пересчитывай ребрышки... Вот останусь здесь на неделю. Пусть-ко он, дорогуля, под корову ползает... Забыла, письмо тебе прислал.

Раиса Ниловна порылась в сумке, подала письмо.

Федор Капитонович подсел к окну и, надев очки, вздрагивающими руками распечатал конверт.

«Федор Капитонович, дело повернулось не так. Я остался в меньшинстве. Под тебя тоже ключи подбирают. Срочно присылай письменное заявление с указанием тех фактов, о которых ты мне рассказывал. А то я не располагаю никакой документацией. Еще советую, съезди лично в район. Ты сумеешь сказать, что надо. Выручай, а за Федуловым не пропадет. Записку уничтожь».

Федор-Капитонович легонько побарабанил пальцами по подоконнику.

— Нда,— проговорил он вслух,— вот как дела обернулись...

— Что там еще? Хотела дорогой почитать, да смогло.

— Так, приветы передает.

— Из-за приветов-то мог бы не гонять.

Федор Капитонович аккуратно свернул записку, положил в пухлый бумажник, набитый разными квитанциями. Потом, посидев еще немного, вышел из горницы.

Когда он вернулся обратно, Раиса Ниловна уже клевала носом. Она смачно зевнула, поднялась и устало расправила полные, налитые плечи:

— Спать пора... Да баньку бы к обеду истопить велел.

Федор Капитонович замялся:

— Худо ли баньку... Только уж в другой раз, видно. Петра-то Созонтовича обидеть — тоже рука не подымается.

— Чего? — зевнула Раиса Ниловна.

— Петр-то Созонтович домой наказывал... Чтобы непременно, значит...

— Подождет.

— Непорядок это, Ниловна,— строго сказал Федор Капитонович. — Большой муж... Детки тоже...

— Гонишь?

— Ох, Раиса Ниловна, язык-то как повернется!

Федор Капитонович шагнул к ней и, хотя в комнате никого не было, зашептал:

— Неприятности у Петра Созонтовича. Враги-то его, завистники...

Раиса Ниловна махнула рукой:

— Выкрутится. Не впервой ему.

— Опять же страда...— торопливо говорил Федор Капитонович. — Люди что скажут. Жена заврайзо... Как хошь, не годится.

— Жена заврайзо? А того, что эта жена как проклятая из колхоза в колхоз мотается?.. Ходишь, едешь, собираешь с бору по сосенке. Эта война полжизни у меня унесет.

— Грех тебе, Раисьюшка, сетовать,— рассудительно заметил Федор Капитонович. — Ох, посмотришь, у нас как живут, слезой обольешься...

— То-то я обливаюсь, гляючи на твое житье.

— Нехорошо, Раиса Ниловна,— продолжал Федор Капитонович. — Нехорошо это при живом-то муже судьбу пытаться. Война — понимать надо.

Спустя несколько минут, когда усовещенная наконец гостя снова восседала на дрожках, Федор Капитонович вынес из дома маленький, с рукавицу, мешочек:

— На-ко, это деткам. Сухая малинка, пользительна от простуды. Да и сам пусть попользуется.

Белое, сытое лицо Раисы Ниловны налилось кровью:

— Убери. Не нищие. Для своей ревматизмы оставь.

— Обижаешь, Раиса Ниловна...

Но Раиса Ниловна, не слушая, натянула вожжи, Федор Капитонович, опережая коня, побежал открывать калитку.

— Благодать-то какая,— говорил он, умильно поглядывая на только что выкатившееся из-за леса солнышко. — Счастливица вы, ехать-то сейчас — ни мухи, ни овода. А малинку, Ниловна, возьми. Не обижай старика. Как можно! От дяди Федора — и без гостинца...

Федор Капитонович проводил глазами гостью до поворота дороги, покачал головой и, прикрыв воротца, вошел в дом.

В сенях, растолкав жену, приказал:

— Убери со стола да приberi заулок... Шляется, прорва ненасытная.

Потом в кухне еще раз перечитал записку.

— Вишь ты, друг любезный. «Выручай...» — промолвил он вслух и задумался.

Федор Капитонович вернулся из германского плена в двадцатом году. Другие приезжали — в чем душа держится: желтые, худущие, в рваных шинелишках мышиного цвета. Федор Капитонович приехал как с заработка: в черной фетровой шляпе с загнутыми кверху полями, с большим кожаным чемоданом заграничной работы. О содержимом этого чемодана ходили самые невероятные слухи, но тайна приоткрылась лишь к весне. В начале весны, когда стали готовиться к выезду в поле, Федор Капитонович вдруг начал непонятную возню на своем огородишке. Пекашинцы с удивлением наблюдали, как он сооружает какие-то деревянные срубы с застекленными рамами, кутает их на ночь соломой и ветошью. Потом стали говорить, что в этих срубах растут какие-то заморские диковинки. Всем хотелось взглянуть на них. Особенно донимали своим глупым любопытством бабы да девки, которые часами торчали у огорода. Федор Капитонович оторвется от работы, подойдет к ним с ведром и, указав на колодезный журавль, скажет:

— Растение у меня такое. Без водицы к себе не пускает.

Осенью Федор Капитонович отвез огурцы и помидоры в район и, к великому удивлению земляков, вернулся оттуда с деньгами, да еще с почетной грамотой рика.

— Хитростью не изойди, Федя, — сказала набожная мать-старуха, не одобрявшая затей сына.

— Ничего, мамаша. Мне бы только руки наставить.

И он таки наставил. В соседней деревне взял за себя здоровенную девку, которая была чуть ли не на голову выше его самого.

Пекашинский зубоскал Пека Векшин в первый же день, пораженный внушительным ростом новобрачной, посочувствовал:

— Не по себе сук загнул, Федя. К эдакой колокольне без лестницы не подступишься.

— Пустобрех непутевый, — сплюнул Федор Капитонович. — Мне не об утехах думать. Семя-то в худую почву бросишь, знаешь, какой урожай?

Урожай Федор Капитонович снимал действительно завидный. Что ни год, то девка — одна здоровей другой. Иной бы мужик от такой беды волосы на себе рвал, а Федор Капитонович ничего, на судьбу не жаловался. Бывало, понаделает маленькие коски, выведет своих дочушек на пожню, — смотришь, каждая тюкает себе да тюкает, а Федор Капитонович в своей неизменной черной шляпе деловито расхаживает от одной к другой, поправляет бруском коски да наставляет:

— Чище, чище коси, доченька.

Пекашинские мужики только руками разводили:

— Умственный ты человек, Федя! Из дерьма сапоги шьешь. Начальством бы тебе каким...

Ну и конечно, когда в деревне организовался колхоз, Федора Капитоновича сразу же назначили бригадиром по огородничеству.

Размахнуться решили широко, спрос на овощи был огромный, в районе одних леспромхозов было несколько, да и самим колхозникам охота была иметь соленый огурец к столу. К маленькому огородику Федора Капитоновича прирезали целые гектары лучшей земли, возвели новые, с широкими рамами, парники. Летом было любо смотреть, как лопушится в них ядерная зелень, уверенно набирают силу огурцы и помидоры.

Но вот подошла осень — и от обильного урожая собрали одни пустяки, так что и делить на трудодни было нечего.

Федор Капитонович оправдывался: ребятишки растаскали, червь поел...

В следующие годы набеги ребятишек не прекратились, а червь — тот совсем обнаглел... Зато колхоз прославился на всю область. Каждый год Федор Капитонович произведет какую-нибудь штуковину: то помидор с голову ребенка, то турнепс с колодезное ведро, — и непременно отошлет в район и область, а оттуда — грамоты...

Председатель колхоза Лапушкин терпел-терпел такую славу да однажды и рубанул:

— Хватит огурцов да помидоров! Капусту сажать будем.

Что тут было! В районной и областной газете появились заметки: «Дорогу опытнику-мичуринцу!», «В Пекашине глушат творческую инициативу снизу». Лапуш-

кина вызвали в райком, вlepили выговор да еще указали на политическую близорукость.

А Федор Капитонович меж тем и домик выстроил, да еще какой — пятистенок, и не в чашу рубленый, как у других, а в лапу, с теплыми сенями, с подвалом, просторными комнатами да горницами!

И вот уже корреспондент областной газеты, побывав у мичуринца-самородка и тщательно вникнув в его экономику, разразился статьей: «Сделаем всех колхозников зажиточными и культурными! Пример Федора Капитоновича Клевакина».

Другое светило области — архитектор, который много лет трудился над разработкой проекта новой деревни, поместил в газете снимок усадьбы Федора Капитоновича с выразительной надписью: «Типовой дом социалистического села на Севере».

После финской кампании Федор Капитонович при страстился еще к одной культуре — табаку. Дело в том, что в районе тогда начались перебои с куревом, ну и, конечно же, Федор Капитонович поспешил на выручку. Выращенный им самосад вперемешку с какой-то травкой пришелся по вкусу курителям, а во время войны пошел нарасхват...

И опять почет и уважение.

После завтрака, когда жена с двумя девками, такими же рослыми, как и она сама, стала собираться на болото, чтобы потюкать травы для коровы, Федор Капитонович зло прошипел:

— Куда?

Жена, обмирая от страха и не смея взглянуть на хозяина, пробормотала:

— Куда приказывал...

— «Куда приказывал!» Коровы бессовестные! Марш на колхозное!..

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Иной раз собьешься в лесу с нахоженной тропы. Бредешь час, бредешь два, бредешь целый день. Крутом сузем — дремучий ельник, замшелый от седого лишайника, вековые буреломы да непролазные топи, за-

тянутые коварной осокой-резуньей. Солнце не может пробиться сквозь толщу хвои, и внизу темно, как в сумерках. Все живое покинуло сузем. Даже медведь, любитель чащоб, и тот предпочитает держаться в стороне от этих гибельных мест. Разве только иногда глухо ухнет филин да неслышно пролетит подслеповатая сова, укрывшаяся здесь от дневного света.

Иссеченный лесным гнусом, насквозь промокший, ты насилу переставляешь вязнущие в водянистом мху ноги, и кажется, еще немного — упадешь и не встанешь...

И вдруг — расступится душный мрак, ослепительным сполохом сверкнет впереди. Это — березовая роща. И тебя словно подхватили крылья, понесли навстречу белым, залитым солнцем деревьям. Под ногами уже сухая, желанная земля, ласковый ветерок треплет потные волосы, и, приветствуемый разноголосым звоном веселых птиц, ты с благодарностью обнимаешь первую березку, прижимаешься к ней горячей щекой..

С тех пор как Анфиса стала председателем, как будто ничего не изменилось в ее жизни. Она по-прежнему моталась с утра до ночи: разговаривала с людьми, не соглашалась, спорила с одними, усовещивала и бранила других, потом, спохватившись, бежала туда, где возникла заминка, и наравне с другими пахала и сеяла, косила и гребла.

По вечерам она подолгу засиживалась в правлении колхоза. Надо было всех выслушать, каждому помочь и советом, и делом. Приходила какая-нибудь престарелая Степанида с письмом от сына, от которого не было вестей больше полугода. И как же было не порадоваться старухиной радости, не вспомнить добрым словом ее несравненного Пашу — первого работника на деревне! А как удержать слезы, замкнуть сердце от чужой беды, когда перед тобой обезумевшая от горя соседка, только что получившая похоронную...

Поздно вечером, когда деревня уже спала, Анфиса, усталая, голодная (днем не всегда удавалось перехватить даже кусок хлеба), до краев переполненная людскими печальями и заботами, возвращалась в свою пустую избу и, не раздеваясь, падала на постель, да так и засыпала. А утром, едва из-за леса покажется солнце, она уже на ногах — с подошником бежит во двор и, перебирая соски у коровы, со страхом думает, что в колхозной кладовой кончается хлеб.

Так жила Анфиса изо дня в день.

И за всем тем шибче бежала по жилам кровь, голова кружилась от новизны. Порой даже совестно: у всех война, горе неслыханное, а у нее — наперекор всему — через край хлещет жизнь, и старый, с годами потускневший мир сияет перед ней, как в первой молодости.

Вот и сейчас, проезжая лесом, она влюбленными глазами смотрит на желтеющий в поле хлеб, вдыхает всей грудью смолистый воздух, с удивлением замечает запах невидимой в лесу земляники.

Кобылка идет нога в ногу с конем Лукашина. Иногда колено Лукашина коснется ее колена. Она наклоняет голову, краснеет и, не в силах совладать со своей растерянностью, посылает лошадь вперед...

Тогда, после приема в партию, приехав домой, Анфиса без утайки выложила Лукашину всю свою нескладную жизнь. И ничего как будто не было сказано между ними, но с того дня — она это чувствовала, не решаясь признаться себе, — что-то новое, непонятное и волнующее пролегло между ними.

— А Федулов-то? Каков сукин сын? В каждый колхоз лапу запускал!

Засмотревшись на маленькую белогрудую птаху, пристроившуюся на водопой у ручьевины, Анфиса и слышит, и не слышит, что говорит Лукашин. Но когда до нее наконец дошел истинный смысл его слов, она нахмурилась. Однако в следующую минуту улыбка уже играла на ее лице: по сосенкам, возле дороги, перемахивая с верхушки на верхушку, прошла рыжая белка. И после того как зверек скрылся в чаще, Анфисе казалось, что она все еще слышит легкий шорох сучков и падающих на землю сухих шишек.

Когда они стали спускаться под горку к Синельге, Лукашин, прислушиваясь, заметил:

— Кто это воет?

— Какое воет, это Марфа наша поет, — рассмеялась Анфиса и наотмашь хлестнула кобылу, направляя ее в воду.

Миновав заросли прибрежного ивняка, они выехали на луг, который походил на огромное днище чана, втиснутое меж крутых лесистых гор. В голубом мареве белели платки, рубахи косарей. Косили парами: виднее работа. В ближайшей паре Лукашин без труда узнал

величественную Марфу, с непокрытой головой вышагивающую под палящим солнцем, и щеголеватую, нарядную Варвару, бойко приплясывающую сзади нее.

— Что это они? Ругаются, а работают вместе? — спросил он, придерживая коня.

— Завсегда так. Ругаются, а водой не разольешь.

Под двумя большими кустами ивы они спешили, связали лошадей и пошли навстречу Марфе и Варваре.

Свежескошенная трава вянула на глазах, хрустела стеблями под ногами и могуче источала в голубой воздух душистые запахи. Ветра не было, и этот волнующий аромат разнотравья плотной пеленой держался над лугом.

Возле прокоса, в ожидании, когда подойдут косцы, Лукашин и Анфиса остановились.

Марфа, кончив раскидывать косьем кошеницу, расправила напотевшие плечи, не то в шутку, не то всерьез бросила Анфисе:

— Чего выстала? Не икона! Взяла бы да помахала.

— А вот и возьму,— задорно вскинула голову Анфиса.

— Возьми, возьми, Анфисьюшка, поубавь у ней спеси-то.

Марфа недобрым взглядом смерила Варвару:

— Ну, ты! Не родилось еще в Пекашине такой бабы, чтобы супротив меня... Давай! — обернулась она к Анфисе.

Варвара, улыбаясь одними глазами из-под белого платка, наглухо кутавшего ей лицо (она и на работе не забывала оберегать свою красу), с готовностью протянула Анфисе косу, закивала Лукашину,— ей, видно, страсть как хотелось сравнить председателя с Марфой.

Анфиса, ни слова не говоря, деловито и с внешним спокойствием (но Лукашин видел, как у нее бледнеет лицо) проверила насадку косы, провела несколько раз брусом по полотну, затем стала снимать кофту.

— Снимай и ты, Марфушка,— посоветовала Варвара.

Угловатое, шелушившееся от загара лицо Марфы расплылось в широченной улыбке.

— Простудить хочешь? Она и косу-то забыла, как держать. Вишь ведь, ручушки-то от карандашика высохли.

Марфа шагнула к траве и, выпрямившись во весь свой богатырский рост, коротко бросила:

— Становись.

Рядом с ней Анфиса показалась Лукашину под-
ростком.

Какую-то секунду все стояли в ожидании, не дыша. И вдруг в воздухе со свистом сверкнуло лезвие Марфиной косы. Сухая, перестоявшаяся на корню трава целой копной вылетела из-под ее ног. Потом еще взмах, еще...

Анфиса вся подобралась, отвела в сторону косу и, приседа, сделала первый взмах.

Некоторое время они шли вплотную. Потом Марфа обернулась, смерила Анфису презрительным взглядом — и пошла, и пошла отмерять сажени.

— Нет, с Марфой земной бабе не тягаться, — убежденно сказала Варвара. — Она идет — земля колыбается, а трава, чего уж, сама со страху клонится.

Тело Анфисы выгибалось дугой. Лукашин, волнуясь, заметил, как темными кругами стала мокнуть рубаха на ее спине. На минуту ей опять удалось приблизиться к Марфе. И опять Марфа, как палашом, взметнув косою, ушла вперед.

Анфиса нагнулась, начала лопатить косу. Лукашин перевел дух: ему показалось сначала, что она, не выдержав, падает.

— Что, голубушка? — обернулась Марфа, ухмыляясь. — На себя не надеешься, за брусок взялась?

После правки косы Анфиса опять стала догонять Марфу. Лукашин влюбленными глазами смотрел на белые, как челнок ходившие из стороны в сторону, руки Анфисы и, сам не замечая того, покачивал головой вслед за ними. Еще ближе, еще ближе... И вот уже Анфиса кричит:

— Пятки! Пятки убирай!

Марфа рванулась вперед, но Анфиса уже наступала на подол.

— Пятки! Пятки, говорю, убирай! — опять закричала она.

И тут случилось невероятное: Марфа посторонилась и пропустила Анфису вперед. Варвара и Лукашин, пугаясь ногами в кошенице, побежали к косцам. Марфа, вся багровая от стыда и гнева, рвала с себя кофту.

— Что я тебе говорила! Сними кофту. А теперь небось приспичило...

К Марфе нельзя было подступиться. Зажав косье меж колен, она с яростью била бруском по полотну — искры сыпались вокруг, как в кузнице. Потом рывком выпрямилась, отбросила в сторону брусок и кинулась догонять Анфису.

Гул и ветер пошел по пожне. Под розовой рубахой, как жернова, заходили полукружья лопаток.

— Стопчу! — загремела она, с каждой секундой приближаясь к Анфисе.

— И стопчет, вот те бог стопчет, — замахала от удовольствия руками Варвара.

Анфису словно хлестнули кнутом. Она снова рванулась вперед и снова оторвалась от Марфы.

Варвара заволновалась.

— Марфушка, — закричала она, — телом-то, телом пособляй! На что тебе бог тело дал? Вот глупая!.. Вишь ведь, вишь ведь та хитрюга — всем телом водит, а эта медведица прет — хоть золото рассыпь, не наклонится.

И в самом деле, Анфиса ходила как маятник. Взмахивая косой, она отводила назад все свое небольшое тело, потом, приседая, как бы падала вперед и снова приподнималась.

Марфа, напротив, шагала прямо, как бык. Она орудовала одними руками, и огромное тело ее почти не участвовало в работе.

— Марфушка, Марфушка, не стой истуканом! — опять закричала Варвара. — Кому говорят, проклятая!.. Телом, телом води! Коса у тебя, а не топор.

Лукашин, совершенно забывшись, дернул ее за рукав:

— Да замолчи ты к черту!

Варвара, вдруг озаренная какой-то догадкой, с нескрываемым удивлением посмотрела на него. Но Лукашину было не до Варвары. Кусая пересохшие губы, он вытягивал шею, сжимал кулаки, всматривался в каждое движение Анфисы. Она выбивалась из последних сил. Теперь она уже не шла, а просто стлалась над травой. Белый платок сполз с ее головы и, зацепившись, видно, за лямки сарафана, развеялся сзади, как флаг. Разъяренная Марфа грозной тучей нависала над нею. Еще секунда — и Марфа отшвырнет ее в сторону вместе с травой. Но тут прокос кончился...

Лукашин, задыхаясь, побежал вперед.

Варвара, чуть не плача от обиды, пыталась оправдать свою напарницу:

— Счастье Анфисы, что прокос кончился, а то бы плакать ей.

Анфиса шла навстречу Лукашину, еле переставляя ноги, но ее бледное, мокрое от пота лицо улыбалось. Марфа дышала, как запаленная лошадь. От нее несло жаром.

— Ух, уморила, окаянная.

Вытирая лицо рукавом рубахи, она села вместе с другими в тень от кустов, вздохнула:

— Харчи не те, а то бы я страху на тебя нагнала.

— Да и годы, Марфинька, не те,— посочувствовала Варвара.

— Хо, годы! В нашем роду годы не помеха. Матенка-покойница чуть не в шестьдесят рожала, а мне пятидесяти нету...

И, словно оправдываясь перед Лукашиным за свое поражение, Марфа разговорилась:

— Я на своем веку столько перекосила, за год не обойти... Мужичонко мне попался худой, слабосильный — званье одно. Бывало, вышли первый год на пожню — глаза бы не глядели. Тюк-тюк, а все в землю. А я сзади, мужнину честь берегу, перед народом срамить не хотела. А потом раздумье взяло: честь-то я мужнину сберегу, а чем скотину кормить буду? Плюнула да давай махать во всю моченьку. А как зарод-то смечет — смех и горе, без ветра качает. Ну, ночью встану, выйду, спихну его рукоделье да, пока люди спят, заново смечу. Вот как я работала.

— Как ты и пошла-то за такого? — удивилась Варвара.

— Пойдешь, воля не своя. Я ведь не ты, хвостом не вертела. Матенка-покойница все уши прожужжала: иди да иди, в доме женского нету — красоваться будешь... А батюшко да братья, те на соль позарились. Считай, за коробку соли и просватали.

Лукашин изумленно вскинул брови.

— Чему дивья? — запросто отмахнулась Марфа. — В двадцатом годе, сам знаешь, соли ни за какие деньги не купишь. Землю да кислое молоко в похлебку клали. Ну а мой-то муженек продавцом служил... Еду как-то от реки на телеге, догоняю его, а он с коробкой

берестяной на плече — идет, пополам сгибается. «Подвези, говорит, хваленка, до горы». Хваленка, думаю? Я на тебя, сморчка, глядеть-то не хочу. Ну а не откажешь. Садись, говорю, пустого места не жалко. Ну, едем, молчим, а сама шеей-то вожу: что у него за тяжести такие в коробке. Глянула, а там полнехонько соли. Крупная, ядреная, белая, как сейчас вижу. Я и глаз отвести не могу. Еду да всю дорогу думаю: как бы да как выпросить. У деревни, дале, на смелилась. Дай, говорю, Митрий, соли немножко. А он слез с телеги, посмотрел на меня, усмехнулся. «Дам, говорит, только не сейчас». Да в тот же вечер со сватами да с той же самой берестяной коробкой. Батюшко как увидел такое богатство, ума лишился. К сену надо ехать, а в доме соли ни щепотки. Поглядела я на братьев — хоть бы слово который сказал: сидят, глаза от меня воротят. Ладно, говорю, пойду, не маленькая, понимаю — без соли вам не страда... Да у меня из-за этой проклятушей соли вся жизнь кувырком пошла!.. После стола отвели нас в горницу. На полу постель приготовлена. А у меня сердце разрывается: утром письмо от старого жениха получила. Пишет: уйди от Митрия, возьму. Пала я на постель, реву. А муженек-то стоит у порога, подойти не смеет. «Может, уйти, говорит, мне, Марфа? Хочешь, говорит, перед всем народом признаю, что девка ты... Нынче времена не те — посудачат, посудачат да отступятся». Ладно, говорю, справляй свое дело, чего уж людей смешить...

— Это ты, Марфинька, перед мужским видом не устояла, — пробовала съязвить Варвара.

Но Марфа даже бровью не повела.

— А через год, — продолжала она, — муженек просиделся да я все начисто продала, в последней рубахе осталась — только бы от решетки его спасти. Да еще пять лет потом долги у людей отработывала. Вот тебе и покрасовалась за продавцом...

Она так же неожиданно, как завела разговор, встала, отряхнулась:

— Пойдем, Варка. Сидим, языком треплем, кто за нас страдать будет?

Лукашин сидел не двигаясь. Марфа шагала по лугу спокойным, размеренным шагом, и, глядя на ее необъятно широкие плечи, на какое-то мгновение заслонившие от него солнце, он вдруг подумал: вот сейчас

в этой женщине, такой суровой и непокладистой с виду, ему приоткрылось что-то столь большое и важное, без чего невозможно понять ни русского человека, ни того, что было и будет еще на русской земле...

В этот день он думал не только о Марфе, нескладная жизнь которой разбередила ему душу. У него было достаточно времени, чтобы подумать и о себе.

Лежа на подсыхающей кошенице и изредка отмахиваясь веткой от вялого, разморенного жарой комарья, он смотрел на работающих женщин, стариков и подростков и, кажется, впервые за все время пребывания в Пекашине почувствовал свою ненужность и бесполезность здесь. И дело было не в том, что он не мог, как они, в поте лица махать косой. Нет, дело было совсем в другом. Раньше он был твердо убежден, что, выбитый из строя на фронте, он делает здесь большое и нужное дело,— и временами даже гордился своими заслугами. Но вот уже месяц, как он почти ничего не делает,— ведь не считать же за работу его прогулки по бригадам да короткие беседы в минуты роздыха. А люди работали, да еще как работали!

И вот сейчас, размышляя об этом, он вдруг остро почувствовал, что, в сущности, в Пекашине ничего бы не изменилось, даже если бы и вовсе не было его.

Другая, великая, неведомого доселе размаху сила двигала людьми. Она, эта сила, поднимала с лежанок дряхлых стариков и старух, заставляла женщин от зари до зари надрываться на лугу. Она, эта сила, делала подростков мужчинами, заглушала голодный крик ребенка, и она же, эта сила, привела Анфису в партию...

И самое большое счастье сейчас было в том, чтобы безраздельно, целиком подчинить себя этой силе, ибо она беспощадно отбрасывала, карала все то, что пыталось выбиться из общего русла, зажечь своей, обособленной жизнью. И, может быть, потому так было неспокойно у него на душе, что, по мере того как тело его наливалось соками, в нем все сильнее заявляли о себе личные желания. Они обособляли, выталкивали его из единого потока, с каждым днем все больше и больше разрушали ту гармонию полной слитности с общим, которой он жил на фронте и первые недели в Пекашине.

И даже теперь, когда он мучился угрызениями совести, глаза его жадно и неотрывно следили за Анфисой, косившей вместе с женщинами на лугу. Он припоминал, как они ехали сюда лесом, как время от времени он прижимал своего коня к ее кобылке, чтобы коснуться ее колена...

Но еще больше мучило его открытие, которое он сделал сегодня. Оказывается, ему по-прежнему небезразлична и Варвара, ибо каждый раз, как она, улыбаясь, махала ему рукой, горячая сушь перехватывала его горло.

«Скотина! Скотина! — нещадно ругал он себя. — Мужики на фронте, а ты...»

На какое-то мгновение ему удалось обрести душевное равновесие, но вскоре он снова нечистыми глазами присматривался к Анфисе, и ему бесконечно жаль было того светлого, бескорыстного чувства, которое он испытывал к ней в ту белую ночь.

Весь измученный этой борьбой, Лукашин едва дождался, когда солнце село над лесом и люди потянулись к избе. Старики шли медленно, с трудом волоча ноги. Зато женщины бежали как настеганные: им надо было еще управиться с коровами. И точно, когда Лукашин стал подходить к избе, ближайšie пожни огласились криками. Это хозяйки скликали своих коров, забравшихся в кусты от дневного гнуса. Потом, выгнав их на чистое место, ставили на вязку и, наскоро обмыв подойник в Синельге, тут же, на выкошенном лугу, прилаживались на корточках под коровье вымя. Вокруг избы запахло парным молоком. Коровы от гнуса не стояли, бились, иной раз хвостом или копытом угадывали в подойник. Тут и там слышались раздраженные голоса, ругань, сопровождаемая звучным шлепаньем.

Метрах в десяти от избышки, у самого леса (здесь не так жарко), стояла наспех срубленная из мелких лесин клетка, покрытая свежим еловым лапником. Там хранили и квасили молоко.

Старики и женщины, у которых не было коров, разводили костер, готовили немудреный ужин.

И от всего окружающего — от старой, замшелой избы с продымленными стенами, к которым с севера вплотную подступал лес, от лоснящихся коров, которых доили под открытым небом, от жаркого костра с подвешенными на крюках черными котелками и чайниками,

возле которых возились бородатые старики,— от всего этого веяло такой первобытностью, что казалось, время веками не заглядывало сюда. Но здесь, в лесной глухомани, где по вечерам все живое изнывало и стонало от комара, это были наиболее разумные, столетиями проверенные формы бытия. Так по крайней мере думал Лукашин.

— Что, комарики кусают? — посочувствовала Варвара, первой возвращаясь к избе от коровы. — Свеженького они любят. Известно дело, здесь не на руси.

— Не на руси?

Варвара удивилась: чего тут непонятого?

— У нас русью-то домашнее называют. А здесь, в суземе, какая уж русь...

«Да,— размышлял Лукашин, вдумываясь в смысл Варвариных слов. — Вот она, жизнь северного мужика! Какой же ценой дались ему эти сторонние сенокосы, если у него язык не повернулся, чтобы назвать их дорогим именем Русь! А ведь отсюда до деревни километров десять — не больше...»

Ужинали на открытом воздухе, за длинным узким столом, сколоченным из двух толстых еловых плах. Солнце уже зашло. Стало свежо. По скошенному лугу от речки пополз легкий туман. От мошки не было спасенья. Она висела тучами над людьми, залезала под одежду, слепила глаза. Старики сидели в холстяных кулях — накомарниках, женщины так обмотались платками, что видны были только глаза да рот. Варвара надела даже легкие рукавицы. Только одна Марфа восседала без платка, с открытым лицом и шеей, точно она была заговорена от гнуса.

Стало легче, когда Трофим догадался прикрыть огонь еловой лапой и на людей потянуло дымом.

Ели молча. В притихшем на заре воздухе звонко выговаривали ложки о посуду, всхрапывал, обжигаясь, Трофим. Варвара, зачерпнув похлебки с нападавшей туда мошкой, брезгливо передернула плечами. Марфа сдвинула брови:

— Ешь. Чего нос воротишь? Мяса хотела, а как упало, отворачиваешься.

Лукашин сидел с краю, рядом с Анфисой. Она только что вернулась с пожни — ходила с Софроном Игнатьевичем смотреть стога. Ей, видно, пришлось пробираться кустами и некошеными травниками, — к намокшему пла-

тью на плечах и на спине пристали травяные семена, какой-то белый пух.

Она заботливо подкладывала ему свой хлеб и изредка, украдкой, из-под белого платка, надвинутого на самые брови, косила в его сторону черным улыбающимся глазом.

Лукашин вдыхал аромат разнотравья и росяной свежести, идущий от Анфисы, хмурился, когда встречался с лукавым, подстерегающим взглядом Варвары.

Разговорились, когда немного утолили голод. Опять те же вопросы: что на фронте?

Софрон Игнатьевич, свернув сигарку, полюбопытствовал:

— А как насчет второго фронта? Слышно чего?

Ложки в мисках замерли, но после ответа Лукашина — яростная стукотня, возмущенные голоса:

— О чем думают?

— Союзнички...

— Мы этих союзничков отведали — в какой деревне могилы не оставили...

— Да уж так, Иван Дмитриевич, может, и неладно теперь говорить,— вздохнула Василиса,— а только у нас от этих американ да англичан с двадцатого слезы не высохли. И что они вытворяли здесь, на Пинеге,— страх вспомнить... У моей сестры был сынок Ваня — весь-то мальчишечко тринадцати годков. Ну, послала сестра Ваню к тетке, в соседнюю деревню... А ребенок что? Попались на дороге патроны стреляные — идет, играет этими патронами. А тут американы, англичаны — увидели, схватили ребенка. Тетка прибежала вечером ни жива ни мертва: «Выручайте Ваню». Мы с сестрой к американам, добрались до ихнего начальника, в ноги падаем: «Отпустите ребенка». А начальник, рыжий, здоровенный такой, ногами топает, лопочет по-своему: «Партизан, партизан...» — да сестре тычет крестик на белом шнурке — а это Ванин нательный крестик... Сестра как увидела крестик-то — умом пошатнулась. Так и доживала, бедная... Ну, а Ваню, — всхлипнула Василиса, — весной у берега нашли... всю зиму в проруби пролежал...

После тягостного молчания Варвара, присмирив, вздохнула:

— Мы вот, бабоньки, тут сидим, разговариваем... А там-то как? Может, кто из наших мужиков сейчас с жизнью прощается...

Марфа с грохотом поднялась из-за стола:

— Чирьще тебе на язык!

За ней, хмурые, подавленные, начали вставать остальные.

Перед тем как идти спать, хозяйки раза по два, по три прокричали — пугали зверя. С ближайших пожен в ответ раздалось разноголосое мычанье.

Варвара, посмеиваясь, толкнула Марфу, которая разобралась с починкой рубахи:

— Ты чего молчишь? Ну-ко своим ангельским... По-надежнее будет.

Марфа без всякой обиды, будто так и надо, отложила шитье, встала и, сложив трубкой руки, рыкнула — словно выстрел прокатился по лесу.

— Ну теперь никакой зверь не страшен, — улыбнулась Варвара и, подмигнув Лукашину, легкой, виляющей походкой пошла к Синельге умываться на ночь.

Обувь снимали на улице; скоро запахло портянками, развешанными для просушки на жердочках и деревянных крюках, вбитых в стены избушки.

Лукашин первый раз в жизни ночевал в сенной избушке.

Четыре замшелых продымленных стены, рубленных в чашу, низкий потолок, черный от сажи, каменка-очаг в левом углу от входа, занимавшая добрую треть помещения, над ней в стене дымник — небольшой проруб для выхода дыма, по бокам стен нары для спанья, заваленные сухим сеном, — вот и все устройство сенной избушки. В старое время обходились без окошек, разве что прорубали какую-нибудь дыру в головах над нарами для веселья ребятишек, которых оставляли спать до завтрака, да для курителей. А так — зачем окна? Лишняя щель для комара да расход на стекло.

Лукашину как гостю уступили одиночные нары напротив каменки у двери. Остальные, в том числе и Анфиса, вповалку разместились на передних нарах. Трофиму и Софрону Игнатьевичу пришлось лечь на полу, — на нарах не было места. Неуемная Варвара завела было разговор, но на нее прикрикнули, и минуты через две в избушке уж стоял храп.

Лукашину не спалось. Лежа в темноте, он поглядывал на мерцающие в каменке два уголька, вяло покусывал сенную былку. На передних нарах кто-то заворочался, вздохнул. Не Анфиса ли? Может, она тоже не спит? Сердце у него учащенно забилось. Ему вдруг стало душно и жарко. Тело, накусанное комарами да мошкаркой, горело. Под рубаху набилась сенная труха. Чертовски раздражал храп Трофима и Марфы, будто затеявших соревнование между собой.

Немного погодя он встал и, осторожно скрипнув дверцей, вышел на волю.

Тишина... Туман над лугом. Лохматые стога-великаны выплывают вдаль. На варнице чадит дымок, синей лентой тянется к небу, которое так бледно, что народившийся призрачный месяц чуть заметен на фоне зубчатого неподвижного ельника. Внизу на Синельге что-то раз и два хлопнуло. Это, должно быть, прожорливая щука бросилась на зазевавшуюся рыбешку. И опять все тихо. Опять неподвижный лес по сторонам, туман над лугом, и в нем, как сказочные богатыри, стерегущие покой усталых людей,— стога...

Лукашин вдыхал полной грудью ночной пропахший сеном и молоком воздух, вслушивался в благостную тишину окружающего мира — и не хотелось верить, что где-то, на той же земле и под тем же небом, рушатся громады городов, в муках и корчах умирают невинные люди...

В избушке Лукашин осветился спичкой, чтобы не наткнуться на спящих колхозников. На секунду мелькнули руки и ноги неподвижных, словно распятых тяжелым сном людей. Духота, храп... А он-то, стоя у тлеющего костра, прислушивался, не скрипнет ли дверь, не выйдет ли к нему Анфиса. Да разве до этого ей, когда она до упаду наработалась за день?

И снова в нем заговорила потревоженная совесть...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Сенокос был в разгаре, а к людям зывали уже поля. Впрочем, в Пекашине жатва началась, как только забелели хлеба. Поздно вечером придет с покоса хозяйка, нажнет сноп жита¹ на своем участке, высушит

¹ На севере житом называют ячмень.

за ночь на печи, а утром встанет, обколотит, размелет на домашних жерновах, слепит какой-нибудь хлебец, да с тем и на пожню. И как ни тягостны были вести с фронта, а люди немножко приободрились — дождались-таки новины.

Но скоро и эта радость выгорела в суховее, который принес с собою август. В Пекашине началась жара. По утрам не схватывались белым дымком рёсы, ручьи и речонки пересохли, и к полудню листья вянули на деревьях. В знойном, добела раскаленном поднебесье целыми днями метался пепельно-серый канюк, плакал пронзительно и тоскливо: «Пи-ить!.. Пи-ить!..»

Леса затянуло дымом, пахло гарью — казалось, сама война вплотную придвинулась к Пекашину.

Суеверный страх стал закрадываться в души людей. А ну как сгорит картошка — единственная надежда каждого? Что тогда, живым в землю ложиться?..

Надеялись на ильин день — редко бывало, чтобы Илья не отбил гребь. Но в этом году погромело по краям, попалила вхолостую молния — и все. Только на третий день пролилась небольшая тучка, да зато так дружно, что с домашнего бежали бегом. Но когда поднялись в гору, опять сверкало солнце, а в деревне даже пыль не прибило. Темная синь, прорезаемая вспышками молний, уходила в навины.

И все-таки в этот день Лукашин был по-настоящему счастлив. Сегодня он первый раз попробовал взять в руки грабли. Дома, пошатываясь от усталости, он стащил с себя намокшую гимнастерку и замертво свалился на кровать...

Его разбудил отчаянный стук в окошко:

— Горим! Горим!..

Не помня себя, он выскочил на крыльцо. В заспанные глаза больно ударило солнце. Надсадный перезвон железной плиты: бум! бум!.. Мимо по дороге с воплем и стоном пробежала растрепанная баба:

— Пожар!.. Пожа-ар! О, тошнехонько...

Лукашин кинулся на дорогу.

С севера, над лесом — рукой подать — огромными тяжелыми клубами выметывал густой белый дым.

«Да ведь это у Сухого болрта! Гектары победы...» — с ужасом подумал он и в то же мгновенье представил себе масштабы надвигающегося бедствия. Хлеб, хлеб в опасности!

На задворках, где-то возле конюшни, заржала лошадь. Лукашин машинально, не думая, выхватил из изгороди кол и напрямик, улицами и переулками, побежал туда. У конюшни несколько женщин, конюх Ефим и Анфиса запрягали Партизана. Лукашин едва успел вскочить на задок телеги — жеребец с места взял в карьер.

По мосту отчаянно затрясло, загрохотало, вдогонку плеснулся тонкий, пронзительный плач: «Ма-ма-а...»

Пыль, сосны, запах гари... При въезде в навины телегу закидало из стороны в сторону: там, что ни сажень, — поворот. Лукашин, вцепившись рукой в дроговину, подпрыгивал, как мячик, бился спиной о чье-то горячее тело.

«Бум, бум, бум!» — неслось из деревни.

По дорогам, тропинкам бежали люди, что-то кричали. Топоры и лопаты ослепительно вспыхивали на солнце...

Потом вдруг треск, крики, стоны, и Лукашин, больно ударившись плечом, свалился в канаву.

Когда он вскочил на ноги, женщины и старичонко Ефим, повиснув на оглоблях, удерживали жеребца. Тот, весь мокрый, храпя и пятась назад, дико задирал косматую голову, вздымал огромные передние ноги, подогнутые в коленях. Затрещали оглобли...

— Гужи, гужи рубите! — закричала Анфиса.

Лукашин бросился на помощь. Но тут произошло невероятное. В воздухе мелькнули голые колени, и в ту же секунду он увидел Анфису на жеребце.

Женщины шарахнулись в стороны.

Тяжелый грохот, пыль... Меж кустов взвился белый платок Анфисы...

Ошеломленный, тяжело дыша, Лукашин оглядел место катастрофы: накренившаяся набок телега, разбитое колесо.

Потом, глотая пыль и обливаясь потом, он бежал по дороге, кого-то обгонял, кто-то обгонял его...

Шум и гул стояли в ушах, в горле першило. Черная дымовая завеса, обложив полнеба, закрыла солнце. Стало темно. И только отблески невидимого, скрытого за перелесками пожарища, трепетно пробегавшие по верхушкам деревьев, разрывали эту темень, да по сторонам вдруг вспыхивали в багровых отсветах полоски хлебов с поникшими колосьями. И всю дорогу сквозь

нарастающий шум и гул пожара ему чудился жалобный, умоляющий звон колосьев: спасите, спасите... Где, где он видел такое? В памяти встало лето прошлого года, осиротелые деревни, пожарища, необрушенные поля... Ужас охватил Лукашина: а ну как не задержать огня? Все погибнет: и хлеб, и люди, и деревня.

Совершенно изнемогая, весь мокрый, он пересек ручьевину и взбежал на пригорок. Душная, знойная волна дохнула ему в лицо. В то же мгновение ослепительный свет резанул по глазам.

Но то, что он увидел затем, привело его в отчаяние.

Из глубины леса с шумом и ревом шла стена огня. И перед ней — несколько маленьких черных фигурок, первыми прибежавших на пожар. Они металась между стволами деревьев, размахивали елками, отступали, осыпаемые тучами искр, и снова кидались на огонь.

— Назад! Назад! — закричал что есть мочи Лукашин. — Лес, лес рубить надо!

Задыхаясь, давясь от дыма, он прямо по ячменному полю бросился в самое пекло.

Через несколько минут по всей опушке леса яростно застучали топоры, лопаты. Валили деревья, оттаскивали сучья; сдирали дерн, мох, багульник. Треск и грохот стояли кругом. Дико ржали привязанные к ручьевине кони. Старые, могучие ели вспыхивали, как факелы, и на людей, задыхающихся от жары, от дыма, сыпались мириады искр, летели раскаленные хлопья, головни, кора.

Лукашин вместе с какими-то женщинами и подростками оттаскивал сучья, кустарник, хватался за кряжи — делал все, что можно было делать одной рукой. Мало-помалу в нем стал просыпаться командир. А как на флангах? Не забыли в суматохе? Прикрывая лицо рукой, он выбежал на окраину поля и, путаясь ногами в ячмене, побежал на левый край. Но там уже всю орудовали Степан Андреянович и Трофим — розовая щепка летела из-под их топоров. Мишка Пряслин как черт вертелся вокруг них, отгонял елкой напиравший огонь.

Лукашин побежал к Сухому болоту. Ни неба, ни леса в той стороне. Все дым и дым... Огонь теперь подступил уже к самой опушке леса. Неимоверный грохот и стон стояли в воздухе. Падали ели, трещал кустарник, диковинно вспыхивали розовым светом свежие пни.

И горсточка женщин, стариков и подростков в беспмятстве билась с разъяренной стихией.

Потом он увидел Марфу. Она стояла одна на самом краю опушки — там, где лес переходит в Сухое болото. Как уж она оказалась именно здесь — случайно ли, поставил ли кто ее, но Лукашин сразу понял: тут самое опасное место. Ведь если только огонь перекинется на Сухое болото, тогда ничем не удержать его. В одно мгновение вспыхнут десятки гектаров. И огонь, словно понимая это, с диким остервенением рвался на простор, прыгал с одного дерева на другое.

Вокруг Марфы ухало и гудело, смола закипала на деревьях, обгоревшие листья сыпались на нее с кустарника. А она, огромная, вся багрово-красная, с черными, выбившимися из-под съехавшего платка волосами, вздымала над головой жердину и со стоном, уханьем крушила вокруг себя все, что попадалось под руку. Одна высокая тонкая сосна никак не поддавалась — жердь не доставала до макушки. И тогда Марфа, отбросив жердь, ухватилась обеими руками за ее гладкий ствол. Сосна закрипела, выгнулась дугой, но не треснула.

— Чего рот разинул? — прохрипела она.

Лукашин, опомнившись, бросился к пню, вырвал топор и, подбежав, ударил по стволу. Резкая, режущая боль опалила его больную руку, но он удержал в руках топор. Потом он валил сосны и ели, рубил кустарник, оттаскивал сваленные деревья, пятился, отступал, теснимый огнем...

Прошла, наверно, целая вечность, прежде чем он разогнул спину. Люди все еще бились с огнем. Но вдоль поля, белея свежими пнями, уже из конца в конец пролегла вырубка. Огонь, натолкнувшись на преграду, глухо и злобно догрызал остатки веток и багульника. И тогда он вдруг понял: выстояли! Ему хотелось крикнуть, обрадовать изнемогающих людей, но он едва смог пошевелить одеревеневшими, запекшимися губами. В тяжелом, удушливом чаду медленно, как призраки, начали подниматься люди. Блестели топоры, лопаты...

Вскоре все собрались на закрайке Сухого болота, где еще недавно дрались с огнем Марфа и Лукашин. Тут было легче дышать: с болота немножко подувало, и дым относил на поле.

Женщины, стряхивая пепел и копоть, осматривали обувь и одежду, вытирали грязь и сажу с лица, гово-

рили, охали, дивились по-бабьи, и каждая заново переживала то, что случилось с нею:

— Я с одуру-то с граблями прибежала — как память отшибло...

— А мы бежим с Василисой — плачем: слезы наши горят... Весной по зернышку собирали...

— А у меня живот спучило — не могу бежать...

— А у нас-то, у нас, женки! Как Анфиса-то на коня вскочила — я обмерла. Эдакой леший! Убьет, думаю. Как ты уж и вскочила-то, Анфисьюшка?

— А мы по мосту едем — душеньку вытряхивает. Я за Ивана Дмитриевича руками ухватилась. Чул ли?

— Ты уж, Варка, промаху не дашь. Знаешь, за кого ухватиться.

— Плат-то, плат-то у меня, бабы... О, тошнехонько! Весь выгорел.

— Молчи ты со своим платом. Хоть сама не сгорела...

— Да как же? Плат-то этот брателько даривал, когда еще замуж выдавали. Все время в амбаре берегла — зачем же вот было вчера вынимать?..

— Где — не видно — Федор Капитонович? Добро стережет?

— Хорошо, народ в деревне привелся, а кабы не было...

Лукашин, еле держась на ногах, присматривался, прислушивался к охающим и ахающим женщинам. Они были грязные, оборванные, обгорелые. По их бледным, перемазанным сажей лицам текли слезы. Черные, запекшиеся губы распухли. Он смотрел на них, вслушивался в их простые, наивные слова, и сердце его изнемогало от любви и ласки к этим измученным, не знающим себе цены людям...

— Эй, у кого горло не в порядке?

Из ручьевины, меж кустов, показался Мишка Пряслин. Мокрое, блестящее лицо его блаженно улыбалось, с грязного подбородка капала вода.

Трофим Лобанов, черный, как обгорелый пень, оближал пересохшие губы и, не говоря ни слова, тяжело заколесил к ручьевине. За ним, обгоняя друг друга, кинулись остальные.

Возле Мишкиной ямки, вырытой в мшистом травнике, сбились в кучу. Счастливицы, подоспевшие первыми, пригоршнями черпали черную, замшелую жижу, жадно пили. Сзади на них напирали, теснили.

Трофим, растолкав женщин, плюхнулся на брюхо, заехал в колодец всей головой.

— Одичал — на чужчину-то! — полетела злая ругань. — Бабы, тащите его!

Варвара со смехом ухватилась сзади за Трофимовы штаны, потянула на себя. Тот упирался, отбивался ногами, урчал нутряным голосом:

— Отстань, кобыла!

— Экое дурачье, — усмехнулся Мишка, наблюдавший эту толчею со стороны. — Сбились как бараны. Мало тут воды?

Стали руками и ногами разрывать, расковыривать мох, делать новые лунки.

Когда утолили жажду, страшная усталость овладела людьми. Из ручьевины на вырубку шли еле волоча ноги. Хотелось тут же пасть на моховину и не вставать.

Меж тем огонь не унимался. Обглодав хвою и листья, он теперь принялся за обугленные, просохшие стволы деревьев, которые не сумели оттащить с вырубki. На людей опять полетели сажа, искры, головни. Дымная, непроглядная хмарь по-прежнему крыла солнце. На левом краю все еще стонало и ухало. Там, должно быть, огонь прорвался через просеку. Но это было не страшно: мокрая ручьевина — надежная преграда. Справа огонь подбирался к Сухому болоту. Резко запахло горелым торфом.

Лукашин беспокойно взглянул на Степана Андреевича:

— Болото не загорится?

— Не должно бы. Оно хоть и Сухим называется, а северный край мокрый.

Неторопливо начали разбирать топоры, лопаты — пора было отправляться домой.

— И чего она летает, окаянная? — вдруг недовольно пророчала Марфа.

— Кто, где? — заоглядывались женщины.

— Гляньте-ка, женки, — с изумлением сказала Варвара, — птица...

Действительно, метрах в ста от людей над вершиной высокой и тонкой, как мачта, сосны, росшей на краю болота, кружилась какая-то большая серая птица. Она то круто припадала к вершине, то, широко распластав крылья, взмывала над нею.

— Чего-то там есть, зря летать не будет.

— Ну-ко, Мишка, у тебя глаза повострее,— толкнула Варвара Мишку.

Но Мишка и без ее просьбы, вытянув шею, напряженно всматривался в макушку сосны.

— Чего-то чернеет... — неопределенно сказал он.

— Да ведь это, бабы, гнездо у ей на дереве! — всплеснула руками Дарья. — Вот глупая, нашла место...

Сердобольная Василиса поднесла к глазам конец плата:

— Вишь вот, тварь бессловесная... Слова сказать не может, а мать — деток своих в беде не бросила...

Недалеко от сосны в воздухе взлетела и с треском рассыпалась горящая головня. Серая птица еще беспокойнее заметалась над их головами, да так низко, что Лукашин почувствовал на своих губах запах птичьего пера.

— Это она людей на помощь зовет,— вздохнула Дарья. — Ей-богу, бабы...

— Ну-ко, люди... жалко ведь... сгорят,— засуетилась Варвара.

— Срубить надо! — тряхнул головой Трофим и стал вынимать из-за ремня топор.

— С ума-то не сходи! — закричали на него женщины. — Дерево упадет — что будет...

Трофим с обидой отошел назад.

— Нет лестницы... кабы лестница — снять можно.

— Эк вам далась эта птица, мало их сгорело сегодня... — начал увещевать разволновавшихся женщин Софрон Игнатьевич и не закончил.

Мишка Пряслин со всех ног бросился к сосне.

— Мишка, Мишка, куда? Вернись! — закричала Анна.

Мишка даже не оглянулся. Подбежав к сосне, он с ходу начал карабкаться по стволу. Но ствол был гладкий, тонкий, и едва он сделал несколько перехватов, как ноги его скользнули, и он оказался на земле.

— Мишка, Мишка, не смей! — опять закричала мать.

Минуту спустя Мишка, цепко оплетая дерево руками, снова карабкался по стволу. Серая птица теперь кружилась над самой Мишкиной головой. Она взмывала кверху, тяжело хлопая огромными, с белым подбоем крыльями, падала вниз и, очертив круг-два над головой парня, снова устремлялась к вершине. «Скорей! Скорей!» — казалось, умоляла она. И Мишка лез и лез.

Люди, задрав головы, не сводили с него глаз.

Вдруг густая пелена дыма скрыла парня.

— Ми-и-ша-а... Ми-и-шка-а-а!

Анна рванулась вперед, но кто-то схватил ее сзади.

— Люди вы или нет! Птицу пожалели, а у меня...

Когда дым рассеялся, все с облегчением вздохнули. Мишка, сжавшись в комок, по-прежнему карабкался по стволу. На минуту он остановился, передохнул, махнул людям рукой, точно успокаивая их, и опять полез вверх. Теперь до вершины оставалось метра три. Но какие это были метры! Тонкая сосна под тяжестью тела выгибалась, качалась... А рядом бушевала разъяренная лава огня.

— Назад! Назад! — кричали все в один голос.

Кажется, только теперь дошло до каждого, какой опасности подвергался парень. Ведь достаточно одной искорке упасть на рубаху — и он вспыхнет у них на глазах, как свечка.

Опять повалил дым кверху. В багровых отсветах пламени зловеще вспыхнули белые подкрылья птицы.

— А-ай! — завопила Анна.

Настя схватила топор, кинулась к сосне. За ней бросились, с треском ломая сучья, другие. Рубили, отгаскивали кустарник, топтали огонь ногами, сбивали слегами, срывали мох лопатами.

— Ну, теперь не страшно, — сказал Лукашин, когда огонь отогнали сажень на десять от сосны.

Затем он отыскал глазами Настю. Она стояла у дотлевающего кустарника и, размахивая елкой, все еще справлялась с огнем.

— Молодец, Настя!

Девушка приподняла голову, застенчиво улыбнулась и снова принялась хлопать елкой, поднимая вокруг себя целые снопы искр.

Мишка уже был у вершины.

Люди, столпившись у подножия сосны, посматривали вверх, восхищенно переговаривались:

— Достал-таки... Ну и парены!

И вдруг отчаянный вопль просверлил воздух:

— Ааа-а-а...

По свежей вырубке, широко раскинув руки, бежала обезумевшая от боли Настя. На ее спине бились языки пламени.

— Ложись! Ложись! На спину! — закричал Лукашин.

Он бросился ей наперерез, но упал, зацепившись ногой за коренья. Падая, он видел, как чьи-то руки схватили девушку, пригнули к земле.

Когда Лукашин подошел к людям, склонившимся над Настей, он с ужасом почувствовал запах горелого мяса. Она лежала, накрытая грязной одежиной, — лицом в землю, с неловко подогнутой оголенной выше колена ногой. Судорожные подергивания тела, стон... Она была без сознания.

Тихо всхлипывали женщины. Лукашин закрыл рукой глаза и тоже заплакал...

А в это время у подножья сосны стоял одинокий, истерзанный Мишка. Рубаха на нем была порвана в клочья, руки исцарапаны, ободраны до крови. В одной руке он держал старую кепку, которая так и подергивалась от засунутых туда птенцов. Серая птица устало взмахивала над ним, почти касаясь крыльями его слипшихся от пота волос. Но Мишка не замечал, не чувствовал ни кровавых ссадин на руках, ни протестующих толчков птенцов, пытавшихся вырваться из кепки на волю, ни тоскующей птицы-матери, которая взмахами крыльев, как ветром, оведала его потную голову. Бледный, без кровинки в лице, он стоял с широко раскрытыми от ужаса глазами и не смел двинуться с места.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Настя так и не пришла в себя. Подвели телегу, выстлали ее травой да одежонкой, какую можно было скинуть с себя, подняли осторожно бедную и повезли. Сзади поплелись усталые, измученные люди. Присматривать за пожарищем остались Анфиса и Лукашин.

Подавленные, потрясенные случившимся, они сидели на свежей валежине и молчали. Быстро надвигались сумерки. В темноте, вздуваемые ветром, зло вспыхивали кучи раскаленных углей, с треском и шумом развалива-

лись остовы обгоревших деревьев, взметая в черное небо фонтаны огненных искр.

— Ветер крепчает... надо бы обойти,— сказала Анфиса.

Встали, пошли в разные стороны.

У Лукашина разламывало от боли раненую руку. Пощупал — распухла... Загрохотал гром, полоснула молния, и сразу — крошечная темень. Он брел наугад, на ощупь, спотыкался, хватался здоровой рукой за кусты. Потом забрызгало. Дождь, дым, чад...

— О-э-э-э... — глухо простонало слева.

Лукашин, откликаясь, давясь от дыма, побежал на голос Анфисы.

Столкнулись мокрые, запыхавшиеся.

— Там ели густые! — закричала Анфиса, махнув рукой в сторону деревни.

Бежали прямо по ячменю, оступались, падали, ослепленные вспышками молний. Пока добрались до елей, взмокли до нитки. Задыхаясь, припали к толстому дереву. Тут было сухо, ни одна капля не просачивалась сквозь толщу хвои. Отдышавшись, Анфиса сказала:

— Кабы знать, что дождь будет, домой идти надо. — Она зябко подернула плечами. — Холодно. У вас, Иван Дмитриевич, зажигалка была, не потеряли?

Лукашин, сдерживая дрожь, с трудом достал из кармана зажигалку, протянул Анфисе. Она долго пыталась разжечь огонь, ползала на коленях, дула.

— Нет, все вымокло, не горит. Пойду поищу, нет ли где поблизости сухого сена.

Сквозь шум дождя он слышал, как зачавкали по грязи ее башмаки. Ему было стыдно за себя, за свою беспомощность, но у него не было сил пойти за нею. Его бил озноб, лязгали зубы, и он думал, что окоченеет, пока дождет ее. Наконец она вернулась с большой, охапкой сена. Под елями жарко запылал огонь.

Анфиса разостлала сено, сказала:

— Подвигайтесь, Иван Дмитриевич. Сушиться будем.

Лукашин, как в забытьи, шагнул к огню, тяжело опустился на сено.

— Господи! — воскликнула Анфиса. — Да вы в одной рубашке нижней... Как я раньше-то не заметила.

Ей бросилось в глаза бледное, измученное лицо Лукашина. Она испуганно припала к его ногам, дотронулась до него руками:

— Да вы ж дрожите. Как лист осиновый. А рука-то — вся в крови, распухла... Что же мне ничего не сказали?

Она быстро привстала, вырвала из нижней юбки белый лоскут, стала перевязывать ему руку. Затем загребла вокруг сено, обложила им Лукашина.

— Теплее?

— Ничего... отогреюсь,— вздрагивая, пробормотал он.

— Погодите, я вам кофту свою дам. Она бумазейная, теплая.

— Не надо,— затряс он головой. — Сами замерзнете.

Но Анфиса, не слушая его, уже снимала с себя кофту. Перед прикрытыми глазами Лукашина мелькнули голые руки, повалил пар. Через некоторое время, когда кофта была нагрета, Анфиса опустилась перед ним на корточки.

— Давайте снимем рубашку-то. Кофта теплая-теплая,— стала она уговаривать его, как малого ребенка. Она стеснялась своих голых плеч и в шутку добавила: — А то мне проходу женки не дадут. Скажут, мужика заморозила.

Лукашин безропотно подчинился: его все еще лихорадило.

Переодев его в кофту, Анфиса сделала из сена изголовье, потом уложила его на спину, прикрыла сверху и с боков сеном.

— Ну, теперь лежите, не брыкайтесь,— опять шутливо сказала она.

Мало-помалу озноб стал проходить. От горячей кофты, от сухого сена стало тепло. Тяжелые мысли, все пережитое за день отодвинулось в сторону, и он чувствовал сейчас только одну приятную теплоту, которая горячей волной разливалась по всему телу. Голова сладко кружилась. Где-то под самым ухом: чек... чек... чек... «Кузнечик... Ах, дуралей... день и ночь спутал... спутал...»

Он не знал, спал ли сколько-нибудь или дремал. Когда он открыл глаза, дождя уже не было. Огромная яркая луна стояла в небе, и вокруг, как в сказке, все было залито серебряным светом. Легкий туман поднимался над полем. Где-то внизу, в глухом ельнике, бойко выговаривал новорожденный ручей. Вкусно пахло сеном, смолью пригорелой хвои...

Потом он увидел Анфису. Она сидела у его ног и,

прикрыв рукой глаза от дыма, поправляла сучком огонь. Голые плечи, от сорочки и юбки пар...

В одно мгновение ему припомнилось все: и то, как он замерзал от сырости и холода, и то, как она отогрела его...

— Анфиса... — прошептал он, резко приподнимаясь на руку.

Анфиса вздрогнула, лицо ее просияло:

— Воскрес... А я уж думала — заболели.

По щекам ее, разогревшимся от огня, текли слезы. Спohватившись, она прикрыла грудь руками и опять, глядя на него мокрыми, прищуренными от дыма глазами, заговорила:

— Руке-то легче? Я вся перепугалась...

— Анфиса... родная моя...

Задыхаясь от счастья, Лукашин притянул ее к себе и начал целовать в теплые щеки, губы, глаза.

Она слабо отталкивала его, шептала:

— Не надо, не надо...

В ручьевине, за елями, что-то треснуло, потом донесся отчетливый скрип... Телега.

— Тпру, милая...

Через минуту из кустов к костру подошел Митенька Малышня, мокрый с головы до ног.

Анфиса стояла, сгорая от стыда, не зная, куда девать глаза.

— Не замерзли? — осведомился Малышня, с удовольствием потирая над огнем свои руки. — А я, как пошел дождь, сразу смекнул: чего, думаю, им здесь караулить? Да куда там! Доехал до первого гумна, дождичек разыгрался такой, что лошаденку с ног сбивает. Так всю ноченьку и простоял у гумна под крышей.

Ехали молча. Словоохотливый Малышня раза три заводил разговор о дожде, но ему никто не отвечал. С кустов капало.

«Передрогли, милые, — слова сказать не могут», — с сочувствием подумал Малышня и остальную часть дороги тоже молчал.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Войдя в избу, Анфиса, не раздеваясь, бросилась на кровать, зарылась головой в подушки. Боже мой, боже мой!.. Иван Дмитриевич... Да не приснилось ли все это?..

Во дворе призывно мыкнула корова. Анфиса приподняла голову — в избе светало.

— Молчи ты, Пестроха, погоди... — и опять, вся трепещущая, зарылась лицом в пуховину подушек.

«Родная моя... родная моя...» — шептала она.

Она ощущала на своих губах его прерывистое дыхание, его жадные, ищущие губы, волнующую горечь табака. Перед глазами поплыли, закачались мохнатые ели, огонь. Потом она заново переживала, вспоминая, как переодевала его в свою кофту, укладывала в сено.

Она привстала, путаясь пальцами в застежках, стянула с себя кофту и, улыбаясь, с наслаждением вдыхая прогорклый дымный запах, уткнулась лицом в мягкую бумазею. На нем была...

«Ох и дура же ты, Анфиса... до чего дура, — вдруг подумала она, трезвее. — Сколько тебе лет-то?..»

Напуганная этой неожиданной мыслью, она встала и неуверенно, с робостью, одергивая юбку, подошла к зеркалу.

Нет, она еще... И глаз молодой, и грудь — любой девке на зависть...

Повеселевшая, воспрянувшая духом, она стала прибирать растрепавшиеся волосы и вдруг побледнела... Неужто? Она приблизила лицо к зеркалу, приподняла на виске прядку волос, и — боже мой! — один, два, три...

Она оглянулась, словно боясь, что за нею кто-то подсматривает, и лихорадочно, закусив губу, начала выдергивать один за другим седые волосы. Потом раздумала, покачала головой.

— Нет, голубушка, — сказала она вслух, — видно, прошла твоя пора. Бабий век — сорок лет...

Она как-то сразу вся отяжелела и, чувствуя, как закипают едкие слезы, присела к столу. Но в ту же минуту все взбунтовалось в ней. Нет, не прошла ее пора! Не было у нее поры. Каждому положено цвести в своей жизни, а разве она цвела? Чем ей вспомнить свою загубленную жизнь? Вдовой в замужних женах жила!.. Глупые бабы, — каждая идет к ней со своими печальями да радостями, совета просит. А того не подумают, что и она не каменная. Ведь и у нее сердце-то бабье, и она ласки хочет...

Жить с любимым человеком... Да что может быть желаннее? А тут еще, может, пошли бы дети... Ведь ей ни разу в жизни не привелось услышать обращенное к ней

слово «мама»... Грешным делом, она завидовала сейчас даже Анне. Да ради того, чтобы иметь кучу ребятишек, она бы какую угодно муку приняла, все бы вытерпела.

И ее разгоряченному воображению начали рисоваться картины одна заманчивее другой. То она видела себя возвращающейся поздним вечером с работы. Навстречу ей бегут босоногие ребятишки. Ее дети! «Мама, мама идет!» Они с разбегу тычутся головенками ей в ноги, хватаются за подол, ловят руки. И любо ей слушать, как они наперебой, хвалясь друг перед другом, рассказывают ей про свои ребячьи дела. То ей рисовалось, как в жаркий полдень она с переполненными грудями бежит домой кормить ребенка. «Кровиночка ты моя ненаглядная, заморила мать...» И все до того было осязаемо, что она чувствовала и как ребенок жадно рвет ее грудь вначале, и как постепенно, насытившись, затихает возле ее сердца...

А вот и муж... Весь пропахший полем, потный и жаркий, он взглядом ласкает ее, по-отцовски треплет по головкам детей. Их детей... А потом... потом вечером, убравшись по хозяйству и уложив детишек, забраться к нему в нагретую постель и, ни о чем не думая, обхватить руками его сильную горячую шею...

Нет, иного счастья она не желала себе. Она хотела только такого — самого простого, самого обыкновенного бабьего счастья, каким обделила ее судьба.

И еще много и много желанных соблазнов, годами выношенных в сердце, возникало перед ее взором.

Легкий стук в раму заставил ее вздрогнуть. Она торопливо встала, провела руками по волосам и, страшно волнуясь (уж не Лукашин ли?), открыла окно.

— Не спишь, Анфисьюшка?

Под окном стояла Варвара, заплаканная, в галошах на босу ногу.

— Я сама глаз не сомкнула, всю ночь проревела. Уж так-то жалко бедную... Оногдась косим, стали купаться, а она, как березонька, тончава да бела. И кому ты, говорю, Настя, только достанешься? Кто будет ласкать такую красу?..

Анфиса не помнила, как ушла Варвара.

Упав на подоконник и обхватив голову, она в отчаянии шептала:

— Настенька... Настенька, девонька ты моя..

Да как она?.. Как она могла забыть про нее? Бедняжка, может, с жизнью прощается, а она?..

Анфиса схватила платок и, выскочив на улицу, побежала к Гаврилиным.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Лукашин вышел из больницы пошатываясь. На крыльце сидела Настина мать, за одну ночь ставшая старухой.

Он сел рядом, неловко обнял ее за плечи.

— Ничего, ничего;— успокаивал он, а перед глазами его все еще стояла темная, с занавешенными окнами палата... Тяжелый запах лекарств, одинокая койка в углу, глухой стон...

Лукашин провел рукой по лицу, расстегнул душивший ворот гимнастерки.

На больничном дворе было тихо и безлюдно. Старые, узловатые сосны, зеленым забором окружавшие районную больницу, стояли немо и неподвижно, как часовые.

За соснами кипел разноголосый, прокаленный августовским солнцем трудовой день. С шумом и грохотом пронеслась грузовая машина, в полях трещали жатки, и там, далеко, кто-то охрипшим голосом кричал: «Да неси же, черт, воды!.. Пошевеливайся!..»

Лукашин, не находя слов, гладил судорожно вздрагивающие плечи старухи.

И вдруг он увидел молоденькую, ослепительно белую березку. Она стояла одна, посреди двора, далеко отбежав вперед от застарелых сосен, и, тоненькая, высокая, словно на цыпочках, тянулась навстречу ласковым лучам солнца.

Он прикрыл ладонью глаза. Нет, это невыносимо...

— Как и отцу-то написать!.. — всхлинула мать. — С ума сойдет. Ведь она у нас самая желанная, самая расхорошая... Бывало, училась в районе... Сам придет с работы, на ногах едва держится... «Какой сегодня день? Суббота?» И пошел встречать свою Настеньку... Ох, беда, беда... Да что же вы молчите-то? — вдруг схватила она его за рукав. — Что с ней будет? Никто правды не говорит.

Что он мог ей сказать? В том, что Настя выживет, доктор не сомневался. А вот глаза?

В памяти мелькнуло далекое детство. Деревенская улица, босая старуха с холщовой сумой, батогом нащупывающая дорогу... Мать, пытаясь утихомирить его, пугает: «Вот я тебе, позову Екимовну... в сумку-то запихает...» «Нет! Нет!» — с ужасом содрогнулся Лукашин.

Он вскочил на ноги и, грохоча сапогами по деревянному настилу, побежал к калитке...

Секретарь райкома встретил его упреком:

— Как же вы — не уберегли такую девушку?

— А на войне всех уберегают? — зло уставился Лукашин на Новожилова.

С шумом дыша, он прошел к столу, сел в кресло.

— Вот что, секретарь, — сказал он, не глядя на него. — За расчетом пришел. С меня хватит.

— Как это хватит?

Лукашин ощетинился:

— Хватит, говорю, с бабами по тылам околачиваться. Воевать надо!

— Так... — сухо заметил Новожилов. — У тебя, видно, пожар еще в голове шумит.

Лукашину показалось это намеком. Он разом побавровел:

— Ну знаешь... У меня не пожар, а совесть шумит! Не как у некоторых. Сидят — пороху не нюхали...

— Это кто же пороху не нюхал? — тихо, сдерживая себя, спросил Новожилов. — Договаривай.

Лукашин резко повернулся к нему.

— А думаешь, не договорю? — Он недобрым взглядом смерил тучную фигуру Новожилова.

Новожилов тяжело навалился на стол, задышал, как запаленная лошадь. Одутловатое лицо его посинело. Затем он резко поднялся на ноги и, не спуская с Лукашина темных разъяренных глаз, хрипло выкрикнул:

— Сукин сын! Жиру моему позавидовал? Да я с двадцатого пулю под сердцем ношу — ты об этом знаешь? Тыл... Да разве не видишь, как живем? Люди на износ работают. Насмерть! А кто? Те самые бабы да ребятишки, которых вы на фронте защищаете. Понял?

Лукашин протестующе поднял руку.

— Нет, ты погоди, послушай. Залезь хоть на минутку в мою шкуру. Приедешь в колхоз — дети голодные, бабы высохли от недоедания да от тяжести. А ты выгребаешь дочиста. Фронт требует. У ней ни черта ни

в избе, ни на себе, а ты ей про военный заем... Давай, давай!.. Один раз вот агитирую так. А какая-то баба сбоку шепчет другой. Вишь, говорит, шею наел. Наши мужики, говорит, кровь проливают, а этот всю войну языком воевать будет. Каково? А что ты сделаешь? Арестуешь? Оправдываться станешь: не зря, мол, хлеб ем! Да я перед этой бабой, если хочешь знать, на колени готов стать. Я бы ей при жизни памятник поставил. Ну-ка! Сколько человек в Пекашине на войну взято? Человек шестьдесят. А поля засеяны? Сенокос к концу? Да ведь это понимаешь что? Ну как если бы бабы заново шестьдесят мужиков родили... Ты вот на фронте оборону строил, а мы тут знаешь что делали? Людей ковали! Да, да! Председателей колхозов нет, бригадиров нет. А районом управлять надо? Понимаешь — все заново! Я иной раз задумаюсь, как это наша баба из пристяжной коренником стала? Помнишь, у Ленина: каждая хозяйка должна управлять государством...

— Кухарка, — поправил Лукашин.

— Ну кухарка. Так в этом все дело. Слова-то эти я запомнил давно, а вот понял их как следует только теперь. Бывало, как под начало бабе попадешь, нос воротить. А представляешь, что бы сейчас было, если бы мы эту самую бабу двадцать лет в коренники не готовили? Вот чего, между прочим, не взял в расчет этот полоумный Гитлер.

Наступило молчание.

Новожилов тяжело, с высвистом дыша, вытирал платком градом выступивший на лбу пот. Лукашин сидел не двигаясь, упрямо стиснув зубы. Ни тот, ни другой не мог заговорить первым.

Звонок телефона все поставил на свое место. К Новожилову тотчас вернулась обычная уверенность, и, берясь за трубку, он сказал Лукашину уже твердо и по-хозяйски:

— Ну вот что. Погорячились — и хватит. А теперь иди, занимайся своим делом. И, пожалуйста, впредь не козыряй своим патриотизмом.

..Он смутно помнил, как вышел из райкома, шагал по лесной дороге... Оглянулся — кругом толстые, незнакомые сосны. Где он, куда забрел? Нет, возвра-

щаться не стоит. Должна же куда-то вывести эта глухая, затравеневшая тропинка. Вскоре впереди замелькали просветы, потянуло свежестью. Он вышел на вырубку, ошетилившуюся молодым сосняком.

Возле штабеля старого леса он сел и снова задумался.

Да, пора во всем разобраться. Так больше нельзя. И эта неврастеническая выходка в райкоме, и эти постоянные укоры совести — будто ты виноват перед всеми бабами, перед детишками. И откуда это? Почему? Разве он бездельничает? Ношу не по себе несет? Да, да, в этом все дело. Слишком уж легко ему живется... Признайся честно, сколько раз ты был голоден за последние недели? Ни разу. Тебя щадят, за тобой ухаживают. В одном колхозе — хлеб, в другом — масло, в райцентр приедешь — чай, сахар. А эти бабы, которых ты агитируешь? Многие ли из них хоть раз наелись досыта за все лето? А дети? У кого из них побывал кусок сахара во рту? Нет, коммунист тот, кто может сказать: я умирал столько, сколько и вы, и даже больше; мое брюхо кричало от голода так же, как ваше; вы ходили босые, оборванные — и я. Всю чашу горя и страданий испил я с вами — во всем и до конца!

И сейчас ему с особой горечью припомнилось все то, что было накануне. Как? В те самые минуты, когда обгорелая девушка в бреду, в беспамятстве боролась со смертью, когда мать ее захлебывалась слезами, он... Сукин сын! Он всю ночь грезил Анфисой, своей любовью. А утром, как мальчишка, бежал на свидание. Нет, тысячу раз была права Анфиса, встретив его холодным, негодующим взглядом. Пора кончать с этим. И не прав, черт побери, Новожилов: его место на фронте!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Босые Мишкины ноги у самой воды. Сгорбившись над удилищем, он с остервенением отбивается от вечерней мошки, зло встряхивает сонный поплавок. Не клюет... А на душе у Мишки так муторно, так тоскливо — хоть топись. И надо же было лезть за этой проклятушей птицей. Из-за него и Настя обгорела,

Факт, из-за него. Не полез бы на сосну, и ничего бы не было...

С увала посыпались комки глины — кто-то спускается к реке.

— Клев на уду.

Мишка, не оборачиваясь, по голосу узнал Дунярку. Этого еще не хватало! Скрипит корзина... А черт с ней, пускай полощет — все равно не клюет.

Рядом с удилищем в парной воде закачалась и поплыла на реку длинная тень. Хлопнула корзина по дресве. Нет, это уж слишком!

— Чего встала? Места мало? Проваливай!

Молчание.

— Ну? — угрожающе повернул он голову.

Сверху на него смотрели кроткие, испуганные глаза. Завсегда вот так... Прикинется овечкой, лисой подкатит, а потом на смех поднимет. У, как он ненавидел эту притворщицу! Ну ничего, он сейчас за все рассчитается.

— И чего ты злишься? Все лето не разговариваешь...

Он всего ожидал, но только не этих плаксивых речей. Злясь на свою беспомощность, Мишка устало махнул рукой:

— Катись, тут без тебя тошно.

— Ты это все из-за пожара, да? — Дунярка дотронулась до его плеча рукой.

Мишка тяжело вздохнул.

— Не надо, Миша, слышишь? Что уж — так вышло... Ты не виноват.

Ласковый голос Дунярки теплом обволакивает истрадавшуюся Мишкину душу.

— А кто же виноват? — спросил он, помедлив.

— Кто? Ты ведь не нарочно, ты же не хотел. На войне еще не то бывает...

— Так то на войне...

— Сейчас везде война, — убежденно сказала Дунярка.

— Ты это правду так думаешь?

— Ну да, правду.

— Нет, ты не шутейно?

— Вот чудак, — улыбнулась Дунярка. — Ну честное комсомольское.

Мишка впервые за последние три дня почувствовал облегчение.

— Понимаешь, Дунярка,— заговорил он сбивчиво и торопливо. — Я ведь вовсе и не хотел... Кружит эта птица, а тут бабы: «Мишка, смотри, Мишка, смотри». Ну я и полез... Да кабы я знал... Да разве бы я... — Он был так признателен, что с языка его сами собой сорвались слова: — А я на тебя вовсе и не сержусь. Хоть тут рядом полощи. Мне-то что...

Дунярка, подавляя улыбку, разогнулась и, взяв корзину, пошла вниз по реке. Метрах в тридцати от него она остановилась и, оглянувшись, по-бабьи подоткнула подол и забрела в воду.

Солнце уже садилось за увал. Вода у берега стала малиновой. То тут, то там замигали кружки — приближался жор рыбы.

Мишка встряхнулся, переменял червяка, но глаза его так и тянулись к Дунярке... Нет, она совсем неплохая девчонка. Зря он на нее дулся. И смелая — на Партизане ездила...

Гулко плещет вода. Белье под руками Дунярки играет, как большая белая рыба. Ему чего-то стыдно и боязно, но он никак не может оторваться от Дуняркиных рук, от ее голых ног, качающихся в воде...

Дунярка быстро управилась с бельем. Он, воровато скосив глаза из-под надвинутой на лоб кепки, следил за тем, как она, выйдя на берег, отжимала подол, заправляла волосы.

— Счастливо оставаться,— замахала она рукой. — Приходи в гости, черницей накормлю. Я сегодня целое ведро принесла.

— Постой... — Мишка рванул леску, раза два крутанул ее вокруг удилица и побежал к ней.

— Дай я... оно тяжелое... намокло... — И, избегая ее глаз, он схватил корзину с бельем и без передышки втащил в крутой увал.

На горке, шумно дыша, Мишка нерешительно предложил:

— Давай посидим немного...

— Давай...

Сели прямо у тропинки на жерди.

И чего бы сказать? От клеверища сладко пахнет медом, скрипит телега на деревне, надоедливо вьется мошка над головой.

От вечернего солнца на ногах Дунярки искрятся капельки воды.

Странная, непонятная суть перехватывает Мишкино горло. Затравленно ворочая одеревеневшей шеей, он нащупывает под рукой стебелек.

— На Слуде медведь телушку слопал, слыхала?..

На ноги Дунярки медленно напоздает намокший подол...

— А я, знаешь что, Миша,— откуда-то сверху, как сквозь сон, упал голос,— учиться поеду.

Мишка все еще не оправившись от смущения, искоса взглянул на Дунярку. Поймав его взгляд, она улыбнулась, но вдруг посерьезнела и, не торопясь, словно советуясь с ним, заговорила:

— В техникум хочу. Я бы не поехала. Думала, как Настя, в колхозе работать стану. Да Лукашин очень советует. После войны, говорит, хозяйство поднимать надо. Ну мы с мамой думали-думали и решили: на агронома.

Мишка с завистью слушал Дунярку — ему-то всю зиму у пня учиться, но, спохватившись, одобрительно мотнул головой:

— Это ты правильно. Валяй!

— Только вот экзаменов боюсь... А вдруг не выдержу?

— Ну, это ты брось. За версту всех оставишь.

Круглое личико Дунярки расплылось от удовольствия:

— Ну уж, сказал.

— Ей-богу! Честное комсомольское.

После некоторого молчания Дунярка тихо сказала:

— А ты будешь мне писать, Миша?

Мишка взглянул на нее. Не на смех ли хочет поднять?

Но на него смотрели такие ласковые, такие доверчивые и упрасивающие глаза, что он совсем смутился, зачем-то взял ее за руку, но тотчас же выпустил руку и буркнул:

— Буду...

Что было делать дальше, он не знал и потому, вставая, сказал:

— Пойдем.

Он опять взял корзину на руку. По узенькой тропинке идти вдвоем было тесно, и Мишка, стараясь не глядеть на Дунярку, молча, мужественно шагал сбоку по недавно выкошенной колючей меже.

За полями, когда они вышли на домашние луга, показались две женщины. Они двигались им навстречу. У Мишки сразу отяжелели ноги, глаза затравленно забегали по сторонам. А женщины все ближе, ближе. Вот он узнал их в лицо. Варвара и Дарья — самые зубастые.

— Знаешь что... — забормотал Мишка, останавливаясь. — Ты возьми свою корзину... У меня дельце тут... Червяков копать надо... Понимаешь?

В глазах у Дунярки запрыгали насмешливые искорки.

Мишка сунул ей корзину и, припадая к земле, бросился в ложбину.

— Мишка, чего дролечку свою кинул? — Это Варвара.

Он слышит, как она, смеясь, говорит Дарье:

— Вот горе какое! Девки надо, и людей стыдно.

Когда голоса стали удаляться, Мишка, весь красный, приподнял голову. Дунярка была уже далеко. Она неторопливо шла по лугу — маленькая, тоненькая, пружинисто выгибаясь под тяжестью корзины.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Хлеба поспели сразу на всех участках, донельзя разбросанных в Пекашине. Пришлось разбить людей на звенья. Степан Андреянович с Мишкой Пряслиным, работавшим на жатке, да с вязальщицами Марфой Репишной и Варварой забрался на самый дальний участок — Копанец. Первые дни ходили домой — четыре километра туда и обратно. Потом смастерили шалаш и стали ночевать в поле.

На третий день их житья на Копанце, под вечер, приехала Анфиса:

— Худа у тебя старуха, сват; проведаль бы нынче. ...Домой он прибрел затемно.

— Пришел... — слабый голос с кровати. — А я тебя еще под окошками по шагам признала...

Степан Андреянович, не зажигая огня, подошел к кровати, наклонился над женой.

Ее опажнуло горячей хлебной пылью, солнцем, голубым небом.

— Ну как, мать?

В темноте тускло блеснули глаза;

— Нажилась я, видно, Степа...

Он тяжело опустился на край постели:

— Полно, мать, ничего-то говоришь... Может, за доктором сходить?

Тронутая вниманием, она отыскивала в темноте его руку.

— Какой уж мне доктор... Где лекарство-то против материнского сердца... — Она не договорила, закашлялась.

С тех пор как пришла похоронная, они по какому-то неписаному уговору избегали говорить о сыне, и каждый из них молча, про себя, нес свое горе.

— Какие вы все добрые... — виновато заговорила Макаровна. — А я лежу, лежу — всех связала. Кажинный день кто-нибудь проведает. То Анфиса-сватья, то Лизонька Пряслиных. Такая уж девчушка обходительная, славная. Забежит: «Не надо ли, Макаровна, свежей воды?»... А Митрий, спасибо, за родной так не ухаживают...

Отдышавшись, она с беспокойством сказала:

— Тебя бы покормить надо. А я, вишь вот, колода колодой... Срам...

— Лежи, лежи.

У него слипались глаза, в ушах стоял шорох осыпающегося зерна. Он встал, снял с вешалки какую-то одежду, раскинул на полу, возле кровати, и, не раздеваясь, прилег.

— Весь ты заробился, Степа, — вздохнула она. — Я уж и то нынче Анфисе пеняла. Совесть бы, говорю, поиметь надо...

— Всем нынче не сладко, мать.

— Да я ничего. Только в твои-то годы, сам знаешь, какво круглыми сутками на поле жить... Хлебá-то ноне ничего, говорит Митрий?

— Ничего...

— А Копанец, поди, совсем пересох... Хотела бы я еще на белый свет поглядеть. Глаза-то закрою да умою — все поля, все луга за день обойду. С каждым кустиком попрощаюсь... А ноженьки не несут — как чужие...

С полу раздался тягучий храп. Тяжелое удушье навалилось на нее. Но, боясь потревожить сон мужа, она прикрыла рот рукой и долго глухо и надрывно откашливалась...

Утром он проснулся с первыми лучами солнца. Макаровна сидела на кровати, свесив худые, жилистые ноги. Руками она держалась за лямку ремня, продернутого в железное кольцо в потолке. Когда-то из этого кольца свисал певучий березовый очеп с зыбкой, в которой качался Вася.

— А мне ведь получше сегодня. Ты как здоровья принес...

В это утро с его помощью она умылась и даже немного поела. Потом, когда обсохла роса на улице, попросила:

— Вынес бы ты меня, Степа, на волю. Уж так-то хочется поглядеть на поля да на солнышко.

Утро было жаркое, тихое. Макаровна, сидя на крыльце рядом с мужем, с волнением смотрит на огород, в котором уже отцвела картошка, на любимую рябину, склонившуюся над старой баней, на величавую густо-зеленую лиственницу. Там, внизу, за огородами, — голубые разливы лугов с чернеющими шапками зародов, за лугами серебристая Пинега, а за рекой, на том берегу, высоко-высоко на красной шелье громоздятся белые развалины монастыря. И все такое знакомое, такое родное, тысячи раз исхоженное... Славно пахнет травой, нагретой на солнце, спелым, восковым хлебом. У самых ног ее, где-то на травке у крыльца, разобрался со своей кузенкой кузнечик, и ей приятно, закрыв глаза, вслушиваться в его веселую трескотню. Потом она опять смотрит на огород, замечает неполотую грядку с луком, буйно разросшийся лопух у хлева и виновато вздыхает:

— Все-то я запустила. Еще немного — и весь заулок травой зарастет... Ты не сердись, Степа, уже скоро встану — управлюсь...

Потом она опять лежала в постели, а он сидел около нее. Время от времени она открывала глаза, смотрела на его опущенные плечи, на большие, задубелые от работы руки, вяло раскинутые на коленях, и вдруг снова, как вчера вечером, почувствовала себя виноватой перед мужем, перед всеми людьми, которых вот уже несколько недель она вяжет своей болезнью.

— Ты бы шел куда, Степа. Я ведь что — лежу...

— Да мне бы надо вилы вырубить, — вздохнул Степан Андреянович. — Вчера свои треснули, и Марфа просила...

— Иди, иди... Как же без вил. Да сколько-нибудь веников бы принес. Может, еще лист держится, а то как не у людей — не с чем в баню сходить...

Березняк поблизости давно уже был вырезан, и Степану Андреяновичу пришлось немало побродить по навидам, пока за Калинкиной пустошью он наткнулся на нетронутый выводок густых, пушистых березок. Он быстро вырубил двое вил, тут же обделал их и принялся за веники. То ли веревка оказалась короткой, то ли пожадничал, но когда завязал беремя, на земле осталась еще порядочная кучка прутьев — на добрый десяток веников. Ему жалко стало бросать такое добро. А березки вокруг так и ластились, так и играли листьям на солнцепеке.

«Дай-ко я еще порежу,— решил Степан Андреянович.— День все равно потерян, а вечером лошадь сгоняю, приволоку. Да и Макаровна на поправку пошла — потихоньку переберет, свяжет в веники. И руки не тоскуют от безделья, и дух здоровый, приятный...»

И затем, когда он подрубал молоденькие березки и обрезал ножом ветки, ему все припоминалось, как в первый год женитьбы они с женой вот так же резали веники. Макаровна, высокая, с раскрасневшимся лицом молодлица, проворно, так что треск стоит от сучьев, перебегает от куста к кусту, умело орудует ножом — хочется и веников побольше нарезать да и меньше свое перед мужем выказать. Ветер задирает подол ее сарафана. Степан Андреянович видит белые, крепкие колени жены и, довольный («ладная хозяйка попалась»), без устали хлопает топором...

Когда прутья были снесены в одно место и разостланы рядами по земле (чтобы не согрелись), он, все еще под впечатлением воспоминаний, сел передохнуть. Солнце уже поворачивало на полудник. Тихо шелестели березки. Он привалился спиной к стволу дерева и вскоре, незаметно для себя, задремал. И только он задремал, из сонной зыби снова выплыла молодая Макаровна.

Вот они с женой мечут сено на домашнем лугу. Ах, какое сено! Душистое, мелкое, как чай... С запада погромыхивает, душно, и он торопится, чтобы управиться

до дождя. А кругом — видимо-невидимо народу, и все, почему-то прервав свою работу, смотрят на них.

«Ну и молодуха у Степоники», — слышит он завистливые голоса сзади.

Ему лестно от похвалы, и он нет-нет да и взглянет на свою проворную жену. А она, молодая, нарядная, высоко стоит на зароде и ловко подхватывает своими белыми руками охапки сена.

«Ну, до дождя управимся», — радостно думает он, нагибаясь над остатками сена.

И вдруг оглушительный хохот раздается кругом. Он поднимает голову и видит: перед ним на месте зарода высится огромная копна цветов — и все какие-то красные да лазоревые, а на вершине копны вся осиянная солнцем Макаровна.

Ужас охватывает его. Где же сено? Чем он будет кормить зимой скотину? А с вершины копны по-прежнему протягивает к нему белые руки улыбающаяся Макаровна, торопит: «Степа, Степа...»

В отчаянье он хватается вилы, хочет поднять сено... и не может. Оно рассыпается, как труха. Он пробует еще и еще, все напрасно. Что же это такое? Весь мокрый от стыда и горя, он оборачивается к людям, но на лугу никого нет. А от деревни, прямо по скошенному щетинистому лугу, часто-часто перебирая голыми ножонками, бежит крохотный белоголовый мальчик. Да ведь это его Вася! Вася подбегает к отцу, выхватывает у него из рук вилы и — боже ты мой! — ребенок легко подбрасывает кверху охапку сена.

«Степа, Степа, что же ты?» — слышит он укоризненный голос жены сверху.

Почувствовав резкий укол в сердце, он очнулся. Солнце било ему прямо в глаза, по лицу тек пот. По тому, как привянули листья на ветках, он понял, что проспал не меньше часа.

Приснится же такое... Он поднялся на ноги. Мало-помалу смутная тревога и беспокойство начали овладевать им. Как она там сейчас без него? Заждалась, поди, — может, без воды лежит, а он вот заснул... И надо же было тащиться за этими вилами! Что бы посидеть сегодня дома. Ведь соскучилась она по живому-то слову. Каково это целыми днями лежать один на один со своими думами... Вечор все выпрашивала про Копанец, про хлеба, а он как не сыпал — свалился замертво...

Все больше и больше волнуясь, он торопливо приладил к вилам беремья веников, взвалил его на спину и едва не бегом направился на дорогу.

«Ничего,— успокаивал он себя,— приду, затоплю баню. Свежий-то веничек от всякой хвори хорош...»

Когда он вышел в свою бывшую навину, на глаза ему попали красные, облитые вечерним солнцем ягоды малины, которые то тут, то там мелькали в седом придорожном малиннике.

«Вот бы ей после бани чайку с малиной попить,— подумал Степан Андреянович.— Ах ты горе, посудины-то с собой нету...»

Но ему так захотелось доставить удовольствие больной жене, что он остановился, сбросил на землю ношу и, сняв с головы фуражку, побрел к малиннику.

Теплые спелые ягоды плющились под деревянными, негнушимися пальцами, кропили их алым соком. Иная перезревшая ягода срывалась с черенка, едва он дотрагивался до куста руками. И он терпеливо нагибался, ползал в колючем малиннике и все представлял себе, как обрадуется Макаровна ароматной ягоде...

На деревне уже сгущались сумерки, когда он вошел в свой заулоч.

— Федосья, Феня... — тихонько побарабанил он в окошко, подавая весть о своем приходе.

Он скинул на крыльцо беремья, поставил вилы сохнуть к стене и, взяв в руку фуражку, стал открывать ворота.

— Феня, как ты тут без меня? — зашептал он с порога.

Никто не ответил ему.

— Спишь? Ну-ко, проснись. Я вот тебе малинки принес...

И он, протягивая вперед фуражку, на носках шагнул к кровати:

— Феня...

От подушек, там, где неподвижно лежала голова Макаровны с восковым лицом, роем, жужжа, поднялись мухи...

Хоронили Макаровну на третий день, перед закатом солнца. Два дня и две ночи лежала она в гробу, посреди избы, ожидая последнего прощания с дочерью и внуком, которые страдали на дальних сенах.

Провожали ее старые, да малые, да те, кто работал поблизости. Степан Андреевич сам вел в поводу лошадь. За гробом, прикрытым белым холстом, глухо рыдала дочь Марья, поддерживаемая сыном Егоршей. Они приехали за каких-нибудь полчаса до выноса гроба из избы и не успели даже привести себя в порядок,— так и шли в грязных по самое колено сапогах, в рабочей одежде, пропахшей дымом.

Всех удивил своим безутешным горем Трофим Лобанов. Он брел позади и, мотая лохматой, посеревшей от хлебной пыли головой, навзрыд плакал. Кто знает, что было у него на душе. Предчувствие ли того, что и он уж недолго заживется на этом свете, или ему вспомнилась своя прошлая жизнь, из которой вот сейчас уходил еще один близкий человек... Кто знает...

Могила была вырыта на сухом, песчаном месте. Кругом рос молодой сосняк; вечерний воздух был напоен густым ароматом смолы. И скоро среди замшелых, побитых коровьими копытами холмиков вырос еще один свежий песчаный холмик, а на нем забелел столбик с вырезанной надписью:

*На сем месте покоится
тело рабы божьей
ФЕДОСЬИ МАКАРОВНЫ СТАВРОВОЙ
от роду 60 лет*

Люди постояли, повздыхали, поклонились последний раз земным поклоном покойнице и молча и медленно стали растекаться по тропкам кладбища, по пути навещающая могилки родных.

На другой день утром, когда только что начала просыпаться деревня, многие хозяйки, затопляя печь, видели высокого, белого как лунь старика, шагающего с котомкой за спиной по безлюдной дороге. На плечах он нес новые белые вилы. Длинная тень, ломаясь, скользила по стенам изб, и в звонкой тиши росного утра долго слышались его тяжелые шаги.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

И о чем только не передумаешь за день, покачиваясь на пружинистом сиденье жатки! Перед глазами плывет и плывет до смерти надоевшей ячмень, взлета-

ют, хлопают грабли, шуршит пересохшая солома. От неподвижности занемела поясница. А думы все лезут и лезут в голову...

И чего там такое на фронте делается? Вчера Лукашин опять говорил: наши город оставили. Только и слышишь: оставили, оставили... Эх, кабы не мамка с ребятишками, задал бы стрекача на фронт — баста! Уж он бы показал, как воевать надо!

Мишка представил себе, как бы он убежал из дому. Месяц, два, три — никакой вести. В деревне переполох: где да где Мишка, а мамка-то убивается... И вдруг — бах во всех газетах: «Геройский подвиг комсомольца Пряслина». Большущими буквами по всей странице. И тут же портрет самого Мишки: в пилотке, сбоку наган, а то и два, на гимнастерке ремни, как у Харитона Лихачева, а на груди — ордена и медали. «Ну, — скажут пекашинцы, — всего можно было ожидать от Мишки, потому как геройски показал себя еще в колхозе, но чтобы такой подвиг — нет, не ждали...»

— Да, — вздохнул Мишка, — а тут мамка с ребятишками.

Ну как их оставить? Мамка такая маленькая, плаксивая. Пропадет без него, как есть пропадет. Нынче моду завела: что получше — за обедом ему сует. Надо будет это отставить!

...А все-таки какая ерунда получается! Пропaday всю войну в деревне с бабами. И чего бы не родиться ему лет на пять раньше?

Солнце перекрыло накатившейся тучкой. Вспорхнул ветерок. Напотевшую шею лизнуло холодком. Измученные лошади пошли быстрее. В воздухе, кружась, пролетели два-три желтых листка. Мишка долго провожал их глазами, пока они не скрылись в плакучем березняке, в котором то тут, то там выделялись желтые пряди.

«Вот и осень не за горами», — подумал Мишка, и ему стало совсем грустно. Скоро все пойдут в школу, а он — нет... В лес, на лесозаготовки, — это уже решено. Разве мамке одной вытянуть? Ну да ничего! Он, Мишка, не пропадет, свое в жизни возьмет с процентами, а учиться, что ж, — всегда можно. Вот Павка Корчагин. В школе-то учился еще меньше, чем он. Проклятый поп за махру высадил! А какой человек вышел!.. Интересно, догадывается ли мамка, как он решил про школу? Все равно — пускай что угодно говорит, а он, Мишка, решил

накрепко: с ученьем поощрять. А вот Лизку с Петькой да Гришкой — учить! Хоть разорваться, а учить! И где только обутку взять?..

И Мишка, бог знает в который раз, принялся перебирать всевозможные комбинации, которые можно было предпринять с разным домашним старьем.

«Ну хорошо, — старался он рассуждать спокойно. — Петьке из старых мамкиных сапог сделаю, Гришке Лизкины перетяну, — это мы можем. А вот что Лизке? Из чего бы Лизке сапожонки смастерить — хоть убей, не придумаю... Ну а Федюшка да Танюшка — о тех забота мала, на печи перезимуют. Жалко Федюшку, да что поделаешь? А мне придется папкины донашивать...»

Горячий комок подступил к горлу Мишки. Он тряхнул головой и огромным напряжением воли заставил себя не думать об отце.

Вскоре мысли его целиком сосредоточились на лесозаготовках. Удастся ли ему попасть на курсы трактористов, которые открываются в этом году в леспромхозе? Неужели опять к годам придираются будут? Прямо-таки беда с этими годами. Ни на войну, ни на подходящую работу. Ну да черта с два! Раз у него талант по машинной части — не удержишь. Только бы у трактора оказаться, а уж на трактор он залезет, будьте спокойны! Да это еще не все. То ли еще сделает! Ночей спать не будет, а лес на избу заготовит. Иначе какой он хозяин! Мамка теперь уже глаз с прогнивших углов не сводит. Погоди маленько. Не сразу Москва строилась. Сперва лес, а потом уж стены.

У Мишки дух захватывало, когда он рисовал себе будущую новую избу. Обязательно в лапу, как у Феди Кротика и Варвары. И чтобы с этим чердачком наверху, или как его — мизинчиком зовут... Уж он постарается! Сам плотничьему делу выучится, а сделает так, что комар носу не подточит. А прохожие-то будут дивиться, спрашивать: «Чей это такой дом?» — «Михаила Ивановича», — скажут земляки. «Это какого Михаила Ивановича?» — «Старшего сына Ивана Пряслина, что на войне погиб». — «Да... — призадумаются люди. — Ивана Пряслина сами знавали, а чтобы у него сын такой — не слыхали». — «И не мудрено, — скажут земляки. — Нашему Михаилу Ивановичу всего пятнадцать лет...»

Размечтавшийся Мишка едва не сунулся носом в землю, Лошади внезапно остановились,

— Но, черт, балуй...

Лошади рванулись и опять остановились.

Что еще там такое? Он слез с сиденья, распрямил занемевшую спину, потом, обойдя платформу, нагнулся над режущим аппаратом. Ну, конечно, в зубья земли набилось.

Он терпеливо очистил руками зубья, окинул взглядом поле. Кошеница, кошеница... Ничего себе, гектара два после обеда сдул...

В воздухе парило. Мокрая рубашка льнула к телу. Над головой вились стрижи.

— А ведь, чего доброго, дождь будет,— сказал Мишка, вглядываясь в небо.

Ох уж это бабье! Работай тут с ними. Обещали сразу после обеда, а теперь часов семь,— прикинул он время по тени. Сидят где-нибудь, чешут языками.

Он поднял с поля горсть кошеницы, помял в руке. Дождь будет — вишь, и солома отмякла. Затем, скрутив вехоть, протер им мокрые спины запарившихся лошадей, поправил шдеи, пощупал под хомутами.

— Ну что, милые, утомились? — Мишка потрепал по мягким губам тяжело дышавших лошадей. — Ничего, часика через два травку щипать будем. Травка вкусная, зеленая.

«А может, не косить больше? — подумал он, опять поглядывая на небо. — Дождь зарядит — один черт пропадать».

В это время сбоку на дороге послышались голоса, затем показались и сами вязальщицы: Варвара, Марфа, Дарья, Василиса...

Плывут. И по дороге языком вертят. Ну он сейчас высыплет чертей!

— Эй, вы, уснули там! — закричал Мишка, и вдруг слова застряли у него в горле.

Из-за куста вынырнул красный сарафанчик. Дунярка... Она вприпрыжку, бойко размахивая соломенным вяслом, догоняла вязальщиц. Что это? Машет ему рукой... Сердце у него радостно забило. Дунярка!.. Но в ту же секунду страх охватил его, и он со злостью подумал: «Размахалась. Бабы увидят — начнут кости перемывать». Он повернулся спиной к вязальщицам и начал старательно подтягивать узду на лошади. «Дурак! — раздумал Мишка. — Кого испугался? Бабья!»

Он сунул руки в карманы штанов и, приняв решительную позу, стал ждать, когда поравняются с ним женки. Покажи им, покажи, где раки зимуют!

— Вы бы еще ночью пришли! — закричал он подходившим вязальщицам.

— А ночью-то не струсил с бабой встретиться?

— Чего плетешь? — крикнула на Варвару Марфа. — Знай, с кем шутишь.

— Ты, Марфинька, не думай. Он из молодых, да ранний. На днях идем к реке — с тобой, Дарка? — что за диво? Кавалера да барышню только что впереди видели, а повстречали — одна Дунярка. Куда девался кавалер? Смотрим, а кавалер наш сидит в ляге. Голову в землю уткнул, одна рубаха белеет. Верно говорю, Мишка?

Мишка стоял, сжимая кулаки в карманах, и ненавидящим взглядом провожал женщин, проходивших мимо него по меже.

Вдруг он с ужасом увидел: к нему по полю бежит Дунярка... Топ, топ, топ...

— Чего тебе? — прохрипел Мишка.

— Миша, знаешь чего, кино сегодня. Так ты приходи. А как кончится кино, подожди меня за клубом. Знаешь, у братской могилы. Ладно? Я завтра уезжаю.

Дунярка, доверчиво взглянув Мишке прямо в глаза, сунула ему что-то в руку:

— Это тебе... сама вышивала...

Зашуршала солома под убегающими ногами.

Мишка разжал руку. На ладони лежал крохотный, как цыпленок, пестренький платочек.

Заливаясь краской, он повертел головой: «Ну и ну, вот так штука...»

— Что, Дунярка, поговорила с дrolечкой? — Это опять Варвара.

«Ну, погоди у меня, — стиснул зубы Мишка. — Тресну где-нибудь из-за угла, небось язык-то сразу покороচে станет».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Кончив работать, Мишка быстро выгнал лошадей на свежую отаву и, радостно крикнув им: «До завтра!» — выбежал на полевою тропинку.

Солнце уже опускалось на верхушки леса. В низинах поднимался туман.

Рысью, рысью, Мишка!

В придорожных кустах лениво вспархивают потревоженные птицы, отогнутые голенища сапог хлопают, как крылья.

...Надо будет рубаху надеть сатиновую, а то как трубочист. И как это она при всех подошла давеча?.. Платочек подарила. А чего с ним делать, с этим платочком? Увидят ребята — обсмеют. Отец-то у нее черт догадливый. Как в воду глядел. Наверно, придется жениться на Дунярке. Ну и что, все женятся...

Терпко запахло конопляниками. Вот и болото. За болотом серая крыша гумна с молотилкой, бани, первые дома, а там и их дом.

Тропинка, огибая старую насыпь камешника, сворачивала на широкий разъезженный большак. Мишка приостановился, посмотрел на петляющую стороной дорогу. Э, давай прямо, раза в два ближе.

По голенищам захлестало росяной травой, сыро... Трещат сучья под ногами. Кусты, кусты... Вязнут ноги, хлюпает вода. Бывает же такая пакость на земле! Потом клочья, клочья... Раз прыжок, два прыжок... Выбрался! Сухое болото, редкие сосенки-мутовки. Нестерпимо запахло багульником, из-под ног дробью посыпались мелкие лягушата. Вот где приманки-то для шук... И как это он раньше не догадался?

На деревне хлопнул движок. Мишка вздрогнул. Неужели началось кино? Еще хлопок, еще — и смолкло. Нет, это моторчик пробовали.

Ах, Дуняра, Дуняра! И как это — после кино за клубом? А ну как увидят? Ну и пускай... Вот возьмет да сядет в кино рядом назло всем.

Быстро надвигается стена гумна. Жми, жми, Мишка! Ух, вот и дорога, гумно... Надо хоть немножко сапоги о траву вытереть.

Что это там? Крик на гумне?

— Под суд захотела? — Да ведь это же голос Анфисы Петровны. Кого она так разделяет?

В несколько прыжков он достиг стены гумна, припал глазами к щели.

Мамка?.. Чего это она сидит у вороха зерна и лицо руками закрыла? Над матерью — Анфиса Петровна, тычет ей рукой в колени:

— Ты подумала, что сотворила? Подумала?

Страшная догадка мелькнула у Мишки: ему показалось, что на переднике у матери зерно.

— Да за такое дело знаешь что? На десять лет сажают.

Рука его скользнула по стене, и он ткнулся коленом в землю. Встал, медленно побрел прочь. Вдогонку ему голос Анфисы Петровны, всхлипывания матери.

Он вздрогнул, спотыкаясь побежал.

У колодца шум, говор, смех. Его как подбросило. Наверно, все, все знают...

Он кинулся с дороги в сторону и, нагнувшись, побежал картофельниками. Потом перелезал через какие-то изгороди, жался к стенам домов, чтобы избежать встречи с людьми, опять перелезал через изгороди. Темной стеной встал перед ним кустарник. Он оглянулся — ничего не видно; сел в траву.

— Робятища, жмите, жмите ее...

Да ведь это Лизка с ребятами овцу загоняет. Откуда Лизка? Почему Лизка? Приподняв голову, он поглядел вокруг себя и в темноте справа различил амбар. Так он в своем огороде...

Голубым чудесным виденьем вспыхнуло перед ним жаркое июньское утро... Отец... прощание с ним...

Затрещал движок у клуба. Мишка вскочил на ноги, сделал несколько шагов и опять сел. Нет, нет...

Глухое отчаяние придавило его к земле. Ему было жалко себя, жалко Дунярку. Наверно, опять подумала: надул Мишка...

В кустах что-то зашуршало, забарабанило. На лицо ему упало несколько капель. Дождь... Но он даже не пошевелился.

Потом дождь перестал, и на черном небе высыпали холодные, бесконечно далекие звезды.

Громко хлопал движок у клуба.

А он все сидел в мокрой траве — один на один с этим огромным непонятным миром — маленький, несчастный, и молча плакал...

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Весь вечер — разговаривала ли Анфиса с людьми в правлении, доила ли дома корову — из головы у нее не выходил случай на молотилке. Анну Пряслину — за

таким делом застала... Да что она, с ума сошла? Не себя, так хоть бы ребят-то пожалела...

Ей вспомнился давнишний случай. Года за три до войны вот так же захватили с колосом Манефу Яковлеву. И всего-то с килограмм было. А вскоре дом заколотили, детей забрала к себе сестра. Нет, нет... — говорила себе Анфиса. Чтобы она да своими руками... Этаких-то малышей... Мало их война осиротила...

В полном отчаянии, не зная, на что решиться, она села ужинать. Кусок не лез в горло. Гнев и обида душили ее. Разве не могла она, та же самая Анна, попросить добром? Да разве она, Анфиса, не заботилась о ней? Кажись, кому-кому, а ей не отказывала.

Хлопнули ворота, стук в дверь.

— Что там еще за стуки? Входи.

Дверь отворилась, и порог переступил кто-то мокрый, сгорбившийся. Мишка!..

В сердце Анфисы вдруг что-то кольнуло.

— Ты чего не в кино? Где тебя носило? Весь мокрый — как из воды. Садись со мной ужинать.

Мишка отрицательно мотнул головой, сел к печке.

— Да что с тобой? Ты здоров, парень?

— Отправь меня в ремесленное... — глухо сказал Мишка, не поднимая головы.

— Тебя? В ремесленное?

Она взяла со стола керосинку, подошла к нему, осветила.

Он сидел с опущенной головой. С мокрых, взъерошенных волос капала вода, одежда и сапоги захлестаны грязью, травой, — как, скажи, по земле катали его.

Она сунула керосинку на печку, наклонилась над ним, взяла за подбородок.

— Где тебя так?.. — и осеклась.

В лицо ей глянули измученные, исстрадавшиеся глаза — и она без слов поняла: все знает...

— Дай справку, а то сам убегу.

Она медленно выпрямилась:

— А ты подумал... о ней-то?..

Мишка остервенело взмахнул кулаком:

— Раз так — к черту! Пушай как знает...

— Ты что говоришь? Что говоришь? — вскипела Анфиса. — Это о матери-то? Это мать-то родную к черту? Молокосос! Мать о них убивается, света белого не ви-

дит. Ты смотри, на кого она похожа — как щепка высохла.

— А мне, думаешь... Я сам... я сам... Папа на фронте... а она...

Мишка схватился руками за голову и затрясся в рыданиях.

Она смотрела на его костлявые вздрагивающие лопатки, обтянутые старой, выгоревшей отцовской гимнастеркой, на его худые красные руки с большими кистями...

Господи, да ведь он еще совсем, совсем ребенок. Вишь, и шея — каждый позвонок наперечет. А мы навалились, как на мужика, замучили парня. На днях на час выехал позже в поле — проспал, наверно, так она же его и разругала. А сколько ему — это в его-то годы! — пришлось пережить, перестрадать? Отца убили, семья — мал мала меньше. А тут еще с матерью...

— Ну что ты, Миша, не надо. Сейчас всем тяжело... А ты пойми мать-то, ее тоже понять надо. Разве она... от хорошей жизни? Разве она для себя? Жизнь, Мишенька... Ох, как тяжело... А куда она без тебя? Ну, посуди ты сам, куда она без тебя? Нехорошо ты надумал, Михаил...

Мишка, вздрагивая всем телом, еще ниже наклонил голову.

— А мы-то как, колхоз?.. Ты ведь работник — золото! Вчера женки говорят: ну кабы не Мишка, пропадать на Синельге до самого снега. А домашние луга? Не Татьяну же Рудакову благодарить.

Мишка, ширкая носом, недоверчиво приподнял заплаканное лицо.

— А о матери ты не думай. И слова никому не говори. Приди домой и виду не показывай. Ты ведь мужик, смотри, какой! — мать-то небось до плеча будет...

Раскрытый рот у Мишки опять задрожал.

Ей было жалко, ох как жалко этого славного, работающего паренька, которого так рано пришибла жизнь!

Она сняла с головы платок, протянула ему:

— На-ко, вытрись. Ты думаешь, она что?.. — снова заговорила Анфиса, собираясь с мыслями. — Помнишь, весной семян хватились — а их нету... Вот кого под суд отдавать надо. А твою мать... Да за что же? — обратилась она с вопросом не столько к Мишке, сколько к самой себе,

Потом она придвинулась к нему ближе, обняла за мокрые плечи. Он попытался отодвинуться, но рука ее, теплая, ласковая, удержала его. На печке слабо потрескивал фитилек керосинки, чуть-чуть раздвигая избушную темень. Она глядела на осунувшееся, носатое лицо Мишки и, еще крепче прижимая его к себе, шептала:

— Ничего, ничего, Миша. Все пройдет, пройдет это... А как кончится война — вот заживем... Дома выстроим новые, в каждом доме коровы, овцы будут... и хлеба — сколько хошь хлеба. А на работу-то как на праздник выходить станем. А ты — большой, сильный, как отец... И Лизка вырастет, и ребята вырастут. Да как все-то вшестером на пожню выйдете... Целая бригада Пряслиных. А сейчас ты им вместо отца — понимаешь?

Мишка вышел от Анфисы Петровны, когда в клубе уже не было огня. Темень, хоть глаз выколи. Он брел посередине дороги, хлопая по лужам, по грязи. Сверху надоедливо моросило.

Дома — крохотный огонек. На дороге — тень матери. Его ждет...

Он потихоньку подошел к окошку. Мать сидела, пригнувшись к столу, прикрыв рукой лицо. Голова ее то клонилась вниз, то снова поднималась.

Сидя спит, а ждет... Сердце его дрогнуло от жадности.

Он кинулся к воротцам, с трудом нащупал крючок. Но у крыльца опять остановился. По крыше монотонно шуршал дождь, натужно пыхтела во дворе корова. И то, что еще недавно, после разговора с Анфисой Петровной, казалось таким простым и легким, снова тяжелым камнем легло ему на сердце.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Сводки с фронта становились все тревожнее и тревожнее. Что ни день — падали новые города. Черные клинья на юге все глубже врезались в тело страны.

По вечерам теперь редко кто подходил к карте. Люди торопливо справляли свои дела и, неразговорчивые, угрюмые, избегая взглядов друг друга, словно они сами во всем были виноваты, выходили из правления. От тяжелых дум спасались только в работе. Трудились молча, с ожесточением, и редко-редко вспыхивала на

поле шутка. Даже дети и те притихли, воробьиными стайками жались к взрослым.

В полдень деревня казалась нежилой: лишь у какой-нибудь избы на завалинке можно было увидеть одинокую дряхлую старуху, которая непослушными старческими руками творила крестное знамение да шептала молитвенные слова о ниспослании победы над ворогом...

И вдруг в эти тяжелые дни газеты принесли потрясающую новость: наши наступают!

— «От Советского Информбюро. В последний час... — по складам, с трудом веря тому, что написано, читала Анфиса. — Наши войска на Западном и Калининском фронтах перешли в наступление и прорвали оборону противника. Немецкие войска отброшены на 40—50 километров. Нашими войсками захвачены следующие трофеи...»

Через час эта новость облетела всю деревню. А к вечеру, несмотря на то, что дождило, у правления колхоза собралась толпа женщин и ребят. Всем не терпелось своими ушами услышать радостные вести из Москвы. Надежду Михайловну, заменявшую теперь Настю в роли комсорга, засадили за радиоприемник: не пропусти, улови известия.

У крыльца, под новым навесом, шутили, смеялись. Ребята, чтобы не прозевать начала известий, мокли под раскрытым окном, на подоконник которого был выставлен радиоприемник.

Толпа еще больше оживилась, когда на дороге показался Трофим Лобанов. Он топал прямо по середине дороги, не разбирая ни луж, ни грязи, и время от времени что-то выкрикивал своим утробным голосом.

По сторонам за ним, не смея приблизиться вплотную, бежали босоногие ребяташки, донельзя довольные этим зрелищем.

— Ну как в старое времечко, — усмехнулась Варвара. — А я уж думала, война и Троху доконала. После смерти Макаровны темнее тучи ходил, а он, вишь, вот снова воскрес.

Меж тем Трофим, не доходя саженей десяти до женщин, вдруг остановился, тяжело повертел сивой, лохматой, как помело, головой и уставился на них своими круглыми немигающими глазищами.

— Люди! — громогласно возвестил он, тыча себя пальцем в грудь. — Троха сегодня пьян!

— Видим — не слепые, — с нарочитой серьезностью ответили колхозницы.

— А почто Троха пьян?

— Кому не вестимо, Трофимушко, — сдерживая улыбку, сказала Варвара. — Сегодня бы всяк выпил, да не у всякого есть.

— Нет, ты скажи, почто Троха пьян? — допытывался Трофим.

— Да ведь радость, говорю, сегодня — грех не выпить.

Но Трофим и этим ответом не удовлетворился.

— А ты скажи, где мой Макс?

— Как где? На фронте.

Трофим сердито сплюнул:

— Фронты, они разные... А мой Макс на том самом, где немца турнули.

— На Калининском?

— Во-во! На ем самом.

— Да когда же он это перелетел? — Варвара лукаво подмигнула женкам: послушайте, что сейчас навораживать будет. — Ты недавно сам сказывал, что твой Максим под Ленинградом.

Трофим растерянно заворочал глазами, но нашелся:

— Был и под Ленинградом. А что? Разве моего Макса будут держать на одном месте? Где затор — туда и Макса! — решительно рубанул он. — С неделю назад получаю письмо. Отец, говорит, меня переводят в другой фронт... Ну, думаю, неспроста. Раз моего Макса переводят — жди делов, всыпят немцу.

— Признайся, Трофимушко, загнул немножко, — добродушно сказала Дарья.

Трофим ударил себя кулаком в грудь:

— Вот те бог, забожусь — чистая правда! Мой Макс — сила! Быка наповал убивал, а уж эту немчуру...

Никто не помнил, чтобы Трофимов Максим убивал быка, но кто же сегодня станет придираться к каждому слову. И Трофим, никем не остановленный, забирал все выше и выше.

— У меня четыре парня на войне! — потрясал он кулаком. — И хоть бы царапнуло какого! Моих ребят никакая пуля не берет! Нет еще такой пули на свете, чтобы Трохиных ребят...

Но тут женщины разом обрушились на него:

— Чего эдакое мелешь?

— С ума спятил?

— Разве этим хвастают? Беду накликать хошь?

Трофим, видимо, и сам понял, что хватил через край. Он топнул ногой, одичало помотал головой, что должно было означать крайнюю степень опьянения, и тотчас же оседлал своего любимого конька.

— У Трохи вина — Двина! — вдруг заорал он без всякой связи с предыдущим. — Столько лошадь воды не выпила, сколько Троха вина... Приходи... Сейчас не то что до войны, а трезвой из моей избы не уйдешь!

— Вот так-то лучше, — добродушно заулыбались колхозницы, которым хорошо была известна цена Трохиного хлебосольства.

Случилось это еще до колхозов. Жил тогда Трофим бедно, еле концы с концами сводил — и все, как говорил он сам, из-за чертовой бабы, которая тащила ребятешек, как щенят. Из-за этого Трофим сделался страшно скуп, пытался экономить на всем, и прежде всего на еде. В великий пост, рассказывают, ребятешки у него макали молоко шилом через тряпицу. По словам же Трофима, они это делали из-за своего примерного благочестия. И, однако, не проходило ни одного праздника, чтобы Трофим не напивался «в стельку», «в дымину», как он любил выражаться, и чтобы не орал на всю деревню: «У Трохи вина — Двина!»

Мужики с завистью поглядывали на Трофима и одного понять не могли: откуда же у него такие деньжищи?

Но скоро разгадка явилась сама собой.

Однажды о богородице Трофим, по своему обыкновению, шел, пошатываясь, по деревне и во всю глотку кричал излюбленные слова: «У Трохи вина — Двина!» Около магазина ему повстречался пекашинский зубоскал и пьяница Пека Векшин, который тут же бесцеремонно стал навязываться в гости.

Трофим было на попятный: есть, мол, квас, да не про вас, но кругом были люди, и он, быстро передумав, хлопнул Пеку по плечу:

«Пойдем, Пека, запою! До белой горячки запою...»

Дома Трофим усадил дорогого гостя за стол и после долгой отлучки из избы вернулся с четвертинкой.

«Начнем с маленькой, а к окяну приплывем», — успокоил Трофим Пеку.

Ну, с маленькой, так с маленькой — лишь бы кокиану приплыть.

Выпили по рюмашечке.

«Что, парень? — крикнул от удовольствия Трофим. — Небось как Христос по сердцу прошел? У Трохи не вино — причастье!»

Выпили еще по одной. Вдруг Трофим спрашивает:

«Ты, Пека, того... не запьянел?»

«Да с чего? Уж не с этого ли наперстка?»

«Трохин наперсток иного ведра стоит», — отрезал Трофим.

После третьей он снова спросил:

«Налить еще, Пека? Устоишь? Дойдешь до дому?»

Пека только руками развел:

«Да ты смеешься, Трофим?»

«Какой тут смех, когда ты руками машешь?»

Пека вспыхнул, начал вставать из-за стола. Трофим Пеку успокаивать, а тот свое — хочет встать. За этой возней кто-то из них нечаянно смахнул со стола рюмку.

«Ты во как! Посуду бить! — взбеленился Трофим. — Это за мое-то угощенье?»

Пека оторвал от себя хозяина, кинулся к дверям. Тогда Трофим заорал на всю избу:

«Макса, хватай его! Он с пьяных глаз весь дом разнесет».

В ту же секунду с полатей соскочил старший сын Максимко и по-медвежьи облапил сзади Пеку.

А через несколько минут Трофим шел по деревне и всем встречным говорил:

«Пеку Векшина запоил сегодня. Всю посуду у меня перебил. Лежит на сеннике без задних ног... Весь дом винищем провонял. Скотина от тошноты стоном стонет — хоть из двора выводил».

Постепенно около Трофима собралась толпа любопытных, которая выразила желание посмотреть на распяняющего Пеку. И ведь понимал Трофим, что нельзя вести к себе мужиков, но такой уж он был: начнет хвастать — остановиться не может.

«Пойдемте, все пойдемте! Всех запою! Дальше порога моей избы никто не уйдет».

А когда мужики, предводительствуемые хозяином, подошли к его дому, то увидели: во дворе, вызволен-

ный парнями, стоит трезвехонький Пека Векшин и на все лады поносит Трофима Лобана.

Вот почему сейчас, много лет спустя после этой истории, когда Трофим стал похвально винить, никто не придавал значения его словам.

А Трофим не унимался.

— Сейчас — не до войны, — кричал он, — не скажу, что запою, а все равно трезвой из моей избы не уйдешь!..

Под конец, когда пришла старуха и стала упрашивать его идти домой, Трофим еще пуше начал куражиться и дошел до того, что растянулся на мостках.

— Ты, Трофимушко, пьян, да умен, — съязвила Варвара. — Небось в лужу не упал — на сухое норовишь.

— А ты что? — рывком приподнялся Трофим. — Покупала мне рубаху, чтобы в лужу?

Но одумавшись, он так топнул, что брызгами окатило женщин и ребятишек.

— Очумел, старый дурак! Будешь ерепениться — свяжем да бросим на задворки.

— Ха-ха-ха!

— Что вы с пьяного хотите, — примирительно сказала Дарья.

Ободренный ее сочувствием, Трофим заорал, размахивая руками:

— Все сокрушу!.. В гитлерину мать!.. Я бы этого Гитлера!..

— А что бы ты, Трофимушко, сделал? Ну-ко?

— Я бы этого Гитлера... я бы... — и тут такое завернул Трофим, что все схватились за животы.

— Тише, тише! — высунулась из окна Наденька. — Сейчас будут передавать известия.

Женщины, позабыв о Трофиме, кинулись к окну.

Несколько минут приемник визжал, задыхался от хрипа, затем сквозь хаос режущих звуков прорвался твердый басовитый голос:

— Над нашим Отечеством нависла смертельная опасность... Враг ломится к Волге, в глубь Кавказа, угрожает самым важным жизненным центрам страны... Ни шагу назад, красноармеец! Твоя сестра, твоя мать призывает тебя к защите и к мести. Помни: перед тобой враг, который убил старика — такого же, как твой отец, изнасиловал девушку — такую же, как твоя сестра, твоя невеста, погнал в рабство женщину — такую же, как твоя жена, твоя мать...

Наденька, не в силах больше слушать, резким движением выключила приемник. Потом, когда, собравшись с духом, она посмотрела на улицу, под окном не было ни ребят, ни женщин.

Только посредине двора немо и неподвижно стоял под дождем грузный, приземистый старик.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Анфиса старалась подбодрить, встряхнуть приунывших колхозников. За день она успевала побывать на всех полях и всюду с жаром принималась жать, вязать снопы. И ее присутствие — она это видела — как-то успокаивало, приподнимало людей. Уж на что, кажется, тверда и невозмутима духом Марфа Репишная, а и та однажды сказала: «С тобой веселее, девка, — чаще бывай у нас».

Но потом в колхозе стала отставать просушка снопов (немногим женщинам была под силу эта работа), и Анфисе пришлось самой взяться за это дело. Она рубила в лесу новые жерди и подпоры, ставила новые перетыки вместо прогнивших, подвозила снопы с поля, вешала их на жерди, — и все сама, все одна. На людях как-то забывались на время, рассасывались в общей тревоге безрадостные мысли, а теперь, когда она прясла одна, горькие раздумья не покидали ее.

В этот день ей было особенно тяжело. Утром конюх Ефим, помогая ей запрягать коня, хмуро сказал:

— Слыхала, немцы на Волгу вышли...

Она не задумалась тогда над этими словами: может быть, оттого, что конь бился и она торопилась, а может быть, потому, что в то лето так много было плохих вестей с фронта, что, кажется, трудно было чем-нибудь удивить.

Страшный смысл Ефимовых слов дошел до нее тогда, когда она, переехав болото, стала поить коня в ручье.

«Да ведь это же Волга! Волга...» — изумилась она.

Ни разу в жизни не довелось ей бывать дальше районного центра, и она не знала даже, как выглядит город. Но Волга, Волга-матушка... Да не проходило праздника в деревне, чтобы о ней не пели! И каждый раз, когда она слышала песенные разливы или подпе-

вала сама, в душе ее поднималось что-то большое, широкое и светлое. И вот уже лиходеи на Волге...

Стоя на скамейке у прясла, она машинально наклонялась к снопам, лежавшим у ее ног, и так же машинально вешала их на жердины. Страшное известие не выходило у нее из головы.

«Да что же это такое? Как же так?..» — спрашивала она себя.

У нее то и дело навertyвались слезы, и, прислонившись к пряслу, она подолгу смотрела на безлюдную дорогу, на выжатые поля, поблескивавшие золотой щетиной жнивья. Потом спохватывалась, начинала лихорадочно работать, но проходило немного времени, и снова опускались руки, и она опять стояла, прислонившись к пряслу, и смотрела на дорогу, на поля.

Ох, какая тоска... Хоть бы одна живая душа показала, хотя бы птица пролетела мимо... В голубом воздухе было по-летнему тепло и безветренно, но тихая осень уже распускала паутинки, пятнила золотом кустарник, выводила свои неживые узоры в не скошенной на промежке траве. Откуда-то издалека — должно быть, с Сухого болота — раз пять донесся тревожный вскрик журавлей, и от этого становилось еще тоскливее.

И вдруг ласковый голос у ног:

— Здравствуй, Анфиса.

Она схватилась за сердце, присела. Несколько секунд она глядела на Лукашина растерянными, изумленными глазами, затем лицо ее, мокрое от невысохших слез, озарилось радостной улыбкой.

Белый платок у Анфисы сбился на затылок, на черных волосах, на изогнутых бровях мягкими узорами хлебная пыль...

Какая-то мальчишеская восторженность охватила Лукашина. Он протянул к ней руки, и не успела она охнуть, как уже стояла на земле, а он возвышался на скамейке и, озорновато подмигивая ей, говорил:

— Работнем, председатель!

Все это было так неожиданно, так необычно, что она все еще не могла прийти в себя и, закинув кверху голову, смотрела на него мокрыми, счастливыми глазами.

— Ну же! Ну! — торопя, протягивал к ней руки Лукашин.

Тогда она, по-детски зажмурившись, тряхнула головой и, словно пробуждаясь от сна, вдруг проворно нагнулась и подхватила большую охапку снопов.

Она не спрашивала, откуда он появился, не спрашивала, почему долго не было его в Пекашине, и, странное дело, не искала даже утешения в том, что так тревожило и угнетало ее весь день. С приходом Лукашина как-то сразу исчезли все сомнения и тревоги, и ей стало легко.

Быстрыми, ловкими движениями она захватывала снопы, вскидывала их кверху и, глядя на Лукашина сияющими глазами, совала их ему в протянутые руки.

Лукашин оказался бывалым работником. Она это сразу оценила и по тому, как он уверенно, по-хозяйски, расставив ноги, стоял на скамейке, и по тому, как умело и расчетливо подхватывал снопы и с каким-то особенным мужским шиком вешал их на жерди.

— А ведь ты настоящий мужик! — рассмеялась вдруг Анфиса, неожиданно для себя называя его на ты.

Он ничего не ответил, только лицо его, блестящее от пота, расплылось в довольной улыбке да еще шибче заходили руки.

Скоро ячменная пыль да ость покрыли его волосы, лоб, гимнастерку, и от этого он стал еще ближе, еще роднее.

Они не слышали, как к ним сзади подошел Федор Капитонович:

— Вот как ладно. А я иду да думаю: чья бы это пара? Молодых сейчас нету, а тут, гляжу, не работают, а играют.

Темное облачко нашло на лицо Анфисы. После того как Федора Капитоновича сняли с бригадиров, он присмилел и даже исправно работал в колхозе. И все-таки у Анфисы не лежала к нему душа. И ей показалось, что не к добру эта встреча. Но Лукашин, разгоряченный, потный, уже протягивал к ней руки, и она снова нагнулась к снопам.

Час спустя Лукашин спрыгнул со скамейки на землю.

— Ух, запарила! — сказал он, возбужденно блестя глазами и вытирая рукой потную шею.

— Это еще кто кого,— улыбнулась Анфиса, отряхивая платье.

— Горло пересохло. Нечем промочить?

Анфиса достала из кустов маленькое жестяное ведро с водой.

— Кушайте на здоровье, дорогой работничек,— жеманно поклонилась она ему.

Веселые, довольные, они сели на межу к кустам. У Анфисы был захвачен с собой кое-какой полдник. Она расстелила белую скатерку, налила в миску творога с молоком. Лукашин с жадностью накинулся на еду. Сама она отломилла краюшку шаньги и, нехотя пощипывая ее, поглядывала на Лукашина. Легкое, бездумное счастье переполняло ее. В ушах ее звонко вызванивал родничок, спрятавшийся внизу за полем в кустарнике, тихо и убаюкивающе поскрипывала невидимая вдали телега.

— Ты что не ешь? — тихо спросил Лукашин.

— Так, не хочу...

Лукашин вытер губы и долго и нежно смотрел ей в глаза.

— А знаешь что? — зашептал он, обдавая ее горячим дыханием.

— Что?

— У тебя сейчас такие веснушки у переносья... как у девочки...

Анфиса вся вспыхнула, смущенно замахала рукой:

— Ну уж, скажешь...

— Ей-богу.

Он поймал ее руку, взял в свою. Темная, заскорузлая от работы рука. Анфисе вдруг неловко и стыдно стало за себя, за свою руку, и она потянула ее назад. Глаза их встретились.

«Глупая... — говорил ей взгляд Лукашина, — неужели ты не понимаешь, что я тебя люблю?» Он бережно поднял ее руку и вдруг горячими губами припал к ней...

Чувствуя, что она теряет последнюю власть над собой, Анфиса встала и быстро пошла к пряслу.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

На другой день Анфису со сводкой вызвали в сельсовет. После полудня пошел дождь, и ей часа три без всякого дела пришлось переждать в сельсовете. Когда

на обратном пути она подъезжала к своей деревне, над Пекашином из конца в конец курились дымы: люди, воспользовавшись погодой, топили бани.

Дома в кольце ворот она нашла письмо. От Григория... Она обрадовалась несказанно: жив, значит. Как-никак, а полжизни вместе прожито...

Григорий писал, что все время был на фронте, заслужил две медали и орден Красной Звезды, а сейчас после ранения лежит в госпитале.

«И вот лежу, лежу, и такая тоска найдет — жизни не рад. Товарищи все про жен да про детишек вспоминают. Давеча сосед сует карточку, погляди, говорит, какая у меня жена. А женка у него как женка, да еще с косиной на один глаз. Эх, думаю, поглядел бы ты, дорогой товарищ, на мою Анфису... Фисонька, успокой ты меня, дурака, пропиши все как есть, Фиса, и при каком ты чувстве... Сестры здешние рассказывают, что с питанием у них для гражданских худо, так ты вот что, Фиса, не мори себя голодом — возьми из сундука мои обои костюмы, а кто при хлебе, их выменяет. А я, все ладно, после поправки приеду в отпуск, а может, и подчистую спишут, и мы тогда с тобой заживем...»

Анфиса долго сидела неподвижно, облокотившись на стол. Слезы текли по ее щекам. Она думала о своей неудавшейся жизни, о своей молодости, которую так нелепо загубил Григорий. И вот снова он вяжет ей руки.

«Нет, нет, — покачала она головой, — поздно, Гришенька, поздно за ум взялся...»

У нее сейчас не было ни гнева, ни обиды на мужа. Но, сказав себе это, она почувствовала вдруг странное облегчение. Словно тяжесть, годами давившая ей на плечи, спала с нее.

Она поднялась, открыла окно. Над Пекашином вставала радуга. По чистому, промытому небу легкие, как лебеди, проплывали последние облачка. Мокрые крыши дымилась паром. На току глухо выстукивала молотилка, и оттуда наплывал пахучий запах обмолоченного хлеба. А под ее окном, приятно обдавая свежестью, весело журчала с крыши вода. Она падала в переполненный ушат, и журчание ее отдавалось в душе Анфисы чьим-то знакомым-знакомым шепотом...

Забыв про все на свете, она с волнением вслушивалась в этот ласковый голос, то затихавший, то нараставший в ее душе, и вдруг тихо рассмеялась:

— Чудак... веснушки высмотрел...

И ей нестерпимо, сейчас же, сию минуту захотелось увидеть Лукашина...

Через полчаса, нарядная, с гладко зачесанными волосами, она вышла на улицу. Весть о получении ею письма уже облетела деревню. Навстречу ей попадались женки, босые, с подоткнутыми подолами, то с ведрами в руках, то с кузовами мокрой травы за спиной. Они останавливались, подолгу глядели ей вслед, завистливо вздыхали:

— Вишь вот, письмо получила — ног под собой не чувствует.

— Вся как маков цвет расцвела.

— И то долго ждала, бабоньки.

— А у меня Егорушко не напишет... лежит во сырой земле...

Она шла, наклонив вперед голову, улыбаясь и не смея поднять глаз. Ей стыдно было перед этими бабами, которые измучились, ожидая весточек от своих мужей, и в то же время ей казалось, что они догадываются, знают, куда она сейчас идет, кого ищет.

На крыльце Марины она вынуждена была прислониться к косяку ворот, — до того билось у нее сердце.

В избе была одна Марина. Старуха сидела на полу с корзиной на коленях и перебирала ягоды.

— А где же квартирант?

Марина недовольно метнула в Анфису зрячим глазом:

— Где? Известно где — Варуха в баню утащила... Вертит перед ним хвостом, себя не помнит. А мой — простота... Уже я скважине прыти-то поубавлю!

«Глупая ты, стрелеха, — улыбнулась про себя Анфиса, — не в ту сторону смотришь». Но ревниво-любовное отношение старухи к своему жильцу, с особым чувством произнесенное ею слово «мой» наполнили Анфису новой радостью.

Что делать? Сидеть и ждать? Нет, нет!..

Домик Варвары, чистенький, аккуратный, с белыми наличниками, сиял, как игрушка, в лучах заходящего солнца.

Она еще издали увидела в распахнутом окне знакомую гимнастерку Лукашина. Он сидел к ней спиной, подперев рукой голову.

Когда она, покрасневшаяся, запыхавшаяся, вбежа-

ла в заулок, в глаза ей бросились мокрые, блестящие волосы Лукашина, темные, влажные пятна на его плечах. Она подняла с земли маленький камешек и, стыдливо оглянувшись по сторонам, легонько бросила его в спину Лукашина. Но тот даже не пошевелился. Из глубины комнаты донесся веселый, рассыпчатый смех Варвары. Анфиса, на ходу поправляя волосы, вбежала в сени, открыла двери и остолбенела...

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Муж Варвары, уезжая на войну, сказал:

— Ежели узнаю, что ты тут без меня хвостом вертела — шею сверну!

— И что ты, Терешенька,— говорила Варвара, захлебываясь слезами и прижимаясь к нему,— как языкто у тебя повернулся? Уж я ли у тебя не верная?..

Как и подобает жене, Варвара волновалась за своего Терешеньку, ждала писем, плакала, когда их долго не было, и вся сияла от радости, когда получала. Но стоило ей увидеть приглядного парня или мужчину, и глаза ее вспыхивали шаловливым огоньком.

Бабы до войны шипели на нее, грозили:

— Погоди уже, мы тебе укорот сделаем. Будешь знать, как на шею мужикам вешаться.

— У меня уж природность такая, бабоньки,— притворно вздыхала Варвара. — Не пообнимаюсь, как больная хожу.

— Мало тебе своего-то, сука поблудная.

— Своего-то, бабоньки, для кузни берегу. Я ведь разыграюсь — всю ночь не спать, а плуги кто наваривать будет? Так-то раз спробовала — он, сердешный, Тереша-то, весь день у наковальни носом клевал. Председатель Лапушкин дознался — меня же и ругать. Ты говорит, весь колхоз разоришь, лучше уж, говорит, с каждого бери, что тебе требуется, все не так заметно.

И Варвара, смиренно опуская глаза, заключала:

— Ну а ежели я за колхозное страдаю, пострадайте малость и вы.

Плунут бабы в сердцах и отойдут. Да и как было долго сердиться на нее? Выйдет ли в поле пахать, снопы вязать, возьмет ли в руки косу — все так и горит у нее в руках, а уж во время роздыха — мертвого развеселит.

Покойница свекровь, встречая ее вечерами с гулянки, сердито ворчала:

— Разве дожждаться мне внуков? Ты на своих плясах хоть чего вытрясешь... Ты бы хоть поубавил ей пылу-то,—обращалась она к сыну.

Терентий, без памяти обожавший свою жену, вскочит с кровати да еще, как назло матери, начнет расстегивать шубу у женушки, отогревать ей руки.

Но иногда, возвращаясь из гостей во хмелю, он с треском распахивал двери, кричал на всю избу:

— Убью тварь поганую! Мужики проходу не дают.

Варвара изумленно вскинет свои простодушные глаза, подойдет, прижмет к нему, заглянет снизу в его глаза.

— Глупенький ты у меня, тпрусья... Это они со злости, завидуют тебе, а ты и уши развесил. У них-то, видал, коровы неповоротливые, а я у тебя как тростиночка. — И Варвара, приподняв кончиками пальцев шуршащую юбку, поворачивалась перед ошарашенным мужем.

— Да я сам видел,—упрямился еще Терентий.

— А ты не все верь своим глазам, верь и жениным...

Лукашина Варвара облюбовала сразу же, как только увидела. Мужчина интересный, интеллигентный, а к интеллигентам Варвара всю жизнь была равнодушна,—не было в Пекашине учителя, которому бы она не строила куры.

Одно смущало Варвару: больно уж растяпистым да несообразительным миленочек оказался. В лесу повстречались — даже губы не обогрел. К колодцу вызвала — кажись, все растолковала, что и как... Слепой бы дорогу нашел. А этого всю ноченьку прождала — не дождалась.

Раздумье взяло Варвару. Может, к культурности привык, поделикатнее с ним надо? Целый месяц деликатничала — так не солоно хлебавши и уехала в Росохи. И вдруг на Синельге глаза ее открылись. Кажется, гром небесный бы разразился над головой, и то она так не изумилась бы, как изумилась, перехватив тревожный, полный ласки и обожания взгляд Лукашина, которым он сопровождал каждое движение Анфисы.

«Ну нет,—сказала себе Варвара,—чтобы я да отступилась, чтобы из-под носа у меня выхватили — в

жизни не будет! Уж коли эта святоша обхаживает его, так мне сам бог велел». И Варвара, призвав на помощь весь свой опыт, пошла в решительное наступление.

Вечером, поджидая Лукашина из бани, она встретила его не простым чаем. На столе красовалась неполная бутылка разведенного спирта, который ей с великим трудом удалось раздобыть в райцентре.

— Вот как у нас, и вино... — сказал приятно удивленный Лукашин, подсаживаясь к столу.

Варвара игриво прищурила карий глаз:

— А для милого дружка и сережка из ушка.

Лукашин смутился, не нашелся, что ответить, и, чокнувшись, выпил.

— Каково винцо? Не горько?

Он поднял глаза и встретился с таким откровенным, ласкающим взглядом, что опять смутился.

— Жарко чего-то... Зря топила сегодня.

Варвара расстегнула ворот кофточки. Хмель кинулся в голову Лукашину.

— Что это ты сегодня вынарядилась? Праздник какой? — вдруг с раздражением и даже озлоблением сказал он.

— А что нам не наряжаться? — Варвара опять игриво посмотрела на него. — Мы партийностью не взяли — может, чем другим... Аль уж это как? Не ценится?

Она легко выпрямилась и, не спуская с Лукашина горячего прищуренного глаза, медленно, так, чтобы можно было разглядеть все ее достоинства, раза два повернулась перед ним.

— Ну как? — спросила Варвара, заглядывая ему в глаза.

В глазах ошеломленного Лукашина все еще мелькали ее красивые смуглые ноги, путавшиеся в белой нижней юбке. И, прежде чем он понял, что делает, руки его жадно обхватили гибкое, податливое тело Варвары.

Варвара первая услышала скрип двери. Какое-то мгновение, не дыша, она смотрела на Анфису, потом притворно вскрикнула и кинулась в соседнюю комнату.

Лукашин сидел, ничего не понимая, и, растерянно мигая глазами, улыбался. Но когда он увидел бледное, вздрагивающее лицо Анфисы, он с ужасом начал понимать, что случилось.

— Анфиса, Анфиса!..

Но Анфиса, не слушая, хлопнула дверью и выбежала на улицу. Раскаленное вечернее солнце слепило, било в глаза, словно нарочно для того, чтобы все видели ее позор. А народу... Кажется, за всю войну она не встречала столько людей на улицах Пекашина. И каждый окликал, о чем-то спрашивал... Мишка Пряслин, сват Степан, учительница, какие-то старухи, дети... Да что они, сговорились меж собой?

Возле дома своего ее ждало новое испытание — Трофим Лобанов.

— Что Гришка пишет? Скоро немца погонит?

Анфиса закрыла лицо руками, кинулась в заулоч.

Трофим ошалело поглядел ей вслед, плюнул:

— Разъяснила! Нет, брат, баба завсегда баба. Хоть на небеса вознеси — ей все мало!

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Фитилек копилки чадит, потрескивает. На полу посапывают дети, в темные окошки глухо скребется осенний дождь-плакун.

Мишка и мать, только что вернувшись с поля, ужинают — молча едят холодную картошку. У Анны слипаются от усталости глаза, голову клонит к столу, но каждый раз, почувствовав на себе тяжелый, изучающий взгляд сына, она вздрагивает, поспешно выпрямляется.

С того дня как на Мишку неожиданно свалилась новая беда, резкая перемена произошла с ним. Делал он по дому еще больше, чем раньше, утром вставал вместе с матерью. И пока мать возилась с печкой и коровой, он успевал смолоть зерно, засушенное за ночь на печи (за месяц он перепробовал все жернова в деревне), принести воды, накопать картошки. Но все это делал молча, зверовато сдвинув брови.

Анна, смутно догадываясь о причинах перемены, не решалась заговорить первой. Да и что сказать? Разве понять ему, что привело мать на колхозное гумно? Она и сама толком не знала, как это случилось. Вечером, после работы, привернула на свой участок нажать снопы ячменя, взглянула на поле и обмерла: весь край от болота опалило утренником. А дальше только и помнила: раскрытое гумно, ворох зерна... Целую неделю жила

она в ожидании неминуемой беды. По ночам просыпалась, прислушивалась. Дрогнет стекло в раме, а ей уж чудятся шаги. С детишками не раз в уме прощалась... Только на днях немного отпустило, когда на дороге столкнулась с Анфисой. Та поздоровалась, виду не подала да еще сказала: «Зайди к кладовщице, ржи вам выписано».

Но сын — как воды в рот набрал.

Под первое сентября Анна, разобравшись со стиркой, несмело напомнила:

— В школу скоро...

— Не выдумывай — у пня мое ученье, — буркнул Мишка и так посмотрел на мать, что та, совсем растерявшись, закивала головой:

— Ну, ну, ладно...

Лизка теперь все чаще пугала непослушных братьев Мишкой, и те, заслышав на крыльце тяжелые шаги возвращающегося с работы брата, разом стихали.

За спиной настойчиво забарабанили в окошко. Кого еще леший несет? Пожрать не дают... Мишка, злясь, начал разматывать веревочку, затем, придерживая рукой, приоткрыл старую, перекосившуюся раму. В избу ворвался шум дождя, ветра, пахнуло осенней сыростью.

Из темноты вынырнула мокрая голова запыхавшегося Малышни:

— Анна Гавриловна! Михайло Иванович! Новости-то какие!

— Новости? — вскочила с табуретки Анна.

Мишка почувствовал, как гулко и отчаянно колотится сердце у матери, привалившейся к его плечу.

— Из военкомата звонили... Пушай, говорят, Анна Пряслина придет...

— Зачем? — глухо, весь напрягаясь, спросил Мишка.

Митенька схватился руками за голову:

— А я и не дослушал... как учуял, тебя вызывают, Гавриловна, — думаю, вести какие об Иване Кирилловиче...

— Ох, кабы так, — горячо взмолилась Анна.

Мишка, не помня себя, схватил руку матери, крепко сжал.

— На войне чего не бывает, Гавриловна, — ободряюще говорил Малышня. — Вон в Лушакове тоже похоронная пришла. Слыхали Петра Порохина? А ровно через полгода телеграмма: домой еду...

Анна, не слушая дальше, кинулась к порогу, застучала сапогами. Мишка захлопнул раму, подбежал к матери.

— Ты что... в район? — спросил он шепотом.

Мать, нагнувшись, торопливо наворачивала портянки.

— С ума сошла... дождь... темень... Подожди до утра, а то давай я схожу...

— Ох, Миша, Миша... Да кабы жив отец... Да я бы не знаю... На коленях до Москвы доползла...

На улице, едва они переступили порог ворот, в лицо им хлестнул ветер, дождь. Темень, хоть глаз выколи. Анна не успела и шагу шагнуть от крыльца, как попала в лужу.

— Подожди до утра,— снова стал упрашивать Мишка.

— Нет, нет, что ты!.. А ты иди — спи ложись. Утром для ребят картошки чугуна свари, а корову. Семеновну попроси подоить. Травы на утро хватит, а на вечер отавы принесешь.

Мишка выслушал наставления матери, постоял, пока она выходила с заулка, потом вдруг бросился на крыльцо, воткнул кол в кольцо ворот и побежал следом.

— Я тебя хоть до большой дороги провожу,— сказал он, догоняя ее.

— Что ты, Миша! Зачем тебе мокнуть? Воротись...

— Ладно, сам знаю,— грубо отрезал Мишка.

По задворкам и по мосту почти бежали, нагнув головы, прикрыв лицо от мокрого ветра. В лесу стало идти легче, но тропинка была узкая, и стоило дотронуться до дерева — с веток окатывало ливнем.

Мишка взял мать за рукав:

— Иди за мной, а то я тебе все ноги оттопчу,— и молча решительно двинулся вперед, принимая на себя всю сырость.

Когда добрались до большой дороги, Анна остановилась:

— Ну, теперь я одна. Беги скорей домой.

— Ты вот что... — сказал Мишка. — Ты завтра пешком не ходи. Лошадь попутную или машину леспромхозовскую лови — все так делают.

— Ладно, там как придется,— растроганно сказала Анна, ощупывая пиджак сына. — А ты весь, Мишенька, мокрый...

Ему показалось, что мать хочет обнять его. Он отчужденно отстранился:

— Ну, иди...

Один шаг, и мать пропала в темноте. Чавкнула грязь под ногами, булькнула вода, потом треснула какая-то ветка — и все.

В эту ночь Мишка долго не мог заснуть: прислушивался к шуму дождя на крыше, к вздрагивающим от ветра околеникам. Непроглядная темень, грязь, невидимые лужи на каждом шагу — и где-то вот сейчас, среди ночи, одна-одинешенька бредет вся перемокшая, вся переизмученная мать. И зачем, зачем он отпустил ее? Почему не пошел сам? Потом он припомнил все обиды, которые причинил матери за последнее время, и горькое раскаяние, тоска и упреки сдавили его сердце.

За ночь он раза три выходил на улицу, а дождь все лил и лил...

Утром Мишка проснулся, едва рассвело. Дождя не было, сквозь густой туман робко и неуверенно проглядывало солнышко. И пока он затоплял печь, бегал за водой, копал картошку, новые надежды стали подниматься в его душе. То он уверял себя, что отец вовсе не погиб, а в партизанах, непременно в партизанах, то ему приходило в голову, что отец выполняет какое-то важное задание в тылу врага — и вот сейчас пришло сообщение...

Ребятишки, проснувшись, были довольнехоньки. Таким веселым и возбужденным они уже давно не видали старшего брата. За столом, обжигаясь картошкой, смеялись, по-ребячьи шутили.

Весь день Мишка носился как угорелый: то примется дрова колотить, то чинить крыльцо, то разберется с починкой обуви — и, ничего не докончив, постоянно выбегал на задворки, смотрел на дорогу: не идет ли мать.

Под вечер, когда опять стало затягивать небо, он не выдержал:

— Собирайтесь, пошли мамку встречать.

За мостом, прислонившись к изгороди, долго стояли, глядели на перелесок.

Начало темнеть. Опять заморосило. Малыши, пугливо озираясь по сторонам, стали жаться к старшему брату. Федюшка, переступая босыми ножонками, захныкал.

— Танька теперь проснулась, — вспомнила Лизка и тоже хлюпнула носом.

Мишка с упреком посмотрел на худенькие личики, с мольбой обращенные к нему, еще раз взглянул на помутневший перелесок и медленно, тяжелым, старческим шагом побрел назад.

Дома, войдя в избу, он сел на порог, опустил голову. Братья тормозили его, что-то просили, требовали, но он сидел не двигаясь, не замечая их, — только шум дождя тоскливым шепотом отдавался в его ушах.

Вдруг ему почудился какой-то шорох на крыльце. Легонько заскрипели доски... Только один человек на свете ходит так! Он вскочил, заорал на всю избу:

— Мамка пришла! — и распахнул двери.

Лизка и малыши с криком: «Мамонька пришла! А мы тебя встречали!» — бросились к порогу и, посторонившись, пропустили мать.

Мимо в потемках проплыло бледное, мокрое лицо матери. Ему без слов все стало ясно.

Упираясь спиной в косяк, сдерживая подступившие к горлу рыдания, он видел, как мать прошла к столу, опустилась на переднюю лавку. Притихшие ребята несмело, сбоку подошли к ней. Мать тупо посмотрела на них, поискала глазами старшего сына и, встретившись с ним взглядом, безнадежно качнула головой. Потом она достала из-за пазухи маленький сверток в белом платке, развязала его и, опять подняв на него глаза, упавшим голосом сказала:

— Пенсия...

Ноги у Мишки стали подгибаться. Он не мигая смотрел на эти грязные, захватанные чужими руками бумажки, тоненькой стопкой лежавшие на белом платке, и вдруг, не выдержав, упал плашмя на кровать и громко-громко зарыдал...

Одна и та же смерть второй раз переступила порог Пряслиных.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

— Ну вот, отпускаем, — говорил Новожилов, хмурая нездоровое, отечное лицо. — А ты грозил, кричал, помнишь? «Сам уеду...» Партия, она, брат, знает, что и как... Сейчас упираться станешь — пошлем. Смотри, что делается, — он указал на карту, густо испещренную красными и черными флажками. — Сибирь дальше...

Новожилов устало провел большой полной рукой по

густым черным с проседью волосам, своевольно выгнутым на висках.

— Кстати, знаешь, кто с тобой едет? Твой старый дружок Лихачев. Да, брат, всех подчищают. Беспалый в ход пошел. Как думаешь? От хорошей это жизни? Или уж так, чтобы кулак собрать да ударить как следует?

Лукашину понятна была тревога, прозвучавшая в голосе секретаря. Но при одном упоминании имени Лихачева в нем поднялось глухое раздражение.

— Ну, это добро — что здесь, что там. Одна цена... Новожилов не мог скрыть своего разочарования:

— Не прав ты. В лошадях Лихачев разбирается. И завобозом был неплохой. Во всяком случае место не пустовало...

— Место-то не пустовало! Может, ты по тому же самому и Федулова в маслопром посадил? Тепленькое местечко подыскал...

— Старая песня. Что ты мне все Федуловым тычешь? Что он мне, родня? А где люди? — Новожилов сжал кулак. — Ну-ка подсчитай... чего нам стоит отправка новой партии? За год пятого председателя райпотребсоюза меняем. Дыры-то чем-то надо заткнуть. Тут, брат, и белобилетнику Федулову рад. И вот так: одной рукой партбилет отнимаешь, а другой в контору сажаешь. А что ты думал? Да если хочешь знать, я на таких, как Федулов, вроде как на спецов смотрю. Помнишь, такие в гражданскую войну были?

— Хорошенькое дело! — с издевкой усмехнулся Лукашин. — На двадцать пятом году Советской власти спецов заводить!

— Ну не придирайся. Может, я и загнул. Да один черт, я бы этого Федулова в другое время и дня не держал.

— А я бы и сейчас не держал, — сказал Лукашин.

— Войну, брат, без маневров не выиграть. А здесь у нас фронт — видал какой?

Новожилов примиряюще взглянул в глаза Лукашину, но, поняв, что того не переубедишь, махнул рукой.

— Ладно. Кончим об этом, а то еще поругаемся на прощанье. Пиши, не забывай. Да, может, после войны к нам надумаешь? Северяне народ хороший.

Лукашин задумчиво покачал головой:

— Ну об этом рано загадывать. Мне еще войну сперва переехать надо, а эта река — сам знаешь...

— Эх, жаль,— подмигнул Новожилов,— женить тебя не успели. А то бы не так разговаривал. А может, какую зазнобу оставляешь? В таком малиннике жил, да чтобы постником...

Лукашин густо покраснел.

— Уж не председательница ли? А что, женщина она красивая, видная. Только туда, брат, не заглядывай — муж есть.

— Давай, знаешь,— вспыхнул Лукашин,— оставим упражнения в остроумии до следующего раза...

— Экой ты ершистый сегодня. Насчет Мининой я, конечно, пошутил, а в общем понимаю тебя: сейчас не до этого. Я, брат, про себя скажу. Иной раз даже неловко как-то становится. Вот, мол, у тебя семья, жена, прочее. Как будто ты в чем виноват...

Новожилов помолчал, потом вплотную придвинулся к Лукашину:

— Вот, говорят, война инстинкты разные пробуждает в человеке. Приходилось, наверно, и тебе читать. А я смотрю — у нас совсем наоборот. Люди из последнего помогают друг другу. И такая совесть в народе поднялась — душа у каждого насквозь просвечивает. И заметь: ссоры, дразги там — ведь почти нет. Ну как бы тебе сказать? Понимаешь, братья и сестры... Ну, понимаешь, о чем я думаю?

Путаные, несколько наивные рассуждения Новожилова взволновали Лукашина. Ему показалось, что секретарь выразил примерно те самые мысли, которые не раз приходили в голову и ему. И он готов был сейчас простить Новожилову многое из того, с чем решительно не соглашался в его практике.

— Понимаю, понимаю,— живо откликнулся Лукашин. Но, подумав, добавил: — Только тут не так просто. Как бы за этим братством нам кое-что не проглядеть.

Новожилов насторожился.

— Вот, например, Клевакин в Пекашине. Ох, сложная фигура. Я таких видывал в других местах. Посмотришь — активист, с первого дня в колхозе. А у кого за последние десять лет дом новый? У Федора Капитоновича. У кого дом полная чаша? У Федора Капитоновича.

— В семье не без уroda. Кто же говорит, что у нас все ангелы и собственническая психология изжита? Не в этом суть сейчас...

— Нет, ты погоди, погоди,—остановил Лукашин Новожилова.— Тут не так просто. Собственническая психология, она тоже разная бывает. Степана Андреяновича в Пекашине знаешь? Ставрова? Ну, у которого сына на войне убили... Сани, телегу сдал?

— Как же, как же! Первая опора Мининой...

— Теперь смотри, что сделал этот Степан Андреянович. Сани, сбрую, телегу — все приготовил. Тоже собственник. Только он все это делал втихаря, в своей норе, тайком от людей. Да своими руками — вот что главное. А Федор Капитонович? Этот совсем по-другому. Этот — колхоз хочет в свои сани запрячь. Приспособился — из тех же колхозных пор сок выжимает. Да еще в почете, в мичуринцах ходит. Так?

Новожилов сделал протестующий жест.

— Ну как же! Он тут в райцентре кое-кому глаза табаком засыпал — оборону выстроил. Он и мне огурчиков свежих приносил. Наши, говорит, не понимают — не оценят. Культурного человека, говорит, приятно и угостить. Видал? И знаешь, что меня удивляет? Терпимость колхозников. Ну сняли с бригадиров. А дальше? Да я бы из него душу вытряхнул, счет предъявил. Вот тот же Степан Андреянович. Был у меня с ним разговор о Федоре Капитоновиче. Только рукой отмахнулся. Положим, этот считает, что морального права не имеет: сам в грехе жил. Ну а остальные? Вроде как брезгуют им, боятся испачкаться об него...

— Не то сейчас на уме у людей,— задумчиво произнес Новожилов. — Понимают, в какую мишень бить надо.

— Да, но с этим Федором Капитоновичем — помни мое слово — придется еще иметь дело. Нет, так просто от него не отмахнешься.

— Ладно. — Новожилов встал, расправил плечи. — Ты еще загляни перед отъездом. С тобой интересно поговорить... Что-то у меня к тебе еще было... Да, вот что. Помнишь, ты говорил мне насчет профиля колхозов? Ну, что в одном колхозе надо упор на животноводство делать, а в другом на овощи. Помнишь?

Лукашин утвердительно кивнул головой.

— Ну так я об этом думал... Это очень важно. Не поленись, напиши подробную записку. Это все надо обмозговать. А то у нас действительно ерунда. Есть ли, нет ли у колхоза пастбища, сенокосы, выгодно ли им овощи разводить, а план один, все чохом...

На улице Лукашин подумал: надо бы в больницу сходить — Настю проведать. Но он представил, какая это будет тягостная встреча, и решил отложить свидание ближе к отъезду.

После полудня, справив дела в военкомате, Лукашин на попутной подводе выехал в Пекашино. Возница, крупная глухая баба, в ушанке поверх шали, как села в передок телеги, так и сидела истуканом, не пошевелившись ни разу за всю дорогу. Лошаденка тащилась, еле передвигая ноги. Телега, давно не мазанная, скрипела.

Лежа в задке телеги, Лукашин покусывал травяную былку и думал все об одном и том же: об Анфисе, об их разрыве, о том, как глупо все получилось у Варвары. «Ах, чертова баба, — горячился он, — вот бы кого вздул сейчас с удовольствием!»

«Виноват... виноват...» — со скрипом выговаривали колеса.

Он ворочался с боку на бок, закрывал руками уши, но стоило ему забыться, и в уши опять лез скрипучий перестук колес: «Виноват... виноват...»

«Ну конечно же виноват, — признавался Лукашин. — И надо было таскаться к этой вертихвостке... Баню выдумала...»

И чем больше он бичевал себя, тем прекраснее и желаннее становилась для него Анфиса. Закрыв глаза, он припоминал свои встречи и разговоры с нею, мысленно нашептывал ей самые нежные и ласковые слова, снова и снова вспоминал свою недавнюю встречу у прясла. Растерянно-счастливые глаза Анфисы, какая-то хмельная, головокружительная работа... Полдник под кустом. В тени куста холодок, но от разгоряченного тела Анфисы — жар. Как от солнца... Вечером они шли по теплой, пыльной дороге, из-под ног у них с треском сыпались кузнечики, пахло конопляниками, и в мягких сумерках, совсем-совсем рядом, ее лицо... Ах, как хорошо..

Резкий толчок телеги встряхнул его. Он открыл глаза. Телега сворачивала с большака в перелесок. Значит, скоро сельсовет. Подумав, он спрыгнул наземь. Недоставало еще встретиться сейчас с председателем. Начнет опять изводить вопросами, что да как на фронте. Будто он Комитет обороны... Сзади него последний раз проскрипели колеса.

За поворотом большака Лукашин спустился к ре-

ке — лугами до Пекашина ближе. Сквозь приречные кусты ивняка лениво поблескивала Пинега. Нога мягко ступала по роскошной отаве. Тихо похрустывали опавшие листья. Наступала осень.

У ручья Лукашин нагнулся, чтобы напиться, и в это время услышал над собой какие-то тоскливые, за душу хватающие звуки, падающие прямо с неба. Он поднял голову. Высоко-высоко в холодном поднебесье, вытянувшись неровным, изгибающимся клином, летели журавли.

«Рано они что-то в этом году», — подумал Лукашин.

Закинув голову, он долго следил за ними. Вот уж они рябят черными точками, вот уж и точки растаяли в голубой дали, а в воздухе все еще стоит тоскливое прощальное «курлы»...

Тревожное, щемящее чувство все сильнее и сильнее охватывало его. Он попытался представить себе путь журавлей: через фронты, через пожарища, через завесы черного дыма, поднимающегося до самого неба...

И постепенно в его воображении встала Россия — израненная, окровавленная, в невероятном напряжении ведущая гигантский бой на своих просторах. Сейчас он как бы заново перечитывал суровые призывы газет, вникал в их простой и страшный смысл: «Социалистическое отечество в опасности!», «Ни шагу назад!», «Выстоять!» И постыдными и ничтожными показались ему те личные переживания и муки, которыми он жил и страдал последнее время. Одно огромное желание: «Выстоять!», которым сейчас жила вся страна, захватило его целиком и вытеснило все другие желания.

Твердым, размашистым шагом Лукашин зашагал к деревне. Теперь все ясно. Скорей, скорей на фронт!

Но едва он поднялся на пригорок и далеко впереди себя увидел белый платок, как прежние сумятица и неразбериха поднялись в его душе. У прясла на возу стояла Анфиса и укладывала снопы.

И тут Лукашин впервые по-настоящему понял, что через неделю он уже не увидит ее...

В сумерках Лукашин зашел в правление. Огня не было, но он еще с порога разглядел белый платок Анфисы. Она сидела с кем-то в потемках, разговаривала.

Лукашин осторожно присел к печке, прислушался.

— Дите ведь скоро... — всхлипывал мужской голос, — а она и видеть меня не хочет, в дом не пускает.

Лукашин мысленно посочувствовал Николаше, который сейчас, видимо, был в таком отчаянном горе, что растерял свое красноречие.

— Дите ведь... Кабы я сильничал, а то «видеть не хочу»...

— Что уж она так-то... — задумчиво сказала Анфиса. — Сама кашу заварила, а теперь нос воротит. Ты ведь тоже чего-нибудь стоишь. Так-то и пробросаться можно.

— Вот, вот... — заширкал носом Николаша, — так мне и мать говорит. Брось, говорит, Колька, сама прибежит, вешаться еще будет. А я не могу... Любовь... Тебя бы она послушала, Петровна, а?..

— Ладно, поговорю. А ты тоже хорош. Раскис! Хуже бабы. Гордость иметь надо.

Когда Николаша вышел, Лукашин, волнуясь, подошел к столу.

— Нам поговорить надо...

— Мы свое отговорили... — Голос Анфисы показался ему усталым, безразличным.

— Анфиса, пойми, я через три дня уезжаю...

Он слышит глубокое дыхание.

— Через три дня... — голос Анфисы дрогнул.

Но вслед за тем она спокойно сказала:

— Ну, счастливого пути, Иван Дмитриевич.

— Фиса, дорогая... — Лукашин схватил ее за руку. Анфиса резко вырвала руку, гневным шепотом опалила его:

— Постыдился бы!

Скрипнула дверь. Кто-то вошел в контору.

— О нас не беспокойтесь, Иван Дмитриевич, — сказала громко Анфиса. — А в дорогу вас соберем...

Лукашин, едва не сбив какую-то женщину, кинулся к двери и выбежал из правления.

Поздно вечером он долго ходил около дома Анфисы. В полузакрытом окне горел свет. От белой занавески на всю улицу отбрасывалась тень Анфисы. Она сидела сбоку стола. «Сейчас постучу в окно», — решил наконец Лукашин и осторожно, боясь наступить на тень, стал обходить ее. В том месте, где начиналась линия лица Анфисы, он остановился, нагнулся к земле и, улыбаясь, провел рукой по прядке волос, съехавшей на лоб.

В тот же момент за спиной вырос какой-то человек!

— Кто тут пьяный — на ногах не стоит?

В отблесках света Лукашин узнал Федора Капитоновича.

— Тут... искал... ножик потерял...

— А ножик-то какой?

— Ну какой, какой... Ножик с ручкой...

— А может, с двумя? — лукаво усмехнулся Федор Капитонович. — Я еще тогда у прясла заметил... Ну, ищите, ищите... Помним — были и мы рысаками.

«Пронюхал, старая лиса! Наверно, вся деревня знает. И Новожилов намекал...»

Он постоял, немного в раздумье и, зло махнув рукой, зашагал прочь, но, отойдя метров сто, снова остановился и, прислонившись к изгороди, долго глядел на окно Анфисы...

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

В день отъезда Лукашина Анфиса с утра уехала на сенопункт. Она боялась, что не выдержит, по-бабьи разревется на людях.

Днем, подхлестываемая работой и людьми, она лихорадочно хлопотала: отправляла подводы с зерном, бегала из бригады в бригаду, работала на молотилке, проверяла силосные ямы. Но когда наступал вечер, она со страхом думала, что будет еще ночь, когда ничем нельзя заглушить своих страданий, некуда убежать от самой себя.

Она осунулась, почернела. Марфа Репишная допытывалась:

— Говори, что с тобой. На тебе лица нету.

Но разве пожалуешься, расскажешь кому, что тебя на другую променяли, в душу тебе плюнули? Ей хотелось верить настойчивым и горячим заверениям Лукашина, потому что, как ни чернила она его в своих мыслях, она по-прежнему и даже еще больше любила его, но стоило ей вспомнить тот вечер в избе Варвары — и снова гнев и отвращение закипали в ее душе.

Сенопункт — место сдачи сена государственными организациями — у «Нового пути» был общим с «Красным партизаном». На днях предстояло сдавать последнюю партию сена, и Анфиса хотела заранее подготовить место.

Завсенопунктом, хромой старик из «Красного партизана», поздоровавшись, вздохнул:

— А мы, Петровна, осиротели. Прокопья Николаевича на войну провожаем...

— Фролова?

— Его самого. Начали было немножко оживать при нем, а теперь опять все по-старому. Так, видно, всю жизнь и будем... Надо бы проститься — на войну человек уходит, — да как уйдешь? К вечеру сено должны привезти. Ох и война... У нас по деревне девятнадцать мужиков убито, а ей и конца не видно. Останется ли кто на развод?..

Разговор со стариком совсем пришиб Анфису. Что она делает? Ведь Иван Дмитриевич... Ваня... Ехать, ехать, сейчас же ехать! Наглядеться хоть в последний раз. Пушай все знают, пушай все видят!

Но в ту минуту, когда она уже готова была бежать к коню, в воображении ее вдруг выплывало насмешливое, самодовольное лицо Варвары. Она видела ее прищуренные, с затаенным ехидством глаза, она знала даже, о чем та думает: «Ну, ну, простись, Анфисьюшка. Не сумела иначе — простись хоть так. Мы не жадные...» И тогда оскорбленная гордость опять мутила ее рассудок, заглушала все чувства.

После полудня погода начала меняться. С запада нагоняло тяжелые водяные облака. На потемневшей земле торопливо хозяйничала осень: с шумом обрывала высохшие листья с деревьев, раскидывала их по зеленой отаве, осыпанной серебряными капельками растаявшей изморози. Анфиса, отметывая вилами сено, с тоской посматривала по сторонам. Вот и лето прошло. Не за горами зима — холодная, с вьюгами да морозами. А потом опять придет весна — веселая, с цветами, с птичьим гомоном. Только у нее не будет весны. Нет, не будет... Один-единственный раз улыбнулось ей бабье счастье, и того не сумела взять...

Близкий топот копыт заставил ее взять себя в руки. К сенопункту верхом подъезжала женщина. Варвара! Нет, нет, кто угодно, только не она. Все ей простила, Григория простила, а этого... Нет, нет!..

Не зная куда деваться, она побежала к кустам. Топот лошадиных ног сзади...

— Анфиса! Анфиса!.. Постой, куда ты?

Анфиса бежит не разбирая дороги. Прутья цепляются за подол, секут лицо. А шаги Варвары все ближе, ближе. Трещат сучья под ногами.

— Да подожди ты бога ради... — Варвара хватается за руку. — Чего уж там... Я первая высмотрела, а ты на этот раз перехитрила... И то ладно, — смеется Варвара, — старые долги плачу...

Анфиса, задыхаясь от ярости, обернулась:

— Уйди, Варвара, добром прошу!

— Да ты с ума сошла, Анфиса. Кабы я знала, что у вас всерьез...

— Чего тебе надо?

— Да ведь он уезжает. Взбеленилась! У меня с ним ничего и не было...

Анфиса невольно замедляет шаг.

— Вот те бог, Анфиса. Чем хошь поклянусь... Живым Тереше не вернуться...

Анфиса идет все медленнее и медленнее, жадно вслушиваясь в слова.

А Варвара, охваченная неожиданным порывом раскаяния, начала еще больше чернить себя:

— Все это я, бесстыжая, подстроила... Он на меня и глядеть-то не хотел...

Через час конь Анфисы, тяжело поводя боками, въехал в заулочек к Марине-стрелехе.

Старуха сидела на крыльце и жалобно всхлипывала.

— Уехал? — упавшим голосом спросила Анфиса.

— Уехал, уехал, родимый... — Но, разглядев, кто перед ней стоит, Марина вдруг ожесточилась: — Нет, тебя дожидается! Срамница! Человек на войну уезжает, а она... Председатель!.. Бога не боишься, хоть людей бы постыдилась... Ох, пусто у меня в домике стало... — запричитала снова Марина.

Резким порывом ветра сдуло с коленей старухи бумажку. Анфиса на лету подхватила ее. Она сердцем угадала, что это была за бумажка.

«Анфиса, родная моя! Я не хочу говорить на прощанье о том, что произошло между нами. Вся эта чепуха с Варварой у тебя скоро пройдет, и ты, пожалуйста, не мучай себя, не расстраивайся... А если со мной что-нибудь случится, прошу тебя — позаботься о моем сыне. Ведь у меня дороже его да тебя нет никого на свете...»

Анфиса как подкошенная опустилась на ступеньку крыльца и, прижимая письмо к лицу, зарыдала.

— Что! Пробрало, видно? Совесть заговорила?

Анфиса подняла на старуху мокрое, заплаканное лицо.

— Ох, Марина, Марина, ничего-то ты не понимаешь. Ведь я его... Ох, люблю... больше жизни люблю...

— Вот те страсти какие... — с изумлением прошептала старуха. — То-то он, родимой, сегодня ровно не в себе: Анфиса да Анфиса... Дак чего ревешь, дуреха? — вдруг закричала Марина. — Скачи скорей! Может, на перевозе перехватишь. Он к Фролову собирался зайти...

Марина сама помогла ей сесть на коня.

Быстро набегали сумерки. Крепчал ветер. Анфиса, прижавшись к гриве, изо всех сил нахлестывала коня.

Поля... луг... перевоз...

Разлетевшегося коня с трудом осадила у самой воды. Спрыгнула на мокрый песок. Холодная волна окатила ее с ног до головы.

На том берегу от лодки в угор поднимались два человека. Лукашин и перевозчик.

— А-э-э-э!.. — закричала Анфиса.

Ветер отбрасывал голос назад.

Лукашин подал руку перевозчику и зашагал к лесу.

— Родьку... Родьку присылай!.. — в отчаянии закричала Анфиса, приподнимаясь на носки.

«Что же это я? Какой же Родька на войне?» — подумала она, но из груди ее опять вырвался тот же самый крик:

— Родьку, Родьку присылай!..

Лукашин остановился. У нее замерло сердце. Мелькнул огонек, полетели искры по ветру... Еще мгновение, и он растаял в лесу...

Она стояла на берегу, вся мокрая, с растрепанными волосами, и неотрывно глядела на то место, где скрылся Лукашин. Конь, вздрагивая всем телом, осторожно перебирал своими теплыми губами по ее плечам, шее...

А по реке с тяжелым грохотом и стоном перекатывались черные с белью волны...

Две зимы и три лета

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

— Па-ро-ход! Па-ро-ход идет!

С пекашинской горы косиками — широкими проезжими спусками, узенькими, вертлявыми тропками покатались люди.

За разлившуюся озерину попадали кто как мог: кто на лодке, кто на ребячьем плотике, а кто посмелее — подол в зубы — и вброд. В воздухе стоял стон и гомон потревоженных чаек, черные чирята, еще не успевшие передохнуть после тяжкого перелета, стаями носились над головами ошалевших людей.

Так бывает каждую весну — к первому пароходу высыпает чуть ли не вся деревня. Потому как и весна то на Пинеге начинается с прихода пароходов, с той самой поры, когда голый берег под деревней вдруг сказочно прорастет белыми штабелями мешков с мукой и крупами, пузатыми бочками с рыбой-морянкой да душистыми ящиками с чаем и сладостями.

В этом году никто не ждал даров из Архангельска — пинежские подзолы да супеси вот уже который год подкармливают отощавший город. Мало было надежд и на приезд фронтовиков. Где же им обернуться, когда только что кончилась война? Но давно-давно не видал пекашинский берег такого многолюдья. Ребятишки, девки, бабы, старики — все, кто мог, выбежали к реке.

Пароход из-за мыса не показывался долго. Костерик, наскоро сложенный из не просохшего еще хвороста, не разгорался, и люди, чтобы согреться, жались друг к другу.

Наконец у того берега, под красной отвесной щелью, леденисто сверкнул белый нос,

— «Кўра», «Кўра!» — закричали с насмешкой ребята, явно разочарованные тем, что вместо двинского богатыря-красавца к ним бредет маленький местный тихход, который был построен пинежскими купцами Володиными еще в начале века.

Пароход с трудом подавался вперед, густо разбрасывая летучие искры по реке. Быстрым течением его откидывало к тому берегу, пенистая волна задираала нос. И уныло-уныло выглядели грязные, свинцового цвета бока, все еще по-военному размалеванные в черные полосы.

Но голоса своего «Курьер» за войну не потерял. Пронзительно, молодо закричал он, подходя к берегу. Будто весенний гром прокатился над головами людей. И как тут было удержаться от слезы! В войну помогал, можно сказать — жить помогал «Курьер» вот этим самым своим гудком. Бывало, в самые черные дни как заорет, как раскатит свои зыки да рыки под деревней — сразу посветлеет вокруг.

Варвара Иняхина с молодыми бабенками, едва прикнулся пароход к берегу, вцепилась в старика капитана, единственного мужчину на пароходе:

— Чего мужиков-то не везешь? Разве не было тебе наказа?

— Смотри, в другой раз порожняком придешь — самого оставим.

— Ха-ха-ха! А чего с ним делать-то?

Тут кто-то крикнул:

— А вон-то, вон-то! Еще один пароход!

Пароход этот — плот с сеном — плыл сверху. Круто, как щепку, вертело его на излучине повыше деревни, и два человека, навалившись на гребь — длинную жердь с лопастью, вделанною в крестовину, — отчаянно выгребали к пекашинскому берегу.

— Да ведь это, никак, наши, — сказала Варвара. — Кабыть Мишка с Егоршей.

— Его, его — Мишкина шапка. Вишь, как лиса красная.

— Это они с Ручьев, из лесу едут.

Бабы заволновались. Пристать к пекашинскому берегу в половодье можно только в одном месте — у глиняного отлогого спуска, там, где сейчас стоял «Курьер».

— Отваливай! — разноголосо закричали они капитану. — Не видишь разве — люди к нам попадают.

— Отваливай, отваливай! Поимей совесть.

И капитан, чертыхаясь, уступил — отдал команду сниматься.

Плот с сеном впритык, под самым боком прошел у разворачивающегося парохода.

2

Пряслинский дом с реки не виден — амбар да подклет¹ с разросшейся черемухой спереди, — и Михаил увидел свой дом, когда уже поднялся с возом в гору.

Изба была новая, с пестрыми стенами.

Клади избу прошлой осенью, перед самым его отъездом в лес. Клади второпях, из старья — новых бревен хватило только на верх и низ, и вот получилась хоромина военного образца: один угол увело в сторону, другой сел, когда еще не набрали крышу. А в общем, тепло в стенах держалось, и Пряслины, намерзнув шись в старой развалюхе, нахвалиться не могли новой избой.

Засмотревшись на красный флажок, вывешенный на углу избы, Михаил и не заметил, как лошадь поравнялась с окошками.

— Тпру-у-у! — закричал он и кинулся догонять воз.

Но еще раньше, чем он подоспел к лошади, ее перехватила мать.

— Вернулся! А мы ждем-ждем — все заждались. Мне бабы сказали, что Михаил у вас с сеном, — дакуж я рада.

Приподняв кверху худое, обветренное лицо, Анна старалась заглянуть сыну в глаза, но взгляд Михаила скользил поверх ее головы. И она, виновато, посмотрев на разобранную изгородь спереди заулка, сказала:

— На той неделе это. Навоз возили.

— А с задворков подъехать не могли? Там через воротца хоть на тройке скачи.

— Да уж так получилось. Недодумали.

— Все вы недодумали. Кабы сами огороду запирали, небось додумали. А это что? — закричал Михаил, кивая на свалку за крыльцом. — Руки отпадут на поле выплеснуть?

¹ Подклет — бревенчатая надстройка над погребом.

Несколько смягчился Михаил, когда телега с сеном подошла ко двору. Даже остановился на какое-то время, словно прислушиваясь к тому, что делается там, у Звездони, за ржаными, почерневшими за зиму снопями, которыми для тепла были заставлены ворота двора.

Но Звездоня не догадалась подать голос хозяину, и за нее ответила мать:

— Скоро. Все ладно — скоро опять с молоком будем. Две недели осталось.

— Не ошибаешься?

— Да нет. И сама, и Степан Андреевич высчитывал. Так по срокам.

Сено и солому на поветь до прошлой осени Пряслины подымали по взвозу — бревенчатому настилу, а осенью, когда Михаил был уже в лесу, взвоз обвалился, и корм с тех пор носили на руках.

Однако Михаил сейчас нашел другой выход — откидал от задней стены двора кряжи и телегу поставил так, что сено можно было перекидать вилами прямо с телеги на поветь.

Анна, пока он распутывал веревки на возу, докладывала о семейных делах: Лизка с Татьяной на телятнике, Петька и Гришка убежали за клюквой...

— То-то, я гляжу, нету их у реки, — сказал Михаил. — Все ребята у реки, а наших нету.

— Просились. Слезно молили: хотим к пароходу. Да я говорю: «Что вы? Где у вас совесть-то? Чем будете Мишу-то своего встречать?» Беда тебя ждут. Только Миша один и на уме. Глаз из окошка не вынимают. Похвали их. Уж такие оба заботы — мы с Лизкой нынче ни дров, ни воды не знаем. Все они.

— Переползли в третий класс?

— Переползут. Августа Михайловна тут как-то встретилась: опасенья, говорит, не имею.

— А тот разбойник?

Анна отвела глаза в сторону.

Михаил снял с воза берестяную корзину с брякнувшим чайником, спросил недобрым голосом:

— Опять чего-нибудь натворил?

— Натворил. К учительнице в печь залез, кашу из крынки выгреб. — Анна вздохнула. — Не хотела я тебя расстраивать. Да что — не скроешь.

— Ладно, иди открывай повесть,— сказал Михаил. Сдвинув к переносью брови, он тяжелым взглядом обводил задворки деревни. С какой радостью он плыл сегодня домой! Война кончилась. Праздник небывалый. А тут не успел еще ступить за порог избы.— старая веревочка закрутилась.

Федька — его давно уже не звали Федюшкой — был наказанием всей семьи. Ворюга, повадки волчьи. А началось все с пустяков — с кочешка капусты, с репки, с горстки зерна, которые он начал припрятывать от семьи. Потом дальше — больше: в чужой рот полез. В прошлом году у Степана Андреяновича восемь килограммов ячменной муки украл. Весь, до грамма, паек, выданный на страду. Люди, понятно, взбудоражились — кто? какой казнь казнить вора? А в это время рыжий дьяволенок спокойно каждое утро, как на работу, отправлялся в пустой овечий хлев на задворках, садился на чурак — специально для удобства принес — и запускал руку в мешок. Так сидящим у мешка на чураке и накрыла его Лизка...

«И в кого он такой выродок?» — снова, в который раз задавал себе вопрос Михаил.

Мать открыла ворота на повети, подала ему вилы. Вдвоем они быстро разгрузили телегу. Потом Анна спустилась к нему с граблями и начала старательно загребать сенную труху.

— Брось,— сказал Михаил. — Незавидное сено. Осеншак¹.

— Что ты, я вся рада. Без корма живем. Будет у людей зависти.

— Нашли чему завидовать. Мы с Егоршей помучились с этим сенцом — будь оно проклято. Осенью собирали черт те где. А сейчас на себе через болото таскали — ну-ко, попробуй. — Михаил посмотрел вокруг, хмуро поджал губы: — Когда надо, наших ребят никогда нету.

— Ты насчет лошади? — Анна живо и предупредительно закивала. — Не беспокойся. Иди в избу. Я отведу. — И вдруг, взглянув в сторону колодцев, всплеснула руками: — Да ведь там, кажись, они, разини? Вот как расселись — ничего не видят.

¹ Осеншак — сено, поставленное осенью.

За первым колодцем на белой жердяной изгороди возле болота и в самом деле торчали две серенькие фигурки, очень похожие издали на огородные чучела.

— Чего ворон-то считаете? — закричала Анна и замахала рукой. — Не видите, кто приехал?

— Давай-давай! — закричал Михаил, подзадоривая затрусивших по дороге братьев. — А ну — который быстрее?

Петька и Гришка подбежали запыхавшиеся, худющие, бледные, как трава, выросшая в подполье. Даже бег не выдавил краски на худосочных лицах, хотя глазенки их, устремленные на старшего брата, сияли радостью.

Они все еще были разительно похожи друг на друга, так похожи, что даже на двор, как шутили в семье, бегали в одно и то же время. Дома их, конечно, не путали, а вот соседские ребята для удобства окрестили их по-своему. Года два назад Гришка рассадил верхнюю губу, напорвшись на гвоздь, и с тех пор Михаилу не раз приходилось слышать: «Эй ты, половинка щербатая!» По шраму отличала их друг от друга и учительница Августа Михайловна.

— Молодцы у меня, — сказал Михаил и поощряюще потрепал того и другого по голове. — Перескочили, значит, в третий?

Похвала старшего брата доставила близнецам величайшее удовольствие. Они застенчиво переглянулись друг с другом, посмотрели на мать.

— Чего принесли? Угощайте своего Мишу.

Петька и Гришка с готовностью протянули берестяные коробки — в них на вершок вперемешку с мусором рдела мокрая клюква.

Михаил взял по ягодине из каждой коробки, морщась, скользнул взглядом по тонким босым ножонкам, по мокрому низу штанов.

— Больше не бродите. Ну ее к лешему! Вот погодите — война кончилась, в сапогах скоро ходить будем. А сейчас на конюшню. Быстро!

Петька и Гришка — не надо говорить два раза — живо вскарабкались на телегу, сели рядышком в передок, оба взялись за вожжи. И чем дальше удалялась телега, тем все больше казалось, что едет один человек.

«А может, вот то, что они так жмутся друг к другу, и помогло им выжить в это время?» — подумал Михаил.

Он поднес руку ко рту:

— Возвращайтесь скорей! Чай будем пить. С хлебом! С настоящим! — добавил он громко.

3

Войдя в избу, Михаил поставил на пол плетенную из бересты корзину, к которой сверху были привязаны продымленный чайник и котелок, бросил к кровати мешок с валенками, потом расстегнул ремень с железной натопорней и большим охотничьим ножом в кожаных залощенных ножнах, снял старую, побелевшую от дождей и снега и не в одном месте прожженную фуфайку, снял шапку-ушанку из рыжей мохнатой собачины, вышел из-под полатей, разогнулся.

Вот он и дома...

Не много ему приходится жить дома. С осени до весны на лесозаготовках, потом сплав, потом страда — по неделям преешь на дальних сенокосах, — потом снова лес. И так из года в год.

Пол был вымыт — приятно, когда тебя ждут. Стены в избе еще голые — нечем оклеить, газету с трудом на курице раздобудешь. Только под карточкой отца, убранной полотенцем с петухами, висел ярко-красный плакат «Все для фронта, все для победы!»

Михаил прошел в задоски, заглянул в девочешник — так называли маленький закуток с одним окошком за задосками. Мать отговаривала его, когда он затеял делать отдельный угол для сестер. Но он настоял на своем. Нехорошо спать Лизке в общей свалке с ребятами. Девка. Надо вперед немного заглядывать.

В девочешнике у стены стояла койка на сосновых чурочках. Койка была аккуратно застлана старым байковым одеялом, а в головах, как положено, подушка. Михаил улыбнулся: все это Лизка соорудила без него. Полтора месяца назад, когда он последний раз приезжал домой из лесу, койки еще не было.

И еще раз он улыбнулся, когда, вернувшись в избу и снова оглядывая ее, наткнулся глазами на новый стояк у печи с карандашными пометками и ножевыми зарубками. Живут Пряслины!

Анна, все время не сводившая глаз с сына, облегченно вздохнула: ну, слава богу, хоть избой остался доволен.

— Самовар ставить или баню затоплять? — спросила она.

— Погоди маленько. Дай в себя прийти.

Михаил сел на прилавок к печи, снял кирзовые сапоги — на правом опять голенище протерлось, сунул ноги в теплые, с суконными голяшками валенки, которые подала ему мать с печи. Вот теперь совсем хорошо.

— Холодно на реке-то, — сказал он, свертывая цигарку.

— Как не холодно. Я навоз с утра возила — до костей пробирает.

— Пахать еще не собираются?

— Готовятся. Ждут тебя. Анфиса Петровна сколько раз поминала: где у нас мужика-то главного нету?

Чиркнув кресалом по кремню, Михаил выбил искру, помахал задымившейся суконкой, чтобы та разгорелась лучше. Затягиваясь, скосил на мать карий улыбающийся глаз:

— Ну, как тут у вас победы праздновали? Шумно было?

— Было. Всего было. И шуму было, и слез было, и радости. Кто скачет, кто плачет, кто обнимается... — Анна хлюпнула носом, но, заметив, как на обветренных коричневых щеках сына заходили желваки, поспешно смахнула слезу рукой. — У правленья улица народу не подымала. Речи говорили, с флагами по деревне ходили. Потом на заем стали подписываться. Я без памяти-то на триста рублей подписалась.

— Я тоже маханул, — сказал Михаил. — На полторы тыеячи.

— Ну вот. И Лизка, глупая, пятьдесят рублей выкинула. Ей-то бы уж совсем незачем. Не много зарабатывает. Галстук красный вывесила на дом, и ладно...

— Пушай, — миролюбиво сказал Михаил. — Такой день...

— Да ведь деньги-то не щепя — на улице не валяются. А тут на днях налог принесли.

— Налог? — Михаил озадаченно посмотрел на мать. До сих пор налоги обходили их стороной.

— На тебя выписан.

Михаил затянулся, шумно выпустил дым:

— Не забыли. Мне когда восемнадцать-то? Через две недели?

— То-то и оно. Я уж говорила Анфисе Петровне. «По закону, говорит. До первой платы, говорит, в годах будет».

Обжигая губы, Михаил докурил сигарку, размял на ладони притушенный окурок, остатки махорки сыпал в железную баночку.

— Ничего. Как-нибудь выкрутимся. В постоянный кадр, на лесопункт, думаю проситься. В лесу теперь и хлеба больше давать будут, и кой-какой паек на иждивенцев положат. Опять же мануфактура...

Тут на крыльце часто-часто затопали ноги, дверь распахнулась, и в избу вихрем влетела Лизка, а в следующую секунду она уже обнимала брата за шею.

— Мне как сказали, что у вас хозяин приехал, дак я лечу — ничего не вижу. Танюха сзади: «Лизка, Лизка, стой!..» Ладно, думаю, не кошелек с деньгами — не потеряешься.

Вдруг Лизка нахмурилась, глянув на Петьку и Гришку, которые вбежали вслед за ней.

— Где девка-то? Бессовестные! Ребенка бросили. А ну марш за ней!

Вот за эту распорядительность да за хозяйскую сноровку Михаил любил сестру. Не на матери — на Лизке держится семья, когда его нет дома.

Он с чуть приметной улыбкой разглядывал сестру, пока та, привстав на носки, вешала под порогом свою пальтуху. Белая, льняная голова у нее была гладко зачесана, и толстая, туго заплетенная коса с красной ленточкой спадала до поясницы. В общем, по косе уже девка. Но в остальном... В остальном ничегошеньки-то для своих пятнадцати лет. Как болотная сосенка-заморыш...

И, словно угадав его мысли, Лизка живо обернулась. Скуластое лицо ее, густо присыпанное желтыми веснушками у зеленых глаз, слегка порозовело.

— Что? Как кошей страшный, да? — спросила она прямо. — Ладно, не всем, как Раечка Федора Капитоновича. Кому-то и мощой надо быть.

И за эту простодушную прямоту он тоже любил сестру.

— Мама, ты чего ни шьешь, ни порешь? — начала, не мешкая, распоряжаться Лизка. — Самовар будем греть или баню затоплять?

А еще какую-то минуту спустя она уже утешала плачущую, в три ручья заливающуюся слезами Татьянку, которую, подталкивая, ввели в избу двойнята.

Михаил слышал, как она нашептывала Татьянке на ухо:

— Подойди. Скажи: «Здравствуй, Миша. С приездом». Да за шейку его.

Татьянка заупрямилась, и Лизка моментально рассердилась:

— Ну еще, волосатка! Никогда больше не возьму на телятник. Сиди дома.

— А вот посмотрим, что она сейчас запоет... — Михаил подтащил к себе корзину.

Рот у Татьянки сразу встал на свое место, а Петька и Гришка — те просто выросли на глазах.

Посмеиваясь, Михаил извлек из корзины кусок голубого ситца с белыми горошинами, протянул Лизке:

— Это тебе, сестра.

— Мне? — Лизка часто-часто заморгала глазами и вдруг расплакалась, как ребенок.

Михаил отвернулся, начал шарить банку с махрой.

— Ну дак не реви, не взамуж отдают, — сказала мать, сама не в силах удержать слезы. — Чего надо сказать-то, глупая?

Лизка, крепко, обеими руками прижимая к груди ситец, сунулась на колени и еще пуще прежнего разрыдалась. Первый раз в жизни ей подарили на платье.

— Ну, ну, успокойся, сестра, — пробормотал Михаил.

— А мне? — требовательно топнула ногой Татьяна, готовая вот-вот снова разреветься.

— Хватит и тебе. И мать, может, чего для себя выкроит. Восемь метров.

Вслед за тем Михаил достал из корзины новые черные ботинки на резиновой подошве, с мелким рубчатым кантом и парусиновой голяшкой.

— Ну-ко, сестра, примерь.

— И это мне? — еле слышно пролепетала Лизка, и вдруг глаза ее, мокрые, заплаканные, брызнули такой неудержимой зеленой радостью, что все вокруг невольно заулыбались — и двойнята, и мать, и даже сам Михаил.

Тут же, не сходя с места, Лизка села на пол и начала стаскивать с ног старые — заплата на заплате — сапожонки.

— Ты хоть бы обнову-то не гваздала,— сказала мать и взяла у нее с коленей ситец.

— Ботинки-то, наверно, великоваты,— предупредил Михаил. — Не было других. Три пары на весь колхоз дали.

— Ладно, из большого не выпадут. Чем-чем, а лапами бог не обидел.

В избе заметно посветлело, когда Лизка, неуверенно, с осторожностью ступая, раза три от порога до передней лавки прошла в новых, поблескивающих ботинках.

Не были забыты и ребята. Для них Михаил — Егорша уступил ему свои промтоварные талоны — привез синей байки на штаны. Но Петька и Гришка, вопреки его ожиданиям, довольно сдержанно отнеслись к этому подарку. А вот когда он вытащил из корзины буханку — целую увесистую кирпичину ржаного хлеба, — тут они взволновались не на шутку и в течение всего времени, пока грелся самовар, не сводили глаз со стола.

Как раз к самому чаю, только что сели за стол, явился Федька.

— Он уж знает, когда прийти. Как зверь еду чувствует... — заговорила было Лизка и осеклась, взглянув на старшего брата.

Михаил, распрямляя спину, медленно поворачивал голову к порогу.

— Ну, что скажешь? Где был?

Федька стоял не шевелясь, с опущенной головой. На нем была та же рвань, что на остальных, и кормили его не по-особому, но веснушчатые щеки у него были завидно красны, а босые, уже потрескавшиеся ноги выкованы будто по заказу — крепкие, толстые, и пальцы подогнуты, пол когтят.

— Что скажешь, говорю? Ну? — снова, чеканя каждую букву, спросил Михаил.

— Отвечай! Кому говорят? Где был? — опять не выдержала Лизка.

И тут Федька ширнул носом, поднял глаза, холодные, леденистые, и вдруг эти ледышки вспыхнули: хлеб увидели,

«Вот и потолкуй с этим скотом,— вздохнул про себя Михаил,— когда у него брюхо наперед головы думает». Да и не хотелось ему портить праздник — не часто-то он у них бывает. И он, к великой радости матери и двойнят, которые болезненно, до слез переживали всякий разлад и ссору в семье, махнул рукой.

У ребят дыханье перехватило, когда он взялся за буханку. Давно, сколько лет не бывало в их доме такого богатства.

Коричневая, хорошо пропеченная корочка аж запищала, заскрипела под его пальцами. И вот что значит настоящая мука — ни единой крошки не упало на стол.

Легко, с истинным наслаждением развалил он буханку пополам — век бы только и делал это,— затем одну из половин разрезал на четыре равные пайки.

Танюшке — пайка, Петьке — пайка, Гришке — пайка, Федьке...

Рука Михаила на секунду задержалась в воздухе.

Мать, не привыкшая к такому расточительству, взмолилась:

— Ты хоть бы понемножку. Они хоть сколько смеют.

— Ладно. — Пайка со стуком легла перед Федькой. — Пусть запомнят победу. — Михаил поднял глаза к отцовской карточке. — Это мне начальник лесопункта Кузьма Кузьмич подбросил буханку. Уже перед самым отъездом. «На, говорит, помяните отца. Вместях раньше работали».

Мать и Лизка прослезилась. Петька и Гришка, скорее из вежливости, чтобы не огорчить старшего брата, поглядели на полотенце с петухами. А Татьяна и Федька, с остервенением вгрызаясь в свои пайки, даже и глазом не моргнули.

Слово «отец» им ничего не говорило.

4

После чая Михаил разобрался с бритьем (он с прошлой осени начал скоблить подбородок носком косы), мать, прихватив растопку, пошла затоплять баню, а Лизка побежала к Ставровым.

Со Ставровыми Пряслины жили коммуной, считай, всю войну, чуть ли не с весны сорок второго года. Они

держали на паях корову, сообща заготавливали сено, дрова, выручали друг дружку едой. Больше всего, конечно, от этой коммуны выигрывали Пряслины, но и Степан Андреянович не оставался внакладе. Анна и Лизка обстирывали и обмывали его с внуком, держали в чистоте их избу, и хлопот насчет бани Ставровы тоже не знали.

Ветер под вечер стих. Из белесых лохматых облаков проглянуло оловянное солнышко, и далеко, на пекашинских озимях, кричали журавли. Первый раз за нынешнюю весну, отметила про себя Лизка.

Она бойко вышагивала по унылой, твердой как камень дороге — ни одной еще травинки не было на лужайках — и мысленно видела себя в новых ботинках, в новом голубом платье с белыми горошинами. И вообще все, все теперь, казалось ей, будет иначе. Им не придется больше давиться колючим мохом, толочь в деревянной ступе сосновую заболонь, и по утрам не будут больше, мучаясь запорами, кричать с надворья ребята: «Ма-а-ма-а, умираю...» Какое это счастье, что у них такой брат!

Степан Андреянович затоплял печь. Красные отсветы играли на его бородатом лице.

Наверно, что-нибудь для Егорши варить собирается, догадалась Лизка.

— А, невеста пришла, — сказал с улыбкой Егорша. Он лежал на печи, голые ноги крест-накрест, в зубах самокрутка.

Лизка хмыкнула:

— Невеста без места, жених без штанов.

— А вот и в штанах, — рассмеялся Егорша.

— Хватит тебе зубанить-то, — одернул его Степан Андреянович.

Егорша придурковато высунул язык, но разговор переменял:

— Ну, что Мишка делает?

— Что делает! Он без Мишки-то часу прожить не может. Не ты — без дела не лежит. Я пришла сказать, — обратилась Лизка к Степану Андреяновичу, — баню-то не топите. Мы топим.

Она цепким, бабьим глазом обвела избу.

— Ну-ко, я хоть маленько приберу у вас.

— Брось, Лизавета, — сказал Степан Андреянович. — Сами с руками.

Но Лизка уже смачивала под рукойником веник. Затем, подметя пол, она по-свойски прошла в чулан, вынесла оттуда грязное белье старика, бросила на пол:

— У тебя есть чего?

Егорша скосил прищуренный глаз на деревянный сундучок, стоявший у кровати.

— Вон мой чемодан. Доверяю.

В задосках загремела кочерга.

— Мог бы и сам достать. Рановато барина-то из себя показывать.

Егорша нехотя спустился с печи — босиком, в белой нательной, давно не стиранной рубашке с расстегнутым воротом и выпущенным подолом, — зевнул, потягиваясь.

— Лежать-то тоже надо умеючи. — И подмигнул Лизке. — Одна баба лежала-лежала — ногу отлежала. На инвалидность перевели.

Был Егорша невысок, худощав и гибок, как кошка. Смала Егорша очень походил на робкую, застенчивую девчушку. Бывало, взрослые начнут зубанить — жаром нальются уши, вот-вот, думаешь, огонь перебросится на волосы — мягкие, трепаные, как ворох ячменной соломы. Но за три года житья в лесу Егорша образовался. Стыда никакого — сам первый похабник стал. Глаз синий в щелку, голову набок, и лучше с ним не связывайся — кого угодно в краску вгонит.

К деду Егорша переехал в сорок втором году, после того как мать задавило деревом на лесозаготовках. Степан Андреянович завел было разговор о перемене фамилии, но Егорша заупрямился. Тем не менее в Пекашине все и в глаза, и за глаза называли его Ставровым. И тогда Егорша схитрил: к отцовской фамилии Суханов стал приписывать фамилию деда.

— Со мной, брат, не шути, — говорил он, довольный своей выдумкой. — У меня, как у барона, двойная фамилия.

Легкой, развинченной походкой Егорша прошел в задоски, зачерпнул ковшом воды из ушата, напился.

— По последней науке, говорят, ведро воды заменяет сто грамм.

— Чудо горохово! Все про вино, а сам рядом-то с бутылкой не стоял.

— Так, так его, — поддержал Лизку Степан Андреевич,

Егорша вынул из сундучка скомканное белье, навел на Лизку свой синий глаз с подмигом:

— На, стирай лучше. Когда-нибудь из сухаря выведу¹.

— Больно-то мне надо!

— Ну, ну, не зарекайся. В клуб-то нынче ходят?

Степан Андреянович, сливая в чугунок воду, покачал головой:

— У нашего Егора одно на уме — клуб.

— А чего! Война кончилась — законное дело. Кто теперь играет? Раечка?

— Она когда в балалайку побренчит, — сказала Лизка и вдруг рассердилась: — Да ты думаешь, у нас тут только плясы и на уме?

Егорша опять зевнул.

— Я не про тебя. Я про девок.

Слышала, слышала она от этого злыдня кое-что и похлестче — за словом Егорша в карман не лез. Но нынешняя насмешка показалась ей почему-то столь обидной, что она схватила узел с бельем и, даже не попрощавшись со Степаном Андреяновичем, хлопнула дверью.

5

Дома шла стрижка — обычное дело в день приезда старшего брата.

Двойнята уже расстались со своей волосней и, покручивая непривычно легкими головами, влюбленно следили за рукой Михаила, лязгающей черными овечьими ножницами над Федькиной головой.

Федьке приходилось туго: ухо у него против света горело, как жирная волнуха, и по веснушчатым щекам текли слезы. Но он крепился и на вошедшую в избу сестру даже не взглянул.

— Что Егорша делает? — спросил Мишка.

Лизка всплеснула руками:

— Да вы что — сговорились? Тот: «Что Мишка делает?» Этот: «Что Егорша делает?»

Она взяла под порогом веник, запахла в кучу ребячьих волосы.

— Ты ничего не слышал?

— Нет. А что?

¹ Вывести из сухаря — значит пригласить девушку на домашней вечеринке или в клубе танцевать.

— Старовер приехал.

— Какой старовер?

— Много ли у нас староверов? Евсей Мошкин. В поле сейчас стоит, у своей избы. Сегодня, сказывают, приехал. До Лиственничного бора на «Курьере» шел, а оттуда пешком. Не захотел дожидаться, покуда паром дрова возьмет.

За этим многоречивым плетением Михаилу почудилась та же самая тревога, которая холодком подползла и к его сердцу. Прошлой осенью, когда в спешке ставили им избу, бревна собирали по всей деревне и три венца взяли с развалин Евсея Мошкина. Конечно, с согласия правления колхоза.

— Сиди! — зло тряхнул Михаил заворочавшегося Федьку.

Наскоро оборвав остатки волос на рыжей голове, он накинул на себя ватник, вышел на улицу.

На задворках, в поле, там, где стояла изба Евсея Мошкина, никого уже не было.

Михаил взял колун с крыльца и пошел в дровяник. Он всегда так делал, когда хотел что-то обдумать. Правда, в данном-то случае и обдумывать было нечего. Бревна с Евсеевой избы подсказала снять Анфиса Петровна, так что пускай она и рассчитывается с Евсеем.

Да, но бабам-то рот не заткнешь, подумал Михаил. Начнут теперь вздыхать да охать. Вот, скажут, какие нынче люди пошли. Подошел Евсеюшко к своему домику, а там не то что избы — бревнышка ладного нету. И что ты возразишь? Что скажешь на это? Пускай ты хоть век не виноват, а бревна-то на твоей избе. Каждому прохожему видно.

Михаил сплеча всадил в суковатую чурку колун, затем старательно, на все пуговицы, застегнул ватник и пошел к Марфе Репишной, дальней родственнице Евсея.

У Марфы Репишной Пряслины жили каждую зиму, начиная еще с довоенного времени, когда морозили у себя тараканов, и Михаил хорошо знал ее избу. Старинная изба. Оконышки маленькие, высоко над землей, а потолок и стены из гладко оструганного кругляша — золотом светятся. И дух в избе вкусный, травяной. Особенно бросается, когда в холодное время с надворья заходишь: будто из зимы в лето попадаешь.

На этот раз травяной запах заглушала смола: Евсей щепал лучину.

Ловко, красиво сбегал с полена тонкий розовато-белый ремень. Как живой: чуть-чуть потрескивая и мягко выгибаясь. А когда этот ремень совсем отделился от полена, Евсей не дал ему упасть на пол, а быстро подхватил его и покачал на весу: а ну-ка, скажи, друг-приятель, на что ты пригоден (знакомая Михаилу привычка), и бросил отдельно, в сторону от растопки,— надо полагать, для дела.

Сам Евсей, к немалому удивлению Михаила, оказался совсем не таким, как представлял он его себе, шагая к Марфе. Он-то думал увидеть какого-нибудь доходягу, тень от человека, раз столько в лагерях отбухал, а тут — держите ноги: пень смоляной. Щеки румяные, гладкие, как мячики, в рыжей окладной бороде ни единой пожухлой волосины, и голова тоже медная, в скобку стрижена, подрубом.

Потом, правда, Михаил разглядел: старик. И рука правая в трясучке, и кожа на шее сзади потрескалась, как кора на старом дереве. Но все равно — впечатление засмолевшего, забуревшего пня, с которого, как вода, стекают и время, и всякие житейские невзгоды, осталось.

— Чей это молодец-то будет? — спросил Евсей у Марфы.

Марфа подняла голову от рубахи, которую чинила, поглядела на Михаила своими полубезумными глазами и ничего не сказала. У нее, как казалось Михаилу, и раньше кое-каких винтиков не доставало, а после смерти мужа она и совсем ослабла головой.

Михаил назвал себя.

— Ивана Пряслина сын! — воскликнул Евсей. Он вскочил на ноги, всплакнул, замотал головой. — Господи, Ивана Гавриловича сын... Михайло Иванович — так, кабыть? Вот как, вот как время-то идет, робятушки! Давно ли Иван Гаврилович сам молодевал, а тут такой сын. В отца, кабыть, натурой-то, только тот волосом посветлей был. — Евсей опять, поохав, повздыхав, сел на лавку. — А меня-то помнишь? — спросил он, и вдруг в мокрых шелках его вспыхнули любопытные, по-ребячьи лукавые огоньки.

Михаил отрицательно покачал головой.

Огоньки потухли.

— Где помнить. А я вот тебя запомнил. Бывало, все к моим ребятам бегал. Вот такой махонький,— Евсей показал рукой.

Михайлу смутно припомнились двое мальчуганов-сирот, живших когда-то неподалеку от них на задворках. Старшего, кажется, звали Ганькой, а у младшего — это он хорошо помнит — было прозвище Тяпа. Ребятишки бедному Тяпе из-за того, что у него была большая белая голова да кривые, как ухваты, ноги, не давали житья. И Михаил тоже травил его: «Тяпа, Тяпа, не упади!..»

А Тяпа не отвечал. Тяпа, казалось, не замечал этих обидных выкриков. И все катился да катился себе мимо, как колобок. И, как колобок, улыбался своей светлой, кроткой улыбкой.

— Нету, ни которого нету в живых. Оба убиты — и Гаврило, и Алексей,— вздохнул Евсей. — И у тебя родитель, сказывают, остался там?

— Остался.

— О, господи, господи! Сколько народушку побито. Весь цвет в войне выгорел. А семья-то у вас большая?

— Шестеро, кроме меня.

— Ох, Михайлушко, Михайлушко! Ну дак тебе досталось. Взвалила война на твои плечи ношу...

Михаил встал.

— Я насчет бревен зашел сказать. Это я увез их с твоей избы.

Евсей махнул рукой:

— Что ты, бог с тобой, Иванович. Не ты начал рушить мое строенье, не ты кончил. Сеструха¹ Марфа Павловна пригрела меня, и слава богу.

— В общем, так,— сказал Михаил. — Мне чужого не надо. Нарублю и отдам.

— Нету чужих, Михайлушко. Все люди родня. А мы с тобой еще родники по крови. Не слышал? Так, так. Спроси у старых людей. Старые-то люди помнят. Мой-то отец да мать твоего отца — бабушка тебе — троюродными братом да сестрой доводились. Отец у тебя помнил. Бывало, выпьет, дядей назовет. Ничего, шибкой был, а худого слова не скажу. Обходительный со мной был...

В избу вошла запыхавшаяся Лизка:

¹ Сеструха — двоюродная сестра,

— Вот где он! Я по всей деревне ищу, а он как не знает, что баня поспела.

— Сестра тебе? — спросил Евсей. — Как звать-то?

— Лизаветой, — сказала Лизка и хмуро, почти враждебно посмотрела на Евсея.

— Так-так, — ласковой улыбкой ответил ей Евсей. — Лизавета Ивановна, значит. Характером-то, кабыть, в бабу Матрену Прокопьевну. Счастливая будешь.

Михаил с каким-то смутным и непонятно-тревожным чувством вышел на улицу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Эх, жар-суховей, пар-береза на спине!

В Пекашине любили попариться. Бывало, в субботу стукоток стоит за колодцами, у болота (там банный ряд): трещат, хлопают двери, раскаленные мужики да парни вылетают в белом облаке и бух-бух в снежный сумет или в озерину.

И в войну не забывали баню, в самые черные дни топили. А как же иначе, если это и твоя единственная отрада в жизни, и твоя оборона от всех болезней и хворостей?

Пряслинская баня была приметна не сама по себе — какие же особые приметы у черной бани? Она была приметна кустами — двумя черемшинами и пятком тоненьких рябинок, росшими возле сенцев.

Летом — что и говорить — приятный дух от черемшинок, но если бы эти кусты не были посажены отцом, Михаил и дня бы не держал их у бани. Приманка для ребят — вот что такое эти кусты. Особенно черемуха. Весной и осенью каждый пацан лезет на нее, а раз пацан возле бани — не бывать стеклу в окошке. Это уж точно. И в окошке пряслинской бани вечно торчит веник.

— Алё? — подал голос Михаил, входя в сенцы. — Есть жар?

— Есть, наверно. Мне с этим жаром-паром не на луну лететь, — замысловато ответил из бани Егорша.

В бане из-за веника в оконце было темновато, и Егорша, растянувшийся на полку, напоминал березовый

кряжик. Михаил против него был мужик. Кожей смуглый — в материн род, а всем остальным — и костью, и силой — в отца.

Горбясь под низким черным потолком, он дотронулся пальцем до каменки — хорошо накалена! — и зашуршал березовым венником.

Егорша панически приподнялся на полку:

— Ты что — опять будешь устраивать Африку?

— Да, надо немножко кровь разогнать. У меня что-то ухо правое ломит — надуло, наверно, на реке.

— Ну, тут наши пути-дороги расходятся, — сказал Егорша.

— А ты знаешь, кого я сейчас видел?

— Кого? — спросил Егорша, слезая с полка.

— Попа!

— Какой это, к хрену, поп! Дурак старый — вот кто.

— Да ты знаешь, о ком я?

— Знаю, — невозмутимо ответил Егорша.

Оказывается, Егорша еще раньше его, Михаила, видел Евсея Мошкина, ибо по дороге домой от реки он завернул в правление — узнать, как и что тут делается, в Пекашине, — и нос к носу столкнулся с этим так называемым попом.

— Почему с так называемым? — запальчиво возразил Михаил. — Я еще ребенком был, помню, его попом называли.

— По глупости.

— А за что же тогда его пятнадцать лет катали в лагерях, ежели он не поп?

— Потому что осел на двух копытах. Ему в сельсовете ясно было сказано: брось, говорят, Евсей, всю эту музыку. Не мути народ. Новую жизнь строим, и все прочее... А он, пень упрямый, свое. Ну и гуляй до лагерей. А чего еще с ним цацкаться, раз он русского языка не понимает?

— Хм... — сказал недоверчиво Михаил. — А откуда ты все знаешь? Ты ведь у нас в ту пору не жил.

— Чего знаю? Это что его в лагерь-то закатали из-за своей дурости? Да уж знаю... — Егорша поплескал в лицо водой из ушата и убежденно сказал: — Нет, это не поп. Такой же Ванек пекашинский, как все прочие. Только мозга еще больше набекрень. Нет, вот я был в прошлом году в Архангельске — это вот да, поп. Идет

по улице, сарафан черный до пят — рясой называется. Я еще сперва подумал: баба. Нет, говорят, поп...

Михаил, приспособившаяся к короткому полку свои длинные ноги, попросил:

— Плесни маленько.

Каменка загрохотала, как пушка. Сухой, каленый жар придавил Егоршу к полу.

— Между прочим,— заговорил он немного погодя снизу,— религия эта много денег на войну собирала.

— Подбрось еще ковшик! — оборвал его Михаил. Он терпеть не мог, когда Егорша начинал говорить с ним вот этим поучающим тоном.

— Ну ты и зверь! Скоро, как мой дедко, в рукавицах хвостаться будешь.

— Давай, давай.

— Да мне-то что — жалко? Вода еще не по карточкам. — Егорша зачерпнул из ушата, отступил, пригибаясь, в сторону. — Господи благослови...

Когда немного спала жара, он ползком стал пробираться к дверям.

— Ну тебя к лешему! Я еще не грешник, чтобы в таком жару жариться. Пошел на водные процедуры. Идешь?

— Говорю, у меня простуда.

Михаил повернулся на бок, прошелся венником по спине, потом, упершись ногами в каленые потолочины, еще раз похлестал колени (с осени сорок второго года, с той самой поры, как он пошел в лес, поскрипывает у него в коленях) и наконец, совершенно обессиленный, выпустил из рук обтрепавшийся веник.

С улицы донесся женский визг, хохот — не иначе как Егорша на кого-то напоролся нагишом, — затем немного погодя за стеной у болота раздался всплеск воды — Егорша нырнул в озерину.

Михаил поспешно слез с полка, кинул жару.

— Ух, ух! — с суматошным криком ворвался в баню Егорша. — Вот теперь и нам подавай градусов.

Шелкая зубами, он с ходу вскочил на полку, замолотил ногами.

— Всник дать?

— Нет, нет, ну его к дьяволу! Не люблю.

— Ты чего это там разорялся? — спросил Михаил, устраниваясь для мытья на чурачок против оконца.

Егорша захохотал:

— Варвару шуганул. Я это выбежал из сенцев, а она воду черпает. Ну и ах, ох! Да... Вот товар залежался. Не знаю только, с какого боку подобраться.

— Че-го-о?

— Не знаю, говорю, какую тактику применить. Бабы, они как лошадь: у каждой свой норов.

— Дурак! Она на сколько тебя старше? Мы сосунки против ей.

— Ты баб не знаешь,— спокойно возразил Егорша. — А они, которые в годах, любят молоденьких. Уж это точно.

— Скажи какой знаток!

— Ладно. Ты про аппетит слыхал?

Михаил улыбнулся: сейчас Егорша расскажет какую-нибудь похабель — на всякий случай у него анекдот да притча.

— Так было дело. — Егорша поворачивается к нему лицом. — Баба одна аппетитом маялась. Ну, худо ела, понимаешь? Муж ей и то, и се, всяких там продуктов-пряников в лавке закупит — до войны дело было, — полный стол наставит. Ешь, жена, чего хочешь. Не ест. Как кобыла худая морду от сена воротит. Ну что ты будешь делать! Вот так-то раз поутру, часов в восемь, угощает муж жену. И опять то же самое: опять не хочу, опять аппетита нету. А мужику за дровами ехать надо, лошадь в упряжке под окошком стоит. «Ладно, говорит, поеду, а ты, говорит, посиди подожди. Должен появиться аппетит». Ну, жена послушная, как наказал муж, так и сделала: сидит у стола, ждет, когда появится аппетит. А тут откуда ни возьмись — солдат, под окошком топает. Разудалый такой Ванюха-хват — с царской службы домой пробирается. Жена, ну эта самая Авдотья, увидала: «Слышь-ко, говорит, тебя, говорит, не Аппетитом зовут?» А солдату все едино — как ни назови. «Аппетитом». — «Дак я же, говорит, который день тебя жду. Заходи скорее...» Ну, после полудня возвращается муж с дровами. Рад-радехонек! На столе ни крошки, и жена веселая. «Что, говорит, был у тебя аппетит?» — «Был, говорит. Да такой хороший. Поезжай скорее по сено. Он на ночь обещался прийти...» — Под смех Михаила Егорша закончил: — Видишь, когда еще баба аппетитом маялась. До войны. При живом муже. Соображаешь теперь?

— Сукин ты сын! — сказал Михаил. — И завсегда у тебя какая-то ерунда на уме. Ты лучше скажи, как теперь жить будем.

— А что?

— Как что? Война кончилась, а дальше?

— Тю, нашел о чем горевать. Не беспокойся. Там, наверху, большие мужики газеты читают...

— Да я не про то. Как ты не понимаешь! Вот, к примеру, ты. Я бы на твоём месте учиться мотанул, честное слово.

— Мотай на здоровье. Нынче никому не запрещено.

— Болван! У меня сколько на шее? А у тебя один дедко, да и с того еще ты тянешь...

Егорша повернулся на спину, подложил под голову веник. Затем, помолчав, объявил:

— У меня задача покамест такая — добыть серп с молотом. А дальше поглядим, что и как.

— Чего-то я раньше не замечал, чтобы тебя к кузнице тянуло.

— И сейчас не тянет.

— Дак чего же?

— Мне надо такой серп и молот, — сказал Егорша, потягиваясь, — у которых крылышки. Чтобы подвесился к ним и полетел, куда захотел.

— А, ты вот о чем, — догадался Михаил. — Про паспорт. Не знаю. Сосны да ели и без паспорта нас признают.

— С колхозным леском покончено, — сказал Егорша.

— Это кто тебя отпустит?

В сенцах что-то брякнуло, вроде дужки от ведра, потом Лизкин голос:

— Есть ли жар-то?

Егорша живо приподнялся на полку, заорал:

— Лизка! Потри спину!

— Я те потру. Батогом суковатым. Подойдет?

Когда в сенцах все заглохло, Михаил рьяно, исподлобья поглядел на Егоршу, коротко бросил:

— Ты, говори, да знай с кем.

— Ну еще, нельзя и пошутить.

Лизка снова вернулась в сенцы:

— Я из-за этого зубана забыла, зачем и пришла. Тебя Анфиса Петровна ждет. Срочно, говорит, Михаила надо. Так что больно-то не размывайся. В субботу вымоешься.

— Ну вот,— сказал Михаил и невесело усмехнулся. — Не успел одну грязь смыть — другая ждет.

— Да,— сказал Егорша,— колхозная жистянка известна: из одного хомута да в другой. Нет, я нынче поворачиваю на все сто восемьдесят. Баран и тот, понимаешь, башкой иногда крутит, а мы что... Царь природы...

2

Приход председателя на дом, да еще в день приезда из лесу, ничего доброго не сулил — Михаил хорошо это знал по прошлому. Опять какое-нибудь пожарное дело: либо за сеном тащись с бабами на ночь глядя, либо — семенами у соседа разжились — мотай срочно за семенами...

Одним словом, выручай, Михаил. И потому он мрачно, почти с ненавистью покосился на Анфису Петровну, сидевшую на передней лавке с Татьянкой на коленях.

Первые же слова Анфисы Петровны ошеломили его. Анфиса Петровна посылала его в город. Дело в том, что Лобановы получили от своей невестки письмо (только что, с сегодняшним пароходом), и та пишет, что может помочь колхозу машинным маслом да мазью — на складе работает.

— Я думаю, такой случай упускать нельзя,— заключила Анфиса и своими добрыми и умными глазами посмотрела на него.

Михаил машинально, не раздумывая, кивнул головой: конечно, нельзя. И масло, и мазь позарез нужны колхозу. Ведь за эти годы чем только они не смазывали свои немудреные машины! И дегтем, и салом, и всяким варевом, от которого за версту несет вонюю.

— Поезжай,— говорила Анфиса Петровна. — Заодно и город посмотришь. Я вот до сорока годов дожила — ни разу не бывала.

Михаил в нерешительности посмотрел на ребят, на мать — дел дома куча. А главное — с чем ехать? С картошкой одной в Архангельск не поедешь. Но Анфиса Петровна уже предусмотрела и это — выписала двенадцать кило жита. Фуфайка страшная, стыдно на люди показаться, как говорит мать? Пожалуйста. И этой беде можно помочь. Найдется фуфайка, заверила Анфиса Петровна, и даже костюм Григорьев можно попримерить.

Михаил решился — раздумывать некогда, «Курьер» приходит сверху рано утром.

— Мати, затопляй печь! Лизка, носи мешок!

На колхозный склад он влетел разгоряченным жеребцом — только что не заржал: глаза горят, грудь как мехи кузнечные и сила такая — все сворочу!

— Из какого мешка? Говори!

Варвара указала на дальний угол.

Михаил затопал — половицы завизжали. Мешок — немалый — поднял играючи, пропер к весам без передышки.

Варвара ахнула:

— Ну, какой ты мужчина стал!

— Растем! — отшутился он. — И ты девкой стала.

— Да, верно что девкой. Опять замуж можно выходить. — И рассмеялась невесело.

А вообще-то молодец баба! Терентия убили в прошлом году, а кто слышал от нее стон? Правда, женки вписали ей это в строку: сердца нет. А может, она на зло всем чертям так делает? Слезу пускать да реветь — это каждый умеет. А ты вот попробуй рот скалить, когда у тебя сердце кровью обливается.

Рот у Варвары красивый, белозубый, смехом налит — нету такого другого рта в Пекашине. И, глядя на ее моложавое, высветленное вечерним солнцем лицо, Михаил вдруг вспомнил давешние слова Егорши. Придумает же, сукин сын!

— Ты чего это развеселился? — спросила Варвара и снизу, от весов, посмотрела на него.

— Да так...

— Знаю, знаю, что у тебя на уме. Я еще тогда — помнишь, в поле ты Дунярку высматривал? — сказала себе: быть моей племяннице за Мишкой! Ух и погуляем на свадьбе!

— Иди ты к черту!

Он ткнул карандашом в ведомость, схватил свой мешок с зерном.

Варвара, довольнехонька, засмеялась (первое это удовольствие для нее — вогнать человека в краску), а когда он был уже на улице, окликнула. Подошла, роясь в брезентовой сумке, — начальство, завскладом!

— Ты вот что мне. Чулки городские да подвязки на резинке привези.

Михаил ошалело попятился назад.

— Ну-ну,— совала Варвара деньги со смехом,— привыкай. А сам не можешь, Дунярку или Онисью попроси. Там, на рынке, говорят, всякой всячины.

Пришлось принять деньги — дьявол с ней, пускай на-ряжается.

3

Когда Михаил очень спешил, он обычно ходил задворками либо подгорьем. Потому что стоило ему показаться на улице, как бабы со всех сторон наваливались на него: этой поправь крышу, той подними дверь — каждый раз с боем и она сама, и ребята попадают в избу, а у третьей и того срочнее дело — потолок «заходил» над столом.

И он ладил крыши, поднимал двери, подводил всякие подпоры под прогнившие потолочины, отбивал и наставлял косы, рушил постройки на дрова. Да, оказывается, и эта работенка — наводить разруху на деревне — кое-какой сноровки требует. Крепко старики строили — пока бревно от сруба оторвешь, семь потов с тебя сойдет. В общем, его мужские руки нарасхват рвали безмужние бабы.

И то же самое сегодня. Только он выкатился со склада на переднюю улицу да подумал, не лучше ли повернуть обратно, на задворки,— стоп: Окуля Зубатка. Выстала с топором на самом углу — расклинь топорнице.

— Давай в другой раз. Я в город еду.

Окуля что-то забормотала себе под нос — насчет совести, насчет того, что она ведь не задаром просит.

И тут Михаил понял, на что намекает Окуля. На то, что он ее должник. В прошлом году травяного настоя брал от скрипа в коленях.

Михаил аж затрясся от ярости. Сколько он этой старой сквалыжине всякой работы переделал — и избу перекрывал, и две весны участок пахал,— а тут про какой-то травяной настой вспомнила!

Но дьявол с тобой — давай сюда топор.

Вот так и пошло. У Окули топор, у Дуни Савкиной крыша — еще осенью, уезжая в лес, пообещал сменить гнилую тесницу.

— Нет-нет, не могу сейчас! — замахал он руками еще издали. И — мимо.

А Петр Житов не Дуня Савкина — мимо не проскочишь. Петр Житов кого угодно по стойке «смирно» по-

ставит. Ежели не горлом, то своим протезом. Криком кричит у него донельзя разношенный протез.

— Мишка, это правда, что ты в город едешь? Дак вот, мальчик, поручение. — И далее Петр Житов усадил его на крыльцо и начал обстоятельно втолковывать, где и как разыскать в городе протезную фабрику. Срок носки протеза у него вышел еще год назад — и почему никакого внимания к инвалиду Отечественной войны? Неужели он, Петр Житов, не заслужил железной ноги?

Еще хотела заарканить его Раечка Клевакина. Раечка выбежала с маслозавода:

— Эй, приворачивай! Машина сломалась!

Возможно, вполне возможно, что у сепаратора опять какая-нибудь гайка размололась — старый, одного года рождения с колхозом сепаратор, — но Раечка-то его, конечно, не ради сепаратора звала.

В прошлом году завозились на пожне бабы и девки, штук пятнадцать навалились на него сразу — где тут справишься? И вот чтобы хоть как-то выйти из положения (позор — бабы выкупали!), Михаил уже в последнюю минуту схватил в охапку Раечку и закричал дурашливым голосом: «Эх, уж ежели тонуть, то тонуть только с Раечкой!»

И, наверно, понравилось Раечке их совместное купанье — с той поры она постоянно стала попадаться ему на глаза, даже с Лизкой завела дружбу, чтобы заходить к ним домой.

Лично Михаил ничего против Раечки не имел. Девка красивая, жаркая — зимой в самый лютый мороз в одном платье выбегает с маслозавода дрова колотить. И не жадная — даром что дочь Федора Капитоновича.

Но только ему-то, Михаилу, на кой она ляд сдалась. Разве он променяет когда-нибудь Дунярку на Раечку? Да хоть тысячу Раечек выставь сразу, все равно не получится одной Дунярки.

С Дуняркой они виделись за эти годы раза три, не больше. И то на лету, мимоходом. Потому как Дунярка приезжала домой на каникулы летом, а летом он по неделям безвыездно жил на дальних сенокосах или трубил опять на сплаве, далеко, за десятки и сотни километров спускаясь с багром вниз по Пинеге.

Но была у Михаила одна вещичка, которая сильнее всяких встреч вязала его с Дуняркой, — платок, маленький носовой платочек, расшитый Дуняркиными руками.

Этот платочек Дунярка стыдливо сунула ему на поле в сорок втором году, накануне своего отъезда в техникум, и с тех пор Михаил не расставался с ним ни на один день. А как-то раз он забыл его дома в кармане верхней рубахи, которую бросил в стирку. И вот поскакал домой обратно. С сенокоса. За пятнадцать верст. Ибо никто не должен знать про ихнюю тайну с Дуняркой. Ни один человек в мире. Ни чужие, ни свои, домашние. И даже Егорша, хоть он и первый друг.

4

Лизка — молодчага, не сидела сложа руки. Пока он ходил за житом, она заново подтопила печь, и зерно сразу же высыпали на противни, поставили в печь на просушку.

Михаил зажег лучину, пошел с двойнятами в сени: в каком состоянии мельница?

Жернова он поставил у себя в прошлом году — надоело ходить по людям. Опыта у него в этом деле не было, все больше по догадке, на ощупь делал, из стариков тоже никто толково не мог подсказать (Архип Иняхин, знаток по этой части, умер год назад), и мельница получилась так себе — постоянно что-нибудь ломалось. Да и мельников развелось слишком много, весь верхний конец крутил Михайловы жернова, а ведь известно: у каждого мельника своя рука, свой нор — вот и поломки.

Нынешняя поломка, к счастью, оказалась небольшой — соскочил железный обруч с верхнего жернова. Тут, пожалуй, виноват он сам. Плохо вымерил жернов, и обруч сантиметра на полтора сварил больше, чем надо. А клинья всякие и расклинья — крепь, как известно, ненадежная: чуть дерево усохло — и заходил обруч, а то и вовсе слетел с жернова.

— Светите лучше, — сказал Михаил, передавая лучину двойнятам.

Березовые клинья у него были наготове, и он быстро набил обруч. Оставалось еще два дела: похлопотать насчет одежки (может, и в самом деле подойдет костюм мужа Анфисы Петровны) и заскочить к Лобановым.

Он сперва побежал к Лобановым, потому что легче, кажется, зуб вырвать, чем зайти к Лобановым.

У кого по нынешним временам нет покойника в доме, а у Лобановых целых три. И все свежие. Все сорок пятого года. И еще один сын пропал без вести — тот, у которого жена в городе.

Было поздно, солнце уже зашло, и у Лобановых ложились спать. На полу, как страдой в сенной избушке, некуда поставить ногу, вповалку ребятишки и бабы, и Михаил, как журавль, вышагивал между ними, пробираясь к окошку, у которого с хомутом сидел старик.

— В город еду. Чего невестке накажешь?

Трофим то ли не расслышал, то ли на уши легли похоронки, часто замигал — раньше у него тоже миганья не было.

— В город, говорит, еду, — громко прокричала ему на ухо Михеевна. — Спрашивает, чего Онисье накажешь.

— Ах, в город... — Трофим опять захлопал глазами. — Скажи, чтобы с места не сбивалась. Вот мой наказ. Пущай не выдумывает: домой хочу. — Старик помолчал, кивнул на пол: — Сам видишь...

Выйдя от Лобановых, Михаил свернул сигарку и, высекая искру, по давнишней привычке посмотрел на запад, в ту сторону, где был Архангельск.

Густо горел закат, темное, иссиня-чугунное облако плавилось в его багровом пожарище. А над облаком, над самой вершиной его, нежным, неземным светом лучилась первая звездочка. Михаил загадал: если облако не задавит звездочку, покамест он идет до дому, — значит, в городе его ждет счастье.

Дома мололи — каменный грохот сотрясал приземистую избу, повесть, двор. Щели в воротах на крыльце были красные от лучины, и вкусно, как на мельнице, пахло теплым, размолотым зерном.

Михаил поглядел на запад. Звездочка была на месте. Чистой серебряной каплей переливалась она над рваной кромкой чугунного облака.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Долго, два с лишним года, холодала кузница у болота. С тех самых пор, как взяли на войну Николашу Семьина. Разве только налетами, когда уж очень припирало, хозяйничал в ней Мишка Пряслин. А вот те-

перь кузница нараспашку — издалека, с передней улицы, видно пламя. И кузнец — залюбуешься: Илья Нетесов. По-солдатски, сплеча бьет молотом.

А в остальном — что изменилось в остальном?

В Пекашине по-прежнему не было хлеба и не хватало семян, по-прежнему дохла скотина от бескормицы и по-прежнему, завидев на дороге почтальоншу Улю, мертвели бабы: война кончилась, а похоронки еще приходили.

Сев из-за холодов начали поздно, как раз в то время, когда из малых речек выпустили лес. Из района полетели телеграммы, звонки — все как раньше:

— Минина, Минина... Людей давай... Минина, Минина... Мать тебя так...

Анфиса огрызалась, на брань отвечала бранью (научилась за эти годы лаяться с районщиками), а потом за плуг сама встала, на все — и на звонки, и на телеграммы — махнула рукой. И так было до тех пор, пока в Пекашино не нагрязнул с а м.

С а м — это первый секретарь райкома Подрезов, сменивший Новожилова осенью сорок второго года. У Новожилова рука была мягкая, из-за нездоровья по району ездил мало, а этот — где заминка, там и он. И его не проведешь. Тутушний. На деревянной каше вырос. Пинегу выбродил с багром в руках чуть ли не от вершины до устья и людей знал наперечет. За это Подрезова любили и уважали, но и боялись тоже. Ух как боялись! Уж если Подрезов возьмет кого в работу — щепа летит.

Анфиса вбежала в правление — на ногах пуд грязи, вся в пыли, черная, как холера: не до переодевания, когда с а м вызывает.

Подрезов был не один — с Таборским, начальником райсплавконторы, и Анфиса сразу решила: насчет сплава приехали.

Ошиблась.

Подрезов заговорил о себе.

— Пашем помаленьку, — сказала Анфиса.

— А почему не побольшеньку? — Тут черная хромовая кожанка, известная в районе и старому, и малому, заскрипела, и Подрезов поднял на Анфису свои холодные, зимние глаза.

— Побольшеньку-то, Евдоким Поликарпович, будем, когда фронтовиков дождемся. Тогда развернемся

Подрезов не принял ее нечистую, заискивающую улыбку. Лицо его, крупное, скуластое, будто вытесанное из красного плитняка, оставалось неподвижным.

— А как у тебя с глазами, Минина?

Анфиса, бледная, посмотрела на Таборского (тот все еще красными, озябшими руками обнимал печку): о чем он? с какой стороны ждать ей нагоняя?

— Как, говорю, насчет зрения? За версту еще видишь?

Вот тут Анфиса сразу поняла, куда гнет секретарь. Худой берег в версте от Пекашина, и там на днях обсох лес.

Она начала оправдываться: не колхоза это, дескать, вина. Сплавщики виноваты. Они бон ставили.

— Ты, Анфиса Петровна, с больной головы на здоровую не вали. Знаем твою политику.

Подрезов, не глядя на Таборского, махнул рукой: не лезь, когда не спрашивают. И опять его вопрос Анфису сбил с толку:

— Почему не вижу тут Мошкина? — Подрезов поднял со стола список колхозников — трепаный-перетрепаный серый лист, так как каждый районщик, приезжая в колхоз, начинал свое дело с изучения этого списка.

— Это вы про Евсея?

— Про него самого.

— А он не колхозник.

— А бревна катать только колхозникам разрешается? Или ты его для старух бережешь? Смотри, Минина, не вздумай скит староверский развести.

Подрезов вырвал из блокнота листок бумаги, записал карандашом: Мошкин Е. Т.

— Еще кого даешь?

Тут в контору вошли Илья Нетесов и Михаил Пряслин — и кончилась стужа: Подрезова будто подменили.

Встал, тому руку, другому — сразу обе протянул, затем выставил на стол большую банку с самосадам (сам не курил, но табак с собой возил), и глаза — лазурь июльская. Умеет, умеет людей брать с ходу. Кого битьем, кого лаской гнет.

— Ну, как обживаешься, солдат? — обратился Подрезов к Илье.

— Спасибо, товарищ секретарь. Не обижаюсь.

— Мешок цел еще, в котором принес победу?

Илья смутился, дотронулся рукой до жидких соломенных усов — большой мужицкой рукой, уже успевшей зачернеть в кузнице, — одернул солдатскую гимнастерку с медалями и орденами. А вообще-то Илья мало приходил на того лихого воина-победителя, каким его рисуют на плакатах. Лицо широкое, мягкое, туловище в наклон — не распрямила война: топор да пила (а кто больше его в Пекашине помял лесу?) оказались сильнее. Но что правда, то правда — Илья Нетесов был первый солдат, который вернулся в район вскоре после победы. Об этом даже в районной газете писалось.

— По существу, твой солдатский мешок надо бы в музее хранить, — продолжал Подрезов. — Да у нас такого покуда нету. Да, нету. А неплохо бы заиметь. У Пинегы есть кое-какая история, и немалая... — Подрезов расправил плечи, снова сел за стол. — Так-так. Значит, армия претензий к нам не имеет. Ну а у нас к армии претензия. Председатель на тебя в обиде. — Тут Подрезов и на Анфису покосился игриво. — Нетесов, говорит, значения сплава не понимает.

— Нет, отчего же...

— А ты, Пряслин?

Михаил усмехнулся: какой дурак будет отказываться от хлебной работы?

— Так что же это получается, Минина, а? Колхозники, выходит, сознательнее председателя. Так?

Это была нечестная игра, с подножкой. Но Анфиса смолчала. Теперь-то она понимала, зачем были вызваны Илья и Михаил. Чтобы проучить ее. Руками народа, как говорили в таких случаях.

Когда Илья и Михаил вышли из конторы, Подрезов сказал:

— Ну вот что, Минина. Поиграли — и хватит. Теперь, надеюсь, ясно, что к чему.

Он взял карандаш и начал выстукивать по столу — жест, за которым следовал или новый нагоняй, или окончательное решение.

— К вечеру всех выгнать к реке.

Анфиса побледнела:

— А как же сев?

— А ежели лес обсохнет, тогда что? Раненько демобилизовалась...

Все — разговор окончен. Раз Подрезов начал грохотать тяжелой артиллерией (демобилизация, антигосу-

дарственная практика, саботаж, близорукость — смысл этих слов хорошо был известен Анфисе) — зажми рот, не возражай. Правда, эти страшные слова полетят в нее и в том случае, если она завалит сев, но сейчас не время доказывать свою правоту. Сейчас ей оставалось одно — попытаться извлечь из сложившихся обстоятельств хотя бы маленькую пользу для своих колхозников. И она издалека стала закидывать удочку.

— Холод в воде-то бродить. У людей обутки нету.

— Вот это уже дело говоришь, — сказал Подрезов. — Но обутки не будет. Нету. Будем обогревать изнутри. Сплавконтора, слышишь?

Таборский вытянулся.

— Сколько у тебя в наличии сучка?

— Не знаю, Евдоким Поликарпович... Может, литра полтора-два и наберется.

— Пять, — сказал Подрезов.

— Евдоким Поликарпович... — взмолился Таборский.

— Пять — и ни грамма меньше. Да смотри не вздумай жулить — воды подливать. Я еще кое-что понимаю в этом деле. — Подрезов насмешливо блеснул светлыми глазами.

— И хлеба бы подкинуть надо, — продолжала цыганить Анфиса.

— Грамм пятьсот на нос подкинь. Нет, шестьсот, — поправился Подрезов.

— С хлебом не выйдет, Евдоким Поликарпович...

— Я, по-моему, ясно сказал. Шестьсот грамм на человека. — Подрезов встал. — Растяпа! Тебя люди выручают, а ты еще торгуешься...

2

— Идут! — крикнул Егорша и стремительно, как на лыжах, скатился с глиняного увала.

— Идут! Сам Подрезов впереди.

Сплавщики — пять парней Егоршиного возраста — быстро распинали костерик, у которого, отдыхали, и, похватав багры, побежали к реке: Подрезов любит рабочее рвение.

Вскоре на гребне увала, там, где стоял в дозоре Егорша, появилась хорошо знакомая плотная фигура в черной кожанке.

— Видишь, что ты натворила своей бабской прижимистостью,— сказал Подрезов Анфисе, указывая на курью. — А подбросила бы вовремя человек шесть, не было бы этой заварухи. Так?

Подрезов был прав. Вся курья под Худым берегом была сплошь забита лесом. Место это всегда считалось гибельным для сплава. Пинега, как лук натянутая под Пекашином, сначала бьет своим течением в красную, почти отвесную щелью на той стороне, затем, оттолкнувшись от нее, с удвоенной силой обрушивается на низкий пекашинский берег за деревней. Поэтому курью каждый раз отгораживают от реки длинным бревенчатым боном. Поставили сплавщики бон и в этом году, но напор леса, выпущенного одновременно из нескольких речек, оказался так велик, что бон не выдержал — треснул, и бревна, как стадо баранов, хлынули в курью.

Анфиса привыкла к авралам за эти годы. И не предстоящая работа пугала ее. Но время? Сколько времени они пробьются с этой курьей? Хорошо, если суток двое-трое, тогда еще можно как-нибудь вытянуть сев. А ну как неделю придется топтаться на берегу?

Людей ждать не пришлось. Пайка хлеба подняла на ноги всю деревню. Даже учителя прибежали. Даже Петр Житов на своем скрипучем протезе прихрамал. И Анфиса подумала: «Ах, если бы такая приманка была и на севе». Но, конечно, она понимала: не в одной пайке дело. Подрезов, Подрезов с народом!

Видала она первого секретаря в работе. И в лесу с топором видала, и на сенокосе, и на сплаве — сколько раз с ним сталкивалась! А вот как умеет подать себя — каждый раз смотришь на него заново.

Подрезов не стал пороть горячку. Не закричал: «Эй, вы, такие-рассякие! Давай, живо!» Наоборот, дал людям передохнуть, отогреться у костров, которые по его приказу запалили по всему берегу. И уже одни эти костры сразу приободрили людей: любо-весело работать, когда огонь под боком.

Но главный-то свой козырь Подрезов бросил позднее, когда вдруг начал снимать кожанку.

— Сам, сам будет! — восторженно зашептали вокруг.

К Подрезову тотчас же со всех сторон протянули багры: выбирай, какой по душе.

И начался выбор.

И опять-таки, ежели говорить всерьез, что тут особенного — выбрать инструмент, которым будешь работать? А у Подрезова это целая картина.

Первый багор, протянутый каким-то подростком, он забраковал, вернее, сломал: навалился всем телом на шест, и тот хрунул.

От багра Михаила Пряслина Подрезов отказался сам: тяжеловат.

— Где мне с таким управиться! Ростом не вышел.

Сказано это было, конечно, специально для того, чтобы отличить парня.

Выбрал для себя Подрезов багор Егорши («Вот этот мне подойдет»), и Егорша чуть не заулюлюкал от радости: не каждый день услышишь такие слова от первого секретаря.

В общем, трудно сказать, как все это вышло, а только за каких-нибудь двадцать — тридцать минут Подрезов так накалил молодняк, что тот готов был ради него и в огонь, и в воду. Да если правду говорить, то не только молодняк захватил подрезовский азарт. Он захватил и Анфису. А главное, ей тоже хотелось, чтобы Подрезов похвалил и ее.

3

Курью очистили от леса к концу следующего дня — ровно на сутки раньше, чем наметил Подрезов, и это была такая радость, что бабы, несмотря на усталость (больше суток не спали), домой побежали ходко и говорливо.

В воздухе заметно потеплело, пахло забродившей землей, горелым навозом. Пряслинские ребята несли первую рыбу от реки — вязанку серебристых ельцов. Но удивительнее всего были первые цветы. Много их, золотистых звездочек мать-и-мачехи, загорелось за нынешний день на взгорках, на межах, на крайках полей, и девки, и бабы помоложе на ходу срывали их, подносили к носу, а Груня Яковлева, с часу на час поджидавшая мужа-фронтовика, стала собирать из цветов букетик.

— Надо, бабы, — говорила она, улыбаясь и как бы оправдываясь. — Ведь он там Европы всякие освобождал — привык к цветам.

— А ты, Минина, чего отстаешь? — спросил Подрезов.

Когда Подрезов интересовался твоими домашними делами — верный признак того, что он доволен тобой. И Анфисе бы радоваться надо, а она быстро-быстро нагнулась, чтобы скрыть свою внезапную бледность, и только тогда глухо ответила:

— Он не скоро еще придет...

В День Победы Анфиса получила две поздравительные телеграммы. И обе телеграммы кончались словами: «Скоро увидимся». Первая телеграмма была от мужа, а вторая — от Ивана Дмитриевича. И вот когда она поняла, что попала в круговерть...

Если бы она написала мужу еще в войну: так и так, мол, встретила человека, хватит, намытарилась мы с тобой, — ей бы не в чем было упрекнуть себя. Все почестному. Не она первая расходится с мужем, не она последняя. Но как раз вот этого-то она и не сделала. Не хватило духу. Пожалела. Рассудила по-бабьи: пускай спокойно воюет. Потом разберемся.

И вот подходит время — надо разбираться.

Нет, не встречи с мужем она боялась. Не Григорию корить ее за измену. И даже если бы не вернулся к ней Лукашин, она знала: к старой жизни возврата нет. Но бабы, бабы... Что скажут ей бабы, с которыми она прошла через все муки войны? Поймут ли ее?

Нет, не поймут. А, скажут, вот какая ты сука оказалась. Мы волосы на себе рвали, глаза все проплакали из-за того, что мужики наши не вернулись. А у тебя какое горе? Как от мужика родного отделаться? Да?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

— В ресторане «Арктика» был? Попил пивка из толстой кружки? Не был? В ресторане-то? Да как же ты сумел обойти? Там ведь очередь — ой-ой-ой! — на километр. Мы еще едва в цирк не опоздали — целый упряг выстояли. Че-го-о? Ты и в цирке не был? И эту самую бабу на львах не видел? Да ты что, едрена вошь! Нда, съездил, называется, в город, подзаправился культуркой... Ну уж футбол-то, я думаю, в глаза залез. Я в

прошлом годе, даром что в натуре до этого не видел, сразу понял, с чем едят-кушают. Мужики, эдакие лбы, в трусах напоказ бегают, публика орет, в ладоши хлопает: давай, давай! Со мной Кузьма Кузьмич был, начальник лесопункта,— глаза на лоб. «Егорша, говорит, да как же это? У нас, говорит, бабы всю войну без выходов вкальвают, а тут среди бела дня чуть не всем городом за мячом гоняются». Понимаешь, какая дикость? Чё-чё? Ты и футбол не видел? — Егорша даже привстал: так изумил его ответ Михаила. — Да что ты там вообще видел? За каким хреном тебя туда носило?

— За мазью! Сказано тебе.

— За ма-азью... Пенек пекашинский! Ты что же, банки с мазью все время караулил? Надо же! Первый раз в городе — да не осмотреть все как следует. Псих! Ей-богу, псих. И на рынок не заскочил. Трудно? Просил ведь: зайди, купи зажигалку с девахой. Денег дал, обрисовал все как надо. Ежели у самого сообразильник работает с перебоями, Дунярку бы подключил... — Егорша сердито подбросил в костер две белые смолистые щепины, проследил глазами за искрами, полетевшими к небу.

Ночь была тихая и светлая. Не успел отыграть закат, как начал румяниться восток. По Пинеге густо, россыпью шел лес. Лобастые бревна, как большие рыбы, с глухим стуком долбили заново поставленный бон. Бон поскрипывал, вода хлюпала в каменистом горле перемычки. А на той стороне в сосняке задорно чужырчал косач, посвистывали рябчики и звонко-звонко — через реку — зазывали друг друга в гости легкие на подъем зуйки.

— Нда,— уже другим тоном сказал Егорша,— никогда не слыхал, чтобы в июне косач да ряб паровали. А все из-за холодов. Не отгуляли вовремя, ну и нажимают... А вон-то, вон-то! Шантрапа-то! — вдруг оживился Егорша, указывая на реку. — Эй, далеко ли без хлебов?

Вода на середке реки, малиновая от зари, была утыкана белыми флажками — плыли трясогузки. Каждая на отдельном бревне. Длинный хвостик вытянут в струнку, грудка развернута по течению.

— Куда это они? В Архангельск? — усмехнулся Егорша. — Вот какая у них серьезность на воде! А на земле вертлявее птички нету.

Михаил проводил глазами трясогузок до поворота реки и опять уставился в огонь.

— Ты чего? Совсем очумел после города? Какая там тебя муха укусила?

— Отвяжись! Сколько можно!.. Талдычит одно и то же.

Егорша с силой ткнул палкой в костер, встал, взял багор и начал спускаться к бону, который им поручили охранять до утра.

Мокрые бревна скользили под его босыми ногами, покачивались, но он быстро растолкал прибившиеся к бону лесины. Затем напился, постоял-постоял, глядя на реку, и вдруг заорал во все горло:

— Эхэ-хэ-хэ-хэй!

Зычное эхо прокатилось по ночной Пинеге, выскочило на тот берег и побежало, аукая по верхушкам сосняка.

— Ну, по-летнему заиграло эхо,— сказал Егорша, возвращаясь к огню.— Дождались и мы красных дней. Теперь не житье, а малина на сплаве будет. Просись к нам в бригаду.

Михаил вздохнул. Красные отблески золотили его карие задумчивые глаза.

— Чуешь, что говорю?

— Легко сказать...

— Чудило! Ты к самому Подрезову толкнись. Так и так: хочу на передовой участок. Лесной фронт. Комсомол... Да мало ли чего можно наворотить.

— А сев как? Кто меня отпустит?

— Ну, ежели ты такой жук навозный, страдай за всех. Мое дело подсказать. Сообрази! Лес-то теперь знаешь как нужен? Газеты надо читать,— с насмешливой назидательностью добавил Егорша.— А меня, думаешь, сразу отпустила Анфиса Петровна? Ого-го! Пришлось не один раз заходы делать.

— Ладно, попробую,— сказал Михаил.

С реки потянуло зябким туманом. Приближался восход.

Егорша стал устраивать возле костра лежанку. Положил несколько щепок на землю, на них набросал старых ивовых веток, в изголовье кинул подсохшие сапоги.

— Смотри не простудись,— сказал Михаил.

— Ничего. Есть кое-какая закалка.— Егорша широ-

ко зевнул. — А спирт-то у Подрезова — охо-хо! Я воды хватил — снова под парами.

Он лег на приготовленную постель, помолчал, глядя в светлое подурмяненное небо, и вдруг приподнялся на локоть.

— Слушай, а как ты в размышлении насчет Раечки Клевакиной... моей соседки?

— В каком размышлении?

— Как, говорю, насчет картошки дров поджарить? — Егорша коротко хохотнул.

— Болван! Еще чего придумаешь.

— Тогда, чур — Раечка за мной. Так и затвердим. Согласен? У меня, когда я ее вижу, температура делается. Ей-бо!

Гулко выстрелил угольком костер. Белый тонкий мундштучок папироски, которой напоследок разжился Егорша у Таборского, дымил в зеленой травке недалеко от его лица. Егорша быстро заснул. Лег на бок, зевнул и тотчас же запосвистывал. Тонко, как ряб.

Михаил снял с себя фуфайку, прикрыл его голые ноги.

Егорша не пошевелился.

Тогда Михаил снова сел на свое место к огню, достал из грудного кармана берестяные корочки.

За три года корочки потрескались, заложились, дратва, которой они были прошиты по краям, побелела, залохматилась, а платочку — ни-ни, ничего не подеялось. Только немножко повытерся да посерел на сгибах.

2

...Ему показалось, что Дунярка покраснела и как-то смущенно и даже растерянно переглянулась со своими подружками. Но в следующую секунду она уже стояла перед ним и с улыбкой протягивала руку:

— Здравствуй.

Пожатие было беглое, летучее, словно она это делала по необходимости. И вообще в этой высокой полногрудой девахе, одетой по-городскому, он с трудом узнавал прежнюю, тоненькую, как хворостинка, Дунярку. Все изменилось у нее за год: и одежда, и прическа, и даже рост. Впрочем, насчет роста скоро разъяснилось: она была в туфлях на высоком каблуке.

Дунярка была довольна впечатлением, которое произвела на него. Он понял это, на мгновение встретившись с ее карими глазами. И, может быть, вот только эти карие глаза, всегда такие самоуверенные и насмешливые, может быть, только они и остались от прежней Дунярки.

Она тряхнула косами — тоже новая привычка.

— Что же ты стоишь? Садись. Да сними, сними свой малахай. А я-то думаю: почему у нас, девчата, все еще холодно?

Девчата рассмеялись. Конечно, это была шутка, но Михаилу она не понравилась.

— Ну вот, он и обиделся. А мы всегда смеемся. Смех — это лучший витамин. Верно, девочки?

Девочки охотно закивали. И ему стало ясно: Дунярка и тут командует. Да и как ей не командовать, если подруги ее просто замухрыги по сравнению с ней!

— Чаю хочешь?

— Нет.

— Имей в виду: у нас пять раз не предлагают. Это тебе не деревня-матушка.

Подружки опять захихикали. И на этот раз рассмехался и он. В конце концов, чего на осадки дуть, когда все настроились на ведро?

Вытирая пот со лба — тепло было в общежитии, — он завел общий, для всех интересный, как ему казалось, разговор о том, что вот они скоро станут агрономами, поедут в деревню и — ой-ей-ей, какая работа их ждет: ведь ни в одном колхозе сейчас нет севооборотов; но Дунярка фыркнула: «Тоже мне агитатор-пропагандист!» — и разговор оборвался.

Он думал: во всем виноваты Дуняркины подруги. Это ради них, замухрыг, старается она. Чертов характер! Завсегда надо верховодить, чего бы это ни стоило. Но на улице не стало легче.

Они шли по проспекту Павлина Виноградова и молчали. Люди — нету спасенья от людей. Спереди, с боков, сзади. Солнце шпарит в глаза. И Дунярка губы закусила — будто удила у нее во рту.

Он заговорил первый:

— А ты настоящей горожахой стала. Смотри-ко, все на тебя заглядываются.

— Это на тебя, — не поднимая головы, сказала Дунярка.

— Почему на меня?

— А здесь любят, когда по улице ряженые ходят.

— Ты о моей шапке? — Михаил остановился. — Ну хочешь, я заброшу ее к чертовой бабушке?

— Не говори глупостей. Рассказывай лучше, как там мама, тетка?

Приноравливаясь к ее четкому, упругому шагу (красиво она шла, гвозди забивала, а не шла, — недаром все мужики пялили на нее глаза), он стал рассказывать о матери, о Варваре, затем, чтобы доставить ей удовольствие, сказал:

— А ты, между прочим, шибко стала смахивать на свою тетку. Ей-богу!

Расчет его оказался безошибочным. Густой румянец расплылся по Дуняркиной круглой щеке.

— Ну уж и на тетку, — сказала она с неожиданной застенчивостью. — Тетка у нас красавица. Куда мне.

Он сразу воспрянул, снял с головы шапку.

— Догадался-таки, — улыбнулась Дунярка.

И он улыбнулся ей. Ну с чего он взял, что она стыдится его? Ведь вот же — зацепил ее самолюбие, и все вернулось к старому. И это не беда, что она постоянно задирает его. Не спи! Такие шикарные девахи лопухих не любят.

Дунярка насмешливо повела бровью.

— Ты в цирке бывала? — спросил Михаил, окончательно решив взять инициативу в свои руки.

— Тоже спросишь! В городе живу — да в цирке не бывала.

— Давай сходим в цирк?

— Цирка еще нету. Он у нас приезжий.

— Жалко. Ну тогда вот что — пойдем в ресторан?

— Давай лучше в садик, — сказала Дунярка.

В садик? Да, они стояли у входа в березовый садик. И этот маленький садик, эта солнечная березовая благодать, так неожиданно сменившая шум и грохот большого города, рассеяла последние остатки того тягостного отчуждения, от которого ему было не по себе с самого начала их встречи. И Дунярка стала прежней, пекашинской. И, садясь на белую пустую скамейку в дальнем углу садика, она сказала:

— А правда, здесь хорошо?

— Ага,— ответил он и вдруг приглушенным голосом добавил: — А помнишь, мы тогда на клевернице у реки сидели? Похоже.

У нее удивленно выгнулась бровь, затем она сказала:

— Да, вот и мы с тобой выросли. Мне уже девятнадцать. Старая дева. — И рассмеялась.

— Ждут тебя,— сказал Михаил. — Анфиса Петровна зимой еще на собрание говорила: «Не тужите, говорит, бабы,— скоро свой агроном у нас будет».

Дунярка задумчиво скovyрнула носком туфли старый березовый лист, влипший в дорожку. Тонкий городской чулок заиграл на солнце.

— Да, вот что,— вспомнил он. — Тетка твоя чулки просила купить, и с этими... как их... с резинками. Как хошь, а выручай. Я в этом деле, сама знаешь...

Дунярка поджала ноги.

— Дурит тетка.

— А чего? Пускай наряжается. Она у нас любую девку еще заткнет за пояс.

— Чулки-то здесь не растут на березах.

— Ну уж ты не считай нас за нищих. Кое-что имеем. — Михаил хлопнул по оттопыренному карману штанов, затем откинулся на спинку скамейки, сказал мечтательно скосив глаза: — Эх, жалко, что у тебя еще экзамены, а то бы вместе домой поехали.

— Не знаю...

В голосе Дунярки ему послышалась неуверенность. Работа будущая страшит?

— А чего знать-то? Агрономь! Зря тебя, что ли, учили?

Дунярка резко тряхнула косами. В черных зрачках ее белыми точками запрыгали березы.

— Ну положим... меня учили? Училась-то я сама. Знаешь, как я жила? И нянькой была, и донором была, и полы мыла...

— А ты думаешь, у нас рай был?

— Чудак,— усмехнулась Дунярка. — Да я ничего не думаю. Понимаешь... — Она покусала губы. — У меня тут один лейтенант знакомый есть... Замуж зовет... Как думаешь? Идти?

Он с первой минуты косился на маленькие граненые часики на металлической цепочке, которые красовались на ее смуглой полной руке повыше запястья, и

все никак не мог понять: откуда? где взяла? А теперь наконец понял. И он сказал глухо:

— Иди...

Первыми упали в огонь берестяные корочки, потом платочек.

Егорша, как истый лесоруб, моментально проснулся. Привстал, повел носом.

— Паленым пахнет — не горим?

— Нет, — сказал Михаил, — я это тряпку сжег.

— А, так, — сказал Егорша и снова лег.

— Егорша? А Егорша? — немного погодя позвал Михаил.

Егорша не откликнулся. Егорша спал. У него была поразительная, прямо-таки счастливая способность засыпать сразу.

3

Со славом, как и думал Михаил, ничего не вышло. Анфиса Петровна и слушать не захотела, когда он заикнулся об этом. Нет и нет.

— Почему нет? — заартачился было он. — Егоршу небось отпускаешь. Чем он лучше?

— То Егоршу, а то тебя. Без Егорши-то мы проживем, а без тебя... не знаю... Верно, верно говорю, Михаил... — И тут она еще сказала: — Потерпи маленько. Больше терпели. Всю войну вместе прошли — давай уж до фронтовиков дотянем.

И он сдался. Кто-то должен же ковыряться в земле. Ведь за время войны где только не распахали залежи да пустоши. А потом — надо правду говорить — выручала их Анфиса Петровна в войну, крепко выручала. Да если бы не она, Анфиса Петровна, им бы и избы новой не видать. Это она первая сказала: «Михаил, ставь избу». И на неделю согнала людей — всех, у кого хоть мало-мальски топор в руках держится.

Вот так и не удалось ему начать новую жизнь, о которой столько они говорили с Егоршей нынешней весной.

И он опять пахал, сеял, ставил изгороди.

За этой работой как-то незаметно наступило лето. Дружно, словно наверстывая упущенное время, полезла

молодая трава. Распустился кустарник. И уже комар начал оттачивать свое жало на лошадях и пахарях.

По утрам его будили журавли. С повети, где он теперь спал с братьями, хорошо были слышны их позывные, когда на восходе солнца они летели с пекашинских озимей на заречные болота.

За неделю тяжкой работы Михаил высох и почернел, как грач. Он сжег Дуняркин платочек, железный обруч набил на сердце, но куда деваться от памяти?

Шагая за скрипучим, вихляющим плугом, переезжая с одного поля на другое, он постоянно натывался на места, напоминавшие о ней. То это был Попов ручей, где он вызволял заплаканную Дунярку с Партизаном, то Абрамкина навина — тут Дунярка стыдливо сунула ему вышитый платочек, то старое клеверище у реки, где они сидели на жердях в тот душмяный вечер...

Сколько же воды утекло с того вечера! Нет больше в живых Насти Гаврилиной — не вышла из больницы на своих ногах, под холстом привезли домой. Нет в живых Николаши Семьина, его первого учителя по кузнечному делу, да и клеверища, того розового пахучего поля, на котором впервые у него как-то незнакомо и тревожно забилося сердце, того клеверища тоже нет — он сам дважды запахивал его под рожь...

Как-то раз, возвращаясь из дальней навины, где его только что сменил за плугом Илья Нетесов, Михаил неожиданно для себя услышал песню:

Летят утки и два гуся,
Кого люблю, не дождуся...

Кто же это поет? — подумал он. — Варвара? Только она да девчонки еще не разучились петь.

Нет, голос у Варвары другой — веселый, с колокольцами, — а этот был задумчивый и грустный, похожий на рыдание кукушки.

Михаил поднялся из березового перелеска на зеленый взгорок и увидел Анисью Лобанову. Анисья боронила, сидя на брюхатой пегой кобыле. Дождя давно не было, и густая полоса пыли тянулась за бороной по полю. Первой его мыслью было скрыться в кустах, но Анисья уже заметила его и замахала рукой.

Анисья и ее дети тяжелым камнем лежали на его совести. В тот вечер, когда они расстались с Дуняркой в садике, у него все перемешалось в голове, и о Трофи-

мовых ли наказах ему было помнить? А назавтра было уже поздно. Назавтра Анисья, едва встали дети, объявила: «В деревню едем! К дедушке!» И такой тут поднялся переполох, так обрадовались ребяташки, что у него не хватило духу сказать правду. «Ну как хорошо, что ты приехал,—говорила Анисья.— В бога не верю, комсомолкой была. А тут сам бог тебя послал. Куда бы я с ними попала?» Так вот по его вине Анисья с детьми и тронулась в Пекашино.

Он передал ей наказ свекра уже на пароходе. «Я знаю, все знаю. Да я тоже до краю дожила. От Тимофея вестей с первого дня войны нету. Квартиру у нас разбомбило — дети летом замерзают. Сам видел, в какой конуре живем. Пускай они, думаю, в деревне хоть на солнышке отогреются. — И пошутила: — Солнышко-то у вас ведь еще не по карточкам?» — «Ну правильно,—поддержал ее Михаил.— Живем же мы — не умерли».

Но все-таки он старался не попадаться на глаза Трофиму, потому что как ни крути, а это по его вине свалилось на старика еще три голодных рта, да и Анисью по возможности обходил стороной.

Подъехав к нему, Анисья, не слезая с лошади, сняла с головы клетчатый платок, стряхнула с него пыль. Волосы у нее были темные, с сильной проседью, а подстрижены коротко, как у школьницы. И платок она повязывала тоже необычно, вроде повойника, узлом на затылке. Все это шло от неизвестной ему комсомольской моды двадцатых годов, давно уже забытой и в городе, и в деревне.

— Ну, как живем? — спросил Михаил.

— Хорошо живем.

— Хорошо? — Он внимательно посмотрел Анисье в лицо. Первый раз за эти годы он слышал, чтобы человек не жаловался на жизнь.

По ее просьбе он выломал ей рябиновую вицу, затем — уже сам — поднял борону, очистил зубья от лохматой дернины.

— И с дедком поладили?

— Поладили. Теперь с ребятами на поветь перебрались. Как на курорте живем.

Вот женка! — думал Михаил. Сама держится и на других тоску не нагоняет. Кто-кто, а он-то знал, какой сейчас курорт у Трофима Лобанова.

— Слушай,— крикнул он ей вдогонку,— ты бы зашла к нам! Мати молока плеснет!

Анисья не обернулась. Облако пыли, поднятое бороной, накрыло ее вместе с лошадыю. Но клетчатый платок ее, алый от вечернего солнца, долго еще был виден ему с тропинки. И он вдруг спросил себя: какого же дьявола ты раскис? Ведь вон как жизнь корежит людей, а ничего — зажали зубы.

Дома он с наслаждением умылся до пояса, переоделся в чистую рубаху.

Лизка, ставя на стол латку со свежими ельцами (Петька и Гришка редкий день возвращались от реки с пустыми руками), заметила:

— Ну, слава богу, и ты на человека стал похож. А то не знаешь, с какого бока к тебе и подойти.

— Да ну!

— Правда. И Раечка меня спрашивала.

Из чуланчика уже в который раз подавала голос Татьяна:

— Лиза, Лиза, скоро ли?

— Чего ей там надо? — спросил Михаил.

Лизка хитровато подмигнула:

— Подожди маленько. К нам гости приехали.

Что за ерунда? Какие еще гости?..

Минут пять в чуланчике шло совещание шепотом, потом шепот стих, и из задосок вышли две барышни в голубых платьях в белую горошину.

Михаил ахнул:

— Откуда у вас новые платья?

— Лизка сшила. Она все умеет. Да, Лиза?

Лизка порозовела от похвалы.

— Неужели не видел, как я по вечерам шила? Я и тебе сошью. В праздник в новой рубахе будешь.

— В какой праздник?

— На вот, проснулся. Обсевное! Варвара-кладовщица да женки когда уж теребят председательницу: «Давай, говорят, нам праздник. Заработали за войну. Мы, говорят, как люди хотим жить».

— Вот как! Первый раз слышу.

— А завтра бабы корову будут загонять в силосную яму, да, Лиза? — выложила последнюю новость Татьяна, за что и была награждена легким подзатыльником: не плети, мол, чего не надо, не суй свой длинный нос в каждую щель.

— Что, ведь ему можно, — надулась Татьяна.

— Да, — сказал Михаил, — дело у вас поставлено. — И улыбнулся, дивясь хитрости и изобретательности пекашинских баб.

А впрочем, разве по другим деревням не то же самое? Скотину колхозную забивать нельзя — на это есть специальный закон. А вот ежели ту же скотину да подвести под несчастный случай, да составить акт — тогда претензий никаких.

Михаил дососал головку последнего ельца, вышел из-за стола.

— Егорша не заходил? Махры не оставил?

Лизка обиделась:

— Ты хоть бы посмотрел на нас. Зря, что ли, мы переодевались? — Затем, кусая губы, спросила: — Ну как, покрасивше ли я в новом-то платье?

— А я? — выступила вперед Татьяна.

А может, так вот и надо жить, как Лизка? — думал Михаил, выходя на крыльцо. Есть новое платье — и радуйся. Чего загадывать вперед?

Он прошел на дорогу перед своим домом. Не попадется ли на глаза какой-нибудь курильщик?

Никого вокруг не было. Илья Нетесов на поле, идти к Петру Житову далеконокко, а к Егорше еще дальше... Нет, вздохнул он, придется, видно, куренье отложить до прихода Егорши, а сейчас, пока есть свободная минутка, надо взяться за изгородь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Сыновей своих Илья уже не застал дома. Ребята малые — одному шесть, другому пять, — разве хватит у них терпения дожидаться отца, когда Егорша с утра скликает народ гармошкой? А вот Валентина — ума побольше — без отца не ушла. И задание его выполнила: хорошо, до блеска начистила боевые отцовские регалии.

Марья, как увидела его во всем этом великолепии, ахнула:

— Ну какой ты, отец, у нас красивой! Я не знаю, как мне с тобой и идти.

Было тепло, солнечно на улице. Пахло распустившейся черемухой (много ее в Пекашине, весь косогор в белом цвету), и красиво, дружно зеленела молодая травка под горой на лугу.

До правления они шли вместе, рука об руку: он посредине, а Марья и дочка рядом. А тут, у правления, пришлось расстаться, ибо Марья вдруг решила, что к народу он должен подойти один, без них.

— Вишь, ведь машут, — заметила она. — Это не нам с Валентиной, солдату машут.

И верно, в конце улицы, напротив зеленой ставровской листовницы, лебедями, чайками бились белые бабы платки.

Илье не приходилось бывать на парадах, он не хаживал перед начальством в строю (в августе сорок первого их прямо с поезда бросили в бой), только раз на свой страх и риск он продубасил районные мостки в солдатской шинели. Три недели назад, когда ехал домой с войны. Продубасил потому, что нельзя было иначе. Из окошек на тебя смотрят, из учреждений, канцелярий выбегают («Привет победителю!»), ребягня гонится по сторонам, а ты что же — тят-ляп? Открытым ртом мух ловить?

Ну он уж старался. Прямил, изо всех сил прямил свою уже немолодую, ломаную-переломаную спину, ногу в стоптанном кирзовом сапоге ставил твердо и нет-нет да и поправлял украдкой усы, которые от нечего делать отпустил в госпитале.

И вот, вспомнив про свой этот первый и единственный парад в жизни, Илья не то чтобы начал пушить пыльную жаркую улицу или деревенеть лицом, а все-таки заглотнул в себя воздух, подтянул к хребтине пуп. И поначалу все шло как надо. Под гармошку, под походный марш, которым подбадривал его улыбающийся и подмигивающий Егорша («Давай-давай, солдат, веселее!»), под одобрительные и горделивые взгляды родной дочери, которыми та подпирала его сбоку. И серебро, и бронза на его груди сверкали — вот его отчет землякам за войну. Да только вдруг он увидел в сторонке от поджидавшей его толпы сухонькую, робкую, из-под темной ладошки смотревшую на него Федосееву, и все — черная ночь накрыла праздник.

В июле сорок первого года, когда он вместе с пекашинцами отправлялся на войну, вот эта самая Федосее-

евна на этом же самом месте упрашивала его слезно: «Илья Максимович, ты два года наставлял да берег моего Саню в лесу, дак уж не оставь его, побереги его и там». И об этом же она просила-умоляла и других мужиков, и Саня, ее единственный сын, ужасно конфузился и стыдился своей простоватой матери, и все отсылал, отсылал ее домой, и в конце концов добился своего: пошла Федосеевна домой, обливаясь слезами.

Не уберег Илья Саню. В том же сорок первом году под Вязьмой Саню в клочья разорвало снарядом, так что нечего было и земле предать. А где остальные? Куда девался косяк молодых, здоровых мужиков и парней, которых вот отсюда, от этого ставровского дома, провожали тогда на войну?

Пока что из этого косяка, или из этой пекашинской роты, как назвал их тогда райвоенком, он один вернулся к исходному рубежу — без изъянов, стопроцентным здоровяком, если не считать небольшой царапины на груди, — да еще вон там, опершись на изгородь, стоит одноногий, уполовиненный Петр Житов.

2

За три недели Илья уже успел присмотреться к бабам, но, может быть, только сегодня, в этот теплый и солнечный день, когда все они были принаряжены да принамыты, может быть, только сегодня он разглядел их по-настоящему.

Постарели, повысохли, бедные, беззубые рты опали, и такой виноватый, заискивающий взгляд, словно они извинялись перед ним. Извинялись за свой вид, за то, что сделала с ними война.

Две девушки, кажется Рая Клевакина и Лизка Пряслина, выбежали к нему с большим букетом пахучей, только что наломанной черемухи. Раздались сухие, деревянные хлопки. Егорша оборвал игру. И он понял: от него ждут речь. Так, наверно был задуман праздник.

— Папа, папа, скажи! — требовательно зашептала сбоку Валентина, крепко, изо всех сил сжимая отцовскую руку.

И Петр Житов, свирепо буравя его своим взглядом от огорода, тоже давал понять, что, дескать, не боги горшки обжигают...

Выручила Илью Варвара Иняхина. Варвара молодым, звонким голосом закричала с крыльца:

— К столу, к столу, женки!

И тут Егорша опять заиграл походный марш, но только уже не для него, а для баб, которые, моментально перестроившись, всем скопом, всей своей пестрой и душной ордой кинулись в заулок на голос Варвары.

Столбы были поставлены на двух половинах вдоль стен, и все равно всем места не хватило.

— Эй, хозяин! Где ты? Открывай еще одно заседание в коридоре.

— Не кричите,— сказал Егорша.— Нету хозяина. С утра укатил в лес.

И тут вдруг выяснилось, что и Трофима Лобанова с невестками нет, и Софрон Мудрый со своей женой не явился. А где Марфа Репишная? Где Анна Пряслина? Не пришли. Не смогли перешагнуть через дорожих покойников. Так с самого начала и пошел этот праздник попеременно с горючей слезой.

Первую рюмку, конечно, выпили за победу, а дальше все потонуло в шумных выкриках и причитаниях.

— Ох, Марьюшка, Марьюшка! Ты-то дождалась своего, а мой-то не вернется... И на могилку не сходишь...

— Ондреюшка все мне писал: женка, береги себя, женка, береги себя... А сам себя не уберег...

— Ты хоть пожила со своим Ондреюшкой, а я-то, бабы, я-то горюша горькая...

— Женки! Женки! — распорядилась Варвара. — Ешьте мясо. Досыта ешьте!

— Да как его исть-то? Где кусачки-то взять?

— А у меня-то... — Офимья несгибающимся пальцем закрючила рот, показала своей соседке желтые беззубые десны.

— Ничего! Кузнец теперь свой — новые скует...

Илья вслушивался в эти разнобойные голоса и выкрики, смотрел на расходившихся женок, и перед ним, как наяву, развертывалась бабья война в Пекашине. Одна вспоминала, как она первая открыла хлебные плантации на болоте («Все за мной побежали»), другая дивилась тому, сколько она перепахала земли за эти годы («За день не обойти»), а многодетная подслеповатая Паладья, разоткровенничавшись, начала расска-

зывать, как она в прошлом году унесла сноп жита с колхозного поля.

На нее зашикали, замахали руками:

— Молчи, глупая! При председателе-то. Может, еще придется.

— Нет уж, не придется! — яростно взвизгнула Паладьа. — Не будет, не будет больше такого!

— Не зарекайся. Хвалилась одна ворона — что вышло?

— Что, что, женки? Чем вам не угодила председательница? — спросила Анфиса.

— Угодила! Угодила, Анфисьюшка. Я за то тебя и люблю, что сердцем понимала беду нашу.

— Анфиса! Анфиса Петровна! Родимушка ты наша! — закричали отовсюду бабы.

Анфису обнимали, целовали, кропили рассолом бабьих слез. И она сама плакала:

— Бабы, бабы вы мои золотые...

— Да пожалейте вы председателя-то! — взъярился вконец измученный Михаил Пряслин, через голову которого женки все еще лезли обниматься с Анфисой. — Замучите! Председатель-то один.

— Миша! Миша! Золотце ты мое! — вдруг всплеснула руками белобровая потная Устинья и крепко обняла его за шею. — Тебя-то, желанный, век не забуду. Помнишь, как мне косу наставлял?

— И мне!

— И мне!

— А меня-то как прошлой зимой в лесу выручил! Помнишь?

— Михаил! — поднялась Анфиса.

— Тише! Тише! Председатель хочет сказать.

Огнистое солнце било в глаза Анфисе. В открытые окошки не прохлада — зной вливался с улицы. Илья взял с подоконника букет сомлевшей черемухи, помаhal перед разогретым лицом Анфисы. Белый цвет посыпался на стол.

— Вы вот тут, женки, сказали: ту Михаил выручил, другую выручил, третью... А мне что сказать? Меня Михаил кажинный день выручал. С сорок второго года выручал. Ну-ко, вспомните: кто у нас за первого косильщика в колхозе? Кто больше всех пахал, сеял? А кого послать в лютый мороз да в непогодь по сено, по дрова?.. — Анфиса всплакнула, ладонью провела по

лицу. — Я, бывало, весна подходит — чему, думаете, больше всего радуюсь? А тому радуюсь, что скоро Михаил из лесу приедет. Мужик в колхозе появится...

— Верно, верно, Петровна, — завздыхали бабы.

А на другой половине в голос заревела Лизка со своими ребятами.

— Не плачьте, не плачьте, — стали уговаривать их. — Ведь не ругают его, хвалят.

Анфиса смахнула с глаз слезу.

— Да, бабы, за первого мужика Михаил всю войну выстоял. За первого! А чем мне отблагодарить его? Могу я хоть лишний килограмм жита дать ему?

Анфиса налила из своей половинки в стакан, протянула Михаилу:

— На-ко, выпей от меня. — И низко, почти касаясь лбом стола, поклонилась парню.

— И от меня! И от меня!

В стаканах и чашках забулькал разведенный сучок (все сохранили до праздника по сто граммов спирта, заработанных на сплаве). На Михаила лавиной обрушилась бабья любовь.

Кто-то, опять захлестнутый своим горем, заголосил:

— У Анны хоть ребята остались, а у меня-то в домике пусто...

— Хватит вам слезы-то точить. Песню! — заорал Петр Житов и увесисто трахнул кулаком по столу.

Жена его высоким голосом затянула «Аленький цветочек», к ней присоединилось несколько дребезжащих, высохших за войну голосов, но дружного пения не получилось.

— Егорша! — взвилась Варвара. — Играй! Плясать хочу!

— Варка, Варка, бессовестная! Ты хоть бы Терентия-то вспомнила...

Варвара, молодая, нарядная, в голубом шелковом платье, туго, по-девичьи, затянутая черным лакированным ремешком со светлой пряжкой, выскочила на середку избы, топнула ногой.

— Помню! Тереша меня за веселье любил.

Говорят, что я бедова,
Почему бедовая?
У меня четыре горя —
Завсегда веселая.

— Ну, разошлась офицера вдова.

— Да, не хухры-мухры! — Варвара вскинула руки на бедра, с вызовом обвела всех бесшабашным взглядом. — Офицера вдова!

Егорша дугой выгнул розовые мехи гармошки.

— Варка! Варка! Про любовь! — вдруг ожили женки.

На войну уехал дряля,
Я осталась у моста.
Пятый год пошел у вдовушки
Великого поста.

— Охо-хо-хо! Врешь, Варка! Врешь!

— Не врешь, бабы! Песня не даст соврать:

Кто не знает — заявляю:
Я не избалована —
Всю германскую войну
Ни разу не целована.

Варвара, лихо, с дробью отплясывая, схватила за рукав Илью, потащила из-за стола. Марья обхватила мужа за шею:

— Не приставай! Липни к другому.

— Фу, и спрашивать тебя не стану. Наши мужья головы сложили, а ты одна владеть будешь? Нет, не выйдет! Поровну делить будем. Приказа потребуем.

— Горько-о-о! Горько-о-о!..

— Да вы с ума посходили! Нашли забаву при детях... — У Марьи полыхающей чернью зашлись глаза. Она отшатнулась от напиравших со всех сторон баб, уперлась затылком в простенок.

— Горько-о-о! Горько-о-о!

Илья, улыбаясь, нащупал под столом жесткую, заскорюзлую руку жены, глянул на открытые двери, в которых еще недавно горели черные горделивые глаза дочери, и начал подниматься: нельзя не уважить народ.

— Нет, нет! — завопили бабы. — Машка пущай! Пущай она!

— Целуйся, дура упрямая! А не то я поцелую.

— Давай, давай! Мы хоть посмотрим, как это делается!..

Ничто не помогло — ни упрашивания, ни ругань. Марья скорее дала бы изрубить себя на куски, чем уступила бы бабам в таком деле. Суровая, староверской выделки была у Ильи женушка. Даже в сорок первом

году, когда он уходил на войну, не поцеловала его при народе.

И бабы, так и не добившись своего, наконец оставили их в покое, вслед за гармошкой повалили на улицу.

3

Михаил, окруженный братьями и сестрами, стоял, качаясь, за углом боковой избы и тяжело водил растрепанной головой. Его рвало.

— Натрескался, бесстыдник! Рубаху-то! Рубаху-то всю выгвоздал. Пойдем домой.

— Се-стра-а!

— Чего сестра?

— Се-стра-а! — Михаил топнул сапогом, рванулся к заулку, где шумно, под гармошку, веселились бабы, упал.

Татьянка с испугу заплакала, судорожно обхватила сестру ручонками.

— Бросьте вы его, ребята,— сказала Лизка двойнятам, которые с двух сторон кинулись на помощь брату. — Он девку-то у меня, лешак, всю перепугал. — Она обняла Татьянку, но тут же на нее прикрикнула: — Чего ревешь? Не убили!

Из-за угла избы выбежала с ведром воды Рая Клевакина. Жмурясь от солнца, едва удерживаясь от смеха при виде стоявшего на коленях Михаила, взломаченного, с бессмысленно вытаращенными глазами, она зачерпнула ковшом воды и плеснула ему прямо в лицо.

Михаил взревел, вскочил на ноги.

Раечка с визгом и смехом метнулась в сторону. Цинковое ведро опрокинулось. Михаил поддал его ногой, пошатываясь, побрел в аулок.

Заулок у Ставровых просторный, скотина в него не заходит — на крепкие запоры заперт с улицы,— и Степан Андреянович за лето два укуса снимал травы. Хорошая копна сена выходила. А в нынешнем году, похоже, травы не будет. Начисто, до черноты, выбили лужок. Желтые головки одуванчиков, раздавленные сапогами и башмаками, догорали по всему заулку. И Лизка, по-хозяйски прикинув последствия нынешней гульбы, не смогла удержаться от слез.

— Сестра! Кто тебя обидел? Кто?

— Миша, Миша! — закричала Варвара от крыльца. Шальное, пьяное веселье кружило у крыльца. Скакали бабы, размахивая пестрыми сарафанами, визжала гармошка, Петр Житов, красный от натуги, притопывал здоровой ногой.

Варвара подбежала к Михаилу, потащила его в круг.

— Мишка, Мишка! — заорал Петр Житов. — Дай ей жизни, сатане!

Женки мигом рассыпались по сторонам. Варвара привстала на носки, и — эх! — пошла работать. Ноги пляшут, руки пляшут, с Егорши ручьями пот, а она:

— Быстрей, быстрей, Егорша! Заморозишь!

— Мишка, Мишка, не подкачай! — кричали бабы.

Михаил топал ногами на одном месте, тяжело, старательно, будто месил глину, тряс мокрой, блестящей на солнце головой, потом вдруг пошатнулся и схватился за изгородь.

— Все! Готов мальчик, — с досадой подвел итог Петр Житов.

А Варвара захохотала:

— Ну, кому еще не надоело жить? Эх, вы! А еще зубы скалите...

Никому не осмеять
Меня, вертоголовую.
Ребята начали любить
Двенадцатигодовую.

— Илюха! — с жаром воззвал Петр Житов к Нетесову. — Поддержи авторитет армии. Неужели такое допустим, чтобы баба верх взяла?

— У меня по этой части претензий нет, — сказал Илья.

— А у меня есть! — сказал Егорша. Он встал с табуретки, протянул гармонь Рае. — Раечка, поиграй за меня.

Затрещала изгородь у хлева.

Егорша живо подскочил к Михаилу, потянул его за рукав:

— Ну-ко, дядя, нечего с огородой воевать. Дедкино это строенье.

В толпе рассмеялись.

— Что? Надо мной смеяться? Надо мной? — Михаил яростно заскрипел зубами, отбросил в сторону Егоршу.

— Миша! Миша! — закричали в один голос жепки. — Что ты? Одичал?

Федор Капитонович, спускаясь с крыльца, брезгливо бросил:

— Ну, теперь будет праздник.

— А, товарищ Клевакин! Наш северный Головатый! — Михаил изогнулся в поклоне.

Две-три бабы приснули со смеху, но всех громче захохотал Петр Житов, потому что это он так окрестил Федора Капитоновича.

В сорок третьем году Федор Капитонович двадцать тысяч рублей внес в фонд обороны. О его патриотическом подвиге шумела вся область. Газеты его называли северным Головатым. Его возили в город, вызывали на каждое совещание в районе, и только пекашинцы посмеивались, когда на собраниях ставили им в пример Федора Капитоновича. Верно, внес Федор Капитонович деньги в фонд обороны, и деньги немалые. Да откуда они у него взялись? Почему у других их нету?

— Иди-иди, — сказал, нахмурившись, Федор Капитонович Михаилу. — Мал еще, сопляк, с людьми-то разговаривать.

— Я мал? Я сопляк? Нет, ты стой! Стой. Как деньги за самосад драть, ты тогда не говоришь, что я сопляк!..

Михаила обступили бабы.

— Миша, Миша, — стала уговаривать его Варвара. — Разве так можно?

Она оттащила его в сторону.

— Варка, а ты мягкая... — сказал Михаил, обнимая ее.

Варвара рассмеялась.

— Молчи, не сказывай никому. Про это не говорят.

— А почему?

К ним подошла Лизка:

— Пойдем домой. Докуда еще будешь смешить людей?

— Домой? — Михаил топнул ногой. — Нет. Гулять будем. Егорша, где Егорша?

Егорши в заулке не было. Бабы расходились по домам.

Ворот новой рубашки у Михаила был распахнут сверху донизу. Одна пуговица висела на нитке. Лизка, вздыхая и качая головой, привстала на носки, оторвала

эту пуговицу, и тут ей показалось, что еще одной пуговицы нет на вороте.

— Стой! — закричала она на брата, сразу вся расстроившись.

Но Михаил, подхваченный Варварой, уже двинулся вслед за бабами. Он ревуче зашел:

Шел мальчишка бережком,
Давно милой не видал...

Лизка оглянулась по сторонам, увидела Петьку и Гришку.

— Ребята, хорошенько все обыщите. За избой посмотрите. Он, лешак, кажись, пуговицу потерял.

Затем она сбегала в верхние избы, закрыла окошки.

Близнецы, присев на корточки, старательно оглядывали то место, где недавно топтался их брат. Сдвоенные голоса Варвары и Михаила доносились из-за дома с улицы.

— Ребята, — сказала Лизка. — Никуда не уходите. А придет Степан Андреянович, скажите, что я скоро прибегу. Уберу тут все. — И она побежала догонять брата.

4

Вставало утро. Познабливало. За Пинегой, над еловыми хребтами, разливалась заря — красные сполохи играли в рамах.

Варвара, слегка покачиваясь, шла пустынной улицей, простоволосая — платок съехал на плечи, — и злыми, тоскливыми глазами поглядывала на окна.

Господи, сколько ждали этого праздника, сколько разговоров было о нем в войну! Вот погодите, придет уже наш день — леса запоют от радости, реки потекут вспять... А пришел праздник — деревню едва не утопили в слезах...

Поравнявшись с домом Марфы Репишной, Варвара привстала на носки, яростно забарабанила в окошко:

— Марфа, Марфушка! Принимай гостей!

В избе зашаркали босые ноги. Темные гневные глаза глянули сверху на нее:

— Бесстыдница! Орешь середь ночи. Бога-то не боишься.

— А, иди ты со своим богом! Я плясать хочу! — Варвара топнула ногой, взбила пыль на дороге.

Немо, безлюдно вокруг. Сухим, режущим блеском полыхают пустые окошки. И тоской, вдовьей тоской несет от них... Ну и пускай! Пускай несет. А она назло всем петь будет — хватит, наревелась за войну!

И Варвара, круто тряхнув головой, запела:

Во пиру была да во беседушке,
Ох, я не мед пила да я не патоку,
Я пила, млада, да красну водочку.
Ох, красну водочку да все наливочку.
Я пила, млада, да из полуведра...

Тявкнула гармошка в заулке у Василисы, а затем петухом оттуда выскочил Егорша. Волосы сваялись, лицо бледное, мятое, к рубашке пристала солома — не иначе как спал где-то...

— Ну, крепко подгуляла! Значит, из полуведра?

— Да, вот так. Еще чего скажешь?

— Ты хоть бы меня угостила.

Варвара скептическим взглядом окинула его с ног до головы.

— Кабы был немножко покрепче, может, и угостила бы.

— А ты попробуй! — вкрадчивым голосом заговорил Егорша.

— Ладно, проваливай. Без тебя тошно.

Варвара стиснула концы белого платка, пошагала домой.

— Ты куда? — обернулась она, заслышав сзади себя шаги.

— Вот народ! — искренне возмутился Егорша. — Праздник сегодня, а у них все как на похоронах.

— А и верно, Егорша! Праздник. Давай вздерни свою тальяночку.

И взбудоражили, растрясли-таки деревню. Бледные, заспанные лица завывляли из окошек. Но что-то невесело, тоскливо было Варваре, когда она подходила к своему дому. И даже восход солнца, нежным алым светом затрепетавший на белых занавесках в окнах, на ее усталом, осунувшемся лице, даже восход солнца не обрадовал ее.

Она тяжело вздохнула и толкнула ногой калитку.

— Спасибо.

Егорша сунул ногу в притвор:

— погоди! За спасибо-то и по радио не играют...

— Чего?

— Холодно, говорю. Погреться пусти... — Егорша зябко поежился и остальное досказал глазом.

— Ах ты щенок поганый! Глаза твои бесстыжие!

— Ну, нашлась стыдливая...

Калитка резко хлопнула. Белая нижняя юбка запле-
скалась над ступеньками крыльца.

Лицо у Егорши вытянулось. Жалко, черт побери! Не с того, видно, конца заход сделал. Но не в его характере было долго унывать: сегодня не выгорело, в другой раз выгорит.

Он развернул гармонь, голову набок — и пошел плеваться крепкими, забористыми припевками.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Где-то по городам, далеко-далеко за синими увалами лесов, шумно шагала лучезарная Победа — об этом изо дня в день трубили газеты. Уже и первые эшелоны с демобилизованными загрохотали по Руси. А пекашинцам — черт бы побрал их глухомань! — только и оставалось, что ждать. И ждали. Ждали, томительно высчитывая дни: когда же, когда же приедут родимые?

Девки и молодухи, вдруг вспомнив про свою молодость, весь июнь шуршали уцелевшими нарядами: выжаривали на солнце, выколачивали прутьями. Потом, уже перед самым сенокосом, принялись за избы. Мыли со щелоком, с дрсвой, скоблили потолки и стены, густо прокопченные военной лучиной.

Лизка Пряслина тоже не захотела отставать от других. И, как ни отговаривала ее мать («Нам-то кого встречать, глупая?») выгребла грязь из дому. Да мало того. Заручившись помощью Раи Клевакиной, взялась за боковую избу Ставровых: пускай и у них будет как у людей.

Егорша, вернувшись вечером со сплава, застал дома потоп. Он пришел в ярость. Кто просил эту лахудру разводиться сырость? Он катал весь день бревна, бродил в воде — имеет право хоть пожрать по-человечески?

На крик из чулана выскочила Раечка — мокрая, румяно-вишневая, с высоко подоткнутой юбкой. Но, увидав в дверях мужчину, пугливо метнулась назад.

Лизка насмешливо хмыкнула:

— Вот еще! Нашла кого стыдиться! — И не долго думая, протянула Егорше пустые ведра. — Помогай лучше! Глазунов-то нам не надо.

— Это можно, — вдруг уступчиво сказал Егорша. — Раз пошла такая пьянка... Даешь Берлин!

На Раечку-соседку Егорша давно уже косил глаз. Сила девка! Упитанности довоенной, за тело не ущипнешь — будто кочан капустный скрипит под пальцем. А груди! Господи благослови... Пушки не пушки, штыки не штыки, а навывлет, наповал бьют. И-эх! — думаешь: пушай у людей будет вечный мир, а мне хоть бы век из-под такого огня не выходить.

Разные ключи и отмычки подбирал Егорша к Раечке.

Сперва нажимал на гармонь. На лесозаготовках эта сваха действовала безотказно — к любому бабьему сердцу находила тропу. А с Раечкой не вышло. Поиграть, правда, поиграли, научилась Раечка разные ту степы да «поди-спать» выводить — все на чувствительное напирал Егорша, — а благодарности учителю никакой. Разве что по ходу дела, поправляя Раечкины пальцы, изредка срикошетишь куда надо.

Егорша решил: обстановка неподходящая. В избу к себе Раечку не затащишь, на маслозаводе постоянно вертятся люди, надо, видно, на природу выходить. Листочки, кустики, то-се, тары-бары-растабары — растает.

В праздник он так и сделал. Выждал, покуда не разбрелись от них люди, выгреб на горки против своего дома и давай зазывать Раечку гармошкой.

И Раечка пришла, села рядом в молодую траву.

— Егорша, тебе тоже невесело?

— Ой, невесело, Раечка! Кабы не эта природность кругом, кажись, с тоски бы удавился.

— А я тоже люблю, когда все цветет. Особенно черемуху люблю. — И тут Раечка, как в кино, томно вздохнула и начала молотить полными ногами по траве возле черемшины, так что белый цвет посыпался.

И — один раз бывает смерть! — Егорша очертя голову кинулся на штурм.

С того дня Раечка перестала с ним разговаривать. Вечером на улице или в клубе встретишь — не подходи близко. Как говорится, вилы над переносьем. И вот сегодня, когда уж он подумывал, а не поставить ли вообще крест на всю эту канитель (чего-чего, а юбок теперь хватает), Раечка сама заявила к ним в дом.

Громыхая цинковыми ведрами, Егорша выбежал из заулка, накачал воды из колодца Федора Капитоновича и легко, будто поутру, побежал домой. В заулке столкнулся с Михаилом.

— А, трудяга! Здорово. Видал, как у меня дело поставлено? — Он брякнул дужками, опуская ведра с водой на лужок, кивнул на чулан, прислушиваясь к песне.

— Райка, что ли, поет? — спросил Михаил.

— Ага. Пойдем, я сейчас ее выкупаю — любо-дорого!

— Валяй, — вяло ответил Михаил.

— Тю, болван! Да ты что — все еще девок боишься?

Егорша схватил ведра, побежал, расплескивая воду. В заулке радугой занялся мокрый лужок, а вскоре и в избе пошла кутерьма: крик, визг, хохот.

Вышел оттуда Егорша покачиваясь, насквозь мокрый, будто вынырнул из воды, но довольный.

— Досталось маленько, — сказал он, отряхиваясь и звонко шлепая себя по мокрой груди. — Ну да я тоже не остался в долгу. Целое ведро на Раечку вылил.

Они сели на бревно подле сарая с дровами, закурили.

— Когда на Синельгу? — заговорил Егорша. Он терпеть не мог всякую молчанку.

— Скоро.

— Чувак ты все-таки! Говорил — просись в кадру. Ну, ума нету — ишачь с бабами до белых мух.

Егорша повел прищуренным глазом в сторону воротца, остановился на столбе, затем, вытянув шею, цыкнул. Слюна точно попала в цель.

Внезапно сухой жар опалил щеки Михаила: в глубине заулка рядом с домом Федора Капитоновича, за которым был колхозный склад, показалась Варвара. Она шла по красной от вечернего солнца дорожке, и красиво, сполохами переливалось на ней голубое платье с белыми нашивками по подолу.

Егорша крикнул:

— Приворачивай на беседу!

Варвара поглядела в их сторону, шурясь от солнца, и, ничего не сказав — только белозубый рот блеснул в улыбке, — пошла дальше.

— Чего это она нонче притихла? — спросил Егорша. — И каждый день, как невеста, наряды меняет? Ах, хороши подставочки! — восхищенно цокнул он языком, обнимая глазами Варварины ноги. Помолчал и ткнул Михаила в бок. — Слушай: я все хочу у тебя спросить, Ты тогда, в праздник, не догадался?.. А?

Михаил тяжелым сапогом накрыл окурок.

— Неужели нет?

— Ерунду порешь.

— Ну, хрен с тобой. Секретничай. Мне-то все равно. У меня, кажись, на сто восемьдесят градусов жизнь поворачивается.

Михаил ни малейшего интереса не проявил к его общению.

— Да ты что, оглох? Я говорю: меня на курсы трактористов посылают. Понимаешь?

— Хорошо.

— Чего хорошо? — Егорша откинул голову, сбоку посмотрел на приятеля: чистый доходяга! — Ты, может, жрать хочешь, а? Есть у меня полбуханки. Получил сегодня.

— Нет.

— Знаешь что, — заговорил, вдруг оживляясь, Егорша. — Я сегодня подъязков под Белой видел. Такие дяди выворачиваются — как поросята. Давай закатимся на утренку.

Михаил покачал головой, встал.

— Тьфу, лопух! Попробуй свари с таким кашу.

На крыльцо с грязным ведром выскочила Раечка — босоногая, вся розовая в вечернем солнце. Глянула в их сторону и разом погасла.

Что за черт? Синие шелки Егорши подозрительно ощупали долговязую фигуру, выходящую из заулка на деревенскую дорогу. Неужто снюхались? И это называется друг! Втихаря, за спиной товарища? Ну погоди, друг-приятель: не последний день живем. Авось и мы сумеем свинью подложить.

Белая ночь заглядывала на повесть через щели в крыше, в воротах, запертых на жердяной засов. А ребята еще не спали — шумно, тузя друг друга, возились у его ног. И гремели каменные жернова в сенцах, и

наконец уж совсем черт те что: кто-то посреди ночи — не то мать, не то Лизка — начал отметывать навоз у Звездони. Как раз в том месте во дворе, над которым была его постель.

Конечно, стоило ему слегка прочистить горло, и живо бы все стихло, но именно этого-то пустяка он и не мог сейчас сделать. Не мог, потому что ему казалось, что все это — и чересчур шумная и смелая возня младших братьев, и небывалое ночное усердие Лизки и матери, — все это неспроста, все это делается с одной-единственной целью: задержать его дома.

И он долго, не шевелясь, будто спеленатый, лежал на спине и напряженно, до боли в шейных позвонках, всматривался в сгущающиеся сумерки над головой.

Первыми утихомирились ребята, затем смолкли жернова, затем оборвалась музыка внизу, у коровы, и в доме наступила тишина.

Пора! Надо действовать.

Он приподнял голову и вдруг радостно вздрогнул, услышав легкий шелест вверху. Это березовые веники, их старые, прошлогодние листья начали дрожать и волноваться в предутреннем ознобе. Счастливый знак! Ибо так же было тогда, в то утро.

Тогда, в то утро, он проснулся — темень, голова раскалывается на части, и вдруг вот этот самый шелест над головой, все слышнее и слышнее, будто там, вверху, много-много слетелось невидимых птиц и дружно забило крыльями.

Потом он услышал голос Варвары, уговаривающей корову: «Ешь, ешь, моя красавица», — и корова отвечала откуда-то снизу довольным мычанием, точь-в-точь как ихняя Звездоня, когда той задают корм с повети.

Но как он попал на повесть к Варваре?

Он помнил, как вчера вместе с бабами отплясывал у нее в избе, помнил, как его вдруг начало тошнить и он, зажимая рот рукой, кинулся вон, но разрази его гром, ежели он помнит, как оказался на этой повети.

— Который час? — спросил он хриплым, не своим голосом и с трудом повернулся на голос Варвары.

— А, проснулся! — Белое пятно качнулось в темном углу слева, потом зашуршала солома, и Варвара подошла к нему — ее глаза сверкнули в темноте. — Ну и спать же ты, Мишка! Я из-за тебя, дьявола, всю ночь в избе промаялась.

— Кто тебе велел. Поветь-то большая, много места. Варвара притворно вздохнула:

— Тебя щадила. Думаю, проснешься, а рядом баба — еще родимчик с перепугу хватит. Вставай! Кавалер... Весь праздник проспал. А еще за Дуняркой за нашей вздумал ухаживать. Девка не старуха, она не любит, когда возле нее спят.

Вот эта насмешка, как потом не раз думал Михаил, и решила все. Он вскочил на ноги — ах, так! я сплю? — и пошел на нее, широко раскинув руки в стороны.

Варвара, отступая, захохотала:

— Проснись! Расшиперил руки-то, — не овцу имашь.

Он прыгнул вперед и, как клещами, сдавил ее горячее, упругое тело.

Она охнула, вырвалась:

— Дурак, нашел, с кем играть. С ровней надо играть-то.

Потом она кричала: «Мишка, Мишка!» — умоляла, упрашивала: «Будет, будет тебе!» — а он уже ничего не мог поделаться с собой...

Наконец он зажал ее в угол — глаза в глаза, нос против носа, а когда она кинулась в сторону, он грубо, через колено бросил ее на охапку резко пахнувшей травы...

...Ворота не скрипнули — он загодя смазал проржавевшие петли.

Туман стоял страшный, такой туман, что не было видно ни земли, ни неба, и он бежал в этом тумане босиком, в одной рубашке, каким-то особым нюхом угадывая тропинку вдоль болота, верткую, капризную, то карабкающуюся по травянистой бровке у самой стены старого гумна, то опять круто ныряющую в мокрые кусты, в месиво разъезженной дороги.

У навеса над силосной ямой против молотилки он отдышался, прополоскал в росяной траве грязные ноги и быстро-быстро, уже пригибаясь и воровато оглядываясь по сторонам, поднялся по меже к Варварину амбару.

Три раза за эту неделю подходил он к этому амбару и три раза поворачивал назад. От стыда. От страха. От того, что не мог решиться перебежать маленькую картофельную грядку, отделяющую амбар от заулка.

Он-то, правда, думал: ему не придется этого делать. Варвара сама догадается, что он тут, у амбара, ждет, когда она раскроет для него ворота на повети,— зачем еще переться через крыльцо? Чтобы кто-нибудь увидел? Но Варвара не раскрывала ворот, и он уже начал сомневаться: а было ли все это? Была ли эта теплая и духовитая повесть? Была ли Варвара, ее насмешки над ним, а потом эти непонятные злые слезы? Он так и ушел от нее, оставив ее плачущей на охапке травы.

А может, это приснилось ему? Может, это один из тех радостных и стыдных снов, которые ему часто снились в последние годы?

Нынешним вечером он специально отправился к Егорше, который давно уже блудил с бабами: подсажи, посоветуй, как быть. И, слава богу, все обошлось без Егоршиных советов: сама Варвара, неожиданно появившись на вечерней дороге, объяснила ему все своей улыбкой...

Он метнулся через картофельную грядку, с разбегу перемахнул изгородь, потом был заулочек с дровяным сараем, со двором, бревенчатая стена которого еще дышала дневным теплом, деревянные мостки в клочьях тумана, крыльцо...

И тут, на крыльце, когда он взялся за холодное железное кольцо, на него опять напал страх. Неужели ворота заперты? Неужели ему придется стучаться? Ночью, под самым боком у Лобановых?

Осторожно, стараясь унять внезапную дрожь, он повернул на себя кольцо, мягко нажал мокрым коленом на ворота. И вдруг ликующая радость до жара, до колокольного звона в ушах прожгла его: ворота были не заперты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

— Ходит, ходит Мишка к Варваре.

— Не плети, чего не надо! И слушать не хочу.

— А чего мне плести-то?

— А то. У меня Ваню убили на двадцать третьем годе, а я его носила, Варуха-то уж в сарафанце бегала — всяко ей годков пять было. Дак ну-ко, подсчитай, сколько теперь. Уж тридцать есть, не меньше.

— А хоть сорок — мне-то что. А я сама на днях видела, как Мишка к ней на поветь лез.

— На поветь? Что ты говоришь?

— Ей-богу, девка! Не вру. Я это вышла за травой середь ночи (Малёшка все мык да мык), нá, господи, кто это, крадучись, как вор, от болота к Варухиному дому пробирается? А то он, Мишка. К дому сзади подо-брался, глазами зырк-зырк да на угол. А та уж его ждет, двери растворила. Сама вся в белом...

— Вот еще страсти-то какие!.. Да ведь он на Си-нельге, Мишка-то. На поже. Не святой дух, по воздуху не летает.

— А сивко-то-бурко на что?

— Дак это он на конике? Шесть верст туда да шесть обратно. Осподи!.. То-то та сука блудливая ка-жинный день выражается. Как на праздник.

— А праздник у ей и есть. Как не праздник! Парня такого зауздала...

Да, было чему дивиться! Еще все шагали в военной упряжке, еще голодали, работали на износ, еще нет-нет да и похоронные залетали в Пекашино, а тут двое, словно взбунтовавшиеся лошади, сломали оглобли и по-неслись сломя голову...

И за этими пересудами, не умолкавшими все лето, в Пекашине как-то даже мало внимания обратили и на новую войну — с Японией. Повздыхали, поплакали те, у кого еще было кого ждать, а остальные с языка не спускали Варвару и Мишку.

Анна Пряслина — такая уж материнская участь — узнала об этой беде последней. Она дожидалась с бабами поле за болотом, когда вдруг Лукерья, посмеиваясь, сказала:

— Невестушку твою сегодня видела.

— Ну и как? Баска́ у меня невестушка? — тем же игривым тоном ответила Анна, потому что догадыва-лась, о ком говорит Лукерья: о Раечке Фёдора Капито-новича. Сохнет Раечка по Мишке. Это и она сама за-мечала, и бабы говорили ей.

Лукерья опять усмехнулась и сказала:

— Да уж чего-чего, а красоты твоей невестушке не занимать.

— А я, женки, нисколешеньки не сужу Варвару, — заговорила Матрена. — Баба молодая, на хлебном ме-сте, а где они, мужики-то?

У Анны почернело в глазах, резкая боль обожгла руку.

К ней кинулись женки, помогли перевязать порезанный серпом палец.

— Анюша, Анюша, да разве ты не знала?

О нет, она знала, давно знала, что что-то неладное творится с парнем. С той самой поры знала, когда он пьяный в обнимку с Варварой пошел в верхний конец деревни. Всю ноченьку тогда она не сомкнула глаз, и сердце у нее так тосковало, будто пожар подбирается к их дому. А там, на Синельге, куда она смотрела? Разве не просыпалась она по ночам, да не прислушивалась к его шагам? Вот бы и остановить его тогда: опомнись, парень! А она радовалась, думала, что Мишка опять где-то тайком от людей подкашивает сено для Звездони...

Женки примолкли. Сухо потрескивала солома под серпами — каждая, раздевшись до рубахи, гнала свою полоску. И Анна гнала. Гнала, всеми силами сдерживая рвущийся из пересохшего горла крик.

Господи, твердила она про себя, за что ей еще такое наказание? Сколько ее еще будет дубасить жизнь? Разве мало того, что война отняла у нее Ивана? Страшно подумать, что она перенесла за эти годы. Люди воевали с врагом, с немцем, говорили: выстоять. А у нее один был враг, который ни минуты не давал ей передышки, — нужда, голод. И она тоже выстояла. Сохранила ребят. И вырос Мишка — есть на кого опереться семье. А что, что теперь будет?

2

Шесть пар умоляющих глаз смотрели на него. Мать, Лизка, Петька и Гришка, Татьянка, Федька. Да, и Федька. Когда ветер против семьи, тут Федька не на особицу, тут он заодно со всеми.

Шесть пар глаз смотрели на него с крыльца, заклинали: вернись! не ходи!

Нет, не будет по-вашему! Довольно! И, выйдя из заулка, Михаил на виду у них повернул в верхний конец деревни. И по деревне пошел снова, не таясь, открыто, потому что не было больше смысла таиться от людей. Потому что вся деревня теперь знала про скандал, который разразился у них на улице.

Мать прибежала с поля, вся трясется, задыхается, слова сказать не может. «Мати, мати, что случилось?» — «А, рожка бесстыжая, что случилось? На это отец тебя растил? Да у него бы кости в земле перевернулись, кабы узнал». А тут, как на грех, на улице против их дома показалась Варвара. С работы домой шла. Мать — на нее: «Сука... Тварь поганая... блудница!..» За матерью Лизка, ребята — волчиной стаей налетели на Варвару.

Ну, он, конечно, не допустил до свалки. Схватил хворостину, одного огрел, другого привел в чувство. И вот после такого позорища мать и Лизка завели другую пластинку — слезами стали давить: «Миша, Миша, пожалей нас... Миша, Миша, что ты делаешь?»

А что он делает? Что? Может, он лишний кусок хлеба съел от них тайком? Может, за три года работы в лесу костюм завел себе? А мог бы. Висел в ларьке триковый костюм в белую полоску. А он не взял его, он о Лизке подумал, потому что тогда бы Лизка осталась без ботинок. Забыли про это? Не помните? А Егорша уехал на курсы трактористов — не мог бы он тоже? Из-за кого остался дома? Нет, погодите! Рано вам учить меня. Рано. И ты, мати, отцом не укоряй. Отец-то меня растил — это верно, а кто твою ораву растит?

Ах, как хорошо, не таясь, идти по деревне! Да, смотрите. К ней, к Варваре, идет Мишка. Ну и что? Эй, Василиса, чего отвернулась? стыдно стало, святоша? А ты, Аграфена, чего глаза вылупила? Знаю, знаю твои повадки. Сейчас побежишь брэнчать от дома к дому. Ну и брэнчи на здоровье. Валяй!

Было еще довольно светло, ни одного огонька на деревне. А Варвара запалила лампу со стеклом. Как прожектор из окна бьет. Правильно! Так и надо. И катитесь все к дьяволу!

Трофим Лобанов, тюкавший топором под навесом у своего дома, привстал, когда он подошел к Варваринной калитке, — тоже любопытно. А он ничего: хлопнул калиткой, топнул сапогами по мосткам — смотри, смотри, старый хрен! — и первый раз не ползком, не на четвереньках, а как мужчина, с распрямленной спиной поднялся на крыльцо.

Но кто бы мог подумать, что Варвара не одна дома? А она-таки действительно была не одна — с Анисьей Лобановой. И Михаил не то чтобы растерялся, а все-

таки поежился, встретившись с той глазами, Вернее, почувствовал себя так, будто его нагишом выставили напоказ.

Он сказал:

— Шел мимо — давай, думаю, на огонек...

Варвара бегло и презрительно посмотрела на него и хмыкнула. А когда вышла Анисья, скорым шепотом обожгла:

— Ты зачем пришел? — Она любила вот так его огорошить.

Михаил прошел к столу, хотел было убавить фитиль в лампе, — к чему такой огонь! — но Варвара раздраженно шикнула:

— Не тронь! Хочу на тебя посмотреть.

Он пожал плечами.

— Ты у матери-то спросился, куда пошел?

— Давай, зачала...

— Я говорю, у матери-то спросился, куда пошел? Не слышал, что она кричала? Ах, бедненький, ах, ребеночек!.. Его, вишь, Варуха совратила... А посмотрела бы она, как этот ребеночек кости Варухе выворачивал!

Михаил смущенно хохотнул:

— А чего и упрячилась?

— Кто упрямился?

— Кто? Не я же.

— А кто не я-то?

— Ну кто... Ты...

— А у этого «ты» есть имя, нет? Кавалер! Все лето к бабе выходил, а спросить, как зовут, и не сказать.

Это верно, он избегал называть ее по имени. Варвара — как-то не то. Варя — тоже язык не поворачивается... Да разве и обязательно все это? Обходилась же она до сих пор без этих телячьих нежностей.

— Подумаешь, распсиховалась! Слушай побольше матерь, она по своей дурости наскажет...

— Мне скоро проходу не будет. Все пальцем показывают. И не то что люди — кусты-то придивились.

— Чему придивились?

— А тому, что с тобой, с молокососом, связалась.

— Опять ты про года! Года, между прочим, у деда Матюхи в Заозерье подходящие. Девяносто второй, говорят, пошел...

— Перестань! Самое теперь время хахоньки строить...

Он ни черта не понимал. Чего ей надо? Из-за чего вся эта муть? Из-за сегодняшней перепалки с матерью? Из-за того, что бабы на каждом углу судачат?

Он три дня не был в этом доме, три дня не жил, а задыхался, как рыба, выброшенная на берег. И вот тут она, рядом, только руку протянуть, и он чувствует запах ее жаркого тела, видит ее губы...

Люди будто сговорились сегодня. Кто-то опять зашаркал ногами на крыльце.

Анфиса Петровна!

Вошла, посмотрела на Варвару, посмотрела на него — усмехнулась.

— Какие это у тебя дела здесь завелись, Михаил? Раньше по вечерам я тут тебя не видала.

— Какие? — Михаил понял, сразу понял, что Анфиса Петровна неспроста зашла к Варваре, что она все знает. И еще он понял, что он должен сейчас сделать что-то такое, что бы раз и навсегда отбило у людей охоту вмешиваться в их дела.

Сумасшедшая мысль пришла ему в голову. Он глянул прямо в лицо Анфисе Петровне и не сказал, а выпалил:

— Мы жениться будем! Ясно? — И, не дав ей опомниться, крикнул: — А что — разрешение у тебя спрашивать?

Анфиса Петровна не удивилась, не закатила глаза на лоб. Она, казалось, заранее знала, что он скажет. Но Варвара? Почему Варвара молчит? Еще на той неделе, выпуская его рано утром из своего дома, она говорила, жадно припадая к нему: «Ох, Мишка, Мишка! Кабы моя воля, ни в жисть бы не отпустила тебя». Так в чем же дело? Давай возьмем волю.

Наконец Анфиса Петровна разжала свои сухие, еще с сенокосной страды запекшиеся губы.

— Дак вот что я тебе скажу, жених. В лес ехать надо.

— Мне? В лес?

— Да.

— Вот как! А с месяц назад что ты говорила? «Михаил, бригадиром будешь...» Говорила?

— Говорила. А теперь вижу: слишком голова горячая. У пня остудить не мешает.

— Ты меня пнем не страшай! Я с четырнадцати лет у пня. А на этот раз на, выкуси! Не поеду!

— Поедешь. Своей волей не поедешь — по суду от-
правим.

— Меня по суду? Это меня-то? Дак вот как ты...
«Михаил, чем тебя и отблагодарить... Михаил...» В пояс
принародно кланялась... А сейчас в суд Михаила? Из-
под нагана в лес?

Ненависть, слепая, безрассудная ненависть захлест-
нула его. Он шагнул к Анфисе Петровне, до хруста, до
боли сжал пальцы в кулаки.

— Я-то знаю, с кем ты это придумала. Знаю. Мати
прибежала, да? «Спаси, Анфиса Петровна...» Да? А я
вот возьму да к такой матери и Анфису Петровну, и
матерь... Всех!..

— Миша, Миша!..

— Нету больше Миши! Нету! — Михаил сапогом
распахнул дверь, вылетел из избы.

3

Анфиса заговорила первой:

— Видишь, что ты натворила. Меня с парнем поссо-
рила и семью с ума свела. Правильно он сказал: при-
бегала ко мне Анна... — Она перевела дух. — Мне го-
ворили, сказывали, что Варуха с парнем связалась, ну,
я не верила.

— А теперь веришь?

— Выбрось эту дурь из головы. Посмешила людей,
и хватит.

Барвара с легкостью кошки вскочила с кровати,
сдернула с гвоздя у порога парусиновую сумку, протя-
нула Анфисе.

— Что это?

— А вот то. Наслужилась я тебе. А теперь провали-
вай. — И, сухо блеснув глазами, указала на дверь.

Анфиса подержала в руках сумку. Осенью сорок
второго года эту сумку, тогда еще добротную, почти
новую, привезенную с войны Петром Житовым, вручила
она Варваре. Вручила, можно сказать, жизнь пекашин-
ских баб и детишек, потому что в сумке этой были
ключи от колхозных амбаров и складов. И надо отдать
должное Варваре: честно, по совести вела она хлебные
дела все эти трудные годы. В сорок четвертом году,
когда в Пекашине привелось есть мох, кто вместе со все-
ми давился палками? Варвара, колхозная кладовщица.

И не для показа давилась, а потому, что не могла иначе,— Анфиса хорошо узнала за это время Варварино сердце. Все пополам делили они друг с дружкой: и муки, и горе, и надежды. А бывало, заем, жито надо внести в фонд обороны, картошку — с кого в первую очередь взять? «Придется нам с тобой, Варвара, поднатужиться. У нас детей нету». И Варвара не хныкала: «Ладно, Анфиса, после войны жить будем».

— Ты не глупи, Варвара,— сказала Анфиса и, отложив сумку в сторону, строго посмотрела на нее. — Тебе не семнадцать лет.

— Да и не сорок. И всю жизнь по твоей указке жить не собираюсь. Хватит — покомандовала в войну. А теперь не лезь, куда не просят.

— Нет, полезу! Ты только о себе думаешь, а у меня деревня...

Варвара шумно задышала. Раздутые ноздри у нее, попав в полосу света, стали алыми.

— Врешь! Врешь! — крикнула она и топнула ногой.

— Не кипятись, Варвара. Я никогда не вру.

— Врешь! Врешь! Это кому ты сказки-то рассказываешь? Ха-ха-ха! Она о деревне думает, она святая, а я только о себе... А сказать тебе, когда ты о себе-то начала думать? Еще в войну, на втором году. Когда люди на фронте помирали...

— Чего ты мелешь... Опомнись...

— Не беспокойся. Я в своем уме. Ну-ко, кто из баб гонялся за мужиком до района? Кто? Может, я? Может, Грунька Яковлева?

Анфиса медленно опустила свою повинную голову. Три года никто не спрашивал с нее за те два-три часа бабьего счастья, что она вырвала у войны в ту ночь...

Был вечер, шумел дождь, и продрогший на ветру конь нетерпеливо переступал с ноги на ногу, тянул ее домой. А она не двигалась. Она все стояла, смотрела за реку и все ждала чуда: вот-вот еще раз красными искрами осыплется сигарка на том берегу и радостный голос донесется оттуда: «Анфиса, подожди! Я не уехал. Я не мог уехать...» Но чуда не случилось. Лукашин не подал голоса с той стороны. И в конце концов она пошла домой, вся мокрая, разбитая, ведя в поводу коня. Да только вышла от перевоза на луг, да подумала, что,

может, ни разу в жизни больше не увидит Ивана Дмитриевича, и — что поделалось с нею — птицей взлетела на коня...

Не поднимая головы, Анфиса тихо сказала:

— То любовь, Варвара.

— Ах, любовь! Вот как! У тебя любовь, тебе можно. А у Варвары любви не может быть. Варвара — собачонка. Снюхалась, перебесилась, и дальше. Так?

— Он мальчишка против тебя. Опомнись! Какая тут любовь!

— А где, где они, не мальчишки-то? Я виновата, что их на войне поубивали? Я?

По смуглым пылающим щекам Варвары текли слезы. И ее, как Мишку, трясло от бешенства, от ненависти. К ней, к Анфисе. За то, что она, Анфиса, встала между ними. И, внутренне вся содрогнувшись, Анфиса подумала: «Господи, да живите вы как знаете. Что я, жандарм, поп вам какой?..»

А вслед за тем она готова была и вовсе оправдать Варвару. Ну, связалась с молодым парнем... Так что же? Она первая? Разве такого не было до войны? А ведь тогда — не теперь: полно было мужиков...

Но так Анфиса думала недолго, может минуту, может две, до тех пор, покуда на память ей не пришла Анна Пряслина, ее несчастные дети. В чем угодно можно упрекнуть ее, Анфису, все смертные грехи готова признать за собой, но только не черствость, но только не закаменелость. Нет. Тут она чиста. В войну, в самые черные дни, старалась хоть немножко, хоть горсть зерна подбросить многодетным матерям — так разве она допустит сейчас, чтобы на ее глазах разорили пряслинскую семью?

И она сызнава, с еще большей силой навалилась на Варвару. Она стыдила ее, распекала, взывала к совести, опять напоминала о годах, о возрасте — в общем, была по самому больному месту, по Варвариной гордости.

И та, совсем ошалев, кричала, топала ногами:

— Вон, вон убирайся из моего дома! Вон!

— Нет, нет, Варвара, — упрямо твердила Анфиса. — Не уберусь. Дай слово, что не будешь встречаться с парнем. Дай! Слышишь? Дай!

За войну какие муки ни приняли пекашинцы, а лес сравнить не с чем. Лес всем мукам мука.

Гнали стариков, рваных-перерванных работой, подростков снимали с ученья, девчушек сопленосых к ели ставили. А бабы, детные бабы,— что они вынесли за эти годы! Вот уж им-то скидки не было никакой — ни по годам, ни по чему другому. Хоть околей, хоть издохни в лесу, а в барак без нормы не возвращайся. Не смей, такая-разэдакая! Дай кубики! Фронт требует! И добро бы хоть они, бедные, пайку свою съедали, а то ведь нет. Детям сперва надо голодный рот заткнуть.

«Бабы, бабы, потерпите! Бабы, бабы, еще немного! — каждую осень, когда приходила пора выпроваживать их в лес, говорила Анфиса. — Будет, будет на нашей улице праздник. Не мной это сказано».

И вот он, праздник. Десять тысяч четыреста кубометров! Такого задания за всю войну не было.

— Евдоким Поликарпович,— слезно взмолилась Анфиса,— да что же это такое? Где я возьму столько народу! У нас со стариками да с калеками столько не будет, сколько вы в своей бумаге трудоспособных требуете.

— Что значит — «в своей бумаге»? Это не моя бумага. Это государственный план. Понятно? А во-вторых, вот что, Минина, кончай с демобилизационными настроениями. Запомни: для кого война кончилась, а для нас, северян, только началась. Пол-России лежит в развалинах — каким лесом ее отстраивать? Опять тебя политграмоте учить?

Разговор этот был по телефону, а на другой день утром в Пекашино заявился уполномоченный райкома. И вот, как в прошлые годы, начали они с уполномоченным перебирать колхозников по спискам. Перебирали-перебирали, так и эдак перебирали — и сверху донизу, и снизу доверху,— девять человек выловили.

— Пиши повестки,— сказал уполномоченный. — Закон о трудовинности применим.

То, что у пятерых женок из девяти, попавших на карандаш уполномоченного, были малые ребята, об этом Анфиса уж не заикалась: дети не в расчет и раньше были. Но как же ей с хозяйством-то колхозным быть?

Хлеб молотить надо? Надо. Сено возить с дальних пожен надо? Надо. А школу, а медпункт — можно их без дров оставить?

— Это уж твоя забота, — отрезал уполномоченный и сам стал выписывать повестки.

И, как в прошлые годы, в эти дни было много слез и ругани.

— В чем я в лес-то пойду? Ты погляди, на что валенки у меня похожи.

— У меня на войне мужик голову сложил — некому заступиться. Валяй, дави бедную.

— Ты еще в войну наш род невзлюбила. Девку четырнадцати лет в лес выписала — на всю жизнь калеккой исделала. А теперь и мать загубить хочешь.

— Анфиса Петровна, да есть ли у тебя сердце-то? Я вся ломана-переломана. По ночам ревом реву...

Анфиса не оправдывалась, не спорила («Плачьте, кричите, бабы, поедом меня ешьте, ежели вам от этого легче станет»), но была неумолима. На субботу назначена радиоперекличка — какой ответ она будет держать перед Подрезовым?

Радиопереклички созывались в году часто. Заело с посевной — радиоперекличка. Худо идет подписка на заем — радиоперекличка. Не выполняется план по сдаче хлеба — так и знай, будет перекличка. В назначенный час приложат председатели колхозов и сельсоветов телефонную трубку к уху, раскатится подрезовский бас по всей линии, и пойдет разнос направо и налево. Крепко, со вкусом умеет разносить Подрезов. Подвернется мат под руку — и матом запустит. А ты сиди, да слушай, да за милость считай, что тебя на бюро райкома не вытащили. Потому что одно дело, когда в тебя щепка за тридцать верст летит, а другое дело, когда тебя наповал рубят.

Нынешняя радиоперекличка была назначена на семь часов вечера, и Анфиса побелела, когда, вбежав в контору и чиркнув спичкой, взглянула на часы: было двадцать минут восьмого. Задержалась она на скотном дворе из-за молодой коровенки, у которой был неправильный отел. Но разве скажешь об этом секретарю?

Зажигать лампу некогда, уши и в темноте слышат — Анфиса на ощупь подошла к телефону, взяла трубку.

Подрезов только еще входил в раж.

— Что? Что? — кричал он. — Двое мужчин? Когда?

— Думаю, ноября пятнадцатого — двадцатого.

По неторопкому, шепелявому голосу Анфиса признала в ответчике своего соседа — председателя колхоза «Октябрь».

— А почему не сейчас? — спросил Подрезов.

— Да их еще дома нету. Из армии едут.

Раздался дружный смех. Молодец Мерзлый! Посадил секретаря в лужу. Не все нашему брату шишки получать.

Подрезов тоже рассмеялся — всех покрыл своим басом, — а потом сказал:

— А я и не знал, что ты артист, Мерзлый. А ну-ко, возьми себе на заметку: двадцать пятого октября на бюро райкома. Посмотрим, посмотрим, какие у тебя артистические данные.

— Евдоким Поликарпович, да я, ей-богу, серьезно. Едут. Письма от обоих есть.

— И я серьезно. Записал? Ну вот, готовься к смотру.

Анфиса закусила губу: ее черед. Нет, Подрезов перемахнул сразу через пять колхозов. На Сидорова-старика навалился.

— Да, да, Сидоров у телефона. — Голосок писклявый, тоненький, еле слышно. Самый верхний колхоз у Сидорова.

— Сколько, спрашиваю, в лес за неделю вывел?

— Слушаю, слушаю, — опять по-козлиному заблеял Сидоров.

— Матюшин, — сказал после короткого молчания Подрезов. Это относилось к председателю ближайшего от Сидорова колхоза. — Съезди завтра к старому хрену. Скажи, чтобы на бюро ехал. Мы ему прочистим уши. Так и скажи.

— Хорошо, Евдоким Поликарпович, скажу.

Из отчетов председателей Анфиса поняла, что в других колхозах дело с выходом людей на лесозаготовки обстоит не лучше, чем у нее, а в некоторых колхозах даже хуже, и она уж было подумала: ну, кажется, сегодня отсидится за чужими спинами. Не отсиделась.

— Минина, — голос Подрезова приподнял ее с табуретки, — докладывай.

— Пятерых за эту неделю послала.

— Так. Значит, у тебя теперь в лесу сколько? Тридцать один? — Подрезов все знал и помнил, что касалось леса. Да, по правде сказать, и кто когда придавал

значение северным колхозам? Лес, лес давай, а уж как ты там справишься с севом, с сенокосом и прочими делами — это твое дело.

— Да, тридцать один,— подтвердила Анфиса.

— А по плану?

— Сорок пять,— упавшим голосом сказала Анфиса.

— Ну и что же?

— Да где их взять-то, Евдоким Поликарпович?

— А ты поищи, поищи хорошенько.— Старый, изблюбленный совет Подрезова.

— Да уж искала. И я искала. И ваш уполномоченный целую неделю искал.

— Нет, значит, людей?

— Нету.

Подрезов басовито рыкнул, прочистил горло:

— Возьми карандаш. Взяла? Пиши. Первое: Репишная Марфа Павловна. Есть такая?

— Евдоким Поликарпович, да как же ее посылать? У человека годы на исходе и грыжа в обоих пахах.

— А грыжу-то где она нажила? Не с попом ли?

На проводе прыснул смех.

— Кому это там весело? Тебе, Новиков? Потерпи маленько. Скоро уж твоя очередь.

Смех сразу погас.

— Записала, Минина?

Анфиса промолчала.

— Минина! Я кого спрашиваю? Или боишься, что молельня перестанет работать?

Второй раз предупреждал ее Подрезов насчет молельни. Да, поговаривают в деревне — ходят к Марфе Репишной старухи. И раз даже, проходя мимо ее дома вечером, она сама слышала какое-то пенье в избе.

А может, Марфа тут ни при чем? Когда она отличалась набожностью? Может, это Евсей Мошкин воду мутит?

2

— Пришла, Павловна... А я уж думал, замерзну, не дождусь...

— Не мог людей-то не срамить! Мало я с тобой натерпелась? Вставай!

— Не встать. Обессилел.

Сено зашевелилось. Белый клубок пара вырвался оттуда, потом показалась обмотанная тряпьем голова.

— Не встать. Обессилел.

Тогда Марфа нагнулась к стогу, сграбастала мужа в охапку, посадила на санки, кинула ему в ноги его котомку.

Дорогу перемело начисто — двое суток без роздыха лютовала метель. Марфа брела от вешки к вешке, смутно черневшим на вечернем лугу, месила рыхлую заметь, падала.

Так дотащилась до моста через Синельгу.

— Живой?

Митрий клацнул зубами.

Она сняла с себя полушубок, набросила на мужа.

— Что ты, Павловна... Сама-то замерзнешь.

— Помалкивай! И без твоих слов тошно...

Когда два-три часа назад ей сказали, что Митрий лежит у зарода на Марьиных лугах — отошал, идти не может, — Марфа готова была волосы рвать на себе. Господи! За что ей еще такое наказание? У всех мужья как мужья — на войне воюют, а ее ненаглядный даже для войны оказался негод — в трудармии, всю войну в тылу околачивается.

Но затем, одумавшись, она оделась, пошла на конюшню. Лошади свободной не было. Марфа сама впряглась в санки.

И вот тащилась она через луга, через лес — в одном сарафане, подол заледенел, грыжа разрывает паха, — тащилась, сцепив зубы, и на все лады кляла свою судьбу.

В избу Митрий вполз сам — у нее не хватило сил внести его.

Отдышавшись, Марфа зажгла лучину. Митрий, привалясь к косяку дверей, все еще сидел на полу у порога.

— Что, так и будешь сидеть? Без няньки не можешь?

— Отошал я, Павловна. Дай прийти в себя.

— А здесь, думаешь, рай? Скоро болота не будет — весь мох приели.

Сапожонки у Митрия, разбитые, перевязанные светлой проволокой, оттаяли, подтекли лужами. Тяжелое зловоние распространилось по избе.

— Замучила дизентерия, — виновато сказал Митрий.

И не от жалости к мужу, нет, а по вековой привычке к чистоплотности Марфа затопила печь, согрела воды в чугунах, обмыла мужа в корыте.

Оказавшись в теплой постели, в чистом белье, Митрий расплакался, как малый ребенок:

— Ну вот, теперь и помирать можно. Думал, не дойду. Иной раз репку съешь, иной день так. Где пустят ночевать, где в сарае приткнешься. Вошь, понос — людей стыдно...

Скоро Митрий забылся, а Марфа, нагрев еще воды, принялась за стирку. Ее тошнило от вони, от вшей, которые серым слоем всплывали на воде в корыте, и она думала об одном: не приведи бог, чтобы кто-нибудь зашел в избу.

Выстиранное белье она развесила на печи, ватник и ватные штаны оставила мокнуть до утра в щелоче, подтерла вехтем пол. Оставалось еще разобрать котомку.

Она села на пол — ноги больше не держали, — развязала мешок с ляжками. И все, что было в нем, вывалила на пол. Тут было грязное, протертое до дыр вафельное полотенце, жестяной котелок — большая консервная банка с проволочной дужкой, пара старых рукавиц, шило с нитками, обмылок серого мыла, бутылка с керосином, обернутая в тряпку, и еще был грязный, растрепанный кочан капусты, зачем-то обвязанный шпагатинной.

Если бы не эта шпагатина, она бы просто выбросила кочан — коровы нету, кто будет жрать такой кочан? Но шпагатина пригодится, и она, положив кочан на колени, стала распутывать узлы, в душе своей последними словами понося мужа: дурак безмозглый! Со всем из ума выжил. Где это видано, чтобы веревку на кочан наматывали?

Она распутывала, распутывала шпагатину — ногтями, зубами разгрызала узлы, наконец распутала. Не кочан — сверток. Сперва старой газетой обернут, затем платом, старинным аглицким платом, который она носила еще в девках. Плат этот Марфа искала всю войну. Перерыла все коробья, корзины, лукошки, думала: потеряла или кто украл. А он, оказывается, вот где всю войну пролежал — в грязной паршивой котомке. И тут Марфа едва не задохнулась от гнева. На кой черт ему было уносить этот плат из дому? Ведь она так обносилась — голову в страду нечем прикрыть.

Зашипел сбоку в корытце с водой огарок. Марфа, не вставая, переменяла лучину в светце, развязала плат и просто обмерла: сладости... Розовые подушечки, слип-

шился, вываленные в чаю, в сахарном песку, леденцы — красные, желтые, зеленые, сахар маленькими кусочками, чай в газетном кулечке и еще вдобавок к этому две белые сушки — давнишние, закатанные, крепкие, как камень.

Она и минуту, и две смотрела на все это неподвижными, остекленевшими глазами, а потом вдруг схватилась за голову и заревела громко, навзрыд.

Мужа своего Марфа не любила, сердце ее наглухо было закрыто для него, хотя она и честно несла крест, взваленный на нее отцом и братьями. Да и как она могла любить его? За что? Слабосильный, чуть не на голову ниже ее. Ни топор, ни пила в руках не держится. Ему даже бороды бог не дал. Волос рос клочьями — где есть, где нету. Как трава на болоте.

Но сейчас в эти минуты, когда перед глазами у нее на коленях лежала куча сладостей, она как бы заново увидела своего мужа.

Трудно, невысказанно даже вообразить, какой ценой собрал он это богатство. Не ел сам, откладывал по крохам из недели в неделю, из месяца в месяц, дорогой случайными репками пробавлялся — так ведь он говорил давеча, — а к сладостям не притронулся. И все для того, чтобы ублажить свою Павловну, которая за годы войны забыла, как и сладости-то пахнут. И бутылку керосина — в любой деревне можно было обменять на хлеб — тоже берег для Павловны, потому что знает: Павловна всю войну мается с лучиной.

А что он видел от своей Павловны?

«Павловна, Павловна, не беспокойся. Я подоил корову. Отдыхай».

И ох же как она ненавидела его за эту корову! Во всей деревне не было другого мужика, который бы копался в коровьих сиськах. «А мне, Павловна, люди не указ. Пушай смеются. Тебе бы полегче».

А ночами-то зимними — господи! Отхожее место за домом — с фонарем готов провожать Павловну.

И что из того, что он не вышел телом? Разве его вина? А она-то сама вышла? Высоченная, широкая, угловатая. Как медведица. И все это враки, что у нее был жених до Митрия. Не было. Никому она, кроме него, не нужна была.

Митрий от рева Марфы очнулся, заметался на койке: — Павловна, Павловна, что с тобой?

А когда Марфа встала с полу, да подошла к нему, да села на койку, он опять завсхлипывал, как малый ребенок:

— Ты уж прости, Павловна. Заболел. Можно было и там помереть, да не вытерпел — так хотелось еще перед смертью тебя повидать...

Марфу душили слезы, и она редела белугой, а Митрий все говорил и говорил:

— Сколько же ты намучилась со мной, Павловна! Сколько стыда-то из-за меня приняла! И зачем же вот было тогда у реки встретиться? Помнишь, с солью я шел? Грешен перед тобой. Сам слабый — на силу твою позарился. Сгубил твою жизнь...

Митрий был в памяти до полудня, затем вдруг захрипел, потянулся к ней руками и помер.

Было это в конце марта сорок пятого года, в великий пост, а на пасху Митрий явился Марфе во сне.

Она лежала на печи. Вдруг дверь неслышно отворилась и в избу вошел Митрий — светлый, радостный, в новых сапогах.

«Павловна, спишь?» — тихонько окликнул он ее. «Нет, не сплю». — «Не бойся меня. Я не мертвый», — предупредил Митрий, так как знал, что Павловна боится покойников. Потом на цыпочках, как при жизни, подошел к ней. И глаза его — голубые, кроткие, а голос вроде другой — как листья прошелестел: «Ну как ты без меня живешь?» — «Я-то что. По-земному. Ты-то как?» — «Хорошо, Павловна, хорошо. У речки живу, со староверами».

Тут Марфа открыла глаза. В избе было утро. Весеннее солнышко заглядывало в передние окошки.

«Ну, слава богу, — подумала она, — хоть на том-то свете хорошо живет. Подал весть — не расстраивайся, Павловна». Но затем, припоминая слова Митрия, она задумалась: почему же он живет со староверами? Правда, отец и мать у него были староверы, но сам-то он какой же старовер? Всю жизнь ел с ней из одной посуды.

В тот же день, встретив старуху староверку, она спросила:

— Как на том свете заведено? Порознь или вместе живут староверы и мирские?

— Порознь. Как не порознь, — убежденно ответила старуха. — Хватит, на этом свете погрешили с табачниками.

И вот, когда вскоре после этого в Пекашино вернулся Евсей Мошкин, доводившийся ей дальним родственником, Марфа решила: это знак свыше. Сам бог посылает ей Евсея.

Она перешла в старую веру.

3

С крыльца спустились две старушонки, сделали шага два-три навстречу ей и вдруг повернули назад, порысили на задворки.

Так, сказала себе Анфиса, Подрезов-то, видно, не зря предупреждает. А когда она вошла в избу, то сомнения у нее и вовсе отпали. На божнице в переднем углу теплится красная лампадка, медные иконы отсвечивают, стол сдвинут в сторону, на полу разостлана ржаная солома...

— Проходи, Петровна, садись,— смущенно сказал Евсей.

А Марфа — ни слова. Ждала, повернув к ней голову. Высокая, прямая, в черном платке, надетом по-старушечьи — клином. И глаза ее недобро сверкали в полумраке.

В избе крепко пахло подсыхающим деревом. Свежие доски и брусья белели на полатях, под потолком над печью. Все это были заготовки для ушатов, для кадушек, которыми Евсей снабжал не только пекашинцев, но и жителей соседних деревень. Поделывал он кое-что и для колхоза. Летом, например, он вставил новые рамы на скотном дворе, потом согласился сколотить три пары саней. Сани нужны были позарез, и Анфиса хотела было начать разговор издалека, с этих самых саней,— поторопись, мол, Тихонович,— но, встретившись с откровенно враждебным, выжидающим взглядом Марфы, она отбросила дипломатию:

— Лампада горит — праздник у вас?

— Праздник. Воскресенье завтра,— отрубил Марфа.

— И праздновать будете?

— Будем.

— Вдвоем или еще кто будет?

— Кто придет, тому и рады. Хоть ты приходи, и тебя не прогоним.

— Ну вот что, Евсей Тихонович,— сказала Анфиса. — Жить живи, а людей не смущай.

Марфа опять полоснула ее своими глазищами:

— Что, убивает кого Евсей-то? Помолиться нельзя?

— Да мы никого и не зовем,— сказал Евсей.— А ежели придет какая старушонка, как ее прогонишь.

— Я предупредила тебя, Евсей Тихонович, а остальное сам понимай.

С Марфой говорить было бесполезно. Она, не дожидаясь конца их разговора, повернулась лицом к божнице, подняла руку, сложенную двуперстным крестом, бухнула на колени и напоказ, с вызовом начала молиться.

«Что же это делается-то?» — думала Анфиса, выходя на улицу. — С лучшими помощниками своими она поругалась — с Мишкой, с Варварой, а теперь еще и с Марфой. Ох как Марфа посмотрела на нее! Как будто она, Анфиса, ей первый враг... А Варвара? Век бы не подумала. За всю войну у нее не было человека ближе Варвары. «Анфиса, Анфиса моя! Сестры у меня нету, будь моей званой сестрой. И чтобы всегда нам вместе. До гробовой доски». И они обнимались, плакали, поцелуями скрепляли клятву. А теперь к этой званой сестрице близко не подходи — укусит.

Да, что-то менялось в жизни, какие-то новые пружины давали себя знать — она, Анфиса, это чувствовала, — а какие?

Раньше, еще полгода назад, все было просто. Война. Вся деревня ебита в один кулак. А теперь кулак расплывается. Каждый палец кричит: жить хочу! По-своему, на особицу.

А может, она все это выдумывает? Может, лесная страда так придавила ее?

Под ногами скрипит снег, белеют крыши под лунным небом, а под крышами темно. Только в двух-трех обмерзлых окошках чадит лучина. А где жизнь?

Жизнь ушла из деревни в леса. Надолго. На всю зиму. До полый воды.

Так всегда на Севере, испокон веку. Нельзя северянину прожить без леса.

Но ох и поломал же ты, лес, народушку! Редкая баба, которая выстояла у пня несколько лет подряд, не проклинает тебя потом всю жизнь...

На повороте улицы из-за темного угла выскочила девчушка. Встала, руками перегородила дорогу.

— Анфиса, Анфиса Петровна! Где это вас носит? Я весь вечер ищу. К вам гости приехали.

Анфиса по голосу узнала Лизку Пряслину.

— Какие гости?

— А вот не скажу! Догадайтесь! — и Лизка, блеснув глазами, рассмеялась, скользнула мимо и уже сзади крикнула: — Дорогие!

Что за гости? Кто мог к ней приехать? Какой-нибудь командировочный? Районщики любят останавливаться у председателей колхозов — посытнее. А может... Сердце у Анфисы дрогнуло, горячая волна залила грудь. «Нет-нет, не может быть», — сказала она себе, учащая шаг. Последнюю весточку от Ивана Дмитриевича она получила вскоре после победы, из Германии, и с тех пор ни одного письма...

В окнах ее дома горел яркий свет, заулоч широко разгребен от снега. Кто бы это?

Григорий...

Она стояла под порогом, словно приросшая к полу, и во все глаза смотрела на подходившего к ней мужа.

— Ну, здравствуй, жена.

— Здравствуй, Григорий Матвеевич. С прибытием. — Анфиса протянула нахолодавшую руку, поклонилась.

— Да ты, Анфиса, разучилась, как и с мужиком обходятся, — сказал из-за стола Петр Житов.

— Разучилась, Петя. Верно.

Кроме Петра Житова за столом сидели Федор Капитонович, Степан Андреянович — этих она разглядела, а дальше изба пошла кругом: на глазах у Григория она увидела слезы и вдруг сама, припав к нему, громко, по-бабьи разрыдалась.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Ель напоследок попалась толстая, суковатая, и Михаил поплясал вокруг нее — снег стоптал до ягодника.

По привычке он присел было на теплый смолистый пень, чтобы отдышаться и перекурить, но затем вспомнил, что все уже с делянки ушли, кроме него и Ильи Нетесова, и встал.

— Эй, поехали! — подал он голос.

Илья не откликнулся.

Михаил повернул голову на треск сучьев сзади себя и увидел, как в темной чашобе Илья разжигает огонь.

— Ты что — для медведя стараешься? Думаешь, замерзнет ночью?

— Для себя, — ответил Илья. — Худо вижу.

— А для чего тебе хорошо-то видеть?

— Да хочу еще ель-другую свалить.

— Ну-ну, валяй, — только и мог сказать Михаил.

Видывал он на своем веку лесорубов. И сам не из последних: полторы нормы за день — это уж всегда. Но Илья Нетесов не в счет. Таких работяг, как Илья, больше нету. До двух с половиной норм выжимает. И еще бригадир. Вечером ложишься спать, а он еще за столом, с бумагами — дневной баланс по участку подбивает. А утром кто первый на ногах? Илья.

«Ему надоть, — говорит Антипа Постников. — Партийный».

Партийный-то он партийный, думал Михаил. Это верно. Но ведь и партийный не из железа сделан. Брюхо-то у всех одинаково: ему заправку подай. А какая заправка у Ильи? Он, Михаил, и другие худо-бедно, а все какое-нибудь подкрепление из дому получают — то картошку, то молоко, а у Ильи коровы нету, Илья сам должен подбрасывать семье. Вот он и старается, чтобы хлебная пайка поувесистей была.

Голод мучил Михаила. Горбушку хлеба, которую он взял с собой, он съел еще днем: пальцы наловчились — до тех пор ковыряют за пазухой, пока там не останется ни крошки.

Выбравшись с делянки на твердую, хорошо укатанную дорогу, по которой возили лес, он околотил валенки от снега, сбил с ватных штанов куски наледи.

Мороз еще не набрал силы — с декабря начнет корезить и ломать все живое, — но дорога под ногами визжала уже по-морозному, а главное, радио стало слышно.

Радио играло на той стороне речки, на Сотюжском лесопункте. В теплую погоду его не слышно — три километра до лесопункта, — но как только начинают давить морозы, тут голос столицы докатывается и до них, колхозников.

Да, вот так и живем, думал Михаил, поскрипывая валенками по лесной дороге. Кто-то эту музыку, сидя в тепле, слушает. А кто-то под эту музыку пробежки вечерние делает. С топором, с пилой. А ведь, кажись, один лес заготавливаем. И мы, колхозники, и леспромхозовские рабочие. А жизнь разная. За три километра друг от друга, а разная. Там тебе, на лесопункте, и красный уголок, и столовка, и ларек — все, что надо. А у них, на Ручьях, ни черта. У них, на Ручьях, все наоборот. В прошлом году, когда на участок к ним приезжал сам Подрезов, он, Михаил, поставил этот вопрос: почему так? Почему одним все, а другим ничего? «А ты с колхоза требуй, — ответил Подрезов. — У тебя колхоз есть». А что с колхоза потребуешь? Откуда возьмет колхоз?

Сзади зацокали копыта. Михаил обрадовался. До барака оставалось тащиться еще добрый километр — вот он и подъедет. Возчики частенько выручают их, рубщиков.

Ехала Нюрка Яковлева. Остановилась, блеснула глазами из-под заиндевелога платка.

— Садись!

— Ладно, езжай.

— А чего ладно-то — не укушу, — шаловливо рассмеялась Нюрка.

— Замерз, говорю.

— Вдвоем-то, может, скорее согреемся, — быстрой скороговоркой сказала Нюрка и опять рассмеялась.

— Проваливай, говорю! — уже сердито сказал Михаил.

Нюрка была лютая на любовь. В прошлом году все они на Ручьях к весне начали пухнуть от голода, и у нее лицо отекло. Но даже в то время Нюрка по-прежнему каждую субботу бегала на лесопункт. Одна. По темному лесу. Потом Нюрка спуталась с Егоршей, а с этой осени — Егорши нету — стала липнуть к нему. Михаил как-то проснулся под утро — что такое? Кто у него под одеялом бегают? Мышь забралась? А то, оказывается, Нюрка — руками его ощупывает, шепчет на ухо: «Подвинься».

Ну, он подвинулся — сунул кулаком как следует. Не лезь. Будет он после Варвары на какую-то потаскуху глядеть. Правда, глядеть у Нюрки есть на что. Высокая, фигуристая, и глаза — вода полая, любое дерево с корнем выворачивают. Недаром из-за нее все ребята и му-

жики на лесопункте передрались. Но, конечно, куда там Нюрке до Варвары.

С делянки донесся глухой шум падающей ели — Илья все еще мял лес. Небо вызвездило. Стало посветлее на дороге. Зеленой искрой сверкал снег на еловых лапах.

Михаил бежал, прислушиваясь к радио, и думал о Варваре. За полтора месяца ему только на один вечер удалось вырваться в деревню. А Варвары он так и не видел. Куда пропала? Он выстоял у нее на крыльце чуть ли не всю ночь и вернулся домой на рассвете злой, продрогший до костей. Мать, конечно, принялась за старое. «Мы думали, ты хоть за дровами съездишь. А ты опять к той ведьме». — «Ах так! — взъярился Михаил. — Вам дрова надо? Дрова? Замерзли, бедные? Ну дак померзните еще!» — и укатил на Ручьи. Вот так он проучил своих. Дровами. Пускай попробуют, как из-под снега добывать. Может, хоть это чему-нибудь научит.

Варвара не выходила у него из головы. Он думал о ней в лесу, с ожесточением врубаясь в дерево, думал, отдыхая у костра. Варвара снилась ему по ночам. И в этих снах она не смеялась над ним, не подкусывала его, а была такая покорная и тихая и все спрашивала: «А за что ты меня любишь? Скажи...»

В морозном воздухе запахло жилым дымком, затем вскоре донеслось хлопанье замороженной двери. Михаил оглянулся — он поднимался уже на холм.

Ноги у него ожили. Он быстро перевалил за хребтину темного ельника, и вот он, барак, внизу у ручья — с огнями, с теплом, с горячим ужином.

2

Михаил любил свой барак. Любил, как всякий лесоруб, который, набродившись в снегу за день, наконец-то попадал в тепло.

Когда осенью в сорок втором году они с Егоршей, оба четырнадцатилетние подростки, приехали на Ручьи, тут вообще никакого жилья не было. Даже охотничьей избушки поблизости не было. И вот задача: за полтора месяца поставить избу, да такую, чтобы целой бригаде жить можно. Анфиса Петровна тогда сказала: «Хошь умрите, а изба должна быть. Не я прошу — война просит».

И они поставили. Поставили впятером. Он, Михаил, Егорша, сестры Житовы — Клавдия и Манька — и старик Никифор.

Никифор каждую ночь по очереди выковыривал их из песчаной норы, в которой они, как звери спали, зарывшись в сено: «Давай-давай, разомнись!» И они разминались. Бегали до тех пор вокруг костра, пока паром не начинала дымиться промерзлая одежда.

Первые не выдержали сестры Житовы. Манька схватила воспаление легких еще тогда, когда сруб не подняли до окошек. А у Клавдии так густо высыпали чирьи по всему телу, что она не могла ни лежать, ни сидеть и всю последнюю ночь, как на молитве, выстояла на коленях.

Потом очередь дошла и до Никифора — обгорел старик. Заснул и обгорел. Они-то, молодняк, хоть с грехом пополам, а все-таки по ночам спали, а Никифор сколько подремлет, сидя у костра, и за топор, потому что если он заснет, то кто же их будет вытаскивать из норы для разминки?

И вот какой был старик! Не о себе горевал, не о том, что у него до костей сожжена спина и жить ему осталось ровно неделя, а о крыше: «Ох, ребята, ребята, что я наделал, старый дурак. Как вы без меня поднимете стропила...»

Стропила они действительно не подняли. Лабазом покрыли избу. Не хватило у них уменя, у четырнадцатилетних подростков, сделать двускатную крышу. Да и некогда было — Сталинград кричал с Волги...

Барак, как это всегда бывает по вечерам, курился дымом. Дым лез из трубы, высоким белым столбом вздымаясь к звездному небу, дым лез из обмерзлых окошек и дверных щелей.

У крыльца, похрустывая сеном, горбилась заиндевелая лошадь. Лошадь была в санях, и Михаил понял, что кто-то приехал из деревни. У него ворохнулась мысль: не Варвара ли? Не она ли легка на помине? Но когда он, скрипя замороженной дверью, переступил за порог, мысль эта так же быстро растаяла, как морозное облако, которое влетело с ним в барак.

Приезжим оказался Петр Житов. Петр Житов сидел у жарко топившейся печи — лицо с мороза красное, в зубах цигарка — и, судя по тому, как вокруг него сгрудились люди, выкладывал деревенские новости.

Дым в полстены стоял в бараке. Лампа на столе горела как в тумане. Пригибаясь, Михаил поставил в угол к дверям «лучок», взял со стола свой котелок. Новости он еще успеет узнать — Петр Житов скорее всего заночует, — а пока не разморило в тепле, надо сходить за водой да навесить котелок: рассказнями сыт не будешь.

Однако Петр Житов чем-то здорово ошарашил людей — все говорили разом: «Что ты, что ты! Не плети. Не может быть». Антипа Постников два дня не встает с нар, болеет, а тут приподнялся — бороденка кверху, глаза в потемках горят, как фонари.

Михаил подсел к нему с краю:

— Чего он там заливает?

— Чего? Председательница скурвилась. С мужиком своим разошлась.

— Анфиса Петровна? — Михаил заморгал оттаявшими ресницами и тоже вытянул шею.

Петр Житов говорил:

— Баба что замок с секретом — никогда не знаешь, что выкинет. Какой-то у ей в войну хахаль завелся. Тут, говорят, был. Из фронтовиков.

— Был. Помним.

— Ну я-то не знаю. Дак вот, родного муженька в отставку, а этого, значит, как его, ждет...

— Ну и ну! Вот уж от кого, от кого, а от Анфисы Петровны не ждали.

— Смотри-ко, что в тихом-то омуте водится.

— А Григорий-то? Воевал-воевал, а приехал домой...

Петр Житов ухмыльнулся:

— Да вы очень-то не убивайтесь об Григории. Ноне мужику по этой части безработица не грозит. Нашлись добрые люди — утешили.

— Кто же это?

— Кто-кто... Варвара Иняхина выручила...

Смехом залилась Нюрка Яковлева — это Михаил помнил. Помнил, как выбежал из барака, помнил, как вскочил на сани. А дальше все пошло колесом. Нет, запомнил еще Илью Нетесова, с которым столкнулся у ростики возле делянки: «Михаил, куда? Что случилось?..»

В Пекашино он влетел еще при огнях. Мимо своего дома проскакал не глядя. И вот дом Варвары. Холодом блеснули оловянные окошки.

Он вбежал в заулок, вбежал на крыльцо и стоп: замок в пробое. Тяжелый замок, обросший мохнатой

изморозью. И тогда он увидел еще — крыльцо занесено снегом, дорожка в заулке не расчищена. И он сел на крыльце в снег и заплакал.

Мороз потрескивал в поленнице под сараем, глухо стонали телефонные провода на дороге, а он все сидел на крыльце и чего-то ждал. Ждал и сам понимал при этом: ждать нечего.

3

Евсей спал чутко. Раза три, не больше, брякнул Михаил промерзлым кольцом в ворота, а в сенях уже шаги. Кто, зачем — не спросил. Зато Марфа, едва он переступил за порог, рыкнула с печи, треща лучиной:

— Кого еще середка ночи?

— Да лежи, лежи ты, господи. Человек с морозу — что за допросы?

Шаркая в темноте валенками, Евсей зажег керосинку, подошел к Михаилу, примостившемуся к теплой печи.

— Не обморозился?

— Не-е,— еле выговорил Михаил.

— Руки-то, руки-то чтобы в целости были. — Евсей стащил с его рук суконные рукавицы, сдавил пальцы. — Чуешь?

— Все в порядке,— ответил Михаил и устало откинул голову назад.

Меньше всего он собирался сегодня искать пристанища у старовера. Но так уж получилось. Коня он отвел на конюшню — нечего и думать было ехать обратно, не покормив его, а самому где отогреться? Домой идти? Но он и представить себе не мог, как бы он встретился сейчас со своими. Кто, кто разбил ему жизнь? Кто разлучил его с Варварой? Разве не они — не мать с Лизкой? Вот так он и завалился к Евсею Мошкину.

Ах, думал он, закрывая глаза и все плотнее прижимаясь спиной к теплой печи, помолотят теперь языками — и в лесу, и в деревне. Вот, скажут, как его Варуха захомотала. Ночью, не евши, не пивши, поскакал... А Петр-то Житов будет разоряться... Петр Житов взыщет за коня, взыщет...

Его разбудил Евсей:

— Ну-ко, погрейся маленько. Я самовар согрел.

Михаил с жадностью набросился на холодную картошку, на ячменные сухари, потом выпил несколько стаканов горячего кипятка, заваренного сушеной черникой.

— Спасибо,— сказал он.— А я как знал, что у тебя подкормиться можно. Приехал домой, а у них все начисто подметено.

Евсей опустил голову, вздохнул.

— Ну, что у вас нового?— спросил Михаил. Он не сомневался, что Евсей, заговорив о деревенском житье-бытье, не обойдет стороной и Варвару.

А Евсей опять вздохнул и сказал:

— Шел бы ты, Миша, домой.

— А чего я там не видал? Я только что из дому. Дай, думаю, пройду по деревне.

— Нет, Михаил Иванович,— покачал головой Евсей,— ты не из дому. Ты из лесу.

Михаил сдвинул брови. Откуда ему известно?

— Ждут тебя там, Миша, ох как ждут...

— Пушай. Это им полезно.

— Вечер встречаю мать твою да сестрицу. Дрова везут. Измаялись, замерзли, бедные. А дровишечки... Ну как мутовки...

— Ладно,— сказал Михаил.— Слыхали.— Ему надоело петлять вокруг да около, и он спросил напрямик:— Варвара с Григорием, говорят, ушла... Как это было?..

— Да что как было. Людям жизнь устраивать надо. Вот так и было.— Евсей помолчал, положил руку ему на колено.— Брось ты все это, Миша, забудь. Кровь молодая—знаю. А как же ты своих-то так? Я когда услышал: Михаил домой из лесу не показывается,— господи! За что же, говорю, их еще наказываешь? Разве мало их война потрепала?

— Ну, и что тебе ответил бог?— ядовито спросил Михаил, но, когда взглянул на старика и увидел на глазах у него слезы, пожалел о своих словах. Евсей всем сердцем переживал их беду.

— Иди, иди, Миша, домой. Ох уж как бы они обрадовались сейчас...

Да, обрадовались бы, подумал Михаил. Петька и Гришка, Татьяна... А если узнают назавтра, что он был в деревне и не зашел домой,— что тогда с ними будет?

— Иди, иди, Миша. Самому легче станет. Вот вспомняешь меня, старика...

Михаил, все еще не решив, как ему быть, поднялся с лавки.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

*20 декабря 1945 г.
Ст. О-ская.*

Здравствуй, друг сердечный, таракан запечный!

Сегодня решил написать письмо, так как от тебя все равно ни хрена не дождешься. Ну ладно, посмотрим, что запоешь, когда увидишь меня на стальном коньке. Умные люди здесь говорят: копыта последние годы в лесу ишачат, так что скоро огласим наши северные леса могучими моторами. Лес — это золото, сам знаешь.

Насчет жратухи, то я тебе врать не стану, со столовских обедов шибко не разбежишься. Но я тут сделал разведку боем и прикрепился к спецмагазину. Баба на вывеску так себе, но отоваривает хорошо. Когда ни придешь — пол-литра да закусь обеспечена. И, между прочим, культурная, имеется патефон. А меня зовет Жорой, потому что это у нас, в деревне, Егор, а ежели покультурному, то Георгий. Вот так и проходят молодые годы вдали от родины.

А как у тебя жистянка? Вставили вторые рамы в бараке? Ты бы, лопух, все-таки описал, как и что. Охота знать про свой белоснежный край.

На Новый год думаю с одним корешом съездить в Архангельск. У кореша брат работает на пивном заводе, так что пивка поьем. А потом заеду к Дунярке. В прошлый раз я у ей был, на Октябрьской. Вот, брат, как надо устраиваться! Квартирка из трех комнат, свекор — большая шишка, литерную карточку получает, ходят по коврам, и тут же, в коридоре, имеется кабинет задумчивости, туалетом называется. В общем, житуха у Дунярки на большой.

Дунярка встретила меня хорошо, то есть по-свойски. Имеется задел, то есть беременна. Все дивилась да охала, как это ты тетку Варвару обгулял. А ты, между прочим, тоже жук хороший. От меня свои шуры-муры скрываешь, а тут весь Архангельск знает. Ладно, я не злопамятный, но узелок завяжу.

Привет пинежским соснам и елям, а также всем товарищам лесорубам. Работайте, да так, чтобы родина сказала спасибо. Лес на сегодняшний день — это основа. И передавай всем: Суханов-Ставров овладевает, и скоро его стальная песня зазвучит на зеленых просторах.

С трактористским приветом

Г. Суханов-Ставров,

2

Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас!!!

Здравствуй, дорогой брателко! С приветом к тебе сестра Лиза, а также вся наша орава.

Во-первых строках сообщаю, что все мы живы и здоровы и того и тебе желаем. А Звездоня, Миша, в этом году рано на отдых просится. Мама то говорит, что это она за войну отпуск просит, ведь всю войну наскрозь доила. Так что на сметану покуда не надейся, не собрать. И теперича покамест посылаем тебе картошки да соленых сыроег туес.

Петр Житов пьяный пришел, чего, говорит, Михаилу передать, а сам на ровном месте не стоит. Ладно, говорю, ты хоть себя-то довези, а я сама напишу. Вот и села письмо писать.

Миша, дрова у нас покуда есть, а с нового года ждем тебя. Может, отпустят хоть на денек. Петька да Гришка, твои любеюшки, уж дни высчитывают, скоро, говорят, к нам Миша приедет. Ждут тебя, как красного солнышка. А на того беса рыжего вырубил вицу здоровенную — на улице живет, ничего не учится. А у Татьяны, Миша, зуб выпал, на самом переду оконышко, дак нынче все за печь заглядывает, когда ей мышка новый зуб даст. Ладно, хоть меньше трещит.

Миша, писать такого больше не знаю. Мама все на молотилке убивается, а я, известно дело, с телятами. Каменку в байне Евсей перебрал, хорошо теперь — не горько, а денег не взял, молока, говорит, сколько плеснете.

Ну и все, до свиданья. Писала твоя сестра Лиза.

Миша, не хотела я тебе про это писать, да уж больно обидно. И ты не сердись на меня, я ведь это не со зла.

Тут Семеновна нам говорит, что на днях тебя видела в деревне ночью. А я говорю, не плети чего не надо.

Чтобы наш Михаил, говорю, в деревне был да не зашел домой, этого, говорю, и быть не может. Тебе, говорю, со сна это привиделось, больно много спишь. Я и маме так сказала, чтобы не плакала. Где это, говорю, видано, чтобы наш Михаил да домой не зашел.

Приехал бы ты поскорее сам да успокоил бы их всех, глупых. Я-то сама не верю, да разговоры-то такие слушать не дай бог.

Татьяна под ухом жужжит: передай от меня особый привет Мише. На, принимай особый.

Холодняк с пота не пей. И об нас не тужи. Войну выжили, а теперь уж что, не пропадем.

Говорят тут у вас, нет, а к нам приехал Першин Денис из армии, Петра Емельяновича сын. Ходит в хромовых сапогах, никакие морозы не берут, и в войну, говорят, самого Сталина караулил, а теперь не знаем, куда и сядет. Может, в районе, а может, у нас, в деревне, — идет такой слух.

Поклон тебе от Степана Андреяновича. Нынче все болеет, нездоровится, война, видно, выходит. А тому бесстыднику напиши, где у него совесть-то. Дедко его ростил-ростил, а он и письма не хочет написать. Уехал на города, и за сколько месяцев одно письмецо было. Разве это дело.

Ну и хватит. Вся вспотела. Топор легче в руках держать, чем этот карандаш. Да соскучилась, дай, думаю, все выговорю, и бумага привелась — Раечка вчерась целую тетрадку дала.

Любящая сестра Лиза.

3

Не время почивать на лаврах

...Декабрьский план лесозаготовок под угрозой срыва.

Особенно нетерпимое положение создалось в ряде колхозов области, там, где демобилизационные настроения захлестнули самих председателей колхозов.

Пора с этим кончать — решительно и бесповоротно!

Да, война кончилась. Нет больше военных фронтов на карте Родины, но лесной фронт остался. Вот чего нельзя забывать ни на минуту.

(Из областной газеты)

Много, не перечесть, сколько раз ездила Анфиса в район — и весной, и летом, и в грязь, и в стужу, в любую погоду являлась на вызов, а возвращалась оттуда чаще всего с накачкой, с выговором. И сегодняшняя поездка ей тоже не сулила ничего хорошего. Декабрьский план по лесозаготовкам выполнен на сорок пять процентов — а была на исходе последняя неделя декабря, хлеб обмолочен наполовину, с займом заколодило — весной, победы дождались, старый и малый подписались. И ей бы сейчас не о себе думать — о делах. А дела на ум не шли...

Бежит, бежит заиндевелая лошадка знакомой дорогой, повизгивают полозья в зимней тишине, леса и луга меняются по сторонам, а на уме все то же: Лукашин да Григорий, Григорий да Лукашин, вся та немислимая круговерть, которая началась с возвращения Григория.

Она знала: вот-вот должен нагрязнеть Григорий. Еще в первые дни после победы извещал: приеду по первой демобилизации. И все-таки его приезд — как снег среди лета на голову.

Григория будто подменили на войне. Он весь как-то размяк, раздался вширь, у него даже волос поредел, — она это сразу увидела, как только он поднялся из-за стола и пошел ей навстречу. И уж совсем была непривычна для нее слеза, блеснувшая на его глазах.

Вот тогда-то она и заголосила навзрыд — поняла, что наделала своей бабьей жалостью. И самое страшное во всем этом было то, что Григорий утешал ее и счастливыми, прямо-таки восторженными глазами смотрел на гостей: вот, мол, поглядите, люди добрые, как меня встречают. А потом, когда они остались вдвоем, он медленно обвел глазами избу и сказал: «Ну вот. Четыре года ждал я этой минуты». И тут уж она больше не выдержала — рубить так рубить: «Зря ты ждал, Григорий. Нам с тобой не жить».

Крики, проклятья, кулаки — да, все бы это было легче для нее. Так нет же! Григорий — это Григорий-то, который раньше одним взглядом вгонял ее в дрожь! — стал умолять ее одуматься, забыть, что было раньше.

Еще до войны она предлагала взять ребенка в детдоме — вспомнил и это: «Давай возьмем для полноты жизни». А может, у нее за эти годы неустойка по женской части вышла, так ведь и это он понимает. Сам не без греха.

Три дня терзал ее своим великодушием Григорий, а на четвертый день уехал в район. Да не один, а с Варварой Иняхиной.

И Анфиса, когда узнала об этом, только что не перекрестилась от радости. Пускай, пускай будут счастливы! Видно, не зря принимались друг к другу еще до войны. Судьба... А сколько она слез тогда пролила! И из-за чего? Из-за того, что бабы на каждом перекрестке судачат да языком чешут. Нет, нет, не из-за ревности она слезы проливала. К тому времени у нее и в помине не было любви к Григорию. А из-за гордости, из-за того, что бабы на тебя смотрят с обидной жалостью да подленьким любопытством: «Ну-ко, скажи, скажи нам, за что тебя твой мужик не жалует. Какой такой изъян в тебе есть?»

— Ох, бабы, бабы,— сказала Анфиса вслух,— кто вас разберет...

Эти слова она часто произносила в последнее время, потому что и в самом деле не понимала, почему от нее отвернулись бабы. Из-за Григория? Так вот же он, беденький — с молодой женой медовый месяц справляет. А ей чего завидовать? Она покамест на том же вдовьем положении, что и остальные.

Лошадь громко, с выхрапом прочистила заиндевелые ноздри и вдруг без всякого понукания затряслась мелкой рысцой.

Смеркалось. Высоким розовым столбом вздымался дым над районной пекарней.

При въезде в райцентр Анфису обогнал начальник сплавконторы Таборский. Привстал на санях, крикнул в лицо, обдавая винным перегаром:

— Здорово, молодка! Не на свадьбу? Слышал, слышал, что мужика замуж выдала. — И захохотал.

И вот, выезжая на главную улицу райцентра, Анфиса больше всего боялась встретиться с Григорием да Варварой.

Она не встретила ни Григория, ни Варвару.

В тот вечер на бюро райкома ее сняли с председателей.

Михаила и еще трех лесорубов вызвали на собрание с Ручьев. Лошадь подогнали к делянке, так что они даже в барак не заходили. Прямо от пня да на бал. Весело! В брюхе волки воют, а ты обсуждай колхозные дела.

Да что обсуждать? Картина ясная, не сбрежали люди: новый председатель уже выставлен напоказ, за красным столом по правую руку от Подрезова сидит, а Анфиса Петровна, тоже, надо полагать, для наглядности, в тень задвинута, так что Михаил не сразу и разглядел ее на сцене.

Подрезов не стал метать громы и молнии — видно, отметал еще у себя на бюро. Сказал просто:

— Мы, райком, долго возились с Мининой. Со всех сторон ее подпирали. Но, как говорится, изба на подпорках не изба. Пора и у вас, в Пекашине, подвести под войной черту.

И вот эти последние слова насчет того, что хватит, дескать, жить войной и по-военному, шибко пришлось по душе людям.

— Пора, пора... Дай-то бог...

— Но, товарищи, надо бы нашему председателю за войну хоть спасибо сказать... — Это Илья Нетесов неуверенно подал голос от печки.

Михаил поморщился, как от зубной боли: ну, будет сейчас мокряди. Бабы откроют свои шлюзы — затопят собрание слезами.

Но, к его немалому удивлению, все молчали. Что такое? Подрезовской команды ждут? Или еще не раскачались?

Лицо у Анфисы сделалось белое-белое. Как снег. Да, это не шутка. Столько лет трубила-трубила, а на поверку оказалось, что у людей и доброго слова для тебя нет.

Кто-то сзади, кажись Александра-скотница, Трофима Лобанова дочь, зашептала беспокойно:

— Скажи, скажи, Михаил. Разве трудно тебе?

Сказать? А почему и не сказать? Можно сказать.

Он сложил руки ковшом, крикнул басовито:

— Голосуй! Все ясно. Сколько еще можно назад оглядываться.

Да, вот так он сказал. Он не Егорша. Это у того слово и камнем летит, и соловьем поет, а тут получи-

лось что надо. И ежели у какой бабы и было еще намерение повздыхать о прошлом, а заодно и Анфису Петровну добрым словом помянуть, то после его выкрика поворот на сто восемьдесят градусов. После его выкрика все потянулись глазами к новому председателю, потому что сообразили: с ним, с новым председателем, жить, из его рук кормиться.

А Михаил встал. Встал во весь рост и пошел на выход. Авось бабы сумеют проголосовать и без него. Зато Анфиса Петровна лишний раз увидит, кто ее срезал. Пускай посмотрит. Он не таится. Квиты! Ты мне насолила, жизнь разломала, и я не остался в долгу. Сполна рассчитался.

3

— Ну, ты выдал! Прямо под дыхало ей... — заговорил Петр Житов, спускаясь с крыльца.

Хлынувшие вслед за ним из клуба бабы едва не сбили его с ног. А когда выбрались на твердую, накатанную дорогу, дали волю своим языкам. Два черных говорливых ручья покатались от клуба.

— Вот оно когда, собрание-то, у них началось, — заметил Петр Житов.

К ним, попыхивая сигарками, подошли еще мужики: Иван Яковлев, Костя-атаман, Василий Иняхин.

Петр Житов в ознаменование наступления мужского царства в Пекашине предложил скинуться по тройку. Все предложение это приняли и без лишних разговоров двинулись к Марине-стрелехе, так сказать, на нейтральную территорию, где будут исключены всякие домашние помехи.

Михаил дошел с мужиками до правления и вдруг раздумал: завтра рано выезжать в Ручьи, а он еще и дома не был. Что там делается? В прошлый раз, как ни упрашивал его Евсей Мошкин, он не мог заставить себя заглянуть домой. Походил-походил вокруг да около и поехал в район: будь что будет, пускай под суд его отдадут, а он должен увидеть Варвару. Своими глазами. Ну а после этой вылазки в район ему и вовсе не до семьи было.

Да и вообще, думал Михаил, подходя к своему дому, можно было бы и сегодня не заходить. Пускай на своей шкуре испытают, что это такое — дрова из-под снега

добывать. Полезно! А то, когда за людей всё другие делают, хамеж у них развивается.

Войдя в заулоч со стороны задворок (враспloch хотелось нагряться), он все-таки заглянул в дровяник.

Дрова есть. Правда, мутовки. И сразу видно, кто добывал. Бабью работу по зарубу узнаешь — кряж со всех сторон изгрызен, будто и не топор в руках был. Может, только одна баба и умеет в Пекашине рубить по-мужицки — Анфиса Петровна...

«А ну ее к дьяволу! — выругался про себя Михаил. — Кой черт на память лезет!»

У крыльца он поскользнулся и едва не упал. Оказывается, у ребят почти впритык к крыльцу сделана ледяная горка.

— Чего смотрите? — заорал он, вламываясь в избу. Это относилось к матери и Лизке. — Те скоро с крыльца ездить будут. Через окошко влезать в дом?

Тут, бешено вращая разъяренными глазами, он увидел на своей койке ребят (сколько раз говорено: не спать на моей койке!) и раскричался еще пуще.

Хлебного в доме не было ни крошки. Михаил помял холодной картошки с капустой (корова не доила, самовар довели: труба протекает) и приказал, чтобы мать сняла с печи все валенки, какие там есть, а сам пошел в сени за ящиком, в котором хранился сапожный инструмент, потому что чертова семейка — ежели не положить как следует, всё растащат.

Мать накидала на середку избы целую кучу рвани: из овчины, из старых ватников, из отцовского суконного пиджака — в общем, собака знает, почему вся эта заваль, раскисшая, вонючая, называется валенками.

Он повертел в руках один чувяк, повертел другой и пришел в ужас: ничего не сделать за ночь. Нечего даже и приниматься.

— А эта чего сидит? — заорал Михаил, наткнувшись глазами на Лизку, которая все еще, с той самой поры, как он вошел в избу, сидела на прилавке у печи, облокотившись одной рукой о подпечек. И в пальтухе. — Может, не домой пришла — в гости?

— На собраньи была, — ответила за Лизку мать.

— На собраньи? В клубе? Вот-вот, тебя там только и не хватало. А еще, говорят, обутки нет. С чего же у вас обутка будет, коли вас в каждую дыру тянет! Ну что, — злорадно усмехнулся Михаил, — посмотрела, как

на председателей решку наводят? Вот так! Не копай другим яму.

— Это Анфиса-то Петровна яму копала? Кому? Бесовестные! «Анфисьюшка... родимушка ты наша... желанная...» Давно ли еще о празднике причитали, а тут воды в рот набрали... — Лиза всхлипнула.

Мать, вздохнув, сказала:

— Да уж, Анфиса помогала людям. Куска лишнего не съела... Я помню, раз на пожню пришла — как раз мы разобрались с едой. Ну, Грунька и говорит: «Давай-ко, председательша, угости нас своими колобками». А председательша достала колобки — никто и не позарился: тот же мох да древесина.

— То-то и оно, — заговорила опять, давась слезами, Лизка. — А могла бы и на муке замешать. А тут увидели этого Першина — в рот готовы ему смотреть. А Анфисы Петровны кабыть и нету.

— Першин тут ни при чем, — отрезал Михаил. — А об Мининой райком сказал ясно.

— И никакая она нам не Минина. Кабы не Анфиса Петровна, может, и нас-то сейчас на свете не было. Вот.

— Я говорю, после райкома у нас не принято говорить. Дошло?

— Ну и что, — не унималась Лизка, — то райком, а то люди. Райком сказал, и вы бы сказали. Спасибо, мол, Анфиса Петровна, за труды твои великие, за то, что с тобой все беды да напасти пережили...

Михаил с ехидством улыбнулся:

— Вот ты бы и сказала, раз такая смелая.

— И сказала бы! Да я думала, мужники сидят, с Ручьев нарочно вызваны, — скажут, не потеряли еще совсем совести.

— Дура! Люди жить хотят. Мало настрадались? За что тут благодарить? Ни пожрать, ни обушь! — Михаил бросил разъяренный взгляд на кучу валенок. — Ну и ясно — обрадовались: новый председатель будет. Чула, что сказал Подрезов? «Надо, говорит, кончать с бабьим царством. Пора, говорит, и у вас подвести черту под войной». Поняла? — Он зло постучал кулаком по своему лбу. — Черту под войной. Ясно?

— Ну и что, — по-прежнему продолжала твердить свое Лизка, — не отвалился бы язык, ежели бы и сказали,

— Да пойми ты, чертова кукла! — заорал вне себя Михаил. — Надоело людям — понимаешь? Сколько она говорила в войну: вот война кончится — заживем, вот война кончится — заживем. А как зажили? Где эта жизнь распрекрасная? Да, может, хоть теперь, с новым председателем, получше будет. Понятно тебе, о чем люди думают?

— Ну и что, она не виновата. Не она одна, все так думали...

Михаил трахнул валенком о пол (он таки взялся было за материн чувяк), заорал на всю избу:

— Гасите свет! Что еще за моду взяли — по ночам с огнем сидеть!

Свет погасили.

Мать сразу же убралась на печь, а Лизка, раздевшись, опять присела на прилавок и начала давить ему на психику, по-кошачьи сверля его из темноты своими зелеными глазами. Потом пустила в ход слезы — это уже лежала на печи. Вот, мол, словами не говорю — не придерешься, а все равно при своем осталась. Хоть убей, хоть на куски изрубни, а буду Анфису Петровну защищать.

Над головой, скрипя полатницами, ворочались ребята — эти всегда просыпаются, когда он начинает окуривать их снизу.

А может, Лизка и права, подумал вдруг Михаил. Может, и надо было спасибо сказать. Ведь все-таки, ежели рассудить по совести, заслужила. А почему ей спасибо? — резко возразил он себе. А почему ему никто не сказал за войну спасибо? Мало вкальвал? Нет, все-таки Анфиса Петровна сказала. На празднике. Крепко сказала. Да и вообще всегда его отмечала — не скупилась на похвальное слово.

И тут Михаил вспомнил то, что все время отодвигал в сторону. Раз, когда Илья Нетесов подал голос насчет того, чтобы поблагодарить Анфису Петровну, ему показалось, что Анфиса Петровна кого-то ищет глазами в зале. Может, его искала? К нему взывала: скажи, Михаил!

Малиновый окуроч прочертил избяную темень и зашипел в тазу под рукомойником.

Нет, голубушка, мысленно сказал Михаил и стиснул зубы. Ошиблась. Не по тому адресу обратилась. Ты суд

надо мной да над Варварой устроила, а я принародно в пояс тебе кланяться?

И опять эта мысль, которая должна была распалить в нем ненависть к Анфисе Петровне, неожиданно сменилась другой, прямо противоположной. А крепкий же она человек, подумал Михаил про Анфису. Весь вечер высидела. Как гвоздями прибита. Не дрогнула, не охнула...

Спать, спать, сказал он себе и круто повернулся на правый бок, к стене.

Лизка на печи все еще плакала.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

— Эхе-хе-эй! Нет ли тут у вас одного пекашинского чувака? Чё-чё? Нету? А почему ваши утушки — белые шейки? Чё? Непродажные? Но-но, прикройся! Пушай сами скажут. У нас, между прочим, равноправие...

Егорша побрел дальше. В одной руке веточка ивовая — от оводов, в другой — через плечо — пиджак. Не тяжелая ноша. А пот лил с него градом. И не только от жары.

В последние две недели он покачал в себя горючего. Сперва дома по случаю возвращения с курсов трактористов, потом в родном Заозерье на встретицах у дяди.

Вот тут они развернулись. Музыка — две гармони (его тальянка да дядин трофей со светлыми перламутровыми планками), закусь — баран на столе, а винцо, какое винцо! Не сучок, не табуретник доморощенный, а коньяк-виноград, злое солнышко. Дядя привез этого добра из Германии целую канистру, и сколько можно было бы еще заправляться, да Егорша сказал себе: стоп! Пора в район. Пора насчет работенки подходящей пошуровать, а то, чего доброго, и с правами за пень встанешь: ведь тракторов в районе покамест нету. Вот так он и попал из-за праздничного стола на райцентровский воскресник по сплаву.

Правда, его никто не неволил — он мог и день, и два отлеживаться на сеновале у начальника райтопа, старого знакомого по отцу. Да надо же соображать немножко! Голова-то день и поболит — не отвалится, а когда еще подвернется такой случай, чтобы все районное начальство было в сборе? И Егорша, не долго думая, — багор в руки, гармонь за плечо, да в первых рядах на

Выхтемскую косу, на самый боевой участок лесного фронта.

Проклятье, божье наказание для пинежан эта Выхтемская коса! Всегда на ней лес, какая бы вода в реке ни была. В маловодье — понятно: древесина садится на песок, и тут никакими бонами не спасешься. Но на ней, на этой косе, и в сырое лето не бывает безработицы. В сырое лето вода кругом разольется — мосты наставит в кустах да в низинах. Вот и выходит, что на Выхтемской косе всегда худо: и в дождь, и в вёдро.

— Эй! — закричал опять Егорша, поравнявшись с новой кучкой сплавщиков, на этот раз состоящей почти исключительно из мужиков и подростков. — Есть пекашинские?

— Нету. Дальше они.

Егорша посмотрел вдаль на крохотных человечков, бродивших посреди реки, и выругался.

Ах, олухи пекашинские! Не могли отвертеться. Загнажи-таки на Артюгину плешь, от которой еще в войну все, как от чумы, отпихивались. Потому что ревматизм тут верный. Негде обогреться и обсушиться, ежели сверху дождь. А в такую жару, как нынешняя, тоже не курорт. Сгоришь к чертовой матери. Шкура ключьями сползет. И поэтому раньше, в те годы, как делали? Требовали, чтобы кадровых рабочих на Артюгину плешь занаряжали. Неужели Мишка забыл про это?

Егорша еще не меньше полукилометра отшагал по жаре, по скрипучему, раскаленному песку, затем бросил пиджак на пружинистый куст ивняка, сполоснул лицо, прополоскал горло и только тогда, сложив руки ковшиком, прокричал на реку.

Мишка, по счастью, услышал сразу.

— Иду-у-у!

И вот уже отделилась от острова знакомая сутуловатая фигура — и тяп-тяп по песчаной отмели. И были видны белые, сверкающие на солнце ступни, и отсюда, с берега, казалось: человек идет по воде.

— Ты как Христос расхаживаешь, — сказал Егорша и, очень довольный этим неожиданным для самого себя сравнением, рассмеялся.

— Христос, мать его за ногу! — Михаил, выйдя из воды, с трудом разогнулся.

— Что, опять водяная болезнь?

— Да, замучили чирьи.

Они легли в тень под ивняк.

От Михаила пахло сырьем, прелой одеждой. Кожа на ногах, размытая водой, была белесо-розовая, дряблая. Он болезненно щурился и мигал. Это от солнца, от слепящего зеркала воды — чисто сплавная болезнь.

— Дозвольте доложить, — начал Егорша шутливо, но в то же время и не без гордости, — тракторист Суханов-Ставров вернулся с десятимесячных курсов. Вот моя книжица.

Он полез в один карман, полез в другой, и вдруг лицо его сделалось белым, как мука.

— Неужели я их где выронил?

— Чего выронил?

— Права! — закричал, зверея, Егорша и быстро-быстро начал разгружать карманы.

На песок полетели-посыпались разные вещи: светлая алюминиевая расческа, химический карандаш, две авторучки — Егорша любил при случае выдать себя за начальника, — паспорт, комсомольский билет...

— Вспомнил! Я их у дяди оставил. Ну да! Я еще, когда показывал, сказал тетке: убери подальше, тут моя жизнь. Чего ты губы в бок? Думаешь, заливаю? Потерять права — все равно что голову потерять. Так нам говорили на курсах.

— Егор-ша-а-а... — донесся издали женский голос.

Вялости и усталости у Егорши как не бывало. Он живо приподнялся на локоть, глянул вниз по реке.

Белый платок трепыхался в конце косы, под застругами. Потом еще один вскинулся.

— Мне сигналият, — сказал Егорша. — Роздых кончился, а бо начальство подошло, художественную часть требует. Я ведь знаешь как сюда? На одном плече багор, на другом гармонь. Сам Подрезов приказал: «Ты, говорит, Суханов, подъем перво-наперво мне обеспечить». Цени. Все бросил, а пошел друга разыскивать...

Егорша снова растянулся на песке, подмигнул с намеком:

— А голосок-то узнал?

— Какой голосок?

— Но-но, вбивай, Ерема, кривые гвозди. Гадюка! Все секретники... Мы с Дуняркой обхохотались тогда об этом деле. Я это вкатываюсь к ней насчет подкреп-

ленья — вдребезги с одним корешом прогорел, не на что в училище убраться, и вот Дунярка меня етим самым раз по кумполу: «А ты знаешь, говорит, что моя тетушка-то учудила? Первого пекашинского мужика захоронила».

— Как там наши? — спросил Михаил.

— Чего? Наши? Ты меня с фарватера не сбивай. Сперва предоставь полную отчетность. В смысле картошки дров поджарить... — Егорша хохотнул. — Я, между прочим, по дороге сюда спрашивал. Не отрицает...

— Был, говорю, у наших? — снова резко и нетерпеливо оборвал его Михаил.

Егорша старательно облизал пересохшие губы. Внутри у него все кипело и клокотало. Кто они, в конце концов, с Мишкой? Друзья? Или первые встречные-поперечные? Он, Егорша, ради друга все бросил, на жару махнул, а тут пришел — и дверь на замке. Подумаешь, важная государственная тайна — с бабой переспал. Но Егорша сдержался и ответил спокойно, даже с потугой на остроту:

— А чего наши... Все пока кверху головой.

— Мне ничего не наказывали?

— А как им наказывать? Я ведь нынче через Заозерье трассу в райцентр пролагал...

— Значит, и Першина не видел?

— Видел. Но, между прочим, тебе привета не передавал.

— А на кой черт мне его привет?

— Не скажи. Председатель!

— Он лучше бы, гад, замену мне давал. На две недели послал сюда, а сегодня у нас какое?

— А чего тебе? Живи. Думаешь, кисельные берега ждут тебя дома?

Михаил не ответил. Он смотрел за реку, на пестрый луг, по которому медленно со стрекотом ползала конная косилка.

Так вот в чем дело, догадался Егорша. Пожня, сенокос у него на уме. И бесполезно теперь о чем-либо с ним толковать. Не поймет, не услышит. Как глухарь на токовище.

И Егорше, пожалуй впервые за много-много лет их дружбы, вдруг стало скучно и неинтересно со своим приятелем.

Ребята звон подняли на всю улицу:

— Миша, Миша пришел!

А мать-то, мать-то обрадовалась! Слезой умылась, встречая его у крыльца.

И только Лизка все сразу поняла, все уразумела.

— Ладно и сделал, что ушел. Как не уйти! Бывало, об эту пору какие зароды стояли, а нынче что?

Он сел на нижнюю ступеньку крыльца, так, чтобы голова оказалась в тени, а если бы ему сейчас приказали забраться на крыльцо, то еще неизвестно, как бы это у него получилось.

Тридцать километров отшагал он по жаре, да с чирьями на теле, да босиком — вдребезги разбил, искровенил ноги. Нельзя, ни в коем случае нельзя было отправляться босиком в такую дорогу после двухнедельного брожения в воде.

Но, по правде говоря, он не столько переживал сейчас из-за ног, сколько из-за сапог. Ноги — что. На ногах новая кожа вырастет, а вот на сапогах не вырастет. Сапоги съела Выхтема. По существу, только голенища он и принес в корзине, а головки сгнили, сопрели от жары и сырости.

Михаилу стало немного полегче, когда Лизка принесла тазик с холодной водой и помогла ему вымыть ноги. Затем на сбитые, израненные места она положила свежий подошник и обмотала ступни ветошью.

Первую и самую главную новость выложила Татьяна.

— Муки-то нам не дали, — сказала она сердито.

Оказывается, на днях тем, кто едет на дальний сенокос, правление выписало по три килограмма ячменной муки, а им ни шиша. Почему?

— Вот то-то и оно, что почему, — заговорила Лизка. — Я уж ему, борову, вчера доказывала.

— Кому? Председателю?

— Ну. Нарочно ходила в правленье. Мама наша разве пойдет. Что, говорю, у нас разве Михаил-то не поедет на пожню? Всю страду будешь держать у реки? «А когда поедет, тогда и получит». А мы, говорю, с мамой не робим? Я три года телят обряжаю. Да пропади они пропадом и телята, говорю, коли на то пошло. А тут как раз в контору Павел Клевакин вошел — только что

с Германии приехал. Добра, говорят, всякого воз целый привез. Ну и вот: получай, Павел, пятнадцать килограмм муки. Тот даже и не просил. Почто, спрашиваю, так? «А пото, что закон такой есть. Полагается. Всем, кто с войны возвращается, мука положена». Ну, тут я и слова сказать не могу. Залилась слезами. Какой же это закон, думаю! У нас папа жизнь положил, а нам ни зернышка, а тут здоровый мужик к семье вернулся, да ему же еще и мука...

— Ладно,— сказал Михаил. — Чего впустую кулаками размахивать.

— Да ведь как не размахивать,— возразила Лизка, ширкая носом.— Он, дьявол, на нас взъелся — житья нету. А из-за чего? Что мы ему исделали? Три человека в колхозе робят — ну-ко, много ли таких домов в Пешкине?

Тут Лизка немного покривила душой. На самом-то деле она знала, из-за чего взъелся на них председатель.

Из-за критики. Из-за того, что он, Михаил, против шерсти погладил Першина.

Дело было нынешней весной. Михаил в числе первых выехал из лесу на посевную. Выехали с радостью, с надеждой: ну-ко, новый председатель, покажем, как надо настоящий урожай с весны закладывать.

И вот тут-то вдруг выясняется: в колхозе нет семян. Семена наполовину скормлены лошадям в лесу.

Орали, кричали много, из района приезжало начальство, а что толку? Ответил за это Першин?

«За неправильное использование семенного фонда председателю т. Першину поставить на вид».

«За успешное выполнение плана вывозки леса объявить товарищу Першину Д. П. благодарность с вручением денежной премии в сумме 1500 рублей».

Да, такое вот вышло решение. Михаил сам обе бумаги читал. И что же после этого удивляться, что Першин залютовал, начал на каждом шагу прижимать тех, кто хотел спросить с него за семена?

Больше всего Михаилу хотелось сейчас забраться на поветь да отлежаться в холоде на траве, да потом — в баню, на полоч. И все это нетрудно бы сделать, все в своих силах: поветь рядом, баню — стоит только сказать — мигом затопят.

Но он посидел-посидел на крыльце и побрел в контору. Черт его знает, что там теперь делает Першин.

Может, пока он тут расслаивает, Першин уже все прохода оборвал, с милицией его разыскивает. Такой у них председатель. Ему ты на мозоль наступил, а он тебе за это ногу рвет напрочь.

3

Все вышло так, как думал Михаил. Правда, через милицию Першин его не разыскивал, во всяком случае при нем не заводил речь об этом, а все остальное — точь-в-точь, тютелька в тютельку.

— Ты откуда это сбежал, а? Ты чего бросил, понимаешь? Лесной фронт — так говорю? А знаешь ли ты, как у нас с теми поступают, кто с фронта дезертирует?..

Да, вот так, на таких базах начал разговаривать с ним Першин.

И что ты ему скажешь, что возразишь? Верно, и чирьи замучили, и обещание с его стороны насчет замены было, а все-таки факт остается фактом: самовольно, без разрешения ушел со сплава, а ежели все ставить точки над «и», то и так сказать можно: дезертировал.

И вот в эту самую минуту — подмога. И от кого же? От Анфисы Петровны.

Когда, откуда она вошла в контору — с улицы, из бухгалтерской, — он не заметил. А услышал вдруг голос возле себя, радостный-радостный:

— Михаил, ты? Ну какой ты молодец! А я уж думала — без тебя нам нынче на пожню ехать.

— Так и будет — без него! — сказал Першин. — А я его знаешь куда отправлю? На казенные сухари.

— Куда? На какие сухари?

— А ты как думала? Человек со сплава удрал...

— Не плети чего не надо. Удрал... Где это слыхано, чтобы со сплава на пожню удирали! Умному человеку скажи — засмеет. А ты скотину-то думаешь, нет зимой кормить? Да председатель ты или начальник сплавконторы?

И тут Михаил вздохнул: Першин вцепился в Анфису Петровну. Можно сказать, с радостью вцепился, потому что если он, Михаил, и еще кое-кто и суют палки ему в колеса, то Анфиса Петровна сует целое бревно. Это она, Анфиса Петровна, схватилась с Першиным на правлении из-за семян, а он, Михаил, да Петр Житов,

если говорить правду, только облай со стороны вели. Да и по всем остальным вопросам кто всегда режется с Першиным? Анфиса Петровна.

Михаил постоял минут пять, спокойно и невозмутимо наблюдая за сражением со стороны, и вышел из конторы: крепко, всеми зубами увяз Першин в Анфисе Петровне, и теперь ему не до него.

Пока стоял в правлении, Михаил ни разу не подумал о своих ногах, а сейчас — только ступил на твердую, жаркую землю — покачнулся от боли. Великую глупость сотворил он, что сорвал повязки с больных ног. Сорвал, когда уже входил в контору. Потому что подумал: а вдруг Першин, взглянув на его обвязанные ноги, скажет что-нибудь в том смысле, что будет, мол, тебе сироту-то разыгрывать. Знаем этот приемчик — давить на жалость.

В знойном воздухе пахло дымом, гарью — не иначе как кто-то затопил баню. А может, лес где-то поблизости горит? Должны быть лесные пожары в этом году. Сухая молния часто палит по горизонту над лесным обводьем.

Все же он выдержал: и заулоч правления, и угорышек перед медпунктом, и дорогу от лавки до клуба прошел не ахнув, не охнув. Не дал поторжествовать Першину, ежели бы тот, к примеру, вздумал выглянуть в окошко: вот, мол, какого страху я на него нагнал, идет — и на улице качается.

Зато у клуба шабаш — сел на ступеньку крыльца. Хорошо тут. Тень, травка зеленая. И — ах — приятно бедным ногам! Как в воду опустились.

Да, подумал с издевкой о себе Михаил, храбро ты прошел под окошками правления. Выдержал марку. А подлец, все равно подлец! Анфиса Петровна, выручая тебя, можно сказать, на пулемет, на амбразуру бросилась, а ты? А ты, как самый распоследний негодяй, — драпать. Нашел время счеты сводить.

И вот еще из-за чего было погано у него сейчас на душе. Из-за того, что надул Анфису Петровну. Ведь как Анфиса Петровна всю эту историю с его возвратом домой приняла? А так, как сказала. Что вот, дескать, подошла страда, и Михаил не подвел. Все бросил: и заработок бросил, и пайку хлебную бросил, а на сенокос пришел. Моей, мол, человек выучки. За колхоз болеет.

А разве это так? Разве сенокос у него на уме был, когда он удирал со сплава?

То есть, конечно, он и о сенокосе думал. Особенно в последнее время, когда за рекой, напротив Артюгиной плещи, начали косить. А как не думать? Кто за него нароет сена для Звездони? Но удирал-то он все-таки не из-за сенокоса, а из-за Варвары.

Зимой он целый день выстоял на морозе напротив милиции, где, как он узнал, Варвара работала уборщицей. Можно сказать, жизнь свою на кон ставил, в решку играл, потому что разговор мог быть коротким: и сам с Ручьев удрал, и лошадь угнал. И все ради нее. Все ради того, чтобы увидеть ее, чтобы она сама, своими губами сказала, из-за чего ихнюю любовь порушила.

Сказала: «Не срами меня. Я не девчонка, чтобы меня на улице иметь. У меня муж есть». И пошла, за-поскрипывала новыми валенками, а то, что еще месяц назад чуть ли не волосы на себе рвала: «Мишка, Мишенька, скажи: неужели разлюбишь меня?» — это не в счет. Это так, пустяки, вроде художественной части.

И вот, когда Егорша ему намекнул, что тут, у реки, Варвара, Михаил понял: надо удирать. Немедленно удирать. Потому что невозможно угадать, что взбредет в голову Варваре. А вдруг она захочет сделать из него олуха? Для собственного удовольствия, на потеху районной публике. И сделает. Не постесняется. А это выше его сил. На все согласен, все готов перетерпеть ради нее! И скажи она, к примеру: «Мишка, докажи, что любишь, — оттяпай свой пальчик». На, пожалуйста. Любой, на выбор. Но быть посмешищем — нет. Никогда! Даже если бы этого хотела она, Варвара...

4

Кто-то кашлянул или чихнул поблизости.

Михаил поднял голову и увидел своих двойнят. Петька и Гришка робко, вполглаза поглядывали на него из-за некрашенной трибуны, с которой говорили речи в первомайские и октябрьские праздники, и заискивающе улыбались.

— Чего тут делаете? — спросил Михаил.

— Ничего. Мы так.

— Как так? Где были?

Двойнята замялись. Врать они не умели совершенно, но в то же время им и правду говорить не хотелось. В конце концов они признались: сидели на бревнах в заулке правления.

— В заулке? — удивился Михаил. — Как же я вас не видел? А вы меня видели?

— Видели.

И тут Михаил понял, что они ожидали его. Боялись, как бы с ним чего не случилось. А кроме того, соскучились. В первые дни после его возвращения из лесу или со сплава двойнята ни на шаг от него — это завсегда.

— Ну, чего стоите? Идите сюда.

Ободренные его улыбкой, ребята подошли к крыльцу. Михаил потрепал того и другого по голове.

— Рыбу-то нынче удите?

— Не. Не клюет. Вода цветет.

— Худо дело.

— А у нас махра есть, — сказали ребята.

— Махра? Какая махра?

— Курить котору.

Михаил, ничего не понимая, развернул газетный кулечек, который протянули ему братья, и верно: махорка, самая настоящая махорка.

— Откуда она у вас? Вы не курить ли у меня вздумали?

— Не. Это Егорша, когда у нас пьяный был, Лиза попросила. Отсыпь, говорит, немножко для Михаила. Не жадничай. Вот Егорша и отсыпал.

— Это вы хорошо с Лизкой придумали. Молодцы! — сказал Михаил.

Последнюю сигарку он выкурил на Марьиных лугах часа четыре назад, не меньше. И если говорить начистоту, то непредвиденное бегство с Выхтемы, пожалуй, дороже всего ему обошлось по табачной линии. Ибо стоило ему дожидаться сегодняшнего вечера, и он получил бы целую пачку махры — сплавной паек за неделю.

Трудно сказать, сигарка ли выкуренная взбодрила его, или немного полегче стало ногам в прохладной траве, или, наконец, жара не так давила теперь, под вечер, но Михаил, ковыляя домой, уже не морщился, не кусал губы на каждом шагу. Да и на душе у него поспокойнее стало. И скоро мысли и заботы пошли по привычному кругу.

Он начал думать об обулке, о том, что надо срочно где-то разжиться новой косой (старая в прошлом году лопнула), о харчах и хлебах — в общем, обо всем том, что связано с выездом на сенокос.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Странное, необычное то было лето.

Кругом горели леса, деревни по неделям не вылезали из дыма — точь-в-точь как в войну, когда бомбили Архангельск и его пригороды. Люди измучились, мотаясь по пожарам. Только потушили один пожар, взялись за косы — нá, опять нарочный скачет. А на поже не развеселишься. Хлещешь, хлещешь косой, бегаешь, бегаешь с граблями — а где сено?

Жара. Сушь. На болотах журавль кричит от безводья, скотина замаялась от гнуса...

И, однако же, шальная гульба захлестывала деревни в то лето — возвращались фронтовики. Правда, не густо, не теми косяками, какими уходили на войну. Но возвращались.

И была радость у людей. Были свадьбы и скороспелая любовь на лету.

И были плачи великие. От земли до неба. По тем, кто не вернулся с войны...

2

Весной и летом за последние годы Пряслиных выручала Пинега. Петька и Гришка редкий день не приносили рыбешки на латку — на две, а если еще похвалить, готовы сидеть у реки с утра до ночи.

Нынешним летом рыбки не поели. На ямы да на заструги забилась от жары рыба. Лес тоже подвел. Ни гриба, ни ягоды не видали за все лето. И, наконец, Звездоня, их главная кормилица. Раньше возвращается из поскотины — как баржа плывет, задние ноги распирает от вымени. А нынче скоком, порожняком бежит домой, спасаясь от гнуса.

Егорша, как и в прошлом году, подбивал Михаила:

— Перебирайся в леспромхоз! Сообрази, что будет: вся Россия горит на корню. Хочешь, помогу? Я ведь теперь — охо-хо! — на одной подушке с Подрезовым сижу...

Да, Егорша мог замолвить словечко — шоферил в райкоме. Сумел устроиться сукин сын!

Его товарищи, те, что были с ним на курсах, — «лучок» в руки и снова к пню. А что же еще делать, раз трактора в район не завезли? А Егорша — нет. Егорша потолкался с недельку в райцентре, все разнюхал, выведал, тому зубы заговорил, этому заговорил — сел на райкомовскую легковуху. И пошла писать губерния. Куда ни заехал, куда ни заявился — первый человек. Председатели колхозов на задних лапах перед ним, потому что пес его знает, что он напоет хозяину, когда останется с ним с глазу на глаз.

Соблазн от Егоршиних слов был велик, и на первых порах Михаил воспрянул: наконец-то и он на фарватер выплывет. Уродилось, не уродилось на полях — твое дело маленькое. Пайка тебе обеспечена.

Но так говорил он себе поначалу, сгоряча. А затем, спокойно пораскинув умом, започесывал затылок. Нет, не так-то просто, оказывается, отчалить ему от колхозного берега. И дело не только в нем самом. А как быть со Звездоней? Ведь если он перейдет в леспромхоз, значит, прощай и Звездоня. Мать со Степаном Андреевичем в лучшем случае за страду два копыта вытянут, а остальные два кто? Вот ведь какая нынче золотая коровушка! А без коровы тоже не житье — зачахнут ребята.

— Ну, мое дело предложить, — сказал Егорша. — А ежели тебе ни хрена, кроме рогатки, на горизонте не маячит, то я не виноват.

3

Однажды — был уже конец августа — райкомовская легковуха подкатила к самому дому Пряслиных. Лихо подкатила. С посвистами.

Ребятишки — Пряслины как раз ужинали — пулей вылетели из-за стола.

— Привет от пинежских чухарей!¹ — бодро сказал Егорша, входя в избу. Постоял под порогом, цыкнул

¹ Чухарь — местное название глухаря.

слюной и вдруг со всего маха бросил на серединку избы глухаря.

Анна ахнула:

— Что ты, Егорша! Ты бы хоть старика своего накормил.

— Хватит и старику. Пинежские леса, между прочим, большие.

— Это ты сам застрелил? — спросила Лизка, переводя удивленный взгляд с краснобровой птицы на Егоршу.

— А то дядя... У меня и с а м неплохо теперь стреляет. Втянул я его в это дело на свою беду. Бывало, всю дорогу храпит, а теперь только и зыркает по сторонам. С громом ездим.

С улицы раздался гудок. Егорша подошел к окошку, погрозил кулаком ребятам, облепившим машину. Затем, подсаживаясь к Михаилу, покровительственно сказал:

— Ну что, коля,— это на Егоршином языке означало: кореш, приятель,— все в разрезе колхозного сектора думаем?

— А иди ты... — выругался Михаил.

Егорша захохотал.

— Между прочим, гостя иначе встречают. Ладно уж, знаю, что у тебя ни хрена нету.— И вытащил из кармана поллитровку.

— Ох, Егорша, Егорша,— вздохнула Анна,— сопьешься ты на этой работе.

— А сельсовет-то мне на что даден? — Егорша грязным, промасленным пальцем постукал себя по лбу.— В этом чемодане, между прочим, не все опилки.

Он подмигнул Михаилу, ловким ударом разрядил бутылку.

— Вот что, братиша,— сказал Егорша и вдруг принял серьезный вид.— Давай выпьем за нового бригадира.

— За какого бригадира?

— А есть такой дурулом в Пекашине. Бревно лежачее.

— Давай ты без загадок...

— Патрет не ясный? Автобиография требуется? Могу. Год рождения одна тысяча девятьсот двадцать восемь, русский, семейное положение...

— Чего?

— А, узнаешь?

— С кем это ты надумал?

— Хо, с кем... Сообрази! Мы теперь кое-что значим. Я тут как-то подсчитал. Знаешь, сколько я в этом месяце заседал с Подрезовым? А больше всех членов бюро райкома вместе взятых. Не веришь?

— Верим, верим,— ответила за брата Лизка.— Дальше-то что?

Егорша опрокинул в рот стопку, поморщился, сплюнул.

— В общем, так, коля: завтра принимаешь бригаду.

— Мама, мама,— весело рассмеялась Лизка.— Чувешь, что тот наворачивает? Нашего Михаила на бригаду ставит.

— Чую,— отозвалась Анна от печи.— А председателя-то, Егорша, менять не будешь?

— Верно, мама,— поддакнула Лизка и опять рассмеялась:— Уж коли ты такой большой начальник, то председателя-то в первую очередь менять надо. Слыхал, что люди говорят? Все Анфису Петровну вспоминают.

— Да, не мешало бы,— с ухмылкой протянул Михаил.

Егорша петухом вскинул голову, встал:

— Поехали! Я тебе докажу, что земля имеет форму чемодана.

— Не выдумывай!— строго прикрикнула на него Лизка.— Я-то ведь знаю, какие у тебя чемоданы на уме. Опять рюмки собирать по деревне.

Михаил заколебался. На вечер у него была работа: он еще утром договорился с Ильей Нетесовым, что после обеда приедет в кузницу подтягивать болты и гайки у жатки (сушь, камень на поле— жатка скачет, как худая телега). Но, с другой стороны, когда еще зайвится в деревню Егорша? А ведь у него, если честно говорить, только и веселья, когда приезжает Егорша. И потом— какого дьявола— имеет он право хоть один-то вечер за всю страду побездельничать? Почему у Егорши могут быть выходные, а у него нет?

По улице только что прогнали колхозное стадо, и густая пыль стояла на дороге.

Егорша, спускаясь с крыльца, пронзительно свистнул— два пальца в рот. Ребяшня— со всего околотка сбежалась к машине— сыпанула по сторонам.

— Ну, как поедет? С ветерком?— спросил Егорша.— У меня с а м другой езды не признает.

— Можно,— сказал Михаил, плюхаясь на переднее сиденье рядом с ним.

Газик развернулся, взвыл, но тут на дороге показалась Уля-почтальонша.

— Егорша, Егорша! — замахала она обеими руками.

— Ну, чего тебе? — заорал Егорша, высовываясь из-за дверцы.

— Из райкома звонили. Срочно велено ехать. Чтобы сейчас же.

— Да,— присвистнул Егорша,— вот наша шоферская жизнь! Это не иначе Подрезов на охоту надумал. Без меня не поедет. — Он сказал это не без гордости.

Михаил вылез из машины. Ну и хорошо, что так все кончилось. По крайней мере он хоть Илью Нетесова не подведет. И он, не оглядываясь, пошагал в кузницу.

— Ничего, коля,— крикнул ему вдогонку Егорша,— мы свое возьмем! Будет праздник и на нашей улице!

4

К Егоршиным выходкам у Пряслиных привыкли — каждый раз что-нибудь отмочит,— и потому на другой день никто даже и не вспомнил, что он тут трепал накануне.

Но, оказывается, иногда и Егорша говорит правду. Вечером Михаила вызвали в колхозную контору, и Денис Першин объявил: назначаешься бригадиром.

— Ну как,— спросил он, заметно бледнея, словно для того, чтобы подчеркнуть важность момента,— справишься? Найдешь общий язык с народом?

— А чего его находить? Я покуда еще по-русски говорю.

— Валяй, Пряслин! — Першин взмахнул кулаком. — Покажем, на что способна советская молодежь. — Опять взмахнул кулаком. — Партия тебе доверяет...

И пошел чесать языком — про эпоху, про восстановительный период, про кадры. Как будто с трибуны высказывается. А ведь было время, и совсем недавно, каких-нибудь полгода назад, нравилась, очень нравилась Михаилу першинская речистость. Зимой, бывало, приедет на Ручьи да как начнет про международную политику выкладывать — комиссар! Кино не надо смотреть. И эх, думалось радостно, с этим-то мы рванем!

Этот не чета Анфисе Петровне. Этот нас выведет на светлые рубежи.

Михаил так и ушел из конторы, не сказав ни да, ни нет.

Разговор настоящий начался дома.

Лизка, та, ни секунды не колеблясь, высказалась за.

— Соглашаться надо. Худо ли: при доме будешь.

— Да уж знамо дело...— сказала мать. И хотя сказала, по своему обыкновению, уклончиво, без нажима (ты хозяин, тебе решать), а гнула-то в ту же сторону, что и Лизка.

Понять Лизку и мать было нетрудно. Год предстоял тяжелый. На трудодни, раз на юге засуха, едва ли что дадут. Грибов да ягод не запасли — все лето пустой лес. Как жить? А ежели он, Михаил, останется дома, все-таки будет полегче. Скорее что-нибудь из того же колхоза перепадет. Вот что было на уме у Лизки и матери. Да и малые, наверно, так же думали. Петька и Гришка глаз не сводили с него.

— А как же с деньгами? — спросил, помолчав, Михаил. — Колхозные палочки в налог не берут.

— Как с деньгами? — живо возразила Лизка. — Я поеду.

— Куда поедешь? В лес?

— А что? Люди же ездят.

— Люди! — Михаил с досады махнул рукой. — Молчи уж лучше. Первым суком задавит.

Лизка надулась: в самое больное место попали — не везет с ростом; но раз уж она что забрала себе в голову, доведет до конца.

— Ты думаешь, с телятами-то легче валандаться? Охо! Одной воды сколько надо перетаскать — руки оторвешь. А дрова-то? Сколько я раз ездила в эту зиму, мама?

— Ездила, — кивнула мать.

— Не пугай, не пугай лесом, Михаил Иванович. Видали! — сказала Лизка и оскорбленно поджала губы.

А может, и в самом деле это выход? — заколебался Михаил. Какие-то бабешки каждую зиму в лесу путаются — неужели она хуже их?

— Ну а ты что присоветуешь? — спросил он, улыбаясь, у Федьки.

Все прыснули со смеха. Дело было решено.

За свои шестнадцать лет Лизка немало натоптала верст. Но все дороги и дорожки, исхоженные ею до этого, в тот же день приводили ее домой. А нынешняя дорога была иная. Нынешняя дорога уводила ее от дому. И не на день, не на два, а на месяцы. И, тихо покачиваясь на телеге сзади брата, она задумчиво смотрела по сторонам. А смотреть-то было не на что. Потому что как ни смотри, а, кроме сосен да елей, ничего не вымотришь.

Только раз, когда они спустились в ручей, Лизка не на шутку разволновалась. По берегам ручья росла трава — высокий, пожелтевший от заморозков пырей, и она подумала, что хорошо бы было эту траву скосить для Звездони. Ведь где только они не собирали этим летом траву, а тут вон сколько ее пропадает. И, подумав так, она опять перенеслась мыслями домой, вспомнила мать, зареванную Татьянку, вспомнила босоногих братишек. Петька и Гришка все утро не сводили с нее своих преданных и ласковых глаз, а потом, когда пришло время прощаться, зарыдали навзрыд и, как она ни уговаривала их, как ни кричал на них Михаил, гнались за телегой до самой Синельги — босые, посиневшие от холода.

— Не замерзла? — спросил Михаил.

— С чего? — ответила Лизка и сглотнула слезы.

— Скоро приедем. Три версты осталось.

Лошадь повернула налево, телега запрыгала по корневикам.

Вскоре они выехали к речке, и Лизка увидела на той стороне крутую красную щелью, а на щелью — белые бараки.

— Это не Сотюга? — спросила она, вытягивая шею.

— Сотюга.

— Прямо деревня целая.

— Ну хоть не деревня, а лесопункт большой. Тут теперь лес валят без передышки, круглый год. А вот дорогу большую сделают — трактора завезут. Первый механизированный лесопункт в районе будет.

— А Егорша-то как же? — спросила, помолчав, Лизка. — На тракториста учился — поедет сейгод в лес?

— Не знаю,—сквозь зубы промычал Михаил. — А тебе-то что, не все равно?

— Да мне что. Я так.

Выехав из еловой гущи, Михаил остановил лошадь, слез с телеги. Постоял, поглядел вокруг, потом свернул в сторону и начал рубить сосну.

Лизка ничего не понимала. Зачем ему эта сосна? Чем не угодило дерево — в стороне стоит? Или замерз, погреться решил?

Все разъяснилось, когда брат свалил сосну.

— Иди сюда со своим топором! — крикнул он ей.

И вот тут она догадалась: ее учить хочет,

Она вся вспыхнула:

— Я не знаю, ты со мной как с маленькой. Не в городе выросла. В лесу.

— Ладно-ладно. Потом будешь разговаривать.

Пришлось подчиниться. Она достала из-под сена, со дна телеги, свой топорик, аккуратный, с новым топорischem — любо в руки взять, брат специально для нее сделал, — и, подойдя к лежащему дереву, рубанула по суку.

— По погону, по погону руби, — подсказывал Михаил.

— Вдоль?

— Да. И топор к стволу прижимай. Не оставляй мутовок.

Лизка дошла до вершины сосны и заодно и вершину обрубилa.

— Ну, как? — спросила она, шумно дыша. — Годяво?

— Пойдет, — сказал Михаил и поощряюще улыбнулся. — Знатный лесоруб из тебя получится.

После этого они быстро доехали до колхозного участка.

Место невеселое. Стоит изба в низине у ручья, большая, приземистая, а кругом ели мохнатые — шумят, качаются на ветру.

— Вот это и есть наши Ручьи, — сказал Михаил, когда они подъехали к бараку. — Здесь, на Ручьях, мы с Егоршей фронт держали. — Затем, прыгнув с телеги, стал объяснять ей, какая из построек баня, какая кухня, какая сушилка.

С треском растворилась дверь. Из барака вышел Ан-типа Постников, заспанный, с всклокоченной рыжей бороденкой. Покосился насмешливо на Лизку, зевнул:

— А, подмога приехала. Ну, теперь пойдет дело. Михаил вскипел, рот у него передернуло:

— Ладно, иди, куда пошел. Тоже мне стахановец. Опять нары давишь.

А Лизке так стыдно стало за себя перед братом, что она готова была сквозь землю провалиться.

Вошли в барак. Сыро, нетоплено. Застоялый чад самосада. В одном окне торчит клок сена. Стекла вздрагивают от ветра.

Михаил обошел нары — сплошной дощатый настил вдоль стен, — остановился возле печи.

— Иди сюда. Здесь будешь спать.

— Да тут кто-то уже поселился, — сказала Лизка, разглядывая то место, на которое указал брат. — Давай где свободно.

— А ничего. Попросим!

Она понимала, почему брат хочет устроить ее возле печи. Тут теплее и в стороне. Но ей не хотелось начинать свою новую жизнь с ругани и ссоры с людьми, и она стала упрашивать его:

— Не надо, Миша. Смотри, еще сколько свободного места.

— Черта с два! — вдруг ожесточился Михаил. — Я с четырнадцати лет здесь сплю. Сам барак строил. Имею я право на это место?

И он не послушался, сделал по-своему: свернул чужую постель, переложил на другое место.

Они занесли ее пожитки: старую плетенку из бересты, ту самую, с которой раньше ездил в лес Михаил, мешок с картошкой, набили сенник для спанья, застлали постель.

— Печь тут топят на ночь, когда из лесу приходят, — объяснил Михаил. — А можно и сейчас. Затопить?

— Не надо. Успеется.

Михаил, подняв глаза к черному, закоптелому потолку, сказал:

— Ну тогда все. Давай еще посидим на прощанье.

И они сели: он на скамейку к длинному, во весь барак, столу на крестовинах, а она напротив него на краешек нар.

Михаил закурил.

— Ты овцой-то не будь. Наготове зубы держи. Со здешней публикой иначе нельзя...

Лизка слушала наставления, кивала в ответ и не сводила глаз с красного уголька сигарки. Вот скоро догорит сигарка, и брат встанет, а она останется одна...

Но еще раньше, чем догорела сигарка, в барак вошел старик Постников, и Михаил поднялся.

На улице шел снег. Первый снег в этом году. Ели стонали, охали.

— Дорогу-то домой не забыла? — пошутил Михаил. — А то засыплет снегом — и не найдешь.

И тут Лизка не выдержала — обхватила брата руками, расплакалась.

— Ну, ну... Сама напросилась...

— Да я не о том. Я вспомнила, как ты дорогой-то меня сучки обрубать учил. И топорик исделал...

Михаил вскочил на телегу, круто завернул лошадь.

Оглянулся он назад, когда въехал в гору. Лизка все еще стояла у барака — маленький черный пенек, — и снег густыми хлопьями засыпал ее сверху.

2

— Отвез сестру? — спросил конюх и сам, по своей охоте кинулся распрягать коня.

Михаил закоченел совершенно. Мокрый снег, на открытых местах ветер-зубодер, и вдобавок еще конь захромал — всю дорогу тащился как улита. Но о доме и думать не смей. Иди в правление. Оказывается, за ним уже два раза прибегали сюда, на конюшню.

— А чего им надо? Разве я не говорил, куда еду?

— Да, вишь, с обозом с этим, красным, несработка вышла, — вздохнул конюх. — Одну подводку вернули.

— Вернули? — Михаил крупно выругался.

Он предупреждал Першина, и колхозники предупреждали: зерно сырое, прямо с молотилки — надо просушить. Нет, ногами затопал, глазами завзводил: везите! Да еще красные флаги на подводах приказал выбросить: вот, дескать, как я первую заповедь выполняю. Но, по правде сказать, Михаил даже рад был, что все так обернулось. Возни, конечно, с этим зерном будет немало, да зато того, шалопутного, проучили.

Вечерело. Свежий снег пружинисто скрипел под подошвами. По привычке он посмотрел на телятник. Бывало, по пути в правление он любил заглядывать

к Лизке. А теперь не заглянешь. Что она делает сейчас, сию минуту?

Он всю дорогу не мог простить себе, что не затопил печь. Все-таки ей веселее было бы остаться у огня. А то завез в нетопленный барак, бросил и укатил. Как в той сказке, где отец по наущению злой мачехи завозит в холодный лес свою злосчастную дочку.

Около клуба Михаил обогнал Луку Пронина. Идет, крихтит с мешком на спине. Затем, недалеко от сельповского магазина, обогнал еще трех мешочников: одного старика и двух баб. И с нижнего конца деревни к складу сельпо тоже подходили люди с мешками. Налогоплательщики. Тащат ячмень и картошку со своих приусадебных участков. Так всегда бывает осенью перед выездом в лес.

В колхозной конторе принимали мясо. Самый тяжелый налог для мужика. Тех, у кого была корова, выручал теленок, а бескоровникам как быть? А бескоровников в деревне не меньше половины. И вот по тридцать, по сорок рубликов за килограмм платили. Своему же брату колхознику, тем, у кого оставался лишек от теленка.

Михаил посочувствовал в душе Ивану Яковлеву — это он сейчас был в работе. Обложили беднягу с трех сторон: спереди — уполномоченный райкома, с флангов — Денис Першин и учитель Озеров, парторг, бледный с непривычки, и еще Ося-чахоточный, налоговый агент, тоже клюет в большое темечко.

Иван и так, и эдак: один лаз попробовал, другой — крепко зажали, не выскочишь.

— Даю тебе два дня, — объявил последнее решение уполномоченный. — Не уплатишь — пеняй на себя. Опишем имущество.

— А есть такой закон? — спросил Иван Яковлев.

— Есть.

— Ну нет, товарищ Черемный, это ты малость призагнул. Теперича не прежние времена. Это старики, бывалось, рассказывали...

— Не призагнул. А язык советую попривернуть. Лучше спать будешь. Давай следующего.

— Иняхин Павел! — выкрикнул по списку Ося-агент и навел свои железные очки на двери.

— Павел, тебя... — раздались голоса в коридоре.

Мимо Михаила — он стоял у дверей, — шумно прочищая легкие от махорочного дыма, прошел Павел Иняхин.

— Здравствуйте, товарищи...

Иван Яковлев поднялся с правешней табуретки, кулаки сжал — аж хруст пошел по правлению. Но что тут делать ему со своими кувалдами? Не на войне. Так и понес, не разжимая, на выход.

У Михаила прошел запал срезаться с председателем, и, когда Першин начал снимать с него стружку — забыл, сукин сын, кто виноват! — он только перекатывал на лбу кожу да косил глаз в сторону уполномоченного: скоро ли тот трахнет по нему из своей крупнокалиберки?

А трахнет обязательно, думал он. Не может не трахнуть, потому что он, Михаил, тоже значился в списке Оси-чахоточного. Правда, с их семьи мясоналог был со скидкой — двадцать килограммов, — но овцу придется отдать. Это давно всем ясно, даже Татьянке ясно. И казалось бы, так: сдавай скорее ее к дьяволу, лишний килограмм сена корове останется. Ведь все равно она не твоя. А нет, не сдаешь, до последнего тянешь.

— К утру чтоб зерно было в полной кондиции! — распорядился Першин. — Сам повезешь. — И при этом надул грудь, расправил гимнастерку под ремнем с медной, до блеска начищенной звездой. Маршал! На войне не был, так хоть теперь покомандую.

Выход был один — развезти зерно по печам колхозников. Так делали во время войны.

Первый мешок Михаил завез к Степану Андреяновичу — тут надежно. Один мешок он высыплет к себе, еще мешок можно к Марфе Репишной. А остальные два? В первый попавшийся дом не завезешь. За ночь так может усохнуть — полмешка не соберешь.

Как раз в это самое время у Нетесовых в избе прорезался огонек, и Михаил, наматывая на колеса свежий, нетронутый снег, свернул к их дому.

— Печь свободна? — спросил он, просовывая в дверь голову.

— Не видишь? — Марья, черная, как лихорадка, с горящей лучиной в зубах, снимала с печи сноп ячменя. Изба на время была превращена в овин.

Хозяин, судя по стуку, был на повети. Михаил решил поговорить насчет Лизки. Илья, как и в прошлом году,

был назначен бригадиром на Ручьи. Пускай-ко возьмет сестру себе на заметку.

В темных сенцах на ощупь отыскал лесенку, поднялся на поветь.

Картина была знакомая. Илья при лучине, которой светила старшая дочка, обмолачивал сноп.

— Ну, как усовершенствованный комбайн? — беззлобно пошутил Михаил.

— Да, комбайн.— Илья повертел в руках отполированный до блеска цеп.— Я этим комбайном знаешь когда действовал?.. — Подумал — зря слова не скажет.— В двадцать седьмом.

«А мы всю войну так»,— хотел было сказать Михаил, но смолчал.

Илья зашарил по карманам гимнастерки. Дырочки на груди еще светлые, не потемнели: больше года звенел своими доспехами.

— Валентина,— кивнул он дочке,— сбегай-ко за табаком.

— У меня есть,— сказал Михаил.

Но покурить не пришлось. На поветь втащила Марья с новой охапкой сухих, пахучих снопов, и Илья застучал цепом.

О том, что надо было сказать Илье насчет Лизки, Михаил вспомнил, уже садясь на телегу. Но ему предстояло еще устроить два мешка, а кроме того, он был голоден как собака — с утра ничего не ел. И он махнул рукой. Пускай-ко она сама держится на своих ногах. На подпорках далеко не уйдешь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Провеяв деревянной лопатой жито, Илья сгреб его в кучу, подмел веником вокруг — каждое зернышко выковырял из щелей меж половиц, — потом снял со стены большую берестяную коробку. Коробка, если насыпать ее с краями, весила ровно двенадцать килограммов. Но все же он не стал полагаться на мерку: каждую коробку взвесил на безмене. И так до трех раз. Затем еще отвесил пятнадцать килограммов. Домашний мешок, длинный и узкий, наполнился под завязку. Это налог.

Остальное зерно он ссыпал в кадку.

Хлеб на своем участке у них родился неплохо: поле у болота и жарой не прихватило. Но они начали есть его еще в первых числах августа и за два месяца основательно ополовинили. И сейчас, замечая остатки зерна, он думал о том, как будет жить Марья с ребятами эту зиму. Правда, сколько-то должны дать на трудодни, а трудодней они с Марьей выработали порядочно. Ну а вдруг ничего не дадут? Юг, по слухам, выгорел начисто — откуда-то должно государство брать хлеб.

Илья запер ворота на деревянный засов, затоптал огарок и спустился в избу.

Сыновья уже спали — убегались за день, — а Валя, его любимица и помощница, готовила уроки.

— Ешь! — рявкнула Марья на ребенка, которого кормила грудью. — Она, дьявол, зубов нету, а кусается — всю грудь мне искусала.

Ребенок заплакал.

— Ну еще! Поори — давно не орала. Мати с тобой и так света белого не видит.

Да, ребенок их связал. Когда забеременела жена, Илья обрадовался — давай еще одного солдата, а теперь хоть бы и вовсе его не было. Марье даже со скотного двора пришлось уйти.

Он сполоснул руки из рукомойника, достал со шкафа свою домашнюю канцелярию — берестяную плетенку с крышкой.

— Ну-ко, доча, пусти отца к столу.

В плетенке хранились разные бумаги: обязательства на поставку государству мяса, картофеля, зерна, яиц, шерсти и кожи, извещения на сельхозналог, самообложение, страховку, квитанции об уплате налогов. Еще тут были его довоенные грамоты за ударную и стахановскую работу на лесозаготовках, военный билет — запас первой очереди, старые довоенные билеты — осоавиахимовский, мопровский, стопка денежных переводов, которые он посылал домой с фронта — все до единого сохранила Марья, — и орденские книжки. Сами ордена и медали лежали тут же, на дне плетенки. О них теперь он редко вспоминает, разве в такие вот минуты, когда разбирает бумаги, ну и еще когда на улице ветер: холодит, будто шилом тычет в проколы на гимнастерке поверх карманов.

Первое время Илья совал бумаги куда придется: в шкаф с чайной посудой, на полку, за рамки с карточками. А потом увидел — надо наводить порядок, иначе запутаешься. Да и люди подсказали: у каждого теперь своя канцелярия. На слово не верят. Слово, как говорится, к делу не подошьешь. Вот он и завел эту плетенку — специально смастерил нынешним летом на сенокосе.

Надев очки, Илья начал раскладывать бумаги. Одни бумаги, сшитые по углу суровой ниткой, он положил слева от себя — это квитанции и расписки, по которым уплачено. Другие — по ним надо платить — справа. Из этих, последних, бумаг он, в свою очередь, отобрал голубой листок, согнутый вдвое (извещения на сельхозналог и страховку его не беспокоили — тут у него порядок; и насчет зерна — серенькая бумажка — можно не смотреть, завтра отнесет).

Ему незачем было читать этот полинялый голубой листок, согнутый пополам. Он знал его наизусть.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
НА ПОСТАВКУ ГОСУДАРСТВУ В 1946 ГОДУ
МЯСА, МОЛОКА, БРЫНЗЫ-СЫРЦА, ЯИЦ
И КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ

Сверху — герб с колосьями, снизу — печать уполномоченного Министерства заготовок по Архангельской области, а по краям — его собственные печати. Пальцы. Много раз побывал уже этот листок в его руках.

Он повертел-повертел листок и начал читать с конца в обратном порядке:

6. Шерсти:	
а) овечьей полугрубой по норме . . .	900 граммов
10% $\frac{\text{скидка}}{\text{надбавка}}$ колхозникам . . .	90 граммов
Всего подлежит сдаче	
шерсти	990 граммов

Уплачено!

5. Кожевенного сырья (шкур)
качеством не ниже II сорта:
- а) мелких кож (овечьих шерстяных и полушерстяных или козьих, размером не менее 35 квадратных дециметров каждая в парном виде) . 0,5 штук

Есть договоренность с Лукой Прониным: будет сдавать овчину — обещал принять в пай.

4. Яиц 30 штук

Во всей деревне две куры да петух. Уплачено деньгами.

3. Брынзы-сырца

Прочерк. Про такую в Пекашине не слыхали.

2. Молока базисной жирности

Илья тут каждый раз улыбался. Улыбнулся и сейчас: Ося-агент разбежался было — вкатил триста двадцать восемь литров, а потом зачеркнул. Коровы у Ильи нет. Анфиса Петровна, когда еще была председателем, обещала дать телку, но теперь едва ли что выйдет. С планом по животноводству колхоз отстает. Придется, видно, ребятам еще с годик на довольствии у самовара посидеть.

Дальше Илья читать не стал. Сколько ни хитри, ни обманывай себя — хоть с конца, хоть с середины читай, — а все равно к мясу придешь.

— С бараном-то как будем? Сама сдашь или мне задержаться?

— Ты сперва барана-то выкорми. Я без тебя его завела. Мой баран-от.

Илья посмотрел под потолок, где жужжали мухи, — все еще не подошли, окаянные.

— Ты разговариваешь так, будто мы надвое живем.

Марья отняла от груди ребенка, сунула дочери, затопала в задоски.

— Баран у нас в мясе, — сказал Илья. — Думаю, килограмм до пятидесяти вытянет. Так что ты на первое время еще с деньгами будешь. А потом у меня в лесу получка будет.

— Я сказала — не дам!

— Ну давай будем ждать, когда с описью придут.

— Пущай приходят. Чего описывать-то?

— Да пойми ты, в конце концов. Я ведь партийный...

— А-а, партийной! А кой черт тебе, партийному-то, дали? Каждый партийной куда-нибудь ульнул...

Илья встретился глазами с Валею, растерянно улыбнулся ей, кивнул на задоски:

— Вот как она у нас понимает. Думает, в партию затем и вступают, чтобы должность заполучить.

— Да уж зачем-то вступают. Бригадиром-то, я думаю, могли бы поставить. Невелик пост. Разве парень не мог бы в лесу?

Если честно говорить, то он и сам не понимал, почему не его, а Мишку Пряслина назначили бригадиром. Правда, ничего не скажешь: парень работающий, хозяйство знает, но ежели бригадир еще и кузнечным делом владеет, то разве в убыток бы это было колхозу?

— Ладно. Не будем об этом говорить.

— Ну и о баране нечего говорить.

— Да пойми ты, дурья голова,— опять начал объяснять Илья. Не для жены, конечно,— ту колом не прошибешь. Для дочери.— Страна такую войну перенесла... Везде нехватка. Нынче засуха. А города-то нужно кормить? Там ведь не жнут, не сеют...

— Ну ясно. Городские без мяса не могут. А мы можем. Ты скажи лучше, когда наши дети последний раз мясо ели?

Илья обеими руками сгреб со стола бумаги, втолок их в плетенку, затем схватил ватник и — подальше от греха — на улицу.

2

Три дня назад членов партии вызвали в правление. Вопрос — добровольная сдача хлеба государству.

Семен Яковлев взял обязательство на двадцать пять килограммов, Анфиса Минина — на тридцать семь. Ну а что ему оставалось делать? Подписался на пятнадцать — меньше нельзя. Такая установка райкома. И вот из-за этих-то пятнадцати килограммов у них с Марьей и загорелся сыр-бор. А доводы у Марьи одни — горло.

Сидя на ступеньке крыльца, Илья докурил сигарку, размял окурки на ладони, сыпал остаток махорки в баночку.

Сосны за баней шумели. Из сырого угла дул ветер-шелонник, и, надо полагать, нынешний снег не удержится. И тут, взглядываясь в невидимый в темноте сосняк, Илья вспомнил про силки.

Силки — сорок пять штук — он поставил в конце августа за Оськиной навиной. Думал: какая душа ни

попадется — все харч. Но никто не попал. Нет сейчас ни дичи, ни векши на бору. Южная засуха достала и Север. Не спасли Пинегу тысячеверстные леса.

Силков Илье было жалко — пропадут, если не снять. Но когда он успеет сходит за ними? Люди уже неделю как в лес уехали. Начальство рвет и мечет: бригадир дома. А он все со дня на день откладывал выезд. Хотелось самому домолотить хлеб. Страшное дело этот индивидуальный участок. Собираешь навоз, нужники опоражниваешь, потому что без навоза что родится? А дождешься хлеба — как измолотить? Раньше было просто — овин набил, и дело с концом. А теперь овинов нету (все разорили за войну) — суши снопы на печи да околочивай по снопу на повети.

Илья встал. Сколько ни сиди на крыльце, а с мясом надо что-то делать. Занять денег у кого-нибудь? Он обернулся к двери — пусть она подавится своим бараном. Но у кого занять?

Выйдя на деревню, он мысленно начал перебирать тех, у кого могли быть деньги. В верхнюю часть деревни можно не ходить. У кого там деньги? У Трофима Лобанова? У Мишки Пряслина? Правда, там жил Евсей Мошкин. У этого должны быть деньги. Кадушки, рамы впроход делает, налогов с него нет — старик, из годов вышел.

Евсей не откажет ему — Илья не сомневался в этом. Но как-то неловко было обращаться к попу. Дать-то он даст, а про себя что подумает? Вот, скажет: партийный человек, а за деньгами-то ко мне пришел.

Нет, сказал Илья себе. Пойду-ко я к Федору Капитоновичу. Правда, он, Илья, в должниках у Федора Капитоновича: с месяц назад брал два стакана самограда...

У Федора Капитоновича огня в окнах не было, зато рядом, у Постниковых, изба ходила ходуном. Пляс, песни, гармонь — Константин приехал.

С Костей Постниковым они уходили на войну в один день, и надо бы позвать ему руку, тем более что неизвестно, когда еще их дорожки опять сойдутся. Костю семья не вяжет — кто его знает, куда потянется. Но тут из заулка напротив донесся протяжный бабий вой, и он передумал. Голосила Дарья Софрона Мудрого — оба сына не вернулись с войны. Так весь год: в одном доме песни от радости, а в пятерых вой по убитым.

К Анфисе Петровне он не собирался заходить. Откуда у нее деньги? На тех же трудоднях сидит. Но у нее был свет, и он свернул в заулок. Чем черт не шутит. А вдруг да выгорит.

Анфиса сидела, приткнувшись к столу, и держала перед глазами какое-то письмо (конверт распечатанный лежал на столе). А по щекам ее текли слезы.

Илья смутился, кашлянул. И вдруг Анфиса повернула к нему лицо, и мокрые, заплаканные глаза ее просяли.

— Проходи, проходи, Илья Максимович.

Илья сел к печи.

— Что за депеша такая — и слезы, и радость вдруг?

— Да уж верно, что слезы и радость... — Анфиса вытерла рукой глаза. — Не знаю, как тебе и сказать. Ну да все равно, таить нечего... Слышал, наверно, что тут про меня плели?

Илья поднял брови.

— Ну про фронтовика моего? Слышал. Был тут у нас в войну один человек...

Илья кивнул. Еще бы не слышал. Помолотили языками и в лесу, и в деревне, когда Григорий ушел из дому.

— Ну дак от него письмо. Сюда собирается... То-то опять начнут перемывать косточки...

— А, плевать, — сказал Илья. А сам, глядя на нее, белозубую, улыбающуюся, покусывающую губы от смущения — никогда не видел ее такой, — подумал: «Какой же дурак Григорий! С такой бабой не мог ужиться!»

— Я тут разболталась. Ты ведь без дела не ходишь.

Илья вздохнул.

— В лес-то когда?

— Из-за утра думаю. Да вот надо как-то еще деньжонок раздобыть. С мясоналогом рассчитаться.

— Где же ты раньше-то был? Я завтра теленка сдаю, вот бы в пай и взяла. А то я Петру Житову посулила.

Денег у Анфисы, как он и предполагал, не оказалось. Сто двадцать пять рублей — какие по нынешним временам деньги? И все-таки он не жалел, что зашел к ней. Как-то теплее стало на душе. И когда он вышел на дорогу и, прикрыв рукой лицо (мокрый снег лепил глаза), зашагал по ночному Пекашину, ему еще долго

виделись ее глаза — сияющие бабьи глаза, промытые легкими слезами.

Анфиса ему нравилась. Всегда нравилась — еще с той поры, когда была девчонкой. И не подвернись тогда Григорий — где же ему было тягаться с таким франтом: из города приехал! — как знать, может, он и не шлепал бы сейчас по этой слякоти...

Илья остановился, покачал головой. Ну и ну! Нашел, о чем думать. Самое подходящее времечко выбрал, чтобы молодость свою вспомнить.

Снег валил густо. Огней не видно. К кому пойти?

3

Было без пяти три, когда он вернулся домой.

Нет, не так это просто насобирать тысячу. Не он один налоги платит. И он потопал, помесил снежной каши — вдоль и поперек прочесал деревню. А уж о гордости и говорить нечего. Поп не поп — лишь бы деньги.

Раздевшись и разувшись — все мокрое было на нем, — он разостлал на печи возле стены (у трубы спала Валя) одежду и портянки, прошел к столу. Первым делом надо было записать для памяти нынешние долги. И он, оторвав четвертушку от районной газеты, записал школьной ручкой дочери:

ВЗЯТО НА МЯСОНАЛОГ

1. Софрон Игнатьевич	320 руб.
2. Клевакин Ф. К.	270 »
3. Минина А. П.	125 »
4. Мошкин Е. Т.	350 »

Последнюю фамилию он дважды подчеркнул, что означало — вернуть долг в первую очередь.

Затем, просушив бумажку над керосинкой — теперь этот клочок газеты становился денежным документом, — Илья спрятал его в свою берестяную канцелярию.

В крынке на столе было небогато — несколько холодных нечищенных картошин. Так всегда бывает, когда опоздаешь к ужину. Марья не позаботится, а ребятам что — им бы только брюхо свое набить.

Илья потыкал-потыкал холодной картошкой в солонку с серой зернистой солью, вытер ладонью рот, поправил усы — они были все еще мокрые.

Дома, в избе, он не курил, да и вообще старался

порезе попадаться с-цигаркой на глаза жене («Хорошему делу научился на войне! Валяй — жги денежки. Богаты!»). Но сейчас ему ох как не хотелось выходить на сырость, и он, виновато посмотрев на Марью, пристроился на скамейку к печи.

Марья с ребенком спала на полу у кровати, с которой доносилось легкое посапыванье сыновей. Рот беззубый открыт, одна грудь вывалилась из ворота рубахи — ребенка кормила на ночь, — а черные ершистые брови даже во сне сдвинуты: его, наверно, ласковыми словами вспомнила на сон грядущий или Валю калила — отвечай, девка, за отца.

Илья развел рукой дым над головой — там, наверху, была Валя — и опять, глядя на спящую жену, жалкую, беззубую, с худой постной грудью, вдруг вспомнил Анфису. А ведь она лет на пять старше Марьи, подумал Илья.

Он жадно затянулся в последний раз, бросил окуроч в таз под рукомойник, даже не вытрусив из него табак, как это всегда делал, прошел босыми ногами к столу, задул керосинку.

Ни единый мускул не дрогнул у Марьи, когда он прилег к ней с краю. Ну и пускай. Надоело ему кланяться каждый раз.

Но заснуть он не мог. Какое-то неосознанное чувство вины точило его. И, лежа на спине, он настороженно прислушивался к дыханию жены. Странное дыхание. Дышит редко, со всхлипами — будто во сне плачет. А может, она и на самом деле плачет? Наяву разучилась плакать — во сне свое горе выплакивает?

И, подумав так, Илья устыдился своих недавних мыслей об Анфисе. Тоскливая, под стать сегодняшней погоде жалость сдавила ему сердце. Он повернулся на бок, нащупал в темноте теплую грудь жены, потом осторожно просунул свою руку ей под мышку и привлек ее к себе.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Дожди, начавшиеся вслед за первым снегом, лупили целую неделю. Пинега ожила, с Северной Двины потянулись пароходы, буксиры с баржами.

На одном из этих буксиров в район прибыло два первых трактора.

«Новый этап в лесозаготовительном деле»,— писала районная газета.

И кто же возглавил этот новый этап? Егорша!

Было это среди бела дня — Михаил с женками молотил хлеб на нижней молотилке, и вдруг — гром и грохот за старой смолокурней. Бабы выбежали на дорогу — что такое? Легковуху знают, грузовик видали, самолет тоже примелькался — все лето над пожарами кружился,— а это что за диковина?

У смолокурни, возле дороги, спокон веку сосняк. Сосны немалые — дрова рубить в пору. И вдруг эти сосны начали валиться одна за другой, затрещали, как карандаши.

Бабы суматошно завизжали, попятились к гумну. Один Михаил остался на дороге — он-то сразу догадался, что это за штука.

Громадный гусеничный трактор, рыча и вздрагивая, остановился в двух шагах от него. И вот тут-то все и увидели Егоршу. Вылез из кабины в кожаных рукавицах по локоть, спрыгнул на землю.

— Ну, как машинка? Ничего работает?

Михаил посмотрел на поломанный сосняк, на который кивал Егорша, промолчал.

— Черт бессовестный! Вздумал людей пугать. Мы и так пуганы-перепуганы.

— Чем сосны-то ломать, ты бы лучше снопы нам подвез из на́вин.

Егорша, довольный, похохатывал, скалил на баб зубы, потом хлопнул Михаила по плечу:

— Давай! Цепляй какие в колхозе найдутся телеги да сани. За один раз привезу весь ваш урожай.

— Ладно, герой выискался...

— А что, Михаил,— заговорили бабы,— чем лошадей маять, пушай прокатится.

— Еще чего! Играть будем или хлеб молотить?

— Суровый у вас начальник,— сказал Егорша.— Ну-ну, ишачьте на здоровье.

Он легко и шеголевато вспрыгнул на верхнюю гусеницу, хлопнул дверцей.

Трактор взревел, рванулся вперед. Бабы закашлялись от угарного дыма. А от деревни, от бань на рев мотора уже бежали ребятишки. И взрослые откуда-то

взялись. Работать некому, а глазами хлопать да языком молотить — тут народ всегда найдется.

Ну Егорша и показал себя. Рядом с баней Софрона Мудрого стоял старый, продымленный сарай — бывшая пивоварня. Вмиг не стало пивоварни. Трактор наехал — только пыль пошла. А дальше — больше. Развернулся — пошел на деревню.

— Ну и парень! — заахали и заохали бабы.

— Сколько он теперь огребать будет?

— Да уж не с наше! Маленько побольше.

— Давай на гумно! — заорал Михаил. — Дядя за вас молотить будет?

Было глупо завидовать — для чего же человек на курсах учился? Ведь и он, окончи курсы, сидел бы сейчас за рулем. Да, все это так, все это понятно. И тем не менее злоба кипела в нем.

Он совал в прожорливый барабан ячменные снопы, покрикивал на баб, а мысленно сопровождал Егоршу по деревне.

Тот, конечно, постарается сегодня. До тех пор будет уютжить деревенскую улицу, пока не сгонит с печи последнюю старуху.

Ну почему так? Почему он по целым дням торчит на гумне — копоть, пыль глотку затыкает, — а тот как жеребец — играючи по жизни идет?

И главное — так всегда, всю жизнь. Поехали они второй раз в лес. Мальчишки. По шестнадцати лет. Кой черт еще делать в лесу, как не махать топором! И он, Михаил, махал, всю зиму махал. А Егорша помахал недельку-две — учетчиком стал. Ладно. Зиму отработали, выбрались домой. Голод. Ребята еле ноги переставляют. Просил, умолял: дайте на сплаве поработать. Все какой-никакой хлеб. Черта лысого! «Что ты, Михаил? А кто пахать, сеять будет? Колхоз распускать?» А Егорша — тот колхозу не нужен. Егорша вывернулся. Вот когда еще все началось...

От нижней молотилки до Ставровых рукой подать, но после работы Михаил пошел домой. Нет уж, пусть другие хлопают глазами, а он насмотрелся — с него хватит. Ребят дома не было, а где — не надо спрашивать: у Ставровых.

— Ты бы все-таки глядела за ними, — рыкнул он на мать. — Ведь сказано было — после школы обутку не трепать.

— Да разве их удержишь? Ехал тут Егорша — вся деревня за ним бежит.

Мать собрала на стол.

— Сестра-то как? Ничего не будем посылать?

— А чего? Пряников пошлешь?

— Ну-ну, сам знаешь, — сразу согласилась мать. — Я ведь так, к слову. Думаю, свой человек в лес едет...

— Свой человек! Нашла родню.

Мать непонимающими глазами смотрела на него. А разве сам он понимал что-нибудь? Черт знает почему он так распсиховался сегодня! И мать, конечно, права: кто им еще ближе, чем Ставровы? Есть у них дядя родной — рядом деревня. А раз хоть в чем-нибудь выручил их этот дядя?

— Ладно, — примиряющим тоном сказал Михаил, — достань с погреба картошки. Да творогу пошлем.

2

У Ставровых, как в праздник до войны, горела десятилинейная лампа. Свой теперь керосин — не надо экономить. А под окошками, возле трактора, видимо-невидимо ребятишек. Сбежались со всей деревни. Была тут, конечно, и его саранча. Все четверо.

Татьянка подскочила в темноте, глазенки горят:

— Миша, а меня Егорша на тракторе катал, вот!

— А нас тоже катал, — доложили Петька и Гришка.

— Не врете! Вы-то на телеге, а я на самом тракторе.

Да, будет теперь разговоров у малых. На всю зиму хватит, Егорша додумался: связал две телеги, сани — садись, ребятня! И если летом, когда он еще на легко-вухе ездил, ребятня по целым дням караулила его, то что же теперь?

— Марш домой! — круто распорядился Михаил. — Ну, кому я говорю?

Федька наловчился было нырнуть в ребячью гущу, но Михаил успел схватить его за шиворот, дал подзатыльник.

— И вы тоже! — пригрозил он остальным. — Живо!

— Кусать хочешь? — спросил его Егорша, когда он вошел в избу.

Михаил скользнул глазами по столу: раскрытая банка с консервами — треска в масле, краюха магазинного хлеба — настоящего, ржаного. Сглотнул слюну.

— Не, поел только что.

— Ну а другого угощенья нету. Дедко не припас.

— Поменьше пить надо было,— с осуждением сказал Степан Андреянович.

— Ладно. Слыхали,— вяло огрызнулся Егорша.— Подумаешь, бутылку-две на прощанье с корешами раздавил.

— Не знаю уж, сколько раздавил, а без копейки домой приехал. Так будешь хозяйничать — хорошо проживем.

— А на что тебе копейка-то? Слыхал, что Сталин говорит? Готовьтесь, говорит, к коммунизму... А у тебя на уме копейка...

Егорша, подмигивая, кивнул на склонившегося над хомутом деда: послушай, мол, что сейчас начнется.

— Я картошки да творогу для Лизки принес,— сказал Михаил, указывая на порог. — Передай.

— Ладно,— сказал Егорша. — Передам.

Затем он пошарил глазами по полу, нацелился на сук в половице — как раз посредине избы,— цыкнул слюной. Недолет. Со второго раза попал точно.

— Ну, что будем делать? — сказал Егорша, вставая с лавки. — Дедко в дотации отказал. Хочешь, прокачу на своем стальном?

— Давай-давай,— заворчал Степан Андреянович. — Самое время теперь народ пугать.

Егорша накинул на плечи промасленный, похожий на кожанку ватник, подошел к зеркалу. Кепку — новую! — с крохотным козырьком и пуговкой посадил на самую макушку, светлый чуб распушил пятерней — берегись, девки!

3

— Ты что ничего не спрашиваешь? — спросил Егорша, когда они вышли на крыльцо.

— А чего спрашивать? Вижу — на трактор пересел.

— Да, брат, все,— заговорил, загораясь, Егорша. — С райкомом рассчитался. Подрезов сперва на дыбы: «Не пушу. Другого шофера мне не надо». А я ему политическую подкладку: хочу на передовую. Правильно сделал?

— А чего неправильно? Райкомовская легковуха зимой на приколе — не сидеть же тебе сложа руки.

— Чухлома! — с разочарованием сказал Егорша. — Райкомовская легковуха! Разве в этом соль? Почитай районную газетку от десятого октября. Там ясно сказано насчет этого коняги. — Егорша, подойдя к трактору, горделиво постучал кулаком по радиатору. — Переворот в лесном деле! Ребятишки и те понимают, что к чему. Видел, как они ликовали?

С подгорья доносился глухой шум ледохода, а за деревней над черной стеной леса дружно играли сполохи — к морозам.

— Куда пойдем? — спросил Егорша. — В клуб?

— Какой теперь клуб. Все в лесу. Одна Райка в деревне.

Егорша посмотрел на дом Федора Капитоновича — на кухне свет.

— А знаешь что? Давай выманим Раечку. Продавцом работает — неужели на бутылку не разорится?

— Ну да! Буду я еще по домам собирать.

— Подумаешь, гордость! Хрен с тобой. Пошагали к Першину. Даве он меня звал.

— А меня не звал.

— Ну и что — со мной.

— Да за каким он дьяволом мне сдался? — рассердился Михаил. — И так каждый день глаза мозолит. Уж по мне, лучше дома кирпичи давить.

Егорша схватил его за рукав:

— Да погоди ты, кипяток! Друг еще называется. — Он выпустил рукав Михаила, сказал, помедлив: — А с Першиным, между прочим, советую не ссориться. Не забывай, кто его поставил.

— Ну и что?

— А то. Подрезов не таким, как ты, хребет ломает.

У Пачихиных — хозяин работал лесником — завыла Векша, единственная собачонка в деревне. Остальных порушили еще в войну.

— Музыка, — сказал Егорша. — Да, вот дыра собачья — некуда и сходить. — И вдруг воскликнул: — Порядок! Поехали на собеседование к дяде Евсе.

К Евсею Мошкину они заходили и раньше. Старик приветливый — забавно послушать. А то, что он религиозней чокнутый, так ведь они не старухи — мозги на месте.

Марфы, на их счастье, дома не было — ушла с ушами в Водяны.

— Проходите, проходите вперед, — сказал Евсей, указывая на боковую лавку. — Только уж уговор, ребята: у меня не курить. Ладно? А я сейчас.

Он быстро загреб в кучу щепу и стружку — строгал доски, — снял керосинку с матицы, поставил на стол, подсел к ним. Крепкий, медноволосый — жаром налит.

Михаил всегда удивлялся его здоровью. Вроде бы старик, и харчи не лучше, чем у других, а утром выйдешь на задворки — кто там из-за болота выкатывается? Евсей. Идет, с вязанкой сосновых поленьев вышагивает — только веревка поскрипывает. Без шапки. А летом еще и босиком. Остановится, поздоровается, да еще приветливое слово скажет: «День-то какой сегодня баской! Заслужили люди»: И так всю поленицу в заулке — а ее у него костры — перетаскал на себе. Из лесу. За километр, за полтора.

И сейчас, присматриваясь к этому загадочному для него старику, широколобому, кряжистому, с тугими ребьячьими щеками, до багряности разогретыми рубанком, Михаил подумал: работой держится. Но, с другой стороны, кто нынче не работает?

— Ну что, ребята? — сказал Евсей. — Чем вас угощать? Может, самовар согреть?

Егорша ухмыльнулся, повел глазами в сторону задосок:

— Воды на свете много — всю не перехлабаешь,

Евсей понял намек, улыбнулся щелками:

— Неладно бы сегодня за рюмкой-то сидеть. Пятница. Грех великий. Ну да гости у меня не каждый день. — Он встал, пошел в задоски.

Егорша, потирая от удовольствия руки, толкнул Михаила в бок: дескать, учись, как дела делать!

На столе появился пузатый графинчик старинного литья, темная крынка с нечищенной картошкой, три луковицы.

— Хлебца сегодня нету. Не обессудьте.

— Нам не на мясо, — ввернул Егорша. — Можно и ниже средней упитанности.

Себе Евсей налил в граненую стопку — тоже старинного подела, а им — в толстые стаканы,

— Ну, будем здоровы. — Перекрестился, выпил, закусывать не стал — только ладонь приложил к губам.

— А у тебя это ловко, дядя Евся, — сказал Егорша. — Есть тренировочка.

— Вино надвое разделено, — уклончиво ответил Евсей. — Умному на веселье, глупому на вред.

— А старухи ничего? — продолжал задирать Егорша. — За штаны не берут? В разрезе религии?

— Не пытайте меня, ребятушки. Поздно меня переделывать. Я с малых лет ногами в земле, глазами в небе...

— Это как? — спросил Егорша.

— А, стало быть, так — духовной веры жажду.

— Ха, — ухмыльнулся Егорша. — Опеум.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю.

— Ничего ты не знаешь. Ни я ничего не знаю, ни ты ничего не знаешь. Много ли птичка из моря выпьет? Прилетит, раз-раз клювиком, а море все такое же. Так и человек насчет знаньев.

— Смотря какой человек. Я, например...

Евсей быстро перебил Егоршу:

— А «я»-то последняя буква в азбуке. А почто? Скажи, коли все знаешь.

Михаилу все это было знакомо. Третий раз они с Егоршей заходили к Евсею, и третий раз Егорша задирал старика. Он недовольно крикнул.

— Ладно, хватит, — сказал Евсей. — Пушай ты все знаешь. Ты вот лучше скажи — у начальства близко, все ходы-выходы знаешь: хлопотать мне насчет пензии?

Егорша откинулся назад:

— Тебе? Пензия? А за что?

— Да ведь годы-то мои на седьмой десяток покатились. Сколько я еще топором намашу. Вишь, рука-то... — Евсей поставил на стол правую руку, согнутую в пальцах. Пальцы вздрагивали.

— Нет, — сказал Егорша. — Автобиография неподходяща. Поп.

— Да какой же я поп? Почто ты меня все попом-то обзываешь? Ежели я со старушонками помолюсь вместе, утешу какую ласковым словом, да разве я поп? Попы-то все грамотные, службой кормятся... А я чем? Не тем же разве топором, что люди? Ну-ко, спроси у старух: взял ли я хоть у одной копейку?

Егоршу это не убедило. Он сказал, что неважно, как называть, поп или не поп, а факт остается фактом: антисоветский элемент.

Тут уж не выдержал Михаил. Какой же, к дьяволу, он, Евсей Тихонович, антисоветский элемент? Все-таки надо думать, что говоришь. А потом, добавил Михаил, возвращаясь к тому, из-за чего загорелся сыр-бор, может, Евсей Тихонович вовсе и не за себя хочет получить пенсию, а за детей? Так ведь, дядя Евся?

— Так-так, Миша,— живо закивал Евсей,— за детей. За Ганьку и Олешу. Два сына на войне головы сложили.

— Это другое дело,— сказал Егорша. Подумал, добавил: — Нет, все равно ни хрена не выйдет.

— Ну да! — возразил Михаил. — Все за убитых получают, а он что, не отец?

— Да что вы ко мне пристали? — начал злиться Егорша. — Я что, райсобес? Там, между прочим, тоже не дураки сидят. А ну-ко, скажут, предъяви документы, когда поил-кормил?

— Господи! — всплеснул руками Евсей. — Я уж злодей своим детям, да? Я не поил, не кормил? А кто же их поил-кормил? Кто? — И Евсей вдруг всхлипнул, размазал по румяным щекам слезы. — Мне и ребята свои против не говаривали.

— И зря,— сказал невозмутимо Егорша. — Из-за кого же они страдали? Я бы такому отцу прописал.

— Ладно, не будем об том говорить. То особо дело. Не ты мне прописывал. Федька Косой, в исполкоме сидел, уж как, бывало, не страшал! «Снимай крест, стриги волосы. В землю зарю!» А где теперь? Сам раньше меня зарылся. Злом человека, ребятушки, не наставишь. Зло не людям делаешь — себе. Мне мати-покойница, бывало, говорила: «Кабы зло, Евсейко, исделал да на небо улетел...»

Егорша ухмыльнулся:

— А на небо ты, дядя Евсей, не очень рассчитывай. Там тоже с отбором принимают.

— Что пустое молоть.

— Не пустое. По твоей религии. Водочку любишь... — Егорша загнул палец.

— Погоди,— Михаил сдвинул брови. — А дальше что?

— Вишь вот, Михаил Иванович понимает. Даром что годами от тебя не ушел. Ох, ребята, ребята,— вздох-

нул Евсей,— всего не перескажешь. Все прошел. А как дети свои выросли — и не видел. Уж когда домой вернулся, в сельсовете объявили: оба геройски погибли. За родину. — Евсей развел руками. — Не судьба. Федька, Федька Косой меня упек. Ох, зверь-человек, царство ему небесное. Уж как он, бывалоча, меня топтал да мял! И заданьем твердым обкладывал, и из лесу по месяцам не выпускал... А и зазря, как потом выяснилось. Тамошние власти поумнее — с меня и вину всю сняли. Не виноват, говорят, отец, а что по леригии живешь, — дак это твое дело. Закон позволяет.

— Ну ладно, — важно, как если бы он вел собрание, сказал Егорша. — Этот вопрос для ясности замнем. А теперь давай антракт — чего-нибудь в части мурок-урок. Ох, бывало, у нас в Заозерье на эти штуки Вася-ножовик мастак был. Как раз незадолго до войны из-за проволоки вышел. Этот самый знаменитый Беломор строил. Который еще на папиросах обозначен. Ну почнет живые картины на своем теле показывать да про этих мурок-урок рассказывать — заслушаешься. Такие, говорит, там шмары имеются — пальчики оближешь.

— А кто тебе сказал, что я за проволокой был? Да я, ежели хочешь знать, ни одного дня там не был.

Егорша аж затылком долбанул простенок — до того неожиданно было то, что сказал старик. Михаил, к этому времени начавший было томиться и позевывать, тоже вскинул голову.

— Нет, ребята, — после небольшого молчания снова заговорил Евсей, — никаких шкур-мурок я не видал. Я с ссыльным листом на чужбине был, да и то зазря. Тамошние власти, спасибо, разобрались, все права мне дали. — Евсей вдруг застенчиво улыбнулся, покачал головой. — А по первости-то тоже всяко было. Что уж скрывать. Я приехал в поселок на рождество. Зима, мороз, степь голая. И не то что лесины — кустика вокруг не увидишь. А мне и притулья нет. Как хошь живи. И насчет пропитанья тоже сказ короткий: кормись как знаешь. Да, так было-то. А потом, когда уезжал, — ох! Не то что все прочие — сам председатель уговаривал: не езд, говорит, отец. Оставайся у нас да обогревай людей теплом. Я все, вишь, печи клал. И до войны клал, и после, когда отпускную дали.

— Постой, — сказал Михаил, — а когда же тебе отпускную дали? Разве не после войны?

— Нет, нет, раньше. Еще на первом году войны, осенью.

— И ты остался там? Не поехал домой?

— Сообразил, что дома не коржики с медом,— вставил с ухмылкой Егорша.

— Да почто ты все меня в корысти-то винишь! — воскликнул Евсей. — Разве я по корысти живу? Людей надо было спасать от холода. Вот из-за чего остался.

— Че-го, че-го?

— Вот тебе и чего. Ты, поди, и не слыхал про то, что у нас за Волгу целые заводы перебрасывали? Нет? — Евсей от обиды повернулся к Михаилу. — Да-да, Миша, завод пересек мне дорогу домой. Я уж было совсем собрался, с людьми простился. А тут вдруг к председателю зовут. Срочно. Ну, думаю, не судьба. Обо мне чего-нибудь перерешили. Нет, насчет завода. Завод вакуирован, на станцию привезли. Поселок надо строить. А мне, значит, чтобы печи класть. Нет, говорю, не могу, гражданин начальник. У меня дети есть. Я детей давно не видел. А тот и говорить не стал. Меня в санки — да на станцию. А на станции — о господи! Люди, люди. Женщины. Ребятишки плачут. Костры горят... Ну я и остался. Простите, Ганька да Олеша. Вы-то сейчас все же во тепле, в детском доме, а тут-то что будет, когда морозы падут?..

Егорша, свертывая сигарку, спросил с издевкой:

— Так. Значит, добровольно, так сказать, по сознательности остался?

— А уж не знаю как, а остался. Так своих ребят и не увидел. — Евсей опять всхлипнул.

— А может, господь бог внушил? А?

— Ну чего ты, понимаешь, в бутылку лезешь? — попытался урезонить Егоршу Михаил.

— А то! Он тут который час нам на мозги капает, а ты и вздыхаешь: вот, дескать, божий человек. А этот божий человек небось ряху наел. Ну-ко, кто у нас в Пекашине с таким зеркалом из войны вышел?

— Да что это, господи! — Евсей схватился руками за голову, расплакался. — Зачем тогда ко мне приходиться? Я тебя принял, я тебе почет оказал, а ты все мне поперек. Все лаем да пыткой.

Михаилу вдруг нестерпимо стыдно стало и за себя, и за Егоршу. В самом деле, на что это похоже? Пришли, уселись за стол и давай отчитывать старика.

Егорша, положим, завелся,— с ним это бывает. А он-то куда смотрит?

Он положил руку на плечо Егорше:

— Ты все-таки думай, что говоришь, голова еловая.

— Это ты думай! — Егорша резким движением сбросил с себя его руку. — Я в райкоме работал — за-калку имею.

— В райкоме работал! Хоть за колесо райкомовской легковухи держался.

— Может, и за колесо, а тебя в бригадиры вывел.

— Что? Ты меня в бригадиры? Ты?

На пол со звоном упал стакан. Михаил, рванув Егоршу на себя, вытащил из-за стола.

— Ребята, ребята! — закричал Евсей тонким, плаксивым голосом. — Что вы? Что вы делаете?

Затем, плача и охая, схватил их за шиворот, растащил по сторонам.

— Пусти! — злобно прошипел Егорша, вырываясь.

— Нет-нет, ребята, не пущу. Покайтесь друг другу, ну? Покайтесь, ладно? Что вы не поделили, что? Пришли ко мне друзьями, а уходите врагами. Разве можно так? — Евсей упрашивал, усовещивал их.

— Да пусти ты, мать твою так! — заорал Егорша, зверея.

Пальцы Евсея сразу разжались. Он закрыл глаза руками, застонал:

— Ох, ох, нехорошо, Егор. Матерное-то слово самое тяжелое. Грешишь против своей матери, против матерь-богородицы и против мать сырой земли...

— Ладно тебе! Запричитал... — Егорша сдернул свою кепку с матицы, выбил о колено, надел.

— Оставайся! — крикнул он из-под порога. — Он тебя под свой крест подведет!.. — И так хлопнул дверью, что песок посыпался с потолка.

Михаил прислушался к шагам Егорши, сбегавшего с крыльца. Потом все затихло, и он услышал всхлипы-ванье. Плакал Евсей. Плакал, как ребенок, обхватив руками голову.

Тускло горела коптилка.

— Ничего, — сказал Михаил. — Остынет маленько и вернется.

Они сидели безмолвно, тот и другой вслушиваясь в ночную тишину, и ждали.

Егорша не вернулся.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Кончался еще один год. Страна подводила итоги.

Завистью пухло сердце у Михаила, когда он по вечерам, заглянув в колхозную контору, натыкался глазами на центральную газету.

Где-то шумела большая жизнь, где-то жили крылатые люди — богатыри, которые ежедневно и ежечасно совершали подвиги во славу родины и красочно рассказывали о них в своих письмах и рапортах.

А что в Пекашине? Какая жизнь?

Снежные суметы вровень с окошками. Мутный расцвет в десятом часу утра.

Днем прочиликает, утопая в сугробах, стайка детишек, возвращающихся из школы, проскрипит воз с дровами или с сеном, еще покажется в своем ежедневном обходе очкастый Ося-агент, от которого, как от чумы, шарахаются бабы,— и вечер. Длинный вечер с дымной лучиной, с одной и той же заботой — что будем жрать завтра. Потом ночь. Хочешь — дави печную кирпичину, хочешь — смотри бесплатное кино: северное сияние. Хоть всю ночь. И со звуком. Проклятая Векша из себя выходит, когда в морозном небе за деревней начинают плясать и переливаться серебряные сполохи.

Нет, не о такой жизни мечтал Михаил...

2

Все спали. Ребята спали на полатах, мать с Танюхой на печи, а он не спал. Он сидел в дрожащем кругу розового жара и тоскливыми глазами смотрел на догорающие в печке дрова.

И еще было в избе одно существо, которое томилось в этот вечер. Елка. Она лежала под порогом в темноте и на всю избу источала смоляной аромат.

Елку он вырубил в сумерках, возвращаясь с сеном с Верхней Синельги. Думал: вот обрадуются ребята! А ребята посмотрели недоуменно на него и отвернулись. И Михаил понял: что им какая-то обмерзлая елка — в лесу выросли. А вот если бы эту елку да обвесить конфетами и пряниками, а еще лучше хлебными горбухами — вот тогда бы — да! Тогда бы они глаз не сводили с нее. Так и осталась лежать елка под порогом.

Новый год не торопился. Стрелка на часах — они сонно потикивали на дощатой заборке за спиной — никак не могла перевалить за десять.

А ведь есть, есть на земле люди, думал Михаил, которые сейчас с минуты на минуту ожидают прихода Нового года. И сами они такие же нарядные, как та елка, которую он видел на днях на обложке «Огонька». И в их квартирах столы с белыми скатертями, вино, всякая жратва. И вот они сядут за эти столы и поднимут бокалы под звон кремлевских курантов...

Дрова прогорели. Михаил помешал кочергой в печке. Подложить еще? А что ему сдался этот Новый год? Ну, дождется, когда часовая стрелка подойдет к двенадцати, это нетрудно. А дальше что?

Михаил подождал, пока не растаяли синие угарные огоньки над раскаленной россыпью углей, потом еще раз помешал кочергой, закрыл листик в трубе.

На ночь он решил выбросить елку на улицу. Зачем — чтобы она еще утром мозолила всем глаза?

Но елка не хотела на мороз. В темноте она кололась, крупными слезами заливала ему руки. И Михаил раздумал: ладно, оставайся до утра.

В ночном небе ярко горели звезды. Михаил запахнул полы полушубка — морозец что надо, — вышел, рыхля свежий снег, на дорогу.

Куда пойти? Ни одного огонька не было вокруг. Дорогу замело, загладило. Пухлые сугробы залегли вдоль изгороди.

Он поглядел в ту сторону, где за деревней неясными увалами чернели ночные леса. Там была Сотюга. И он пожалел, что не поехал туда. А ведь собирался было: давно пора проведать Лизку — как уехала, ни разу не была дома, — а заодно повидать и Егоршу. Сколько еще дуться? В каких переплетах они раньше ни были, всю войну вместе расхлебывали, а тут, в тот вечер у Евсея Мошкина, удила закусил и давай лягать друг друга. И из-за чего?

Признаться, он, Михаил, поджидал сегодня Егоршу. Вот-вот, думалось, загремят ворота, ввалится с мороза: «Ну что, коля, не ждал?»

Уши и нос пощипывало. Обмерзлый ушат потрескивал на крыльце.

Эх, жизнь, жизнь... Ну что изменилось от того, что он стал бригадиром? Только ходьбы прибавилось —

каждое утро надо обежать деревню. А в остальном все то же: сено — дрова, дрова — сено...

Он прошел на задворки, наколупал в пазах моха. На курево.

3

И все-таки дед-мороз не обошел Пряслиных.

Ночью Михаил проснулся — стучат. Он спрыгнул с кровати, подбежал к боковому окошку, ткнулся разгоряченным лицом в заледенелое стекло. Никого. Неужто ему показалось?

И вдруг оттуда, с холода, донеслись притворно-жалобные слова:

— Пу-сти-те по-греть-ся...

— Мати, мати! Лизка приехала!

Ночная тишина в избе будто взорвалась. Мать со словами «иду, иду!» уже открывала двери (она-то, наверно, еще раньше его услышала стук в окно), а на полатях, на печи загорланили ребята: «Лизка, Лиза приехала...»

Михаил кинулся искать спички.

В их семье не принято было обниматься и целоваться. Но когда из морозного облака под порогом вдруг блеснули знакомые глаза, густо запорошенные инеем, он не удержался — сгреб сестру в охапку.

— Лиза, Лиза, мне,— запричитала Танюха, слезая с печи.

И Лизка, протягивая к ней руки, расплакалась:

— Иди, иди, моя хорошая. По тебе-то я больше всех соскучилась.

А потом она обнимала остальных — Петьку и Гришку (эти обхватили ее оба вдруг), Федюху, насупленного, не спускавшего взгляда с корзины, которую вслед за Лизкой внесла в избу мать,— и для каждого находила особое словечко.

Михаил первый опомнился.

— Мати, чего стоишь? Наставляй самовар. А может, ты замерзла — баню затопить?

— Да что ты, парень? — удивилась Лизка. — Какая ночью баня?

Лизку раздевали всей семьей. Кто стаскивал с ног обмерзлые валенки, кто расстегивал ватник, кто снимал с головы шаль,

И она, растроганная, непривычная к такому вниманию, только качала головой:

— Я не знаю, вы со мной, как с маленькой. Я ведь не откуда приехала — из лесу.

— А я уж думал, не приедешь, — сказал Михаил. — Ждал-ждал — лег...

— Что ты — не отпускали. Хорошо, Илью Максимовича на совещанье в район вызвали. Как хотите, говорю, поеду — девять недель дома не была. Я ведь теперь за повариху.

— За повариху?

— Ну да. Разве Петр Житов не сказывал?

— Нет, ничего не говорил.

— Третью неделю варю. Ничего — люди не жалуются.

— Ну, это ты молодец! — радостно сказал Михаил.

— Худо ли, — подтвердила мать. — Все не в снегу. И лишняя ложка похлебки достанется.

В задосках зашумел самовар, и ребята, как по команде, уставились на корзину.

И корзина, та самая берестяная корзина, с которой раньше ездил в лес Михаил, раскрылась.

Буханка ржаного хлеба, другая. Сухари. И еще сахар — целую горку мелко наколотого сахара насыпала Лизка из мешочка на стол.

Ребята ахнули. А Михаил, растерянно моргая, только махнул рукой. Ну что ты скажешь? Не дура ли девка? Бывало, в лесу намерзнешься за день — только и радости чайку горячего попить, а если приведется огрызок сахара — праздник. А эта, дура набитая... Ах...

И была зимняя ночь. И за окошком лютовал мороз — с треском, с яростью, как голодная собака, вгрызался в промерзшие углы.

А им — что! Им плевать и на ночь, и на мороз. Красный самовар клопочет на столе.

Ешьте, пейте, ребята! Новый год идет по земле.

— Бежите, разгребите дорожку на задворках, — говорила шепотом мать.

Ребята заулыбались — она это почувствовала, не глядя под порог, — и хлопнули дверью.

— А ты, бес, не вертись! — зашипела мать на Татьянку. — Дай поспать человеку.

— Да я, мама, не сплю, — сказала Лизка и открыла глаза.

В избе было уже светло. С оледенелых окошек красными ручьями стекала заря на белый пол.

Татьянка вскочила на залавок, приподнялась на цыпочки и крепко обхватила ее холодными ручонками за шею.

— А ты чула ли, как я вставала? Я уж пол подпахала, вот.

— Подпахала... Все утро, как кобыла, скачешь. Человек из лесу приехал, а тебе хоть говори, хоть нет.

— Да как ведь она не спать приехала, — возразила матери Татьяна. — Да, Лиза?

— Да, да.

Лизка слезла с печи, босиком прошла по избе. На Ручьях в бараке так не пройдешься — там всегда холодина под утро, — и она скучала не только по родным. Все тело ее скучало, а пуще всего ноги скучали по этому вот избяному теплу.

— Да, теплом-то мы, слава богу, не обижены, — сказала мать, словно угадывая ее мысли. — Осенью, как ты уехала, Михаил опять подконопатил стены.

Пока Лизка умывалась да расчесывала волосы, мать принесла с повети веник.

— Собирайтесь в баню.

— Что, уже истоплена?

— Как не истоплена! — Мать улыбнулась, разглядывая ее на свету. — Разве не чула, как брат из-под тебя лучину доставал?

— Нет, — призналась Лизка и покраснела. — Я замерзлаь дорогой — как убитая спала. А где он сейчас?

— Михаил-то? Не говори — весь прибегался. Да он и глаз не смыкал. Баню затопил, заулок разгреб — в лес побежал. У Петра Житова ружье взял. «Не могу ли, говорит, кого убить. Чем гостью-то, говорит, кормить будем».

— Я не знаю, мама, вы как с ума походили. Какая гостья?

— Ладно. Пушай. Рад ведь — сестра праздник привезла. И копейка снова в доме завелась... — Мать коротко всплакнула.

— А ты разве привезла денег-то? — спросила Татьяна. — Пошто я не видела? Где они?

— Поменьше спать надо, — сказала Лизка и рассмееалась от радости.

Ночью, после чая — Татьяна сразу же убралась на печь, — она дала брату полный отчет. Сколько заработала, сколько прожила — все, до последней копеечки выложила. И Михаил только руками разводил: «Вот никогда не думал, что из твоих рук деньги принимать буду...»

Улица ослепила ее своим блеском. Заулок расчищен до изгороди. Пушистая елочка выглядывает из свежего сугроба, нарытого к крыльцу. Откуда она взялась? Не из леса же за ней прибежала?

Но особенно растрогала ее Звездоня. Узнала, нет ли ее по шагам, когда она поравнялась с воротами двора, а голос подала. Ворота для тепла были заставлены ржаными снопами. И от них шел белый парок, приятно пахнувший жилым теплом и навозом.

На задворках Лизку встретили братья с лопатами. Щеки покраснелись, глазенки блестят.

— Иди. Мы до самой бани дорожку разгрести.

И она пошла по этой дорожке. Пошла неторопливо, бездумно любясь сиянием зимнего дня.

Семеновна, черпавшая воду из оледенелого колодца, не признала ее:

— Чья ты? Худо ноне вижу...

— Давай — «чья ты»! Соседку не узнала...

— Ли-и-за! О господи... Вот как ты выросла... В байну пошла?

— В байну. Заходи в гости — я чаем с сахаром напою.

Сзади слезы, всхлипывания:

— Вот какая девка у Анюшки выросла... А я и не узнала. Заходи, говорит, чаем с сахаром напою...

Татьянка, бежавшая впереди, быстро обернулась и осуждающе посмотрела на сестру:

— Ты чего это ее звала? Мы и сами сахар-то съедим.

— Ой, какая ты жадюга, Татьяна! Как язык-то у тебя повернулся. Глызку сахара старухе пожалела...

— Ну и что, — не сдавалась Татьяна. — Это ты каждый день чай с сахаром пьешь, а мы-то все без сахара.

Лизке вспомнились Ручьи, барак, лесная жизнь? В делянку идешь в потемках, в барак возвращаешься в потемках. Ватник скрипит, как шлея на лошади,— задубел, заледенел: поброди-ко целый день в снегу до пояса.

Нет, нет, не сахарная была у нее жизнь на Ручьях. Но ради вот этого дня, который она проживет сегодня дома, она бы начала эту жизнь сызнова.

Да, это был ее день. Для нее топил брат баню, для нее ходили на цыпочках все утро, пока она дрыхла на печи, для нее ребята разгребали вот эту дорожку, по которой она шагает сейчас.

5

Михаил удивился — дома сидели без огня.

Задеревеневшими от холода руками он чиркнул спичкой, зажег керосинку на столе. Где ребята? Ловушку какую-нибудь приготовили для него?

Ребята были на печи — в сутемени сухо сверкали их глаза.

Он вынул из-за пазухи закоченевшего рябчика, положил на стол. Тот стукнул, как деревянный.

— А где у нас гостья?

Молчание.

— Где, говорю, Лизка? Чего на печь забрались — печку не затопите?

— Уехала... — ширнула носом Татьяна и громко заплакала.

— Уехала? Как уехала?

— Петр Житов увез. Собирайся, говорит, ехать надо.

Вот так хреновина... Да как же так? Ведь они и не поговорили как следует...

— Давно уехала?

— Недавно... Мама провожать ушла...

Михаил кинулся вон из избы и едва не сбил в дверях мать.

— Бесстыдник! В кои-то поры девка домой выбралась, а он в лес укатил. На весь день...

— Да разве я знал? А у тебя-то кочан на плечах? Кой черт случилось бы — и завтра уехала.

— Не своя воля, По судам-то ей еще рано ходить,

— По судам! Так уж сразу и по судам. И ночью бы в крайнем случае отвез.

— То-то много ты к ней ездил. Девка без мала три месяца в лесу выжила—бывал ли хоть раз?

Михаил сел на прилавок к печи, достал банку с махоркой. Махорочку—три пачки—привезла сестра. Не забыла, что надо брату. А он, выходит, как та скотина: ей сено в пасть суют, а она рогами да копытами. Но разве он для собственного удовольствия целый день убивался в лесу? Ведь хотелось как лучше. Сестра приехала, а чем кормить?

Рябчика он свалил с ходу в Поповом ручье. Обрадовался—вот, думал, какая везучая у нас Лизка: не успел в лес зайти, а уж оперился. А потом ходил-ходил, мял-мял лыжами пухлый снег, все ельники по занавинам выходил—никого. Вымер лес...

Михаил поднял голову, глухо спросил:

— Валенки-то у ей как? Целы?

Это внимание с его стороны к сестре несколько смягчило мать. И она, затопляя печку, стала рассказывать, как Лизка ждала его целый день.

— Никуда не вышла. Хотела по деревне пройтись—где тут? Брат с ума нейдет. И уж она, мое горюшко, попереживала. И в окошко-то глянет, и на крыльцо-то выбежит... А тебя все нету и нету—как скрозь землю провалился... А как в сани-то стала садиться—еще же брат на уме: «Мама, кричит, привет Михаилу сказывай...»

Потом мало-помалу в разговор включились малые. Ах, ох! Лизка надела белое платье... Лизка вплела в косу красную ленту... Лизка играла с ними в жмурки... Лизка клевала мерзлую рябину—сладко...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Ненамного—всего на воробьиный скок прибавился день после Нового года. И солнце еще не грело—помедвежьи, на четвереньках ползало по еловым вершинам за рекой. А повеселее стало жить.

В первых числах января в Пекашино приехал сын Трофима Лобанова—Тимофей.

Тимофей, можно сказать, восстал из мертвых, потому как с первых дней войны не было от него никаких

вестей. И вот посмотрите: жив. Ну не чудо ли? А может, и наш где запропал? Может, зря оплакивали все эти годы как покойника?

Но, пожалуй, еще больше взбудоражил пекашинцев приезд Лукашина. Как? Зачем пожаловал? Неужели ради Анфисы?

— Нет, за-ради вас,— с издевкой говорил бабам Петр Житов. — Колхоз подымать приехал.

И вот как бывает: поверили бабы. А вернее сказать, кончилось у людей терпенье. Где это слыхано, чтобы человек круглый год задарма гнул хребтину, да еще и должником остался? А Першин так закончил хозяйственный год: стограммовка на трудодень и с доброй половины колхозников денежные вычеты.

Одним словом, на первом же собрании бабы завопили в один голос:

— Лу-ка-ши-на!

Толку из этого вопля, казалось тогда, никакого не будет, ибо всем давно известно, что такие дела не тут, не в деревенском клубе, бывшей церкви, решаются, а немножко повыше, да и Лукашина к тому времени уже в район на службу взяли.

А вот поди ты: услыхали, видно, бабий вопль наверху. Во всяком случае, в начале марта стало доподлинно известно: Першина из колхоза забирают.

2

Смена властей в деревне случилась в тот день, когда Михаил с Петром Житовым ездил по сено на Синельгу.

Конюх Ефим был без ума от нового председателя:

— Ну уж, ну уж, мужики, не видал, не видал такого человека! Все у меня выпросил, все вызнал, на конюшню зашел, в избушку заглянул. «Дедушко, говорит, почто у тебя печки нету? Разве, говорит, мыслемо это дело старому человеку без печки жить?..»— Ефим всплакнул.

— Давно он был здесь? — нетерпеливо прервал Ефима Петр Житов.

— Новая-то головка! А тольки, тольки до вас. И вот что вам, робята, скажу. Не домой, не к жене побежал, а в правленье. Прямехонько от конюшни да в правленье...

В правлении, однако, огня не оказалось. Пётр Житов, злясь на свое легковерие (они даже сено с саней не свалили — вот как приспичило), выругался:

— Олухи мы с тобой, Мишка. Уж, кажется, жизнь мылит-мылит нас, а все без толку. Да и кой хрен делается, ежели мы эту новую власть завтра увидим! Перемаемся как-нибудь ночь, а?

Он поднял кверху голову, посмотрел на все еще не потухшие в синих сумерках ледяные сосульки над окошками и вдруг предложил совсем противоположное тому, что только что говорил:

— Поехали на дом.

— Да неудобно. Что это будет, ежели все на дом попрутся?

Петр Житов возразил:

— Ну, ежели на дом нельзя, то это, скажу я тебе, тоже не председатель. Поехали.

Пришли они не вовремя. Это было ясно. У молодоженов — Петр Житов окрестил их так — происходил какой-то разговор. И разговор, судя по всему, серьезный, крупный. Лукашин стоял посредине избы в очень решительной, отнюдь не семейной позе: руки в карманах брюк, челюсти сомкнуты плотно, до впадин на щеках. На них с Петром Житовым глянул коротко, исподлобья. Одним словом, не скрывал, что ему не до них. А Анфису Петровну выдавали глаза. Когда она сильно волновалась, у нее моментально отливала от лица кровь, и поэтому глаза становились особенно темными и непроглядными. Как две проруби зимой.

Петр Житов толкнул Михаила в бок: смотри, мол, не у нас одних, грешных, семейные радости — и сказал, кивая Анфисе Петровне:

— Ты чего калишь мужика? Чем он тебе не угодил?

— Калю, Петя, не отпираюсь, — как всегда, прямо ответила Анфиса Петровна. — Видит бог, не хотела я, чтобы он стал председателем.

— А чего? Худо ли — деревней будет править. Сама небось правила.

— Правила. Всю войну правила. А чего выправила? Стали снимать — ни у людей, ни у райкома слова доброго для меня не нашлось.

Михаил не знал, куда и глаза девать: это ведь его стараниями так отблагодарили Анфису Петровну. Но тут опять раздался голос Петра Житова:

— Сказывай! За председательство на тебя женки взъелись?

— А за что же?

— За прыть.

— За какую еще прыть?

Петр Житов громко захохотал:

— Ты, едрена вошь, вон ведь какая. Двух мужиков взаглот взяла. Другая бы видимости мужичьей была рада, а ты — старого не хочу, нового подай. Вот бабы на тебя и рассердились. Девки, понимаешь, на корню посохли. Зайди в любую деревню — их как грибов червливых осенью в лесу. А ты в это самое времечко давай играть в довоенную игру: мороженого не хочу, кислое тоже не по мне...

Петр Житов, вне всякого сомнения, говорил это от чистого сердца. И говорил не столько для самой Анфисы Петровны, сколько для Лукашина: вот, дескать, какая у тебя женка. Цени! А вышло черт знает что. Лукашин побелел, брови крыльями распластались по выпуклому лбу — вот-вот бросится на Петра Житова, а Михаил — тоже хоть сквозь землю провалиться: не привык, чтобы Анфису Петровну разбирали при нем как бабу.

Положение выправила сама Анфиса Петровна. Она не обиделась, не стала выговаривать Петру Житову, а быстро, как гостеприимная хозяйка, выставила на стол поллитровку — и разговор сразу переменился. Точнее сказать, переменился Петр Житов: голову поднял, победителем сел за стол.

Первый тост — Петр Житов знал всякие городские церемонии и любил при случае вернуть заковыристое словечко, — первый тост Петр Житов провозгласил было за нового председателя, но Лукашин решительно воспротивился. Нет, сказал он, за нового председателя подождем пить. За нового председателя мы выпьем тогда, когда сдвиги в колхозе наметятся.

— Хм, — промычал Петр Житов и с интересом посмотрел на Лукашина. — Можно и так. А за что же сейчас выпьем?

— За что? — Тут Лукашин наконец улыбнулся. — А хотя бы за то, чтобы вот за этим самым делом по-реже встречаться.

— За горячим?

— Да,— по-прежнему с шуткой, но и твердо сказал Лукашин.— Когда кумовьев много, работы не жди. Так, бывало, у нас говорил отец. По-моему, неплохо говорил, а? Что скажешь, Михаил?

Михаил в знак согласия живо кивнул. Ему очень понравилось, как Иван Дмитриевич срезал Петра Житова. Твердо и в то же время не обидно. Дескать, учти, любезный. Я сразу понял, что ты за гусь. Каждое дело вспрыскивать — вот ты из каких. А этого у меня не будет. Прошу принять к сведению.

Петр Житов налился кровью — не привык к такому обращению со своей особой. В Пекашине кто возразит ему? И Михаил подумал: не миновать скандала. Но в последнюю минуту Петр Житов вышел из штопора.

— А у нас говорят так,— ответил он Лукашину,— мы работы не боимся, было бы хлёбово.— Помолчал и следующие слова вбил, как гвозди: — Да, так у нас говорят.

— Хлёбова много не будет. По крайней мере в ближайшие два года. Это я тебе начистоту говорю, товарищ Житов.

— Да ты понимаешь, про какое я хлёбово? Неуж не слыхал присказку? Про то, которое кусают.

— И я про то,— сказал Лукашин.

Тут Петр Житов откинул назад свою крупную голову и одичало посмотрел на него, Михаила, которого слова Лукашина тоже хлопнули как обухом по голове. Как это — «хлёбова не сулю»? Значит, как прежде: вкалывай-вкалывай, а насчет того, чтобы пожрать, не рассчитывай?

Из задосок выглянула Анфиса Петровна (она хлопотала над самоваром) и вопросительно уставилась на Лукашина. Видимо, слова мужа удивили и ее.

Петр Житов, оправясь от изумления, деланно рассмеялся:

— Вот это председатель! Ну-ну, давай. Первый раз слышу. У нас, товарищ Лукашин, даже Денис Першин и тот понимал, чего народ хочет. Помнишь, Анфиса, как он сказал на собрании? Меня, говорит, либо на кладбище отвезете, либо я выведу на большую дорогу «Новую жизнь».

— Это я тоже слышал,— сказал Лукашин.— Как-то председатели колхозов смеялись на совещании. А я не хочу, чтобы надо мной смеялись.

— Так,— сказал Петр Житов и стал загибать пальцы.— Сорок пятый— раз, сорок шестой— два, сорок седьмой— три. Три года после войны люди только и ждут, как бы досыта пожрать. И партия одобряет. В Москве большие мужики пленум по этой части собирали. А товарищ Лукашин на все это— крест. Нет, говорит, не надейтесь. Еще два года задаром робить.

— Я так не говорил,— сказал Лукашин.

— Мишка, я неверно цитирую?

Лукашин придвинулся к Петру Житову:

— Ты, я слышал, плотник, да?

— Допустим,— сквозь зубы ответил Петр Житов.— А дальше?

— Скажи, когда мужик новый дом строит, очень он роскошно живет?

— Это ты к чему? К тому, что мы, дескать, тоже новый колхозный дом строим? С тридцатого года строим. А человек, между прочим, один раз живет:

— А я и не знал. Вот спасибо, что разъяснил.— Лукашин злыми, раскаленными глазами глянул на Петра Житова и заговорил под стук указательного пальца:— Коровника нет? Не выдумываю? Да? Телятник на ладан дышит— я виноват? А грузовик? А мельница? Долго еще будем греметь по всем домам жерновами?

Анфиса Петровна поставила на стол кипящий самовар, но Петр Житов не стал дожидаться, когда она нальет ему чаю. Он налил себе вина. Тяпнул в одиночку и сразу же пошел в новое наступление на Лукашина.

— В части программы разъяснено,— сказал Петр Житов.— Теперь имею другой вопрос. Можно?

— Попробуй,— сказал Иван Дмитриевич.

Петр Житов спросил:

— Сам, добровольно поохотил к нам или через Подрезова?

— Через райком,— ответил Лукашин.

— Ясно. В общем, по партийной принудилровке.

— По партийной дисциплине.

— Ну, один хрен. Главное, что не своей охотой. А как— это неважно.

Петр Житов явно искал скандала: не мог допустить, чтобы верх в споре остался не за ним, а Лукашин тоже не хотел уступать— свое твердил.

— Нет, важно,— сказал он упрямо.

Анфиса Петровна делала ему знаки: не заводись. Не видишь разве, что человек пьян? Не помогло. Дьявол вселился в Лукашина. Михайл его таким и не знал, да и для Анфисы Петровны, судя по ее тревожному взгляду, эта запальчивость была внове.

Порядок навела Олена, жена Петра Житова. Она не стала, как он, Михайл, раздумывать, с какого бока вмешаться в застольный спор, а с порога наорала на мужа («Срамна рожка! Не успел человек заявиться, он рюмки выпрашивать. Ты гнала бы его, шаромыжника, Анфиса Петровна! Он ведь шары нальет — море по колёно»), выдала ему, Михайлу («А ты чего не отговаривал? Али тоже без рюмки жить не можешь?»), затем подошла к столу, кивнула:

— Вставай.

И Петр Житов — вечная для всех загадка! — встал и, не говоря ни слова, поковылял на выход.

3

Дорогу из нижнего конца деревни до своего дома Петр Житов одолевал с перекуром на крыльце клуба. Это неизменно, хотя бы крещенская стужа стояла на дворе.

Устроил перекур Петр Житов и сейчас, тем более что Олены рядом не было — она, как только вышли они от Анфисы Петровны, побежала домой. Да если бы Олена и была рядом с ними, то по этому поводу не сказала бы ни слова. Наоборот, сама бы потребовала, чтоб мужик передохнул, потому что из-за потертой культи Петр Житов иногда по неделе не может стать на протез.

— Мда, — заговорил Петр Житов, когда раскурил свою сигарку, — был у нас председатель, был...

— Кто? Першин?

— Дура! Я о том самом бабьем царстве, от которого мы на собранье отреклись. А нет, мальчик, не всякие штаны лучше бабьей юбки, — изрек поучающе Петр Житов.

— А чем тебе Лукашин не понравился? — спросил Михайл. — Что не в твою дудку пел?

— Заткнись! Я о ком веду речь? О Лукашине? Я об Анфисе, балда. Ух, баба! Какая баба! Я как-то не разглядел раньше. Анфиса и Анфиса. А ей бы и быть пред-

седателем. И на хрена нам кого-то со стороны искать. Петр Житов пьяно икнул и повторил свое недавнее изречение: — Мда, не всякие штаны лучше бабьей юбки. Вот что не след забывать, мальчик.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

За ночь выпал снег. Пухлыми сугробами перегородил заулук, залег под окошками.

Михаил на широких еловых лыжах обежал свою бригаду, роздал наряды и вернулся домой еще затемно. Ребята уже поработали. Звездами, алмазами сверкала свежая тропа, пробитая в заулке. Но он не мог удержаться, чтобы не взять в руки лопату. Он с детства любил эту работу. Бодрит, радует свежий снег. И потом целый день носишься, как на крыльях. Без усталости. С весенним шумом в крови. А кроме того, разгреbanие снега у него всегда связывалось со словами бабушки Матрены, которая, когда он был еще ребенком, говорила ему: «Разгребай, разгребай дорожки, родимой. По расчищенным-то дорожкам ангелы счастье людям разносят».

Мать, возвращаясь в это время с телятника, видно, тоже вспомнила бабушкины слова:

— Ну, сегодня все мужики с лопатами. Нагребут счастья.

— А кто еще? — спросил Михаил.

— Хозяин новый. Сейчас встретила — к кузнице с лопатой идет.

— А мне ничего не наказывал?

— Да нет, я ведь издали, не близко его видела.

Михаил пошаркал-пошаркал лопатой и побежал на задворки. Нехорошо это — председатель откапывает кузницу, а он, бригадир, дома огребается.

Кузницу в эту зиму не открывали ни разу, и пацаны приспособили ее под горку. Нарыли снега к воротам до самой крыши, скат залили водой, и вот каток. Михаил трижды разламывал горку, но пацаны — народ упрямый — снова восстанавливали, и в конце концов он махнул рукой, а в последнее время, проходя мимо поздно вечером или рано утром, даже сам скатывался с горки,

Лукашин поднятой лопатой приветствовал его. И-эх! — врезался Михаил. В пуд, в два поднял снежную глыбищу да как бросил — снежное облако накрыло и его самого, и Лукашина.

В тот момент, когда широкая тропа, а вернее сказать, траншея уперлась в ледяной скат перед воротами кузницы, к ним подошел новый помощник — Илья Нетесов.

Илья Нетесов выехал из лесу на один день, с тем чтобы подкинуть своей семье дровишек, и вот человек: не за дровами первым делом отправился, а к ним.

Илья предусмотрительно захватил с собой железный ломик, и Михаил быстро разворотил ребячью горку.

Наконец старые, основательно изрешеченные дробью ворота — каждое ружье пристреливалось тут — подались вперед. Стужей и темнотой погребла дохнуло на них.

Михаил кинулся разжигать очаг — не приведи бог стоять в мертвой кузнице. Он быстро нарезал растопки со старой берестяной хлебницы, загреб в кучку прошлогодние угольки под закоптелым колпаком, но Петр Житов остановил его. Петр Житов, подкативший к кузнице на лыжах следом за Ильей — на здоровой ноге серый валенок, на протезе кирзовый сапог, — сказал:

— Нет, пушай начальство. — И добавил, рассыпавшись трескучим смехом: — Момент исторический. Так сказать, в колхозе «Новая жизнь» задувается индустриальный цех.

Михаил десятки, сотни раз разжигал огонь в кузнице — и чего бы волноваться? А волновался. У него перехватило дыхание, когда Лукашин начал раскрывать коробок со спичками. И — что совсем удивительно — волновался Петр Житов. Петр Житов вдруг положил свою руку на его плечо.

Наконец спичка загорелась. Желтый огонек с треском побежал по тонкой берестяной ленточке. Руки Лукашина, прикрывавшие огонек, стали наливать малиновым соком. Отчетливо проступили белые порезы и шрамы на пальцах.

Когда разгорелось пламя, Петр Житов в ознаменование нынешнего исторического события — не мог не съязвить! — предложил выбить памятную медаль или, на худой конец, сковать подкову на счастье.

— Ну-ко, Илюха, — толкнул он Илью, — давай! Ты мастер на счастливые подковы.

Намек был нехороший. Петр Житов, конечно, имел в виду подкову, которую Илья сковал в первый день своей работы в кузнице после возвращения с войны. «На счастье»,— сказал тогда Илья и при них, то есть при Михаиле и при Петре Житове, вбил подкову в нижнюю ступеньку своего крыльца.

Однако Илья не из тех, кто из-за пустяка лезет в бутылку. Илья сказал, застенчиво улыбаясь:

— Нет, подкова, я думаю, председателю ни к чему. А вот нож хороший иметь, по-моему, не мешает.

— Не мешает,— согласился Лукашин и вдруг, к всеобщему удивлению, сам встал к наковальне.

Михаил все же думал: шутит Иван Дмитриевич. Петра Житова хочет разыграть. Ничего подобного! Попросил поискать старый плоский напильник—верно, быстрее всего из такого напильника можно сковать нож,—раскалил напильник докрасна—и в клещи. Покузнецки, под самое основание стержня зажал напильник, так что сразу видно: держал в руках клещи.

Нож, если говорить откровенно, вышел так себе. Надо час, не меньше, обдирать на точиле, чтобы он стал более или менее гладким. Но сам Лукашин был довольнехонек. Запотел. Щеки налились жаром. И такая счастливая улыбка—дом построил!

— Давненько не приходилось держать в руках молотка,—сказал он.—Лет, пожалуй, тридцать. А когда-то отец из меня кузнеца хотел сделать. Кузница у нас была.

— Вот как!—с волнением сказал Илья.—Дак, значит, мы с тобой тезки, товарищ Лукашин?

— В каком смысле?

— А в том, что у моего отца тоже кузница была. Вот это хозяйство,—Илья обвел рукой темные стены,—наше, нетесовское. Меня из-за этой кузницы еще три года в колхоз не принимали. Как сына твердозаданца. Ну да что об этом вспоминать.—Илья поспешно поднял с земляного пола ломик, махнул рукой в сторону своего дома: извините, дескать, дела.

Но Лукашин задержал его. Лукашин заговорил насчет работы в кузнице. Согласен ли Илья Максимович встать за наковальню?

— А почему не согласен,—ответил Илья.—Я кузнечное дело люблю. Вот только с лесом развяжусь—и с дорогой душой.

— Это когда же?

— Да когда у нас из лесу выезжают? Примерно середь мая.

— Нет,— сказал Лукашин. — Это не годится. Нам надо, чтобы кузница сейчас дымила. Посевная на носу.

Все — и Михаил, и Петр Житов, и Илья — переглянулись меж собой, улыбнулись: забавно говорит председатель. Сразу видно, что новичок.

Петр Житов, снисходительно поглядывая на Лукашина, разъяснил, что за порядки у них в районе. Ни один председатель не может снять своего колхозника с лесозаготовок без ведома райкома, а тем более групповода.

— Вот как! — удивился Лукашин. — Значит, колхоз не может своими колхозниками распоряжаться? А кто установил такой порядок?

— Да не мы же, — ответил Петр Житов. — С тридцатых годов такой порядок идет.

Лукашин подумал. Сказал:

— Ладно. Выезжай, Илья Максимович. А насчет ответа не беспокойся — это уж моя забота.

2

Да, такого, чтобы кто-то из председателей колхоза пошел поперек самого, то есть поперек первого секретаря райкома, такого еще не бывало. С ним, с Подрезовым, можно поговорить, даже поспорить насчет колхозных дел — это допускал; но там, где речь заходила о лесе, там замри. Там один говорит — он, Подрезов. Там слово Подрезова — закон.

И вот объявился на Пинеге человек, который захотел жить по-своему. Само собой, что об этом в тот же день стало известно самому (скорее всего, Ося-агент брякнул, он в тот день ездил в район). И распекай последовал немедленно.

— Ты чего это новые порядки заводишь, а? Ты с кем это надумал?

За полную точность этих слов Михаил, конечно, не мог поручиться, хотя в то время, когда раздался звонок Подрезова, он сидел у председательского стола, но, судя по тому что ответил Иван Дмитриевич, Михаил мог догадаться и о словах Подрезова.

Лукашин ответил так:

— Евдоким Поликарпович, до сих пор я думал, что колхоз сам распоряжается своими колхозниками.

— А ты не думай, не думай! Так лучше будет.

Вот эти слова Михаил расслышал уже отчетливо, да, надо полагать, расслышали их и другие, так как Лукашин держал трубку неплотно к уху.

В конторе вдруг стало тихо. Порядочно собралось людей в этот вечерний час. Порядочно, конечно, относительно. Потому что зимой какой народ в деревне? Старушонки, доярки, конюх, два-три инвалида, а из молодежи, пожалуй, только он один, Михаил.

Михаил очень переживал за Лукашина: что ответит Подрезову? Сумеет ли вывернуться так, чтобы не уронить себя в глазах колхозников? Денис Першин, когда разговаривал по телефону с первым, вытягивался чуть ли не по стойке «смирно», и по этому поводу много было всяких насмешек и разговоров, даже частушку похабную кто-то пустил.

Иван Дмитриевич не дрогнул, не согнулся. Ответил в том духе, что он действует в рамках устава сельхозартели. А кроме того, сказал Иван Дмитриевич, он выполняет решение райкома.

— Какое еще решение? — пробасил Подрезов.

И эти слова опять все услышали.

— Решение райкома о возвращении кузнецов с лесозаготовок. Могу напомнить, Евдоким Поликарпович. На днях получили это решение.

Все, кто был в конторе, заулыбались, закачали головами: ловко, ловко срезал. Середь зимы в лужу посадил. Но, конечно, никто всерьез эти слова не принял: где же председателю колхоза свою дорогу торить? Хорошо уж и то, что слова не побоялся сказать. И Михаил тут не был исключением. Он был тоже уверен, что за ночь Лукашин одумается, пойдет на попятный,— и кто укорит его за это?

Лукашин за ночь не одумался. Лукашин назавтра сам поехал на Ручьи и поздно вечером привез оттуда Илью Нетесова. Со всем скарбом.

В Пекашине замерли. В Пекашине ждали. Что будет? Какой грянет гром? Анфиса Петровна на глазах у всех осунулась. Это ведь не шутка — самовольно, вопреки райкому, снять человека с лесозаготовок. Самое малое — строгач обеспечен. А при желании можно и под монастырь.

Петр Житов ходил злой и мрачный. Вот когда выяснилось, что и он возлагал кое-какие надежды на нового председателя. А что касается Михаила, то он по вечерам не выходил из конторы. Сидел и ждал.

Томление это и выжидание длилось десять дней. И разрешилось оно совершенно неожиданным образом: из райкома пришла телефонограмма:

«В связи с объявленным по области месячником на лесозаготовках колхозу «Новая жизнь» предлагается в двухдневный срок выделить на лесозаготовки 7 человек. За невыполнение данной директивы председатель несет личную партийную ответственность. Под рез в».

3

Месячник по лесозаготовкам (их стали объявлять с начала тридцатых годов) означал примерно то же самое, что решающий штурм укреплений врага на фронте. Всё бросалось в лес. До последнего. Люди, лошади, припасы. В районе закрывались учреждения, конторы, даже райком пустел в эти дни... А что же говорить о колхозах? Их-то уж мели-чистили вдоль и поперек. И это в то время, когда весна на подходе, когда крестьянская работа кричит из каждого угла.

В «Новой жизни» на правление вызвали всех, кто по возрасту и по здоровью подпадал под закон о трудовинности.

Первыми, вполне понятно, отпали доярки и телятница — скотину без присмотра не оставишь, скотина на месячники еще не приучена откликаться. Парторг Озеров тоже не в счет — учитель. А кто остался?

Остались: Михаил Пряслин, Илья Нетесов, счетовод колхозной конторы Олена Житова, Анфиса Петровна, ну и сам Лукашин. Пять человек. Если даже всех пятерых отправить, то и тогда распоряжение райкома не будет выполнено.

Лукашин сидел с плотно сжатыми губами. Желтый, вымотанный. Как конь, на котором всю ночь работали и которого сейчас снова запрягли.

Понял, значит, что это такое — быть колхозным председателем, подумал Михаил и, чтобы не тратить попусту время, предложил первым в список на отправку в лес включить Илью Нетесова, затем одного из бригадиров (Михаил предложил себя) и затем Олену Житову, кол-

хозного счетовода, поскольку в колхозе все равно нечего считать.

Колхозники с этим предложением согласились — из пяти человек много не накройшь, за исключением того, что вместо него, Михаила, в лес решили послать Анфису Петровну. На этом, кстати сказать, настояла сама Анфиса Петровна, потому что какой же бабе под силу возка дров и сена? А ведь именно на бригадира, который останется дома, ляжет вся эта работа.

Да, колхозники с предложением Михаила согласились. Но только не председатель. Председатель уперся — ни в какую: должна работать кузница — и basta.

А кто же говорит, что не должна? Может, он, Михаил? Может, те бабы с которыми он по веснам пашет поля? Уж кому-кому, а им-то, пахарям, известно, что за техника в ихнем колхозе. Плуги за войну износились начисто — к каждому надо лемех наварить, и если на то пошло, так не одного, а двух кузнецов надо бы поставить. Да только кто это им позволит — в месячник своим умом жить?

В общем — небывалое дело у них в колхозе! — колхозники стали учить сознательности председателя. И он, Михаил, и Анфиса Петровна — тут нет жен да мужей, — и Илья Нетесов. (Мужик сидел в мыле. Не привык, чтобы многодетную бабу впереди него в лес гнали.) И Лукашин, казалось, начал сдаваться: умный же человек. Как не понять того, что малому ребенку понятно.

Нет, черта с два! Печать колхозную вдруг на стол, сам порохом вспыхнул: председатель вместо кузнеца поедет.

— Куда? В лес?

— Да у нас в войну такого не бывало!

— А сейчас будет! — упрямо сказал Лукашин.

И люди замолчали. Ведь в конце-то концов не враги же они были себе.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

О Лукашине заговорили в районе. Кто? Откуда такой смельчак взялся, что ему и Подрезов не указ? А потом — где это слыхано, чтобы председатель колхоза и сам к пню встал, и жену свою к пню поставил?

— Надо поглядеть,— сказал себе Егорша, когда весть о приезде Лукашина и Анфисы Петровны на Ручьи дошла до лесопункта.

Время свободное у Егорши было — он второй день сидел на бюллетене, а проще сказать, сачковал, потому что порубка пальца на правой руке была пустяковая. Но раз медицина дала бюллетень, с какой стати отказываться? Будет, повтыкал он без выходных. Осенью, например, кто по неделям не слезал с трактора? Суханов-Ставров. Смотри районную газету от 7 ноября за № 79 — там об этом ясно сказано. А трактор вышел из строя — кто начал гнуть хребтину у пня? Об этом смотри «Доску показателей» у входа в контору лесопункта. Графа первая — «Наши лучкисты». Там фамилия Суханова-Ставрова не на последнем месте. Нет, угрызений совести насчет того, что он маленько засачковал, у Егорши не было.

Солнышко стояло еще высоко, когда он спустился в низину, где под черными мохнатыми елями горбился колхозный барак. Заплывшие смолой стволы основательно подрублены — кто только не вострил на них своего топора! И он, Егорша, в свое время вострил, да и сам-то барак построен его руками.

А крыльца все еще не сделали, отметил про себя Егорша, скользнув беглым взглядом по дощатой двери, над которой висели ледяные сосульки. И вместо скобы все тот же деревянный держак, который он собственной рукой вбил еще в сорок втором году. Эх, колхозный, колхозный сектор...

Не заходя в барак, он прошел к кухне — синий дрожащий дымок над снежной шапкой он заметил еще с горы. Лизки на кухне не было. Он бросил в угол сверток с грязным бельем, поставил тальянку на скамейку — натянула за дорогу плечо — и вдруг замер.

Серый камень, серый камень,
Серый камень сто пудов.
Серый камень так не тянет,
Как проклятая любовь.

Егорша быстрее ветра выскочил из кухни. А ну, кого задавила любовь? С кого снять стопудовый камень?

Привстав на носки, он обежал глазами вокруг себя. У баньки, глубоко, по самую крышу, вросшей в сугроб над ручьем, плясали розовотелые девахи. Нет, не де-

вахи. К сожалению, березовая древесина, раскрашенная вечерним солнцем.

Он встал на полную ступню — хромовые сапожки жалобно скрипнули — и вдруг опять вытянулся, как струна: на этот раз ему почудился звук, похожий на всплеск воды.

В один миг, чиркнув подошвами по заледенелой дорожке, он перенесся к баньке, схватился за ствол березы, чтобы не скатиться вниз к ручью. Вот она, птаха голосистая!

У проруби, присев на корточки, полоскала белье девушка — в одном платье, без платка.

Жаркая, подумал Егорша. Но кто же это такая? Он-то по первости, когда услышал частушку, подумал было на Раечку Клевакину. Та любит трезвонить про любовь. Но у Раечки волосы потемнее, а эта вон какая белая. Как куропатка.

Девушка в это время, отжимая белье, разогнулась, и лицо у Егорши перекопилось, как от изжоги: Лизка...

Вялым движением руки он смахнул прилипшую к щеке тонкую березовую кожицу, искал глазами дятла, застучавшего за ручьем.

Дятел сидел на сухой березе — крупный, из генеральской породы, с красными лампасами. Работал разборчиво, с роздыхом. В одном месте долбанет — не нравится. Долбанет в другом... Наконец, подавшись к вершине, нашел, что надо, и стал закреплять хвост.

— Чего, как пень, выстал на дороге?

А, черт, эта еще малявка! Егорша раздраженно скользнул глазами по Лизке, поднимавшейся с корзиной белья вверх по узкой тропке, сделал шаг в сторону и рухнул по поясу.

Лизка захохотала:

— Каково в сапожках-то? Не форси, форсун. Выдумал в сапожках зимой ходить...

— Ладно, ладно, проваливай.

— А что?

— А вот что. Больно расчирикалась...

Выбравшись на тропку, Егорша выковырял из-за голенищ снег, отряхнулся, закурил.

Вечерело. Солнце садилось на ели за баракон, и небо там было багровое. Лизка, похрустывая снегом, развешивала белье у баньки. Красная косоплетка ярко горела у нее на спине,

Тожe мне, чудо гороховое, подумал Егорша с усмешкой, куда девки, туда и она. Ленту развесила.

Веревка между двумя березами была натянута высоконочко, и Лизка всякий раз, закидывая на нее рубаху или портки, приподнималась на носки валенок, и старенькое ситцевое платишко туго обтягивало ее небольшую фигурку.

А ведь она ничего, вдруг сделал для себя открытие Егорша. Ей-богу! И все на месте... Руки, ноги... Ах ты, кикимора...

Не спуская глаз с Лизки, он докурил папиросу, натянул поглубже на голову кепку.

— Белье-то принес? — спросила Лизка, когда он подошел к ней.

Егорша с прищуром, легонько покусывая губы, смотрел на нее.

— На вот, уставился! Я говорю, белье-то принес? — Лицо у Лизки покраснелось, в зеленых глазах играло солнце.

— Руки-то не замерзли? — спросил Егорша.

— Чего? — удивилась Лизка и вдруг рассмеялась. — Да ты что, парень, рехнулся? — Она вынула из корзины мужскую рубаху, развернула ее и легко, с ловкостью опытной бабы кинула на веревку. — Вот чего выдумал! Руки замерзли... Да я сколько лет стираю. И дома, и здесь всех обстирываю.

— Смотри не простудись, — сказал Егорша.

— Сам не простудись. Может, замерз? Полезай в баньку. Она топленая. Я только что белье стирала.

Егорша скосил прищуренный глаз на черные дверцы баньки с деревянным держакoм, оглянулся вокруг.

План созрел моментально.

— Пойдем, палец поможешь перевязать.

— Палец? — У Лизки округлились глаза, когда она увидела бинт на его руке. — Где это ты?

— Ерунда. В лесу поцарапал.

— Порато? Болит?

— Временами...

— Ну ладно. Я сейчас. Подожди маленько.

В баньке было тепло, сухо. Привычно пахло березовым веником.

Пропуская вперед Лизку, Егорша тихонько накинул крючок на дверцы.

— Иди сюда, к окошечку, тут светлее,— позвала его Лизка.

Он сел рядом с ней на скамейку, зубы у него стучали.

— Ну вот видишь,— сказала Лизка,— замерз. А я нисколечко. Весь день на улице в одном платье и вот нисколечко не замерзла.

— Горячая, значит.

— Наверно,— усмехнулась Лизка.

Она склонилась над его пальцем и начала распутывать бинт. Руки у нее были холодные, жесткие.

— Узелок-то еще не скоро и развяжешь. Топором надо рубить. Кто это тебе затянул? Феня-фельдшерица?

— Ага...

— Ей бы не руки перевязывать, а возы с сеном. Правда, правда!

Белая Лизкина голова еще ниже склонилась над его рукой. В лучах вечернего солнца она казалась малиновой.

Егорша надавил сапогом на Лизкин валенок — не понимает, положил свободную руку на плечи — Лизка только рассмеялась:

— Что, обнесло? Да не бойся. Я еще не развязала. На вот, дрожит, как лист осиновый, а еще мужик называется.

Егорша перевел дух. Вот еще дура-то набитая! В жизни такой не видал. И тут, отбросив всякую дипломатию, он просунул ей руку под мышку, цапнул за грудь.

Лизка вздрогнула, мотнула головой, затем резко откинулась назад.

— Ты чего? Ты чего это?

— Ладно, ладно. Потихе. Не съем.— Не давая ей опомниться, он притянул ее к себе, крепко поцеловал в губы.

— Ка-ра-ул! Лю-ди!..

Лизка вырвалась из его рук, кинулась вон, но он оттащил ее назад.

— Дура! Кто людей на любовь кличет!

— Не подходи, не подходи! — закричала Лизка, пятясь в угол. Зеленые искры летели из ее глаз. И вдруг она охнула, пала на скамейку и расплакалась.— Я ему стираю-стираю, сколько лет стираю, а он вот что

удумал... Рожа бесстыжая... Скажу Мишке... Все скажу...

Егорша в нерешительности остановился. У него сразу пропало всякое желание возиться с этим недоноском.

— Ладно,—сказал он, неприязненно глядя на нее,—хватит сырость разводить. Нашла чем страшать, Мишкой... Может, еще в газету объявление дашь? Ай-яй-яй, какая беда на свете случилась! Семнадцатилетнюю кобылу пощупали.

Сильным ударом сапога он сшиб с крючка дверку, вышел на улицу.

Солнце уже закатилось. В красном зареве заката четко выделялись черные вершины елей. А за ручьем, как и прежде, шла долбежка—у дятла, видно, тоже месяцник.

Люди из леса еще не пришли, но барак не пустовал—в левом углу на нарах лежал человек.

— Загораем?—спросил Егорша.—Почем платят за час?

Тимофей Лобанов—это был он—приподнялся, блеснул глазами в потемках и перелег со спины на бок.

— Давай-давай, перемени позицию,—связвил Егорша, обиженный его молчанием.

Раньше, когда Егорша приходил сюда до возврата людей из лесу, он частенько заваливался на Лизкину постель и, лежа эдак с папироской в зубах, любил почесать языком с каким-нибудь сачкарем, в особенности с матюкливым стариком Постниковым, но сейчас, проходя мимо Лизкиной постели, он почему-то не решился сделать это.

Он зачерпнул кружкой воды из ведра, стоявшего на табуретке у печи, напился, достал папироску.

— Курить будешь?

— Без курева тошно.

— Что так? Гитлеровские харчи все еще отрыгаются?

Тимофей ничего не ответил. Лизка не приходила.

Что она там делает? Неужели все еще разливается? Ах, черт, надо же было связаться с этой мокрицей! Мало бабья на лесопункте...

С улицы донесся тягучий визг полозьев—кто-то подъезжал к бараку.

Егорша выскочил на улицу—где она, дура?

На кухне огня не было. Он побежал к баньке — надо срочно приводить ее в чувство. А то вернутся скоро люди — хрен ее знает, что ей взбредет в башку. Еще вой поднимет: вот, мол, хотел сильничать. Хороший был бы у него видик!

Дверка в баньку была закрыта на крючок. Он прислушался — плачет.

— Лизка, Лизка, кончай бодягу. Слышишь? У тебя ведь обед не варен — что люди-то скажут.

Ни звука.

— Слушай, бестолочь, ты хоть людям-то скажи что надо: мол, угорела в бане. Понимаешь?

Снова плач.

— Лизка, слышишь? Я на платье куплю — у нас талоны скоро давать будут. Ей-богу!

У конюшни, за кухней, распрягали лошадь. «Стой, стой, прорва окаянная!» Скрипели еще сани на подходе, и уже голоса людей раскатывались по вечернему лесу...

Егорша раздумывал недолго. Добежал до кухни, схватил гармонь и — прощайте братья колхозники. Художественную часть перенесем на другой раз.

Быстрая ходьба темным ельником скоро вернула ему самообладание, и он, поглядывая на звезды, с удивлением думал теперь о том, что произошло у него с Лизкой. Какая такая блоха его укусила? Березки, солнышко в дурь вогнали? И главное, хоть бы девка была — не обидно, а то ведь черт те что — недоносок, кисель на постном масле.

Со свойственной ему практичностью он живо прикинул возможные последствия — на тот случай, если бы Лизка подняла шум.

Во-первых, забудь на время дорогу в Пекашино, Мишка на дыбы: «А гад, сестру мою обижать?» Дедко, конечно, в ту же дуду: «Вот до чего дожили! Девка за нами всю грязь выгребает, а ты отплатил, нечего сказать...» Ну так. А еще кто? Не будут же они кричать на все Пекашино? Ясно, не будут — не дураки.

Хуже, ежели она, дуреха, подумал Егорша, тут, на Ручьях, растреплет. К примеру, этому самому Лукашину нажалуется. Ладно. Лукашин взовьется — партийный. А ты, душа любезна, что? Да, да! Постой руками размахивать. Мы пока чужих жен не уводим, а кто насчет молодой любви указ? Ну а своему начальнику лесопункта он тоже сумеет ответить. Кубики тебе даем? Даем,

На Красной доске висим? Висим. Правильно говорю, Кузьма Кузьмич? Не ошибся? Ну и бывай здоров! Встретимся на районном совещании стахановцев.

В общем, решил Егорша, ерунда. Главное на сегодняшний день — держи производственные показатели. Качай зеленое золото, как велит родина. А этот закон он усвоил неплохо. С четырнадцати лет топор из рук не выпускает. И завтра он еще даст кое-кому прикурить.

Скоро между деревьями стала проглядывать звездная Сотюга, а потом вдали, на крутояре, замелькали и огоньки.

Егорша развернул гармонь:

Лесорубы, лесорубы,
Лесорубы — золото..,

С песней подошел к лесопункту.

2

Михаил вошел в избу — Лизка. Сидит у стола на лавке.

— Ты чего это надумала, а?

— Что уж, девке и домой нельзя? — вступилась мать.

— Да нет, почему же... Я к слову.

Михаил разделся, снял валенки и поставил на печь, босиком прошел к столу. Мать подала крынку молока.

Ребята давно уже спали — время было позднее, за полночь. Лизка, судя по яркому румянцу на щеках, явилась домой недавно.

Его удивило ее молчание.

— У тебя все в порядке? Ничего не случилось?

— Да нет, ничего... — не сразу ответила Лизка и громко, с всхлипом ширнула носом.

— Невеста.., Нос-то пора на сушу выволакивать. Не маленькая.

И тут Лизка вдруг обхватила голову руками и рыдалась.

Михаил переглянулся с матерью, отодвинул в сторону крынку с молоком.

— Что, говорю, случилось?

— Не зна-а-а-ю.

— Не знаю? Как не знаю? Ночью домой прибежала и не знаю...

— Да так.., Скучно чего-то стало..,

— Скучно? Хэ, скучно... Когда я был у вас на Ручьях? Неделю назад? — Михаил побарабанил пальцами по столу. — Ты хоть спрашивала там кого? Нет? Ничего себе. Люди все в лес на месячник, а я пробежки по ночам делать...

Михаил еще говорил что-то в том же роде, потому что его начинали злить эти «ничего» да «не знаю», потом накричал на мать, которая, вместо того чтобы хоть какой-то ясности добиться от своей доченьки, набросилась на него — вот, мол, какой зверь, девке хоть домой не показывайся, — и в конце концов махнул рукой. Пускай разбираются сами. Сколько еще переливать из пустого в порожнее?

И он вышел из-за стола, лег на кровать и больше не сказал ни слова.

А утром проснулся — стоит Лизка возле него и улыбается. И уже одета, рукавицы на руках.

Он ни черта не понимал:

— Мати, что у нас с девкой делается? То слезы в три ручья, то рот до ушей.

Лизка смущенно рассмеялась:

— Да нету ее. На телятнике. — И протянула ему руку. — Не сердись на меня, ладно? Я побежала.

— Постой — «побежала». — Он спрыгнул с кровати, быстро оделся.

— Ты поела чего-нибудь?

— Нет, не хочу.

— Вот счастливый человек! А я бы собаку сейчас сожрал.

Выйдя из заулка на дорогу, Михаил несколько дольше обычного задержал руку сестры и вдруг, пристально глядя на нее, решил:

— Подожди. Я немного подброшу тебя.

Выстоявшийся за ночь конь подкатил к дому на рысях, розовый, как само утро.

— Садись! — крикнул Михаил.

И замелькали пекашинские дома, заплясали окна, налитые печным жаром. А потом они спустились под гору, выехали на реку, и как раз в эту минуту из-за елей на Копанце показалось солнце.

И понеслись, полетели брат да сестра навстречу солнцу — рысью, вскачь, под поклоны еловых вешек, расставленных вдоль зимника.

Михаил оборачивался назад, кричал:

— Хоро-шо-о?

И Лизка, довольнехонькая, без слов, одними глазами отвечала: «Хорошо!» — а когда дорога стала подниматься с реки в угор, к лесу, она вдруг обняла его и прыгнула с саней.

— Спасибо, брателко. Я теперь добегу.

Да, тут надо было расстаться, нельзя ему дальше, потому что он сейчас и за председателя, и за бригадира, и за мужика — во всех лицах. Сено — он, дрова — он, бабьи слезы да ругань — он, и перед райкомом за всех отдуваться — тоже он. Вот какой у него сейчас месячник! И, конечно, не будь всего этого, он, наверное, помягче бы обошелся вчера с сестрой. Но что же все-таки у нее случилось? Из-за чего она так убивалась-плакала?

— Слушай!.. — крикнул Михаил.

Лизка оглянулась, махнула рукой и опять побежала в угор, бойко, по-бабьи размахивая руками.

3

Восемь километров Лизка пробежала, ни разу не отдыхаячи.

И вот спуск с горы — маслено блестит колея на солнце, а внизу барак, конюшня, кухня, банька, вся заплывшая сверкающими сосульками. Все как раньше. И с нею ничего не случилось — стоит на ногах крепче прежнего. А ведь вчера ей казалось — конец жизни пришел. И она не то что на людей, на белый свет взглянуть больше не сможет.

Ах ты батюшки! Где только был ум? Все бросила, никому ничего не сказала, построчила домой. Спасай, мати! Спасай, брат! А от чего спасать-то?

Нет, сунулся бы теперь этот дьявол кудреватый, она бы знала, как образумить его. Расплакалась, расквасилась, а надо было ковшом, кочергой — чем попало огреть. Не суй лапы — не на ту наехал. В песне-то не зря поется: «У Егорушки кудерышки, кудерышки кругом. Это я назавивала суковатым батогом». Жалко вот только, что частушку-то она вспомнила поздно. Утром, когда мать стала затоплять печь. А то бы она не точила всю ночь слезами подушку, не сводила с ума родных.

Ладно, не дивитесь, ели, не судите, люди: не все рождаются сразу умными.

Барак сегодня был пустой. Солнечные зайчики мельтешили по кругляшам закопченных стен. А на столе немытая посуда, черные от сажи чайники, котелки...

Небывалая хозяйственная страсть, желание хоть как-то загладить свою вину перед людьми охватили все Лизкино существо. Она сняла с себя ватник, платок, сбегала на ручей за водой, развела в кухне огонь, все перемыла, прибрала, начистила картошки на обед, замочила треску, затем вспомнила, что у нее белье вчерашнее на веревке висит — собрала белье. А что еще делать?

Долго не раздумывала: оделась, вскинула топорик на плечо — и в лес.

Давно она не была в лесу. С той самой поры, как ее на кухню поставили. Работенка неприметная, а хватает. Утром — чай, завтрак, немудреная пускай еда — мусенка или каша овсяная, а встать надо раньше всех. А люди в лес отправились — все надо прибрать, пол подпахать, а то и помыть, а потом стирка, тому рубаху зашить, этому рукавицы починить — как на огне горят рукавицы, а там, смотришь, и темень: про обед смекай, барак топи, баню топи — люди в лесу намерзнутся, хоть каждый день готовы париться.

Но теперь дело другое. Теперь дни стали длинные — можно и ей часа на два, на три в лес выходить. Раз у людей месячник, пускай и у нее будет месячник. Да, может, и копейку какую положат — не помешает.

Первым человеком, которого увидела Лизка в лесу, была Раечка Клевакина.

Идет, отвешивает земные поклоны лошадка, нагруженная сосновым долготьем, а Раечка бежит сзади — в новых черных валенках, в ярком платке с длинными кистями, и белые зубы напоказ — за версту видны. Легко, как на празднике, живет Раечке. Лес ей в новинку, вроде забавы после зимнего сиденья на маслозаводе. «Ой, как у вас тут красиво, Лиза!..» Красиво, когда солнышко с утра до вечера барабанит. А вот что бы ты запела в морозы, когда тут ели в лучину щепало?

— Лиза, Лиза! — замахала руками Раечка. — Где ты была? Мы вчера просто с ума сходили...

Лизка подождала, пока Раечка не подбежала к ней, сказала:

— А чего сходить-то? Я ведь не иголка — в сене не потеряюсь.

— Да как же! Мы пришли из лесу, а тебя нигде нету, обеда нету...

— Ладно, невелики баре. Раз-то и сами сготовите.

Раечка пристально, отступая на шаг, оглядела ее:

— Ты сегодня какая-то не такая.

— Не выдумывай, — отрезала Лизка и пошла дальше, навстречу следующей лошади.

Ехал Петр Житов — здоровая нога на весу, другая, с протезом, прямая, как палка, вытянута по бревну.

Трудповинность на Петра не распространялась — инвалид. Но как быть, если на месячник выписали жену, а дома трое малых ребятишек, корова да еще мать-старуха, за которой тоже присмотр нужен?

Петр Житов, то ли оттого, что вообще не заметил ее, то ли потому, что своих забот хватает, проехал мимо, не разжав губ.

Лизка немножко приободрилась: двух человек встретила — ничего, сквозь землю не провалилась и Раечке ответила как надо. Может, и с другими обойдется.

Рабочий день был в разгаре. Делянка ревела и ухала. С гулом, с треском падали мохнатые ели, взметая целые облака снежной пыли, визжала пила, с остервенением вгрызаясь в смолистую древесину, а в снегу по грудь, по репицу бились лошади: самая это распроклятая работка — вывозить бревна с делянки на большую дорогу.

Но на перевалочном узле работа и того тяжелее. Тут вытащенное из леса бревно надо свалить да сызнава навалить на сани и подсанки. А сколько этих саней да подсанок пройдет за день.

Навальщики — Лукашин и Иван Яковлев — храпели не хуже лошадей. Оба в одних рубахах, оба без шапок, у обоих лица мокрые, блестят на солнце.

Тем больше удивил Лизку возчик, который сиднем сидел в стороне. Надрывайтесь, рвите, мужики, жилы, а мне и горюшка мало. А ведь на навалке так: самая распоследняя бабенка и та старается чем-нибудь помочь, по крайности топчется вокруг, вид делает, что помогает.

Но вскоре, подойдя к навальщикам поближе, Лизка поняла, в чем дело. Возчиком был Тимофей Лобанов,

а какая же помощь от Тимофея? Замаялся человек брюхом — день на ногах да день лежит на нарах.

— В помощницы примете? — громко, с наигранной бодростью крикнула Лизка.

— А-а, объявилась гулена! — коротко мотнул головой Лукашин.

Аншпуг, которым он выцеплял бревно с комля, в то время как Иван заносил его с вершины на подсанки, выгнулся дугой. Лизка кинулась к Лукашину на помощь, но Иван Яковлев — огонь мужик — раньше ее оказался возле напарника. Подскочил, подвел под комель свой аншпуг, скомандовал:

— Взя-ли!

И комель грузно, со скрипом лег в колодку саней.

— Давай, Лобанов, — сказал Иван, быстро закрепив бревно веревкой, — заводи свой мотор.

— Подождите немного. Сейчас...

— Да ты хоть лошаденку отведи в сторону. Вон ведь другая на подходе.

Тимофей, держась обеими руками за живот, приподнялся — лицо землистое, в судороге, рот, как у рыбы, выброшенной из воды. Сел опять.

— А мать-перемать... — выругался Иван, схватил вицу и огрел коня.

Конь рванулся, оттащил воз на сажень, на две и встал. Лизка живехонько сообразила:

— Ну-ко, давайте я. Пушай человек передохнет.

— А ты ничего? Сумеешь? — спросил Лукашин.

— Вот еще! Я да не сумею. Колхозная девка.

Топор втюкнула в комель бревна, взяла вожжи в руки:

— Ну, давай, Карько! Поехали.

Карько — конь с понятием. Самый трудный перевал от делянки до поворота просадил без остановки. Ну, а дальше — о чем печалиться дальше? Сиди на бревнышке да пошевеливай вожжами. Дорога сама прибежит к речке.

Вот как, оказывается, надо жить. Не поленись, подставь в трудную минуту людям свое плечо — и все тебе простят. Да, вспоминать Семеновну-соседку. Бывало, еще в войну Семеновна ее учила: «Не слезами, девка, замаливай грехи — работой. Работа-то — самая доходчивая до людей молитва». Так оно и есть. Старые люди худому не научат.

Солнышко припекало, как летом. И Лизка подставляла ему то одну щеку, то другую. И не одна она сейчас грелась на солнышке. Грелась ель рогатая, густо, от маковки до подола обвешанная старыми шишками, грелись березы-ластовицы, грелась лесная детвора — верба. Эта весело, серебряными садиками разбежалась по лесу.

И Лизка, вытягивая шею, смотрела на всю эту красоту — на березы, на ели, на заросли распушившейся вербы, вокруг которых был густо истоптан искрящийся наст зайцами, и ей казалось и несправедливым, и диким сейчас: за что все клянут лес? Почему с малых лет пугают в Пекашине: «Вот погоди, запрут в лес — посмотрим, что запоешь!»?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Ужинали в две смены — все сразу за стол не умещались.

Пока ели отец с матерью и невестки со старшими детьми (младшие уже спали), Анисья с Тимофеем выжидали у печи на скамейке.

Тимофей сидел в ватнике, босой. Он только что приехал из леса, и мокрые, набухшие водой валенки с грязными, сырыми портянками стояли возле его ног — их бесполезно было ставить на печь, все равно не просохнут, — и Анисья ждала того часа, когда свекровь начнет класть на ночь в печь дрова и когда заодно с дровами можно будет сунуть в печь и валенки.

— Дорога-то в лесу еще на ладах? — спросила Татьяна.

Анисья с благодарностью посмотрела на нее. Татьяна, жена самого младшего ее деверя, была единственный в семье человек, который замечал Тимофея. Остальные не замечали.

— Ничего, можно ездить, — ответил Тимофей.

Разговор на этом и кончился, потому что старик так мотнул головой, будто его током дернуло.

Кончив ужинать, Трофим вышел на середку избы, стал молиться. Следуя его примеру, перекрестилась Авдотья, старшая сноха, жена Максима, ту в свою оче-

редь поддержала Тайка, жена Якова, да еще на свою дочку зашипела: «Перекрестись! Не переломишься».

Все это, как хорошо понимала Анисья, предназначалось для Тимофея — раньше ни Авдотья, ни Тайка, выходя из-за стола, на божницу не глядели.

Ужин был не лучше, не хуже, чем всегда: капуста соленая из листа-опадыша (Анисья уже по снегу собирала его на колхозном капустнике), штук пять-шесть нечищенных картошин. Хлеба не было вовсе — редко кто в Пекашине ужинал с хлебом.

Тимофей, заняв за столом место отца, начал отгребать от себя картофельную олупку (нашел время чистоту наводить), потом, подняв глаза к жене, сказал:

— Молочка бы немножко... Нету?

Анисья не то чтобы ответить — глазом не успела моргнуть, как с кровати соскочил старик, заорал на всю избу:

— Молочка? Молочка захотел? Ха! Молочка...

— Молочко-то мы, Тимофей Трофимович, на маслозавод носим, — с притворной любезностью разъяснила Тайка. — Триста тридцать литров с коровы.

— Не слышал? Забыл, как в деревне живут?

— Отец, отец... — подала голос мать.

— Что отец? Молочка ему захотелось. А ты заробил на молочко-то? Заробил?

— Да ведь он болен, татя, — вступилась за мужа Анисья.

— Болен? А-а, болен? А отца с матерью обедать не болен? Не вороти, не вороти рыло! Правду говорю, Тут, широко зевнув, жару подбросила Авдотья:

← Кака така болесь — фершала не признают...

— Да, да, — подхватил старик. — Кака така болесь? Работы не любит, а молочко любит. Знаем...

— Да помолчи ты, пожалуйста, — поморщился Тимофей.

Если бы он, Тимофей, не махнул при этом сжатой в кулак рукой, может быть, все еще и обошлось бы, может, и не дошло бы дело до полного скандала. Но когда старик увидел кулак, он, казалось, потерял всякий рассудок. Выбежал на середку избы, заметался, замахал руками:

— Я — помолчи! Я — помолчи! В своем-то доме помолчи? Вот как! Может, драться еще будешь? Валяй,

валяй! Нет, будё! Помолчал. Хватит! Попил ты моей кровушки...

— Отец, отец... Чего старое вспоминать?

Старик, как бык разъяренный, метнулся в сторону старухи:

— Не вспоминать? А он подумал, подумал, каково отцу тогда было? Коммунар, мать твою так... Как речи с трибуны метать — коммунар... А как воевать надо — шкуру свою спасать!..

Тимофей медленно, опираясь обеими руками на стол, встал, пошел под порог. А на него от кровати, от задосок, от шкафа — отовсюду из сумрака избы, слабо освещенной коптилкой, смотрели глаза — Авдотьины, Тайкины, ребячьи — и в тех глазах не было жалости. И даже глаза Татьяны на этот раз отливали холодным и беспощадным блеском. У всех у них на войне погибли мужья и отцы — и они не могли простить ему, что он был в плену.

Анисья заплакала. На полатях кто-то всхлипнул из детей, — неужели Лида?

— Отец, отец... Тимофей... — стонала старуха. — Онисья... Да что вы, господа. Что вы...

Анисья, прихрамывая, кинулась к мужу, который, уже сидя на скамейке, наматывал на ногу сырую портянку, и то ли взгляд его остановил ее, короткий, бешеный, в котором она вдруг узнала прежнего, норовистого Тимофея, то ли горло ей перехватило, но она ничего не сказала.

— Прощай, отец... Прощай, мама...

Ответа Тимофей не дождался.

Весенняя сырость поползла от порога по полу, и на какое-то время все услышали, как в открытую дверь пробарабанила с крыльца частая капель.

Анисья выбежала вслед за мужем. Вернулась она с улицы скоро — женщины еще готовили себе постели.

— Что, и с женой разговаривать не захотел? — кольнула Тайка.

Татьяна сказала без злости:

— Куда он теперь, ночью-то...

— Куда? Ясно куда... — ответила Авдотья. — Дальше сестры не уйдет.

— Вот-вот, — подхватил старик. — Принимай, Олька, нахлебника — своих мало... — И вдруг круто, по-ло-

бановски заорал:— Гасите огонь! Сколько еще будете карасин жгать?

Анисья, пробираясь меж постелей, подошла к столу, задула коптилку.

2

Тимофею было семнадцать лет, когда отец до беспамятыя отхлестал его чересседельником. Отхлестал за то, что Тимоха на виду у всей деревни вместе с коммунарами стаскивал кресты с церкви. Но учение впрок не пошло. Через год, не спросясь у отца, Тимофей женился на коммунарке и ушел в коммуну.

Сам Трофим и слышать не хотел о коммуне. Старший сын в мужики вышел, у других ребят уже топор в руках держится, девка малая за прялку села — да он такую коммуну у себя раздует, первым хозяином на деревне станет!

Но от коммуны Трофим не ушел. И не ласками, не уговорами, не прижимом земельным взяли его коммунары (самое лучшее поле оттяпали), а детскими валенками.

Как-то прижало Трофима с деньгами — ни копейки нет в доме. Думал-думал Трофим: а что же Тимоха ему не помогает? Зря он поил-кормил его, сукина сына?

И вот когда он вышел на реку (коммуна была за рекой, в монастыре), навстречу ему попались коммуна-та-школьники. Все в черных фабричных пальтишках, все в шапочках одинаковых, все в рукавичках вязаных. А главное — все в валеночках с кожаными союзками и кожаными подошвами. Вот что поразило Трофима. А поразило потому, что на дворе была оттепель и сам он шлепал в сырых, набухших водой валенках. А коммунаята бегут себе в этих валеночках, обшитых кожей, бегут да посмеиваются: сухо ноге.

Да, подумал Трофим, провожая ребятшек глазами, хитрую обутку придумали коммунары. И зимой ходи — нога не мерзнет, и ранней весной, когда нога еще не терпит сапога, тоже хорошо.

И так эти валенки с кожаными союзками запали ему в голову, что он с того дня лишился всякого покоя. Станет утром обуваться — валенки, станет разуваться — валенки, ночь придет — и во сне снятся валенки.

Кончилось все тем, что Трофим вступил в коммуну,

А через два года коммуна распалась, и над Трофимом потешалась вся деревня. Ехал Трофим за реку — два воза хлеба (амбар выгреб до зернышка), две коровы, две лошади, семь штук овец, плуг новый, а выбирался оттуда на маленьких саночках, на каких зимой воду от колодца возят. К дому своему подошел — замок в пробое, и ключ от того замка не у него в кармане, а в сельсовете. Государственная собственность. И — что поделаешь — пришлось Трофиму выкупать свой дом, заново обзаводиться коровой, домашним скарбом.

Выдюжил, поднялся Трофим, в колхозе зажил не хуже других. Только сына Тимофея с тех пор уж нельзя было поминать при нем — старик выходил из себя. И даже война не примирила его с Тимофеем. Даже в войну, когда вдруг находило на него прежнее хвастовство и бахвальство и он, загибая пальцы на руке, начинал перечислять своих сыновей, Тимофея не упоминал. И никто не слышал, чтобы он когда-нибудь горевал или жаловался, что от Тимофея нет вестей с первого дня войны. Нет, такого не было, такого в Пекашине не помнили.

А потом, как стала откатываться война на запад да как бабахнула напоследок четырьмя похоронками — Максим убит, Яков убит, Ефим убит, муж у дочери убит, — заговорил Трофим и о Тимофее. Молись, старуха, молись! Все молитесь! Может, хоть этого-то у смерти отмолите. Три снохи с малыми ребятами, дочь Александра с ребятами, еще четвертая сноха приехала из города с ребятами. И все малые, все беспомощные, все, как расхлестанные бурей, жмутся к нему. А он-то пень трухлявый. А он-то не работник больше. Его самого подпирать надо.

И вот бог ли услышал их молитвы, звезда ли у Тимофея особая — пришла весточка: жив.

И надо ли говорить, что у Лобановых теперь только и было разговору: вот приедет Тимофей Трофимович, вот дождемся дяди Тимоши... А сам Трофим — тот и вставал, и ложился с одними и теми же словами: «Ну, не думал, ну, не ждал, что от Тимохи будут хлебы».

Приехал Тимофей. В избу вошел в какой-то старой рвани — шинель не шинель, кафтан не кафтан, на ногах валенки, как ступы, проволокой перетянуты. И та проволока с мороза скрипит, зубы из десен рвет...

Да Тимофей ли это? Может, какой ряженный подшутить над ними захотел? Сколько солдат перевидал Тро-

фим за эти полтора-два года — и своих, пекашинских, и чужих, из других деревень (всякие с войны возвращались: и мордастые, раскормленные, будто они и не на войне были, а на курорте, и худущие, тощие, как холера), но такого доходяги он еще не видел. А ведь Тимофей не просто солдат — командир...

Рухнула в тот вечер и эта надежда у Лобановых, и война еще раз проехала по ним: Тимофей вернулся из плена. Да мало этого — вернулся больным. И не на работу пошел устраиваться на другой день, а в больницу. Принимай, отец, еще одного нахлебника. Тянись из последних жил, гни старую хребтину, а я по больницам ходить буду. Тяжело воевал — всю войну в плену отсиживался...

И тут все прежние обиды восстали в Трофиме. И он с еще большей яростью, чем прежде, возненавидел Тимофея. И теперь опять, как прежде, никто из домашних не смел упоминать при нем имя Тимофея, пока тот был в лесу, а когда он приезжал из лесу домой, Трофим не разговаривал с ним.

3

О том, что вместе с Анфисой Петровной вечер приехал Тимофей Лобанов, Михаил узнал от самой Анфисы Петровны. Утром, когда они ехали на склад.

Ничего нового в этом для него не было — Тимофей всю зиму осаждает Тосю-фельдшерицу, — и он только плечами пожал. Потом, когда они нагрузили мешки с ячменем на сани, Анфиса Петровна снова заговорила о Тимофее:

— Лобанова дожидаться не буду. Насовсем, видно, приехал,

— Насовсем? — удивился Михаил. — А кто его освободил?

— Большой он. Наскрозь большой. И сам мучается, и нас всех замучил.

— Ну это уж как медицина, — резонно сказал Михаил. — Ей виднее.

Тут со скотного двора прибежала ночная сторожиха Маня («Михаил, зачалось у Мальвы»), и он, наскоро попрощавшись с Анфисой Петровной, даже забыв передать поклоны Лукашину и Лизке, побежал на скотный двор.

Мальва — крупная черно-пестрая корова-двухведерница — была их колхозной знаменитостью. Ни о ком из пекашинцев, если не считать Федора Капитоновича, ни разу не писали в областной газете, а о Мальве писали уж трижды и даже портрет давали. Лукашин, как-то размечтавшись в правлении, сказал: «Вот было бы у нас все стадо, как эта Мальва, тогда бы кое-что можно сбродить». А уезжая на лесозаготовки, специально напомнил: проследи за отелом.

Мальва отелилась благополучно. Телку выдала как по заказу — крепкую, ширококостную, с той же, точь-в-точь как у самой, рубашкой.

Но вот что значит знаменитость! Сена с мерзлиной — а другие коровы и такого не имели — есть не стала. Поддай ей сено, так сказать, соответственно ейной, коровьей, номенклатуре. И пришлось подать. Пришлось выделить воз мелкого, коневого, из того самого зарода «энзе», который берегли на посевную.

Выйдя со скотного двора, Михаил завернул по пути в кузницу, сделал перекур с Ильей Нетесовым и пошел было домой что-нибудь перехватить — Анфиса Петровна подняла его, когда у матери еще дрова не прогорели в печи, — но вдруг вспомнил, что у него в кармане сводка, и повернул в правление.

Сводка, привезенная Анфисой Петровной, была не из веселых. Вывозка леса за последнюю неделю упала на тридцать два процента. И, в общем-то, понятно, почему упала: весна. Каждому ребенку ясно, что весной на сани не навалишь столько, сколько зимой. Но для Подрезова, когда речь идет о лесозаготовках, весны не существует. Подрезов сразу же спросит: «А меры? Какие приняты меры?»

Меры, по мнению Михаила, приняты. Анфиса Петровна увезла три мешка ячменя (за этим и приезжала), — куда же больше? Людям хлеба нету, а лошадей кормим. Но для Подрезова это не меры. Вот если бы он, Михаил, сказал, что десять лошадей добавочно в лес направили да столько же людей — вот тогда да. Тогда меры — получай личную благодарность от первого секретаря райкома.

Думая о предстоящем разговоре с Подрезовым, Михаил вышел с задворок на большую дорогу и, повернув голову на стук топора, увидел Тосю-фельдшерницу.

Тося в желтом заношенном халатишке — неряха баба — рубила у крыльца жердь. Дров на медпункте не было, и Михаил знал, что, как только увидит его Тося, так сразу же поднимет лай, но он вспомнил про Тимофея и крикнул:

— Аншукова, был у тебя Лобанов?

— Был. А где твои дрова-то? Сколько мне тебя еще спрашивать?

— Постой! А что с Лобановым?

— Все то же. А теперь еще новую песню завел: дай ему направление в район.

— Дала?

— С чего? Температура нормальная, стул нормальный. У меня не лавочка — я не от дяди, от Советской власти работаю...

— Понятно, — прервал Михаил Тосино красноречие. — А не знаешь, уехал он с Анфисой Петровной?

— Вот еще! Приставлена я к нему. Я вся, сижу, околела. Когда ты, ввалина, дрова-то привезешь? Еще на той неделе говорил — подвезу. Есть ли у тебя совесть-то?..

Да, вот так быть за председателя колхоза, когда ты в то же время и главный подвозчик дров, и сена, и черт знает еще чего. Каждый, кому не лень, глотку на тебя дерет. Конечно, он в долгу у Тоси не остался — дал сдачи, иначе в следующий раз вообще не показывайся ей на глаза, но дело с Тимофеем от этого яснее не стало. Где он, дьявол бы его забрал? Как показывать в сводке? На лесозаготовках? А если не уехал, дома?

Михаил побежал к Лобановым, в самый верхний конец деревни. Там ему сказали, что Тимофей еще вечер ушел к сестре Александре. У Александры в воротах приставка — сама, наверно, еще на скотном, а ребята в школе.

Михаил, запаренный как лошадь, порысил в правление — медлить дальше со сводкой нельзя. Райком, наверно, и так все провода оборвал.

Топая, бешено стуча сапогами, чтобы стряхнуть с них мокрый снег, он вбежал в контору — и у него белые пятна пошли по лицу: Тимофей был тут, в конторе.

— Не уехал?

— Нет. В район, в больницу, думаю.

— А ты с кем это надумал? Направление есть?

Тимофей — нечего сказать — провел рукой по лбу. — Так вот, — отчеканил Михаил, — не захотел ехать на лошади — топай на своих.

— Потопал бы, да толку от меня там мало.

— Ничего! Будет толк. У нас по-всякому лечат. Кого медициной, а кого и законом о трудповинности. Помогает.

Тимофей стал подниматься. Расчет на психику: нижнюю губу в зубы, одна рука к животу, другая вместо опоры. И конечно, как всегда бывает в таких случаях, осуждающее покачивание головой и слова, которыми хотят направить тебя на путь истинный.

— Круто берешь, парень, — сказал Тимофей. — Смотри — не споткнись.

— Ничего, — сказал Михаил. — Я с сорок второго круто беру. — Помолчал и врезал для полной ясности, глядя Тимофею прямо в глаза: — Когда на отца похоронную принесли.

А какого дьявола с ним миндальничать? Почему для всех существует закон о трудповинности, а для него нет?

Хлопнула дверь в коридоре. Тяжело заохала, застонала старая лестница.

Михаил постоял, прислушиваясь, отер с лица пот рукавом ватника, достал сводку из кармана с груди и стал звонить в райком.

4

— Опять я к тебе, сестра.

— Вот и ладно, вот и хорошо, Тимофей Трофимович, — с радостью сказала Александра и забегала по избе.

Домашнее утро у нее, как у доярки, начиналось поздно, а сегодня по случаю отела Мальвы она пришла со скотного двора еще позже.

Она быстро навела порядок в избе: постель ребячью, не прибранную еще с ночи, вон, в сени, корыто со стиркой туда же, потом достала из сундука чистую скатерку, накрыла стол.

— Нет-нет, — говорила она, — я сама за стол не сяду, пока в избе осенняя распута. А мы чай сейчас пить будем. Те ведь, наверно, охламоны, — она имела в виду своих детей, — и чаем дядю не напоили. Проходи, про-

ходи, Тимофей Трофимович, да ножки-то давай разуем. У меня тепло в избе.

— Нет, разуваться не стану. В район, в больницу кэпадать надо.

— В район? — удивилась Александра. — Ну ладно, ладно. Тамошние врачи понимают, а наша Тося только орать и может. У ней первое лекарство — горло. Ведьма, а не фершалица.

Тимофей все же сестру уважил — шинель снял, и Александра, собирая на стол, украдкой присматривалась к нему, так как ночью при свете тускленькой керосинки она вообще не могла разглядеть его, а утром убежала на скотный двор затемно, когда он еще спал.

По сравнению с прошлым разом брат ей показался еще хуже: ноги в валенках-ступях — кто только и наградил его такими, как у старого коняги, крючьями, врозь, на щеках ямы — колоб можно положить, и, как ни крепилась она, выдали глаза. И Тимофей заметил это.

— Что, сестра, — спросил он глухо, — неважны мои дела?

— Нет-нет, — живо возразила Александра, — я ведь это так, от радости... Такой гость у меня... — И улыбнулась сквозь слезы, закивала быстро головой. — Нет-нет, ничего еще. Ты ведь в материн род, не в отцов. Это мы у Трохи все земляные, с осадом, а ты в молодости бегал — земли не задевал.

— Не успокаивай, сестра.

— Правда, правда, Тимоша. У нас природность такая. Смотри-ко, я телушка какая. Ни война не уездила, ни нужда не съела — людей стыдно. И муж, бывало, покойничек, руки без работы не держал — все нипочем. Я и теперь еще песни пою. Всякие — и старинные, и новые.

— Это хорошо, — сказал Тимофей.

— А уж не знаю, хорошо ли, плохо — такая есть. На скотном дворе заголошу — всех с ума сведу. И баб, и коров.

Тимофей к картошке горячей не притронулся, на сыроеги соленые только взглянул, а молока, которое она тайком (своей коровы у нее не было) принесла со скотного двора во фляжке (удобная посудинка, не выпирает из-за пазухи — все скотницы обзавелись такими), выпил. Потом погрелся чаем, и глаза у него вроде оттаяли — повеселее стал взгляд.

Александра, улыбаясь, сказала:

— А ты голову-то, Тимоша, как смолоду держишь. Набок. Это от гармонии у тебя, наверно?

— А ты и гармонь помнишь?

— Помню. Что ты! Ведь я гордилась тобой! Татя, когда ты в коммуну ушел, места себе не может прибрать. «Разорил, разорил, сукин сын!» Помнишь, поле у нас отрезали у реки? Хорошая, жирная земля была — всё рожь сеяли.

Тимофей слегка кивнул головой.

— Ну вот, кричит татя, всем рассказывает. Знаешь нашего отца — дикарь шальной. То хвастается до небес, то опять караул на всю деревню. А в войну нечем хвастаться — все равно нашел: «Моих ребят пуля не возьмет». Ей-богу, кричал. Вот и докричался. Трех сыновей война заглотила, у меня мужа убили, у сестры Матрены на костылях пришел, и ты нездоровым вернулся... — Александра всплакнула. — Нет, нет, не буду плакать, — затрясла она головой. — Хватит, поплакано. О чем это я? Вот ведь памятка... Вот о чем — о поле. Жалко тате поля, и братья ходят темнее тучи — отцовы дети. Да и кто тогда земли не жалел? Помнишь, сколько отец расчисток поднял? Сам всю жизнь с пнем в обнимку прожил и нас от пня не отпускал. Это ведь нынче люди идут мимо: а, ладно, не мое, колхозсько... — Тут Александра, заметив на лице брата не то неудовольствие, не то досаду, опять спохватилась: — Вот ведь тараторка, все в сторону тащит, никак не могу на торную дорогу выбраться... Нет, постой, вот я заговорила — это как ты в коммуну-то уходил. Дома у нас все убиваются, а я, глупая, тоже реву: кто, думаю, теперь меня в народный дом проведет? Весело тогда в деревне было, людно. Церковь свое служит, а вы, комсомол, свое... Вот пошли вы с Онисьей за реку, в коммуну. Ты с гармонью, головушку набок, Онисья в красном платке — коммунарка. Праздник был, вся деревня на угор высыпала — на вас смотреть. А я тоже выбежала, кричу, плачу: «Тима, Тима, возьми меня с собой!» Не помнишь?

Тимофей не ответил.

— Кричала. Я ведь гордилась тобой. И потом, когда отец в коммуну пошел, я тоже всем доказывала: а у меня брат начальник. Я помню, как ты речи говорил...

— Да, говорил... — вздохнул Тимофей.

— Ничего, ничего, Тимофей Трофимович. Такая уж судьба. — И опять не удержалась слеза в глазу, выкатилась. — А ты на отца-то не сердись. Он у нас хоть и крутой, а добрый, отходчивый. А уж как он возрадовался, когда узнал, что ты жив да домой едешь! Ко мне прибежал — прямо на скотный двор: «Олька, Олька, говорит, да ты знаешь, кто к нам-то едет!» А на улице крещенье, мороз — дак он приказал дома каждый день топить баню, «чтобы прямо, говорит, на полук». Не сердись, не сердись, Тимоша. И на Онисью не сердись, ежели чего не так. Ей ведь, городской, все в перелом...

— Не сержусь, — ответил Тимофей, помолчал и добавил: — Отец что — понятно. А вот у меня друг был — да... — Он опять помолчал. — В тридцать седьмом году — ты этого не знаешь — я его, можно сказать, от верной смерти спас. И он меня встретил...

— Это когда ты оттуда-то возвращался? — Александра не сказала «из плена».

— Да, — с запалом выдохнул Тимофей и сжал руку в кулак. — Соседей к себе позвал. Вот, мол, свидетели на всякий случай...

Александра, приоткрыв рот от напряжения, ждала: может, расскажет брат, что он перенес там, в плену, во неметчине? А потом ей хотелось знать, где он был эти два года после войны.

Тимофей — и раньше неразговорчивый был — промолчал, а она не осмелилась его тревожить. Пускай смотрит на подгорье, коли глаз туда потянуло.

По подгорью шла весна. Снег на полях, подтаявший, засиневший, отливал на солнце, как крупная соль, дорога за реку почернела, а красная щелья, на которой стоял монастырь, уже скинула местами снег.

Она подумала и сказала:

— А я тоже часто гляжу туда, вспоминаю наше житье бывалошное. — Подождала: по душе ли этот разговор брату? — и заговорила уверенней: — Ничего, мне глянулось наше житье. Весело было смала в одном доме жить. У меня в каменном голова не болела, и у мамы не болела. А татя — тот с первого дня за голову схватился: «Задавят, говорит, меня стены монастырские — дыху нет». А братья-дымокуры — тем первое дело табачище. У отца, бывало, много не накуришь — туго с денежкой расставался. А тут, в коммуне, полно табаку. Хоть кури, хоть в кашу сыпь, хоть за щеку клади. «Вот это житу-

ха», — говорят. Помнишь, бывало, как из столовой выходишь, мешок в углу с махоркой стоял? И газета приготовлена, листочками нарезана... Ох и курили же! Я недавно с Параней Пашичевой разговорилась. Знаешь, из Заозерья? Вспомнили про этот мешок. «А я ведь, говорит, девка, с той поры закурила. Жалко добра. У меня мужик не курит, а люди курят — сама буду. Не могу, говорит, видеть, как общее добро в чужой рот идет».

— Так и сказала: «в чужой рот»? — Тимофей усмехнулся.

— Да, да, так и сказала, — живо подтвердила Александра и, очень довольная тем, что рассмешила брата, повела речь дальше: — А потом мешок с махоркой пропал — сам обзаводись, если курить хочешь. «Да я, говорит Параня, всю коммунию прокляла. Курить научили, а табак за свои денежки покупай — какая это коммуна? И теперь, говорит, курить буду — клянусь».

— Забавно, — задумчиво сказал Тимофей. — Я этого не знал.

— Так, так, научилась Параня, на свою беду, курить.

— Ничего, — сказал Тимофей, — Табак не хлеб — можно бросить. Я с сорок первого не курю.

— Там бросил? — Александра, сама не зная почему, опять не сказала «в плену».

— Там...

Она подождала: может, на этот раз брат разговорится?

Не разговорился.

И тогда она опять, как положено хозяйке, разговор взяла в свои руки:

— А я все хочу спросить у тебя, Тимоша: с чего это коммуна наша не устояла? Земли-то, сенокосов-то сколько было! Самолучших!..

И вдруг, беря от него чашку, почувствовала, как бледнеет: левая рука Тимофея, согнутая в локте, тихонько покачивалась. Он водил ею по животу.

И Александра с упреком и запоздалым раскаянием подумала: как же она могла забыть про его болезнь? И может, все то время, покуда она изводила его своими глупыми разговорами, он вот так и сидел, корчась как на углях, и еще при этом старался не показать ей виду?

— Может, погреться бы тебе на печи — легче станет? — сказала она виноватым голосом.

— Ничего. Надо попадать в район.

— Все-таки надумал... — сказала она и вздохнула.

Самое лучшее бы сейчас — не вздыхать, а достать лошаадь. Но лошади сейчас — она это знала — ни за какие деньги не купишь в Пекашине.

Они вышли на крыльцо. День был уже в разгаре. Припекало солнышко. С крыши дружно капало, и волглый посиневший снег под окошками был глубоко изрыт капелью.

Александра, невольно залюбовавшись апрельской голубизной неба, сказала:

— Вот и опять весны дождались. Красиво ноне началась. Какая-то дальше будет? — И примолкла, взглянув на брата.

Тимофей смотрел на заречье, на белые развалины монастыря. Потом он спустился с крыльца и опять этим долгим и нехорошим взглядом, как подумалось ей, посмотрел на мокрую черную крышу на школе, которая блестела и дымилась на солнце, как запотевшая спина лошади, на партизанскую могилу на взгорье у клуба. Там, на взгорье, самое высокое место в деревне — снег уже растаял, и была видна земля, и над землей дрожал и переливался нагретый воздух.

— Спасибо тебе, сестра.

Александра обеими руками пожала худую, бледную руку и поспешно выпустила, потому что ей вдруг стыдно стало за себя, за свое здоровье, за то легкомыслие, с которым она вышла провожать брата, — простоволосая, в одном платье с рукавами до локтя, в опорках на босу ногу.

— Есть теперь тут дорога — прямо через кладбище? — спросил Тимофей.

— Есть, есть. А ты разве домой не зайдешь?

— Нет, не зайду. Силы поберечь надо.

— Ну и ладно, ладно, — быстро закивала Александра. — Чего зря-то ноги наминать. Экое дело — в район... Я скажу нашим.

— Скажи...

И пошел, захлопал стопудовыми валенками по мокрому заулку.

Ох, видит бог — не пожалела бы она сапог для родного брата! Сама бы босиком осталась, а брата выручила. Да разве налезут ему ее сапожонки?

Она схватила с крыльца приставку — легкий осино-
вый колышек, догнала Тимофея.

— На-ко тебе помощника на дорогу дам. Все по-
легче будет.

И вот стоит она, Александра, на крыльце, стоит, при-
крыв рукой глаза от вешнего солнца, и смотрит, смот-
рит на задворки деревни, туда, на тропинку у леса, по
которой медленно движется человек. И человек этот ее
брат. И ничего-то, ничего-то в этом человеке, по-стари-
ковски сгорбленном, с палкой в руке, в старой шине-
лишке с поднятым воротником,— ничего-то в этом че-
ловеке не было от того молодцеватого и жадного до
жизни Тимофея, каким она запомнила его с детства.

5

К вечеру немного пристыло, и Михаил решил: немед-
ля, сегодня же ехать за сеном на Среднюю Синельгу.
Сена на Средней Синельге оставалось возов пятнадцать,
и, если не вывезти его сейчас, в эти два-три дня, пока
еще не поплыла дорога, ставь крест на сене. А этого
ему никто не простит — ни Лукашин, ни колхозники.
«Вот, скажут, посадили парня, а у него ветер в го-
лове».

Но легко сказать — вывезти сено. А кто его будет
вывозить? Где люди? В колхозе пять лошадей. На двух
он поедет сам — это ясно. А кого посадить на осталь-
ные? Доярки отпадают — по теперешним дорогам, воз-
можно, за два дня не обернуться. Степан Андреевич
болеет. Федора Капитоновича не уломать.

Михаил думал-думал и вызвал в правление Илью
Нетесова и Евсея Мошкина. Кузница три дня постоит
на замке — ничего. Стояла больше. Ну а Евсей Мошкин
хоть и не колхозник, но неужто не выручит колхоз в
такое трудное время?

Евсей Мошкин не стал отказываться, и Михаил тут
же, чтобы не было потом недоразумений, сказал насчет
оплаты:

— Платить будем трудоднями. Как всем. Правиль-
но, Илья Максимович?

Илья кивнул и обернулся к дверям.

В контору вошел Кузьма Кузьмич, начальник Со-
тужского лесопункта.

Михаил выбежал из-за стола:

— Кузьма Кузьмич! Какими судьбами?

Илья и Евсей тоже встали.

— Здорово, здорово, ребятки,— говорил Кузьма Кузьмич, каждому пожимая руку.

Михаил улыбнулся.

Для Кузьмы Кузьмича все были «ребятками» — от мала до велика. И все в районе знали его, потому что с одними он мытарил по пинежским лесам еще до революции, с лучиной, с другими гнал «кубики» в годы первых пятилеток, а нынешняя молодежь, вроде его, Михаила, прошла у него лесную школу в войну.

И вот что удивительно — не богатырь, не какой-нибудь там засмолевший кряж, налитый бурым здоровьем. Нет, мужичонко — не заглядишься: косоглазый, утонченный, голосишко сиплый, с «петухами» — не рывкнуть по-начальнически, а стоит, тянет лесопункт. И люди вокруг него держатся.

Сейчас Кузьма Кузьмич возвращался с очередного районного совещания, и разговор, само собой, зашел о лесозаготовках.

— Худо, ребятки, худо,— жаловался Кузьма Кузьмич. — С вывозкой затирает. Зимой из-за снегопадов присели, а сейчас опять весна за полозья хватается.

— Вывернешься, Кузьма Кузьмич! Знаем,— сказал Михаил.

— Да надо бы вывернуться. Надо. Вот тракторишко на отдыхе стоит — его бы охота к делу приспособить.

— Это тот, Егоршин?

— Тот, тот. Опытный. С осени он нас крепко выручил.

Тут Кузьма Кузьмич полез в свой портфельчик, хорошо известный Михаилу еще с военных лет, — маленький школьный портфельчик из черной клеенки с обтрепанными углами, который он носил через плечо на сыромятном ремешке, — достал из него три пачки махорки.

— Это тебе от дружка. Хорошо, что заговорил о нем. Я вперед ехал ночью — не останавливался у вас.

Махорка была очень кстати. Но в душе Михаил был немало удивлен: с чего это вдруг вспомнил о нем Егорша?

Илья Нетесов — Кузьма Кузьмич доводился ему дальней родней — стал приглашать его к себе попить чаю с дороги, но Кузьма Кузьмич отказался:

— Нет, сват, нет. Не до чаю. Выговорок получил — тепленький еще. Хорошо греет. А ты, Миша, не обзавелся еще этим товарцем?

Кузьма Кузьмич — нетрудно было догадаться — намекал на новое положение Михаила, и ему приятно было, что такой человек, как Кузьма Кузьмич, видит его за председательским столом.

— Пока нет.

— Ну и хорошо, хорошо. Это нас, пеньков трухлявых, все время подпирать надо, а вы, молодежь, другое дело. — Кузьма Кузьмич потер небритый подбородок. — А что же это вы, ребятки, с мужиком-то сделали? Неладно, неладно так.

— С каким мужиком?

— Да с Тимофеем Лобановым. Встретил — качается, бедняга, едва ноги волокет.

Так как ни Илья Нетесов, ни Евсей Мошкин не знали, о чем идет речь, то Кузьме Кузьмичу пришлось рассказать. Тимофея Лобанова он встретил на Марьиных лугах. Идет в районную больницу. Идет еле-еле, с колом в руках. Ну и что было делать? Пришлось Кузьме Кузьмичу завернуть лошадь да подвезти беднягу.

— Этого беднягу не подвозить надо, а судить, — сказал, мрачней, Михаил.

— Ну почто же ты так, Миша?

— А пото, что дезертир лесного фронта. Кто ему давал направленье в больницу? А ты еще хочешь, чтобы мы его на лошадке катали?

— Нет, Тимофей Лобанов не дезертир, — сказал Кузьма Кузьмич. — Не из таких.

— Не из таких? Вот как! А ты, может, Кузьма Кузьмич, не веришь, что он и в плену был?

— Да ведь плен — это, ребятки, дело такое... Какая же война без плена? Я сам в двадцать первом в плену у поляков был.

— Это так. Война без плена не бывает, — подтвердил Илья.

— Смотря какая война, — упрямо гнул свое Михаил. — В нынешнюю войну все насмерть воевали. И надо еще доказать, кто как сдался.

— Ну за Тимофея можно не беспокоиться, — сказал Кузьма Кузьмич.

— А откуда тебе это известно? Ты с ним там был? А может, он сам о геройствах своих рассказывал?

— Не рассказывал. Всю дорогу молчал. А фактики у меня есть. Есть фактики. С двадцать пятого года знаю Тимофея.

Михаил начинал злиться. Кузьму Кузьмича он уважает — хороший человек. И лично ему немало сделал добра. Но что же он говорит? За кого заступается?

Утром, передавая сводку второму секретарю райкома Шумиллову, он, Михаил, сказал, что один человек самовольно вышел из леса и, не имея направления от фельдшера, отправился в районную больницу. А как же иначе? Не мог же он обманывать райком!

— Кто это у вас такой смелый? — спросил Шумилов. Михаил назвал фамилию.

— А-а, так это тот, который в плену был? Понятно, понятно. Мы его вылечим — передадим прокурору.

И Шумилов далее сказал, чтобы он, Михаил, срочно написал и передал по телефону донесение: такой-то и такой-то под видом болезни дезертировал с лесного фронта, бывший военнопленный...

Михаил написал и передал. А как же? Есть закон о трудповинности? Есть. Медицина не подтверждает болезни? Не подтверждает. Ну а он, Михаил, должен быть добреньким, да? Этого хочет Кузьма Кузьмич? А за счет кого добреньким? За счет баб, которых от детишек от грудных оторвали да в лес погнали? А может, за счет председателя? Не видел. Кузьма Кузьмич, как мы тут председателя своего в лес провожали, чтобы в кузнице огонь не затух?

Кузьма Кузьмич уперся — не пробьешь. Головой кивает, вроде бы сочувствует, а губы поджал — значит, при своем мнении! Эту его особенность хорошо знал Михаил, и он, окончательно распалась, врубил напоследок:

— А война у нас была, нет? Была, говорю, война, а? И что бы мне сказал отец, ежели бы я всякого изменника по головке гладил?

Было это вечером 24 апреля. А ровно через три дня, тоже вечером, когда Михаил приехал с сеном с Синельги, первое, что ему сообщили на конюшне, — Тимофей умер. Умер во время операции. От рака...

Штаб по подписке на заем собрался в правлении к семи часам утра.

Ганичев, уполномоченный райкома, вручил необходимые бумаги парторгу Озерову (Озеров с Анфисой должны были охватить подпиской нижнюю часть деревни), затем еще раз предупредил:

— Не ниже контрольной цифры. Выше можно, а ниже нельзя.

— Ясно,— сказал Озеров.

Контрольные цифры по займу Ганичев подработал еще дня за два до объявления закона о займе, так что, когда объявили закон, ему оставалось лишь внести небольшие уточнения. Собрание коммунистов тоже провели вовремя. И тем не менее подписку на заем в Пекашине из-за похорон Трофима Лобанова (не перенес старик смерти сына) пришлось отложить на два дня: нельзя, немисливо было открывать такую политическую кампанию под рев да причитания баб.

— Этот старик нам еще выйдет боком,— хмуро заметил Ганичев, поворачивая от правления в верхний конец деревни.

Лукашин промолчал, борясь со встречным ветром.

Ветер дул с севера — остервенело, с собачьим визгом. Пинега, зажатая холодом, еще не освободилась от льда — стонет, мается, как роженица, а протолкнуть лед не может. И, глядя на реку, на подгорье, на голые, окоченевшие поля, где местами еще держался снег, Лукашин думал сейчас об этих полях, на которых не было ни одной кучки навоза, о том, что обычный расчет пекашинцев на воду-вешницу, на даровой навоз — ил — в этом году не оправдывается. Не выйдет нынче река из берегов — это теперь даже малому ребенку было ясно. А раз не выйдет — какой же выход? Вози скорее навоз на поля, благо и погода позволяет. И он, между прочим, так и думал, вернувшись с лесозаготовок: всех бросить на навоз. Нет, стоп! — сказал район. Берись-ка сперва за заем. Эта кампания на повестке дня.

За медпунктом Ганичев начал сворачивать с передней улицы на задворки, и Лукашин удивленно выгнул бровь.

— Военная хитрость, — сказал Ганичев и подмигнул, обнажая в улыбке два ряда крепких, железных зубов.

Свои зубы Гаврило Ганичев, как шутили над ним, съел на кампаниях. Это был старый коняга — районщик, сухой, жиливатый и очень выносливый, один из тех уполномоченных-толкачей, которые из года в год, и зимой и летом, и в мороз и в грязь, колесят по районной глубинке — пешком, на случайных подводах, на попутных машинах, как придется.

— Ты что, первый раз на займе? — спросил Ганичев.

— После войны первый.

— То-то. А я на этих займах каждую вёсну. Знаю колхозную публику. Ты к нему в заулочок, а он стрекача через поветь. Ты к следующему дому, а там уже кол в воротах. Понял? И тут треба пошевелить мозгой, а не с песнями вдоль деревни...

Не нравилась Лукашину эта затея с блужданием по задам — они не на войне, чтобы брать каждый дом с тыла. Да и какой он председатель, ежели от него шарахаются свои колхозники? Но он не стал спорить. Его, Ганичева, теперь власть в Пекашине. Вчера, например, Ганичев отдал распоряжение: завтра, в первый день подписки, никого на работы не посылать. И вот идут они мимо скотного двора, мимо конюшни, проходят колодцы — всё места, где по утрам толчется народ, а сегодня никого. Будто жизнь остановилась в Пекашине.

И Лукашин опять заметался в мыслях по своей председательской колее. На носу сев — основа основ деревенского бытия, а что он застал в Пекашине пять дней назад, вернувшись с Ручьев? Полное запустение, если не считать нетесовского звона в кузнице. А Михаил Пряслин, его заместитель, чуть ли не при смерти: жесточайшее воспаление легких. И так, оказывается, уже десять дней. Десять дней колхоз без хозяина! Весной, накануне сева.

Крайний дом в верхнем конце деревни, к которому они поднялись от заболотья по меже, принадлежал Варваре Иняхиной. Окна заколочены, вход на знакомое крылечко загорожен двумя досками...

Варвара раза три попадалась ему на глаза в райцентре, но каждый раз, завидев ее, он сворачивал в сторону. В общем, вел себя глупо, как мальчишка. Но что он мог поделывать с собой, если на память ему тотчас же приходили Григорий и Анфиса?

— Шестьсот восемьдесят с ней,— сказал по памяти Ганичев, затем на всякий случай вытащил из парусиновой сумки контрольный список.— Да, шестьсот восемьдесят,— подтвердил он.

— Она теперь не наша. У вас в райцентре живет,

— Ничего подобного. По спискам колхозница.

— Да таких колхозниц и колхозников у нас хоть пруд пруди!

— Где она работает? Кажись, в милиции?

— Кажись.

— Ладно,— уступил Ганичев.— Свяжусь вечером с Нефедовым. Ежели согласится перечислить ее подписку на ваш счет, тогда похерим.

— А ежели не согласится?

— Может, и не согласится. У него свое задание.

Следующий дом — Лобановых — они, не сговариваясь, прошли мимо. Тут все еще напоминало о недавнем покойнике: на изгороди раскинут перинник из старой мешковины, холстяные порты и рубаха хлопают на ветру под окошками, а под навесом — черемушьи дуги, стянутые кручеными прутьями, горбыли и плахи, березовые кряжи для полозьев. Жить и работать собирался старик.

Лукашин, вернувшись с лесозаготовок, застал Трофима еще в живых, но уже без памяти.

В избе было душно, чадила коптилка на печке, баб да детишек полно, и Лукашин сперва подумал было, что это земляки пришли прощаться со стариком, а потом, как увидел на одном ребячем лице круглые выпуклые глаза, на другом, на третьем, понял: Трофимова семья. Невестки и дочери, внуки и внучки...

Вышедшая вслед за ним на крыльцо Михеевна, жена Трофима, заговорила насчет того, что старик, мол, когда еще был в памяти, просился в старую веру. «Ничего, ежели мы позовем Евсея?»

Лукашин тогда отмахнулся: что за дурь? Не все ли равно, в какой вере умирать старику? А сейчас, вспомнив это, покачал головой: зря, зря отмахнулся. Чушь, дурь — всяко можно назвать стариковскую затею. Но разве он не заслужил, чтобы уважили его последнюю волю?

Поздно, поздно переучивать человека на смертном одре. Да разве и мало учили Трофима? Когда, какое еще поколение столько ломала и корежила жизнь?

Ну-ка, темный, неграмотный мужик, в пятьдесят — шестьдесят лет поставь крест на своем прошлом, начни свою жизнь заново... А война последняя? А беды послевоенные? Стой, старик! В землю заройся, а стой. На твоих плечах держава держится...

— Чуешь, что говорю? — толкнул Лукашина под локоть Ганичев, когда они, миновав еще два нежилых дома, без рам, без огорода вокруг, брошенных хозяевами еще до войны, свернули к Яковлевым. — Воробыши, говорю, к дому жмутся.

— Думаешь, к холоду? — спросил Лукашин.

— А я о чем толкую? У меня — отправлялся в командировку — на три печки дров оставалось. Теперь, наверно, кукарекают.

Ганичев старательно прокашлялся, затем придал лицу другое, не омраченное домашними заботами выражение и только после этого вошел в дом.

2

Яковлевы завтракали. Старик, старуха и трое детей: два мальчика и девочка — постарше своих братьев, лет четырех-пяти, очень бледная, худенькая, золотушная.

Завтрак по старинке правил старик. На столе перед ним стояла крынка с горячей нечищенной картошкой и низенькая оловянная солонка с берестяным пояском — хлеба не было.

К тому времени, как вошли в избу Ганичев и Лукашин, старик уже отсыпал детям по маленькой щепотке серой зернистой соли — прямо на стол перед каждым — и принялся за распределение картошки.

Ганичев объяснил, зачем они пришли.

← Хорошее дело, — буркнул под нос себе старик и, покатав в ладонях горячую картошину, начал обдирать с нее кожицу.

— Ну как, дед? Сколько отвалишь на восстановительный? — бодрым голосом спросил Ганичев.

— Да разве с нас причитается, милой? — удивилась старуха. — В прошлом году кабыть с нас не брали, Осип?

Старик с невозмутимым спокойствием продолжал свое дело. Очищенную картошину он положил перед самым младшим внуком, погладил его по головке и взялся за следующую.

Мальчик постарше и девочка, вытянув шею, не сводили глаз с деда.

— Хозяйка молодая где? — спросил Ганичев.

Анна, дочь стариков, бойкая и миловидная девка, с которой Лукашин только что вернулся с лесозаготовок, ушла трушничать — собирать сенную труху по дорогам.

— Коза со вчерашнего ревет — нечего подать, — пояснила старуха и обратилась к Лукашину: — Сенцато, Иван Дмитриевич, нам не дашь?

— Надо посмотреть, бабушка. Я месяц дома не был.

Старик к этому времени очистил вторую картошину и дал второму внуку. А девочка, сглотив слюну, все еще ждала своей очереди.

— Пойдем... В другой раз зайдем... — сказал Лукашин на ухо Ганичеву.

Ганичев строго посмотрел на него и молча ткнул пальцем в свой список — в цифру «480».

Старуха, когда он назвал ей эту сумму, изумилась:

— Да что ты, милой! Откуда у нас такие деньги?

— Откуда? Могу сказать. — Ганичев не зря просидел три дня в правлении. В его списке против каждой фамилии были помечены доходы. — За сына пенсию получаете? — Ганичев загнул палец.

— Велика пенсия. Сто сорок рубликов.

— Анна в лесу работает? — Ганичев загнул второй палец.

— Ох уж Аннина работа!.. Кажинный год по ребенку из лесу привозит. Это вот все найдушные, — кивнула старуха на детей. — За пять лет насобирала. А ноне, может, опять с грузом... Жила-жила сука, блюла-блюла себя, а тут ворота настезь раскрыла — слова не скажи...

Старика этот разговор, по-видимому, заинтересовал. Он положил недочищенную картошину на стол, прикрыл ее рукой, а вторую руку поднес к большому волосатому уху, потом вдруг нахмурился, посмотрел на картошину, подержал в руке, словно припоминая, что ему с ней делать, и отправил себе в рот.

У Лукашина не хватило духу взглянуть на позабытую девочку. Он встал и вышел из избы. Минут через пять вышел оттуда и Ганичев — мрачный, с сурово поджатыми губами,

Подписка началась скверно. Хитрость Ганичева с обходным маневром, как вскоре выяснилось, тоже не удалась. В одном доме их встретил увесистый замок. В воротах другого дома была приставка.

— Кто-то уже предупредил — брякнул, — сказал Ганичев, подозрительно разглядывая березовый колышек у железного кольца ворот.

— Да почему предупредил? — возразил Лукашин. — Время-то смотри где. Разве у людей мало своих дел?

— Дел... Сказывай про дела... — Ганичев потянул носом воздух, потом вдруг вскинул голову, быстрым, наметанным взглядом обежал заулочек.

В конце заулка у жердяной изгороди стоял низенький, с односкатной крышей хлевок. Дверка у хлевка была прикрыта неплотно, и из щели шел пар.

Ганичев с неожиданной для его лет резвостью подбежал к хлеву, распахнул дверку:

— Вылезай! Не овца еще, чтобы в хлеву жить.

К великому изумлению Лукашина, из хлева выползла Парасковья.

— Я это ярку проведать пошла... Что, думаю, на работу не посылают — все утро у окошка просидела...

— Ясно, ясно... Только в следующий раз дверь пошире растворяй, а то задохнешься.

С Парасковьей хлопот не было. Она подписалась так, как было запланировано у Ганичева. А вот с Петром Житовым они попотели...

Петр Житов был в загуле — от него так и разлило сивухой. Первые два дня он пил по случаю майских праздников, потом подошли похороны Трофима Лобанова, — и как же было не почтить память старика?

На этот раз инициативу взял в свои руки Лукашин.

Петр Житов выслушал его не перебивая и, наверно, минуты две сидел молча, тупо уставившись на них своими мутными и красными с перепоя глазами. Затем скрипнул протезом в кирзовом сапоге, предупреждая, как копьё, выбросил его вперед и вдруг с неожиданным воодушевлением воскликнул:

— Прикрасно, прикрасно! Жена, сколько я наколотил трудодней в прошлом году?

— Триста пятьдесят кабыть, — ответила Олена из-за ситцевой занавески.

— Так. А сколько в этом?

— Девяносто-то, наверно, есть.

— Девяносто! — Петр Житов поднял толстый обкуренный палец. — Это с января месяца, за зимнее время. Минус апрель, который выпал по причине месячника в лесу. Неплохо, товарищи? Не уронил Петр Житов честь инвалида Великой Отечественной, а?.. Все так трудятся в колхозах?

Ганичев ответил в том духе, что хорошо, дескать, трудишься. Стахановцем можно назвать.

— Ну, Петр Житов и в подписке будет стахановцем! Какая, товарищ Ганичев, самая большая подписка по району? А? К примеру, товарищ Подрезов, первый секретарь райкома?

— Это тебе зачем?

— А затем, что хочу, так сказать, по самым вышкам равняться. Оклада на два?

Ганичев после некоторой заминки хмуро кивнул.

— Так, на два... Первый секретарь... Ну а я, товарищ Ганичев, подписуюсь на три месячных оклада. Устраивает? И заметь: все плачу сразу, наличными. Жена, где у нас деньги? Чего прячешься от гостей?

— Не командуй! Сиди, коли нажорался...

— А-а, понятно, дорогуша,— с непонятной веселостью рассмеялся Петр Житов и кивнул на занавеску. — Сидит, как в капкане. По причине женской раздетости и недавнего кормления ребенка. Извиняюсь, Олена Северьяновна.

Он встал, достал с полки над столом измятую учебную тетрадку и синий плотничный карандаш и начал что-то подсчитывать. Окончив подсчет, сказал:

— Пиши, товарищ Ганичев. Девяносто трудодней и тринадцать рублей пятьдесят копеек.

Ганичев принудил себя улыбнуться:

— А из тебя бы, Житов, неплохой артист получился.

— Думаешь?

— Думаю. Но мы не комедию пришли смотреть.

— Эх, товарищ Ганичев! — с наигранной обидой покачал головой Петр Житов. — Человек на трехмесячный оклад подписывается, а ты ему так говоришь... Смотри. — Он снова взял карандаш. — В прошлом году я наколотил триста пятьдесят трудодней. В этом году, думаю, навечу не меньше. Округляем до трехсот шестидесяти — я не жадный. Триста шестьдесят делим на двенадцать, — это сколько будет? Тридцать. А за три месяца, стало быть, девяносто. Так? Так. Теперь деньги.

В этом году на трудовень ни хрена еще не выдали. Ладно. Возьмем по прошлогоднему. Одиннадцать, даже пятнадцать копеек для круглого счета. Пятнадцать множим на девяносто — сколько получится? По-моему, арифметика ясная — тринадцать рублей пятьдесят копеек. Проверь, проверь, товарищ Ганичев.

— Не валяй дурочку! Умник. Ты что — первый раз на заем подписываешься? Когда это трудовни на заем брали?

— Ах, так! Колхозная валюта не годится? Нет, нет, погоди, товарищ Ганичев. Ответы! Вот я тебя спрашиваю: что такое эта самая колхозная валюта?

— Помолчи лучше! — подала раздраженный голос из-за занавески Олена. — Не помнишь ведь, чего мешешь...

— А я и тебя спрашиваю, колхозный счетовод. Ответь! Что такое колхозный трудовень? — И Петр Житов пристукнул кулаком по столу.

Лукашин, чтобы прекратить эту бессмысленную дискуссию с пьяным, напомнил, что он, Петр Житов, помимо трудовой, имеет еще и денежные доходы. Разве за апрель месяц он плохо в лесу подзаработал?

— Неплохо, — согласился Петр Житов.

— И пенсию получаешь, — добавил Ганичев.

— А-а, товарищ Ганичев и это учел! Правильно — получаю. Сто двенадцать рублей получаю. А сколько мои родители престарелые получают — это тебе известно, товарищ Ганичев? Нет? А кто их поит-кормит? Давай обсудим и этот вопрос...

— А я думаю, сперва язык твой обсудить надо! Понял? А то он у тебя разболтался — гаек не хватает.

— Давай, давай... Все на испуг взять хочешь, товарищ Ганичев. А я пуганый — это тебе тоже не мешало бы знать. — Петр Житов приподнял ногу с протезом, постучал кулаком по деревяге ниже колена. — Чуешь, какая музыка?

Они так и вышли от Житовых, ни до чего не договорившись.

На улице Ганичев внимательно оглядел дом Житовых.

Дом был новый — единственная новая постройка во всей деревне, появившаяся после войны. И все вокруг дома было по-хозяйски уделано, все под рукой: колодец с крышкой, погреб, баня.

— Какое у него социальное происхождение? — спросил Ганичев.

Лукашин не знал точно, кем был отец Житова до колхоза — бедняком или середняком. Да и какое это значение имеет сейчас?

— Имеет, — сказал Ганичев. — Откуда у него эта начинка? Я думал, ты, товарищ Лукашин, политически острее.

— Брось, Ганичев! Не тот заход. Это в двадцатые да в тридцатые годы чуть что — и кто твои родители.

— Кем работает у него жена? — продолжал гнуть свое Ганичев. — Счетоводом колхоза?

— Да.

— Надо освобождать.

Они заспорили. Олена была неважным счетоводом — увязла в своей семье. И Лукашин еще в первые дни своего председательства подумал: надо подыскивать нового счетовода. Но увольнять Олену за то, что муж ее загнал их в угол, а они ни черта толком не могли возразить ему, — нет, с этим он не согласен.

— Подумай, подумай, товарищ Лукашин, — сказал Ганичев. — Колхозный аппарат... — И не закончил.

Они оба устали, измучились. Хождение от дома к дому, из заулка в заулок, одни и те же разговоры и уговоры — все это начисто измотало их.

3

Дом Ильи Нетесова они оставили напоследок. Член партии, свой человек — не надо кружить вокруг да около. А кроме того, дом Ильи был одним из самых благополучных домов в деревне: хозяин вернулся с войны, и совершенно целехонек, детей немного, и, наконец, руки золотые у мужика, — куда же лучше?

Самого Ильи дома не оказалось — он был в кузнице, и за ним побежала девочка, такая же черноглазая и смуглая, как мать. И вообще, как заметил сейчас Лукашин, которому лишь однажды доводилось заходить к Нетесовым, и остальные дети — два диковатых мальчика, настороженно поглядывавших на них с печи, — ходили на Марью: ничего от светлого, голубоглазого отца в них не было.

Марья встретила их не то чтобы сдержанно — враждебно. Подняла черные колючие глаза от белья, кото-

рое чинила, сидя на железной кровати местной ковки, буркнула что-то вроде: «Проходите» — и больше на них не взглянула. Сидела, затягивала одну за другой дыры на ребячьих рубашонках и одновременно ногой в валенке, на которой была надета петля, качала зыбку, наглухо завешенную старым ситцевым сарафаном.

Ганичева, однако, этот прием не смутил — за свою многолетнюю службу он навидался еще и не такого. Ганичев запросто, по-домашнему снял свое пальто — холодное, без ваты пальтишко из грубого черного сукна, какие и в войну, и после войны выдавали по талонам, — повесил на вешалку возле дверей и, потряхивая головой — он с детства прихрамывал, — направился к печи.

Что-то детское, радостное проступило на его бескровном, постном лице, когда он назябшими руками нашарил теплые кирпичины. Он обернулся к Лукашину, кивком приглашая его по-товарищески разделить тепло, затем поднял голову вверх:

— Дыр на печи еще не навертели?

Ребятам очень понравилась шутка чужого дяди. Они громко рассмеялись, затрещали лучиной...

— Тише вы, дьяволята! Уймись! — закричала на них мать. Закричала грубо, по-бабьи, с явным расчетом поставить на место Ганичева. И Лукашину вдруг стало обидно за Ганичева.

Все ругают, клянут человека, все стараются сорвать на нем свою злость, а ежели разобраться, разве он виноват? Для себя старается?

Заем, налоги, хлебозаготовки, лес — все уполномоченный! Тащись к дьяволу на кулички. В дождь, в мороз, в бездорожье. И хорошо бы на подводе, на машине, а то ведь и пехом, на одиннадцатом номере. Четыре дня назад, когда Лукашин вернулся домой с лесозаготовок, — звонок из райкома: Ганичева к телефону.

— Какого Ганичева?

— Как? Разве он еще не у вас — вчера утром к вам вышел? Ну, значит, на Синельге загорает.

И точно — Ганичев, совершенно закоченевший, сидел у сбитого моста через Синельгу. Сидел и ждал какой-нибудь подмоги, чтобы перебраться за бурно разлившуюся речку.

И подобных случаев немало было за многолетнюю службу у Ганичева. А жаловаться? Облегчить себя

руганью? Заручиться сочувствием других? Ни-ни-ни! Улыбайся, бодрись, агитируй, хотя бы у тебя при этом кишки лопались от голода.

А голода Ганичев хватил и в войну, и после войны. Семья большая, шестеро детей — Лукашин ночевал у него как-то, — и все шестеро в одинаковых железных очках. А отчего в очках? От хорошей жизни?

Впрочем, для того чтобы знать, как живет районный служащий Ганичев, для этого совсем не обязательно заглядывать к нему домой. Для этого достаточно взглянуть на его сухое, цвета осенней травы лицо, на его китель и галифе из чертовой кожи, которые так затерты и залощены, что издали кажутся жестяными.

Илья вошел в избу запыхавшись — не иначе как бежал, — кивнул с порога, сполоснул руки под рукомойником и еще раз поздоровался — уже за руку, крепко, как товарищ с товарищами.

— Ну как наше Пекашино — не подкачало? — спросил он. И по тому, каким тоном спросил, было ясно, что подписка для него не постороннее дело.

— Активность неплохая, — ответил Ганичев. — Народ понимает, на что пойдут его трудовые сбережения.

Он сел к столу, вынул из сумки ведомость и химический карандаш и прямо, без всякого предисловия, сказал:

— На тысячу двести вытянешь?

— На тысячу двести? — Илья, будто споткнувшись на ходу, посмотрел себе под ноги, посмотрел на жену. — Вечор кабыть на шестьсот говорили. Так как будто...

— То вечор, а то сегодня. Вечор, к примеру, мы все попа не планировали. А он возьми да и бухни семьсот.

— Евсей Мошкин?

— А кто же еще! Хватит вам и одного попа на деревню, — пошутил Ганичев.

Насчет Евсея Мошкина Ганичев немного призагнул. На самом деле Евсей Мошкин подписался не на семьсот, а на четыреста пятьдесят. Правда, деньги выложил все сразу — чистой монетой.

— Ну так как? — Ганичев взял карандаш. — Хорошо ли это? Член партии, а у попа в хвосте. Что народ скажет...

— Да оно конешно...

— Пишу.

— Видишь, какое дело, товарищ Ганичев... — Илья опять посмотрел на жену. — Без молока живем. Охота бы какую животину заиметь. Хоть бы козу на первое время... Ребятишки...

— У всех ребятишки. А заем-то зачем, голова садова? Чтобы этим самым ребятишкам хорошую жизнь устроить. Так?

— Да так... — вздохнул Илья.

Сверху, с печи, четыре ребячьих глаза сверлили Лукашина. Марья перестала качать зыбку.

Ганичев старательно вывел цифру «1200», поставил птичку.

— На-ко, приложись.

Илья **расписался**. Девочка по его знаку, став на табуретку, сняла со шкафа берестяную плетенку и подала отцу.

Ганичев тем временем принялся вписывать его фамилию в другую ведомость, в ту, в которой записывался первый взнос наличными.

Илья присел к столу с другого края, раскрыл плетенку, вынул оттуда стопку купюр — рублями. Стопку он не стал пересчитывать. Деньги на заем у него, как понял Лукашин, были отложены заранее, наверно, еще со вчерашнего дня, после того как он пришел домой с партсобрания.

— Двести,— сказал Илья и положил стопку перед Ганичевым.

— Двести? Нет, друг ситной, не пойдет. Попы у нас все чистоганом вносят, а ты член партии...

— Да я понимаю... — Илья просящими глазами поглядел на Лукашина: не замолвишь ли, дескать, словечко?

Лукашин поднял глаза к потолку и с подчеркнутой заинтересованностью стал рассматривать железное кольцо, в которое был продет березовый с поперечными насечками оцеп. А что он мог сделать? Сказать Ганичеву: хватит? Но разве для этого он сюда пришел?

Оцеп судорожно подпрыгнул, подол старого сарфана на зыбке задрался, как если бы с пола вдруг поднялся ветер. Это Марья, сбрасывая с ноги петлю, рванула напоследок.

— Половину,— раздался твердый голос Ганичева.

— Не осилить, товарищ...

— Давай, не осилить! Вон ведь какой сейф завел. Зазря?

Ганичев кивнул на берестяную плетенку.

Илья покачал головой.

— Коммунист! Член партии. Ай-ай-ай! Попы у нас сознательнее...

Довод этот, как и раньше, оказался для Ильи решающим, и он уже больше не торговался.

Зыбка, которую качала теперь девочка, заходила резче. В задосках что-то грохнуло.

— Поздравляю,— сказал торжественным голосом Ганичев. — Молодец! Не уронил звания.

Лукашин обернулся и увидел, как Ганичев пожимает через стол руку Илье. Оба они стояли.

Лукашин тоже встал. Наконец-то кончилось испытание в этом доме. Но где ему было знать, что взбредет на ум Ганичеву в эту минуту? А Ганичев, ободренный успехом, решил сделать хозяйство Ильи Нетесова показательным по подписке.

— Хозяйка,— воскликнул он по-свойски,— а ты чего отстаешь? Давай — тянись за мужиком.

Марья из задосок не отозвалась.

— Чего она у тебя? На ухо медведь наступил?

— Марья,— глухо позвал Илья,— тебя зовут.

Марья и на голос мужа не отозвалась.

Ганичев с видом человека, объявляющего выговор, сказал:

— Хорошо воспитал жену! А мы хотели тебя на Красную доску. В газете напечатать...

Вот тут-то Марья и подала свой голос. В задосках вдруг забренчала посуда, со звоном что-то упало на пол, а потом выскочила оттуда и сама Марья.

— На! На! И про это напечатай! — И сунула Ганичеву какой-то серый землистый кусок, и по цвету, и по форме напоминающий стиральное мыло.

Ганичев — человек бывалый — не растерялся. С Марьей разговаривать не стал. Ответ потребовал с Ильи.

— Что это? — спросил он не своим, служебным голосом и указал глазами на кусок в своей руке.

— А-а, што это? Не знаешь, што это? А вот это то, што мы едим. Не едал такого хлебца? И ты, председатель, не едал? Постой-постой, я и тебя угошу! — Марья

вынесла из задосок еще такой же кусок. — На, поешь моего хлебца — тогда и заем с меня спрашивай...

— Марья... — сказал умоляющим голосом Илья.

— Што Марья? Неправду говорю?

— Мама, мама!.. — закричала девочка. — Надька плачет.

Ребенок в зыбке и в самом деле хныкал — и он выручил всех. Марья подошла к зыбке, а Ганичев стал собирать со стола бумаги — теперь можно было отступить, не уронив своего авторитета.

Все же последнее слово произнес Ганичев.

— Подумай, — кивнул он Марье из-под порога. — Лучину-то щепать можно и не головой.

И — Илье, когда они вышли на крыльцо:

— Распустил бабу! А что это у тебя за наглядная агитация в углу? Член партии... С иконами в коммунизм собрался? Смотри! Гужи ей не подтянешь, мы тебе подтянем...

Илья не оправдывался. Да и что он мог сказать в свое оправдание? Иконы в избе действительно были.

4

Сосны росли за баней — толстые, суковатые, кора на комле в вершок, и их давно надо бы срубить. Об этом его постоянно просила Марья: «Как в лесу живем. Воют, стонут на каждую погоду». О соснах ему напоминали соседи: «Смотри, искра в сушь падет — вмиг сторишь и нас спалишь».

Но Илья, обычно во всем уступчивый и податливый, тут не сдавался.

Он привык к этим соснам, привык к их шуму и говору. Друзей у него не было. Компании по пьяному делу он не водил — редко, разве что по большим праздникам, пропускал стопочку. А надо ведь и ему с кем-то отвести душу.

И вот когда у него выпадала свободная минутка, он шел к соснам. Сядет на скамеечку за баней, выкурит сигарку-две — и, смотришь, полегчает на сердце. Шумят сосны. Есть, значит, на земле большая жизнь. И пускай эта жизнь еще не дошла до ихнего Пекашина, пускай она только верховым ветром проходит над Пекашином, а все-таки есть она, есть...

Вечерело. Илья выкурил уже две сигарки подряд и стал сворачивать третью. И сосны не молчали сегодня — крепко, с остервенением раскачивал их сиверок. А обычного облегчения не наступало. И мыслями он по-прежнему был в своей избе. Что там сейчас? И как, как все это случилось?

После того как он проводил Лукашина и Ганичева, он минут пять бродил по заулку — чтобы успокоиться. И кажется, успокоился — растряс злость на Марью. В избу вошел с миром.

Витька и Толька рылись в его берестяной канцелярии, — чего же ожидать от ребят? — и он даже пошутил:

— Что, сыны, отцовские бумаги проверяем? Домашний контроль?

Старший, Витька — нелюдимый парнишко, — при этих словах отскочил от стола в сторону, а младший упал и заплакал.

Илья помог ему встать на ноги — и что же увидел в его ручонке, зажатой в кулак? Медаль «За взятие Кенигсберга».

— А вот это уже нехорошо, сынок, — сказал он и погрозил ребятам пальцем.

Боевые награды у него хранились в плетенке на самом дне. Он вынул из плетенки бумаги, проверил. Ордена на месте, медаль «За оборону Москвы» тут, медаль «За победу над Германией» налицо... А где же медаль «За боевые заслуги»?

Илья перебрал бумаги и так, и эдак — нет медали.

— Ребята, вы взяли медаль?

Витька и Толька заревели, кинулись в задоски под защиту матери.

— Где, спрашиваю, медаль.

— Не ори, к дьяволу! — закричала Марья. Она шагнула из задосок, загородила собою ребят. В глазах ненависть, брови сведены — казалось, она только и ждала этого предлога, чтобы вцепиться в него. — Медаль! Ребенок ты — бляшками играть?

— Медаль — бляшка? Ты подумала?..

В сорок втором году под Вязьмой они трое суток штурмовали хутор. Трое суток — без сна, без еды, через минное поле. И их осталось от роты всего пять человек, когда они заняли хутор. И всех пятерых наградили медалями «За боевые заслуги» и приняли в пар-

тию. И он, оглохший, растерзанный, с обмороженными руками, не свалился замертво, как другие. Он стал писать письмо домой. «Здравствуй, дорогая жена! Здравствуйте, дети! Сегодня для меня и для всех нас открылась дорога жизни...»

Илья ударил Марью по щеке...

И самое ужасное, как ему казалось сейчас, было то, что он ударил Марью при детях, при Вале...

Марью хвалить не за что. Не дай бог никому такой характер! И все поперек, все супротив. Он ей слово, а она ему десять. И насчет икон этих — сколько ей говорено! Надо тебе иконы, не можешь без них — шут с тобой, не препятствую. Повесь в задосках и молись — хоть лоб расшиби. А зачем позору-то его предавать? Кто он, в конце концов, в своем доме? Постоялец? Приживальщик?

Илья, обжигая губы, затянулся в последний раз, затоптал сапогом окурков, вздохнул.

Много, много обид он мог бы предъявить своей Марье. И неряха она, каких поискать. Утром встанет, заткнет космы за плат и пошла растрепя растрепой. Ворот рубахи не застегнут, груди болтаются, крест на грязном гайтане болтается — глаза бы не глядели. И с людьми живет, как упырь, — ни она людям, ни ей люди. А если он в правлении засидится — «А-а, делать тебе нечего! Не начитался своих газеток!..» А приготовить чего-нибудь поесть? Нет, они не едали ничего вкусного, даже когда в доме что было...

Да, все это так, вздохнул Илья, не за что хвалить Марью. Но, с другой стороны, кто бы связал с ним жизнь тогда, в тридцатом году, когда он был твердозаданцем, кандидатом в кулаки? А Марья связала. И разве она попрекнула его хоть раз за то, что страдает из-за него, из-за его отца? Это теперь-то он человек, голову несет прямо, а тогда...

В сельсовет пришли записываться — «Не дури, девка! Ты беднячка. Тебе дорога открыта...» — «Нет, — сказала Марья, — мужика своего не брошу. И хоть на Соловки, хоть в могилу, а с ним». Вот так тогда сказала Марья... А в тридцать третьем году, когда у них был голод и он отдавал концы... «Марья, Марья, побереги себя. Тебе ребенка кормить...» — «Нет, сперва я умру с ребенком, а потом ты...» И он, Илья, не умер, а умер ребенок...

То ли ветер в эту минуту сильнее обычного тряхнул околенику в сенцах, то ли мерзлая земля хрустнула под ногами, но Илье показалось, что за углом бани кто-то есть.

— Валя... Валентина, ты?

Валя с опущенной головой подошла к отцу. Он притянул ее к себе. Ручонки холодные, сама вся дрожит — наверно, продрогла на ветру, выжидая, когда отец догадается позвать к себе.

Да, вот так: у кого сыновья отца держатся, а у него, наоборот, — дочка.

Илья иногда задумывался над этим: Почему так? Почему в кузнице у него всегда чужие ребятишки вертятся, а свои носа не покажут? Малые еще? Зато Валя — не было ни одного дня, чтобы не забежала к отцу. День у него так и делился: это до Вали, до двух часов дня, а это после Вали. И не надо часов. Дождь ли, снег ли, мороз ли, а Валя свое дело знает. Строчит по дорожке в кузню. И всегда одно и то же:

— Пятерка, папа!

Валя училась в пятом классе. Училась лучше всех. И самой, пожалуй, большой радостью для него, с тех пор как он вернулся с войны, были родительские собрания в школе. Вот когда он расправлял крылья! Кто круглая отличница? Валя Нетесова. Кто лучшая общественница? Валя Нетесова. А кто в политике из детей смыслит? Опять же Валя Нетесова. Правда, в том, что Валя к политике вкус имеет, была кое-какая и его заслуга: подкован немножко у нее батько, «Краткий курс», если не считать четвертой главы, пропахал вдоль и поперек. Но что касаясь остальных наук — нет, тут Валя не в отца. И уж, конечно, не в мать. Марье грамота вовсе не далась. Да она ни во что и не ставила учение. Вечером ежели они с Валею сядут к столу, у нее один разговор: «Опять карасин жгать? Делать вам нечего!» Вот из-за этого у них с Марьей тоже частенько получались неувязки. И сколько ей ни толкуй — не понимает, что по нынешним временам учение — основа жизни.

Илья, отогревая руки дочери в своих руках, спросил, смущенно заглядывая ей в глаза снизу:

— Мама что делает?

— Надьку кормит.

— Да... — вздохнул Илья.

Он подумал, что надо было бы объяснить Вале, почему он ударил мать. Но как сказать об этом? Медаль не бляшка, не жестянка светлая, и Валя знает, как она ему досталась.

И вообще, если в семье кто и интересовался его военной биографией, так это Валя.

«Папа, а эту медаль ты за что получил? А эту? А эту? А как тебя в партию принимали?»

И он рассказывал ей, рассказывал о каждой медали, и Валя ему говорила:

«Папа, ты герой». — «Нет, дочка, куда мне до героя. Вот у нас в роте был Петя Курочкин — это вот да, герой».

Но все равно ему лестно было, что так думает о нем дочка. И пускай это кому-то покажется смешно — похвала собственного ребенка, а он, ей-богу, хотел быть лучше в глазах дочери. И раз даже зимой, когда в районной газетке появилась заметка «Лесной фронт держит коммунист Нетесов» (крепко его похвалили за то, что он с фонарем еще затемно выходил в делянку), он послал эту газетку Вале — да не домой, а на школу. Пускай запомнит первое письмо от отца. На всю жизнь запомнит.

И вот сегодня все пошло всмятку. Что она о нем думает?

— Ты поела, доча? — начал издаലെка Илья.

Валя не ответила. Черные материнские глаза ее строго и внимательно смотрели на отца. Так она обычно смотрела на него по вечерам, когда он просил ее объяснить ему задачку.

Задачки за третий класс он решал свободно. И за четвертый класс многие решал. А вот на задачках пятого класса мозги его забуксовали. Не мог он одолеть всех этих премудростей с соединяющимися сосудами и встречными поездами, в которых разбиралась его дочка. И тогда Валя смотрела на него вот этим самым взглядом, пытливым и изучающим, словно она хотела понять, хитрит с ней отец или он и в самом деле такой глупый, что не понимает того, что понимает она, двенадцатилетняя девочка? И Илья терялся, робел под этим взглядом, говорил что-нибудь невпопад.

Так вышло у него и сейчас.

— Скоро тепло будет. Птички прилетят, — Сказал и поморщился: не то, не то говорит.

— Папа, а ты, когда с войны вернулся, говорил: «Года не пройдет — с молоком будем...»

— Ну, Валентина, ты, ей-богу, как маленькая. Это ведь мати у нас грамотей, на все плевала, а ты-то понимаешь, что к чему. Восстановительный период переживаем. Так?..

Ветер раскачивал сосновые лапы над головой. С лап сыпало рыжей хвоей, изредка падали к ногам старые шишки... А Вали рядом не было. Валя ушла. И даже не позвала его домой, как это делала раньше: «Пойдем, папа. Мама заругается...»

И ему стало ясно: забраковала его ответ Валя, не приняла его объяснения.

О корове они не мечтали — где взять тысячи? А вот о козе говорили, и говорили часто. И Марья, например, даже предпочитала козу корове. Сена козе надо мало, молока с козы не берут, а удои не меньше, чем от иной коровенки, — и два, и три литра в день.

Да, подумал Илья, в районной газетке его напечатают. Передовик по займу. А что он скажет Вале? Как растолковать ей, что отец у нее член партии и поступить иначе не мог?..

5

Поздно вечером на районной радиоперекличке были подведены первые итоги подписки на заем.

Результаты — ошеломляющие.

В пяти колхозах подписка была уже закончена полностью. В трех колхозах колхозники внесли сорок процентов наличными, а в «Луче социализма» еще больше — пятьдесят два процента.

Подрезов объявил благодарность передовикам, отчитал разгильдяев и головотяпов, в число которых попал и Лукашин, и отдал распоряжение — уплату наличными довести до тридцати процентов.

Лукашин с убитым видом выслушал эту директиву. За день они с Ганичевым подписали двадцать пять человек, Озеров с Анфисой — девятнадцать, а всего по спискам Ганичева значилось семьдесят три колхозника, не считая тех, которые еще были на лесозаготовках.

Выход был один — тот, который с самого начала предлагал Ганичев, — нажать на колхозников. И на завтра Лукашин уже не либеральничал — требовал,

С Петром Житовым, например, он вообще не стал разговаривать, а вызвал к себе его жену, посадил на табуретку и сказал: или она подпишется на контрольную цифру, или пускай сейчас же прощается со своей бухгалтерией.

И Олена подписалась.

Точно так же он надел на доярок. Собрал в боковой избе, в которой запаривали соломенную резку для коров, и не выпускал их оттуда до тех пор, пока каждая из них не расписалась в ведомости.

Вечером, в ожидании радиопереклички, они с Ганичевым подсчитали: подписка пошла в гору. Нажим помог. Но до плановой цифры все еще было далеко. Тогда Лукашин опять стал доказывать, что добрая треть этой суммы падает на мертвых душ, на тех, кто только на бумаге числится в колхозе.

— Это не довод,— сухо возразил Ганичев.

Споря и ругаясь, они просидели до полпервого ночи. Радиопереклички в этот вечер не было. А назавтра утром в Пекашино пришла районная газета.

*Успешная реализация
2-го послевоенного займа в районе*

Великому учителю и вождю народов...

С чувством большой радости и удовлетворения докладываем, что рабочие, колхозники и служащие нашего района, вдохновленные...

Затем следовала сводка по колхозам.

Лукашин ни черта не понимал. Пекашинский колхоз в этой сводке значился на одиннадцатом месте, с реализацией займа на сто двенадцать с половиной процента. Как? Каким образом? Опечатка? А может, район задание снизил?

Ганичев взял у него районку и все четыре полоски просмотрел от корки до корки.

— Ясно,— сказал он не столько для Лукашина, сколько для себя.— Все ясно. Район на другую кампанию переключают. Смотри, вся третья страница посвящена севу.

— А как же с займом? — воскликнул Лукашин.— Откуда в сводке эти сто двенадцать с половиной процентов?

— Чудак человек! Будут нас с тобой ждать, когда мы последнюю бабу захомотаем, Скажи еще спасибо,

что пока сухими вышли. Понял? А насчет денег не беспокойся. Колхоз заплатит.

— Что — колхоз? Заем за колхозников колхоз заплатит?

— А как ты думал? Колхозники-то чьи? Не колхозные? — Ганичев прочистил горло и закончил вдруг совсем просто: — Но-но! Веселее, Иван батькович, Такую войну спихнули...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

На юге давно уже отшумела весна. И газеты были забиты рапортами — там, там закончили сев, там... И одного только, казалось Лукашину, не было в газетах — куда девалась весна. Кто отвел ее от Пекашина?

Все, поразительно все напоминало ему сорок второй год: и ледяной сиверок, дующий сутками напролет, и рев голодной скотины по утрам, и мертвая, закаменевшая земля, из которой — хоть плачь — ни единой зеленой травинки не выдавишь.

— У вас всегда так? — спрашивал он у Анфисы.

— Это с весной-то? Да, пожалуй. Где-нибудь опять увязла в суземах. Ведь пока она до нас доберется — сколько ей снегу растопить надо, сколько болот да рек перешагнуть.

А в другой раз сказала:

— Мне кабыть и весна-то нынче не та. Видно, и она за войну надорвалась...

И Лукашин, каждый день выходивший на деревенский угор, уже представлял себе нынешнюю весну в виде отошальной, измотанной бабы, которая еле-еле продирается через крошечные чащи лесов,

2

Весну поторопили.

22 мая в районной газете появилась первая заметка о полевых работах: в трех колхозах начали пахать.

— А ты чего ждешь? — навалился на Лукашина по телефону Подрезов.

Лукашин стал объяснять: земля, дескать, еще не оттаяла, на бору на той неделе зайца белого видели, утка на воде — на гнездо еще не села.

— Ты что же, по старушечьим приметам жить собираешься? Имей в виду: сплав пойдет — какую песню запоешь? Поговори с женой. Она знает, чем это пахнет.

Пахло это выговором, и даже строгачом, — азбука районного руководства давно была известна Лукашину. Но нельзя же, черт побери, вбивать семена в мерзлую землю! Из-за чего — разве не из-за этого самого в сорок втором году он схватился с Лихачевым?

Тем не менее после разговора с Подрезовым Лукашин спустился под гору на поля, словно он надеялся, что команда первого секретаря что-то изменит в природе.

Но нет, ничего не изменила. Все так же отскакивает сапог от земли, все та же пара жалких чирят неприкажнно качается в ледяной озерине под полоем.

Новым, пожалуй, в этот день был только дым, который время от времени выплескивало от реки из-за увала. Кто же там в такую пору обосновался? Насчет дровишек промышляет?

Лукашин боковиной поля вышел к увалу и увидел рыбаков.

Трое мальчуганов. Двое, спиной к нему, сидят с удилищами у воды, мутной, вспененной вешницы, а третий — у огня. Босиком. И обутки возле не видно.

Дрожь пробрала Лукашина. Будто он сам, а не мальчик коченел на этой стуже с босыми ногами.

— Рановато вы, ребятки, забегали к реке. Какая сейчас еще рыба. Подождать надо.

Мальчики, те, что горбились над удилищами, обернулись:

— У нас Миша болен. Ему свежую рыбу надо.

И Лукашин понял, чьи это ребята, — пряслинские.

— Как он сегодня? Не выходил на улицу?

— Не-е...

После поездки в район за телом Тимофея Лобанова Михаил Пряслин больше трех недель не вставал с постели: горячка. И он, Лукашин, без него как без рук. Стал вчера посылать женок за сеном на Нижнюю Синельгу — воза два оттуда не вывезено: «Что ты! Куда мы теперь попали. Потонем. Вот кабы Михаил...» А дрова взять. В правлении стужа, фельдшерница Тося

в рукавицах больных принимает — казалось бы, чего проще: запрягай лошадь да мотай на бор. Нет, и тут Михаила вспомнишь. Петр Житов раз съездил, а второй — руки кверху: «Больно накладны эти дрова. Не знаешь, на чем и ехать — не то на колесах, не то на копыльях». И так, куда ни сунься, за что ни возьмись — везде не хватает работающих рук Михаила. Так ведь это колхоз, деревня целая, а что сказать об этих ребятах? Куда они без него?

Пробковые поплавки, еле заметные среди мусора и пены, лениво переползали с волны на волну.

Паренек, гревшийся у огня, в большой косматой ушанке из рыжей собачины — Лукашин узнал зимнюю шапку Михаила, — бросил на костер две хворостины, лежавшие сбоку. Кверху полетели искры.

— Федька, — сказал сердито один из близнецов, — будет тебе сидеть-то. Собирай орехи.

Орехи, или земляные ягоды, черные, сладкие, величиной с горошину, к этой поре прорастали на кочках возле реки, и для ребят они были первым лакомством. Но эти ребята, понял Лукашин, думали не о себе — о больном брате.

Федька, однако — это он сидел у огня, — не встал. Только переставил поближе к теплу босую ногу.

— Отослали бы вы его домой, — посоветовал Лукашин. — Замерзнет.

— Замерзнет он! Как бы не так. Лентяй он... Мы ведь попеременки. Он недавно в сапогах был.

Ребята заспорили, заругались.

3

В избе было темновато из-за картошки, рассыпанной по полу, — только посередине для прохода была оставлена узкая, в половицу, дорожка, обнесенная белыми полешками. Густо пахнет запаренной резкой. Подоконник единственного окошка, в котором выставлена зимняя рама, заставлен крынками и деревянными ящичками с рассадой капусты.

Тут к своей посевной готовятся, подумал Лукашин и спросил:

— Есть кто дома?

Из боковушки, за задосками, раздался глухой, отрывистый кашель.

Лукашин прошел туда и разом просветлел: Михаил сидел на койке, и не просто сидел, а строгал ножом тонкую рябинку.

— Давно бы так. А то лежишь, всех пугаешь. Чего это — не пойму — мастеришь?

— А я, думаешь, понимаю? — Михаил неумело раздвинул отвыкшие от улыбки сухие, запекшиеся губы и вяло опустил рябинку к своим ногам, у которых лежало еще три таких же рябиновых черенка. — Нет, это у меня давно задумано: косовище к ребячьим коскам. Надо бы мне в этом году свою орду на пожню вывезти.

— Далеко заглядываешь, — сказал Лукашин. — А я вот не знаю, и весна-то будет ли.

— Будет. Куда деваается. Спустим все семь потов, которые положено спускать за посевную.

— Ну, ну! Хорошо бы! — вдруг оживился Лукашин. Он подсел к Михаилу, достал банку с махоркой.

Михаил, послынявив палец, потянулся к газете.

Болезнь крепко вымотала его. Глаза провалились, лицо густо заросло черным волосом. Но особенно поразили Лукашина руки — худые, бледные-бледные, под цвет проросшей картошки, и на этих руках, как после бани, отчетливо стали видны многочисленные порезы и порубы.

Много поработано этими руками, подумал Лукашин. По рукам он, пожалуй, не моложе меня. А вслух сказал:

— А тебе можно?

— Можно. Раз не подох, значит, можно. Надо привыкать к жизни.

— Ты зря, между прочим, из-за Тимофея убиваешься, — заговорил Лукашин. — Тимофей был обречен.

— А кто его обрек?

— Кто? Война.

Михаил скривил губы:

— Война... Эдак рассуждать — все можно на войну свалить.

— А что ж — мало война натворила?

— Тимофея не война в лес загнала. Люди... Меня плен этот проклятый с панталыку сбил. Думаю: вот как, отец у меня за родину погиб, а ты, гад, всю войну в немецком тылу шкуру спасал... А может, он и в плен-то не по своей воле попал? Может, его раненого взяли? Мо-

жет так быть? — Михаил требовательно округлил лихо-радочно блестящие глаза.

— Может,— подтвердил Лукашин и тихо добавил: — Не казись, Михаил. Не ты один не разобрался с Тимофеем. Я тоже не разобрался.

Да, уж кто-кто, а он-то, Лукашин, должен был бы понимать, как легко было на этой войне попасть в плен. Да он и понимал это. Но только рассудком, а не сердцем. И, наверно, поэтому он так и не сумел разговариваться с Тимофеем Лобановым. Правда, раз он сделал было попытку, спросил у Тимофея, как тот оказался в плену. «Не беспокойся, товарищ Лукашин. Те, кому положено знать, знают». Да, вот так ответил ему Тимофей, и после этого у Лукашина пропало всякое желание поближе сойтись с ним. А жаль, думал он потом, уже после смерти Тимофея. Мужик-то был, по всему видать, стоящий.

Михаил с упрямством человека, который во что бы то ни стало решил докопаться до истины, продолжал рассуждать вслух:

— Да, вот кто меня сбил окончательно. Шумилов, секретарь райкома...

— Секретарь райкома тоже человек. И он может ошибаться,— заметил Лукашин.

— Значит, я должен быть умнее секретаря? Так? Хэ, секретарь может ошибаться. А поди скажи ему об этом в то время, когда он ошибается.

— Ты, пожалуйста, успокойся. Тебе вредно так волноваться,— сказал Лукашин и подмигнул: — Твой, между прочим, бюллетень слишком дорого обходится колхозу.

Вышло это фальшиво, неловко, и, как показалось ему, Михаил сразу же понял, почему он заговорил так. По привычке, по осторожности, из вековой боязни острого и прямого разговора.

Михаил тяжело вздохнул, и темные веки, как ставни, упали на его потухшие глаза. За окошком со свистом, штопором завивая щепу, пронесся вихрь.

Лукашин сказал:

— У нас неприятность большая, Михаил. Вечор корова пала.

Сказал и ужасно разозлился на себя: что же ты о корове ему толкуешь, когда он о человеке знать хочет?

Первую свою тропу выздоравливающий Михаил продолжил на кладбище.

Песчаные холмики недавно подправлены, обложены свежим дерном. Следы ребячьих босых ног возле могил.

Наверно, это Анисья со своими ребятами была, подумал Михаил.

Над головой низко, толчками пролетела белобокая сорока, затем покачалась на тонкой сосне-жердинке, возле которой был похоронен старый цыган, умерший еще до войны, и нырнула вниз — должно быть, увидела бутылочные осколки. Много там раньше валялось этого добра. Цыгане, проезжая через Пекашино, каждый раз справляли на могиле поминки.

Столб на могиле Трофима комлеватый, смоляной — долго простоит. А Тимофею и тут не повезло. Воткнули какой-то еловый кряжишко, от которого даже в печи не было бы ни жару, ни пару, наскоро оболванили топором, и хватит с тебя. Только кто-то из баб — Анисья или сестра Александра — немного приукрасил кряжик, повязав на него красную ленточку.

Да, подумал Михаил, эти Тимофею верили...

...Шел дождь, под полозьями шипел мокрый снег, а он вел в поводу лошадь и думал: кого он везет? Что за человек лежит там, на санях, прикрытый старой шинелишкой, которого он еще четыре дня назад гнал в лес?

Тимофея он возненавидел с первого взгляда.

И вот Тимофей умер. Не притворялся, не симулировал. Рак в брюхе носил. А ему не верили... Почему? Кто видел, как он попал в плен?

Всю дорогу Михаил вел лошадь в поводу, ни разу не оглянувшись назад. И в районной больнице тоже не посмотрел на Тимофея. Не мог. Без него укладывали тело на сани. А под Марьиными лугами пришлось взглянуть. Да не только взглянуть, а чуть ли не целоваться с покойником.

Зимник под Марьиными лугами он проскочил запросто, а подъехал к этому берегу — стоп: на три — на четыре сажени хлещет полая вода.

Илья Нетесов, поджидавший его на берегу, кричал: — Назад, назад!

А куда назад? Лед трещит под ногами.

Он изо всей силы огрел коня — вперед, вперед! — и вскочил на сани. Холодная ледяная вода ударила по коленям.

— Михаил, Михаил! — опять услышал он крик. — Тимофея, Тимофея держи!

Шинель с Тимофея сдернуло. Мертвое, желтое лицо полощет водой. И тогда он пал на Тимофея, ухватился руками за копылья и своим телом прижал покойника к саням...

Тихо, безветренно было на кладбище. Пригревало солнышко. Молодая смола искрилась на сосновых иглах, а ему было зябко. И в мозгу тяжело, как перегруженные зерном жернова, ворочались непривычные мысли.

Ах, жизнь, жизнь... Неужели и дальше так будет? Неужели нельзя иначе?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Егорша подъехал к Пекашину тихо, крадучись, зато, когда выскочил на деревенскую улицу, дал жизни. Мотоцикл заревел как бешеный, вихрем взметнулась вечерняя пыль на дороге. Из домов выскакивали полоротые бабы, ребятя гналась сзади. В общем, все вышло так, как он задумал.

Под окошками у Пряслиных он сделал крутой разворот, заглушил мотор.

— Здорово! — Егорша пинком распахнул воротца, подошел к Михаилу, укладывающему мешок с семенами на телегу, и клейко, с размаху всадил свою руку в руку друга. — На ногах? А мне говорили: Мишка на тот свет собрался...

К мотоциклу подбежали запыхавшиеся ребята, сгрудились, заспорили, толкая друг друга. Егорша повел в их сторону все еще возбужденным глазом:

— Ничего коняшка? Трофейная. Двадцать километров просадил за час. Это по нашим-то, расейским дорогам! Хочешь прокачу?

— Да нет, в другой раз. Участок пахать надо. — Михаил кивнул на запряженную лошадь.

— Но, но! Это не пойдет! Сколько не виделись! — Егорша звонко шлепнул ладонью по раздутому голени-

щу резинового сапога — он работал на сплаве. За голенищем забулькало. — Чуешь, какая влага! Давай отправляй свою колымагу на конюшню.

— Нельзя. Ежели я сегодня не вспашу поле, когда мне лошадь достанется?

— Лошадь, лошадь... — Егорша презрительно, не разжимая зубов, цыкнул слюной. — Сколько я тебе говорил, жук навозный: подавайся в леспромхоз. А ты как бревно. Спустили на воду, куда поволокло водой, туда и плывешь. Ну и плыви, хрен с тобой. Знаешь, сколько я за эту конягу выложил? Пять косеньких. Пять тысяч, значит... А ты чего в своем колхозе нарыл?

Михаил мрачно сдвинул брови, и Егорша сразу же сбавил тон:

— Ладно... ладно... Мне-то что. Ройся! — повернул к воротцам, затем живо обернулся: — Читал газетку за десятое число? Нет?

— Нет. А что?

— Что, что! Вот уж тюха-матюха. Земля перевернется, а ты и знать не будешь. — Егорша вынул из-за пазухи матерчатой робы сложенную четырехугольником газету, с загадочной улыбкой протянул приятелю. — Страница четвертая. Почитай. Весь район говорит.

С задворок в это время, выгибаясь под коромыслом с полнехонькими ведрами воды, подошла Лизка.

Михаил сунул газету в карман пиджака, сел на телегу, сказал сестре:

— Приходи на поле. Ключья поколотишь.

— Чего это он как чокнутый? — спросил Егорша, когда телега выехала из заулка.

— Чего-чего... — огрызнулась Лизка. — Поболей с его-во, не то еще с тобой будет.

Егорша, нацелив на нее синие щелки, звонко поиграл губами:

— Ты ничего..., не наклепала ему?

— Вот еще! — Лизка вспыхнула до корней волос. — Только об этом у меня и думушки. — И пошла, расплескивая воду по заулку. Толстая, туго заплетенная коса с красной ленточкой светлым ручьем стекала по ее напружиненной спине.

Егорша — в два прыжка — догнал ее, схватил за косу.

От неожиданности Лизка едва не уронила ведра, но справилась — поставила на землю.

— Одичал? Опять за свое?

— Ладно, ладно,— Егорша примиряюще поднял руку.— Приходи сегодня в кино. Я билет куплю. Придешь?

Лизка медленно подняла на него полные удивления глаза..

— Ну чего уставилась? Придешь?

— Зачем мне твои билеты? Что я — сама не могу купить?

— Эка ты... Тебя парень приглашает. Приходи. А то могу и на своем конике подъехать. Видала, какой у меня теперь конь?

Хлопая резиновыми голенищами, Егорша выбежал за калитку, шуганул ребят, столпившихся у изгороди, там что-то застреляло, затрещало, выбрасывая синий дым, и вдруг Лизка увидела, как Егорша, будто по воздуху, перенесся к амбару.

Она выбежала из заулка. По дороге длиннющим мохнатым облаком клубилась пыль. А Егорши не было. Егорша исчез.

— Ребята, на чем это он улетел?

— На мотоцикле!

Светлый вечер стоял над Пекашином, и долго в звонкой тиши его ревела, удаляясь, неведомая Лизке машина.

Вот лешак, думала она, прислушиваясь к этому реву, опять чего-то придумал. Не может без выдумок...

2

— Чего все туда смотришь? В кино хочешь?

— Да нет, с чего,— ответила Лизка, отворачиваясь от подъехавшего брата.

Железный лемех, резко чиркнув по камню, с мягким шипеньем вошел в землю. Михаил повел новую борозду. По полю белесыми прядями расползлся дымок от костра, разложенного под ивовыми кустами на замешке. Причитала кукушка в лесу за болотом — жалобно, по-вдовьи. И еще был слышен перестук движка у клуба. И как ни хотела бы Лизка не обращать на него внимания, не могла. Слушала. Слушала, разрубая дерноватые ключья копачом, слушала, приподняв голову и настороженно поглядывая в сторону брата.

Ей удивительно, до озноба непривычно было то, что случилось какой-нибудь час назад. Ее первый раз приглашал парень в кино. И сейчас, прислушиваясь к перестуку движка, она мысленно представляла себе, как бы она вошла в клуб с Егоршей. «Смотрите-ко, смотрите! Лизка-то — с Егоршей!» И ей было бы в чем зайти в клуб. И ботинки есть, и платье новое есть — сама в лесу справила, — и платок желтый с зелеными листьями по полю. Но она не посмела отпроситься у брата. В другое бы время проще простого: сбегаю на часик в клуб, ладно? А сегодня язык не поворачивается. Вдруг да он, Михаил, догадается?

С Егоршей они не виделись с той самой поры, когда он обманом затащил ее в баню. Ни разу после того не показался на Ручьях. И она уже стала забывать про тот случай в бане. А он вот не забыл, помнит. «Не наклепала ли Михаилу?» И может, он оттого только и не показывался на Ручьях, подумала сейчас Лизка, что стыдно перед ней было?

Опять подъехал Михаил:

— Кончай. Я лошадь кормить буду.

— А мне чего? Еще трясти ключья?

— Иди домой. Хватит.

Лизка не заставила себя уговаривать. Положила копач к телеге, отряхнулась от пыли и утоптанной тропочкой, вдоль поля, зачистила к деревне.

Движок у клуба по-прежнему распевал свою трескучую песню в ночи.

Она оглянулась назад — смотрит ли на нее брат, догадывается ли, куда она спешит, — и перешла на бег.

Нет, она никому, даже брату родному, не рассказала про то, что произошло там, в баньке на Ручьях. Хватило ума. Дурил Егорша — вот и все. Где она видала таких парней, которые бы не протягивали лапы к девушкам?

Кукушку за болотом совсем сморило. Вяло, с позевою открывала рот. Туман закурился на болоте.

А как же она в клуб войдет? — вдруг подумала Лизка. Тот зубоскал невесть что еще подумает. «А-а, — скажет, — прибежала. Только поманил пальцем — и как собачка прибежала...»

Она пошла медленнее, еще медленнее. Остановилась.

На поле у них все еще дымился навоз. Ребята с матерью весь вечер пережигали новозные кучи да раз-

брасывали по полю, а потом ребята отпросились у Михаила в кино. И вот она тоже забила себе голову этим кино. Как маленькая. Не видала кинá...

Господи, вдруг с ужасом, со стороны подумала о себе Лизка. Совсем образ человеческий потеряла. Брат, больной, надрывается, пашет, а ты, кобыла здоровущая, в кино полетела. Да что это с тобой? Как ты и подумать-то об этом посмела!

Про то, что Михаил тяжело болен, Лизка узнала на Сотюге, на окатке леса. Чудный денек тогда выдался. Солнышко. Травка молодая распушилась. И люди радуются, как дети: дождались тепла, домой скоро.

И вот в этот-то радостный день и пала черная весть про Михаила. Кузьма Кузьмич принес: «Как брат, девка? Не миновал еще кризис?»

Она только глазами хлоп. Какой кризис? И слова-то такого не слыхала. А потом, как узнала, что это такое, все бросила и — домой.

Она бежала лесной дорогой — солнышко играет, березы ластятся, птицы поют, а у нее крик в горле: где брат? Что с братом? И, конечно, про все позабыла. Про платок забыла — так, простоволосая, в одном платье, и прибежала домой. С топором в руках.

А дома, когда в заулок свой вбежала, перепугалась еще пуще. Все настезь: ворота настезь, двери в избу настезь. И никого. Ни единой души. Ни ребят, ни матери. И она... Бог знает, что случилось бы с ней тогда, да хорошо, в ту минуту за амбаром раздался Татьянкин голос.

Там, за амбаром, она и нашла брата. Сидит на угорышке, сгорбился, на подгорье смотрит, а сам в зимней шапке, в фуфайке. Да Михаил ли это?.. И вот тогда она разревелась. Брат успокаивает. Татьяна успокаивает, а она обхватила его обеими руками и ничего не может поделать с собой...

3

Михаил не из-за коня, как сказал сестре, сделал передышку. Конь хоть и целый день выходил в колхозной борозде, а плуг таскал неплохо. Он сделал передышку из-за себя. Тяжело. Ноги дрожат в коленях. А на заворотах чуть приподнял плуг — и потом умылся,

Тихо вокруг. За кустами хрустит, фыркает конь, с жадностью выстригая молодую травку. Тощий комарик, видимо еще ни разу в этом году не отведавший живой крови, надоедливо вьется возле лица, а над головой белая ночь. Над головой далекие, чуть видимые звезды.

Он лежал на зеленом замеске и думал о том, что его болезнь, пожалуй, слишком дорого обойдется семье. На посевной он не работал — самое малое трудодней шестьдесят потерял. Но трудодни еще можно наверстать, трудодни — дело наживное. А вот то, что он участок свой загубил, это пострашнее всего. Да, загубил. Кой черт уродится, ежели уже трава выросла, а поле еще не пахано!

Степан Андреевич предлагал свои услуги («Одолею, Миша, помаленьку»), а он заупрямился: нет и нет. Сам пахать буду.

И вот ведь как все перевернуто, перевернуто в жизни: ежели у них, у Пряслиных, ничего не уродится, то и старухам его подшефным куковать. С войны еще идет порядок: всех старух престарелых, всех калек и увечных должны обсевать здоровые. Михаилу по этому порядку досталось пять старух. И вот две старухи смекнули, сумели запахать свои участки без него, а три старушонки: соседка Семеновна, Дуня Савкина и Матвеевна — те решили сохранить ему верность. Пришли на днях: «Мы уж, Миша, никого не зовем. Тебя будем ждать».

Михаил приподнялся на локоть, посмотрел на деревню. Ах, дуры бестолковые! Ведь, наверно, и сейчас ждут...

Он встал, заставил себя встать.

Его познабливало. Кружилась голова. И — что особенно удивило его — зябли руки. А ведь он этими руками на тридцатиградусном морозе мог работать без рукавиц. Болезнь вторым заходом возвращается?

Он решил помахать топором — самое верное средство разогреться, тем более что для починки изгороди возле дома (а она опять, дьявол ее возьми, обвалилась) нужны были свежие вицы и новые колья. Когда их и нарубить, как не сейчас? Не гонять же специально лошадь.

Он подошел к телеге и тут увидел на телеге измятую, свернутую трубкой газету, которая, по всему виду, выпала из кармана его фуфайки. Он вспомнил,

с каким воодушевлением говорил о газете Егорша, и озябшими руками развернул ее.

На четвертой странице, в левом углу, сверху, красным карандашом была отчеркнута статья «Наш рабочий парень». С портретом. Должно быть, того самого парня, о котором написано в статье.

Что за чертовщина? — удивился Михаил, всматриваясь в портрет. Да ведь это Егорша! Он. Его, Егорши, прищуренный глаз целится в него с газеты. Ну и ну!..

Он присел на телегу.

«Кто не знает на Пинеге этого молодого прославленного лесоруба с задорными синими глазами и золотым есенинским чубом!»

Здорово! На всю Пинегу прославленный. И золотой чуб не забыли.

«Отличный товарищ и друг, первый заводила и сельчак, вдохновенный мастер леса и гармонист...»

Да, расписали. Хоть на божницу ставь.

«Георгий Суханов с детства полюбил лес. Еще будучи ребенком, он не мог равнодушно смотреть на загубленное дерево, а — что греха таить — подчас у нас еще встречаются люди, которые не умеют попридержать топор в руках. Не в пример этим доморощенным митрофанушкам, маленький Гоша понимал, что лес — это главное богатство Севера...»

Дьявола он понимал!

«Война с фашистской Германией застала Георгия на школьной скамье. Отца призвали в армию. На всю жизнь запомнилось прощанье с любимым отцом.

— Ну, сынок, — сказал старый мастер леса, вручая свой стахановский топор сыну, — не подкачай! Будем крушить кровавого Гитлера с двух сторон: я штыком, а ты топором.

И юный патриот на четырнадцатом году пошел в лес. Ему хотелось учиться, овладеть теми знаниями, которые выработало человечество, но в этот грозный для Родины час...»

Брехня! Все брехня. Если бы спросили его, Михаила, он бы порассказал, как они с этим юным патриотом отправлялись на лесозаготовки... А когда это отец успел вручить ему свой стахановский топор? Отец-то у него на сплаве, на Усть-Пинеге был, когда война зачалась, Оттуда, со сплава, его и на войну взяли,

Дальше брехни было еще больше. Георгий Суханов — образец нового человека... В Георгии Суханове зримо проглядывают черты коммунистической сознательности... Георгий Суханов — молодая поросль рабочего класса...

Михаил скомкал газету.

Печатному слову он верил всегда, с малых лет. Печатное слово — это сама правда. Иначе и быть не может. А тут брехня на брехне, все шиворот-навыворот. Егорша передовой... Егорша новый... С Егорши пример надо брать... Эх! А заставить бы этого передового да нового в колхозе вкалывать. Да задаром. Ну-ко, что бы запел этот новый да передовой?

Но ладно. Согласен. Пускай Егорша новый да передовой. Пускай про него в газетах печатают. Может, гад, работать, особенно, когда начальство смотрит. Тут разорвется, а никому не уступит. Но вот что ему, Михаилу, поперек горла — Егоршина спесь. Ты, мол, жук навозный, червь. Ты, дескать, рылом в землю зарылся, света белого не видишь, а я где, засучивши рукава? На передовой линии фундамент закладываю... И-эх! — кабы это был только Егоршин треп. А то ведь не один Егорша так думает.

Взять хотя бы вот этот самый приусадебный участок. Ведь послушать Егоршу и кое-кого другого, так из-за чего это он, Михаил, и ему подобные за свои сотки держатся? А из-за того, что не могут без своей навозной кучи. Такая, дескать, у них мелкая стихия. И покуда их сознательность отстаёт, приходится терпеть эту позорную коросту на нашей колхозной земле...

Сволочи! Да провались он к дьяволу, этот приусадебный участок! Натё! Возьмите ваши сотки! На колени от радости встану — только дайте немного на трудодень...

Михаил оглянулся, услышав шорох сухих листьев. Лизка. Идет по промежку и руками размахивает: радость какая-то.

— Чего вернулась?

— А, ладно. Нахожусь еще по кинам. Надо маленько и совесть знать. Верно?

— Дура! — вдруг взбеленился Михаил. — Заездят тебя с этой совестью.

Лизка — убей бог — ничего не понимала. Что случилось с братом? Почему брат вдруг ни с того ни с сего наорал на нее? А она-то думала, обрадуется: «Молодец сестра! Вдвоем скорее управимся». Может, газета его расстроила? Она видела, выходя из кустов, как он читал газету.

Лизка взяла с телеги скомканную, отсыревшую газету, подержала в руке и положила обратно. Нет уж, раньше никогда в газеты не заглядывала, а сейчас и подавно смешно. Увидит еще кто-нибудь: за газетой девка сидит — пойдет слава: «А, скажут, нету другого дела на поле, только газетки и читать».

— Я вицы рубить пойду! — крикнула Лизка Михаилу, выведившему коня на поле.

Она не сердилась на брата. Радость и счастье ходили по ихнему полю. И красота.

Никогда, никогда она не видала еще такой красоты.

Сперва было все серебряное: и кусты в тяжелой холодной росе, и трава на замешке, примята ее сапогами, и мокрое жало топора, которым она подрубала ивняк, отливало серебром. А потом все это вдруг вспыхнуло, засверкало радужными огнями. И запели птицы вокруг, и затрубили журавли на озимях, за Акимовой навинной, там, где она боронила вечер, и далекая кукушка позабыла про свой вдовий плач. Весело, по-утреннему заиграла.

За рекой всходило солнце. И Лизка сперва смотрела на солнце из мокрых, сверкающих кустов, а потом выбежала на поле, привстала на носки и радостно, по-детски протянула к нему руки.

Давай, давай, красное, разгорайся! Приводи скорее новый день.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Июнь перевалил за вторую декаду, на Кубани пшеница вымахала — даже газету читая, слышишь, как колос шумит. А у них что? Еле-еле обозначились всходы. Жалкие, рахитичные. А с травой на лугах под горой и того хуже: зажали холода. Вороне негде укрыться.

И Лукашин, с тоской поглядывая на голые поля и наволоки, уже начал было думать: все. Без хлеба и без

себя останемся. Никакая сила теперь не выправит то, что упущено из-за этих затянувшихся холодов.

Но есть, есть, оказывается, такая сила на Севере: белые ночи. Те самые белые ночи, от которых еще и сейчас томился он. На них-то, на белых ночах, оказывается, и держится Север.

А было так: с вечера над деревней прошумел дружный, с молнией и громом ливень, а наутро, куда ни глянь,—зеленое пламя бьет из супесей и подзолов. И все это за одну ночь.

— Можно, можно и у нас жить,—сказал Лукашину Степан Андреянович. — Лето у нас короткое, да зато бог белые ночи дал. Вот растение и гонит в рост круглые сутки.

И верно, северное лето с этого времени заработало без передышки. Оно на всех парах устремилось догонять южное.

И быстро на зеленых конях подкатила к Пекашину сенокосная страда — знойная, потная, в туче овода и комара.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

У Пряслиных такого еще не бывало.

Ворота настежь, двери в избу настежь. Крыльцо стонет под ногами. Кто тащит косы, обернутые в мешковину, кто — косовища и грабли, кто — корзину с посудой и харчами, кто бренчит чайником и котелками, черными, насквозь продымленными еще в прошлогодние страды...

— Ушат-то, ушат-то не забудьте! — кричит, выбежав на крыльцо, Анна. — Может, грибы пойдут, пособираете сколько.

— А удилица нам взять? — спрашивают Петька и Гришка.

— Миша, Миша! — кричит Лизка. — А соль-то мы не позабыли?

И Михаил, чертыхаясь, снова и снова перевязывает воз.

Жара. Оводы. Конь бьет ногами — оглобли трещат. Орет, в три ручья заливается Танюха — «на пож-ню-ю-ю»

хочу», и люди, люди, ползаулка людей. Свои, соседка Семеновна, старушонки. Этим, в их годы, на что бы ни глядеть, лишь бы скоротать день. А бабы — Лукерья, Паладя, Таля Евдокимовых?.. Они-то зачем приперлись? Неужели не видали, как на сенокос выезжают?

Затем еще одна делегатка — Анфиса Петровна. Эта прискакала верхом, как на пожар.

— Ох, все думала — опоздаю. С поскотины коня без передыха гнала.

А зачем, за каким, спрашивается, дьяволом гнала? Ей ли сейчас забаву в чужой бригаде искать, когда свои люди еще не выехали на пожню?

Наконец Михаил увязал воз. Проверил еще раз за-вертки у саней — на телеге на Среднюю Синельгу не проедешь: грязища.

— Ну, кто на коня полезет?

Ребята подскочили — все трое вдруг: каждому хочется во главу поезда.

— Да уж малой пускай, — подсказала мать. Эта своего любимчика не забывает.

Михаил подхватил Федюху под мышки, забросил на коня.

Тот, сверкая своими рысьими глазищами, как с трона посмотрел на братьев.

— Ничего, — подбодрил двойнят Михаил. — Вы большие. Вы со мной.

И вот — золотые ребята! — уже улыбаются. Не хотят портить праздник ни себе, ни другим.

А праздник, если вообще можно так назвать выезд на дальний сенокос, достался им нелегко.

Первое условие, которое им было поставлено, — без троек закончить год. Затем — сушь. Разорваться, а насушить рыбешки на страду.

Ну ребята и старались. Утром глаза продерешь, а они уже у окошка, уроки свои долбят. А из школы прибежали — куда? На улицу? Нет, к реке. И сидят, сидят за удилищем — хоть дождь, хоть ветер. И если бы не они, не их старание, ничего бы из его затей с семейным выездом на пожню не вышло: не с чем ехать.

— Ну, ничего не забыли? — на всякий случай еще раз спросил Михаил.

— Да нет кабыть, — ответила мать.

Михаил поднял руку: трогай. И тут к нему подошла Анфиса Петровна,

— А помнишь, Михаил, я однажды тебе говорила: придет, говорю, такое время — бригадой поедут Пряслины на сенокос? Не помнишь? — От волнения у Анфисы Петровны побелели щеки, росой окропились черные глаза.

Да, было такое, было. В сорок втором году Анфиса Петровна на его глазах накрыла мать с зерном на колхозном току, и вот поздно вечером он пришел к Анфисе Петровне: что делать? Как жить? Отец на фронте погиб, а мать — такая-разэдакая — на колхозное зерно руку подняла. Глупый, зеленый он тогда был. Не подумал, что мать ради него да ради голодных ребятишек хотела взять какую-то горстку зерна.

И вот Анфиса Петровна его утешала и разговаривала, наверно, часа два, объясняла, как устроена жизнь, а потом насчет этой самой бригады стала говорить: дескать, выше голову, три к носу, все будет хорошо, вот увидишь, и мы еще доживем до той поры, когда от Пряслиных целая бригада на сенокос поедет.

Так вот она зачем без передыху скакала от поскотины, подумал Михаил. Чтобы увидеть, как он со своими ребятами выезжает на пожню. И Лукерья, и Паладьа, и Таля — эти, наверно, тоже прибежали не ради того, чтобы убить времечко...

Горячая волна подступила к его горлу. Каким-то не своим, писклявым голосом он крикнул: «Трогай!» — и вдруг сам, как будто мало у него помощников, побежал открывать воротца.

2

У Терехина поля, там, где дорога ныряет в густой березняк, Лизка, вздохнув, сказала:

— Помашите в последний раз. Дальше сузем начинается — не увидите больше деревни.

И Петька, и Гришка, уже сколько раз оглядывавшиеся назад и махавшие рукой, оглянулись снова.

Мать с Татьянкой — далеко видать в ясную погоду от Терехина поля — все еще стояли у колодца (Татьяна на изгороди). И там же был еще один человек — Анфиса Петровна. Михаил узнал ее по белому платку.

Этот белый платок памятен всем в деревне еще с войны. Бывало, как определить, есть ли председатель на поле? А по платку. Нет такого другого платка в

Пекашине. Ярче снега горит. То ли оттого, что с мылом стирал, тогда как другие нажимали на щелок, то ли в чем другом секрет.

И, завидев этот знакомый, сверкающий своей белизной платок, Михаил опять удивился Анфисе Петровне. Это сколько же годов она помнила? — спросил он себя. С осени сорок второго. Шесть лет. Да, он об этом забыл, а она не забыла. Она помнила. Да только ли помнила? Лизка права была тогда, после собрания, на котором Анфису Петровну сняли с председателей: кабы не она, Анфиса Петровна, еще неизвестно, что было бы с ихней семьей.

А нынешний выезд на сенокос? Кому они обязаны? Да все ей же, Анфисе Петровне. Кабы она слово на правлении не замолвила, разве бы он шагал сейчас со своей оравой? Лукашин, когда стали утверждать сенокосные группы, — ни в какую. Поедешь за групповода на Верхнюю Синельгу. И бабы — черт их подери: как мы без Михаила? С войны косы наставляет. Потом Коркин, уполномоченный райкома, еще дров подбросил: нельзя своим закутом. На единоличность заворот, а мы коммунизм строим.

И вот кабы не Анфиса Петровна — ставь крест на всей затее с сенокосом. А Анфиса Петровна всем по серьге выдала. И перво-наперво Коркину, который урон коммунизму от ихней семьи увидел: это какая же единоличность? Сам он будет исть сено, которое наставит, или колхозные коровы? А вы дак совсем безголовые стали, сказала она бабам. Надо ему когда-нибудь ребят приучать к работе? Надо. А разве он может ехать на Верхнюю Синельгу со своей мошкаррой? Вы же первые подымете крик, когда у вас ребятишки малые начнут путаться под ногами. Разве я вас не знаю?

Вот так сказала Анфиса Петровна на правлении. И трудно было что-нибудь возразить против этого. Согласились люди.

3

Жилье ребятам не понравилось. Избушка старая, заросла ремзой да крапивой — только одна крыша в зеленых заплатах мха проглядывает. К дверям не подступиться — ольшаник. И темно. Плотным мохнатым тыном поднимается ельник за избушкой.

От гнуса гул и вой стоял в воздухе. Тут из-за того, что солнышко не заглядывает в этот угол, обычного распорядка не существовало: днем овод-красик, а к вечеру, после того как спадет жара,— комары, мошкара, слепни. Нет, тут вся эта нечисть шпарила без передыху, круглые сутки.

— Вот так ставровка, — сказала Лизка, все еще с удивлением оглядываясь по сторонам.— Никогда бы не подумала, что в таком месте избу ставят. Что уж Степан Андреянович? Умен, умен, а тут соображенья не хватило. Вон бы где избу надо ставить,— по-своему рассудила Лизка и указала на веселый, ромашковый угорышек у Синельги. — Там и вода рядом, и глазу есть где отдохнуть.

Некогда да и незачем было объяснять Лизке, а заодно и ребятам, почему Степан Андреянович поставил избу в стороне, а не на пожне. Ведь ежели сказать, что раньше каждой саженью пожни дорожили, не поверят. Потому что сейчас не только богом проклятые суземные ручьевины — русь, то есть луга вокруг дома,— частенько под снег уходят.

Первым делом Михаил стал распрягать коня. Всем досталось за дорогу — шесть верст сузема пятнадцати и двадцати обычных стоят, а конь просто на глазах сел. Они, люди, все-таки выбирают: тут по валежинке, там бровкой, здесь по кочкарнику скок, а лошадь все серединой, ни одной грязи не минует, да еще с санями, с поклажей.

— Ну, чего стоите? — прикрикнул Михаил на приунывших ребят. — На курорт приехали? — Он вытащил из натопорни топор, подал двойнятам: — Дуйте в лес за дровами!

Началась работа по устройству жилья. Вдвоем с Лизкой они быстро обкосили вокруг избы, которая, судя по всему, и попервости не отличалась удобствами: вместо рам — черные продымленные ставешки-задвижки, вместо дверей в сенцах — жердяные засовы, на которые в дождь навешиваются пластины бересты. Крыша тоже не из досок, а из жердняка, застланного в несколько рядов берестой, теперь очень обветшавшей, искрошившейся, густо проросшей зеленым мхом. В общем, Степан Андреянович возводил жилье по правилу: лишь бы над головой не капало да было где от гнуса уберечься. И старик, наверно, и сейчас не стал бы вырубать

вокруг кусты. Зачем время тратить? Обойдется и так. А Михаил вырубил — большие окна проделал в кустарнике над ручьем слева от избы и начисто срезал ольшаник вдоль пригорка, так, чтобы ничто не закрывало тот обрывистый, из красной глины берег и главное — чтобы ветерок заглядывал в их угол и выдувал гнуса.

Тем временем с дровами пришли ребята и наперебой стали рассказывать о том, что недалеко от избы по дороге ходит корова с теленочком — бо-о-ль-ша-а-я...

Михаил рассмеялся:

— Дак чего же вы не гнали ее сюда? Вот бы и с молоком зажили.

— А мы самой-то коровы не видели. Мы только следы в грязи видели. Бо-о-ль-ши-и-е! А у теленочка копытца маленькие-маленькие, вот такие.

— Дуралье! У этой коровы знаете какие копыта? У волка череп трещит, если долбанет.

— Лосиха?

— А то. Тут зверья всякого. Подождите, завтра начнем косить — еще не то увидите. Сам Михаил Иванович Топтыгин притопает. Он любит новеньких.

— Давай дак не пугай их, — сказала Лизка, только что на четвереньках выползшая из дымной избы. Слезы текли по ее скуластому лицу.

Пока брат обрубал вокруг кустарник, она выгребла из избы старую сенную подстилку, потом затопила каменку. И вот теперь вся избушка была окутана густым белым дымом. Дым валил из дымника — специального проруба в стене под крышей, дым шел из дверей, из окошек, из пазов — Степан Андреянович не прошил стены, пожалел лишних полдня.

4

Солнце было еще высоконько, но дневная жара уже спала и овод-красик подался из избы к речке. Там, у речки, поблескивая на солнце мокрыми от пота боками, бродил, обмахиваясь длинным хвостом, Лысан, их гнедой мерин, и много-много резвилось стрекоз.

Михаил не стал бы утверждать, что слышит треск их сверкающих крылышек, но порог слева, который еще недавно заглушал дневной шум, уже лопотал. Пока пощеньячи — тяв-тяв, а замитингует он на всю окрестность часа через три, когда сядет солнышко.

Эх, подумал Михаил, хорошо бы сейчас заглянуть в ближайшие пороги! Раньше он так и делал: чуть только подъехал к избе — за удилище. А сейчас не один и не вдвоем с матерью. Надо тому косу наладить, другому, третьему — дай бог успеть до заката. А крыша? Долго ли проживешь под этим берестяным старьем? До первого дождя.

Вздохнув, он взялся за топор (первым делом надо надрать бересты для крыши, пока еще нет росы) и вдруг не выдержал — схватил рябинку, которую срезал еще давеча, когда вырубал кустарник, намотал на рябинку леску и — к речке.

В первых двух порогах забросы ничего не дали. Зато на Митькиной яме, только он коснулся червяком воды, так рвануло, что удилище едва не вылетело у него из рук. Не ожидал. Так, для очистки совести забросил. Потому что в жару какой на яме хариус? В жару хариус стоит в пороге, вошь с себя смывает.

Михаил быстро сменил червяка и сейчас уже с большой осторожностью, прижимаясь к сухому замшелому стволу черемшины, закинул снова. Никого. Он так, он эдак: вприпляс по воде, низом по камешнику, кругами-петлями — пропала рыбина. Попробовал на овода, на кобылку — тот же результат.

Петька и Гришка — сами рыбаки — зашептали сзади из травы:

— Может, он ушел?

— Может, — сказал тихо Михаил, сделал шаг вперед и тотчас же откинул туловище назад.

Сколько раз он протаскивал червяка вдоль палки, лежащей на дне в тени круглого валуна, густо забрызганного сверху белым птичьим пометом, и еще все боялся, как бы не зацепить ее, а она вон какая палка — с плавниками. Ибо как раз в ту самую секунду, когда он сделал шаг вперед, из-за прибрежного ивняка брызнул красный луч вечернего солнца и палка у валуна блеснула золотом.

Вот с этой самой минуты и началась по сути дела рыбалка. Все в сторону: червяка, овода, кобылку. Только голый крючок да твоя сноровка.

Величайшее терпение и выдержка требуются от рыбака, решившего взять рыбину зацепом. Сперва надо закинуть крючок в сторону, да так, чтобы не испугнуть

всплеском хариуса (осторожная, ух осторожная рыба!). Затем крючок надо подвести из-под низа к брюху или к голове рыбины (лучше к голове, потому что большого хариуса за брюхо не вытащишь). Затем — подсек, вернее, ловкий рывок — и крючок в теле рыбины.

Как будто несложно, особенно если весь этот процесс разложить по частям, а на деле немногим, очень немногим удается поднять рыбину зацепом. Непременно где-нибудь да сорвешься или раньше времени обнаружишь себя. Как быть? Зацепом можно взять рыбину только в светлый день, когда хорошо ее видно с берега. Но ведь ежели ты рыбину видишь, то и она тебя видит. Или по тени догадывается о твоём присутствии.

Михаилу, можно сказать, повезло. Берег обрывистый, старая развесистая черемуха над плесом, так что ни малейшей тени. И солнышко. Косым лучом высвечивает хариуса. Ну а насчет терпения беспокоиться нечего. Закален.

Над ним тучей висели слепни и комары, мураши проложили свои тропы по его белой рубахе, по телу, по сапогам (страсть сколько их оказалось на стволе черемшины, к которому он жался), а он стоял. Он не двигался. И медленно, сантиметр за сантиметром, подводил крючок к хариусу.

Вечернее солнце все больше и больше зажигало речку. Чешуя у хариуса стала золотой. И вот чудо — рыбина стала расти быстро, на его глазах, как если бы кто-то надувал ее изнутри.

Но Михаил ничем не выдал своего удивления. Не ахнул, не пошевелился. Жизнь у него была только в руках, а все остальное заостенело, задеревенело, и муравьиные караваны, непрерывно сновавшие по нему вверх и вниз, едва ли теперь отличали его тело от ствола черемухи.

И все-таки, несмотря на всю свою собранность и величайшее внимание, Михаил не мог бы сказать, как хариус оказался на крючке. Что произошло в самый решающий момент: он ли сделал раньше подсек (ему казалось, что до рыбины оставалось меньше четверти), или хариус, метнувшись, напоролся на крючок, но только вода возле валуна вдруг заходила, забурлила, и тоненькое рябиновое удилище в его руках выгнулось дугой.

Рывок. Рывок. Еще рывок... Золотой сверкающий клин резал воду...

«Только бы выдержала леска, только бы выдержала леска»,— твердил про себя Михаил.

Леска в шесть конских волосьев была явно не рассчитана на такую рыбину, и он, переступая по кромке обрывистого берега, осторожно и мягко, без малейшего надрыва выводил ее к травянистому мыску, на котором уже, с нетерпением поджидая хариуса, стояли ребята.

Леска выдержала. Не выдержала рыба брюшина. Сорвался, дьявол, с крючка. У самого мыса сорвался.

От досады, от горя Михаил только что не рвал на себе волосы, а двойнята — те просто расплакались.

И все-таки они не с пустыми руками вернулись к избе. С рыбой. Два хариуса-ножовика Михаил выдернул в следующем пороге, да там же, на плесе,— три ельца, да еще каким-то чудом выбросили на берег налима ребята, порядочного, не меньше чем на фунт.

— Лиза, эво-то! Посмотри-ко! — звонко закричал Петька, едва они завидели избу, и высоко над головой поднял вязанку с рыбой.

— Да,— сказал Михаил, тоже не в силах побороть радостную улыбку на своем лице,— освежились. А я уж думал: Ося-агент все выбродил. Так, на авось кинулся. В те годы как ни приедешь на Синельгу — пусто. Не поешь рыбки.

— У него ведь летом отпуск,— сказал Гришка.— Летом он налоги не собирает. Вот он и шурует по речкам.

— Да, вот именно что шурует. Все до единой рыбешки, до единого ельца выест. Почисте всякой выдры.— Михаил кивнул Федьке: — Есть елец на плесах. Вот ты и будешь нас подкармливать. Понял?

5

Садилось за избой солнце, и все вокруг: и березовые стволы у ручья, и ребячьи лица, и гнедой Лысан, позвякивающий колокольчиком внизу на поже, — все вокруг стало алым.

Хороший, ведренный день сулил закат. И на ведро нацелился их доморощенный барометр: в струнку, во фронт вытянулась тоненькая, оскобленная вересинка, воткнутая в щель стены.

Ребята, выйдя из-за стола, начали играть в переключку с эхом. Приятное занятие, особенно на сытое брюхо. А они сегодня нагрузились основательно. Помимо молока, опорожнили котелок ячневой каши (не надо бы этого делать: кашу на поже, как свет стоит, варят только после первого зарода, да так уж получилось — Лизка недодумала), затем — рыба. Рыбу сперва хотели засолить да поставить в берестяном туесе в ручей. До матери. А потом — ладно, ешь, ребята: не всё худые зарубки должны быть в памяти, надо иметь и хорошие. В общем, понравилась такая страда ребятам.

Михаил, докурив сигарку, принялся насаживать ребячьи косы. Петька и Гришка с интересом присматривались, как он это делает.

— Тебя, между прочим, тоже касается, — кивнул Михаил малому, который в это время сам с собою играл около огня ножом-складнем. — Потом кем ни будешь, а это ремесло не повредит.

Тут Лизка от этих самых кос перекинула мостик в будущее — недаром Егорша прозвал ее заместителем по политчасти.

— Ну-ко, Федюха, скажи, — с живым любопытством спросила Лизка от стола (она прибирала посуду), — кем ты потом будешь?

Федюха насупился — и ни слова.

— Ну вот! — возмутилась Лизка. — Он и не думает.

— А надо думать, — поддержал Михаил начатый сестрой разговор. — Большие стали. Вот ты, Петро. Кем станешь, когда вырастешь?

Петька застенчиво переглянулся с Гришкой.

— Мы как ты.

— Что, как ты?

— Как ты потом будем.

— Голова! Далеко же ты собрался шагать! Ну а Григорий что скажет?

Лизка с усмешкой покачала головой:

— А чего спрашивать Григория? Раз уж Петька сказал, так и он. Они у нас какие-то — что один, то и другой. Как это у вас, ребята, выходит? Надо немножко каждому думать. Привыкайте. Потом жить порознь будете — не побежите друг к дружке.

— А мы вместе будем, — сказал Петька, Михаил рассмеялся:

— Э, нет. Вместе все не получится. А как же, когда женитесь?

Лизка с укором посмотрела на него: дескать, о таких вещах можно бы и не говорить. Но Михаила не на шутку заинтересовал этот разговор. В самом деле — что из них будет? Ведь вот — малые-малые, а вырастут когда-нибудь. Как они сами-то себе это представляют? Анфиса Петровна все ждала да мечтала, когда пряслинская бригада на пожню пойдет. А ведь настанет время, когда пряслинская бригада немного дальше, чем на пожню, пойдет. В жизнь пойдет.

И он снова стал допытываться у близнецов, кем они хотели бы стать, а когда те опять ответили, что хотят стать такими же, как он, Михаил покачал головой:

— Нет, ребята. Что я? Двадцать лет прожил, а что видел, где бывал? А жизнь, она огромная. И страна у нас огромная. Учиться вам надо. Мне вот не пришлось. И ей не пришлось. — Михаил кивнул на сестру.

Лизка вздохнула:

— До ученья разве мне было? Я, бывало, на уроке сижу, а на уме-то у меня корова. Есть ли трава? Да где ребята?

— Это о вас она, — сказал Михаил. — Так что потом вы жмите. И за меня, и за сестру выучиться надо.

— Татьяна у нас будет ученая, — сказала Лизка. — Вот уж эта выбьется в люди. Москва-девка! Где она теперь, рева?

При этих словах ребята посмотрели на малиновый ельник за Синельгой — в той стороне было Пекашино.

— Что, по дому заскучали? — спросил Михаил и, продолжая разговор, сказал: — Вы, ребята, в другое время растете. Все ладно, вам не придется в четырнадцать лет вставать из-за парты да в лес идти.

— Слушайте, что брат-то говорит, — наставительно сказала Лизка. — Наматывайте себе на ус.

— Я вот, к примеру, все думал с коня на трактор пересесть. На тракториста выучиться. А не получилось. Так жизнь сложилась.

— Война Михаила-то съела, — сказала Лизка. — Да мы с вами. Его и в армию из-за нас не взяли. Чтобы мы с голоду не померли. Запомните у меня это. Хорошенько запомните. Потом где ни будете, в какие города ни уедете, чтобы у меня брата не забывать. Поняли?

Ребята, непривычные к столь серьезному разговору, слабо закивали в ответ, а Михаил, глядя на Лизку, подумал: «Эх, сестра, сестра. Да ведь и тебя, если на то пошло, война съела...»

Березы у ручья погасли. От Синельги напал туман. Ребята, отмахиваясь от комаров, поживались и нет-нет да и бросали исподтишка взгляд на избу, в которой Лизка устраивала постель.

Наконец Лизка вышла из избы.

— Долго ли вы еще? — Она ступила босой ногой на колючую щетину выкошенной вокруг избы пожни, поморщилась: — Ну и роса здесь. Не то что у нас в деревне. Хороший день завтра будет.

— Хороший, — сказал Михаил. — Ну как, мужики? Будить вас до завтрака?

— Будить, — ответили двойнята (Федька уже был в избе).

— Ладно, посмотрим. А теперь спать.

За избой догорал закат. От варницы к светлому розовому небу голубой лентой тянулся дым. Звонко тренькал колокольчик на пожне, а самого коня не видно — молочный туман заливал пожню.

Михаил сидел у костра, попыхивая сигаркой, прислушивался к ребячьим голосам за стеной в избе, а взглядом косился на давнишние буквы, вырезанные ножом на столе, — ПИГ.

Никто — ни ребята, ни Лизка, ни он сам, — никто не обратил внимания на эти три буквы среди множества других букв, которыми были покрыты плахи стола. А буквы-то были отцовские — Пряслин Иван Гаврилович. Их отец когда-то сидел за этим столом...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Солнышко только-только начало подыматься за рекой, а Анна уже входила в поля. С котомкой, с туесом, с граблями. И ей радостно было, что она раньше всех встала, раньше всех управилась с печью и коровой и раньше всех выходит на работу. А еще ей радостно было оттого, что скоро она увидит своих детей.

Три дня она жила вдвоем с Танюхой, и ей, привыкшей к вечному ребячьему шуму и гаму, дом свой показался пустым и мертвым.

Первая встреча со своими детьми у нее произошла еще задолго до Синельги, в березовых кустах за Терехиным полем. Тут Анна по старой привычке потянулась за веткой, чтобы лесной дорогой отбиваться от гнуса. И вот только она заломила березку, увидела сомлевшие ветки на вершинке. А немного подалее, на другой обочине дороги, тоже надломленные березовые ветки, только пониже.

И она поняла: ребята ломали. Те, с той березки, которую нагнула сейчас она, ломал Михаил, а за дорогой — двойнята. И она даже представила, как это было.

Бежали, бежали двойнята впереди, выхвалялись перед старшим братом — вот как мы умеем бегать, посмотри, Миша! — да вдруг услышали, что Миша березовые прутья ломает, и они давай ломать: так, значит, надо. Миша зря ничего не делает. А может, и сам Михаил крикнул: «Ребята, запасайтесь березой. Фашисты в воздухе!» — так, бывало, в войну называли оводов да слепней.

Дальше про то, как шли ее дети суземом, стала рассказывать ей дорога.

Четко, дождем не смыть, впечатал свой сапог Михаил, и шажище — метровка, точь-в-точь как у отца. А двойнята — те как олешки: где оставили следок, а где и нет. Легкие.

Свою ногу Анна старалась ставить в след дочери. Шаг у Лизки не крупный и не мелкий, как раз по ней, а самое главное — шла Лизка с разбором. Не то что Михаил. Михаилу все равно: грязь ли, болото ли — все прямо. Не любит обходы делать. А Лизка — нет. Лизка, если надо, и в сторону свернет, и круг даст — только чтобы под ногой сухо было.

На второй версте, на грязях у Лешьей зыбки, Лизкин след внезапно оборвался. Анна глянула в одну сторону, глянула в другую — нет следа.

Она пошла обочиной, по осотистой бровке, рядом с натопами Михаила и двойнят. Но знакомого следа — круглый каблук с большой шляпкой у гвоздя — не оказалось и за грязями. Потом, спустя малое время, — босая нога на дороге, узкая и длинная. Лизкина, догадалась

Анна. Это ведь ей сапог новых жалко стало. И вот, когда начались грязи, сняла.

Сапоги для Лизаветы принес Степан Андреянович уже в самую последнюю минуту, когда Михаил с ребятами выезжал из заулка. Лизка была любимицей старика, — дочь родную не все так любят, как он любил Лизку. В прошлом году пропадать бы Лизке без валенок в лесу — выручил Степан Андреянович. Разжился где-то шерстью, сам скатал.

И валенки, и сапоги, понятно, немалое дело пэ нынешним временам, да ведь и Лизка не в долгу перед Ставровыми. Ну-ко, с сорок второго года обстирывать да обмывать старика с парнем — стоит это чего-нибудь, нет?

Так, мысленно беседуя с детьми, угадывая по следам, как они шли, где останавливались, Анна и не заметила, как вышла к Синельге.

Надо бы передохнуть хоть немного, надо бы лицо сполоснуть: зажарела, запотела — не порожняком шла, но до отдыха ли, до прохлады ли речной, когда где-то совсем близко дети?

И вот он, ее праздник, ее день, вот она, выстрадавшая радость: пряслинская бригада на пожне! Михаил, Лизавета, Петр, Григорий...

К Михаилу она привыкла — с четырнадцати лет за мужика косит, и равных ему косарей теперь во всем Пекашине нет. И Лизка тоже ведет прокос — позавидуешь. Не в нее, не в мать, а в бабушку Матрену, говорят, ухваткой. Но малые-то, малые! Оба с косками, оба бьют косками по траве, у обоих трава ложится под косками... Господи, да разве думала она когда-нибудь, что увидит эдакое чудо!

С самого рожденья не повезло двойнятам. С самого рожденья им пришлось все делить пополам друг с другом: и молоко материнское, и одежду, и обувь, — и в войну, казалось, им первым карачун. А они устояли. Они выжили.

Весело, со свистом летает серебряная коса у Михаила, а у Лизки, по пояс зарывшейся в густую траву, на виду другая коса — девичья, тугим льняным ручьем стекающая по запотелой, в мокрых пятнах спине, и — фик-фик — синичками звенят косы двойняток.

И, видно, не одной ей, Анне, было удивительно то, что делалось в этот час на пожне под высокими берегами с искрящимися на солнце макушками.

Сверху, над пожней, большими плавными кругами ходил пепельно-серый канюк и не кричал, как всегда, «пить-пить», а молчал.

Молчал и смотрел.

Смотрел и дивился.

2

Лизка первая увидела мать, закричала на всю пожню:

— Мама, мама пришла!

Затем, не долго думая, бросила посреди пожни косу, побежала к матери, помогла снять со спины котомку.

— А вон-то, вон-то!— живо зашептала она, кивая на двойнят.— Мужики-то наши. Давай дак не фасоньте! Видите ведь, кто пришел.

Петька и Гришка выдержали — ни разу не обернулись назад. Дескать, некогда глазеть по сторонам. На работе мы. И только когда старший брат объявил перекур, только тогда дали волю своим чувствам: скоком, наперегонки кинулись к матери:

— Мама, мама, ты видела, да?

— Видела, видела.

— Как не видела,— рассмеялась Лизка.— Мы только и смотрели на вас. Ну уж, говорим, и ребята у нас. Поискать таких работников.

— А где у вас малый-то?— спросила, оглядываясь по сторонам, Анна.— Почему не видно?

— Удит,— ответила Лизка и указала на дымок за мысом.— С косьбой ничего не получается. Позавчера принимался. Овод да муха, вишь, мешают. Выстал среди пожни, обмахивается венчиком. Федюха, Федюха, говорю, ты ведь не в байне. На пожне-то косой от гнуса отмахиваются, а не венчиком...

Все — и подошедший к этому времени Михаил, и двойнята — рассмеялись: Лизка мастерица была разыгрывать домашние спектакли.

— Малой еще,— вступилась по обыкновению за Федюху Анна.— Подрстет, будет и он косить.

— Ничего не малой,— возразила Лизка.— Больно лени много у этого малого, вот.

— А нас, мама, оводы не кусают. Смотри-ко! — Петька и Гришка были без кукол — накомарников.

Сняли, подражая старшему брату,— тот все лето ходил с открытой головой.

А напрасно сняли, подумала Анна. Дорого обошлась им эта лихость. До волдырей, до коросты раскусаны бледные, бескровные лица.

Отдыхать сели на выкошенный угорышек к Синельге. Прямо на солнцепек. Тут по крайней мере не донимает комар.

Туес с молоком Михаил опустил в речку под густую черемшину. Котомку с хлебами повесил на сук березы — чего-чего, а мышей на Синельге хватает.

Анна, отдуваясь от жары (все, кроме Михаила — и двойнята, и Лизка,— сгрудились вокруг матери), стала рассказывать деревенские новости.

Новости были разные: в колхозе выдали муки житной по два килограмма на человека, работающего на сенокосе; в Заозерье утонул ребенок — второй день неводом ищут; Звездоня из-за жары доит худо, не удалось скопить сметаны...

— Ну чего еще?—развела руками Анна.— Да, забыла. Анисья у Лобановых уехала с ребятами в город.

— Уехала все-таки?—задумчиво переспросил Михаил.

— Это она из-за паспорта,— сказала Лизка.— Поминала на той неделе: паспорт, говорит, кончается, не знаю, как быть.

— Анисья не от хорошей жизни уехала,— сказал Михаил.— Попробуй-ко с тремя ребятами да без коровы, заново...— Он потерзал рукой темный небритый подбородок.— У меня спрашивала: «Посоветуй, Михаил, что делать?» А я что? Какой советчик бригадир в таком деле? Неужели скажу: поезжай? Но и удерживать... тоже язык не поворачивается.

— А как та рева? — опять на свою семью перевела разговор Лизка.— Наверно, вся уревелась?

— Татьяна-то? Спала еще, когда я пошла. Семеновну просила — к себе возьмет.

Михаил попыхал-попыхал еще немного сигаркой и принялся налаживать косу для матери.

Лизка тоже поднялась. Достала из-под травы свою дорогую обнору — она сидела босиком, чтобы не жарить зря сапоги на солнце,— быстрехонько обулась.

— А с этими-то что будем делать?— Анна, не решаясь пошевелиться, кивнула себе за плечо.

Петька и Гришка так уробились, что с первых минут, как только обхватили ее сзади, начали засыпать. Она это почувствовала по их жаркому дыханию, по расслабленной тяжести, с которой они навалились на нее.

Михаил крикнул:

— Подъем, помощники!

И до чего же круто да проворно вскочили двойнята! Будто и не спали. Мигнули раза два-три — и глаза чистые-чистые, до самого донышка просвечивают. Как Синельга в ясную погоду.

— А мы и не спали. Мы это так, да, Гриша?

— Так, так, — успокоила их Анна. — Не расстраивайтесь. Я сама чуть было не заснула, ребята.

Солнце набирало свою дневную силу. Над пожней стоял гул от овода, от слепня. Михаил и Лизка спокойно и деловито вошли в траву. И пошли, и пошли ставить улицы да переулки. А ей куда, в какую сторону?

Двойнята, оседлавшие тенистую кулижку возле кустов, звали: «Мама, мама, иди к нам!» — и в другой бы раз она охотно, с радостью присоединилась к ним (что подделаешь, если с косою она с малых лет не в ладах), но сегодня этого нельзя было делать. Нельзя.

Сколько лет в глубине своей души она ждала этого семейного праздника, самого большого торжества в своей жизни, — так как же смотреть на него из кулижки, из кустов?

И она пошла за взрослыми — за Михаилом и Лизаветой.

3

— Ух, ух! — Михаил, не отрываясь от рожка, полчайника выдул воды. — Кто еще? Налетай.

Петька и Гришка (неужели не напились — только что за водой бегали!) с такой же жадностью набросились на чайник.

— Молодцы у меня! Осенью репа поспеет, всех представлю к ордену святой репы. А матери — той хоть сегодня можно выдать медаль из гнилой редьки.

Михаил был доволен: порядочно свалили травы за сегодняшнее утро.

У двойнят похвала брата ударила в ноги — бегом побежали к избе, чтобы к приходу взрослых развести огонь.

Но вот уж кто изумил Лизку, так это мать. Покраснела, вся вспыхнула — будто не сын родной похвалил, а по крайности секретарь райкома. А вообще-то понятно. Красива у них на лицо мать, даже война не съела ее красоты, а руками не вышла. Нет в руках хваткости да проворства. И как же ей не покраснеть, не вспыхнуть, когда такой косарь, как Михаил, похвалил! Ведь и она человек, ведь и ей нужно ласковое да доброе слово.

Когда они с матерью подошли к избе, на варнице уже скакал огонь, а на крючьях висели чайник и котелок.

— Будем ли чего варить? — спросили двойнята.

— Будем, — ответила Лизка. — Рыбой будем кормить гостью. Ну-ко, чего стоите? Запрягайте скорей коня да выезжайте навстречу рыбаку. Улов нынче такой — не принести на себе.

Петька и Гришка шутку поняли и от удовольствия покрутили головами.

И вдруг все — и ребята, и мать, и сама Лизка — вытянулись и со страхом посмотрели в ту сторону, где рыбачил Федька. Дикий, отчаянный вопль донесся оттуда. Потом увидели и самого Федьку. Бежит что есть мочи по пожне, кричит благим матом, а за ним по пятам — бух-бух, от избы слышно — Михаил. С длинной хворостиной.

В ручье под избой Михаил догнал Федьку, свалил с ног, и длинная хворостина безжалостно заплясала над ребенком.

Мать застонала: ах, ох! А что бы крикнуть: «Остановись! Не смей, ирод! Искалечишь ребенка». Нет, не крикнула. Не дождешься этого от ихней матери. Что ни скажет, что ни сделает Михаил — все ладно. Хозяин.

И пришлось ей, Лизке, пускать в ход свое горло. Что уж она крикнула, какими словами огрела этого лешего, Лизка в ту минуту не упомянула. Только Федьке это помогло: оторвался от брата, перескочил ручей. И вот тут на выручку подоспела мать:

— Федя, Федя, бежи ко мне. — И даже руки протянула.

А нет, не у матери родной стал искать защиты Федя, а у нее, у Лизки. Кинулся, обхватил обеими руками, на смерть прилип. И Лизка тоже обхватила его, телом своим заслонила — пускай уж лучше ее ударит, чем ребенка,

Михаил не ударил ее. Но хворостину через колено на мелкие части разломал и так расสวิрепел — страшно взглянуть. Мокрый весь, пот градом катится по щекам, и зубы ощерены, как у зверя. Брат у них и раньше не мягкая шанежка был: чуть что не по нему — и завзвонил глазами, а все же до болезни такого не было — не терял рассудка.

За обедом никто не проронил ни слова. Сидели не шевелясь. Только ребята жалостливыми глазами изредка, украдкой от старшего брата посматривали на избушку, где отсиживался Федька. Потом с беспокойством начали поглядывать на сестру, на мать: в миске кончается молоко — похлебку, конечно, не варили, а как же Федюха? Ему-то что?

— Ешьте все! Ни капли тому дьяволу не будет.

И тут опять не мать, а она, Лизка, пошла поперек Михаилу.

Она старательно, насухо облизала свою ложку, сказала:

— Как хошь наказывай ребят, а голодом морить нечего. Не прежнее время.

Обошлось. Ничего не сказал. Встал, пошел к избе. Лизка так и присела: ну, держись, Федька. И опять пронесло грозу. Михаил снял с избы грабли и вилы, пошел на пожню.

4

Тревожно, томительно стало у избы. Хозяин ушел на пожню, не сказав ни слова. Федька сидит голодный в избе. И как с ним быть? Можно ли покормить, не нарушая наказа брата?

Лизка взглянула на мать: ну-ко, давай подумаем вместе. А мать, как двойнята, с мольбой смотрит на нее: выручай, Лизка.

И Лизка решилась:

— Зовите того ахида.

Федька в сопровождении братьев вышел из избы. Губы толстые наладил на слезы, но что-то не видать по лицу, чтобы насмерть был перепуган.

— Чего наделал там, изверг? Сказывай!

— Ничего.

— Как ничего? За ничего-то не будут гонять по всей пожне. Да еще с хворостиной. Когда это Михаил бил кого понапрасну? А?

— Ус-ну-ул маленько,— ширнул носом Федька.

— Уснул? — Лизка от негодования едва не задохнулась.— Это на работе-то уснул? Да ты что, красна рожа? Мы робыли-робыли — света белого не видели, а ты вот что удумал? Спать. Да за такие дела с тебя шкуру мало спустить, вот что я тебе скажу. Худо, худо тебя отлупили...

Тут заплакали двойнята — жалко стало дорогого братца, мать вступилась за малого, и Лизка, вся расстроившись, так и не добилась от Федьки всей правды. Только потом, много позже, рассказал Михаил, из-за чего сыр-бор загорелся.

— Я ведь ему царские условия создал, ей-богу. Огонь развел, чтобы гнусу вокруг меньше было — здоровенную валежину припер, траву выкосил. Лови, парень, рыбку, накорми свежей матерью. Ну парень постарался. Ельца из речки вытащит, да на живые угольки, да в брюхо. Ей-богу! Лежит, похрапывает у огонька, травкой сверху накрылся — никакая муха не укусит, а морда у самого вся в рыбьей чешуе. Как коростой заляпана. Ну меня затрясло. Ах ты подлюга, думаю! Так-то ты наказ мой сполняешь. А тут еще глянул — соль у него на газетке. Это чтобы рыбка свежая лучше в горлышко проходила. Понимаете? Он, гад, загодя, еще с вечера этой сольцы отсыпал, все предусмотрел. Вот что меня окончательно допекло...

Так рассказывал Михаил, и рассказывал со смехом, а тогда им было не до смеха. Время идет. Михаил куда-то пропал — нет на пожне. Что делать? Глядя на луг, надо бы взять грабли да загрести сено. Ну а вдруг да у него другое на уме. А, скажет, столько-то сообразить не можете!

Долго, не меньше получаса, стояли они у избы, томясь от неизвестности и беспокойно поглядывая на пожню, в ту сторону, куда ушел брат. Наконец брат показался. Вышел из кустов — голова мокрая, на солнце сверкает (купался, значит) — и начал загрести сено.

Лизка с облегчением сказала:

— Пойдемте и мы. Давно бы надо идти. Бестолковые мы с вами, ребята. Кто это станет ругать за работу? А ты, бес,— сказала она Федьке,— на глаза не смей показываться. Чуешь? — Лизка, как надо, нахмурилась и для порядка отвесила тому легкий подзатыльник. —

Покамест платом не махну, чтобы духу твоего на пожне не было.

Тихонько, неуверенно спустились к ручью, вышли на закраек пожни. Сено сухое. Дух хороший. Ветерок из-за Синельги прыснул.

Лизка крикнула:

— Откуда нам загребать?

Ни слова — не прошла еще злость. Охапку сена швырнул — только шум пошел по пожне.

Мать вздохнула, и Лизка на этот раз рассердилась не на шутку: как это можно так довести себя, чтобы родного сына бояться?

Лизка сказала с сердцем:

— Загребайте отсюда. Все равно и это сено когда-нибудь надо сгребать.

Работали быстро. Все старались — мать, и ребята, и она, Лизка, просто бегали с граблями по пожне, потому что понимали: ежели и можно чем угодить сейчас Михаилу, так это работой.

И верно, Михаил мало-помалу начал поглядывать в их сторону — сперва вроде как на солнышко, а потом и на их сенные перевалы.

Тут Лизка решила окончательно добить брата — наслать на него двойнят.

И стали Петр да Григорий к старшему брату подходить. Тихо, медленно. Грабелками по сену шасть-шасть, а сами все ближе, ближе к белой рубахе. И вот уже подобрались — забегали, замахали грабелками вокруг брата.

А еще спустя какую-то минуту Михаил подал голос:

— Мати, вы чго там на отшибе? Первый раз на пожне?

То есть это означало: сколько еще можно дуться? Давайте подходите сюда (на большее Михаил сейчас способен не был).

Лизка сняла с головы белый платок и, уже не таясь, замахала Федьке: иди! Кончилась твоя отсидка. И ей любо, любо было заодно пробежаться своим глазом по голой пожне.

Хороша, красива пожня в цветущей траве. Как шаль нарядна. И хороша пожня, когда на ней лежит пахучая, медовая кошеница. Но всех краше и лучше пожня, когда она голая. Когда с нее только что сгребено.

Воротца на задворках были открыты, и Михаил на всем скаку влетел в заулок.

Бледная, растрепанная мать кинулась к нему от двора, когда он спрыгнул с пошатывающегося Лысана.

— Что с ней?

— Не знаю, не знаю... Второй день не пьет, не ест.

Степан Андреянович в ответ на его требовательный взгляд пожал плечами:

— Вымя... С вымем неладно.

Серое гудящее облако гнуса, увязавшегося за ним еще на Синельге, качалось над его потной головой. Мать веником стала разгонять гнус. А он сделал шаг к воротам двора и споткнулся: глухой, протяжный стон донесся оттуда.

Вымя у Звездони вздулось горой, затвердело, как камень. Сухой жар опалил пальцы Михаила.

Он с ненавистью метнул короткий взгляд в мать:

— Хозяйка! Холодной водой протирала?

— Да что ты... С чего...

— А я думаю, уж не палкой ли кто жарнул. Смотри, какой рубец на брюхе.

Михаил ощупал продолговатую опухоль, на которую указывал Степан Андреянович. Корова дернулась и охнула, как человек.

— Ну что, Звездонюшка? Что? Больно?

Он провел у нее за ухом — Звездоня любила, когда у нее чесали за ушами. Но на сей раз она не отозвалась на ласку. Из раскрытой пасти со свистом, с бульканьем вырывался горячий воздух.

Ветеринара дома не было — встеринар был на сенокосе. Марина-стрелеха, больше всех в Пекашине понимавшая в скотине, как на грех, ушастала в Заозерье. Что делать?

Михаил, затравленно оглядываясь, тяжело дыша, вышел за ворота двора и увидел коня, до репицы забрызганного грязью, увидел тихое закатное небо за деревней.

Что делает сейчас Лизка с ребятами? Догадываются ли, какая беда стряслась дома?

Когда с час назад к ним на Синельгу приехал Лукашин и сказал, что у них заболела корова, и Лизка, и ребята завыли, как по покойнику. И он долго, нахлестывая коня, слышал сзади себя этот разноголосый надсадный вой, вечерним эхом разносимый по лесу.

Степан Андреевич тронул его за рукав. Он понял старика.

Корова уже запрокинула голову и дышала брюхом. Татьяна платком отгоняла мух от вымени. Мать подкладывала под голову какую-то лопатину.

Михаил встретился глазами со Степаном Андреевичем. Тот покачал головой: не могу.

Михаил вытащил нож из ножен.

— Мама! Мама! — заревела истощным голосом Татьяна.

— Да уведи ты ее к дьяволу! Не понимаешь? — вне себя заорал Михаил.

И то ли от этого крика, то ли поняла она все, умница, но Звездоня вдруг приподняла свою рогатую голову, и огромный заплаканный глаз уставился на него.

Что же ты это? За что? Разве я мало вам послужила? Была ли у вас радость за все эти годы, кроме меня? Как бы вы жили?

Михаил выждал, пока не опустилась голова Звездони, воткнул нож в горло.

2

— Почем мясо?

— Сорок.

— Почем? Почем?

— Сорок, говорю.

— Да ты, парень, выспался?

— А сколько же, по-твоему? Мы в налог за живой вес по сорок платим...

Женщина, побрякивая светлым ведром, перешла к молочницам. Там, у молочниц, стояло двадцать—тридцать домохозяек, и все они за это утро перебивали у него. А мясо купили только трое, и то пустяки — по триста, пятьсот граммов.

Начинался день — жаркий, страдный день.

Михаил стоял за прилавком и с ненавистью поглядывал на домохозяек, сбившихся в пеструю кучу под навесом у ларьков с керосином.

Домохозяйки выжидали — это ему было ясно. Выжидали, когда он скинет цену. Нет, не дождетесь. Не будет по-вашему. Вся жизнь у него ушла в эту корову — так что же вы хотите? Даром?

После войны у него была возможность вместе с Егоршей уйти на лесопункт. Не ушел. Остался в колхозе. А для чего? А для того, чтобы вот эти четыре копыта ходили по земле. (Он согнал рукой мух с посинелых суставов коровьих ног.) Все вам больше, копыта. Отходили свое.

Копыта были черные, щелястые. А он помнит, когда эти копыта были еще желтые, молочные, величиной с овечьи копытце, помнит, как отец на руках внес Звездоню в избу: «Хорошая будет корова!»

Да, хорошая. Поработала, потрудилась на них Звездоня — без молока не сидели. Но и они потрудились на нее. Степан Андреевич, он, мать — втроем молотили всю страду. Но разве прокормишь корову семью-восемью процентами? И вот посматриваешь по сторонам — нельзя ли где в заброшенном ручье прикосить возишко. Прикосил — ночей не спал, а потом это сенцо надо стаскать куда-нибудь под ель, припрятать, чтобы оценочная комиссия не наткнулась. А потом осенью, по первому снегу, его надо вывезти. Да ночью — чтобы никто не видел. В прошлом году, например, он часа три ждал за болотом, покуда народ от конюшни уйдет. Промерз так, что думал — околеет. И все-таки Ося-агент удозорил, гад. Пришлось бутылкой хайло затыкать...

Подошла женщина, встала у прилавка.

— Сорок, — резко бросил Михаил.

Женщина не отошла. Михаил поднял глаза и увидел перед собой Варвару.

Минуту, а то и больше смотрели они друг на друга. Потом Варвара сказала тихо:

— Вот как нам с тобой привелось встретиться.

Помолчала, вздохнула и отложила в сторону коровью ногу.

Солнечный луч блеснул на милой смуглой руке, и будто толкнуло Михаила в сердце. Он узнал серебряное колечко. Варвара подарила ему это колечко в ту ночь, когда он второй раз приехал к ней с Синельги. «На, носи мою присуху. Чаще вспоминать будешь», — и сама надела ему колечко на мизинец. И он всю дорогу, улы-

баясь, смотрел на свой окольцованный палец, а когда стал подъезжать к Синельге, снял — не дай бог увидят люди.

Люди не увидели. Он всю страду носил колечко в кармане гимнастерки, лишь тайком, когда оставался наедине с собою, надевал его на палец. Потом как-то вечером — уже начинали жать — он положил колечко на комод в стеклянную сахарницу, в которой лежали бусы и всякие брошки, и Варвара ничего не сказала после — будто не заметила.

— Хорошее, хорошее мясо, — громко, нараспев сказала Варвара. — Спасибо.

Кровь прихлынула к его щекам. Он понял: не для него говорит эти слова Варвара. Для женщин. И женщины, те самые женщины, которые еще недавно воротили нос от мяса, толпой сбились у прилавка:

— Мне, мне кусочек!

— Я раньше тебя пришла.

— Оставь, оставь мне ноги. У меня муж студень любит.

— А мне печени, печени!

Он рубил, резал, кидал на весы, и через каких-нибудь пятнадцать минут у него ничего не осталось от осередья. А ведь именно за осередье он больше всего боялся. Степан Андреевич его отговаривал: не довезешь. Испортится. А он — нет: в райцентре денежные люди, дороже дадут. Нарубил в погребе льда. Засыпал корзину с осередьем льдом.

Варвары уже не было. А он и не заметил, как она ушла. «Вот как мы с тобой встретились...» «Хорошее, хорошее мясо... Спасибо...» Нет, тебе спасибо! Век помнить буду эти слова. Умирать буду — и тогда вспомню...

Солнце входило в силу. Голова под навесом, в тени, голову солнцем не хватает, а на кой черт ему тень для головы, ежели на прилавке пекло?

Он переложил мясо в тень, справа от себя, прикрыл ватником. Красные пятна на прилавке тотчас же почернели. Он веником стал срывать присосавшихся к прилавку мух.

Ровно в час дня, сверкая лощеными задами, потянулись служащие на обед. Базар вымер. Солнце — будь оно проклято, он — голова в тени, да еще какая-то старушонка дремлет поодаль за прилавком. Старушонке

можно дремать. У старушонки старая картошка. От жары не протухнет.

Где Лизка? Ушла ли мать на Синельгу?

Нет, не Лукашин привез им весть о беде. О беде дома он, Михаил, знал еще до приезда Лукашина. И знала Лизка. И ребята догадывались. А как же не знать, не догадываться? Мать не приходила к ним три дня, у них вышли хлебы — не будет же она сидеть зря дома!

После обеда он скинул три рубля. Натe, жрите! Одним махом выбрасываю шестьсот рублей. А покупательниц нет. Покупательницы сидят на бревнышках, у ларька с керосином напротив. Накормили своих мужей, спровадили на службу и снова на вахту. Переоделись. С утра были занавешены, а теперь редко у какой телеса не напоказ.

Интересно, так же нынче ходит Варвара? Он запомнил только ее глаза — большие карие глаза на побледневшем лице. И еще запомнил колечко...

Подошел санитарный врач с заранее распяленными ноздрями. Отвернул ватник, понюхал:

— Поторопись, парень. Клеймо у тебя действительно до утра.

Нет, гад! Не получишь больше. Утром, чтобы заклеить мясо, я тебе полпечени отрезал. Справки, вишь, нет от ветеринара. А где его взять, ветеринара? Где?

Он сцепил зубы и полторы тысячи швырнул к ларьку:

— По тридцать продаю. Слышите? Еще семь сбавляю.

— Торгуй, торгуй. Наша очередь не подошла. Подождем.

И тогда он понял: он в капкане у них. Они, эти бабы, сделают с ним все, что захотят. И им, Прыслиным, больше не видать коровы.

3

Накрапывал дождь. Телега улитой тащится по Марьиным лугам.

Да, дождь. Стучит по пустому коробу, обмывает за чем-то железные шины на колесах. А что бы тебе, дождь, не начаться на сутки раньше? Бабы доби́ли его — по двадцать рублей килограмм вырвали. А по-

следние пятьдесят килограммов и вовсе пошли задаром. В столовку. По государственной цене.

Михаил снял с себя ватник, завернул в него деньги, подложил под себя.

Внезапно стало темно. Зашумели, зароптали придорожные кусты, высокая перезревшая трава волнами заходила на обочинах.

Михаил поднял мокрую голову и увидел над собой огромную черную тучу.

Конь перешел на рысь еще до того, как ударила молния.

Какое-то время Михаил широко раскрытыми глазами смотрел на переднее колесо, на его железную игру с жарко пляшущей молнией над самой головой, и вдруг вместе с ливнем сверкающая, долгожданная радость обрушилась на него. Она его любит. Любит! А он-то все это время ломал голову: как назвать то, что у них было? Блажь, каприз безмужней бабы? Нет, нет, и Варвара любила его. Варвара носит серебряное колечко, то самое колечко, которое было у него... И пусть они никогда, никогда больше не встретятся так, как встречались раньше, но она с ним, она у него в сердце...

Гроза не стихала. Конь бежал уже вскачь. И молния, молния чертила свои каленые письма вокруг него.

И от счастья, от радости, от избытка рвущихся из него сил Михаил вдруг вскочил на ноги, намотал на руку вожжи и начал нахаживать и без того скачущего во весь опор Лысана.

4

Двух суток не прошло, как нет Звездони, а уж жизнь перекроена начисто. Первый раз за свои двадцать лет он сидел ночью в пустой избе.

Печь не топлена — мать, должно быть, еще вчера ушла к ребятам на Синельгу, — и даже кошки не видно: наверно, и кошке стало не по себе в пустой избе.

Он решил сходить за Татьяной — нечего девке ночевать у Семеновны, коли брат дома.

Дождь еще не кончился. Красным заревом отливает боковое окошко у Марфы Репишной. Что там делается? Михаил прошел к Марфиному дому, встал под углом

прислушался. Тихо в избе. Ни единого звука не слышно. Только дождь со всхлипами барабанит по раме.

Он зашел в заулочек. Ворота на крыльце раскрыты настежь. Что же все это значит?

По шаткому старинному крыльцу он быстро поднялся в коридор, открыл дверь и остолбенел.

Марфа стояла на молитве. Среди ночи. На коленях. И неподвижно, как скала. Медные лики строго взирали на нее с божницы, озаренной красной лампадкой.

— Что случилось? Почему ворота не заперты?

Марфа ни слова.

Михаил зашел сбоку, заглянул ей в лицо. Красные сполохи дрожали в ее сухих глазах, обращенных к богу.

— Чего, говорю, людей пугаешь? Нельзя вечером намолиться? Где Евсей?

— Взяли.

— Куда взяли?

— Криводушники...

— Кто? Кто?

Михаил вдруг вспомнил, как, подъезжая к сенопункту, он увидел трех человек, быстро свернувших с дороги к избушке, и ему тогда еще странным показалось это, а теперь он знал, что это были за люди. Конвой и Евсей.

Тихо, не сказав больше ни слова, он вышел на улицу, запер ворота.

У крыльца шумно кипел переполненный водой ушат. Четкие, еще не смытые дождем следы казенных сапог виднелись в заулочке. Следы вели на задворки — значит, Евсея увели задами.

Михаил двинулся на переднюю улицу и еще издали увидал широкое светлое пятно на дороге. Это щепы. Щепы, которой Евсей засыпал нынешней весной грязь перед Марфиным домом. В сухое время щепы не замечают. А в сырость, в непогоду каждый прохожий добрым словом вспомнит старика. В сырость, в непогоду щепы, омытая дождем, светится. И вечером. И ночью.

Ах, дьявол меня задери! — вдруг с раскаянием подумал Михаил. А бревна-то я ему ведь так и не вернул. Два года собирался привезти бревна взамен тех, которые взял у Евсея с избы, да так и не привез...

— Так-так. Значит, ты хочешь знать, за что арестован Мошкин? Народ, говоришь, волнуется?

— Да, спрашивают люди.

— А сам ты не знаешь?

— Да нет.

— А то, что этот самый Мошкин народ мутит, этого, по-твоему, мало?

— Религия у нас не запрещена, Евдоким Поликарпович.

— Шляпа! — Подрезов вскочил на ноги — ядро раскаленное. — У тебя контрреволюционные листовки под носом стряпают, а ты меня спрашиваешь — за что... — С грохотом распахнув дверку стола, Подрезов вытащил пожелтевший тетрадочный листок, протянул Лукашину: — Читай.

Молитва

Жизнь унылая настала,
Лутче, братцы, умереть.
Что вокруг нас происходит,
Тяжело на то смотреть.
Служба Божия забыта,
Лик священный заключен,
Детский ум грубо воспитан,
Богохульству научен.
И посты не соблюдают,
Божьих праздников не чтут,
В домах шапки не снимают,
Часто в них едят и пьют...

И в таком духе на двух страницах.

— Понял теперь, что у тебя делается? А еще меня спрашиваешь. Иди. И имей в виду: на пощаду не рассчитывай. Строго спросим. Я предупреждал тебя насчет староверской молельни. И с женой с твоей у меня тоже был разговор.

Об аресте Евсея Мошкина Лукашин узнал, когда вернулся с Верхней Синельги. И попервости только рукой махнул: ну арестовали и арестовали. Значит, есть за что. Меня же не арестовали. И других не арестовали.

Но отмахнуться так просто не удалось. Колхозники жалели Евсея. Старик. Двух сыновей на войне потерял. Да сколько же еще мытарить и мучить человека? А кро-

ме того, и у самого Лукашина была не спокойна совесть. Трудно, очень трудно пришлось бы колхозу нынешней зимой, если бы не подмога со стороны Евсея. Сани, подсанки, всякие срочные поделки на скотных дворах, на конюшне — все это делал Евсей. И Лукашин, решив с глазу на глаз переговорить с Подрезовым, хотел напомнить об этом — авось и следствие учтет заслуги Мошкина перед колхозом.

Но сейчас, после того как у него в руках побывала эта молитва, ему стало ясно, что говорить обо всем этом бесполезно. Конечно, какие-то неграмотные вирши, к тому же написанные простым, наполовину стершимся карандашом, может, и не стоило бы называть листовкой — листовка все-таки это другое, товарищ Подрезов! — но и преуменьшать значения молитвы тоже нельзя. Далеко зашел старик. С душком, с нехорошим душком молитва.

Передав помощнику Подрезова, чистенькому, вежливому брюнету, сводку о надое молока за последнюю пятидневку (Подрезов не потерпел бы зряшного выезда в район во время страды), Лукашин спустился на первый этаж и заглянул в парткабинет.

За длинным красным столом сидел, обложившись брошюрами и книжками, Ганичев. В железных очках. В своем неизменном кителе из чертовой кожи, жестяно отливающей на солнце.

— Что, Гаврило, — с наигранной бодростью воскликнул Лукашин, — идейно вооружаемся? Опять, значит, в поход? Давай — у меня конь под окном стоит.

Ганичев нахмурился и ничего не ответил.

Худы мои дела, подумал Лукашин, раз Ганичев от меня отворачивается. А в общем-то, что ж? Все понятно. Ведь и сам он когда-то старался избегать людей, у которых замарано рыло. А тут мало сказать — замарано. Арест по 58-й статье в твоей деревне... Да это же вон чем пахнет!

2

На Лукашина всегда успокаивающе действовало летнее поле — сказывалась, видно, душа крестьянина. Так было и сегодня.

Из райкома он вышел — жуть настроение. Но вот полежал немного за райкомом на зеленой лужайке под рябиновым кустом — тут летом всегда какой-нибудь опальный председатель загорает перед головомойкой

либо после — да покурил, и, смотришь, поровнее заби-лось сердце. А там и думы пошли другие. О доме. О се-нокосе. О том, что в колхозе сейчас дорога каждая пара рабочих рук, тем более мужских, а он вот тут расква-сил, как баба. Чего раньше времени себя хоронить? Чему быть — тому быть.

Лукашин быстро поднялся на ноги, прошел к коню, который, пофыркивая, хрустел травой у изгороди, начал было отвязывать вожжи и раздумал.

Нет, уж коли он в район выбрался, то надо хоть одно дело сделать. А дело у него было, и нелегкое дело: дом. Тот самый дом, в котором он жил сейчас с Анфисой.

По всем книгам — и по сельсоветским, и по колхоз-ным — дом принадлежал Григорию, мужу Анфисы. И разве мог он, Лукашин, чувствовать себя спокойно, живя в этом доме? «А, гусь залетный! Мало того, что ты жену от мужа отбил, когда тот на войне был, так ты и его самого из дому выжил». Ведь вот как могут ска-зать. А если и не скажут, то уж подумать-то так редкий не подумает. Знает он публику деревенскую. Сам из нее вышел. А зачем ему это? Зачем лишний треп вокруг его имени, когда его, этого трепа, и без того достаточно?

Поэтому в первый же день своего председательства Лукашин предложил Анфисе на выбор: либо перебраться на житье к Марине-стрелехе, его бывшей хозяйке, по-камест они обзаведутся своей новой халупой, либо всту-пить в переговоры с Григорием и выкупить у него дру-гую половину дома.

Анфиса, как он и думал, ухватилась за второе. А на-счет того, чтобы дом оставить, и слушать не захотела. С какой стати? Ей да из своего дома в чужие люди на-постояй идти? Ни за что!

И вот Лукашин начал действовать. Не прямо, ко-нечно, чтобы встретились, как мужчина с женщиной, и давай по-деловому, раз уж так все получилось. Какое там! До встречи ли ему, когда его от одного имени Гри-гория трясет (никогда раньше не знал за собой ревно-сти). Да и у Григория, судя по всему, не было большой охоты встречаться с ним.

Раз как-то вечером, еще в бытность свою инструктором райкома, Лукашин пошел в кино, и будто кольнуло его в затылок, когда он брал билет. Оглянулся: глаза. Как два спаренных пулемета, наведены на него из по-лутемного угла. И хотя он не знал человека в милицейской

фуражке, он сразу догадался, что это за милиционер.

Короче говоря, Лукашин решил действовать через Кузьму Кузьмича, начальника Сотюжского лесопункта, которого, по словам Анфисы, Григорий уважал больше, чем отца родного. Не тут-то было. «Отцовским домом не торгую». И все. Больше рта не разжал Григорий.

И вот сейчас, выходя из райкомовского заулка и взглядываясь в желтое двухэтажное здание милиции с высоким глухим забором, из-за которого выглядывала новая тесовая крыша тюрьмы, Лукашин подумал: а не поговорить ли ему самому с Григорием? Сколько еще в прятки играть? Ведь все равно рано или поздно не миновать им встречи, раз в одном районе живут.

— Постой, постой...— вдруг остановился Лукашин и плотно сжал зубы. — Да как же я? Как же я раньше-то не подумал об этом?

Видно, у него очень уж воинственный был вид, когда он, запыхавшись, вбежал в приемную, потому что Василий Иванович — так звали помощника Подрезова — телом своим загородил дверь в кабинет хозяина.

Лукашин оттолкнул его.

— Это не Мошкин написал молитву.

— Что-о? — Подрезов, читавший какую-то бумагу, начал медленно распрямлять спину.

— Я говорю, молитву не мог написать Евсей Мошкин. Он неграмотный, не умеет писать.

— Хм... Неграмотный? Не умеет писать? А ты откуда знаешь?

— Знаю. Весной он при мне деньги в колхозе за сани получал. И Олена Житова, счетовод наш, еще рассмеялась: «Чего, говорит, кресты-то ставишь? Расписывайся как следует». А Евсей на это и скажи: «А я ведь, говорит, только и умею читать по-печатному, а писать не горазд. Ни одной зимы в школу не ходил».

— Какое значение это имеет?

— Как какое? Факт есть факт.

— Факт пока что такой,— чеканя каждое слово, сказал Подрезов и встал,— по району контрреволюционные листовки под видом молитвы гуляют, а в это время коммунист Лукашин берет под защиту попа. Дешевой популярности у старух ищешь — так, что ли, запишем?

— Это еще надо доказать, кто из нас чего ищет. И ты эти штуки брось, товарищ Подрезов. Пуганые!

— Что-о? — Подрезов вдруг весь налился, двинулся на Лукашина.

Василий Иванович, ворвавшийся в кабинет вслед за Лукашиным, попятился к полураскрытой двери. В побелевших глазах его стоял ужас. Всякого повидал он на своем посту. Случалось даже «скорую помощь» вызывать к проштрафившемуся работяге, но такого, чтобы кто-то из посетителей поднял голос на самого, — никогда.

Подрезов справился с собой еще до того, как за помощником захлопнулась дверь. Он глубоко засунул руки в карманы галифе, прошелся, бычась, по кабинету, встал к окну.

— Ты знаешь, за что твою жену с председателей сняли? — заговорил он, не оборачиваясь.

Лукашин наморщил лоб, стараясь понять, куда клонит секретарь.

— За бабью жалость, — сказал Подрезов.

— Вот как! — удивился Лукашин. — А я помню, ты другое мне говорил, когда я первый раз у тебя на приеме был. За лесозаготовки. И так мне и жена говорила.

— Ерунда! Что ты, не знаешь своей жены? Хозяйственная баба. Этого у нее не отнимешь. И уж если на то пошло, так с лесозаготовками у нее не хуже было, чем у других. А даже лучше. Только жалостлива больно. Всех ей пожалеть хочется. За каждого она заступница. За эту, за ту, за третью...

— Что ж, — сказал Лукашин, — люди, по-моему, заслужили того, чтобы их пожалели.

— Вот-вот! — с азартом воскликнул Подрезов. — И ты в ту же дуду! Заслужили... Всем на отдых... Так? А кто работать? Кто план по кубикам выполнять? А план по кубикам сразу после войны знаешь какой дали? Ой-ей-ей! Волосы дыбом. И что бы ты сделал? Ты — бывший работник райкома? Ну-ко, давай! А я, например, ударил по главным жалобщикам, в том числе по твоей жене...

— И поставил вместо нее, хозяйственной бабы, как ты говоришь, этого безмозглого прохиндея Першина?

— Ну что ж, — согласился Подрезов, — и поставил. Никудышный извозчик — согласен. Собака извозчик, сказал бы мой отец. А лошадь у него побежала. Вытащил лесозаготовки,

— А мой отец,— сказал Лукашин,— когда дело касается лошади, больше на овес советовал нажимать...

— Ах какой у тебя умный отец! — с издевкой в голосе воскликнул Подрезов. — А мы и не знали, что лошадь овсом гонят. А где, где он, овес-то? О чем я с тобой тут толкую? Ты знаешь, как мы тут войну делали? Да и не только мы, а все прочие?

Лукашин усмехнулся.

— Ах да, ты ведь в сорок втором здесь был... — Подрезов помолчал и решительно рубанул воздух ребром ладони. — Ни черта ты не знаешь! Тебя как фронтовика на руках все носили — рассказывали мне. Да и что такое одно лето? А за этим летом был сорок третий год, а за сорок третьим был сорок четвертый. Ух год! Мох ели, заболонь сосновую толкли. А за сорок четвертым — сорок пятый. И все эти годы мы одно твердили людям: терпите. Терпите, бабы! Кончится война — тогда заживем. Тогда наедемся досыта. Мы даже лекции на эту тему читали: «Наша жизнь после войны». Чего не сделаешь ради победы... В общем, люди, как чуда, ждали победы. Все, все изменится. На другой же день. Понимаешь? А как изменится, когда вся страна в развалинах?

Лукашин покусал в нерешительности губы, затем прямо в глаза глянул Подрезову, подошедшему к столу за папиросой:

— А ты думаешь, никак нельзя было накормить эту бабу досыта... сразу после войны?

— Я думаю... — Подрезов усмехнулся. — Мы с тобой солдаты, а не думальщики. Ладно, обсудили вопросы стратегии войны и мира,— вдруг с незнакомым Лукашину смущением сказал Подрезов, хлопнул его дружески по плечу и заключил таким напутствием: — В следующий раз, прежде чем крик поднимать, все-таки подумай.

3

Вечер был как по заказу. Днем, после полудня, хлестнул дружный ливень — с луга домой прибежали насквозь мокрые, — а потом опять солнце, опять тепло: парные лужи в ленивых зайчиках, хлебный запах с подгорья и огромная-огромная радуга над заново зазеленевшим лугом.

В этот вечер Лукашин и Анфиса, пожалуй, впервые за нынешнюю страду спокойно, никуда не спеша, пили чай.

Лукашин, с мокрыми пятнами на белой нижней рубашке, с сияющим, до блеска намытым выпуклым лбом (они только что пришли из бани), в руке держал стакан с крепким, янтарным чаем, а глазами был в газете.

— Грибы, должно, пойдут после этого дождя,— сказала Анфиса.

— Пойдут,— вяло отозвался Лукашин.

— Люди уже носят.

— Грибы? А то как же! Харч.

Анфиса вздохнула. Всем хорош у нее муженек, а по дому палец о палец не ударит. Единственная его работа, если не считать воды да дров (и то изредка),— забил вход двухвершковыми гвоздями на половину Григория. А дом— это ведь и приусадебный участок, и сено, и крыша над избой и поветью, которую еще до войны ладили, да мало ли всего! И Анфису тяготило и беспокоило это равнодушие мужа. А главное, она никак не могла понять, откуда оно. Дом своим не чувствует— оттого? Или он рано от деревни оторвался и растерял навыки хозяина?

Вдруг под окном захлопал мотор. Анфиса быстро привстала, посмотрела через мокрую, склонившуюся над газетой голову мужа.

— Подрезов. Глянь-ко, глянь-ко,— зашептала она,— да он к нам.

Подрезов ни разу не был у них дома с тех пор, как ее сняли с председателей.

— Дома хозяин?— еще в дверях загремел знакомый голос.— Ух ты! Прямо к самовару. Есть, есть у меня счастье!— Подрезов шумно снял свой знаменитый кожан и, не дожидаясь приглашения, подсел к столу— свежий, прокаленный солнцем, подстриженный, с белой полоской кожи на крутой загорелой шее.

— Ну что, Минина,— сказал он, искоса поглядывая на Анфису, ставившую перед ним стакан,— все еще дуешься? Но-но, не закатывай глаза. Кого хочешь обмануть? Так я тебе и поверил... А чего это ты такая тонкая? Сколько вдвоем живете? Январь, февраль...— Подрезов начал загибать пальцы.— Пора бы поправляться, а?— И захохотал,

Анфиса, привыкшая к подобным шуткам, довольно спокойно выдержала «мужской» взгляд Подрезова, но за мужа она испугалась, потому что всякое упоминание о ребенке у Ивана Дмитриевича непременно связывалось с его Родькой, с маленьким несчастным Родькой, которого немцы вместе с бабкой и односельчанами расстреляли за связь деревни с партизанами.

Подрезов, видимо поняв, что хватил через край (он знал эту историю с сыном Лукашина), надсадно закашлялся, потом сказал:

— А все-таки прошлым жить нельзя. Что же, у каждого сейчас в доме покойник — жизнь прикажешь оставить? — Он нервно пробарабанил пальцами по столу, глянул на улицу: — Что это? У вас кто умер?

По дороге с двойнятами ехал Михаил Пряслин. На телеге могильная пирамидка со звездочкой, выкрашенная красной краской. Краска еще не высохла и жарко горела на вечернем солнце.

— Да нет, слава богу, никто не умер, — ответила Анфиса. — Это, вишь, Михаил памятник Тимофею Лобанову хочет поставить. Перед сенокосом еще сделал, да все краски красной не было. А тут, видно, достал где. А может, и Егорша с району привез. Был у них как-то при мне разговор насчет краски.

Подрезов недовольно хмыкнул:

— Нашел время памятники ставить. Нельзя было подождать до осени?

— Пускай его, — сказала Анфиса. — У парня хоть душа успокоится.

— А чего она у него неспокойна?

— Да ведь как. Не дерево. Каково? Мужика в лес гонит, а тот уж при смерти...

— Ах, Минина, Минина! Опять ты за старые сказки. А до осени, говорю, подождать нельзя? В страду другой работы нету, как могилы устраивать? — Подрезов круто повернул голову к Лукашину, и в глазах уже строгость хозяина: дескать, ты куда смотришь?

— У нас сегодня с полудня дождь, так что всю работу на лугу отбило, — сказал Лукашин.

— Да и не только это, ежели правду говорить, — опять вмешалась в разговор Анфиса. — На сенокосе весело, когда корова есть. Это ты не хуже меня, Евдоким Поликарпович, знаешь. А когда коровы нету, и сенокос не в сенокос. Ох что творилось у тех же Пряслиных по-

первости! Всех малых на пожню Михаил вывел. Целая бригада из одного дома. А потом корова пала — и вся бригада пряслинская пала.

— Да,— сказал Лукашин,— старались ребята. Я, пожалуй, такого и в жизни не видал. Приезжаю на Синельгу, к ставровской избе, а там — один зарод, другой, третий... Что за чертовщина? — думаю. Кто это залез в наши пожни? Потому что знаю: все люди у меня на Верхней Синельге да на Росохах. А потом вижу: Михаил со своей морошкой. Просто удивительно! Каждый с косой. А самих-то косарей из травы еле видно...

— Корову бы им дать надо, Евдоким Поликарпович, вот что,— уже прямо сказала Анфиса.

— А что, у Евдокима Поликарповича свое стадо?

— Зачем свое? Из колхоза. Михаил всю войну за мужика в колхозе робил — разве не заслужил?

— Телку, пожалуй, можно выкroeить,— кивнул Подрезов Лукашину.

— Корову им надо. Телка-то когда коровой станет, а им сейчас молоко надо.

— Сколько у вас коров этой весной пало?

— Пять,— ответил Лукашин.

— Ну вот видишь. Пять! — Подрезов сурово, по-секретарски посмотрел на Анфису. — А сколько по плану должно быть? То-то! А потом: одному дал — другому дай. Так, нет говорю?

Немного погодя, когда Подрезов принялся за второй стакан чаю, к нему снова вернулось благодушное настроение. Шумно перекатывая за щекой кусок сахара, он подмигнул Лукашину:

— Да, насчет твоего подзащитного считай, что ты прав. Он таки действительно неграмотный. И молитву не он писал.

— Ты о Мошкине? — живо спросил Лукашин.

— Да. В общем, порешили так: выслать из района. Нечего ему тут делать. — Подрезов глубоко, но радостно вздохнул. — Ух, насили уломал Дорохова. Нет и нет. Сперва даже разговаривать не хотел...

— Кто? Дорохов?

— Да, Дорохов. А что?

— Да ничего,— сказал Лукашин и, как ни сдерживался, улыбнулся.

Подрезов, видно, догадался, что скрывалось за улыбкой Лукашина, и лицо его, крупное, угловатое, будто

вытесанное из плитняка, налилось кровью. Однако он переломил себя.

— Но-но,—загоготал он добродушно и в то же время мучительно, со слезами на глазах подавляя свое самолюбие,— не удивляйся. Нужна и на Подрезова узда. А то нашего брата не попрдержжи — что получится? А за подсказку тебе спасибо. Не будь у меня этого козыря, с какой бы мне карты ходить? А тут, когда ты сказал мне, что Мошкин неграмотный, я еще раз прочитал эту молитву. И знаешь, что удумал? — Подрезов победно взглянул на Лукашина, потом на Анфису.— А то, что это вообще не старовер писал. Непонятно? Ну этого понять нельзя. Для этого самому в староверах побывать надо. Вот что. А я был. Из староверской семьи вышел. И не знаю, как другие староверы, а наши староверы из-за этих самых божьих храмов разоряться не станут — это я тебе точно говорю. Староверам на эти храмы, которые якобы разоряет Советская власть, начхать, поскольку у них дело дальше молельни не идет. Вот я этими самыми божьими храмами и срезал Дорохова. Ведь это же, говорю, нас на смех поднимут... В общем, уломал. Ему-то, Дорохову, правда, не очень хотелось расставаться с таким дельцем. Ну да я тоже не лыком шит. Сообразил, каким оно боком может мне выйти. Нда,—сказал Подрезов и весело, по-товарищески подмигнул Лукашину,—выдал я тебе свои секреты... А живете вы неважно, прямо скажем. — Он кивнул на пустой стол, затем указал глазами на реку. — По этой водичке, между прочим, не только лес плавает, а и рыбка. Дошло?

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1

В двадцатых числах августа в Пекашине собралось сразу пять уполномоченных: уполномоченный по хлебозаготовкам, уполномоченный по мясу, уполномоченный по молоку, уполномоченный по дикорастущим — и на них был план — и, наконец, уполномоченный по подготовке школ к новому учебному году. Плюс к этому свой постоянный налоговый агент Ося,

И все эти люди с пухлыми полевыми сумками, в которых заранее все было расписано и рассчитано, с утра осаждали Лукашина. И каждый из них требовал, нажимал на него, ссылаясь на райком, на директивы и постановления. Но, конечно, тон среди них задавал Ганичев, уполномоченный по хлебозаготовкам.

Лукашин, однако, довольно бодро смотрел на свои дела. Урожай на полях вырос хороший — не зря он весной выжидал тепла, есть, значит, в нем хозяйственная жилка; задание по хлебу будет выполнено. И колхозники тоже не останутся внакладе. Во всяком случае, по его расчетам, килограмм хлеба на трудодень он даст. А это для начала неплохо. С таким трудоднем уже можно жить.

Как только отправили первый обоз с хлебом, Лукашин сказал колхозникам:

— Ну, товарищи, теперь готовь свои мешки. Попробуем новины сами.

И что тут поделалось с людьми! На полях песни. У молотилки песни — Украина залетела в Пекашино?

У парторга Озерова, только что вернувшегося с инструктивного совещания в райкоме, вдребезги разлетелся план агитационно-массовой работы. Некого агитировать. Некого подгонять. Люди работали дотемна. И особенно лютовал в эти дни Михаил Пряслин. Жатка в колхозе была одна — вторая рассыпалась еще в прошлом году, — и Михаил жарил по восемнадцати часов в сутки. Три пары лошадей менял за день.

— Не надорвись, — говорил ему Лукашин. — Передохни денек. Найдем подмену.

— Ничего, — хриплым голосом отвечал Михаил. — За три килограмма (а он выгонял не меньше трех трудодней) можно и надорваться.

2

Короткое северное лето кончалось. На домашние сосняки вышла белка, еще красная, невылинявшая.

С первым снегом, когда голубым туманом пройдет по ней осень, белка откочует в глухие суземы, на еловую шишку, и туда потянутся заправские охотники, а покамест за ней гоняются ребяташки — нет большей радости для них, чем поймать живую белку.

По вечерам, возвращаясь с поля, Михаил частенько слышит ликующие голоса своих братьев в сосняке за деревней, и хоть криком кричи — не зазовешь домой.

Сегодня, к его немалому удивлению, вся семья была в сборе. Ребята с матерью у окошка перебирали бруснику — не хватало разве Лизки.

— Где она? Не баню топит?

— Нет, — помедлив с ответом, сказала мать и указала глазами на кровать.

Тут Михаил разглядел сестру. Лежит на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и всхлипывает.

— Чего с ней?

Мать опять замешкалась, затем переглянулась с ребятами.

— Чего, говорю, с ней?

— У нас свадьба будет, вот, — выпалила Татьяна.

— Свадьба? Кто — ты собралась взамуж?

— Лиза.

— Сиди! Со сна бормочешь...

— Нет, вправду, вправду, — сказала мать. — Егорша только что сидел. «Отдашь, говорит, Анна, за меня Лизку?»

— Ну, допился, сукин сын! А вы уши развесили — слушаете...

Михаил подошел к Лизке, со смехом приподнял ее за плечи.

— Чего реवेशь? Невеста. Радоваться надо. Не успела соску изо рта вынуть — и уже женихи.

— Дак ведь он по-серьезному, взаболь...

— А когда парень выпьет, он завсегда взаболь. Пора бы тебе это понимать. Ладно, собирайте чего на стол. Хватит об этой чепухе говорить.

За ужином Лизка не притронулась к еде. Она сидела, опустив льяную голову, и Михаил уже с некоторым беспокойством начал поглядывать и на нее, и на мать, которая, как назло, отводила от него глаза. Дикая, невероятная мысль пришла ему в голову: а что, если Егорша?.. Нет, нет, не может быть! — сказал он тут же себе.

Но когда кончили ужинать, он решил раз и навсегда покончить с этим делом.

— Ребята, давай на улицу! Все. Да, да и ты тоже, — кивнул он Татьянке.

Он сам закрыл за ребятами дверь, снова сел к столу.

— Ну? Чего в прятки играете? Какая такая у вас свадьба?

— Егорша, говорю, тут сидел. Лизавету сватал.

— Слыхал. Дальше.

— А дальше... — Мать строго посмотрела на Лизку. — Так хорошие девушки не поступают. Я думаю, он шутит. Ну и я в шутку: ноне, говорю, не старое время, парень. Ты с невестой говори. Да как он знаешь что мне ответил? «А чего, говорит, мне с невестой говорить? У нас, говорит, с ней все сговорено».

— Сговорено? — Кровь бросилась в лицо Михаилу. Он посмотрел на мать, посмотрел на светлую голову сестры, виновато склоненную над столом. — Вот как! Значит... Говори, что у тебя с ним было!

Лизка еще ниже опустила голову. Светлые и крупные, как дробь, слезы катились по ее пылающим щекам. Потом она вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась.

— Сука! Стерва! — Михаил оттолкнул от себя протянутую руку матери, заорал на всю избу: — Я спрашиваю, что у тебя с ним было? Ну?

— Целовались... — захлебываясь слезами, сказала Лизка.

— Целовались? Ты? С Егоршей?

— Он меня поцеловал, не я... Я зимой тогда прибежала из лесу, все хотела рассказать, да стыдно было...

— И все?

— А чего еще...

Михаил схватился руками за голову. Скотина! Какая же скотина! Да как он мог подумать такое о сестре! О Лизке... О своей Лизке...

Под окошками тихонько переговаривались и покашливали ребята. Не поднимая головы — кажется, сквозь пол бы сейчас провалился! — он тихо сказал:

— Мати, чего мы держим ребят на улице? Зови.

Анна встала, вышла из избы. А Лизка все еще плакала. Плакала навзрыд, уткнувшись лицом в стол.

— Ну, ну, сестра... Наплевать... Выкинь ты эту всю чепуху из головы. Ну, наорал... Дернул меня черт...

— Да я ведь это так... Не сержусь... — сказала Лизка.

— А вообще-то, конечно... Ты — девушка. Насчет этого надо строго... — Михаил замаялся. — Нет, я все-таки с тем поговорю. Незачем, понимаешь, чтобы треп всякий шел. Верно?

Совсем стемнело, пока он ужинал.

Он шел по темной, еще не остывшей от дневной жары улице и прислушивался к голосам хозяек:

— Пестроня, Пестронюшка! Да куда ты, куда, родимая?

— Иди, иди, кормилица! Иди, иди, мое солнышко...

А и верно, что солнышко, подумал Михаил. Звездоня согревала их, она давала жизнь ихней семье, а не то солнце, которое каждый день катается по небу над их избой. И вот ведь как устроен человек: все худо.

Эх, хоть бы ненамного, на недельку перепрыгнуть в те худые времена!

В колхозной конторе горел свет, и Михаил подумал: а не напомнить ли еще раз Ивану Дмитриевичу пасчет коровы? Вскоре после ихнего несчастья Лукашин заверил их: «Дадим вам корову. Хотя бы вполовину стоимости. Я перед райкомом вопрос ставить буду». И вот месяц скоро стукнет, а дело не двигается, и сам Лукашин больше не заводит разговора. А они со Степаном Андреяновичем, вместо того чтобы на первых порах хоть козу на вырученные за Звездоню деньги купить, тоже пичего не делают.

Кто-то, резко поскрипывая в темноте новой, еще не обношенной или праздничной обувью, шел ему навстречу. Егорша? Кто же еще филонит по вечерам во всем снаряжении?

Нет, не Егорша. Раечка.

Сполохом вспыхнул нарядный шелковый платок в желтых полосах света, падающих на дорогу от окошек конторы.

Михаил круто, как мальчишка, нырнул в сторону.

...Пять дней назад под вечер к нему на поле прибежали ликующие ребята: Егорша приехал.

Он все бросил: лошадей, жатку — и к Ставровым. Больше месяца не виделись — можно часом-двумя пожертвовать ради друга?

Вот с каким настроением прибежал Михаил к Ставровым. А Егорша — нет. Егорша с первых слов начал задира́ть нос.

Во-первых, он, видите ли, отпускник, а не просто там на побывку после сплава домой пришел, и потому,

намерен отдыхать культурно, ибо его здоровье — это уж не его здоровье, а здоровье рабочего класса.

Но это пускай. И пускай отчитывает его за мясо («Купец! За десять верст от райцентра сплавщики стоят — за час бы расхватили твою Звездону. А он вздумал с бабами районными торговаться...»). Пускай. Тут он, Михаил, действительно недодумал. Можно было съездить к сплавщикам — полторы-две тысячи лишних положил бы в карман. Но Егорша на этом не остановился. Егорша, войдя в начальственный раж, пошел дальше: зачем поставил столб со звездой Тимофею Лобанову?

И тут Михаил вскипел:

— А тебе что, краски жалко?

— Конечно, ежели бы я знал, что ты ради такого дела краску просишь, я бы еще подумал...

— Отдам! Не жмись!

— Дурило! В краске дело?

— А в чем же?

— В чем? — Егорша постукал себя кулаком по лбу. —

А в том, что это политика.

Михаил рассмеялся:

— Политика... Столб могильный красной краской вымазать...

— Да, и столб. А ты думаешь? Больно шикарные кладбища у нас были бы, ежели бы каждый захотел красную звезду себе на могилу! Нет, ты сперва заслужи эту звезду, а потом ставь.

— А Тимофей Лобанов не заслужил, по-твоему?

— Ежели б заслужил, райком бы дал команду, будь спок. Я это знаю, как делается, — работал в райкоме. Перво-наперво, — стал авторитетно разъяснять Егорша, — объявление в газете дают, невролог называется. Вся автобиография сообщается. А какая у Тимофея автобиография? В плену был? Так? Нет, что-то я этого в неврологах не читал. Не приходилось.

Михаил, опустив голову, тупо смотрел на хромовый, до блеска начищенный сапог. Слова Егорши смутили его. Черт знает, может, и в самом деле он поспешил со звездой...

— Вот так, друг ситный, — насмешливо заключил Егорша. — Пора отличать малосольные рыжики от горькуш. А то и за штаны могут взять. Не маленький, А ты из одной грязи едва вылез — в другую хлоп...

— Из какой грязи?

— Но-но! Думаешь, не знаю, как ты тут из-за попа травил... Имеется сведенье...

— А я и сейчас скажу: не знаю, за что закатали старика.

— Да? Забыл, значит, как он нам на мозги капал?

— Он нам капал, да весь вопрос — куда. Я что-то не помню, чтобы он у нас выманивал водку.

— Ну, водкой меня не купишь, — отрезал Егорша. — Выпить выпью, а ежели насчет политики, тут, брат, шалишь. Не за то у меня отец да дядя на войне головы сложили, чтобы я ушами хлопал. Мы, брат, так: пьем, гуляем, а линию знаем. И тебе советую насчет там всяких теплых чувств покороче. Понял?

— Каких, каких чувств?

— Родственных. Чего ты об этом попе разоряешься? Думаешь, там, где надо, не учитывают, что вы родственники?

— Сволочь! — коротко выдохнул Михаил.

Он до того рассвирепел, так взбеленился, что, кажется, скажи еще одно слово Егорша, и он бы бросился на него. Ведь это же надо придумать: он заступает за Евсея потому, что тот его родственник. Да ему и в голову никогда это не приходило. А приходило, уж если на то пошло, совсем другое. Приходило то, что Евсей два года колотил сани для колхоза, а кто теперь их будет делать? Кто будет выручать его как бригадира по скотному двору, по конюшне? А два сына у Евсея на войне погибли — это не в зачет?

И вот как раз в это самое время, когда Михаил на всю катушку собирался выдать Егорше, под окошками появилась Раечка — она шла с большим кузовом травы.

Егорша петухом высунулся в раскрытое окно, закукарекал:

— Раюша! Соседка дорогая! Давай на беседу.

— Некогда! — ответила Раечка.

— Чё некогда. Я музыку новую привез. Ей-бо. Вот Мишка рядом — не даст соврать.

Михаил выпучил глаза: какая еще музыка?

— Дровесина пекашинская! Совсем тебе комары мозги выели. Надо девку заманивать, а он — какая музыка?

Подталкиваемый Егоршей, Михаил выглянул в окошко, небрежно махнул рукой: давай сюда, Райка.

И Раечка кузов с травой наземь и — к ним. Через зеленый картофельник. Красиво, легко начала выбрасывать белые ноги. А в избу вбежала — грудь ходуном, и такие радостные, такие летние глаза.

— А где музыка?

Егорша мелким бесом начал рассыпаться: Раечка, Раечка, дорогая соседка... Выставил из-под стола табуретку, обмахнул рукой.

Злость взяла Михаила:

— Райка, ко мне!

Раечка в замешательстве посмотрела на Егоршу, как бы спрашивая того: что у вас тут происходит?

— Ну! — нетерпеливо сказал Михаил.

И Раечка покорно, опустив голову, подошла к нему, села рядом на лавку.

Михаил притянул ее к себе:

— А ты, Райка, горячая. С тобой не замерзнешь.

Раечка по самые глаза залилась вишневым румянцем, выгнула стан.

— Не рыпайся! Не таких, как ты, объезжали. — Михаил торжествующе посмотрел на побледневшего Егоршу — что? выкусил? — и рывком перекинул девушку к себе на колени, так что у той колоколом вздулось пестрое ситцевое платье.

— Тяжелая ты, Райка, много в тебя добра сложено.

— Может, вам создать обстановочку, а? — язвительно спросил Егорша.

— Создай! Верно, Раечка? — Михаил с напускным ухарством откинул голову, сбоку посмотрел на Раечку.

У Раечки слезы стояли в глазах и губы были закусены...

Михаил все это сейчас вспомнил и подождал, покамест Раечка не прошла мимо.

Щеки ему и сейчас жег каленый стыд. Нехорошо, по-скотски все это вышло. Он терпеть не мог, когда Егорша начинал всякую пакость рассказывать про баб и девок, а разве он сам поступил лучше? Чем виновата Раечка? Прибежала к нему по первому слову — радостная, сияющая, на все готова. А он начал куражиться. Он начал показывать Егорше свою власть над девкой. Вот, мол, какой я, грязный, небритый, нечесаный, прямо с поля, древесина пекашинская, как ты говоришь, а давай потягаемся — чья возьмет?

Ну погоди, подумал Михаил о Егорше. Когда-нибудь я тебе за все выдам. Действительно, ежели бы Егорша не завел его, с чего бы он начал куражиться над девкой?

Егорши дома не было. Отпускник. Самая рабочая пора у него по вечерам да ночам. А днем его работа — ружьишко. Бродит в первых соснах за деревней да лупит в кого попало. Михаил частенько слышит его выстрелы.

— Ежели к дому не поздно пригребется, пушай ко мне зайдет,— сказал он Степану Андреяновичу.

— Так или дело какое?

— Дело... Бока ему наломать надо! С пьяных глаз зашел к нам — Лизавету за него отдайте.

— Чего? Лизавету сватал?

— Говорю, окосел с перепоя.

Степан Андреянович долго молчал, и вдруг слеза блеснула у него в правом глазу, задрожал подбородок.

— А что, Миша,— начал он издали,— может, это и неплохо?

— Неплохо? Да Лизка еще ребенок!

— Ну пошто ребенок? Раньше, бывало, и моложе выдавали.

— Чего зря бочку перекачивать. Чтобы я да за такого кобелину сестру свою отдал... Никогда! Так и скажи ему. А то повадки его я знаю. Разрисует. Наплетет такого, чего и в помине не было.

— Да это-то так,— согласился Степан Андреянович. — Хоть и своя кровь, а не хвалю.

4

Михаил ушел, а старик еще долго сидел у стола.

Днем, когда они сели обедать, Егорша заводил носом: и грибы зажарены не так, и хлеб дедов ему не по вкусу, и от картошки нечищенной его воротит...

— А ежели воротит, женись! — вспылал Степан Андреянович.

— Ну и женюсь! — ответил с вызовом Егорша. — Нашел чем пугать.

И, видно, после этого сгоряча и брякнул у Пряслиных, подумал Степан Андреянович.

А вообще-то лучше невесты, чем Лиза Пряслина, он бы своему внуку не желал. Еще Макаровна, покойница, нахвалиться не могла Лизаветой: «И такая уж у Пряс-

линых девчущечка совестливая да работающая. Золото девка...» Хорошая семья. Крепкий корень. И если бы Егорша с такой семьей породнился, может, он и сам бы немножко остепенился — повылезла бы из него лишняя дурь...

Да нет, вздыхал Степан Андреянович, близко локоть, да не укусишь. Разве пойдет такая девка за моего ша-лопая?

Егорша пришел поздно. И как всегда — под парами.

— Чего не спишь? Утро скоро.

— С тобой уснешь.

— Ха, опять чем не угодил?

— Бесстыдник. Налил шары и ходишь. Уж ежели задумал жениться, по себе сук гни.

— Так, — рассмеялся Егорша. — Значит, оповестили. Кто был? Мишка?

— Чтобы этого у меня больше не было! — сердито сказал Степан Андреянович. — И себя не срами! И людей не смехи. Разве отдадут за тебя такую девку?

— Кого? Лизку не отдадут? Да я только свистну — сама прибежит.

— Всех-то ты по себе меряешь.

— Да что — я хуже их, навозников? — возмутился Егорша.

— Эти навозники-то, смотри-ко, — семью подняли. Что ты против того же Михаила?

— Михаил, Михаил... Ты мне плешь переел этим Михаилом. Подумаешь, хитрость всю жизнь в навозе копать.

— Не хвали себя. Пушай люди хвалят.

— А что — не хвалят меня? В газетах не про каждого пишут. Лизка тебя устраивает?

— Чего попусту говорить.

— Нет, я спрашиваю: Лизка тебя устраивает?

— Такая девка!.. Локтем бы перекреститься можно...

— Ну и все, — сказал Егорша. — Завтра будешь локтем креститься. А теперь давай спать.

Егорша мог не глядеть на часы. Он и так знал, который час, потому что есть на земле такая пакость — осенние мухи. А осенние мухи начинают лютовать ровно

в десять часов, в ту самую пору, когда в их боковую избу вкатывается солнышко.

Голова у него побаливала. Вчера он определенно перебрал. Сто пятьдесят «сплавных» за обедом, чепуха с Осей-агентом, затем «пенсионная» бутылка с довесом у Петра Житова, потом они еще с Анной Яковлевой, чтобы не замерзнуть на повети, раздавили маленькую, — сколько это будет?

Потягиваясь и зевая, Егорша прошел в задоски, хватил кружку холодянки, закурил.

Дед постукивал в сарае — тесал березовый полоз. Много теперь у него дела. Евсей на казенных хлебах, Трофима Лобанова нет — один на весь колхоз сановик. Настойчиво, как дятел, долбит березину, и топор, видно, наточен — вполтопора играет жало, а не та, не та сила у старика. Тюкает, тюкает, а зарубки настоящей сделать не может. Разве так он еще два-три года назад расправлялся с полозом?

Егорша вспомнил ночной разговор с дедом. А что, подумал он, может, и в самом деле жениться? Вчера от нечего делать он начал травить Лизку — дед огонька за обедом подкинул, а почему бы и не всерьез? Ха! Не отдадут? Мишка против? Всяк в пример ему ставит этого Мишку. Хозяин. А он, Егорша, вроде для забавы у пекашинцев. Художественную часть им поставляет. Нет, постой! Посмотрим, кто из нас последнее слово скажет!

Деятельное, давно не испытываемое возбуждение охватило Егоршу. Он наскоро побрился, вымылся до пояса, надел свою лучшую шелковую голубую рубашку с молнией, а поверх рубашки куртку хромовую — тоже с молнией. Блеск! Звон! И сапоги надраил так, что ногам жарко.

— Дедко! — крикнул он, выходя на крыльцо. — Смотри последний раз на моего конягу. Вечером не будет.

— Куда деваается? Пропьешь?

— Пропьешь, пропьешь... В отпуску я. Законно гуляю. В общем, в район еду. Не жди обедать.

Егорша завел стоявший у хлева на зеленом лужку мотоцикл, выехал из заулка на дорогу.

Тепло. Солнце припекает. За болотом, на Широком холме, трещит Мишкина жатка...

Эх! Давай-ка напоследок пропадем из конца в конец пекашинскую улицу. Покажем, какой скок у нашего рысака.

Егорша нажал на рычаг с газом и со свистом, с грохотом полетел вперед.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

1

У Пряслиных издавна повелось: если ты в чем-то проштрафился, оправдайся делом. А Лизка считала себя виноватой: она вечер своими глупыми слезами довела брата до белого каления. И поэтому сегодня она работала за троих. Встала еще затемно, затемно пришла на телятник, выгребла навоз, привезла травы для телят, наносила воды,— еще что сделать?

Самым большим желанием ее в это утро было выйти на деревню да послушать, что говорят о вчерашнем. Знают ли бабы, что к ней вечер Егорша сватался?

И еще ей хотелось хоть одним глазком, хоть краешком глаза взглянуть на Егоршу: как он сегодня-то, на трезвую голову? Помнит ли, что вчера молол?

И вдруг — вот как бывает! — он сам. Егорша!

Да, только подумала она о нем — захрохотал мотоцикл у маслозавода, а потом и он сам показался. Как ворон черный, вылетел в своей кожанке — и на задворки. Видно, к Илье Нетесову в кузницу.

Нет, постой, ахнула Лизка, да ведь он, дьявол бесстыжий, сюда, на телятник, едет. Ей-богу!

Она быстро вытащила ногу из шайки — только-только начала было мыть ноги — и в телятник. Хорошо, в самый раз будет — хлопнуть двери перед самым его носом. Но в последнюю секунду благоразумие взяло верх. Нельзя ей показывать вид, что перепугалась. Иначе он, зубоскал, проходу ей не даст.

И она, собрав все свои силы, сунула ноги в опорки, торопливо поправила рассыпавшиеся на висках волосы и, строгая, недоступная, с высоты бревенчатого настила перед дверьми в телятник стала поджидать завязнувшего в песке за кузницей Егоршу.

Первые же слова Егорши: «Здорово, невеста!» — выкрикнутые тем еще с машины, полымем одели ее щеки,

Но она не растерялась:

— Проваливай! Чего здесь не видал?

А Егорше это как чих. Выстал, нахалюга кожаный, да давай ее своими синими мигалками завораживать. Как змей!

— Проваливай, говорю! Нечего тебе тут делать,— еще строже сказала Лизка и, не долго думая, показала спину.

— Стой! Не шибко. С женихом или с пнем разговариваешь? — Егорша прыгнул к ней на настил и — не успела она глазом моргнуть — за косу.

Она дернулась, закричала:

— Пусти, дьявол бессовестный!

А ему забава: смеется да наматывает-наматывает косу на руку.

Намотал, притянул ее лицо к своему:

— Ну, теперь поняла, как со мной разговаривать?

— Пусти, говорю,— гневно зашептала Лизка. — Люди-то что скажут? Вот погоди, скажу Михаилу.

— А спать будем — тоже Михаила кликнешь? — прямо ей в лицо рассмеялся Егорша. И вдруг выпустил косу, сделался серьезным-серьезным. — Сядем. Нечего теперь Мишку призывать, коли надо жизнь свою решать.

Лизка посмотрела на кряжи под навесом, на которые указывал взглядом Егорша, посмотрела на него самого — что у бесстыдника на уме? — и села: бог знает, что он еще может выкинуть, ежели не уступить ему.

— Вечером со сватами приду,— объявил Егорша. — Чтобы у меня без этого... Без фортелей.

— Надо мне твои сваты! — хмыкнула Лизка, но глаза отвела в сторону: жар кинулся в лицо.

— Значит, опять сначала?

— Да мы с тобой и не гуляли, жених выискался...

— А в баньке на Ручьях зазря обнимались? Забыла? А я тебя невестой своей с каких пор стал называть?

— Что — в шутку-то можно,— опять в сторону сказала Лизка.

— Сперва все в шутку. А вот ежели я тебе не нравлюсь — тогда другой разговор. Ну? Говори прямо. Бей горшок, покуда не поздно.

Лизка не успела ответить, как Егорша воскликнул

— Эх ты, жало зеленоглазое! Чего тут канитель разводить? Ты войди в мое положение. Мне так и эдак жениться надо. Сколько я еще деда эксплуатировать буду? Ты думаешь, я не вижу, какво ему. Живем, как два бобыля. Жистянка — сама знаешь. А вечер я ему говорю: «Как, говорю, дед, посмотришь, ежели я подведу черту под свою холостяцкую жизнь?» Молчит. Насупился. А потом, как я сказал, кто у меня на примете, — расплакался. «Да я, говорит, на такую невесту молиться стану». Ей-богу!

У Лизки дрогнули губы. А глаза заблестели, как первая зелень после дождя.

Егорша и сам расчувствовался:

— Верно, верно, Лиз! Эх, елки-моталки! Я вот в лесу работаю — большие деньги, да? А куда мне с деньгами? Я да дедко — и тот еще от своих рук кормится. Ну и пью. Ну и мотаю, завиваюсь веревочкой. А люди этого не понимают. И, между прочим, твой дорогой братец тоже этого не понимает...

Егорша помолчал.

— Вот так, Лизавета батьковна. Значит — все? Договорились? Порядок в танковых войсках?

— Чего порядок?

— Насчет свадьбы. О чем я толкую с тобой битый час? Первым делом, конечно, надо завести рогатку.

— Корову? — Лизка, словно пробуждаясь ото сна, захлопала глазами.

— Да, корову, — сказал Егорша. — Я-то все думал, Мишка да дедко без меня обмозгуют. Сообразят, почем фунт гребешков. А теперь вижу — ни хрена. В общем, так: в район еду, а вечером приведу корову.

— Будет тебе заливать-то! Ждет там тебя корова.

— Не веришь? Треплется Егорша? Ежели у вас сегодня вечером не будет коровы, ноги моей больше не будет. А ежели я с коровой приду, тогда уж не брыкаться. И на брата своего не кивать. Договорились?

Егорша вдруг притянул ее к себе, вlepил поцелуй в губы и рассмеялся своим обычным, легким и беззаботным смехом:

— А я все-таки улучил моментик! Поставил свое клеймо...

В жарком безветренном воздухе долго был слышен рокот мотора, и Лизка мысленно отмечала про себя: вот Егорша выезжает на дорогу за деревней, вот он переезжает по бревенчатым мостовинам болото — тратата, а вот он уже едет сосняком — мотоцикл с воем одолевал песок. Потом и вой стих, и на смену ему пришел другой шум — шум жатки.

Михаил жал за молотилкой — близко. Белая рубаша горела на солнце. Бежать? Рассказать все брату? Так и так, мол, Егорша опять пристаёт...

Из-за сарая вышла Онька — черно-пестрая телка-сеголетыш. Во лбу у Оньки звездочка — такая же, как у покойницы Звездони, и как могла не баловать ее Лизка? Все телята днем в поскотине, а эту не прогонишь. Как хвост, волочится за ней. Лизка к колодцу — и она к колодцу. Лизка за травой — и она за травой. А раз даже вечером приперлась к клубу. Встала у крыльца и давай вызывать хозяйку.

— Онька, Онька, — протянула к ней руки Лизка, — подсажи-ко, что мне делать.

Она нисколешенько не верила Егоршиным сказкам насчет коровы. Сбрехнул, для красного словца сказал. Но ей нравился Егорша, нравились его бесстыжие глаза с подмигом, нравилась Егоршина беззаботность и удаль — никогда не унывает. Она представила себе, как бы она пошла с Егоршей по деревне — он с гармошкой, она в новом платье, — и у нее воробьем запрыгало сердце в груди.

Судьба, наверно, подумала Лизка. Семеновну-соседку на шестнадцатом году выдали — и ничего, прожила жизнь. Не хуже других. А сколько было маме, когда она за папу выходила?

Лизка быстро прибрала шайку, в которой мыла ноги, побежала домой. Ну-ко, родимая, присоветуй. Как мне быть? Давай пораскинем умом-разумом вместе. У всех дочерей мать — первая советчица.

Дома никого не было. Все, видно, ушли на поле. А на поле не побежишь. Ведь не заговоришь же на людях: мама, мама, как мне быть? И она села на койку брата и заплакала.

Был, однако, еще один человек, с которым она могла поговорить по душам, — Степан Андреевич. Да, да,

Степан Андреянович. И это ничего, что он дед родной Егорше. Степан Андреянович не обманет, рассудит как надо — всегда во всяком деле держал ее сторону.

Лизка умылась, надела праздничное платье, цветастый платок на голову.

День разгулялся на славу. И на улице ни единой души — все на работе. А все-таки непривычно, совестно ей было идти среди бела дня по деревне, и она пошла полем, узенькой тропинкой, натоптанной вдоль изгороди.

Сколько раз вот этой самой тропинкой — мимо школы, мимо братской могилы за клубом, по дернистому угору с выгоревшим земляничником — бегала она к Ставровым и никогда, ни единожды не обходила стороной правления — тут тропиночка кончается, а сегодня она заходя, еще у школы, решила, что за братской могилой спустится под гору.

Однако не спустилась, потому что в заулке правления она скоро увидела людей и подводы, и мысль ее пошла в другом направлении.

Что же это за подводы? — думала она. Может, товар какой в сельпо привезли? Давно, еще с весны, говорили, что конфеты будут на страду давать. А может, уже дают? И пока она ходит к Степану Андреяновичу, расхватают начисто...

Она посмотрела вниз, на подгорье, и пошла к людям.

Никто не обратил на нее внимания. И не сельповские товары — мешки с колхозным зерном лежали на телегах.

Районщик с железными зубами, тот, который весной приезжал по займу, кидал речь.

— Как известно, товарищи, — выкрикивал с крыльца районщик, — в прошлом году коварная стихия, то есть засуха, нанесла большой урон сельскому хозяйству нашей страны! А поэтому в нынешнем году план заготовок хлеба по нашему району удвоен, то есть мы должны дать в закрома родины двести пятнадцать процентов. Это великая честь, товарищи! И районное руководство выражает твердую уверенность, что ваш колхоз на деле, по-боевому оправдает высокое доверие...

С крыльца раздались хлопки — Федор Капитонович размял ладошки. И еще вслед за ним раза два хлопнул Илья Нетесов.

— Езжайте! — махнул рукой Лукашин Васе-маленькому — высокому придурковатому парню в облезлой ушанке, сидевшему на передней подводе.

Лукашина, как только подводы выехали из заулка, обступили люди:

— В два с лишним раза план, а нам-то чего?

— Мы-то как будем? Опять зубы на полку?

— Весной ты нам чего говорил? По килу на трудовень сулил...

Лукашин недобрым голосом закричал:

— Есть у нас первая заповедь — знаете? Ну и баста! Выполнять надо...

И больше ни слова — кинулся в контору.

Лизка пошла домой. На днях как-то, после ужина, они всей семьей подсчитывали заработки. Михаил выгнал за год 450 трудодней, мать — 260, она, Лизка, 100 с лишним — три месяца в колхозе работала, да еще на Петьку и Гришку трудодней 50 падало. «В общем, до конца года еще далеко, — сказал Михаил. — Тысячу-то наколотим. И даже с гаком. Плюс свой участок. Посытнее заживем в этом году». И вот опять голые трудодни, опять ничего, как в прошлые годы. Знает ли об этом Михаил? Так ведь раньше у них была Звездоня, а как теперь они сведут концы с концами?

Слезы закипали у нее на глазах. Она шла передней улицей и ничего не видела вокруг себя.

3

В этот день после полудня Михаил бросил жать. Распряг лошадей, связал их на молодой зелени у болота, а сам отправился в лес.

На Широком холме горланили вороны. Видимо-невидимо слетелось их к пряслу, где еще недавно вешал снопы Петр Житов. А теперь Петра Житова нет. Молотите зерно, вороны. Никто вам не помешает. Вот для кого, оказывается, люди рвали из себя жилы — для ворон.

У Попова ручья Михаил чуть не наскочил на Лукашина — тот верхом скакал по перелескам, скликая баб. Но разве докличешься до баб? Да и чем виноваты бабы? Разве по своей воле побежали в лес? В лесу-то грибы, ягоды можно взять, а с поля чего возьмешь? При

том плане, который объявили сегодня, на что рассчитывать?

Боже мой, думал Михаил, сколько у них было надежд, когда Лукашина председателем назначили! Вот, думали, дождались хозяина. Этот не чета Першину. Этот колхоз поведет. А куда привел? Как в прошлом году на трудодень ничего не получили, так и в этом.

Грибы в перелесках попадались редко — а он не стал углубляться в лес: не хотелось начать баб — разве от сладкой жизни бежали они с поля? И он шагал-шагал от одного перелеска к другому и так вышел к Сухому болоту.

По сторонам обгорелый ельник, стожок сена горбится на выкошенной половине, а где пашня? Где гектары победы?

С тяжелым чувством повернул он назад. Сколько сегодня он видел вот таких запущенных полевин! Зарастают поля. На третьем году после войны зарастают. Во время войны все, до последнего клочка, распахиwali. Старики, бабы, подростки. А теперь что?

Долго, до первой звезды, бродил Михаил по перелескам. Думал, прикидывал, как жить. А когда вышел к болоту да напоил лошадей, стало совсем темно.

Его удивил яркий свет в своей избе, который он увидел еще от задних воротец. Не иначе как зажгли новую семилинейную лампу, которую он купил нынешней весной в расчете на хорошие перемены в жизни. Но по какому случаю? Что за радость в ихнем доме?

Он поставил короб с грибами на крыльцо, заглянул в окошко. Степан Андреянович сидит за столом, Илья Нетесов, Егорша — серебром переливаются молнии на кожаной куртке.

Так, так, подумал Михаил. Сваты. Егорша решил на своем настоять...

Ярость, страшная ярость охватила его. Егорша — понятно: ради того, чтобы сделать по-своему, на все пойдет, вдребезги разобьется. А эти-то? Где у этих-то головы? Разве не предупреждал он ввчор Степана Андреяновича?

В избу, однако, он вошел, ничем не выдавая своего гнева. Сваты есть сваты, и хоть век свадьбе не бывать, а честь оказать надо.

Степан Андреянович — первый раз Михаил видел старика под хмельком — воскликнул:

— Ну вот и хозяина дождались! А мы, Миша, знаешь, по какому делу? Догадываешься?

Мать, пугливо озираясь, подавала ему знаки по хорошему, бога ради по-хорошему!

Степан Андреянович — на старинный лад — заговорил в том духе, что они, мол, охотники, лебедушку ищут, и люди добрые подсказали им, где искать.

— У нашей лебедушки еще перья не выросли, — сказал Михаил. — Рано на сторону лететь.

— Ничего, — вставил свое слово Илья, — и у нас охотник не перестарок.

— Вот именно! Этому охотнику еще года три надо под красной шапкой походить.

— Это ты об армии, Миша? — живо спросил Степан Андреянович. — Господи, о прошлом годе была льгота и о позапрошлом, а разве я молодею с годами?

— Да не в том дело, молодеешь или нет. А какая она невеста?

Егорша молча налил граненый стакан водки, поставил перед Михаилом. Лицо самодовольное, в зубах папироска — все могу. И тут полетели к черту все зарюки, которые давал себе Михаил, садясь к столу.

Он резко, так, что плеснулась водка, отодвинул от себя стакан:

— Впустую разговор!

Степан Андреянович опешил — не ожидал такого оборота. И Илья не ожидал.

— Михаил, Михаил... — потянул его за рукав Илья.

— А что Михаил? Втемяшил себе в башку жениться, — он бросил короткий, разъяренный взгляд на Егоршу, — твое дело. Валяй! Хватает девок — и военных, и послевоенных. Всяких. А только адрес выбирай другой. Жених! А дома когда последний раз ночевал? А они? — Михаил кивнул на ребят, сбившихся у кровати. — Их кто кормить будет? Ты небось даже не слыхал, какие у нас налоги? Нет?

Егорша невозмутимо, будто все это не касалось его, докурил папироску, поправил рукой волосы. Потом так же невозмутимо обвел прищуренным взглядом избу и усмехнулся:

— А по-моему, у нас кворума не хватает. Вхолостую идет прения. Гавриловна, — обратился он к матери, хлопотавшей над самоваром в задосках, — позови дочь.

Лизка была в боковушке. Такой уж порядок: пока судят да рядят старшие, девка в стороне. И вот она вышла. В новом, красного сатина платье. С туго заплетенной косой. Поклонилась, как положено.

Так, так, сестра, подумал Михаил. Дадим от ворот поворот, но так, чтобы сватам обиды не было. И Степан Андреянович, и Илья Нетесов — что они нам худого сделали?

У Степана Андреяновича в глазу заблестела слеза — разволновался старик:

— Лизвета Ивановна, мы вот тут...

Его оборвал Егорша:

— Постой, дед. Вы поговорили, теперь мы поговорим.

Он сдвинул в сторону тарелки с грибами и стаканы и вдруг начал выбрасывать на стол деньги. Пачками. Одну пачку выбросил, другую, третью... Красные тридцатки, полусотни синие...

— Вот,— сказал Егорша и в упор посмотрел на Лизку. — Как уговаривались. Я свое слово сдержал. С этим довесом можно заводить копыта.

Это он мотоцикл продал, подумал Михаил и почему-то сперва посмотрел на ребят, а уже потом на сестру. Глаза их встретились. И надо же было так случиться, что именно в эту самую минуту под окошком раздалась свадебная песня:

Лизвета Ивановна,
Ты сама до вины дожила,
Ты сама до большой доросла,
Ты сама вину сделала.
Молода князя на сени созвала.
Со сеней в нову горенку.
За дубовый стол посадила.
Чаем-кофеем напоила,
Калачами его накормила,
Калачами круписчатыми,
Пряниками рассыпчатыми,
На красно крыльцо выводила,
На коня его посадила...

Бабы и девки по-старинному опедали Лизку.

И, наверно, песня подтолкнула Лизку. Наверно, Лизка в своей простоте подумала: раз уж люди решили — свадьбе быть, то так тому и быть. Поздно теперь отступить.

Она сказала, опустив голову:

— Я согласна.

Илья поднялся из-за стола, как только выпили по первой стопке.

— Куда это без разрешения? — спросил Егорша.

— А что-то голове тяжело. — Илья смущенно потер лысеющий лоб. — Надо немного воздуха свежего хлебнуть.

— Давай хлебни, — милостиво разрешил Егорша.

Михаил тоже вышел из избы, и под тем же самым предлогом — вроде и ему дышать нечем, он даже для наглядности воздух ртом похватал, а на самом-то деле он вышел, чтобы не остаться с глазу на глаз с новоявленным зятем: просто сил нет видеть его самодовольную рожу.

На улице было звездно и по-осеннему прохладно. И какие-то черные тени скользили по вечернему небу. Высоко. Под самыми звездами. Неужели это уже птица повалила в теплые края? Рановато бы, кажется. Еще ни одного заморозка не было.

— Лебеди, должно, — как бы угадав его мысль, сказал Илья.

— Лебеди? — Михаил задрал кверху голову. — А разве они по ночам летают?

— А кто их знает. — Илья закурил, оперся грудью на изгородь огорода напротив крыльца. — Может, и летают.

— Нет, — возразил Михаил. — Лебедь свет любит. Разве что он нынче по ночам стал летать. А что, может, поумнел и лебедь. Днем-то нынче лететь — живо срежут. Я где-то читал: животные приспособляются.

Михаил встал рядом с Ильей и уже окончательно разговор с небес спустил на землю:

— Ну как, наносил грибов-ягод?

— Маленько, — глухо ответил Илья.

— А я только сейчас понял, как без коровы жить. А ты ведь который год... Третий?

— Да нет, ежели войну считать, когда Марья одна жила, то все шесть будет.

— Порядочный стаж. Ну-ко давай, раскрой свой секрет — как жить без молока и песни петь.

Илья промолчал. Насмешка не понравилась? Или, поди, и он, как Егорша, на него свысока смотрит? Поди, и по мнению Ильи он древесина пекашинская?

— Ну да,— зло сказал Михаил,— я ведь и забыл: ты на особом положении, у тебя литер.

А кой черт и молчит! Разве его это не касается? Разве он не от тех же колхозных трудодней живет? А что, что на трудодень? В прошлом году не дали по случаю засухи на юге, в этом году — по случаю прошлогодней. А что в будущем году будет?

В это время на крыльцо вышла Татьяна («Чего ушли, Егорша сердится»). И Илья наконец разомкнул свои золотые уста:

— Я, пожалуй, пойду, Михаил.

— Куда пойду? Домой?

— Да.

— Ну, это не я решаю. Есть у тебя начальник. (Егорша Илье по отцу доводился двоюродным племянником.)

— Нет, ты уж, пожалуйста, объясни ему. Скажи, к примеру, домой позвали или еще чего. Худо у меня, Михаил, дома, худо.

— А чего? С Марьей поцапались?

— Ах, кабы только с Марьей! Валентина у меня больна — вот что.

— А чего с твоей Валентиной?

— То-то и оно, что чего. — Илья оглянулся, заговорил шепотом: — С легкими неладно. Помнишь, я тут как-то у тебя Лысана брал, в район ездил? Ну дак я это Валентину в больницу возил. Страшно выговорить... Тэбэцэ...

— Тэбэцэ? А это еще что за зверь? Я такого и не слышал.

— Слышал. Туберкулез легких.

— Что ты говоришь? Нда...

От злости на Илью у Михаила не осталось и следа. Жалость, горячее сочувствие, желание хоть как-то помочь тому захватили его. Он стал уверять Илью, что это ничего, не страшно, что надо только питание получить.

— И собаку бы хорошо зарезать жирную,— подал он уже конкретный совет. — Салом собачьим заливают больные легкие. Ося-агент, я помню, еще в начале войны всех собак у нас переел, вот он и бегаёт теперь на нашу голову,— пошутил Михаил. — Мне на днях целый ворох налоговых извещений вручил. Поди, и тебя не обнес.

— Не обнес! — охнул Илья и вдруг всхлипнул. — Ежели что случится с Валентиной, мне не жить... Скоро первое число, все в школу пойдут, а моя Валентина, что же, из окошечка будет смотреть?

— Подумаешь, — одернул Илью Михаил. — Ну и из окошечка. Не она первая заболела. Не в этом дело. А ты перво-наперво маслозавод себе заводи. Я на днях узнавал: у Прошича коза все еще не продана. А козье молоко, по медицине, говорят, еще питательнее.

— Нет, — сказал со вздохом Илья, — с козой теперь ничего не выйдет. Деньги, какие были заработаны в лесу, все до единого рублика спустили на молоко. И барана на той неделе прирезали... Я вот сидел у вас сейчас за столом — эх! Да что же это такое, думаю? Я здоровый мужик — и ничего у меня не выходит. А ты пацан от отца остался и уже семью вырастил, сестру взамуж выдаешь. — И тут Илья опять всхлипнул.

Михаил торопливо вдавил в верхнюю жердь изгороди свой окурок. Он не хотел видеть плачущего Илью. Не мог. Он был потрясен, размят, раздавлен. Потому что, ведь ежели вдуматься хорошенько, — это же с ума сойти! Кто плачет? Илья-победитель!

И добро бы Илья лентяем, пропойцей был. А то ведь первый работяга! Ведь это же ужас, как он в лесу работает! А в колхозе? У кого еще такие руки? И вот не может мужик свести концы с концами. Не может...

— А между прочим, ты знаешь, что я тебе скажу... — заговорил Михаил, в темноте нащупывая руку Ильи.

Слепящий свет ударил с крыльца по глазам. На этот раз на крыльцо вышла мать:

— Я не знаю, брат ты или не брат...

— Сейчас, сейчас, — поморщился Михаил.

Он проводил Илью до воротца на задворках. И высказал-таки ему то, что только что пришло ему в голову.

— А знаешь, — сказал он, — здоровому-то мужику теперь тяжелее... Ей-богу! Я пацаном был — мне легче было...

Илья как-то поспешно, словно боясь этого разговора, сунул ему руку, сказал:

— Ладно, Михаил. Спасибо на добром слове. Мне, ежели говорить напрямую, лучше всего бы сейчас на лесопункт податься. Главное — Валентина поспокойнее

была бы. А то ведь голова кругом: все пойдут в школу, а она, первая ученица, дома... Есть для меня место на Сотюге. Зовет Кузьма Кузьмич. Кузнеца ему надо. Да что об этом думать. Надо же кому-то и в колхозе работать...

Последние слова Илья сказал совсем тихо, с раздумьем, как бы с надеждой, что вот он, Михаил, возразит ему. Но как он мог возразить? Он — колхозный бригадир...

В третий раз скрипнули ворота на крыльце, и в третий раз кто-то вышел за ними. Кто? Не сам ли молодой князь, которого где-то на деревне, не то в клубе, не то у нижней молотилки, все еще чествовали и восхваляли бабы и девки?

Да, веселая историчка. Сестра замуж выходит, а его трясет от одного вида жениха...

— Михаил, Михаил...

Лизка! Ее голос.

— Иду, иду!

И он лихорадочно, с удивившей его самой быстротой кинулся на голос сестры, как если бы та взывала к нему о помощи...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1

Корову привели в четвертом часу дня, а вечером — еще не успели сгуститься сумерки — сели за стол.

Он, Михаил, говорил: подождем еще хоть недельку. Пускай Лизка хоть недельку походит в невестах. А кроме того, надо вообще время, чтобы собрать хоть маломальски сносный стол. Но Егорша — он теперь хозяин — заупрямился: нет и нет.

В задосках дружно выговаривали железные и деревянные ложки — ребята хлебали молоко от новой коровы. И молоко стояло перед ним — в старой, еще отцом заведенной алюминиевой миске. Но он не мог заставить себя притронуться к молоку. Не лезло ему молоко в горло, потому что из головы не выходила мысль, которая засела туда еще давеча, в ту минуту, когда они встречали новую корову: не за молоко ли он продает свою сестру?

К встрече коровы они готовились всей семьей. Ребята еще накануне наносили сухого мха и багульника для подстилки. Лизка с Татьянкой запасли свежей отавы, обмели паутину со стен запущенного двора. А сам он полдня отметывал навоз, вставлял стекло в порушенном оконце, поправлял ясли — Звездоня, бывало, если мать запаздывала с обредней, лихо работала рогами. Но и это не все. Лизка, с малых лет лучше его знавшая толк в скотине, заставила его раздобыть смолы и косяки ворот пометить смоляными крестами — так в старину-то делали люди. Не повредит.

И вот наконец ребята, с полудня дежурившие на крыше избы, возвестили: «Ведут! Ведут!»

Лизка первой выбежала из заулка, обхватила корову руками за шею и навзрыд заплакала...

Отчего она заплакала? От счастья, от радости? Оттого, что она семью спасла-выручила? А может, наоборот? Может, как раз в ту самую минуту, когда она увидела комолую красно-пеструю коровенку, которую вели на вязке Степан Андреянович и мать, может, именно в ту самую минуту она и поняла, какую беду с собой сотворила?..

2

— Горь-ко-о-о!

Петр Житов гаркнул. В одной руке зажата скользкая сыроега, в другой — стакан с водкой.

Петра Житова привел Егорша, так как Илья Нетесов сказался больным. Со стороны невесты, если не считать старой Семеновны, гостей вообще не было. Бегал было перед самым застольем Михаил к Лукашиным, да не застал их дома.

— Горь-ко-о-о! Горь-ко-о-о! — гаркнул Петр Житов и требовательными, похабными глазами уставился на молодых.

Егорша не пошевелился, не выручил Лизку — а уж он ли не мастак по этой части?.. И Лизка встала. Лицо — заревом, а на груди полукружьем янтари. Из незрелых, желтобоких ягод шиповника. И Михаил побледнел, когда эти бесхитростные, доморощенные янтари, для блеска натертые еловой серкой, коснулись кожного плеча Егорши...

Мати, мати, что мы делаем?..

— Кушайте, пейте, гости дорогие.

Учтиво, по-старинному поклонилась Лизка направо и налево. И первый поклон Степану Андреяновичу. Тот прослезился, а когда Лизка назвала его татей, старик просто расплакался:

— Господи! С той самой поры, как Васильюшка убили, никто не назывливал меня так...

Ну, сестра, подумал Михаил, хоть со свекром тебе повезло...

В избу шумно, со смехом ввалились бабы и девки, и Лизка будто только этого и ждала. Встала, через стол поклонилась ему:

— Брателко родимой, Михаил Иванович! Уж и как мне звать-величать тебя... И за брата, и за отца ты мне был...

— Так, так, Лизавета, — одобрительно зашептали сразу притихшие бабы. — Поклонись, поклонись брату. Верно, что заместо отца был...

И Лизка кланялась. И доморощенные янтари полукружьем свисали с ее худой, полудетской шеи. Но лицо ее было торжественно и даже величаво. И Михаил дивился: откуда она знает все свычаи и обычаи? Ведь, кажись, и свадьбы-то настоящей на ее глазах не было...

Прежней, домашней стала Лизка, когда разошлись люди.

В выстуженной избе — двери не закрывались весь вечер, все Пекашино перебивало у них — остались свои да Егорша (Степан Андреянович ушел домой загодя, чтобы приготовиться к встрече молодых). Все стояли под порогом. Егорша, бледный от вина и пляски, хмуро покусывал губы. Он был недоволен затянувшимся прощанием, потому что Татьяна обеими руками вцепилась в Лизку и ни за что не хотела расстаться с нею.

— Не отдам, не отдам Лизку! — вопила она.

И Лизка разговаривала, успокаивала ее и в то же время какими-то потерянными и тоскливыми глазами водила по избе.

И вдруг хлопнула дверь — вышел Егорша.

— Михаил, Михаил... — Ужас плеснулся в глазах матери. Наверно — худая примета.

Михаил выскочил на крыльцо:

— Ну чего ты... Не понимаешь...

Они впервые стояли рядом — зять и шурин. За столом они не сказали друг дружке ни слова. Чокались молча,

молча пили. И мать, и Лизка с тревогой поглядывали на него, на Михаила. А что он мог поделаться с собой? Не вчера, не сегодня рассыпалась их дружба.

Яркая полоса света пала на крыльцо. Мимо, как в тумане, проплыло бледное, заплаканное лицо Лизки. Она спустилась с крыльца вслед за Егоршей.

— Господи, господи! Хоть бы у них-то все ладно было...

Никогда, никогда не слышал он от матери мольбы, обращенной к богу. Даже в сорок втором году, когда убили отца.

Он выбежал на улицу перед своим домом...

Глухо. Темно. На задворках, у кузницы, тоскливо воет Векша. Все лето не было слышно проклятой, а сегодня завывала. Холода, что ли, почуяла?

3

Спит притомившееся за день Пекашино — ни одного огонька в избах. Только он один неприкаянно, как преступник, мотается по ночной деревне. А почему? Отчего ему не спать тоже? Кончен бал, как однажды он прочитал в какой-то книжке. И сколько ни ешь себя теперь, сколько ни рви на себе волосы, ничего не изменишь...

Несколько успокоила его внезапно пришедшая в голову мысль насчет любви.

Да, да! — с отчаянием и надеждой тонущего ухватился он за эту спасительную мысль. Почему он все время думает, что Лизка пожертвовала собой, чтобы спасти семью? Почему? А если это любовь? А если она рада, что вышла замуж за Егоршу? Ведь есть же, есть же на свете такая штука — любовь. Господи, да скажи ему сейчас кто, что Варвара ждет его, он бы побежал куда угодно. В райцентр, на Верхнюю Синельгу, на Ручьи... На край света...

Далеко под горой, на излучине реки, жарко вспыхнул красный огонек.

Луч кто бросает тайком от рыбнадзора? Или кто тайком отправился в чужие края — за счастьем?

Много нынче народушку бежит в города. А еще больше людей уходит на лесные промыслы. И Илья Нетесов у них, надо полагать, тоже скоро откочует от колхозной кузницы...

А ему что делать?

Вот за что он не любил осень — за то, что с наступлением ее каждый раз неотвратимо, как снег, как холод, надвигался вопрос: как жить дальше? Куда податься?

Рыба на зиму забивается на ямы, белка уходит в дремучие ельники, где полно шишки, птица отлетает в теплые края, а почему он не может дать тяги? Почему он не развернет свои крылья? Разве ему не двадцать лет?

И словно для того, чтобы еще больше раззадорить и воспламенить его, яркая летучая звезда прочертила ночное небо над головой...

А потом звезда рассыпалась, и в зеленоватых отблесках ее он увидел приземистую, до боли знакомую избу с заиндеветшей крышей.

1968

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Игорь Дедков. Художественный мир Федора Абрамова</i>	5
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ. Роман	29
ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА. Роман	279

Абрамов Ф.

A16 Собрание сочинений: В 3-х т. / Вступ. статья И. Дедкова; Оформ. худож. Е. Большакова. — Л.: Худож. лит., 1980—1981.

Т. 1. Братья и сестры. Две зимы и три лета: Романы. 1980. — 576 с.

A $\frac{70302-072}{028(01)-80}$ подписное 4702010200

ББК 84.3Р7

**ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
АБРАМОВ**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ
том I**

Редактор *А. Рулёва*
Художественный редактор *Р. Чумаков*
Технический редактор *Н. Литвина*
Корректор *Л. Никульшина*

ИБ № 1612

Сдано в набор 18.02.80. Подписано в печать 20.08.80. Формат 84×108 $\frac{1}{32}$. Бумага кн.-журнальная. Печать высокая. Гарнитура «Литературная». 30,24+1 вкл. 0,052=30,292 усл. печ. л. 31,659+ +1 вкл.=31,750 уч.-изд. л. Заказ № 1170. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 10 к. Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

2 р. 10 к.